ISSN 0130-6545

10.1995

# Иностранная литература

**В номере:**

ПИТЕР АКРОЙД
*Дом доктора Ди*

АНТОНИЯ С. БАЙЕТТ
*Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»*

## Британская литература 90-х годов

INTELLECTUAL
DEPRESSION
Gilbert and George
1980

# "ИЛ" в1996 году

*План следующего года составлен нами еще далеко не полностью - редакция ждет подведения итогов литературного года, ставя себе задачу максимально сократить временной разрыв между выходом произведения на языке оригинала и появлением русского перевода на страницах «ИЛ». К сожалению, приходится помнить и о литературных пиратах, использующих наши анонсы в качестве бесплатного источника информации. Поэтому сейчас мы можем назвать лишь некоторые из произведений, по поводу которых журнал ведет переговоры с правообладателями:*

Последний роман американца **ЧАРЛЬЗА БУКОВСКИ «Макулатура»**

Роман француза **ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЭРА «Билет в один конец»** (*Гонкуровская премия 1994 года*)

Пьеса англичанина **ТОМА СТОППАРДА «Аркадия»** (*признана в США лучшей пьесой 1995 года*)

Новый роман чеха **МИЛАНА КУНДЕРЫ «Неспешность»**

Знаменитый роман аргентинца **АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕСА «Война со свиньями»**

Автобиографическая книга испанца **ХОРХЕ СЕМПРУНА «Писательство и жизнь»**

Новый роман американца **ТИМА О'БРАЙЕНА «На Лесном озере»**

Документальная повесть китаянки **АНЧИ МИН «Красная азалия»**

В рубрике NB мы познакомим читателей с творчеством **СЕЙСА НОТЕБУМА, ПОЛА ОСТЕРА и ТОМАСА ПИНЧОНА**

Будет продолжена авторская рубрика **ПЕТРА ВАЙЛЯ** «ГЕНИЙ МЕСТА»

В рубрике «ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ» мы представим портреты **БРУНО ШУЛЬЦА, ПАУЛЯ ЦЕЛАНА, ХУЛИО КОРТАСАРА, СТАНИСЛАВА ИГНАЦЫ ВИТКЕВИЧА**

**АЛЕКСАНДР ГЕНИС** пришлет нам рукопись своей новой книги «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. Искусство настоящего времени».

*В фокусе нашего внимания живой литературный процесс - самые яркие имена, самые заметные произведения, удостоенные престижных премий, попавшие в списки бестселлеров, вызвавшие повышенный интерес критики.*

**Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. А тем, кто имеет возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле.**

**Подписка в редакции будет производиться *с 1 сентября до 1 декабря ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных.***

**Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»), телефон 233 -51-47.**

***Где бы Вы ни жили, подписавшись на "ИЛ", Вы окажетесь в самом центре литературной жизни современного мира.***

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

**Из общего тиража в 29 850 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.**

## ЭТОТ НОМЕР ВЫПУЩЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БРИТАНСКОГО СОВЕТА

**Главный редактор**

**А.Н. СЛОВЕСНЫЙ**

**Редакционная коллегия**

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

**Общественный редакционный совет:**

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, И.А. БРОДСКИЙ, П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК, Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ, М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

**Международный совет:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, КРИСТА ВОЛЬФ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

**10** октябрь 1995


## СОДЕРЖАНИЕ


ПИТЕР АКРОЙД — Дом доктора Ди (*Роман. Перевод В. Бабкова*). 5
ПИТЕР ПОРТЕР — Стихи (*Перевод С. Гандлевского*) ..... 142
АНТОНИЯ С. БАЙЕТТ — Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз» (*Повесть. Перевод И.Тогоевой*) ..... 145
Два поэта нового поколения: САЙМОН АРМИТИДЖ и КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ — Стихи (*Перевод Г. Кружкова и А. Шараповой. Вступление В. Скороденко*) ..... 200
РОУЗ ТРЕМЕЙН — Перемещения герольда Монжуа (*Рассказ. Перевод Л. Локшиной*) ..... 204
САРА ГРЕЙСИ — Уста наслаждения, уста смерти (*Рассказ. Перевод Н. Васильковской*) ..... 212
ТИБОР ФИШЕР — Злоумышленники (*Рассказ. Перевод А. Ливерганта*) ..... 218

**Критика**

ВАЛЕНТАЙН КАННИНГЕМ — Английская литература в конце тысячелетия (*Перевод А. Ливерганта*) ..... 227
КАРЕН ХЬЮИТТ — Новая английская историческая беллетристика спрашивает: «Почему?» (*Перевод А. Кабалкина*) ..... 233
МАЙКЛ БИЛЛИНГТОН — Английская «новая драма» сорок лет спустя (*Перевод Юрия Фридштейна*). ..... 239
**У книжной витрины** ..... 247
**Курьер «ИЛ»** ..... 250
Английская литература на страницах «ИЛ»(1992 — 1995) ..... 254
**Авторы этого номера** ..... 255


© «Иностранная литература», 1995

**В следующем номере "ИЛ"**

Один из шедевров XX века, переведенный на многие языки мира, главный роман ГЮНТЕРА ГРАССА **«Жестяной барабан»**, с которым наконец-то сможет познакомиться русский читатель. Снискавший скандальную славу «сочинителя порнографических мерзостей», «осквернителя святынь» на родине, писатель тем более не мог рассчитывать на благосклонность советской критики. Но и через три с половиной десятилетия после выхода в свет роман не утратил своей свежести и остроты.

Две новеллы из нового сборника САЛЬМАНА РУШДИ **«Восток, Запад»**.

Пьеса **«Безумный Локомотив»** и эссе **«Пейотль»** СТ.И.ВИТКЕВИЧА, которого журнал представляет не только как писателя, но и как художника.

Три интервью ВЛАДИМИРА НАБОКОВА — блестящий образец работы признанного мастера прозы в маргинальном литературном жанре.

Цветные иллюстрации номера — работы английских художников:

На 1-й стр.обложки — БОЙД УЭББ «Загон» (1989)
На 2-й стр.обложки — ГИЛБЕРТ И ДЖОРДЖ «Интеллектуальная депрессия» (1980)
На 3-й стр.обложки — БИЛЛ ВУДРО «Входное отверстие» (1989)

**В Москве журнал можно приобрести в редакции.**

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

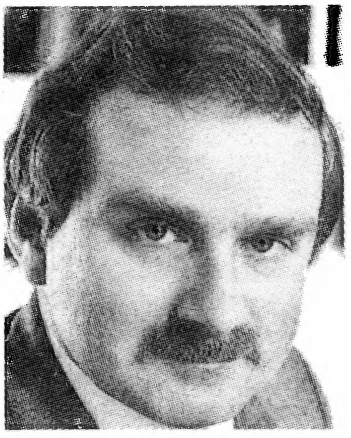
Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 15.09.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага типографская. Усл. печ. л.22,40. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,72. Заказ №1068.

Тираж 29 850 экз. Цена по подписке 10 000р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



# ПИТЕР АКРОЙД

## *Дом доктора Ди*

РОМАН

*Перевод В.БАБКОВА*

### 1

Я унаследовал этот дом от отца. Тогда все и началось. При его жизни я ничего о доме не знал, а поглядеть на него впервые собрался только летом нынешнего года. Дом был в Кларкенуэлле, районе для меня почти незнакомом, и я поехал на метро от «Илинг-Бродвея» до «Фаррингдона». Я вполне мог бы позволить себе взять такси, но мне с детства нравилось перемещаться под землей. Собственно говоря, я довольно часто ездил в Сити или Уэст-Энд, и теперешнее путешествие мало чем отличалось от прежних — разве что пересадка вызвала более острое, чем обычно, ощущение перемены. Оно возникает, когда выходишь на «Ноттинг-хилл-гейт» и едешь на эскалаторе вверх, с Центральной линии на Кольцевую. Дальнейший маршрут для меня уже не столь привычен, и потому нужна бывает легкая адаптация; по пути от «Эджуэр-роуд» и «Грейт-Портленд-стрит» к старому центру города я начинаю сильнее чувствовать свою обезличенность. Всякий раз, когда закрываются автоматические двери, я словно еще глубже погружаюсь в забвение — или это забытье? Даже пассажиры меняют облик, другой кажется сама атмосфера вагона: растет общая угнетенность, а иногда и подспудный страх.

Перед станцией «Фаррингдон» поезд вынырнул из туннеля, и я на мгновение увидел бледное небо; оно напомнило мне о мягком, унылом свете Илинга, но как только я вышел из метро на Каукросс-стрит, эта иллюзия рассеялась. Ибо свет в городе меняется: жемчужный на западе, мрачный на юге, рассеянный на севере, яркий на востоке — а здесь, поблизости от центра, все вокруг было словно подернуто туманом. Я почти ощущал на языке привкус гари.

Наверняка именно это и было причиной тревоги, закравшейся ко мне в душу, пока я искал дорогу к дому, оставленному мне отцом,— к дому, о котором я не знал ничего, кроме адреса. Прежде чем отправиться сюда, я нашел Клоук-лейн на карте Лондона и в своем воображении уже зачислил ее в разряд прочих стандартных улиц, забитых магазинами и офисами; но, идя по Тернмилл-стрит к площади Кларкенуэлл-грин, я понял, что это место не похоже на другие центральные районы города. Здесь было одновременно и просторнее, и пустыннее, точно после какого-то давнишнего вражеского набега. Саму Клоук-лейн оказалось трудно найти. Я думал, что она проходит ярдах в тридцати к северо-западу от площади, но, двинувшись в этом направлении, обнаружил, что огибаю территорию, примыкающую к церкви Св.Иакова. Я приехал в пятницу, под вечер, и у церкви было безлюдно; кроме трех кошек, сидящих на куске разрушенной южной стены, да голубей, воркующих среди памятников, я не заметил тут ни единого живого существа.

А потом я увидел его. Он расположился на небольшом пустыре, в конце аллеи, и на мгновение я закрыл глаза; отворив калитку и собираясь приблизиться к нему, я поймал себя на том, что упираюсь взглядом в бледные вьюнки, щавель и крапиву, проросшие между разбитыми камнями, которыми была вымощена дорожка. Я терпеть не могу сорняков, так как они напоминают мне о моем детстве; я до сих пор

© Peter Ackroyd 1993

помню слова отца, говорившего, что они вырастают на телах мертвецов, и потому, идя по аллее, я безжалостно давил их каблуком. И только остановившись и подняв взор от искалеченной мною дурной травы, я заметил, как необычен этот дом. С улицы мне показалось, что это постройка девятнадцатого века, но теперь я понял, что его нельзя отнести к какому-нибудь определенному периоду. Дверь и веерообразное окно над ней наводили на мысль о середине восемнадцатого столетия, но желтый кирпич и грубоватые лепные украшения третьего этажа явно были викторианскими; чем выше дом становился, тем моложе выглядел — видимо, его несколько раз перестраивали и ремонтировали. Но больше всего заинтересовал меня первый этаж: он был шире остальных, за исключением цокольного, который — я заметил это, лишь подойдя ближе,— занимал такую же внушительную площадь. Эта часть дома не имела кирпичной облицовки; ее стены, сложенные из огромных камней, были, по-видимому, еще старше, чем дверь восемнадцатого века. Наверное, прежде здесь стоял дом гораздо больших размеров, от которого уцелели только первый и цокольный этажи; надстраивали же их уже не с таким размахом, и потому центральная часть дома вырастала из древнего зародыша подобно широкой башне. Нет. Она напоминала торс человека, который приподнялся, опираясь на руки. Когда я шагнул на ступеньки, у меня возникло ощущение, будто я собираюсь войти в человеческое тело.

Я вынул ключи, доставшиеся мне по завещанию, и отпер дверь. Из прихожей пахнуло воздухом, в котором мне почудилась примесь какого-то сладковатого аромата: словно пыль в этом старом доме была сдобрена сиропом или марципаном. Затем я ступил внутрь и, присев на корточки сразу за порогом, внимательно прислушался. Дело в том, что я очень боюсь крыс — да и вообще любой живности, которая заводится в пустых домах,— и если бы я сейчас что-нибудь услышал или заметил малейший признак какого-либо движения, я бы тут же запер за собой дверь и больше сюда не вернулся. Я продал бы все это и втайне был бы рад нашедшемуся оправданию. Но никаких шорохов не было. Совсем рядом с домом пролегала Фаррингдон-роуд, а чуть поодаль находился небольшой застроенный участок, принадлежащий тресту Пибоди[1]; однако здесь царила мертвая тишина. Я словно угодил в звукоизолированную комнату.

Я распрямился и прошел по широкому холлу. Слева была лестница, а справа — темно-коричневая дверь, которая, похоже, вела в какое-то другое помещение. Она была заперта. Я нетерпеливо подергал ручку и по глуховатому эху, донесшемуся с той стороны, заключил, что там расположен спуск на цокольный этаж. Оставив эту дверь в покое, я направился в конец коридора.

Комната, куда я попал, оказалась неожиданно огромной: она занимала чуть ли не весь первый этаж, но потолок у нее был низкий, и потому здесь ощущался недостаток пространства. Внутренние стены были сложены из того самого камня, что я видел снаружи, а несколько удлиненных окон, видимо, были прорублены еще в пору постройки этой части дома. Комната тоже имела необычную форму: она соединяла собой оба крыла дома, образуя нечто вроде обнимающего прихожую закрытого внутреннего дворика. Здесь стояла кое-какая мебель — стул, диван, деревянный сундук,— но это лишь подчеркивало общую пустоту и тишину. Я был слегка растерян и, пожалуй, даже подавлен: я понимал, что все это теперь принадлежит мне, но не чувствовал ни малейшей связи между собой и тем, что находилось у меня перед глазами. Однако если не я хозяин всего этого, то кто же?

Я вернулся обратно в холл и поднялся по лестнице. На каждом из двух остальных этажей было по две комнаты; благодаря большим окнам и высоким потолкам в них дышалось гораздо свободнее, чем в той, которую я только что покинул. Отсюда были видны многоквартирные постройки, а за ними шпиль Св.Иакова; можно было увидеть и площадь Кларкенуэлл-грин, хотя собственно площадь была лишь небольшим пятачком среди магазинов, офисов и громоздких зданий восемнадцатого и девятнадцатого веков, превращенных в обычные жилые дома. Задние окна верхних этажей выходили на виадук над линией метро; старинные крутые улочки за ним вели к Саффрон-хилл и Ледер-лейн. Я все еще был здесь чужаком и теперь испытывал довольно странное, хотя и объяснимое чувство: словно весь этот дом и я внутри его абсолютно ничем не связаны с миром, который нас окружает. Что изменил здесь мой отец? Все комнаты были обставлены очень просто, и, хотя ничто не говорило о каких-либо недавних жильцах, я не заметил и признаков ветхости или небрежения; ни одна лампочка не перегорела, оборудование маленькой кухоньки,

[1] Джордж Пибоди (1795—1869) — американский миллионер, на чьи средства в Лондоне были построены многоквартирные дома для бедняков. (*Здесь и далее — прим. перев.*).

отгороженной от большой комнаты на первом этаже, было в исправности. Дом выглядел так, словно его настоящий хозяин уехал в долгое путешествие, заранее подготовив все к своему возвращению. Однако отец никогда не упоминал ни о каких домах в Кларкенуэлле. Возможно, удивляться этому и не стоило, потому что недвижимости у него было много — хотя, насколько я знал, все прочие земельные участки имели чисто коммерческое назначение. Кроме того, это был единственный дом, отказанный мне по завещанию впрямую. Почему отец выделил его из других?

В последние годы я виделся с ним нечасто — возможно, потому, что он всегда был занят делами своей «империи», как саркастически выражалась мать. По-моему, он разочаровался, поняв, что из его единственного ребенка не вышло ничего путного, хотя тут я могу и ошибаться. Он никогда не говорил об этом, а мать была слишком поглощена своими собственными проблемами, чтобы обращать внимание на мои.

Я не был с ним, когда он умирал. Весь тот день я проработал в Британской библиотеке, а когда добрался до больницы, мать уже, по ее выражению, «почти все утрясла». Я даже тела не видел: для меня он как бы просто исчез. Конечно, я навещал его в финальной стадии болезни, но к тому времени рак успел пожрать львиную долю его плоти, и отец стал почти неузнаваем. Последний раз я заходил к нему, еще живому, вместе с матерью; она встретила меня в отделении беглым поцелуем в щеку.

— Привет. — Я пытался выглядеть по возможности бодро, однако присутствие матери всегда отчего-то стесняло меня. Во всяком случае, мы оба знали, что она ждет не дождется, когда он умрет. — Как наш старик?

— Ты бы лучше не называл его так. Он угасает. — Мы прошли в его палату и сели по обе стороны кровати. Он неподвижно смотрел в потолок широко раскрытыми под воздействием морфия глазами, но мать начала беседовать со мной поверх него, точно мы собрались за кухонным столом. — Ты, наверное, из библиотеки, Мэтти?

Мне было уже двадцать девять лет от роду, но она держалась и говорила со мной так, словно я по-прежнему был ребенком. Я терпеть не мог обсуждать с ней свою работу и потому непроизвольно адресовался к отцу, стараясь, впрочем, к нему не прикасаться.

— Меня попросили выяснить кое-что о елизаветинских костюмах. Для театра. — Мне почудилось, будто он вздохнул. — Оказывается, молодые люди в шестнадцатом веке часто носили кожаные кепки. По-моему, в мире вообще не бывает перемен.

Он разомкнул губы, затем провел по ним языком.

— Сядь здесь, рядом со мной.

Эта перспектива ужаснула меня.

— Не могу, отец. Я же собью все эти штуки. — Из его ноздрей шли пластиковые трубки, к руке была прикреплена капельница.

— Сядь сюда.

Что ж, я подчинился ему, как всегда; мать в это время глядела в сторону, и лицо ее выражало заметное отвращение. Я не хотел садиться к нему слишком близко, поэтому устроился на самом краешке кровати и заговорил еще быстрее, чем раньше.

— Я ни разу об этом не думал,— сказал я,— но некоторые черты человеческого поведения, видимо, остаются неизменными. — Я привык обсуждать с ним общие или теоретические вопросы; мы толковали о них со страстью аналитиков, которая роднила нас больше, чем что бы то ни было иное. С матерью дело обстояло наоборот: я никогда не поднимался выше самых банальных разговоров о повседневных происшествиях, и она, похоже, была вполне этим довольна. — Возьми, к примеру, елизаветинских швей. Они работали, сидя на полу со скрещенными ногами. Люди шили таким образом тысячи лет.

— Ты разве не слыхал о зингеровской машинке, а, Мэтти?

Отец не улавливал ни слова из нашего разговора, но тут вдруг подался вперед и дотронулся до меня.

— Нечто проникает сквозь завесу,— сказал он мне в ухо. Я почуял рак в его дыхании и тихонько пересел на свое место рядом с кроватью. Он откинулся назад и заговорил с кем-то невидимым. — Позвольте мне почистить вашу накидку, мой добрый доктор. Вы узнаете музыку? Это музыка сфер. — Он обвел комнату глазами, и мы оба вздрогнули, когда его взгляд скользнул по нам. — Вы узнаете эти сияющие улицы и аллеи, жемчужную реку и светлые башни в голубой дымке? — Он смотрел на сеть пластиковых трубок. — Это ровесник нашей вселенной, город, где вы родились впервые.

— Не обращай на него внимания,— настойчиво зашептала мне мать поверх кровати. — Не верь ему. — Внезапно она поднялась и исчезла за дверью. Я глянул на отца и, провожаемый его странной улыбкой, последовал за ней. Мы пошли по больничному коридору, выкрашенному в зеленовато-желтый цвет; палаты по обе его стороны были отделаны в таких же тонах. Я знал, что на каждой кровати кто-то лежит, но старался туда не смотреть и только однажды уловил какое-то движенье под одеялом. Без сомнения, все эти пациенты, подобно моему отцу, были погружены в навеянные морфием грезы, и смерть здесь представляла собой лишь последнюю стадию управляемого и заключенного в жесткие рамки процесса. Она и на смерть-то не походила.

— Как тут хорошо, спокойно,— сказала мать. — С больных глаз не спускают.

Я был так потрясен отцовским поведением, что ответил ей совершенно свободно:

— Ты, наверно, хотела бы, чтоб здесь еще музыка по радио играла. Надеть на всех розовые пижамы, а в руки дать воздушные шарики. — Мимо прошла медсестра, и я сделал паузу. — Знаешь, есть такое выражение — святая смерть?

Она поглядела на меня с неприязнью.

— Ты говоришь прямо как твой отец.

— А почему бы и нет?

— Тебя, видно, тоже хлебом не корми — дай поторчать где-нибудь на старом кладбище. Вечно он болтал о призраках и всякой такой чепухе. — Я был удивлен подобными сведениями о нем, но решил промолчать. — Ты любишь его, Мэтти?

— Нет. Не знаю. Все пользуются этим словом, но, по-моему, оно ничего не значит.

Как ни странно, она будто почувствовала облегчение.

— Вот и я так считаю.

Мы вместе вернулись к нему в палату, где он все столь же оживленно беседовал с кем-то, кого я не мог видеть.

— Вы слышите запах моего распада? Конечно, я готовлюсь преобразиться и пройти обновление. Это ваша заслуга, мой добрый доктор. Все это ваша заслуга.

— Ему бы надо нормального доктора,— сказала моя мать. — Может, кликнешь кого-нибудь?

Отец взял мою руку и вперился в меня странным серьезным взглядом.

— Уловляете ли вы свет, что проникает сквозь камень этого чудесного града? Ощущаете ли тепло истинного пламени, что обитает во всех вещах?

Я не мог больше выносить этот бред и потому, не ответив матери ни слова, отнял свою руку и покинул палату. С тех пор я ни разу не видел его живым.

Однако я унаследовал все. Матери же он не завещал ничего, что было, пожалуй, логично; даже дом в Илинге, где мы жили все вместе, перешел ко мне. Вот до чего он, оказывается, ее ненавидел. Конечно, я сразу же попросил ее считать наш общий дом своим, но это ни в коей степени не умерило ее гнева и раздражения против меня. Наоборот, усилило их, ибо она считала, будто ей предложили нечто, и так уже являющееся ее собственностью. Она пыталась скрыть свои чувства, разговаривая со мной грубо и вульгарно, как поступала всегда, но я ощущал за этим ее подозрительность, ее негодование и ее ярость. Вскоре после похорон она устроила мне испытание, пригласив к нам на жительство своего любовника — «миленка», как она его называла. Я ничего не сказал. Что я мог сказать? Но именно тогда я решил посмотреть дом отца в Кларкенуэлле.

— Дорогой мой,— обратилась она ко мне несколько дней назад. — У нас с миленком возникла мысль о покупке новой машины. — Она всегда старалась, чтобы ее речь звучала изысканно, а выходило все только фальшиво и некстати.

— Какой марки? — Я знал, что она хочет от меня услышать, но мне приятно было потянуть время.

— Я и не знаю. Миленок сдвинулся на «ягуаре». — Так она себя и выдавала словечками вроде «сдвинулся»; ее обычный лексикон и светские манеры постоянно вступали друг с другом в противоречие.

И вновь я не сказал того, что от меня требовалось.

— Последней модели?

— Ох, дорогой, я ничегошеньки в этих машинах не понимаю. Может, привести миленка, чтоб объяснил?

— Нет,— быстро сказал я. С меня было уже довольно. — Я уверен, что ты разрешишь мне заплатить за нее.

— Ну зачем же тебе, дорогой...

— Отец ведь наверняка имел это в виду, как ты считаешь?

— Думаю, да. Если ты так ставишь вопрос. Думаю, что в принципе это и мои деньги.

Она уже не раз повторяла примерно то же самое: он ничего ей не оставил, но «в принципе» все это было ее. Я понимал, почему отец так не любил жену, хотя, будучи католиком, не мог позволить себе с ней расстаться. Вошел Джеффри, «миленок». Я было решил, что он стоял в коридоре, ожидая положительного решения вопроса о финансировании новой покупки, но он, похоже, не собирался говорить о машине. Джеффри был самым заурядным человеком с одной спасительной чертой: он сознавал свою заурядность и всегда как бы неявно извинялся за нее. Он работал инспектором строительного управления в одном из лондонских районов; от природы робкий и неуклюжий, он выглядел еще более незаметным в компании моей матери, которая часто щеголяла в броской одежде. Как ни странно, такое положение вещей, по-видимому, устраивало их обоих.

Но почему я задумался об этих людях здесь, в Кларкенуэлле? Ведь они всего лишь фантомы, порожденные моей слабостью, их голоса для меня далеко не столь реальны, как форма этой комнаты на первом этаже отцовского дома или фактура камня, из которого сложены ее толстые стены. Здесь, по крайней мере, передо мной забрезжила свобода. Теперь я мог покинуть этот ужасный дом в Илинге, который так угнетал меня и действовал мне на нервы в течение последних двадцати девяти лет — то есть всю мою жизнь,— и переселиться на новое место, не имеющее, по крайней мере для меня, вовсе никакого прошлого. Поддавшись порыву внезапной экзальтации, я громко произнес в пустой комнате: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Но даже в момент произнесения этих слов я толком не знал, зачем их говорю.

Потом я заметил одну вещь. Тени вокруг меня падали под необычным углом, будто не совсем соответствуя тем предметам, которые их отбрасывали. И в душу ко мне закралось странное опасение: что тени отчего-то лежат и в тех местах, где их быть не должно. Нет, это были не тени — просто какие-то контуры, вдруг обозначившиеся на пыльных поверхностях в меняющемся свете этого летнего вечера. Так, значит, отец приходил сюда украдкой и перешагивал порог этой комнаты? И сидел здесь, как я, повесив голову? Разве не он сказал мне давным-давно, что пыль — это остатки кожи покойников?

Можно было просидеть тут весь вечер, постепенно облекаясь во все новые и новые покровы тьмы и тени, но я стряхнул с себя оцепенение. Мой чемоданчик дожидался в прихожей; в густеющих сумерках я забрал его и медленно поднялся по лестнице. Спальня и примыкающая к ней ванная были на втором этаже, и я начал распаковывать свою одежду так аккуратно, точно находился в чужом доме. Но я до того устал, что еле справился даже с этой пустяковой задачей. Я лег на кровать, закрыл глаза и очутился на Клоук-лейн. Оказывается, все прежнее только померещилось мне: я еще не входил в дом, который оставил мне отец. У него было четыре двери, одна черная, другая светлая и прозрачная, как хрусталь, третья зеленая, а четвертая красная. Я открыл первую дверь, и дом был наполнен черной пылью, подобной пороху. Открыл вторую дверь, и комнаты внутри были призрачны и пусты. Открыл третью дверь, и мне явилось водяное облако, словно дом был фонтаном. Затем я открыл четвертую дверь и увидел горн. Прежде чем я успел двинуться с места или сделать что-нибудь, рядом со мной раздался отчетливый голос: «Ну вот ты и пропал, человечек».

Я сел, уверенный, что этот голос прозвучал где-то в комнате, но уже через мгновение сообразил, что, должно быть, задремал и увидел сон. Однако краткий отдых не помог мне обрести душевный покой; стоял летний вечер, и спальня не была стылой, но пока я дремал, сюда каким-то образом закралась прохлада. Я поднялся с узкой кровати и включил электрический свет, надеясь, что он рассеет мои смутные тревоги, но лампочка оказалась слишком яркой: эту комнату строили, наверное, в начале девятнадцатого века, и современное освещение для нее не годилось.

* * *

Наутро я проснулся таким голодным, каким не бывал еще ни разу в жизни. Но несмотря на то, что еды я с собой не привез, мне не хотелось покидать дом: по непонятной причине я боялся, что не смогу найти его снова. Я лежал на кровати и ждал. Но кого или чего мог я ждать? Я не собирался заточать себя в этих стенах, точно какой-нибудь монах шестнадцатого века, сколь бы заманчивой ни была такая перспектива, и в конце концов встал с постели. Проснулся я полностью одетым, и сей-

час меня охватило отвращение к одежде, в которой я провел ночь; поэтому я снял ее и аккуратно сложил в угол. Затем умылся и оделся опять и лишь потом рискнул выйти на свежий воздух. Я зашагал по Клоук-лейн туда, откуда пришел вчера, но не утерпел и оглянулся на дом. Теперь он был моим, я знал это, но обернулся, поддавшись абсолютно немыслимому опасению: мне почудилось, будто он вдруг исчез.

Тщательно обойдя стороной церковный двор, я приблизился к Кларкенуэлл-грин и посмотрел вокруг. Место по-прежнему выглядело пустынным, даже каким-то разоренным, и пока я шел по Джерусалем-пассидж в направлении Кларкенуэлл-роуд, мне попадались только заколоченные здания, неработающие конторы да временные заборчики с потрепанными афишами, скрывающие, очевидно, незастроенные участки земли. Не было признаков ни супермаркета, ни даже бакалейной лавки; складывалось впечатление, что весь этот район существует отдельно от прочих частей города. Я остановился передохнуть у развалин монастыря Св.Иоанна, но чтобы добраться наконец до торговых точек, мне пришлось миновать еще Чартерхаус-сквер и скопление узких улочек близ Смитфилда. Что мне было нужно? Хлеб. Суп. Сыр. Молоко. Масло. Фрукты. То, что было нужно людям во все времена.

Но мне нравилось бродить вдоль полок Смитфилдского супермаркета, куда я наконец попал: сандвичи в герметичной упаковке, салаты в целлофане, пластиковые пакеты с молоком и апельсиновым соком так и сверкали на искусственном свету. Я помедлил около охлажденных продуктов и с особенным удовольствием задержался у застекленных морозильных камер — там, припорошенные инеем, лежали ломтики камбалы и цыплячьи грудки. Затем пошли полки с маринованными овощами и фруктами, ряды консервных банок с горошком и помидорами, россыпи хлебных батонов и булочек. Я был умиротворен предлагаемым мне изобилием и даже подумал, что жить в самом конце времен совсем неплохо. Когда я выходил из магазина с полными сумками, среди зеленых помойных баков и черных пластиковых мешков с мусором поднялся ветер; по улице с кричаще-яркими вывесками полетели обрывки газет и конфетные обертки, и я огляделся в поисках дороги домой.

Сначала я взял такси, но шофер не мог проехать по улочкам с односторонним движением близ Клоук-лейн, и я вышел из машины на южном краю Кларкенуэлл-грин, рядом с маленькой типографией. Я начинал понемногу свыкаться с планировкой этого района и без труда отыскал обратный путь к старому дому. Открыв калитку, я уже собирался пойти по вымощенной камнем дорожке, но внезапно отступил назад в испуге: рядом с аллеей, в зарослях сорняков и чертополоха, согнулся человек в темном плаще. Он стоял спиной ко мне, точно завязывал шнурок,— и вдруг, даже не обернувшись, метнулся в сторону, будто хотел свирепо сбить меня с ног. Однако ничего не произошло. Он растаял в воздухе или, как мне на мгновение показалось, в моем собственном теле.

Конечно, я сразу понял свою ошибку: наверное, это была просто движущаяся тень, которую отбросила неожиданно взмывшая вверх большая птица. Но я был все еще потрясен, пусть даже и обманом зрения, и поспешил к дверям дома. В холле я заметил, что разорвал правую штанину. На ней зияла широкая прореха, словно от удара ножом; должно быть, я зацепился за что-нибудь, выбираясь из такси. Вдруг меня охватила необъяснимая злость — я злился на себя, на свои страхи, на этот дом, умудрившийся так сильно вывести меня из равновесия. Спустя несколько минут я прошел на кухню и аккуратно разложил продукты по полкам. В атмосфере этого дома было что-то требующее порядка. Но аппетит у меня уже пропал, и я сидел, глядя на яркие разноцветные пакеты и бутылки, точно не понимая, что это такое.

* * *

Теперь все готово; верните ребенка домой. Слышался ровный стук, источник которого, похоже, был где-то совсем рядом. Я распрямился, очнувшись,— из горла у меня невольно вырвалось нечто вроде рыдания,— и обнаружил, что до сих пор сижу в кухне, хотя и на другом стуле; тем временем стук становился все громче и громче. Сбитый с толку, я огляделся вокруг, желая убедиться, что я в комнате один и тут нет какого-нибудь незнакомца, стучащего по стене кулаком и строящего мне рожи; но потом услышал разносящееся по тихому и скудно обставленному дому эхо и понял, что кто-то стоит у входной двери. Однако я все еще медлил. Подойдя к раковине, я плеснул себе в лицо холодной водой; затем, очень медленно и осторожно, направился в прихожую. На дорожке перед домом стоял Дэниэл Мур; он глядел на окно моей спальни, точно знал, где меня искать.

— Ты весь мокрый,— сказал он.

— Знаю. Я спал.

Он скользнул по мне любопытным взглядом.

— Я не мог тебе дозвониться.

— Тут отключен телефон.

Как мне объяснить, кто такой Дэниэл? Подобно мне, он был профессиональным исследователем, и мы так часто сталкивались в Британской библиотеке, хранилище газет в Колиндейле, Национальном архивном центре и прочих местах, что стали заговаривать друг с другом. Люди, которые работают со старыми книгами и документами, сходятся быстро — в основном, как я подозреваю, потому, что мы не очень-то в ладу с остальным миром: мы движемся назад, в то время как все окружающие по-прежнему устремлены вперед. Надо признать, что мне нравится это ощущение. Один заказчик может попросить меня разобраться в бумагах восемнадцатого века, другому нужна информация о каком-нибудь ремесленнике девятнадцатого, но я бываю равно доволен в обоих случаях: работая, я словно возвращаюсь в места, которые знал когда-то, а потом забыл, и внезапный проблеск узнавания напоминает мне кое-что и о самом себе. Иногда это дает странный и тем не менее приятный эффект: я поднимаю взор от книг и документов и обнаруживаю, что смотрю на мир вокруг себя как бы с более далекого расстояния, но вижу его более явственно, чем прежде. Настоящее делается частью непрерывного исторического процесса, столь же таинственной и непознаваемой, сколь и любая другая эпоха, и я озираюсь по сторонам с таким же счастливым интересом, какой испытал бы, перенесись я вдруг в шестнадцатое столетие. Если моя работа подразумевает особый взгляд на прошлое как на сегодняшний день, то сегодняшний день, в свою очередь, может стать частью прошлого. Я никогда не был склонен к чрезмерной откровенности и потому ни разу не заводил с Дэниэлом Муром бесед на подобные темы. Он выслушал бы меня с обычным суховатым вниманием, глядя мне в лицо своими ясными глазами, а потом перевел бы разговор на что-нибудь другое. В любом случае, он видел свою работу в ином свете: по-моему, она была для него всего лишь скромным занятием, которому он мог предаваться в одиночестве.

— Похоже,— сказал он,— что я, как обычно, слишком рано?

Я совсем забыл, что пригласил его осмотреть дом.

— Да уж конечно. Добро пожаловать в Аббатство Кошмаров.

— Спасибо, Мэтью. Ты и впрямь смахиваешь на героя готического романа. — Он уставился на мою ногу, и я с ужасом понял, что на мне до сих пор те самые, так неожиданно порванные брюки.

— Домашняя авария,— я попытался выдавить из себя смешок. — Минутку, сейчас переоденусь.

Я оставил его в коридоре, а сам побежал наверх; когда я вернулся, он осматривал комнату на первом этаже со своей обычной тщательностью, за которой угадывалось едва ли не легкое презрение. Дэниэл был невысоким бледным человеком с правильными чертами лица; сейчас он поднялся на цыпочки, положив руку на одну из стен.

— Сколько лет этому дому?

— Определи сам. Я всегда считал, что ты разбираешься в таких вещах.

— Сначала я был готов назвать восемнадцатый век, но, пожалуй, ошибся бы. Эта комната старше. Много старше.

— Мне тоже так показалось.

— Шестнадцатый?

— Possibile [1]. — Я заговорил, как моя мать, и тут же пожалел об этом.

— В Лондоне очень мало таких древних домов. Я бы сказал, тебе повезло. — Он прошел мимо меня в коридор и направился к двери, ведущей на цокольный этаж.

— Не выйдет,— сказал я. — Там заперто. — Но не успел я закончить, как он повернул ручку, и дверь отворилась. Похоже, он нимало не испугался темноты внизу, но я помедлил, прежде чем ступить за ним на лестницу. — Как ты думаешь,— прошептал я,— здесь могут быть крысы?

— Конечно. И преогромные. — Тогда это не вызвало у меня удивления, но я не почувствовал никакого запаха; не было даже намека на какую-нибудь гниль или сырость. Потом что-то мягко скользнуло по моему лицу, и я с криком отшатнулся назад; Дэниэл рассмеялся и зажег свет, дернув за не примеченный мною шнурок выключателя. — Ай, какие мы нервные!

Теперь перед нами открылось помещение полуподвального этажа — каменный

[1] Возможно (*лат.*).

пол, белёные стены и неглубокие ниши, все как бы слегка взволновавшееся под внезапным потоком лучей,— которое занимало всю площадь дома и, однако, было совершенно пустым. Дэниэл шагнул к одной из стен.

— Здесь была дверь, Мэтью. Видишь, ее заделали? — Он повернулся, явно довольный тем, что очутился в этом древнем замкнутом пространстве. — Она выходит на запад; наверное, раньше отсюда можно было попасть на берег Флита[1].

— Что плавно и неспешно катит волны.

— Как-как? — Он уставился на меня удивленным взором, но я лишь пожал плечами. — А сейчас посмотри-ка сюда. — Он указал на притолоку бывшей двери, где проступали неясные отметины; на фоне белой стены его бледная рука с тщательно ухоженными ногтями казалась чуть ли не прозрачной.

— Разве это не просто царапины?

Он вгляделся в них внимательнее, хотя следы были почти незаметными.

— Нет. Похоже на какие-то знаки.

— Наверное, дата постройки. — Я отер влажное от пота лицо.

— Знаешь, что я думаю? Раньше это не было полуподвалом. Это был первый этаж, и глинистая почва Лондона понемногу осела под ним. Твой старинный дом опускается в землю.

* * *

Мы снова сидели наверху, хотя мои ощущения слегка спутались и я не мог бы сказать с уверенностью, где мы находимся — выше или ниже уровня земли. Я извинялся за свой обморок, объясняя его тем, что не успел поесть.

— Ты и не падал в обморок,— сказал он. — Ты всего только закрыл глаза и прислонился к стене. Никаких эксцессов. — Он пристально смотрел на меня, однако невозможно было угадать, что за чувство скрывается под этим внимательным взглядом — если там, конечно, вообще что-то скрывалось. — По-моему, Мэтью, нам просто необходимо установить, кому принадлежал этот дом. Я считаю, это прямо-таки наш профессиональный долг.

— Я не уверен, что хочу это знать. — Мне не сиделось на месте, и, встав со стула, я подошел к небольшому деревянному столику у одного из узких окон этой старинной комнаты; окно смотрело на запад, туда же, куда и слепая дверь на цокольном этаже, и сквозь пыльное стекло виднелась Фаррингдон-роуд, текущая там, где раньше пролегало русло Флита. Коснувшись руками полированного дерева, я случайно наткнулся на ручку выдвижного ящика; глянув вниз, я открыл ящик и обнаружил в нем стеклянную трубку, напоминающую лабораторную пробирку почти двухфутовой длины с каким-то странным загибом на конце. Она пробудила во мне отвращение, и я поскорее задвинул ящик. — Надоело сидеть в четырех стенах,— сказал я Дэниэлу. — Пойдем перекусим?

Он не ответил, и я повернулся к нему. Его не было. Он исчез, и во внезапной панике я выскочил из комнаты — но сразу же увидел, как он с торжествующей улыбкой спускается ко мне по лестнице.

— Я просто хотел взглянуть, как там и что,— произнес он. — Спросил разрешения, но ты был за много миль отсюда.

— Я не...

— Ты о чем-то задумался. Смотрел в окно. Ну я и решил действовать на свой страх и риск. Кажется, ты говорил что-то насчет прогулки?

Когда мы вышли, я оглянулся на дом и впервые заметил, что фасад первого этажа, отнесенный мною к восемнадцатому веку, был всего лишь камуфляжем, оболочкой, скрывающей внутренность шестнадцатого века. И я ощутил на своих плечах новую ответственность: словно какое-то заблудшее существо подошло, приласкалось ко мне и теперь безмолвно взывало о том, чтобы я принял на себя заботу о его тихой жизни. По крайней мере, таково было мое тогдашнее чувство.

* * *

— Ага. Вот и кларкенуэллский колодец[2]. — Мы направлялись к площади и только что покинули Клоук-лейн, как вдруг Дэниэл обнаружил укрывшуюся от моего внимания достопримечательность этого района. Перед нами была металлическая

[1] Эта лондонская река была заключена в трубу в XVIII веке.

[2] В переводе с английского слово «Кларкенуэлл» означает «колодец клириков».

лесенка, ведущая вниз, к круглому отверстию в земле; тут были даже деревянное ведерко и маленькая модель колодца, показывающая, как он выглядел пять столетий тому назад. Все это находилось в пристройке к какому-то учреждению на улице рядом с церковью Св. Иакова и было защищено толстым стеклом — потому я сегодня и прошел мимо, ничего не заметив. На прикрепленной к ведерку бумажке было что-то написано от руки, и я согнулся, чтобы разобрать надпись: «Здесь был колодец, выкопанный в двенадцатом веке, — тогда он назывался Колодцем клириков. Во время рождественского поста на этом месте устраивались религиозные спектакли, так как колодцы часто считались символами источников духовных благ». Живая вода. И перед моим мысленным взором встал древний Кларкенуэлл, край холмов и бегущих ручьев,— а нынче грунтовые воды текли в мой дом по трубам.

— Смотри-ка, интересно. Но нет. Это не поможет нам разгадать тайну. — Я выпрямился и подошел к Дэниэлу, изучающему маленькую карту, которая была приклеена к толстому стеклу с обратной стороны. — В шестнадцатом веке всю эту территорию занимал женский монастырь. — Он посмотрел на меня с какой-то очень странной улыбкой. — Я гляжу, тут немногое изменилось. — Потом он снова перевел взор на карту. — Твой дом не обозначен как отдельное жилье.

— Так, значит, я живу в обители монашек?

— Может, он был не обителью, а каким-нибудь подсобным строением. Но ты не волнуйся. В шестнадцатом веке люди себя в стены не замуровывали. — Но я уже успел представить себе, как они тихо передвигаются вдоль толстых каменных стен моего дома и мягко ступают по полу большого помещения, с тех пор наполовину ушедшего под землю. — В любом случае, кто-то ведь должен был жить там и после Реформации. Твой дом уцелел.

А что еще уцелело? Я мог вызвать в воображении священные холмы и луга Кларкенуэлла, но столь же отчетливо, во всех подробностях, помнил и свою утреннюю прогулку по улицам, пролегающим теперь поверх них. На Кларкенуэлл-роуд было так много мастерских по изготовлению и ремонту часов, а в переулках, ведущих вниз, к Смитфилду и Литл-Бритн, такое множество маленьких типографий — они ли выбрали это место или само оно каким-то образом выбрало их? Есть ли здесь какая-нибудь связь с пилигримами, приходившими некогда к этому колодцу?

— По-моему, тут что-то необычное, Мэтью. Видишь, прямо за монастырем был средневековый бордель? Кажется, на улице Тернмилл-лейн? — Он быстро повернулся на каблуках, и взгляд его ясных глаз скользнул по окружающим нас зданиям и перекресткам, прежде чем устремиться в направлении станции «Фаррингдон».

— Я ее знаю,— сказал я, пытаясь проследить, куда он смотрит. — Сейчас там одни конторы.

Мы миновали площадь и уже зашагали по нынешней Тернмилл-стрит, как вдруг нам пришлось остановиться. У входа в одну из контор без вывески стоял полицейский фургон, и на наших глазах из дома вывели трех женщин. Одна из них осыпа́ла полицейского бранью, и Дэниэл, похоже, был сильно потрясен этим зрелищем: в воздухе буквально запахло насилием.

— Ненавижу сцены,— пробормотал он. — Ты не против, если мы пойдем обратно той же дорогой?

Я хранил молчание, пока мы не свернули за угол. Затем произнес:

— Если ты обещаешь не смеяться, я расскажу тебе кое-что очень любопытное.

— Попробую.

— Около года тому назад я гулял у Темзы. Знаешь, рядом с Саутуорком? И вдруг мне почудилось, будто я вижу мост из домов. Мерцающий мост, перекинутый через реку.

— Мост на Темзе обвалился, обвалился, обвалился...[1]

— Нет, серьезно. Это был словно мост из света. Я видел его только одно мгновение, а потом он исчез. Но на один миг оба берега соединились мостом.

— Это могло быть что угодно, Мэтью. — Почти не прислушиваясь к моим словам, он обернулся и посмотрел на отъезжающий полицейский фургон.

— Но было и еще кое-что. Ты слушаешь, Дэниэл? Когда я смотрел на этот мерцающий над водой мост, мне почудилось, будто я вижу людей, идущих по нему вдоль полосы света. Они поднимались и опускались все вместе, точно шли по волнам. Но ты, конечно, ничему этому не поверишь.

Несколько секунд он молчал.

[1] Начальные строки детской песенки: «Мост на Темзе обвалился,/ обвалился, обвалился,/ мост на Темзе обвалился,/ милая моя...» Ею сопровождается игра, участники которой по двое пробегают под «мостиком», образованным руками других пар.

— Может быть, мы все-таки пообедаем? Я страшно проголодался.

На другой стороне площади, примерно в двадцати ярдах от священного колодца, был итальянский ресторанчик, и Дэниэл побежал туда так, словно за ним гнались. Я настиг его только внутри, когда он уже уселся за один из столиков.

— Вот что я придумал,— сказал он. — На следующей неделе постараюсь разузнать об этом доме побольше.

Я сменил тему и, пока мы ели, пытался обрисовать свои планы на будущее — говорил, что собираюсь переехать в Кларкенуэлл насовсем, что отделаю и заново меблирую комнаты, что обращусь в какую-нибудь фирму по разбивке садовых участков и велю им очистить от мусора и засадить пустырь вокруг дома. Я толковал лишь о ремонте да переустройстве; при этом как бы подразумевалось, что прошлое дома не имеет значения.

— Теперь, когда ты богат,— внезапно сказал он, точно мы и не беседовали ни о чем другом,— тебе, наверное, неинтересно по-прежнему рыться в библиотеках...

— Я не стану бросать работу только потому, что получил наследство.

— Ну и глупо, по-моему. Но ты не дал мне закончить. Если ты собираешься заниматься другими вещами, то я вполне готов предпринять небольшое расследование.

Его слова вызвали у меня тревогу.

— Нет. Не надо. Это мой дом. Я хочу выяснить все сам.

Похоже, он был разочарован.

— И как далеко ты намерен зайти?

— Пойду назад. До самого начала, если потребуется.

Вскоре мы покинули ресторан. Дэниэл сказал, что у него назначена встреча в другой части Лондона, а я решил как следует насладиться летним вечером. Усевшись на погосте у церкви Св. Иакова, я посмотрел поверх крыш туда, где стоял старый дом. И вдруг заметил какое-то движение: это могла быть летучая мышь, но мне на мгновенье померещилось, что над Клоук-лейн взмыл в небо темный человеческий силуэт.

## *Зрелище*

«А куда делся летающий человек? — спросил у соседа один из толпы, наблюдавшей эту сцену. — Где была проволока?»

«Не видел я никакой проволоки. Это было что-то вроде волшебства на старинный манер».

«Обман зрения,— сказал другой, дерзкий низкорослый человечишка в зеленой куртке и кожаном камзоле. — Все это чистые ребячьи забавы».

Я с удовольствием привязал бы его к задку телеги да высек за столь пустые слова. Обмана здесь не было, нет, и волшебства тоже; была тауматургия, или наука чудодейства. Сие есть математическое искусство, которое упорядочивает видимость и весьма необычным образом влияет на человеческое восприятие. Итак, я, доктор Ди, пришел, дабы поразить ваш разум своими mirabilia[1] ; перед вами созданные мною картины и образы, лукаво притягивающие взор,— и разве может проникнуть в их тайну какой-то простолюдин, олух, глазеющий на них с яблоком или куском сладкого пирога во рту? Во всех делах этого мира, доступных нашему постижению, есть нечто истинное и нечто ложное — так кто здесь может сказать мне, что реально, а что нереально?

Чудеса сии творятся разными способами: иные с помощью пневматики, иные благодаря натянутым веревкам или пружинам, имитирующим движение живых существ. Краска лучше ложится на шероховатые стены, нежели на гладкий мрамор, и потому в колеблющемся свете мой искусственный дом выглядит достовернее. Мои свечи возжжены за бутылями из окрашенного стекла, а блестящий таз посылает их многоцветные лучи на сцену, и каждый зритель может усложнить для себя игру света и тени. Однако все имеет свой источник, или корень, в оптической перспективе, каковая пересоздает мир в согласии с направленьем лучей и естественных линий. Начало чудесам дает свет, посредством своих эманаций правящий всеми деяниями и страстями в сем низшем мире. Так пусть же сие зрелище изобилует светом, в то время как дом поворачивается вокруг себя и тем-

[1] Здесь: чудесами (*лат.*).

ный силуэт старца взмывает над городом. Дивясь тому, что происходит у них на глазах, люди покидают телесные оболочки и в воображении своем взлетают вместе с ним к первопричине. Слова мои просты и ясны, однако смысл их более глубок, чем вы думаете.

До сего дня я сотворил много дивных вещей. Однажды я смастерил летающего деревянного голубя, во многом подобного статуе Диомеда, что играет на трубе, а созданный мною в пору далекой юности скарабей Аристофан поднялся на самый верх Тринити-холла[1]. К тому времени я уже знал историю механических чудес и вычитал их секреты в старинных книгах: у Агеллия прочел о деревянной мухе, которую заставлял парить в воздухе математик Архит; у Платона — об удивительных изделиях Дедала; у Гомера — о машине Вулкана, приводимой в движение скрытыми колесами. Да и в Нюрнберге появился недавно железный жук — выпущенный из руки умельца, он облетел гостей за столом, а затем, будто бы смертельно устав, снова вернулся на руку хозяина. Более того — встречь направляющегося в тот же город императора был послан искусственный орел; одолев большой путь, он достиг цели, развернулся и, все еще держась в небе, сопровождал властелина до самых ворот. Вот так мы побуждаем сгустки мертвой земной материи оживать и вырываться за пределы своей обычной сферы.

Однако существуют более поразительные чудеса, и их умею творить только я. У меня есть особое зеркало; оно порождает изображение, висящее в воздухе меж вами и его поверхностью, и благодаря законам перспективы я могу создать много необычных вещей: вы войдете ко мне в комнату и явственно увидите золото, серебро и драгоценные камни, но стоит вам протянуть руку — и вы убедитесь, что все это лишь пустота. С помощью ветра, дыма, воды, грузов или пружин я могу тронуть вашу душу самыми разными видениями. И вот сегодня я заставил человека воспарить в воздух.

Я приехал сюда месяц назад, дабы сконструировать механизм зрелища. Натаниэл Кадман, джентльмен, горячо упрашивал и молил меня подготовить представление в честь передачи ему наследства; и поскольку доля его земель находится за больницей для бедняков, где совсем недавно был воздвигнут огромный деревянный амбар, представление решено было устроить именно здесь. Это чуть правее и далее Шордитчской церкви, по ту сторону дороги, идущей из Бишопсгейта и Хаундсдитча, почти сразу за Хог-лейн, где ныне то и дело вырастают маленькие домики. Всякое утро я приезжал сюда верхом из Кларкенуэлла, скача весьма резво на рассвете дня, когда туман плотен, как добросовестно сбитое масло, и роса блестит на загородных полях, точно лягушечья икра. Обыкновенно я еду по Кларкенуэлл-роуд и пересекаю Сент-Джон-стрит среди телег и подвод, текущих в город с ферм близ Хокли — в этом приходе, где ютится и мой печальный неуклюжий дом, мне знакомы каждый сад, каждая беседка, каждый флюгер и каждое тисовое древо. Кратчайший путь лежит через Пардонское кладбище и Олд-стрит, движение по коей ныне чрезвычайно затруднено скамьями сапожников, лотками торговцев снедью и штопальщиками чулок, которые выставляют на обозрение свои трухлявые вывески, точно находясь в центре города; здесь я тоже быстро проезжаю мимо белого креста далее, на Чизуэлл-стрит, ибо опасаюсь карманников — в ближайших подворотнях их всегда великое множество. Моя сумка из собачьей кожи накрепко привязана к поясу, так как я знаю, что сии мерзавцы, подобно червю в соломине, видят все, сами оставаясь незримыми. Затем я миную ветряные мельницы на Финсбери-филдс — топи и трясины сей заболоченной местности распространяют вокруг себя невыносимый смрад — и наконец добираюсь до Хог-лейн и Кертин-роуд. Прежде здесь охотились на лис; в те годы Маллоу-филд и Банхилл-филд оглашались звуками рога и победными кличами верховых, затравивших зверя, однако ныне все это прочно забыто и там, где в былую пору зеленели ровные лужайки, воздвигнуты многочисленные здания. Далее я следую вниз по Шордитчу и въезжаю на Колд-лейн, которая совсем недавно была лишь грязной дорогой, ведущей в поля, а ныне по обе стороны застроена маленькими домиками. Затем я попадаю на луг, где неделю или две тому назад встретил меня приветствием Натаниэл Кадман. Это был юный повеса, крепыш, облаченный в камзол из черной тафты и щегольскую кожаную куртку с хрустальными пуговица-

[1] Тринити-холл — колледж Кембриджского университета.

ми; рукава его нового камзола облегали запястья весьма ровно, а прорезь кармана на изящных белых штанах до колен была не без вкуса отделана кружевами. Что за удивительная тварь человек, сказал я себе, слезая с лошади: о своем камзоле он печется более, нежели о своей судьбе.

«Итак, пытливый ведовщик,— произнес он, приближаясь ко мне,— что нынче у вас в суме? Какие еще бумаги привезли вы для подготовки нашего праздника?»

«Наше зрелище делается не ради пустого увеселения толпы, как в Хаундсдитче или на Чипсайде,— отвечал я. — Я захватил с собой описания своих новейших открытий в геометрии и оптике, а также технических ухищрений, основанных на пропорциях мер и весов».

Я знал, какую приманку надо использовать: услыхав слово «новейшие», он сразу навострил уши.

«Человеку дано творить много удивительных вещей,— сказал он. — Позвольте мне?..» Он взял у меня бумаги и стал просматривать их, точно что-нибудь смыслил. «Вы не пожалели чернил, доктор Ди, но для меня все это темный лес. Я не принадлежу к вашему ордену Inspirati[1] — так, кажется, вы себя именуете?» Речь его лилась бойко, и я лишь кивал, не успевая вставить ни слова. «Мне не понять и строки из ваших сочинений».

Ну и бес с тобой, мелькнуло у меня в голове; однако я с терпеливым видом взялся объяснять ему, что те, кто наиболее упорно изучал свойства пространства, занятого веществом, и постиг, что поверхности соседствующих элементов соединяются под воздействием вечносущих природных сил, умеют производить удивительные опыты. Воздух, огонь и вода стремятся в разные стороны согласно своим естественным влечениям, и задача механика состоит в том, чтобы направить их ход в нужное русло.

«А посему наука гидравлика,— закончил я,— позволяет нам воплощать замыслы весьма дерзновенные».

«Хитроумный вы человек, доктор Ди...»

«Таково мое ремесло».

«...и деяния ваши по-прежнему для меня тайна».

Я улыбнулся про себя, подумав, как озадачил его.

«Здесь нет никакой тайны,— ответил я,— помимо той, что лежит в основе всего мира, построенного на взаимопроникновении стихий».

«Но все это сложные и неудобоваримые материи. Гидравлика. Стихии. Мало кого интересует подобная чепуха». Он улыбнулся, отвесил поклон и вернул мне бумаги. «Однако люди непременно будут в восторге от вашего зрелища».

«Что ж, все служит единой цели, Натаниэл Кадман. Я доволен». Тут он запахнул свою синюю бархатную епанчу и вместе со мной зашагал к деревянному амбару, где готовились декорации. Воистину, ты похож на павлина, подумал я: тот тоже чванится своим блестящим оперением, но испачканные навозом ноги выдают в нем простого обитателя птичьего двора.

Когда мы вошли, плотники, столяры и маляры усердно трудились, хотя до нашего прибытия они явно не слишком налегали на работу. Их хлеб достается им нелегко; кроме того, они должны соблюдать осторожность, ибо крушения помостов, сцен и декораций, а также небрежное обращение с механизмами, огнестрельными орудиями и порохом, используемыми в спектаклях, часто влекут за собою увечья и гибель людей. Конечно, кровь есть сок, взлелеявший всех нас, но я не желал бы, чтобы мой собственный отпрыск увидел, как ее проливают вотще. Впрочем, одних благих намерений в сем деле недостаточно, и еще прежде начала работ я собрал для себя маленькую модель из дерева и бумаги — кусочек к кусочку, сочленение к сочленению — и с ее помощью в подробностях разыграл весь спектакль. Ныне, войдя в амбар, я убедился, что подготовка движется согласно замыслу: один помост был расположен на уровне глаз, второй — над ним, а третий — под углом, дабы легче было видеть сцену. Тем временем мастеровые работали с деревом и медью, с оловом и свинцом, создавая такой шум, что я едва мог расслышать собственные мысли. На подмостях были свалены шкивы для облаков, обручи и голубое полотно для неба, а также человеческие фигуры, вырезанные из картона и раскрашенные белым и розовым. Живописец, Робин Микс, трудился не покладая рук, и моему взору предстали готовый дом и улицы вокруг, оконные и дверные проемы, обманный мох и цветы из клея и бумаги. В середине сцены уже

[1] Здесь: посвященных (*лат.*).

появились расписные двойные двери, коим надлежало распахиваться под действием особого механизма; за фальшивой стеной, снабженной величавыми бутафорскими колоннами, были укрыты двигатели и рычаги для поднятия моих фантомов в воздух.

Микс приблизился ко мне и отвесил глубокий поклон.

«Мой добрый доктор,— сказал он,— beso los manos[1]. Как поживаете?» Это был маленький человечек в ладно пригнанной одеже из тафты и с бутоньеркой, запах коей перебивал исходящее от рабочих зловоние.

«Хорошо, слава Богу».

«Не поминайте здесь Бога, мой добрый доктор. В этих стенах стоит такой шум, что меня невольно преследуют мысли об аде. Как и всякий другой, я люблю лицедейства и зрелища, но подготовка к ним может свести с ума!»

Я уже собирался выразить неудовольствие по поводу небрежно брошенной на пол цветной ткани, однако решил не спешить с этим и удостоил его улыбкой.

«Всякое большое дело требует времени,— ответил я,— ведь мы так несовершенны».

«Я ожидал от вас подобных слов, доктор Ди». Он говорил столь дерзко и развязно, что мне захотелось ударить его. «Но я многое отдал бы за то, чтобы нашей трагедии предшествовала *немая* сцена».

Он рассмеялся собственной шутке, и мне пришлось осадить его. «Уж коли вы заговорили о трагедиях, мистер Микс...»— и тут я напомнил ему несколько правил относительно иерархии представлений: что для трагедии нужно иметь на сцене колонны, возвышения и скульптуры, тогда как для комедии довольно балконов и окон. «А что до идиллий,— продолжал я,— то здесь нам потребны ваши деревья, холмы и травы».

«Шелк,— сказал он. — Шелк для цветов. Он гораздо лучше даже того материала, что использует сама природа». Он слегка повернулся, будто в танце. «Боже милосердный, какое великолепие можно сотворить из тонкого шелка различных оттенков — какое изобилие плодов и деревьев, цветов и трав! А не угодно ли вам ручьев с хрустальными берегами и перламутровым руслом? А ракушек из слоновой кости, лежащих между камнями? О Боже милосердный!»

«Когда ваши деревья и цветы канут вниз, мистер Микс, произойдет еще большее чудо».

«Вниз?» — по его изнеженному лицу прошла легкая тень изумления.

«Под сценой будет спрятан механизм; когда его включат, все ваши декорации медленно опустятся».

«И что же мы увидим вместо них?»

«О! чудо, мистер Микс, чудо».

* * *

Так и случилось, когда отдельные части всей картины начали приходить в движение. Звуки виолы и лютни исподволь услаждали душу, и музыка таинственным образом превращалась как бы в символ всего зрелища; в завораживающих переборах струн слышались созвучия, подобные эху самой небесной гармонии. На моей сцене слились воедино нумерология, геометрия и астрология. В сопровождении музыки появился усеянный звездами небесный свод — множество сияющих светил на иссиня-черном фоне; а затем на том же волшебном фоне возникли одиннадцать небесных сфер, дивно вращающихся вместе с планетами и звездами. Ничто не погибает, но все пребывает в вечности, а именно: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, неподвижные звезды небесной тверди, кристальное небо, перводвигатель и, наконец, — высшее небо, которое есть божество и источник всей нашей жизни и света.

Засим небесный купол разверзся, и оттуда внезапно спустились круги из стекла и света, один в другом, все внутри некоей сферы и все словно бы в постоянном вращении; каковые свет и перемена форм сразу приковали к себе глаза толпы, и люди уже едва замечали над этой блистающей сферой бесконечное множество ярких огней, льющих свои лучи вниз, на сцену. То были неподвижные звезды, кои всегда одинаково отстоят друг от друга и не могут ни сблизиться, ни разойтись ни на йоту. И в тот же миг раздалась

[1] Здесь: ваш покорный слуга (*исп.*).

более громкая и звучная музыка, harmonia mundi[1], подобная самому перводвигателю, что предвосхищает собою все сферы; после чего, когда перед ними возник сей великий образ, в рядах зрителей распространилось сладостное благоухание. Образ — нет, не образ, но символ. О, картина небесного мира, уменьшенная в неизмеримое число раз! О, двояковыпуклое стекло, благодаря коему мы можем лицезреть на земле все пропорции и чудеса рая! И вот тогда с раскрашенного свода вселенной спустились три парящие в воздухе фигуры (их удерживали невидимые глазу железные цепи) в царственных облачениях из белого, черного и красного — они символизировали собою астрологию, натурфилософию и оптику, кои помогают нам узнать тайную суть природы. Потом на все пала завеса тумана и тьмы, и представленье окончилось.

Засим послышался гул голосов, точно в амбаре загудели целые рои мух. Были такие, что сидели молча, не в силах объять разумом увиденное; прочие же со всем пылом обсуждали достоинства механизмов, декораций и тому подобное.

«Здесь нет ничего нового,— изрек один. — Все это лишь замаскированное старье. И почему только он мусолит старые фабулы, когда настоящее предлагает столько интересных тем?»

«Новомодные штучки,— сказал другой,— а что в них проку? Как будто новизна что-то значит».

«Словно в краю вечных льдов,— сказал третий. — Нет человеческих деяний и страстей, могущих тронуть нас».

Иные же лишь потягивались, да вздыхали, да пялились на своих товарищей рядом. Я стоял сзади, склонив голову, в черной бархатной накидке и черной мантии, уподоблявших меня почтенному служителю церкви. Я не промолвил ни слова, однако все примечал, и мое сердце уходило все ниже и ниже: для чего готовил я свое зрелище, по завершении коего большая часть зала принялась зевать и чесать в затылках, словно вовсе ничего не увидя? Я распахнул перед ними сокровенные глубины ведомого мира, но небесные сферы были для них не более чем детскими цацками, трюкачеством и обманом, ровно ничего им не говорящими. Неужели истинное знание всегда достигается лишь таким путем? Я, потративший столько сил на подготовку этого редкостного зрелища, был удостоен едва ли не меньшего внимания, чем какой-нибудь старый лгунишка-математик, на чьи рисунки глядят мельком один раз, а потом забывают. Да, я творил чудеса, но воистину нет дива большего, нежели глупость и забывчивость тех, кто населяет сей мир.

Натаниэл Кадман подошел ко мне, глупо улыбаясь, что делало его похожим на плутливого уличного мальчишку.

«Вот моя рука,— сказал он. — Возьмите ее. Клянусь Богом, сэр, я люблю вас. Я не любил бы вас сильнее, будь вы даже наследником целого королевства». Я поклонился ему. «Дабы выразить свои чувства словами, мне не хватило бы и тысячи лет...»

Но тут его хлопнул по спине другой бездельник, и он мигом замолк. «Так это он? — спросил подошедший. — Это и есть твой умелец? Тот самый доктор?»

Натаниэл Кадман помахал рукой, точно француз. «Наш достопочтенный мастер, Джон Ди»,— сказал он.

«Ваш покорный слуга, сударь»,— отвечал я с очередным поклоном, сплетя под накидкою пальцы и не размыкая их.

«Когда он был *моим* покорным слугой,— присовокупил дуралей Кадман,— это стоило мне более ангелов[2], чем наберется в раю».

При этих словах я осенил себя крестом. Новоприбывший джентльмен (а вернее, просто-напросто неоперившийся юнец) был облачен в щегольское платье с чудовищно огромным батистовым воротником и сапоги, которые достали бы ему до самых глаз, если б не препона из кружев на уровне шеи. «По-моему,— сказал он, представясь как Бартоломью Боудель,— я знал вас и прежде?»

«Если вы знали меня прежде, сударь, тем легче вам будет узнать меня теперь».

«О, так вы платонист, сэр. Пощадите. А я-то думал, что вы обычный механик».

«Мир полон ошибок и лживых слухов; жизнь слишком коротка, чтобы

[1] Мировая гармония (*лат.*).
[2] Ангел, ангел-нобль — золотая монета, имевшая хождение в ту пору.

опровергать их все».

Услыша эту отповедь, он замолчал, но тут к нам присоединились другие приятели Натаниэла Кадмана того же пошиба и стали уговаривать нас отобедать вместе. Я не ищу себе спутников, будь то светские кавалеры или извозчики, ибо они отвлекают меня от беседы с самим собой, которая так помогает моей работе; долгое пребывание в обществе повергает меня в столь глубокую пучину сомнений и недовольства, что я едва отдаю себе отчет в своих поступках. Однако на сей раз я не видел способа уклониться: они приветствовали меня льстивыми речами и настойчиво упрашивали поехать с ними в город. «Но мои механизмы,— сказал я,— и все декорации к зрелищу следует сохранить в неприкосновенности».

«За одну ночь их не под силу испортить ни крысам, ни паукам,— промолвил Натаниэл Кадман,— и я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь злодей или мошенник умыкнул ваши сферы и звезды. Вы напрасно тревожитесь, доктор Ди. Скоротайте часок с нами, вашими почитателями. Давайте поедем в таверну».

Когда я ответил на эту вежливую просьбу согласием, мне померещился чей-то шепот: «А доктор-то не дурак поесть»; однако я не обернулся, но зашагал чуть впереди них и устремил свой вспыхнувший взор в поля, дабы излить туда гнев. Был весьма приятный тихий вечер, и все сошлись на том, чтобы оставить своих лошадей пастись на лугу (под присмотром слуг, которые уберегут их от конокрадов) и отправиться к городским воротам пешком. Молодые люди выбрали «Семь звезд», что на Нью-Фиш-стрит,— в этом трактире, или харчевне, подавали свежую убоину,— и посему мы вступили в город со стороны Артиллери-ярда и Фишерс-Фолли. К тому времени, как мы добрались до Бишопсгейт-стрит, эти лодыри совсем разрезвились и скакали, точно молоточки в клавесине; благодаря кружевным манжетам, шелковым чулкам, плоеным воротникам и драгоценным побрякушкам их можно было бы принять за труппу итальянских фигляров, кабы не английские проклятья, коими они сыпали в изобилии.

Когда мы миновали Бишопсгейт-стрит и пошли по крутым извилистым переулочкам, весьма напоминающим подъем на колокольню Св.Павла, даже этим обезьянам стало нелегко держаться поодаль от стен; они пробирались меж тесно понастроенных городских жилищ, распихивая идущих под сумеречным небом носильщиков и лоточников с воплями: «Позвольте! Позвольте!» У одного бездельника была с собою резная деревянная трость, которой он лупил по вывескам на домах и лавках; видя, как неистово сотрясаются в вечернем воздухе изображения солнца, луны, а также различных зверей и планет, я едва сдерживал негодование. Здесь и так стоял невероятный шум — мимо тащили бочки, повозки и лестницы, а лошадей и быков то и дело потчевали кнутом,— усугублявшийся вдобавок криками бакалейщиков и кузнецов, торговцев тканями и скобяным товаром, чьи сердитые возгласы мешались с общим гамом прохожего и проезжего люда.

Выйдя на Темза-стрит — мои пустоголовые спутники всю дорогу валяли дурака, перепрыгивая через деревянные столбики на обочине,— мы наткнулись на компанию пестро одетых штукарей, показывающих трюки, от коих с презрением отвернулся бы любой подмастерье, а именно вынимающих кольца из скатерти и цветные шарики из чашек. Подобно туркам, они выделывали курбеты около костра, и тут один из приятелей Натаниэла Кадмана, хлыщ в шляпе без ленты и с заколками на поясе, вскочил к ним в круг, подцепил своей рапирой два кольца и швырнул их в воздух. Тогда главарь труппы, человек с впалыми щеками и носом величиной с амстердамский сыр, выхватил кинжал и принялся размахивать им. «Ах ты, негодяй! — завопил он. — Ах, негодяй!» Однако наш повеса только рассмеялся в ответ и пошел своим путем; фокусник же поднял камень и запустил ему вслед, как собаке, после чего, еще дрожа от ярости, возобновил свое прежнее занятие. Вот так, подумал я, все плоды нашего умения и труда идут на потребу зубоскалам, что презирают нас и издеваются над нами; и кто я для мира, если не уличный шут, все знания коего служат одной цели — надуть своего ближнего? Прогулка с этими чуждыми мне буянами могла бы ввергнуть меня в полное отчаяние, но, пробираясь по шумным и зловонным улицам, я мало-помалу восстановил душевное равновесие. Величавое солнце клонилось к закату над крышами; те заалели, точно кровь, и все старые камни города вдруг как бы объяло огнем. О, пусть только повелители света приоткроют свои лики, пусть распахнут окна своих тайных чертогов, и все будет спасено!

Наконец мы добрались до Нью-Фиш-стрит и харчевни, стоявшей бок о бок с посудной лавкой. Здесь царили шум, грязь и теснота; даже самые бревна были, казалось, источены червями до сердцевины, и я содрогнулся, точно готовясь вступить в собственную могилу. Войдя в зал, мои спутники сразу сбросили плащи, и откуда-то тут же выскочил кабатчик, крича: «Добро пожаловать! Скатерть джентльменам!» Нас усадили на деревянные табуреты, за длинный, потемневший от времени стол на козлах, испещренный таким количеством щербин и царапин, что их можно было счесть за каббалистические письмена. Засим прибежал половой со своими «Чего изволите?» и «Что бы вы желали откушать?» Именно эти слова, а не волшебные поэтические строки являются истинным знамением времени, однако и им суждено кануть в ночь праха. «Что вам угодно?»— еще раз спросил он и получил заказ на жаркое и выпивку — не на какой-нибудь жалкий кувшин эля, известного под названием «Бешеный пес», или «Подыми ножку», или «Пей-гуляй», а на хорошее вино с добавкой сахара по нынешней моде. Натаниэл Кадман велел подать рагу из баранины, и гуся, и куликов, а все прочие щеголи вокруг него повытаскивали свои табакерки и принялись плевать на устланный камышом пол. В зале было невыносимо надымлено; но разве не учит нас Парацельс, что материальный мир есть просто-напросто сгустившийся дым?

Потом они стали болтать, смеяться, отпускать разные замечания, и все это так громогласно и со столь глупым шутовством, что у меня заболела голова; они уже порядком выпили, и тут со мною заговорил франт, сидящий напротив.

«Вы глядите на нас сычом, любезный доктор. Помилуйте. Неужто наш смех оскорбляет вашу непостижимую мудрость?»

«Я жду своей доли жаркого»,— был мой ответ.

«А может, вам не по вкусу это местечко? Или компания?»

Мне надоело сносить его колкости. «Нет, сударь, для меня все едино. В тазу, говорят люди, всякая кровь одного цвета».

«Ах, стало быть, вот что говорят люди? Но я вам скажу, что они говорят еще, любезный доктор. Они говорят, что вы гадаете по планетам и звездам, составляете гороскопы и занимаетесь иными предсказаниями. Что у вас в ходу ворожба, нашептывания и амулеты».

«Вы высоко забрались в своих речах,— отозвался я, стараясь сохранить доброе расположение духа. — Что ж, и у самых низких деревьев есть верхушки».

К этому мигу разговоры за столом успели стихнуть, но тут все рассмеялись, и мой франт воспылал гневом. «Я слыхал, что в былые времена,— произнес он,— чародеи и им подобные считались проходимцами».

На стол поставили дымящееся жаркое, и я поймал готовые слететь с моего языка слова, а именно: «Чтоб тебе в аду обезьян нянчить!» Но хотя его друзья сразу же занялись трапезой, этот продолжал исторгать из себя свои жалкие мыслишки. «Я не из числа ваших преданных учеников,— сказал он,— и вы не сможете заморочить меня своими чарами, магическими знаками и анаграммами. Вы велите мне помочиться сквозь обручальное кольцо, чтобы моя жена понесла? Да я лучше буду ходить с вязовым прутиком, чем с вашим дурацким посохом Иакова! Все ваши детские забавы и цацки ничего для меня не значат».

Услыша такую глупость, я рассмеялся, но он по-прежнему пялился на меня, и я отложил хлеб с ножом. «Я бы с легкостью опроверг все ваши безрассудные обвинения, кои вы, несомненно, почерпнули у какого-нибудь болтуна, любителя плести байки. Однако я не расположен спорить на эту тему. Не теперь. И не здесь».

Но он вцепился в меня, будто рак. «Вы, верно, опасаетесь злоумышленников, которые, притаясь под стеной или окном, могут вызнать у вас тайны человеческой души? Однако, сэр, эта лошадь уж давно сорвалась с привязи; у нас в городе многим не по нраву ваши занятия...»

«Злобные и презренные людишки».

«...а кое-кто говорит, что вы вероотступник, воскрешающий мертвых и созидающий новую жизнь».

Я протянул вперед руку и заметил, что она дрожит. Сам того не ведая, он коснулся истины, которая была выше его понимания, и поверг меня в глубочайшую скорбь — но что мог я ему ответить? Стараясь не терять присутствия духа, я улыбнулся. «Только что вы убеждали меня в своем неверии, а теперь толкуете о воскрешении мертвых. Право же, вы как младенец».

«Я передаю чужие слова, любезный доктор. Сам-то я в это не верю. Ходят слухи, что вы неудачливый алхимик, маг, не способный исполнять свои деяния без тайной помощи сами знаете кого».

Мое терпение кончилось. «Это грязная клевета,— сказал я,— в которой нет и золотника правды». Он лишь рассмеялся в ответ, и мой гнев возрос. «Неужто болтовня дураков и измышленья завистников стали для всех вас новым евангелием? Неужто мое доброе имя и слава зависят от людей, стоящих настолько ниже меня, что я их едва замечаю?»

«Напрасно не замечаете».

«Достанет с меня и того, что их нельзя не слышать. Вы жадно внимаете их россказням, и вот вам результат — я исподтишка заклеймен как пособник дьявола и заклинатель злых духов». К этому времени все они уже основательно напились и даже не смотрели в мою сторону — не отвлекался только щеголь напротив. «Всю свою жизнь,— продолжал я уже более спокойно,— я упорно добывал знания. Если вы сочтете меня вторым Фаустом — пусть будет так». Затем я велел подать еще вина и спросил у этого невежи, как его зовут.

«Бартоломью Грей»,— ответил он, нимало не смущаясь, хотя лишь секунду назад был свидетелем моего раздражения и, так сказать, уже раз о меня ожегся.

«Что ж, мистер Грей, пожалуй, вы с лихвою наслушались басен. Не желаете ли теперь почерпнуть толику мудрости, дабы вернее судить о вещах?»

«С радостью, любезный доктор. Но, прошу вас, не ешьте больше соли, иначе ваш гнев перехлынет все границы».

«Не страшитесь гнева, мистер Грей, если вам не страшна правда».

«Откровенно говоря, я не страшусь ничего, а потому продолжайте».

«В теченье последних тридцати лет,— начал я,— пользуясь разными способами и посещая многие страны, с превеликим трудом, ревностью и усердием стремился я овладеть наивысшим знанием, какое только доступно смертному. Наконец я уверился, что в сем мире нет человека, способного открыть мне истины, коих жаждала моя душа, и сказал себе самому, что искомый мною свет может быть обнаружен лишь в книгах и исторических записках. Я не составляю гороскопов и не ворожу, как вы легкомысленно полагаете, но лишь пользуюсь мудростью, которую накопил за все эти годы...» Я сделал паузу и отхлебнул еще вина. «Однако для вящей складности повествования мне следует начать с начала».

«Да-да, цельтесь в белую мишень,— сказал он. — Перед вами tabula rasa».

«Мои родители были достойными людьми, снискавшими немалое уважение соседей, ибо отец мой служил управителем в поместье лорда Гравенара. Последыш в семье — все остальные дети были гораздо старше,— я, как говорят, держался особняком и играл в полях близ нашего старинного дома в восточном Актоне. Нет нужды упоминать о поразительной несхожести ребячьих натур — ведь и самый дух состоит из многих различных эманаций,— но я обладал характером замкнутым и возвышенным: играл всегда в одиночку, сторонясь товарищей, как назойливых мух, а когда отец взялся учить меня, сразу полюбил общество старых книг. Не достигнув и девятилетнего возраста, я уже овладел греческим и латынью; бродя меж изгородей и дворов нашего прихода, я с наслажденьем повторял по памяти стихи Овидия и периоды Туллия. Я читал овцам «Словарь» Элиота, а коровам «Грамматику» Лили, а затем бежал восвояси, дабы углубиться в труды Эразма и Вергилия за своим собственным маленьким столиком. Конечно, я делил комнату и ложе с двумя братьями (оба они теперь покоятся в земле), но родители понимали мою любовь к уединенности и преподнесли мне ларец с замком и ключом, где я хранил не только одежду, но и книги. Был у меня и ящичек, в коем я прятал свои записи и многочисленные стихи собственного сочинения — отец рано обучил меня письму.

Я вставал в пять часов утра и спешно ополаскивал лицо и руки, слыша зов отца: «Surgite! Surgite!»[1] Все домашние молились вместе, а затем он отводил меня в свою комнату, где я упражнялся в игре на лютне: мой отец неустанно пекся о том, чтобы я овладел мастерством музыканта, и благодаря ежедневным занятиям я весьма преуспел в пении и игре на различных инструментах. К семи мы собирались за общим столом, на котором уже

[1] Подъем! Подъем! (*лат.*).

стоял завтрак — мясо, хлеб и эль (в ту пору называемый пищею ангелов); после трапезы я садился изучать правила грамматики, стихотворной импровизации, толкования иноязычных текстов, перевода и тому подобного. Моими товарищами по детским играм были Гораций и Теренций, хотя уже тогда я питал глубокий интерес к истории своей страны и начиная с ранних лет искал подлинной учености, а отнюдь не пустых забав.

Однако вскоре настало время подыматься в иную сферу, и в месяце ноябре года от Рождества Христова 1542-го отец отправил меня в Кембридж для занятий логикой, при посредстве коей я мог бы и далее овладевать высокими искусствами и науками. Тогда мне было около пятнадцати лет, ведь я появился в сем мире тринадцатого июля 1527 года...»

«Рождение ваше,— весьма внезапно заметил Бартоломью Грей,— угодило не на свое место, ибо ему надлежало быть в начале повествования. Любовь к порядку есть такой же неотторжимый признак тонкого ума, как и способность открывать новое. Уж конечно, столь искушенному ученому это должно быть известно?»

Я пропустил его дерзость мимо ушей и продолжил рассказ. «Почти все эти годы я так рьяно стремился к знаниям, что неизменно соблюдал один и тот же режим: спал еженощно лишь по четыре часа, два часа в день отводил на еду и питье, а все прочие восемнадцать (за исключением времени, потребного на молитву) тратил на чтение и научные штудии. Я начал с логики и прочел «De sophisticis elenchis» и «Topic» Аристотеля, а также его «Analytica Prioria» и «Analytica Posteriora»[1]; но моя жажда знаний была столь велика, что вскоре я обратился к другим ученым трудам как к источнику чудного света, коему суждено сиять вечно и никогда не померкнуть. Меня нимало не соблазняли развлечения моих товарищей по колледжу; я не находил радости в попойках и разврате, костях и картах, танцах и травле медведей, охоте и игре в шары и прочих бессмысленных городских увеселениях. Но хотя я терпеть не мог шаров и примеро[2], у меня была шахматная доска и кожаный мешочек с фигурами; я передвигал их с клетки на клетку, вспоминая свою собственную судьбу вплоть до сего мига. Я брал фигуры, выточенные из слоновой кости, поглаживал их пальцем и размышлял о том, что монархи и епископы[3] — не более чем муравьи для человека, могущего предсказать их перемещения.

Спустя семь лет я получил степень магистра искусств, а почти сразу же после того покинул университет и перебрался в Лондон, дабы продолжить свои философские и математические занятия. До меня дошли слухи о бедном ученом джентльмене по имени Фердинанд Гриффен; он посвятил научным изысканиям много лет и мог бы (как говорили люди, осведомленные о моих собственных пристрастиях) научить меня обращению с астролябией и прочими астрономическими инструментами, что было бы естественным продолжением моих геометрических и арифметических штудий. Его старый дом находился во владениях лондонского епископа, в тупичке неподалеку от реки, близ Сент-Эндрю-хилл...»

«Я знаю, где это,— сказал он. — У стекольной мастерской на Адлд-хилл».

«Чуть западнее». Я освежился еще одним глотком вина. «Я пришел к нему в середине лета 1549 года и застал его за работой; он управлялся со своими глобусами и сосудами проворно, как юноша. Он ласково приветствовал меня, ибо уже ожидал моего прибытия после нашего обмена несколькими учеными письмами, и не мешкая показал мне кое-какие редкие и искуснейшим образом сделанные приборы, на которые (по его словам) ушли вся его жизнь и состояние, а именно: отличный квадрант пятифутового диаметра, превосходный radius astronomicus, на вертикальную и поперечную рейки коего были весьма хитроумным способом нанесены равные деления, чудесную астролябию и большой металлический глобус. Вот так случилось, что Фердинанд Гриффен стал моим добрым наставником и вместе с ним я всерьез занялся астрономическими наблюдениями, неустанно пользуясь чрезвычайно тонкими и чрезвычайно удобными приборами, с каковыми он научил меня обращаться бережно и умело. Мы начали определять — зачастую с точностью до часа и минуты — порядок смены различных влияний и воздействий небесных тел на нашу часть мира, где властвуют стихии...»

---

[1] «О софистических опровержениях», «Топика», «Первая аналитика», «Вторая аналитика» (*лат.*).
[2] Старинная карточная игра типа покера.
[3] Шахматный слон по-английски называется епископом (bishop).

Здесь я прервал речь, убоявшись сказать слишком многое человеку, не сведущему в сих областях знания, в замешательстве опорожнил свою кружку с вином, а затем перешел на другую тему.

«Река протекала так близко от его дома, что мы брали с собой квадрант и спускались по Уотер-лейн к пристани Блэкфрайарс, а там кричали проходящим мимо баржам и рыболовным судам: «На запад! На запад!», покуда кто-нибудь из корабельщиков не замечал нас. Затем мы переправлялись на открытые поля близ Ламбетской топи и, установив квадрант на твердой почве, наблюдали за движением солнца. Перемещаясь туда-сюда со своим громоздким квадрантом, мы частенько едва не сваливались вверх тормашками в Темзу, но всегда успевали выскочить на сухой берег. Разве под силу воде утопить в себе солнечный инструмент? Нет, не бывать тому никогда. Наши измерения дали иным злобным горожанам повод называть нас чародеями или колдунами, но Фердинанда Гриффена это нисколько не волновало, и с тех самых пор я перенял у него уменье презирать невежественную толпу и не прислушиваться к ее речам. Он оказался для меня прекрасным наставником и во многих прочих отношениях — это был истинный волшебник во всем, что касалось книг, ученых трудов, диалогов, изобретений и суждений о различных важных вопросах. Вы заявляете, будто я воскрешаю мертвых; нет, я созидаю новую жизнь...» Тут я снова умолк, опасаясь, что затронул чересчур серьезный предмет, но Бартоломью Грей лишь поковырял в зубах да кликнул человека, велев подать еще вина. «Затем,— присовокупил я,— мне довелось отправиться за море, дабы побеседовать и обсудить кое-что с другими учеными мужами».

«Колдунами? — невпопад отозвался он; видимо, хмель уже поглотил последние крохи его разума. — Чародеями?»

«Они не имели ничего общего с тем, что невежды называют колдовством». Я отпил еще вина, дабы загасить пламя в груди. «Я занимаюсь дивными науками, кои проясняют наш слабый взор и позволяют увидеть божественную мощь и благодать во всем их великолепии. Я — ученый, сударь, а не какой-нибудь колдунишка или шарлатан. Чьим мнением, как не моим, интересовались при дворе, услыша глупые предвещания неких так называемых астрономов о громадной комете 1577 года, посеявшие величайший страх и смуту? А кто снабдил наших корабельщиков верными картами и таблицами, позволившими им предпринять путешествия в Катай[1] и Московию и затеять торговлю с сими дальними странами? Кто, наконец, познакомил ремесленников нашего королевства с евклидовыми законами, кои принесли им неизмеримую пользу? Все это сделал я, и только я. Разве шарлатаны способны на такое?»

«О Боже,— сказал он, охмелевший до последней степени. — Я не понимаю ни одного вашего слова».

«Зато я понимаю. Я посвятил изучению наук целых пятьдесят лет — Господи, сколько же было содеяно и пережито в этой безоглядной погоне за мудростью! Помните ли вы случай, когда в поле у здания «Линкольнс инн»[2] была найдена восковая фигурка с толстой булавкою в груди?» Кажется, он мотнул головой, но меня уже подхватило потоком слов. «Гнусные клеветники пустили слух, что фигурка — моих рук дело и что я пытался злыми чарами извести королеву Марию. Все это мерзкая ложь, безумные измышления, однако я много недель оставался узником Тауэра, а двери моего лондонского дома были забиты, и я едва перенес муки, причиненные мне сей несправедливой карой. Ладно, ладно, сказал я себе, мои жестокие соплеменники, мои бессердечные соплеменники, мои неблагодарные соплеменники, теперь я знаю вас и знаю, что я должен делать. В последние годы ходила молва, будто я лишаю землю плодородия, будто я занимаюсь ночными грабежами, — какой только грязью меня не обливали! Но знаете, что самое худшее? Что я вынужден зарабатывать на жизнь у такого вот Натаниэла Кадмана, угождая охочей до зрелищ толпе». На миг я замолчал, однако никто более не слыхал моей жалобы. «Ну вот, мистер Грей. Теперь вам известно, сколько я претерпел тычков, обид и уязвлений. Прошу вас не умножать их числа».

Здесь он немного смутился, однако тут же отхлебнул еще вина и высоким, но не лишенным приятности голосом затянул куплет из песни «Судьбинушка-судьба»:

---

[1] Катай — старинное название Китая.

[2] Одна из лондонских юридических корпораций.

Луна — моя подружка,
А филин — братец меньший,
Мою тоску поймет дракон
Да черный ворон вещий.

«Я возьму этот напев себе в спутники,— промолвил я,— ибо мне пора покидать вас, джентльмены, и отправляться домой...» Я оглядел своих сотрапезников, в разной степени расслабленных хмелем. «Мне надо отдохнуть после представления».

«Я был поражен,— сказал один из них, уставясь в свой кубок,— когда увидел сферы, окруженные сиянием. И все вращалось. Это было отменно сделано. Право, отменно сделано».

«Желаю вам доброй ночи,— повторил я. — Мне следует вернуться в свою собственную сферу». Я поклонился Натаниэлу Кадману, который не мог оторвать от стола головы и сидел скрючась, как самый несчастный пьяница. «Желаю вам всем доброй ночи».

Предшествуемый слугой с фонарем, я вышел на Нью-Фиш-стрит, а затем отослал мальчишку прочь. Ночь выдалась ясная, и чтобы найти дорогу в Кларкенуэлл, мне было вполне довольно света неподвижных звезд.

## 2

Я решил прогуляться по ночному городу. Уже покинув кладбище и идя в направлении старого дома, я вдруг замедлил шаг и остановился. Я не хотел возвращаться на Клоук-лейн, по крайней мере пока, и, как частенько бывало прежде, решил побродить по извилистым лондонским улочкам. Мне больше нравится город, погруженный во тьму; тогда он открывает мне свою истинную природу, под которой я, наверное, разумею его истинное прошлое. В дневные часы над ним властвуют его временные обитатели, среди которых так легко раствориться и затеряться. Поэтому днем я держусь в стороне. Например, представляю себе, будто люди вокруг одеты по моде какого-нибудь минувшего столетия, хотя и понимаю, что это чистый каприз. Но бывают случаи, когда чей-либо вид или жест мгновенно переносит меня назад во времени; похоже, тут работает некий избыток генетической памяти, так как я знаю, что передо мной средневековое или елизаветинское лицо. Когда из альпийского ледника было извлечено тело упавшего ничком и замерзшего неолитического путешественника, все сочли это уникальным подарком судьбы, позволившим заглянуть в прошлое. Но прошлое возрождается рядом с нами постоянно, в телах, которыми мы владеем, или в словах, которые произносим. А иные сцены или ситуации, замеченные однажды, словно сохраняются навеки.

Нет, это неверно. Уже в миг своего возникновения они становятся частью непрерывно текущей истории, и, как я уже говорил, бывают случаи, когда я иду по сегодняшнему Лондону и узнаю в нем то, что он есть: город другого исторического периода со всеми его таинственными условностями и ограничениями. Я часто слышал от отца одну фразу: «Видеть в вечности временное, а во времени вечное». Как-то раз я наткнулся на снимок Уайтхолла, сделанный в 1839 году, и он помог мне понять ее смысл; на снимке был изображен мальчонка в цилиндре наподобие печной трубы, растянувшийся под уличным фонарем, а через дорогу от него стояли в ряд двухколесные кебы. Все здесь дышало вечностью, и даже грязь на мостовой словно излучала сияние. Но это же чувство я испытываю и сейчас, когда, выйдя с кладбища, вижу вон ту женщину, открывшую дверь на улицу, и одновременно слышу выхлоп автомобиля, который проезжает где-то неподалеку. Такие вещи исчезают и вместе с тем как бы существуют вечно.

Я миновал Кларкенуэлл-грин и углубился в Джерусалем-пассидж. Неоновые часы, висящие на одном из зданий, показывали уже почти полночь; с минуту я смотрел, как они раскачиваются на ветру и цифры горят на их циферблате. В четырнадцатом веке очень высоко ценился необычный камень под названием «садастра». Снаружи он был черный или темно-коричневый, но, будучи расколот, в течение нескольких мгновений сиял как солнце. Мне подумалось, что это сияние могло быть сродни сиянию неоновых цифр, которые сейчас привлекли мой взор. Поблизости находились два-три человека; их бледные лица отсвечивали в оранжевых лучах фонарей, и казалось, что они бесшумно плывут над тротуарами. Я покинул Джерусалем-пассидж, пересек Кларкенуэлл-роуд и вступил под арку монастыря Св.Иоанна Иерусалимского. Здесь лежал кусок фундамента, отмечающий местоположение аб

батства тамплиеров, возведенного в двенадцатом веке и разрушенного в годы Реформации. Несомненно, камни, из которых оно было сложено, пошли на постройку кое-каких больших домов по соседству (парочка этих глыб вполне могла покоиться и в стенах моего собственного дома), однако они были печальными памятниками великой катастрофы. Так полагал Дэниэл Мур, и теперь я согласен с ним в том, что разрушение богатейших монастырских библиотек со всеми их рукописями и другими сокровищами привело к возникновению огромного пробела в истории нашего острова. Мало того что была стерта с лица земли целая католическая культура — не менее чреватой последствиями оказалась и гибель древних монашеских летописей, относящихся к раннему периоду британской истории. Одним махом было покончено со всей разветвленной структурой, на которой держалось прошлое.

Но что это за шум у Холборнского виадука? Словно бы глубоко из-под земли донесся чей-то яростный вопль; он был глух, метался и бился в некоем тесном пространстве. Потом я свернул за угол, на Гилтспер-стрит, и заметил старуху, скрючившуюся в телефонной будке; она прижимала к лицу трубку и что-то кричала в микрофон. Я продолжал шагать в ее сторону и вскоре увидел, что на приклеенной к стеклу бумажке написано: «НЕИСПРАВЕН». Так с кем же она говорит? Помню, однажды мне надо было позвонить по телефону со станции «Ченсери-лейн»; сняв трубку, я услышал гул множества голосов, точно вой ветра за окном. Может быть, на другом конце линии всегда кто-то есть. Нет, все это чепуха. Ночные прогулки иногда порождают в душе необъяснимые страхи. Крышу жилого дома на углу Сноухилл венчала маленькая параболическая антенна; пока я глядел на нее, принимающую с неба сигналы, мне снова померещилось, будто над Клоук-лейн взмыл вверх силуэт человека.

«А! Это ты? Явился наконец?» Старуха вышла из телефонной будки и теперь кричала мне вслед. Я быстро зашагал прочь. «Знаешь, откуда на тротуарах столько дерьма? Это не собаки гадят. Это старики-пенсионеры». Она захохотала, а я все торопился дальше, к Феттер-лейн и Хай-Холборн. На первом этаже доходного дома Дайера есть магазинчик видеотехники; спеша к нему, я видел на дюжине экранов одно и то же изображение; там было столько света и энергии, что сама витрина, казалось, вот-вот полыхнет огнем и разлетится вдребезги. Когда я подошел еще ближе, оглядываясь, дабы удостовериться, что старуха меня не преследует, я стал различать на экранах множество несущихся куда-то звезд и планет. Видимо, это был один из тех эффектных научно-фантастических фильмов, которые снимались в семидесятых и начале восьмидесятых годов; рядом с витриной, целиком поглощенный зрелищем космического полета, стоял какой-то юноша. Он уперся руками в толстое стекло; создавалось впечатление, будто он распят на этом сияющем фоне. Я хотел сказать ему, что все здесь обман, кинематографические трюки, но для него это, возможно, было истинной картиной вселенной. Я ничего не сказал и прошел мимо.

Мне памятен тот день, когда я впервые начал понимать Лондон. Подросток лет пятнадцати-шестнадцати, я ехал на автобусе, идущем из Шепердс-Буша в Далидж; небо над Ноттинг-хилл-гейт и Куинзуэем было затянуто облаками, но вдруг в них открылась брешь и вырвавшийся оттуда солнечный луч упал на металлический поручень передо мной. Это ослепительное сверкание точно заворожило меня; вглядываясь в глубины света и сияющего металла, я ощутил такой необыкновенный восторг, что не смог усидеть на месте и выскочил из автобуса, когда он остановился у Мраморной арки. Я чувствовал, что меня посвятили в какую-то тайну — что я краем глаза увидел ту внутреннюю жизнь и реальность, которая скрывается во всех вещах. Я подумал о ней как о мире огня; поворачивая на Тайберн-Уэй, я верил, что смогу найти его следы повсюду. Но этот огонь был и во мне самом, и я обнаружил, что бегу по улицам, словно они — моя собственность. Каким-то неведомым образом я присутствовал при их рождении; вернее, внутри меня самого было нечто, всегда существовавшее в здешней почве, здешних камнях и здешнем воздухе. Теперь этот изначальный огонь покинул меня; должно быть, потому-то я и кажусь самому себе чужаком. Постепенно, с течением лет, город внутри меня померк.

Однако есть места, куда я возвращаюсь до сих пор. Временами меня тянет спуститься по Кингсленд-роуд и постоять у старой Хокстонской лечебницы для умалишенных рядом с Уорф-лейн; именно сюда, по ее собственной просьбе, Чарльз Лэм приводил свою сестру, и однажды я попытался пройти по их следам через поля, скрытые теперь под каменными мостовыми прилегающих улиц. Она всегда приносила с собой смирительную рубашку, и они плакали, добравшись до ворот лечебницы. Я останавливаюсь там, где стояли они, прямо перед входной аркой, и шепчу

свое собственное имя. Бываю я и на Боро-Хай-стрит; я прохожу по ней от Саутуоркского моста до зданий бывшей Королевской тюрьмы и Маршалси[1] и, хотя эта прогулка всегда дается мне очень тяжело, неизменно повторяю ее снова и снова. Были случаи, когда я бродил по этому району до изнеможения, теряя ориентацию и способность думать. Я хотел, чтобы Старый город похоронил меня в себе, чтобы он стиснул меня и задушил. Неужели среди темных теней его прошлого не нашлось бы ни одной, способной поглотить меня? Однако не все мои путешествия сопровождались такими гнетущими чувствами. Было одно чудесное место, где меня всегда ожидал покой: я опять и опять возвращался на Фаунтин-корт в Темпле — там, рядом с маленьким круглым прудиком, под вязом, стояла деревянная скамейка. Ощущенье покоя здесь, в центре города, было настолько глубоким, что казалось мне порожденным каким-то важным событием минувших времен. А может быть, сюда год за годом приходили люди вроде меня и само место переняло спокойствие своих посетителей. Я часто думаю о смерти как о похожем состоянии — словно я чего-то жду рядом с вязом и прудом. Моего отца близкая смерть не пугала, а, наоборот, чуть ли не радовала: помню, как он насвистывал в ванной, уже зная, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Он никогда не сокрушался, не жалел себя и не выказывал признаков беспокойства. Складывалось впечатление, будто ему известно кое-что о следующем этапе пути; как я упоминал, он был католиком, однако столь глубокую уверенность ему, похоже, придавали некие более личные убеждения. И вновь, выйдя с Хай-Холборн на Ред-Лайон-сквер, я задумался об унаследованном мною старом доме. Почему ни одна из прогулок по городу не привела меня на Клоук-лейн или в ее окрестности? Почему я избегал Кларкенуэлла или позабыл о нем?

Я достиг обломка каменной колонны, поставленной на Ред-Лайон-филдс в память об июньской резне 1780 года; в дни Гордоновских бунтов солдаты убили здесь несколько детей, а три месяца спустя Джон Уилкс объявил о сборе средств на этот памятник. Камень уже так растрескался и выветрился, что смахивал на кусок обыкновенной скалы, подточенной временем; но, повинуясь внезапному порыву, я стал на колени и дотронулся до него. В конце концов, меня связывало с этим местом и еще кое-что. Всего в нескольких ярдах отсюда, на углу Ред-Лайон-пассидж, я впервые увидел работы Пиранези. Альбом с его гравюрами, купленный мной у лоточника, назывался «Фантазии на тему темниц», но, по-моему, там не было ровно ничего фантастического. Я сразу узнал этот мир; я понял, что это и есть мой город.

Я принес книгу домой; хотя с тех пор минуло уже лет шесть или семь, я и сейчас помню, с каким восторгом переворачивал ее страницы. На первой гравюре были изображены две маленькие фигурки перед гигантской каменной лестницей; их окружал сплошной камень, взвихряющийся галереями, арками и куполами. Мир Пиранези был миром бесконечных каменных руин, запутанных переходов и заколоченных окон; здесь были каменные глыбы, тяжелые, мрачные, чьи контуры тонули в тени; здесь были гигантские кирпичные ниши, огромные полотнища из рваной ткани, веревки, блоки и деревянные краны, устремленные ввысь, к расколотым каменным балконам. Художник часто использовал обрамление в виде разрушенной арки или ворот — оно вовлекало меня в картину, и я ощущал себя ее частью; я тоже был в тюрьме.

Все тут выглядело брошенным: мост, повисший над пропастью меж двух наполовину уцелевших башен, гнилые стропила, разбитые окна, массивные портики с полустертыми надписями, которые уже нельзя было прочесть. Цивилизация великанов-строителей пришла в упадок и погибла, оставив после себя эти монументы. Но нет, так быть не могло. Здесь чувствовалась несокрушимая мощь, живая сила. Смерть не имела над ней власти; она была присуща самому этому миру. Я глядел на последнюю гравюру с изображением расплывчатой фигурки, поднимающейся по каменной лестнице лишь ради того, чтобы очутиться лицом к лицу с очередным неприступным каменным бастионом. Мне казалось, будто в этой крошечной фигурке есть что-то от меня самого; и вдруг моего плеча коснулся отец. Видимо, он уже наблюдал за мной некоторое время, потому что мягко заметил: «Знаешь, ведь все может быть и по-другому». Больше он ничего не сказал и, стоя сзади, положил ладонь мне на шею. Я стряхнул его руку и снова вперился в гравюру, обнаружив там еще один лестничный пролет, ведущий вниз, в какую-то каменную бездну. Тогда мне и пришло на ум, что город этот в действительности подземный. Вечный город для тех, кого поймало в свою ловушку время. Я все еще стоял на коленях перед памятником на Ред-Лайон-сквер, но вместе с тем словно входил в каменную стену

[1]Маршалси — старинная лондонская долговая тюрьма.

полуподвала на Клоук-лейн. Я становился частью древнего дома.

Быстро поднявшись, я отряхнул одежду от грязи и зашагал в направлении Нью-Оксфорд-стрит и Тотнем-корт-роуд. Совсем рядом с Блумсбери-сквер есть клочок булыжной мостовой, где поставили несколько новых телефонов «Меркьюри», и в темноте я наткнулся на них. «Лондонский камень не такой,— заметил Дэниэл Мур, когда я показал ему «Фантазии на тему темниц». — Прежде чем смотреть на Пиранези, надо выучить итальянский». Я хотел поделиться с ним своим восторгом, но он взирал на репродукции едва ли не с отвращением. «Он сентименталист,— сказал Мур,— а не провидец». — «Но разве ты не видишь, как тут пустынно?» — «Нет. На самом деле это не так. Может, ты и видишь только камень, ну а я вижу людей. Думаешь, почему я пишу свою книгу?» Эта книга, над которой он работал в течение всего нашего знакомства, была историей лондонского радикализма. Как-то он рассказал мне о ней в своей обычной застенчиво-пренебрежительной манере, но я запутался во всех этих магглтонианцах, «болтунах», беменистах и членах «Лондонской эпистолярной группы»[1], и они стали казаться мне представителями одной гигантской секты или сообщества. Однако Мур души в них не чаял — этот придирчивый, утонченный человек был одержим идеями некоторых беспокойных, даже опасных лондонцев. Однажды он взял меня на прогулку по тавернам и молитвенным домам, где они собирались; таких мест осталось мало, большей частью на востоке Лондона в районе Лаймхауса и Шадуэлла, и они выглядели до того жалкими, до того запакощенными, что трудно было связать с ними прозрения и мечты их прежних посетителей. Насколько я понял из объяснений Дэниэла, бемениcты верили, будто мужчины и женщины носят рай в себе и весь мир имеет облик одного человека; его называли Адамом Кадмоном, или Человеком-Вселенной. Не то чтобы весь космос представлялся им в виде человеческой фигуры — хотя были радикалы, последователи Сведенборга, которые считали, что это именно так и есть,— скорее, они наделяли наш мир и всю бытийствующую вселенную человеческими чертами. Мы зашли в «Семь звезд» на Эрроу-лейн, где в начале восемнадцатого века встречались моравские братья, и Дэниэл поведал мне историю о некоем мистике и маленькой девочке, которая все время просила его показать ей ангелов. Наконец он согласился, привел ее к себе в дом и поставил перед задрапированной нишей. «Ты действительно хочешь увидеть ангела?» — спросил он. Она упорствовала в своем желании, и тогда он отдернул занавесь; на стене за нею висело зеркало. «Гляди сюда,— сказал он. — Вот тебе ангел». — «Очаровательная история, Мэтью, не правда ли?» — «О да». — «Но ты заметил, насколько это в духе радикалистов? Самое смиренное существо может быть исполнено благодати. Божественное заключено внутри нас, а греха не существует вовсе. Нет ни рая, ни ада».

Как в этом городе могли родиться столь необычные системы взглядов? Он задал мне этот вопрос, когда мы брели по Шадуэлл-Рич. Ответ напрашивался сразу: здесь во множестве жили ремесленники и мелкие торговцы, а они-то и подвержены такой форме помешательства больше всего. Однако Дэниэл, похоже, считал, что тут сыграла свою роль аура самого места. Впрочем, я уже пресытился здешними видами. Лаймхаус был полон выхлопных газов, дыма, огрызков недостроенных зданий; я буквально задыхался, однако упорно тащил его прочь к наземной линии метро. Так завершилось наше путешествие в поисках того, что он называл «вечносущим евангелием».

А еще как-то раз он возил меня на юго-запад Англии и в старый центр радикальных движений Гластонбери. Члены одной лондонской секты четырнадцатого века — они называли себя «Божьими братьями» — сбежали в этот город от преследований и организовали тут свою общину. Пожалуй, мы выбрали для своей поездки самый неудачный день в году: всю дорогу от Лондона до Эндовера боролись с ливнем и ураганным ветром, а потом, на пути в Гэмпшир, угодили в окутавший трассу густой туман. Мы еле ползли в сторону Гластонбери, так как видимость была отвратительная; маленькие столбики у обочины шоссе походили на часовых, закутанных в шинели, а большие столбы казались торчащими из тумана церковными шпилями. Купы деревьев, маячившие поодаль, можно было бы принять за редкие кучки религиозных радикалов, с трудом пробирающихся сквозь мглу. Без сомнения, нечто подобное и послужило пищей для местных легенд и «явлений», но я не способен был думать ни о чем, кроме лондонского тепла и уюта. Добравшись наконец до Гластонбери, мы не обнаружили никаких следов древней общины — на ее месте вырос какой-то промышленный гигант. Это можно было предвидеть, но всю

[1]Лондонские религиозные секты XVII — XVIII веков.

обратную дорогу Дэниэл хранил странное молчание. Когда мы подъезжали к Лондону, туман рассеялся; был поздний вечер, однако звезды впереди затмевало расплывчатое красное зарево. Мы словно возвращались в пылающий горн, и мою душу объял покой.

Я вышел с Нью-Оксфорд-стрит на Тотнем-корт-роуд одновременно с боем часов, донесшимся от церкви Св.Джайлса-на-Полях; здесь я прибавил шагу, так как в подъездах и у дверей домов, стоящих вдоль улицы, залегла армия ночи. Я боюсь их, этих мужчин и женщин, кутающихся в грязные одеяла, но меня пугают не просто бездомные и бродяги. Я прекрасно знаю, что меня отталкивает любая человеческая крайность. Меня отталкивает страдание. Сейчас, переходя улицу и уголком глаза наблюдая за двумя грудами тряпья, беспокойно зашевелившимися в сумерках, я боялся грязи и заразы — но больше всего, пожалуй, внезапного нападения. А что им терять? Будь я таким, как они, я возроптал бы на этот мир и поджег город. Я захотел бы разметать всех и вся, объединившихся против меня. Я стал бы грабить магазины, вход в которые мне заказан, и громить рестораны, где мне не дают еды. Я обратил бы свою ярость даже на фонари, которые мешают мне спрятаться от врага. Но когда я шел мимо, ни один из них не заговорил со мной, ни о чем не спросил и вообще не обратил на меня внимания, точно я был частью какого-то иного мира. Действительно ли они покорились и готовы терпеть скрепя сердце — или ждут чего-то, как моравские братья в «Семи звездах»?

Но нет, здесь было другое. С тех пор город неизмеримо вырос, и по мере того как он разрастался во всех направлениях, его обитатели становились все более пассивными и покорными; эти люди, спящие на улицах, были обыкновенными честными горожанами, но гигантский Лондон с помощью какой-то магии высосал из них душу. Я поглядел вдоль Тотнем-корт-роуд и, уже не в первый раз, отметил чрезмерную яркость освещения и тишину ночного города. Два столетия назад эти улицы были более темными, более зловонными, более опасными, их наполняли крики, визги и смех. Но теперь, стоя в окружении бездомных, я слышал лишь едва различимое гудение неоновых фонарей да вой ветра, гуляющего около Сентер-Пойнта[1]. Благодаря чему же все естественные звуки стали казаться в этих местах нереальными и фальшивыми, а искусственные шумы — самыми что ни на есть натуральными? Город был залит светом, ибо он праздновал свой триумф. Он научился расти, вбирая в себя энергию своих обитателей и отнимая у них силы. Они даже не шелохнулись, когда я направился к Шарлот-стрит.

Я завернул за угол и сразу увидел в конце широкого проспекта сверкающий глобус. Конечно, у этого постоянного и вездесущего сияния была и другая задача: посылая во тьму свои лучи, эти символы и эмблемы отвергали смерть и знание о ней. Это был праздник искусственной жизни, из которой изгнали всякую память о духовном. Странно — нечто подобное мог бы сказать мой отец. Однако это были мои собственные ночные мысли.

Глобус освещал всю округу, и Шарлот-стрит лежала в глубокой тиши. Он был символом мира — реального мира, так как, подойдя ближе, я увидел, что это неоновая модель земли с материками из лампочек разного цвета. Внизу была надпись «Мир вверх тормашками»; там, в полуподвале, находился бар или ночной клуб, к закрытой двери которого вела с улицы крутая лесенка. Внутри было светло; когда я смотрел вниз, дверь вдруг распахнулась и оттуда вырвался сноп ярких лучей. Из бара вышла женщина и остановилась на пороге, но фон был таким контрастным, что я мог различить лишь ее силуэт и очертанья прически; однако она меня заинтриговала. Отступив в уличную тень, я следил, как она поднимается по металлической лестнице; звонкий стук ее каблучков порождал эхо, внезапно оборвавшееся, когда она ступила на тротуар. Она рассеянно огляделась, точно думая поймать такси; затем повернула лицо ко мне, и я поднял руку в изумлении и ужасе. Это был Дэниэл Мур. Я видел его ясно. Я различал под косметикой его знакомые черты. Он прикрыл свои редеющие волосы большим белым париком и надел красное платье. До меня даже донесся аромат фиалок. Но это был Дэниэл. Он не заметил меня, потому что вновь повернул голову и медленно тронулся пешком к Фицрой-сквер. Он шел свободным шагом, ничуть не напоминающим его обычную нервную походку, и явно наслаждался этой ночной прогулкой по Лондону. Ошеломленный, я стоял у дверей какого-то закрытого магазина. В голове у меня было пусто. Я все смотрел и смотрел на сияющую модель мира, перевернутого вверх тормашками.

[1] Сентер-Пойнт — тридцатитрехэтажное административное здание в центральной части Лондона.

## *Кабинет*

Огромный мир расстилается передо мною, и на моем столе плещутся голубые дельфины, которые любят маленьких детей и звуки музыкальных инструментов; вот змеи зеленого и серого цвета, что живут по шесть веков и чьи головы могут согласно их воле принимать формы собачьих и человеческих; а вот и морские драконы в алых отметинах — они изрыгают в воду пламя, вызывая тем самым кипение океана; среди них плывут грифоны, киты и стаи всяческих более мелких рыб, кои резвятся на поверхности пучины. Нептун со своим трезубцем мчит на морских конях, а у зыбучих песков и водоворотов сидят русалки с зерцалами в руках. Все, что есть на земле, имеет свое подобие в море, но вдобавок я вижу на лике этого иного мира галеоны, широкогрудые купеческие корабли, барки с прямыми парусами и рыболовные суда. Найдется ли равнодушный, который, поглядев на них, не возжелал бы немедля отправиться в путь? Ибо передо мной лежит карта всего света, theatrum orbis terrarum, и на нее нанесены города, леса, реки, горы и даже несметное число маленьких городков, что составляют сей низший мир.

У северных врат расположена Terra Septemtrionalis Incognita[1], где, по слухам, обитают племена людей, держащих во рту кресала; на крайнем юге предполагают существование другой дикой страны. Однако не все здесь неизведано; многое было открыто благодаря геометрическим исчислениям и морским путешествиям недавних лет, так что известный нам мир простирается ныне далеко за пределы Богемии или Татарии. Наши мореплаватели и космографы очертили на карте Атлантиду, или Новый Свет, где были найдены крокодилы, живущие тысячу лет, и перепела, страдающие падучей болезнью; отдельные ее области, или территории, мы нарекли Норумбегой, Новой Францией и Мокозой — в последней части света была обнаружена лошадь, которая плачет и вздыхает по-человечески. Там же обитает и агопитек — обезьяноподобный козел, чья речь весьма похожа на нашу, хотя и неразборчива, словно кто-то торопливо говорит во власти гнева или скорби.

Под рукой у меня Африка, а в ней Берберия, где живут львы, совокупляющиеся задом наперед, и пантеры, что источают благоухание редчайших пряностей. В Нумидии, не столь далеко оттуда, живут люди с собачьими головами и хвостами, а также мерзкие гиены, что селятся в склепах мертвецов и едят только трупы. В Ливии обитает единорог, что питается ядом и умеет обращаться как в мужчину, так и в женщину; здесь же живет племя астомийцев, чей век необычайно долог,— они не едят и не пьют, питаясь лишь воздухом и ароматом плодов. В Селенетиде есть женщины, которые откладывают и высиживают яйца, производя на свет детей в пятьдесят раз крупнее обыкновенных, а в далеком Краю Негров водятся василиски, убивающие взглядом, гидры о двух головах и саламандры, холодные как лед. Сейчас на моем столе нет нужных отчетов, не то я пересказал бы вам их все. О чудный мировой театр, в коем так легко затеряться! Я стою здесь, в своем кабинете, и одновременно взмываю в воздух, подобно великому умельцу Икару, и вдруг обнаруживаю, что лечу высоко над желтыми песками Самотры, держа путь к волшебным Монакабо, Капасьясе, Тапробане, Бакорнаре и Бирам. А там я вижу людей, чьи тела светятся в темноте, и дерево феникс, что цветет раз в сто лет и благоухает сильнее, нежели мускус, цибетин или амбра. На этом дальнем, дальнем берегу я наблюдаю под звездами чудеса мира и зрю перед собой существо, рожденное дважды,— оно возвышает голос с горы, молвя: «Я есмь белизна черноты, и краснота белизны, и желтизна солнца, я изрекаю правду и никогда не лгу...» — и тут я вздрогнул и проснулся, ибо это был всего только сон, измышленный мною.

Хотя, откровенно говоря, я был бы не прочь поспать и подольше; иногда, вот как теперь, все мои штудии кажутся мне совершаемыми в полудреме — состоянии, когда разум пробужден лишь наполовину. Накануне я выпил с теми пустомелями чересчур много вина, поэтому с утра мной владеют уныние, сонливость и головокружение. Поглядите — я даже отвлекся от надлежащих занятий и зря трачу время, болтая языком над простертой передо мною mappa mundi[2]. Впрочем, пока я разглядывал берега и горы, морские течения и водовороты, искусно изображенные худож-

[1] Неведомая северная земля (лат.).
[2] Карта мира (лат.).

ником, мне вспомнилось иное путешествие — я имею в виду то, во время которого я столкнулся с бессчетными капризами погоды и одолел великое множество долгих и трудных дорог.

Это паломничество было затеяно мною после пребывания у Фердинанда Гриффена. Постигнув все, чему он мог меня научить, и слегка наскучив весами и песочными склянками, я решил посетить серьезных ученых и почитателей знания, живущих за пределами нашего отечества. Было одно место, долженствующее стать главной целью моих странствий, ибо я хотел увидеть селение, где родился величайший мудрец Филипп Авреол Теофраст Бомбаст, известный под именем Парацельса. Он появился на свет в маленьком городке Мария-Айнзиделын, не далее чем в двух часах ходьбы от Цюриха, и дабы достичь этого высокогорного края, расположенного в сердце Альп, я был вынужден долго идти, подвергаясь действию пронзительной сырости и холода, страшась нападения лихих людей и диких зверей, отдыхая в домах, где было мало покоя и еще меньше удобств, рискуя головой в своей жажде припасть к одному из драгоценнейших ключей или источников моей жизни. Но хотя это было весьма трудное и опасное зимнее путешествие, я был тогда достаточно юн, чтобы презирать опасность; меня влекло к великому Мастеру Парацельсу точно магнитом, и все бури и ураганы мира (так я полагал) были бессильны воспрепятствовать мне на моем пути.

Я отправился в дорогу глухой ночью и доплыл на лодке до Гринвича; там мне пришлось ждать большого весельного катера, дабы попасть в Грейвзенд, что в нескольких милях от Лондона. Потом я сел на корабль, не забыв взять с собой кое-какую провизию, а именно галеты, хлеб, пиво, растительное масло и уксус; имелся в моей суме и добрый запас пергамента, перьев и чернил (с мешочком черного пороха, чтобы можно было наболтать еще), ибо я решил вести записи о том, что увижу на чужбине. Итак, мы вышли в открытое море, однако на третий день плавания купеческий караван из двенадцати судов, среди коих был и наш корабль, рассеялся под влиянием тумана и бури. У меня в кармане лежал мой собственный магнитный компас, дар благородного мистера Гриффена, и мне нечего было бояться. Я с готовностью принялся толковать кормчему нашего судна об измерителях земных и небесных склонений, об астролябиях и кроссштаффах[1], но едва я завел речь об эксцентриситете и параллаксе, как он коротко ответил мне, что является знатоком приливов и течений, а не инструментов. Я был удручен и встревожен, ибо считал, что только наука может спасти нас от шторма, но он хлопнул меня по спине и рассмеялся.

«Все в порядке, любезный звездочет,— сказал он. — Я знаю свои маршруты и свои сигналы, свои гавани и свои вехи лучше, чем узор на собственной руке».

«Но послушайте, мой добрый капитан,— конечно, вам и вашему лоцману известны начала гидрографии и астрономии?»

«У меня в голове крепко сидят все рифы и течения. Что еще нужно? Сейчас я нарисую вам наш путь...»

Он изобразил наш маршрут пальцем на старом сосновом столе, и я воззрился на него, изумленный. «А как же расчет отклоненья от курса и проверка его по полночным звездам? Ведь буря сбила нас с пути, и вернуться на него мы можем лишь с помощью скрупулезных исчислений».

Мой пыл снова рассмешил его. «Да разве неподвижные звезды и планеты спасут меня от коварных стремнин и водоворотов? Не думаю. Разве можете вы взглянуть на солнце и предсказать мне грядущие штормы и смерчи? Нет уж, Джон Ди, тешьтесь себе на здоровье своей арифметикой да геометрией; а мне дайте править по собственному разумению».

Вскоре я оставил его — буря к той поре как раз улеглась, а туман поднялся,— но он, верно, и в одиночестве продолжал посмеиваться надо мною. Но кто будет смеяться последним? Вы можете проложить курс, опираясь на опыт, но только знание способно привести вас к истинной, достойной цели. Ваши глаза, мой славный капитан, помогут вам одолеть этот узкий пролив; но астролябия, столь презираемая вами, посвятит вас в тайны движения небесных сфер. Мало уметь свободно перемещаться по свету; надо обучиться видеть его в лучах разума. Подумайте сами. Разве я не прав?

[1]Кроссштафф — инструмент, служивший для определения высоты светил, особенно солнца, над горизонтом.

На четвертый день морских скитаний мы достигли острова Хол-ландия (в просторечии Хайлигланд) и, не отважась войти в реку Эльву[1] прежде наступления утра, спустили паруса, после чего нас всю ночь швыряло туда-сюда по волнам — моряки называют такой прием «лечь в дрейф», но я бы назвал это лежанием в скверне. Затем, на рассвете, мы вошли в устье и добрались до пристани Штаде, из какового места, сев в фургон и переправясь через реку, поехали в Гамбург по весьма густым и протяженным дубовым лесам. Так началось мое путешествие в чужих краях, занявшее всю зиму: в почтовой карете по топям и песчаным равнинам, в фургоне по горам и лесам, пешком сквозь туман и град, верхом мимо рощ и озер,— и ни разу не уклонился я от своего маршрута, проходящего через Гамбург и Лейпциг, Виттербург и Дрезден. Вопреки общепринятой схеме подобных поездок и минуя наиболее оживленные пути, я достиг Виттербурга, ибо мне говорили, что в архиве тамошнего огромного собора хранятся чрезвычайно редкие и любопытные карты еще не изведанных частей света. Разве мог я не пожертвовать удобствами передвижения и не взглянуть на земли, покрытые пеленою и мраком нашего собственного невежества?

Виттербург — город, полный ученых, но у меня было рекомендательное письмо к великому астроному Гегелиусу, уроженцу тех мест, и после совместного вкушения рыбы и мяса он согласился проводить меня в собор, где имя его служило ключом ко всем бережно хранимым сокровищам. Конечно, молвил он, мне не составит труда увидеть карты неведомого мира, но известно ли мне, что совсем рядом скрывается иная таинственная область? (Мы беседовали по-латыни, и я передаю здесь содержание нашего разговора несмотря на то, что оно может стать доступно глазам и ушам черни.) Засим он сообщил мне, что около 1500 года в Виттербурге проживал знаменитый маг доктор Фауст; вняв моей пылкой просьбе, он с охотою взялся отвести меня в его обиталище. После благодарственной молитвы мы встали из-за стола и, немного потолковав о началах магии, отправились в путь по зловонным улицам городка; но меня ждало разочарование, так как старинное жилище Фауста оказалось ветхим домишком, в котором не было заметно никаких следов его искусства.

Гегелиус увидел, как я огорчен, и поинтересовался, не желаю ли я посетить лес близ городка, где, по свидетельству молвы, доктор Фауст занимался волшебством и где он умер — или, скорее, был унесен Дьяволом в качестве последнего результата своих трудов. Да, ответил я, разумеется. Стояла зима, и я испытывал недомогание, однако был еще так молод, что не обращал внимания на эту помеху. Мы вышли из ворот города, украшенных многообразными каменными головами, которые весьма напоминали окровавленные головы разбойников на Лондонском мосту, и довольно скоро добрались до опушки леса. Я кутался в меховой плащ, а моя шапка была оторочена кошачьими шкурками, как принято в Московии, однако в этих владениях Фауста царил такой холод, что я не мог выговорить ни слова. Недавно пробило три часа пополудни, но под сенью деревьев уже сгустились сумерки, и я едва различал тропу. Гегелиус все время шагал впереди и наконец вывел меня к растрескавшемуся и почернелому пню футов шести в диаметре. «Вот здесь,— сказал мой проводник,— стоял Фауст, и отсюда он был унесен». Я вскочил на то, что осталось от этого необычайно старого дерева, и холодная сырость мгновенно улетучилась из моих костей. В тот же миг прошло и мое недомогание. Возможно, внутри пня еще теплилась толика дьявольского огня; во всяком случае, двигаясь за Гегелиусом обратно к городским воротам, я чувствовал себя здоровым и веселым как никогда. Мои шаги словно направляла некая потусторонняя сила, и теперь я хотел знать все. Я хотел понять все. Гегелиус отвел меня в собор, где мы с благоговением разглядывали древние карты, но мне чудилось, будто в том старом погибшем древе я уже снискал более богатый мир. А сейчас довольно об этом.

Итак, освеженный и вдохновленный целебной прогулкой по лесу Фауста, я снова пустился в путь. После Виттербурга и Дрездена я дошел до деревянного столба, что отделяет владения курфюрста Саксонского от королевства Богемии, а оттуда, минуя песчаные и каменные холмы, покрытые снегом долины и множество диких чащоб, прибыл на почтовой карете в Прагу; из Праги я направился в Нюрнберг — через шесть дней езды по равнинам, перемежаемым скалистыми грядами, мы достигли сего города,

[1]Эльва — старинное название Эльбы.

расположенного в пустынной песчаной местности, открытой натиску снега и льда. Стояли суровейшие морозы, но я упорно шел по городам и весям, ежедневно меняя пристанище, живя на вонючем пиве и грубом хлебе и ночуя на грязных соломенных подстилках. В ту пору денег у меня было мало, ибо англичане дают своим младшим сыновьям меньше, чем на чужбине принято давать незаконнорожденным, — но это к слову.

Из Нюрнберга я направился в Аугсбург, а оттуда, взяв коня в городской извозчицкой конторе,— на запад Германии и далее, в Нидерланды[1]. Миновав Линдау у озера под названием Акрониус, я поплыл на лодке в Костнец, что на рубеже между Германией и Швейцарией, а затем в Шафхаузен. Воды Рейна катили быстро, и я оставлял позади милю за милей, но Бог мой, что это было за путешествие! Оно едва не положило конец моим скитаниям. Я не страшусь воды, ибо знаю, что она является одной из необходимых частей сего подлунного мира, но наша стремящаяся вперед лодка так сильно кренилась на борт, что волны то и дело захлестывали ее; мы сидели мокрые по колени, а вода все прибывала да прибывала. И это еще пустяки. Вскоре нам преградила дорогу каменная ступень высотою локтей в пятьдесят; река свергалась вниз с грохотом, вскипая сплошной пеной, и меня охватил панический страх, что нас увлечет туда и мы найдем свою погибель в этом могучем бурлении. Однако я вспомнил Фауста и громко вознес молитву своему собственному ангелу-хранителю или демону; в тот же миг лодочник сбросил свое потрепанное одеяние, схватил веревку и поплыл к пристани, таща за собой лодку. Я взял весло, и мы вместе с другим путешественником стали помогать вести лодку, подвергаясь постоянному риску утонуть: тогда мне чудилось, что смерть уже близка, но сознание этого лишь увеличивало мои силы. Наконец мы подошли к берегу, и нас выбросило на сушу. Каким благотворным оказалось это приключение: я ощущал себя гигантом, которому удалось пережить Потоп. Я воздел руки в молитве, но мне почему-то мерещился я сам, стоящий в лесу и осиянный светом; я пытался возблагодарить Господа за избавление от опасности, но слова не шли с языка — я онемел, точно в великом изумлении. Потом невдалеке залаяла собака, и я опомнился. Пора было двигаться дальше, ибо я не терпел промедления: истинная цель моего похода была уже совсем близко.

В течение некоторого времени я был принужден передвигаться пешим, делая более вздохов, нежели шагов, и спустя пять часов с превеликими усилиями добрался до маленького городишка Эглизо. Там я сразу востребовал себе ложе и поел на старинный манер, застелив его скатертью. Наутро, чуть свет, я снова тронулся в путь — за небольшую мзду стражник открыл мне ворота пораньше — и через шесть часов ходьбы (ибо мили в Швейцарии столь длинны, что протяженность конного или пешего похода измеряют там в часах, а не в милях) по лесам, холмам и огороженным пастбищам наконец увидел в раскинувшейся впереди долине городок Мария-Айнзиделын. Внезапный ливень, короткий и обильный, немного замедлил мое продвижение, но я поплотнее запахнулся в плащ, прижал к груди суму, дабы противоборствовать ветру, и шаг за шагом спустился к стенам, окружавшим то самое место, где звуки небесной гармонии впервые коснулись слуха нашего великого учителя Парацельса.

Мария-Айнзиделын, чистенький городок с домами, сработанными большей частью из дерева и глины, лежит на северном берегу озера Тигеринус; улочки его оказались довольно узкими, однако за стенами высился изрядной величины за́мок, недавно разрушенный. Скоро я нашел себе прибежище на постоялом дворе под вывеской, изображающей Длань, и осведомился у тамошней служанки, миловидной девицы в опрятном красном платье и белой пелерине наподобие ирландской, где можно отыскать дом Парацельса, к коему я так упорно стремился. Она охотно ответила мне на своем родном наречии, и я спешно вышел во двор, под морозное небо. Как я уже говорил, городишко был невелик, и после двух поворотов я внезапно наткнулся на маленький мостик через ручей, упомянутый служанкой; а там, сразу за ним, виднелась стена дома с выписанной на ней головой мага. Портрет был сделан искусно и изображал его, как всегда, без бороды. Чуть повыше было начертано изречение мудреца на латыни, которое я перевожу так: «То, что над нами, совпадает с тем, что под нами, и се есть источник чудес». Я поглядел вверх, на высеченные в камне окна этого старинного дома, твердо уверенный, что одно из них освещало фигуру

[1] Тогдашние Нидерланды охватывали территорию современных Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

малютки Парацельса, когда он впервые узрел великолепие солнца и стоял, любуясь танцами звезд.

Открылась дверь, на пороге вырос древний старик и поманил меня войти. Он обратился ко мне на ломаном французском, сочтя меня странником из тех краев, и я отвечал ему по-галльски. «Хотите увидеть его одежды? — спросил он. — Мы храним их здесь». Я откликнулся согласием, и он повел меня по коридору, непрестанно утирая влагу, сочащуюся из его глаз и носа; затем мы начали подниматься по источенной червем лестнице, а его французские слова все звучали поверх моей головы. «Каждый год наши горожане устраивают праздник в его память,— говорил он,— и в этот день мы показываем платье, которое он обычно носил». Я не совсем понял, как это возможно, ибо по достижении десятилетнего возраста Парацельс покинул свою родину, отправясь на диспут с немецкими учеными, но решил не спорить. Он привел меня в комнату, где стоял очень громоздкий ларь, или сундук. «Наши реликвии,— сказал он, открывая его весьма бережно. — Говорят, будто больные излечивались от одного прикосновения к ним». Он подал мне шляпу и мантию, каковые я подержал в руках с должной почтительностью. Затем, весьма довольный моим скромным поведением, он прошел со мною по комнате и показал мне чернильницу, стило и перочинный нож; далее настала очередь нескольких книг, не столь уж древних, и перстня, который (по его словам) был снят с руки Парацельса после его кончины. Он готов был продолжать демонстрацию, но я уже достаточно нагляделся и, презрев свою стесненность в средствах, отыскал для него серебряную монету. «Вам следует знать,— пробормотал он, ведя меня обратно к двери,— что у нас в Айнзидельне до сих пор обитают духи».

«Духи, сударь?»

«Да, наподобие тех, что видел наш славный учитель. У нас в округе множество подземных ходов и пещер, и людям, работающим там с лампами, досаждают эти... эти...»

«Но разве вы запамятовали, чему учил нас Парацельс? Что все духи обитают внутри нас? Что все, существующее на земле и в небесах, есть и в самом человеке?»

Он не понял, о чем я толкую, так что я пожелал ему доброго дня и снова вышел на узкую улочку. Когда я возвращался по маленькому мостику, отчаянный вопль заставил меня взглянуть на берег ручья; и там, на возвышающемся посреди грязи валуне, сидела молодая женщина, чье одеяние было пестрым, как майский шест, а лицо и руки — белыми, как молоко.

«Отчего ты кричишь? — воскликнул я на том наречии, которое полагал для нее родным. — Что за хворь гложет тебя?»

«Мне хорошо,— ответила она. — Я довольна. Ступай своей дорогой». После чего она стала вопить и хохотать попеременно, но в такой необычной манере, что я сам почувствовал дрожь в членах. Затем, совершенно внезапно, все ее тело задергалось в страшных корчах, так что она соскользнула с валуна на берег ручья; ее живот вздымался и опадал, а по рукам пробегали сильнейшие судороги. Вместе с тем лицо ее искажалось многими удивительными гримасами, из-за которых рот то и дело открывался и перекашивался на сторону, однако глаза были неизменно устремлены на меня. Я уже собрался идти дальше, как вдруг она выкрикнула «Ду! Ду!», известное мне ангельское имя. Глас ее в тот миг был громок и ужасающ, исходя из глотки подобно лаю хриплого пса, а когда я поглядел вниз, на нее, то увидел, что из открытого рта ее обильно источается пена. Звуки, которые вырывались из ее уст, напоминали слова «чек, чек» или «кек, кек», а потом слышалось «твиш, твиш», точно шипела огромная петарда. Вскоре раздался иной мерзостный звук, приведший мне на ум кошку, что готовится выблевать содержимое своей утробы,— и правда, эту молодую женщину тут же сотрясла неистовая рвота.

«In nomine Deo...»[1]— начал я, сверх всякой меры обеспокоенный мыслью, что в нее вселился бес.

«Что? Это ты? Так ты еще здесь?» — она испускала громкие вопли, а тело ее понемногу оседало в грязь. Затем ее уста крепко сомкнулись, а из ноздрей изошел голос, как бы говоривший «Сожги его. Сожги его». В это мгновенье я тронулся с места, и она прокричала мне: «Нынче случилось то,

[1]Во имя Божье... (лат.).

что доставит тебе большую радость». Затем наступила тишина, и, обернувшись, я увидел, как она сидит на берегу, горько плачет и в скорби своей заламывает руки.

Скоро я вернулся в гостиницу, усталый и опечаленный, не получив того, что искал, и наткнувшись на то, чего не пытался найти. Было уже около полудня, и в лицо мне, лежавшему на кровати, светили солнечные лучи; но потом я как бы увидел скользнувшую мимо тень и сел, ибо меня вдруг оросил пот. В этот миг я услышал слово, что моя мать умерла. Я поднялся и записал день и час, а также прочие обстоятельства на листке бумаги, впоследствии сохраненном мною несмотря на все трудности и опасности обратного пути в Англию. И правда, как было записано, так и свершилось: дома мне передали известие о смерти матери, происшедшей в то самое время, когда меня посетило видение. Перед кончиной ее несколько дней подряд трясло в лихорадке (что странным образом уподобляется корчам той бесноватой у Парацельсова дома), но мое путешествие и растущая жажда знаний сообщили мне столь приподнятое состояние духа, что я нимало не горевал о ней. Разве сам Парацельс не оставил свою семью в поисках мудрости — а кто такой я, чтобы меня сдерживали подобные путы? Передо мною лежал целый мир, мне предстояло его покорить, и я был отнюдь не из тех, кто наследует лишь по крови.

Итак, я вновь собрал свои книги и снял жилье в Карпентерс-ярде, неподалеку от Кристофер-элли и к югу от Литл-Бритн, рядом со скрытой клоакой. Тут держали свои заведения книготорговцы и печатники, и, хотя в иных лавках была только обычная чепуха для безмозглых простолюдинов, образцом коей служат «Сэр Гай Уорикский» или «Плач девы», я нашел и много других книг, малых печатных опусов и сочинений, трактующих о полезных и любопытных предметах. Я мог бы оставаться здесь и читать вечно, однако спустя несколько месяцев разбранился с хозяйкой своего жилища. Это была обыкновенная владелица пивной, одевавшаяся с абсолютно неуместным щегольством и столь дерзкая, что однажды она прямиком вошла ко мне в кабинет, даже не озаботясь постучать в дверь. Я был углублен в свои занятия, и, так как эта женщина не могла в полной мере постигнуть, что я делаю, она завела какой-то дурацкий разговор, не переставая поглядывать на мои бумаги.

«Что это,— спросила она,— выводите вы своим пером? Похоже на колдовские заклинания».

«Мне чужды подобные вещи, мистрис Аглинтино».

«Вот как? Неужели? Ну, а я думаю...»

«Оставьте при себе ваши убогие думы. Я не дал бы за них и...»

«И гроша?» — Она рассмеялась чересчур громко.

«Куда там гроша — и рваного исподнего». По мере произнесения этих слов моя досада росла. «Да как вы посмели вломиться сюда?»

«Я вас не боюсь,— отвечала она, перебирая кружева на своей домотканой юбке, покуда я подымался из-за стола. — Нет на свете мужчины, который мог бы меня напугать».

«Я и не собирался пугать вас, сударыня. Но я не потерплю, чтобы в мои бумаги подглядывали, а из моей работы делали посмешище. Не потерплю».

«Работы? — промолвила она. — Теперь-то я вижу, что это всего лишь детячьи каракули».

При сих словах я впал в жесточайший гнев и немедля заявил, что съезжаю. На следующий день я подыскал себе жилье на углу Биллитер-лейн и Фенчерч-стрит: там было недавно перестроенное здание, которое называли «новым доходным домом», однако оно и после переделки источало сырые испарения и миазмы, довольно скоро изгнавшие меня оттуда.

И вот ныне вы снова находите меня в моем собственном мире, вдали от голубых просторов Татарии и красных пятен Германии и Италии. Theatrum orbis terrarum уже свернут, убран в футляр и заперт в сундуке, и теперь я разворачиваю перед вами иную карту со своими теченьями и водоворотами, маяками и вехами, а именно — великую карту Лондона, по коему я за все эти годы совершил не одно кругосветное плавание. С Биллитер-лейн я вновь переехал на запад и выбрал себе пристанище на Сикоул-лейн, рядом со стекольным заводиком на Саффрон-хилл, что было весьма полезно для моих упражнений в перспективе. Но дабы проложить курс по той улице, где я когда-то жил, мне не надо ни компаса, ни подзорной трубы! Она вливается во Флит-лейн, однако прежде вы сворачи-

ваете на другую улочку по имени Уайндеген-лейн[1], которая названа так потому, что она упирается в речушку Флит и на противоположный берег там никак не попадешь. Итак, снова вспять, и мысленно пройдите со мною несколько шагов на север до Холборн-бриджа и Сноу-хилл, где есть акведук. Затем поверните на юг и проследуйте меж канав Флит-лейн, что у самых стен тюрьмы, а потом идите дальше, на Флит-бридж и к Городскому валу[2]. Вперед, вперед! Здесь и ныне все так же, как было прежде и будет всегда, ибо град сей, питаемый божественными эманациями и земными соками, не может ни исчахнуть, ни умереть.

Последние двадцать лет или более я бродил среди ломовых извозчиков и кебменов, торговцев и зевак, распутников и носильщиков; мне привычны сутаны и плоеные воротники, шапки и локоны париков; я знаю лечебницы для бедных и прекрасные церкви для богачей. Я знаю районы Портсоукен и Даунгейт, где столь часты убийства; Лангборн и Биллингсгейт, где вам при нужде подделают документы и окажут так называемые куртуазные услуги; Кэндлвик-стрит и Уолброк, печально прославившиеся своими самоубийствами; Винтри и Кордуэйнер, где случаются преступления, о коих лучше не упоминать. Я знаю Рэтклиф, Лаймхаус, Уайтчепел, Сент-Катерин, Стретфорд, Хогстон, Сордайк и все эти печальные места за городскими стенами. Я повстречал девушку на Темза-стрит, ухаживал за ней на Тауэр-стрит и обвенчался с нею в церкви Св.Данстана. У Крестоносцев[3] я похоронил своих мертворожденных детей, двоих мальчиков и одну девочку, а за боковыми вратами монастыря на улице Майнорис покоятся в земле мои братья.

И все же я вновь слышу в сем городе смерти возгласы «Спелые вишни, сладкие яблоки!», или «Прекрасные севильские апельсины!», или «Кому артишоки?», слышу, как предлагают шарфы, лучины и камышовые подстилки. Я знаю, где раздобыть перчатки или очки, мольберт живописца или гребень цирюльника, медную трубу или ночной горшок. Я знаю самые людные места — харчевни и игорные дома, арены для петушиных боев и площадки, где катают шары. Я знаю продавцов одежды с Лондонского моста и ювелиров с Чипсайда, зеленщиков с Баклерсбери и торговцев тканями с Уотлинг-стрит, чулочников с Кордуэйнер-стрит и башмачников с Лондонского вала, скорняков с Уолброка и держателей скобяных лавок с Олд-Джуэри, где стоит такой шум от тележек и повозок, так гремят кареты и колесницы — а тут еще стучат молотами, а там набивают обручи на бочки,— где снуют такие орды мужчин, женщин и детей, что кажется, будто ты угодил в чрево Левиафана. Однако здесь, именно здесь я создал свои философские труды и выполнил свои научные опыты; среди этого гама, едва ли не в самой гуще зловонной толпы вглядывался я в светлый лик природы и находил знаки, коими заявляет о себе spiritus mundi[4].

И вот теперь я с женою и домочадцами живу в Кларкенуэлле — я перебрался сюда пятнадцать лет тому назад (отец мой, слабый и изможденный до последней степени, обитает в благотворительном приюте). Это весьма здоровое место близ Кларкенуэлл-грин и чуть в стороне от Тернмилл-стрит, где и по сю пору находится колодец клириков; сад мой позади дома сбегает к реке Флит, а далее к северу расстилаются поля Хокли, где стреляют по мишеням лучники. Сам дом стар и просторен; в нем столько коридоров, спален, горниц, комнатушек и мелких закутков, что в них не заблудился бы разве лишь второй Минос. А я сижу в своем кабинете на верхнем этаже, и вокруг меня лежат мои бумаги. Ибо именно в сей комнате я столь ревностно тружусь к вящей славе своей родины, именно здесь я вчитываюсь в самые различные манускрипты, а также брошюры и иные печатные издания. Если выйти отсюда и пересечь лестничную площадку, вы попадете в мою лабораторию, оснащенную всем необходимым — есть там сосуды из глины, из металла, из стекла, а есть и из смешанных материалов; там же я храню реторты и колбы для занятий пиротехникой, так что стены и потолок лаборатории ныне сильно закопчены вследствие моих опытов с горючими веществами. Кроме того, здесь поставлена небольшая перегородка, а за нею расположен целый склад всяческих реактивов и необычных предметов, кои могут пригодиться мне в моих делах,— например, большой пузырь с четырьмя фунтами очень сладкой клейкой массы, напоминающей камедь. Здесь же имеются мешочки с

[1] Wind-again (*англ.*) — «ступай обратно».
[2] Городской вал — стена, окружающая исторический центр города.
[3] Братство крестоносцев — монашеский орден в Англии XIII — XVII веков.
[4] «Мировой дух» (*лат.*) — мистическая субстанция алхимиков.

некоторыми порошками, а также свинцовые ящики для стеклянных банок с жидкостями — все это весьма полезно и удобно держать под рукой. А еще здесь есть прозрачная трубка, каковую следует укрыть толстым слоем земли и навоза. И довольно о ней, ибо не время пока говорить яснее.

Однако мало что в этом доме, да и во всем государстве, может сравниться с моим кабинетом. Тут стоят глобусы, лучшие из сделанных Герардом Меркатором,— хотя на иных есть поправки как географического, так и космического свойства, внесенные мною собственноручно и касающиеся, к примеру, местоположения и путей комет, кои мне привелось наблюдать. Тут имеются песочные часы для измерения продолжительности моих штудий и универсальная астролябия, недавно изготовленная Томасом Хиллом с Чипсайда. Но истинная гордость моя заключена в книгах: печатных и писанных древле от руки, в переплетах и без оных, их у меня около четырех тысяч. Среди них есть сочинения на греческом, на латыни и на нашем родном языке, однако все они найдены мною — да, я выискивал и собирал их даже в пору царствования королевы Марии, когда меня чуть не сгубило облыжное обвинение в колдовстве. Некоторые из сих драгоценнейших памятников старины были обнаружены буквально среди отбросов, ибо я находил их в углах разграбленных церквей и монастырей, где им грозила опасность истлеть вовсе. Иные прежде хранились в большом шкафу, или каркасе с ящиками, который я вывез из разрушенного кабинета одного старинного дома (он и сейчас стоит там же, за булавочной мастерской, в унынии и запустении); названья сих книг были выведены на передней части ящиков обычным мелом, и все же сердце мое подпрыгнуло, едва я увидел их. Я знал, что они содержат сотни чрезвычайно редких свидетельств, и теперь каждая из них помещена мною в особый ящичек или футляр, а то и заперта в сундук. Для их копирования и своих собственных писаний мне надобен немалый запас чернил и разного рода перьев — все это лежит по левую руку от меня. Я наполняю чернилами полость своего стила и, усевшись за рабочий стол, по коему разбросаны мои записи, начинаю составлять хронику чудес.

Но мне нет нужды пояснять вам, что чудеса кроются и в моих книгах — среди них есть превосходные и чрезвычайно редкие труды Зороастра, Орфея и Гермеса Трисмегиста, а также фрагменты древних эфемерид[1]. Моя комната стала целой вселенной, или академией, для ученых любой специальности; здесь имеются поистине блестящие сочинения, например «De verbo mirifico» и «De arte cabalistica» Ройхлина, «Книга о квинтэссенции, или новой бесценной жемчужине» Брунсвика — она была выпущена в свет Петром Добрым из Пулы и заново переиздана Яном Лациниусом, знаменитая «De occultia philosophia» Корнелия Агриппы, «De incantationibus» Помпонацци, «Corpus Hermeticum», составленный Турнебусом, а также весьма полезные и приятные для чтения «Clavicula Solomonis» и «Солнце совершенства». Не могу я забыть и о великолепнейшем перле из сокровищницы ученых трудов, открытом мною лишь недавно,— о «Steganographia» Тритемия. Нельзя обойти вниманием и удивительные, божественные дисциплины, трактаты о коих опубликованы самим Парацельсом, или те глубокие взаимосвязи, каковые можно проследить с помощью «De harmonia mundi» Франческо Джорджи, «De institutione musicae» Боэция и «De divina proportione» Пациола[2]. Этих трудов не найдешь за деньги ни на рынке, ни в книжной лавке, ибо они написаны для избранных.

Среди сих томов в переплетах лежат превосходные трактаты моего собственного исполнения, каковые ради вечной памяти в умах человеческих помечены моей лондонской печатью Гермеса. Я употребил долгие годы отнюдь не на выдумывание пустых загадок и побасенок — нет, я постоянно размышлял о грядущих поколениях. И мои труды, посвященные различным областям знаний, размещены мною в соответствии с тремя космическими уровнями — природным, интеллектуальным и небесным: от тех, что способствуют наилучшему постижению механики, а именно «Элементов геометрии» и «Введения в математику» (сюда же я отношу и «Общие и частные рассуждения о благородном искусстве навигации», а также многочисленные работы по горологии[3], перспективе, геометрии и прочим предме-

[1] Эфемериды — астрономические таблицы.

[2] «О чудотворном слове», «Об искусстве каббалы», «Об оккультной философии», «О заклинаниях», «Сборник трудов по алхимии», «Соломонова ключица», «Криптография», «О мировой гармонии», «О законах музыки», «О божественной соразмерности» (*лат.*)

[3] Горология - здесь: наука измерения времени.

там), до тех, что предназначены вниманию мудрых, начиная от моей «Propodeumata aphoristica» и далее, по пути усложнения, вплоть до самых ценных и возвышенных сочинений, кои я держу рядом с собою,— они известны под общим именем «Liber Mysteriorum»[1]. Круг моих свершений столь широк, что тут, насколько я знаю, меня еще не превзошел никто; вот почему я вынужден хранить свои бумаги в крепких сундуках, подальше от глаз и языков заурядных софистов. В наши безотрадные времена трудно снискать себе должное публичное уважение успехами в высоких искусствах; а посему, ни в коей мере не рассчитывая на справедливость соотечественников, я присоединяюсь здесь к нашим предкам и кладу рядом с их трудами свои собственные. Когда я думаю о дерзких, гнусных, безрассудных и насквозь лживых баснях, измышленных в мой адрес и в адрес моих философских усилий, я нахожу прибежище от болтливых языков здесь, в своем кабинете, где все века молчаливо лежат передо мною. Это мой quietus est[2], мой пропуск (как теперь говорится) в страну свободы. А где еще можно обрести свободу, если не в воспоминаниях и думах о прошлом?

Конечно, не все известно или может быть известно — утрачены даже многие сведения о нашем собственном королевстве, но у меня здесь имеется «Historia Regum Britanniae»[3], а также различные манускрипты, касающиеся прошлого Британии и собранные Неннием и Гальфридом Монмутским. Прежде у меня хранился еще один томик — не знаю, что с ним сталось, ибо его похитили, когда я был заточен в Тауэр как колдун, но я и ныне словно вижу его перед собою. Это была маленькая, толстая старинная книжица с двумя застежками, изданная в 1517 году от Рождества Христова, и в ней содержались некоторые сведения о древних поселениях, захороненных в недрах нашего острова, и о весьма многочисленных городах, давно канувших в землю. Как я уже сказал, мою чудесную книгу украли, но утрата сия ничто по сравненью с общим разрушением, сожжением и разграблением стольких знаменитых библиотек в царствие короля Генриха; тогда едва не уничтожили весь бесценный кладезь нашего прошлого, и древние рукописи использовались для протирания подсвечников или чистки сапог, а то и для отхожих мест. Моя коллекция составлена из бриллиантов, кои я нашел в разных уголках страны, так что у меня в кабинете лежит толика сокровищ британской древности, вечных свидетельств ее неувядаемой славы, остатки некогда удивительно обширного корпуса великолепных трудов наших предков. Давным-давно на побережье Британии высадились исполины, а позднее — те, кто спасся от наводнения, поглотившего Атлантиду. Нельзя забывать об их глубоких откровениях.

Вот почему тот, кто желает стать подлинно ученым и знающим человеком, должен набираться мудрости у книг; из пренебрегающих ими выходят отнюдь не философы, но лишь софисты, знахари да шарлатаны. Это они лгут, что учение делает человека женоподобным, застит его глаза пеленою, ослабляет разум и порождает тысячи недугов; сам Аристотель говорит нам: «Nulla est magna scientia absque mixtura dementiae», а это то же самое, что сказать: «Не бывает глубоких знаний без примеси безумия». Но тут я не соглашусь даже с Аристотелем, ибо имеющий знания владеет цветком солнца, совершенным рубином, волшебным эликсиром, магистерием. Сие есть истинный философский камень, обитель преславного духа, эманация мировой души.

Книги не умирают подобно Адамовым детям. Конечно, мы нередко видим их рваными в мелочных лавках, тогда как еще несколько месяцев тому назад переплет их был цел и они лежали в книжных магазинах; однако это не настоящие труды, а просто мусор и новомодная мишура для черни. Люди держат у себя в спальнях или ставят на полки тысячи таких безделушек; они верят, будто обрели драгоценности, хотя это всего только преходящие забавы преходящей поры, имеющие не большую ценность, чем бумажки, подобранные на свалке или нечаянно выметенные из собачьей конуры. Истинные книги дышат мощью постижения, каковая есть наследие веков: вы берете такую книгу во времени, но читаете ее в вечности. Взгляните вот на это сочинение, «Ars Notoria»[4], превосходно переложенное с греческого Мастером Матфеем; заметьте, как точно каждое слово отражает сущность предмета, а каждая фраза — его форму. Сколь-

[1] «Начала мудрости в афоризмах», «Книга тайн» (*лат.*).
[2] Здесь: разрешение уйти на покой (*лат.*).
[3] «История Британского Королевства» (*лат.*).
[4] «Достославное искусство» (*лат.*).

ко же можно познать (даже в нынешние дни, когда мир страдает старческим слабоумием), если любая строка открывает тебе, как тайные и неведомые формы вещей связаны в своих первопричинах! Однако сие предназначено отнюдь не для узколобых мистиков, что видят кругом сплошные тайны и читают книги только в надежде напасть на какое-нибудь откровение; из одного корня произрастают как дикая олива, так и сладостная, и подобные люди лишь попусту разевают рот и шепчут «Микма», или «Физис», или «Гохулим», не понимая смысла сих священных имен.

Но я нашел источник всей этой мудрости. Я припадаю к чистейшему ключу, ибо здесь, около меня, лежит богатство нашего острова. Точно так же, как я могу созерцать портрет Парацельса на стене своей комнаты и переносить его образ на эти страницы, чтобы он представал перед теми, кто обратит к ним свой взор, в виде мерцающего света,— вот так же могу я извлечь из окружающих меня книг их квинтэссенцию и передать ее сегодняшнему миру. Непреходящее молчаливое присутствие сих томов будет ощущаться не только мною, но и многими поколениями наших потомков. У невежд существует поверье, будто в старых домах есть духи, что населяют стены или деревянные лестницы; но если в моем кабинете и живет какой-либо дух, то это дух прошлых веков. Кое-кто презирает меня и издевается надо мною за то, что я живу прошлым, но эти люди попадают пальцем в небо: подобно навигатору, прокладывающему курс с помощью неподвижных звезд, изучившие прошлое обретают власть над настоящим. День нынешний словно переменчивый шелк, что играет на солнце многими цветами, а в тени становится бесцветным,— он тоже несет на себе следы и печати эпох, давно канувших в Лету, но увидеть их может лишь знающий, как на него взглянуть. И я сижу за большим столом посреди своего кабинета, вдали от шума и навязчивой мирской суеты; мои книги охраняют меня от всех выпадов злобных дураков и помогают мне обрести свое истинное лицо. Душа моя спокойна.

Однако я не столь глуп, чтобы позабыть заветы великих мудрецов — среди них были Пико делла Мирандола и Гермес Трисмегист,— которые утверждали следующее: быть собой значит быть миром, вглядываться в себя значит вглядываться в мир, познать себя значит познать мир. Человек могущественнее солнца, ибо он заключает в себе солнце, прекраснее рая, ибо он заключает в себе рай, и тот, кто видит это ясно, богаче любого царя, потому что он постиг все искусства и овладел всей земной мудростью. Нет, я говорю не о своем жалком смертном теле, не об этом несчастном одре пятидесяти лет от роду, а об истинном, духовном теле, коим я наделен: это оно алчет знаний и устремляется к славе, когда я сижу в окружении своих книг.

* * *

Я вышел в сад подышать свежим воздухом после сладковатой затхлости своего кабинета и едва успел спуститься к поросшему травой берегу Флита, как услыхал странные звуки, словно кто-то поблизости бормотал во сне. Рядом была маленькая постройка наподобие домика из обожженного кирпича; подойдя к отверстой ее стороне, я прянул назад при виде человека в рваной черной хламиде, расстегнутой и распахнутой у него на груди. Голова его была закутана в грязный кусок материи с узким вырезом спереди, откуда выглядывало лицо. Он поднял голову и некоторое время не мигая смотрел на меня.

«О, хозяин,— воскликнул он затем,— я всего только отдыхал тут у речки. А вы, мне сдается, почтенный джентльмен — так пожалейте меня». Я ничего не сказал, но коснулся ногою войлочной шапки, которую он бросил на землю, подвинув ее к нему. «Я страдаю ужасной и мучительной хворью, что зовется падучей,— снова заговорил он. — Я упал тут навзничь и пролежал аж до самого рассвета».

«У тебя нет такой хвори,— промолвил я,— какую нельзя было бы излечить плетьми у позорного столба».

«Ей-Богу, сэр, мне кажется, будто я там и родился, столько мне выпало пинков. Мое имя Филип Дженнингс, и падучая не отстает от меня вот уж восемь лет. И нет мне от нее исцеления, ибо эта хворь у нас в роду. До меня ею маялся отец». Тут я слегка заинтересовался: однажды мне довелось прочесть весьма глубокий труд о недугах, кои мы наследуем по крови. «Подайте мне грошик ради Христа, сэр, дабы я не покатился по дурной

дорожке».

«Неужто ты так обессилел,— заметил я, отступая на шаг, чтобы не слышать исходящего от него смрада,— что не можешь доковылять до церковной паперти?»

«О, я побывал во всех церквах. Я был у Святого Стефана на Коулман-стрит, у Святого Мартина в Лудгейте, у Святого Леонарда на Фостер-лейн, но меня отовсюду прогоняли взашей».

«Да еще, верно, грозили заклеймить тебе ухо? Такой ведь у них обычай?»

«Вы хорошо их знаете, сэр,— эти попы дерут носы выше шапок. Волос у них долог, а ум короток».

Я не стал ему поддакивать. «А ты неглуп,— сказал я,— хоть и одет в лохмотья. Чем же ты живешь в этой юдоли скорби?»

«Я брожу себе один, и нет у меня дружка в утешенье, разве вот пес». И правда, рядом с ним лежала клубком собачонка, кожа да кости,— она шевельнулась, когда он тронул ее. «Пробавляемся чем можем. У вас в городе запрещено умертвлять коршунов да воронов, ибо они пожирают отбросы на улицах,— так это и есть наши товарищи».

После сих слов я ощутил к нему некоторую жалость. «Ну ладно, я дам тебе корочку ржаного хлеба с отрубями...»

«Что ж, голодное брюхо всякой крохе радо. И старая кость лучше пустой тарелки».

«Недурно плетешь,— смеясь, промолвил я. — А может, для вас с собакой найдется и горячий пирог».

«Вот и славно, а после я с вами распрощаюсь. Двину ко граду Риму».

«Что-что?»

«Это музыка нищих, сэр. Я сказал, что уйду из Лондона».

Его странная речь пробудила во мне любопытство. «А ну-ка, спой мне еще, музыкант».

«Нонче я задавил темняка в чупырке».

«И это значит?..»

«Что я скоротал прошлую ночь в этой конуре. А теперь кройте мне гать до большака, шершавцы недалече».

«А это?» — его слова походили на неведомый мне язык наших далеких предков.

«Это все равно что сказать: отпустите меня на большую дорогу. Леса рядом».

«Я не понимаю твоих слов и не понимаю, откуда они взялись. Поведай мне что-нибудь об их возрасте и происхождении».

«Не знаю, сколько им лет и кто их придумал, но меня научил им мой отец, а он научился у своего, и так шло Бог весть с каких давних пор. Сейчас я дам вам урок. Вот, глядите,— он показал на свой нос. — Нюхач-обманщик. — Потом на рот. — Зев. — Потом на глаза. — Склянки. — Потом поднял вверх руки. — Уцапы».

«Погоди,— сказал я, — погоди, я принесу тебе еды». Я поспешил на кухню, где прислуга уже готовила трапезу, и велел собрать мне побольше хлеба и мяса. Все это я сложил на блюдо, но не забыл прихватить с собой и грифельную дощечку с мелом, дабы записать то, что он будет говорить.

«Клев,— сказал он, взяв принесенный мною ломоть мяса. — Панюшка,— он имел в виду хлеб. — Важно для моей тявки. Хорошо для собаки». Тут они оба набросились на еду, однако, насытясь как следует, он вытер рот грязным рукавом и заговорил снова. «Светляк — это день, а темняк — ночь. Соломон значит алтарь, патрик — поп, а вытьба — причитания нищего на паперти». Все это я записал. «Меркун значит огонь. Нынче ночью было страх как зябко, сэр, и я хотел умастить пер в куток или скантоваться под новой чуйкой».

«Что означает?..»

«Я хотел спрятать задницу в дом или укрыться на ночь теплой одежей». Он привстал с земли и потрепал по спине свою собачонку. «Я не стану дыбать ваш гаманок,— сказал он,— потому что вы нас накормили. Но нет ли у вас цацек? А ну-ка, переведите!»

«Денег?»

«Верно! Денег! Мне надобны деньжата!»

Я вернулся в дом и нашел на печке немного мелочи; придя обратно к нищему, я отдал ему эти пенсы без всякого сожаленья, ибо разве не открыл он мне новый язык и тем самым — новый мир? «Это тебе,—

промолвил я. — А как кличут твоего пса?»

«Ляшок, сэр. Он у меня вылитый бесенок».

Вскоре он покинул меня, однако сначала я проводил его до берега Флита. «Теория гласит,— сказал я,— что параллели, поскольку они представляют собою несходящиеся линии, никогда не пересекаются. Как ты думаешь, это правда?»

«Я таких вещей не понимаю, сэр. Знаю только, что камчатный кафтан бумазеей не латают. Я не вашего роду-племени, а потому ухожу от вас». Тут он помолчал; затем, вынув из кармана своей драной хламиды какие-то мелко исписанные бумаги, с улыбкой подал их мне. «Я доставил вам много хлопот, сэр, и уж наверняка изрядно надоел...»

«Нет, нет. Это не так».

«Но прочтите то, что я вам оставляю». Не прибавив более ни слова, он вместе с собачонкой отправился своей дорогой, шагая вдоль реки и напевая старинную песенку висельников: «Почто не любишь ты меня, судьбинушка-судьба?» Я наблюдал за ним, покуда он не скрылся из виду, а затем со вздохом вернулся домой и снова поднялся к себе в кабинет.

* * *

Поведать ли вам мои сны? В первом сне я узрел перед собою множество книг, свежеотпечатанных и трактующих о весьма странных предметах; среди них был один большой, толстый том in quarto, на заглавном листе коего было крупными буквами выведено имя моего дома. Во втором сне я гулял меж Олдгейтом и потернами Тауэр-хилла; внезапно меня настиг великий и могучий порыв урагана, и тогда я громко крикнул нескольким исполинам вокруг меня: «Я должен скакать в Кларкенуэлл; некто пишет там обо мне и моих книгах». В третьем сне я понял, что умер, и, когда мои внутренности были вынуты, беседовал с разными людьми будущего. В четвертом сне мне привиделось, будто у жены моей, мистрис Кэтрин Ди, погиб в чреве ребенок; я велел дать ей мирры в подогретом вине, а спустя час стал избавлять ее от мертвого младенца, и дитя оказалось книгою в черной обложке, липнущей к пальцам. В пятом сне я обнаружил, что нахожусь в чудесном маленьком кабинете, который в давние века мог бы быть кельей какого-нибудь ученого, обладателя философского камня; в различных местах стояло выведенное золотом и серебром имя — Petrus Baccalaureus Londoniensis[1]; и среди многих иных писаний, исполненных весьма изящно, были в том кабинете иероглифические заметки о домах, улицах и церквах нашего города. Над дверью же были начертаны некие стихи, а именно:

Immortale Decus par gloriaque illi debentur
Cujus ab ingenio est discolor hic paries[2].

Я взглянул на самого себя, и увидел, что весь я испещрен буквами и словами, и понял, что обратился в книгу...

Где-то раздался оклик, и я вышел из забытья. Наверное, глаза мои истощились от работы, ибо я прикрыл их в состоянии между грезой и бодрствованием, вовсе не собираясь дремать. Но я мигом опомнился. Было одиннадцать часов утра, и мистрис Ди звала меня к обеду. Я успел заметно проголодаться и живо спустился по лестнице вниз, где, к моему вящему удовольствию, уже был накрыт стол. Я давно изгнал с кухни всех угрюмых замарах, и теперь моей жене помогают только миловидные и чистоплотные служанки. Она села за длинный стол напротив меня и с надлежащим смирением склонила голову, покуда я просил Господа благословить трапезу. Затем я разрезал телятину, и мы молча и с должной степенностью принялись за наше вареное мясо, нашу крольчатину, наши пироги и ватрушки. У нас бывает лишь по две перемены блюд, ибо, как я говорил Кэтрин Ди, избыток хлеба и мяса порождает меланхолию; в наибольшей степени этим свойством обладает зайчатина, и потому она решительно нами отвергнута. Меланхолия суха и прохладна, а значит, меланхоликам следует воздерживаться от жареного мяса и мяса с излишком соли; вместо мяса, приготовленного на угольях, им лучше употреблять вареное. По тем же причинам я отказался от горячего вина, а дабы избежать вялости и раздражительности, обхожусь без коровьего молока, миндального молока и яичных желтков. Кэтрин Ди знакома со вкусами своего мужа и пол-

[1] Петр, бакалавр лондонский (*лат.*).
[2] Вечная слава и почести мужу тому воздаются,
Кто дарованьем своим стену сию расцветил (*лат.*).

ностью ведает закупкой продуктов: я даю ей деньги на месяц, после чего, вооруженная моими поученьями касательно тайных достоинств и происхождения всех яств, она с прислугой идет на рынок и покупает там только хорошее масло, сыр, каплунов, свинину и бекон.

«Вы заметили, что на Кау-лейн водружен майский шест?»— спросила она, когда я, сидя против нее, попивал белое вино.

«Я вернулся другим путем». Я решил ничего не говорить ей о том бродяге в саду, ибо знал, что это встревожит ее.

«Свадьба будет. Слыхали? Дочка Гроссетесте, торговца, выходит нынче замуж».

«Ну так что же?»

Моя жена была облачена в опрятную домотканую юбку, подрубленную снизу без всякой бахромы, ибо я люблю, чтобы она носила платье попроще; однако на ней был еще красный кружевной передник, и, говоря со мною, она начала его одергивать. «Да ничего, сэр. Ровным счетом ничего. Кое-кто считает, будто она миленькая, но по мне так она всегда дурно одевалась. И это с ихним-то достатком! Небось многие станут завидовать ее мужу». Она все одергивала передник. «А майский шест до чего роскошный, доктор Ди! В жизни такого не видывала. Может, сходим поглядеть? Если вы не возражаете?»

«Жена, не обратиться ли нам к трапезе, что стоит перед нами? Довольно болтать, помолчи же ты наконец!»

«Как вам угодно, сударь». Она ненадолго затихла, и мы опять занялись едой. «Муженек,— сказала она минуту спустя,— прошу вас взять кусок этого каплуна. Вы ничего не кушаете. Вы даже не отведали капустки».

Я сунул в капусту палец и облизал его. «Не могу я ее есть. Она переперчена и пересолена». Я видел, что жена расстроилась, и захотел еще немного укорить ее. «А что это за мясо? Надо же было испортить мою любимую вырезку! Как говорят лондонцы, Бог посылает нам мясо, а Дьявол его готовит». Я нанес недурной удар. «Оно напичкано чесноком, дабы скрыть, что оно порченое,— коснись я его теперь, и от меня будет вонять три дня. Ничему-то тебя не научишь. Стыдись!»

«Воля ваша, доктор Ди, я уж промолчу. Только я старалась как могла».

«Ладно, ладно, хватит болтать. Ешь. А поговорить успеешь и после обеда».

Наша горница очень удобна для трапезы, здесь стоят большие дубовые лари и стулья, украшенные причудливой резьбою в старинной манере; на стенах висят расписанные красками полотнища с изображением священных историй, а также зверей и трав. Тут и муки Иова, и снятие седьмой печати[1], и возведение Иерусалима — словом, вечные аллегории, посредством коих мы упражняем душу, даже сидя на табуретах и вкушая пищу. В углу стоит роскошное кресло, обитое алым бархатом с золотою вышивкой, однако оно используется редко, только для высоких гостей. Когда я был отроком, мы спали на соломенных тюфяках, подложив в изголовье чурку; ныне же мы отдыхаем на подушках и едим на оловѐ, тогда как прежде с нас довольно было и глины. Мы разжились турецкими коврами, медью, мягким льняным бельем; шкафы наши отделаны металлом, а внутренние комнаты украшены столь богато инкрустированными столиками и столь искусными витражами, что они поражают взор вошедшего туда впервые. Да-да, мир меняется; но и внутри нас должен быть свет, отражающий значение сих перемен.

Я ел, погруженный в раздумья, как вдруг жена прервала мою трапезу смехом. «До чего ж вы любите горчицу, сударь! От нее у вас покраснеет нос и побуреет лицо, даже вина не понадобится. А вы, я гляжу, и на него налегаете!»

Мгновенье я смотрел на жену, однако она по-прежнему сохраняла вызывающий вид. «Коли вино дурное, мистрис, то, уж конечно, оно производит внутренний разлад».

«Дело не в вине, а в том, кто его пьет». Я промолчал, и она, похоже, раскаялась. «Я принесу вам коврижку, сударь,— она впитает в себя хмельной напиток, точно губка».

Когда обед приблизился к концу и последние блюда были убраны со стола, я сполоснул в чаше руки и велел подать мне книгу.

«Какую книгу?»— дерзко спросила Кэтрин Ди.

«Ту, что я читал давеча после обеда. Ты разве не видела? Неужто глаза

[1] Эпизод из Апокалипсиса.

твои стали подслеповаты?»

«А! Вы имеете в виду то собрание старых басен, которым вы наслаждались у камина?»

«Не басен, сударыня. Деяний древних королей английских».

«Я убрала ее,— ответила она. — Подальше от ароматов того самого мяса, что так вам не понравилось».

Она все пыталась ужалить меня своею дерзостью. «Ну, хватит молоть языком. Поди принеси мне книгу». Она не двинулась с места. «Разве я не хозяин в собственном доме?»

«Воля ваша».

«Так-то. А теперь отыщи мою книгу».

Смеясь, она встала с табурета, подошла к ларю, открыла его и, шутовски взмахнув рукою, протянула мне «Gesta Regum Britanniae»[1]; затем уселась рядом на ночной горшок с крышкой, дабы глядеть, как я читаю. Но мне не суждено было отдохнуть в мире. «Совсем забыла,— промолвила она спустя несколько минут. — У нас был гонец из больницы. Вашего батюшку все грызет лихорадка».

«Это пагубная хворь»,— отвечал я, не переставая читать.

Протекло еще немного времени. «Так скажите мне, муженек. Не взглянуть ли нам на майский шест? После трапезы полезно прогуляться».

«Довольно!» Я отложил книгу, вышел в коридор и, желая облегчиться, кликнул прислугу с ночным горшком. Удалясь в маленькую комнатушку рядом с прихожей и напустив полный сосуд, я хотел было опорожнить его в окно (ибо как раз начался дождь), но тут запах моей мочи ударил мне в ноздри; я заметил в нем примесь сильного аромата, подобного аромату свежей корицы, и это сразу напомнило мне о выпитом после вчерашнего зрелища вине. Но теперь, когда оно растворилось и вновь сгустилось внутри меня, в нем стало больше силы; из него уже была удалена летучая субстанция, а после изгнания всей влаги оно обратилось бы в камень. А если изготовить из него сухой порошок, минеральное вещество, то не окажется ли возможным удобрять им почву — ведь говорят же люди, что человеческая моча идет ей на пользу,— и, будучи как следует очищен, не увеличит ли он урожаи тысячекратно? Здесь имелось нечто, достойное более пристального изучения, и я забрал горшок с собой в лабораторию, где намеревался провести дальнейшие опыты по возгонке и фиксации[2].

В алхимии я не какой-нибудь жалкий неофит, которому едва хватает денег на буковый уголь для своего горна; за эти годы я раздобыл или купил все необходимые принадлежности и вещества, и теперь мне ни к чему раскапывать мусорные кучи в поисках грязных образцов. Но я также не имею ничего общего и с хтонической магией прошлого, что некогда таилась по лесам и пещерам: то была пора ведьм и колдуний, гномов и сатиров, эльфийских подкидышей и чародеев, коим прислуживали инкубы, обитатели могил, адские колесницы, Бесхребетник и прочая нечисть, порождаемая ночным мраком. Какая слепота и невежество царили в старые времена, когда каждое бранное слово почиталось нами за обладающее дьявольской силой, а каждая бабья сказка за истину, когда мы верили, что прикосновенье ясеневой ветви вызывает у гадюки головокружение и что если легонько дотронуться до летучей мыши листиком вяза, она потеряет память! Однако все это пустяки, о коих я не сожалею. Воистину, в них можно даже заметить некий смысл, если, как говорится, взглянуть на них при свете — при том ярком свете, что является дорогою жизни и носителем эманаций солнца и звезд.

Да, я не замшелый алхимик, но и не новоиспеченный астроном вроде тех, что, стремясь объяснить небесные явления, выдумывают разные эксцентрики и эпициклы, хотя прекрасно знают, что подобным глупостям нет места во вселенной. Эти горе-ученые обожают новые пути, но последние отнюдь не всегда бывают кратчайшими: иные мудрецы лезут через изгородь, не замечая рядом открытой калитки, а иные следуют проторенной тропою вместо того, чтобы пойти прямиком через поле. Они точно голодные волки, воющие на недосягаемую луну, тогда как и эта луна, и звезды, и вся небесная твердь находятся внутри них самих — только они этого не постигают.

Будем ли мы слепо взирать на небеса, уподобляясь волку, или быку, или ослу? Нет, не в том наше предназначение. Но дабы получить хоть малое

[1] «Деяния британских королей» (*лат.*).

[2] Фиксация — переход из жидкого в твердое состояние.

понятие о глубочайших истинах, увидеть хоть проблеск божественной лучезарности, необходимо объединить астрономию с астрологией, а также с алхимией, известной под именем astronomia inferior[1]; тогда, следуя Пифагору, мы восстановим целое, или Единое, давшее начало сей триаде. Столь безмерна жажда знаний и столь безграничны возможности пытливого человеческого ума (в последнем убедился я сам), что нам дано постигать вечное, а не преходящее. Конечно, те, кто не понимает этих исканий, не могут оценить важности их результатов, но придет время, когда все истинные поклонники мудрости прислушаются к сим теориям и станут черпать из их бездонного кладезя.

Вот она, вечная взаимосвязь. В астрономии мы наблюдаем за семью планетами в их извечном порядке, Юпитером, Сатурном, Марсом, Солнцем, Венерой, Меркурием и Луною, тогда как в наших опытах проходим сквозь семь алхимических врат, прокаливание, фиксацию, растворение, дистилляцию, возгонку, разделение и проекцию[2]. Затем в астрологии мы объединяем то и другое, изучая тайные влияния планет и звезд и в то же время ослабляя узы каждой стихии в сем материальном мире. Звезды живут и посредством spiritus mundi влияют на нас; между всеми живыми существами возникает взаимная склонность или отталкивание, и проникнуть в эти отношения значит получить власть над всем миром. В нашем низшем мире не происходит ничего, что не направлялось бы высшими силами; все движенья и перемены в подлунной сфере вершатся с помощью вечносущего неба, символами и посланцами коего являются планеты и звезды. Итак, когда Луна стоит между двадцать восьмым градусом Тельца и одиннадцатым Близнецов, наступает пора искать сокрытые семена жизни. Мне уже случалось указывать, что когда Сатурн с Луною разделены шестью десятками градусов Зодиака, семена эти должно собирать и закапывать глубоко в теплую почву. Следует найти естественные лучи возжженных звезд, действующие равно в обеих сферах, на предметы видимые и невидимые, во всякий час и на всяком определенном уровне. Таким образом сии лучи могут быть выделены и использованы для того, чтобы, словно утренняя роса, пробудить и вспоить новую жизнь.

То, что вверху, отыщешь и внизу; то, что внизу, есть также и вверху. И тут, пав на колени, мы постигаем еще один великий секрет: солнце, злато и душа человека подобны друг другу. Если я овладею светом и страстями, бушующими в душе, я смогу начать поиски или извлечение из обычных веществ материальной субстанции золота. Следовательно, если я хочу сотворить этот металл, я должен очиститься сам и сделаться (фигурально говоря) проводником света, обитающего во всех вещах. Однако если я могу извлечь из простых отбросов наиболее драгоценную и божественную субстанцию, то у меня есть полное право возгласить, что внутри сего бренного мира и нас самих кроется нечто вечное, неизменное и нетленное.

Доказывая эту истину, я поставил столько редких и замечательных опытов, что теперь и не счесть. Я проникал в глубь таких поразительных хитросплетений, видел такие диковины, что описать порожденья паров и фимиамов, тайное равновесие серы и ртути, доведенье до совершенства хризолита и берилла было бы задачей, достойной самого великого Гермеса Трисмегиста. Я скажу только одно. Покуда нами правит бренный разум, наша способность к постижению столь низка и взор столь замутнен, что является нужда отринуть наши внешние свойства и устремить взор внутрь себя; сделав так, вы увидите, что созданы из света. Истинный человек есть человек астральный, скрывающий в себе не звездного демона (как утверждают некоторые толкователи), но саму божественную сущность. И потому, если вы в ходе своих исканий не сможете сделаться равным Богу, вы не познаете Бога — ведь подобное познается лишь подобным. Человек некогда был Богом и станет Им снова. И я повторяю опять: после смерти подверженная тлену материя становится невидимой, и точно так же, как последние отбросы в ходе химической женитьбы могут обратиться в золото, мы, люди, вернемся к свету. И тут нас осеняет дыханием величайшей тайны мира; ибо нельзя ли воспринять этот свет и слиться с божеством еще до наступления смерти? Тогда я взлетел бы, поднялся, взмыл и воспарил на такую высоту, где мог бы узреть в сосуде Творения форму форм, изначаль-

[1] Низшая астрономия (*лат.*).
[2] Проекция — посыпание порошком (философского камня) расплавленного металла в тигле с целью вызвать его трансмутацию.

ное число всех счислимых вещей. И сие наделило бы меня способностью видеть великие грядущие события задолго до их свершенья или проникать в глубины древности так, как если бы моя бренная оболочка существовала от века и до века. Но мне было бы дано и еще гораздо большее: используя этот свет, я мог бы породить жизнь в собственных ладонях. Рядом со мною лежит готовый стеклянный резервуар в ожидании моего человечка, но об этом ничего более нельзя говорить и писать. О, что за чудный соблазн, что за невероятное счастье — заниматься наукой, чей предмет столь древен, столь чист, столь прекрасен, столь превосходит все сущее в неисчерпаемом многообразии его частей, свойств, характеров и отношений, столь глубоко родствен порядку и абсолютному числу!

Но полно. Я не стану вдаваться в скучные рассуждения или цветистую риторику, каковые вполне бесполезны, хотя и почитаются простолюдинами за признак утонченности ума. Чистейший смарагд сияет ярче всего, когда он не смазан маслом. Свет за окном померк, и мгновенье назад раздался удар грома, сопутствуемый блеском молнии. Я беру листы, которые подарил мне тот нищий в саду, но могу разобрать лишь, что они испещрены какими-то непонятными строками на английском. Там есть мелко начертанные слова «дом» и «отец», но больше я ничего не могу различить в сгущающейся тьме. Поэтому я зажигаю свечу и гляжу на огонь. Сумрак расходится по мере того, как тает воск: вещество не погибает, но преобразуется в пламя. Вот он, последний урок. Посредством сего огня материальная форма свечи обретает духовное бытие. Она становится светом и сиянием в этой бедной захламленной келье, моем кабинете.

## 3

Я очень плохо помню свое детство. Иногда мне с трудом верится, что оно вообще у меня было. Даже на смертном одре я едва ли вспомню что-нибудь более отчетливо; скорее всего, у меня будет такое ощущение, словно я появился на свет и сгинул в пределах одной ночи. Хотя зачастую, смежив глаза, я вижу перед собой какие-то улицы и здания, где, наверное, побывал младенцем. Случается, что я узнаю в лицо людей, которые говорят со мной во сне. Да-да, что-то я все-таки помню. Например, лиловый цвет. Пыль в воздухе, когда луч солнца проник сквозь стекло.

— По-моему,— произнес я,— там было окно. — Раньше я никогда не рассказывал о себе ничего подобного; видимо, меня побудила или подтолкнула к этому тишина старого дома, и я слушал, как мой голос уходит во тьму и теряется в ней.

— Любопытно, почему ты помнишь так мало. — Мы с Дэниэлом Муром сидели в большой комнате на первом этаже через несколько дней после того, как я видел его на Шарлот-стрит; стоял чудесный летний вечер, и белые стены словно дрожали на свету.

— Похоже, я был очень глупым ребенком.

— Нет. Здесь что-то посерьезнее. Ты совсем не интересуешься собой. И своей жизнью. Точно пытаешься не замечать ее.

— Ну, ты тоже никогда ни о чем таком не говоришь.

— Я — другое дело. Я-то как раз очень даже собой интересуюсь. — Он поглядел в сторону. — Это у меня чуть ли не навязчивая идея, оттого я и помалкиваю.

Слушая Дэниэла, я думал о той ночи, когда увидел его одетым в женское платье. Во время нашей беседы я не мог думать почти ни о чем другом: точно кто-то сидел с ним рядом и ждал подходящей минуты, чтобы вмешаться в разговор. Существует предположение, что первый человек был двуполым; значит ли это, что, глядя на Дэниэла, я гляжу на некий сколок изначального состояния мира?

— Пойду налью тебе выпить,— вот и все, что я сказал. Затем отправился на кухню и со смутным удовлетворением посмотрел на стопку сверкающих тарелок, блестящие ножи и аккуратно заставленные снедью полки. Честно говоря, я не помнил, чтобы так заботливо все раскладывал или так старательно начищал посуду. Но где же вино и виски? Бутылки были куда-то убраны, и я обнаружил их, только догадавшись заглянуть в шкафчик под раковиной. Прежде такой рассеянности за мной не водилось, и я как следует ущипнул себя перед возвращением к Дэниэлу.

— Мне бы твою увлеченность,— заметил я, наливая ему его любимое виски.

— Но она у тебя есть. Только ты увлечен прошлым в более общем смысле. Ты обожаешь свою работу.

— Сейчас ты скажешь, что я бегу от самого себя. Или избегаю настоящего. —

Он ничего не ответил и принялся рассматривать свои тщательно подрезанные ногти. — И, пожалуй, будешь прав. Терпеть не могу глядеть на себя. Или *внутрь* себя. Ей-Богу, не верю, будто там есть что-нибудь, кроме пустоты, откуда время от времени выскакивает по нескольку слов. Наверное, поэтому я и других не могу увидеть как следует. Оттого что никогда толком не видел себя.

— Мне кажется, тут кое-что поинтереснее. — Он встал и, подойдя к стене, провел пальцем по тонкой трещинке. — Я думаю, что ты, сам того не понимая, как бы создаешь себя заново. Точно пытаешься построить новую семью. Обрести новое наследие. Потому ты и забываешь свое собственное прошлое.

Я отвечал более раздраженно, чем хотел.

— Ну, а ты? Что ты сам-то помнишь?

— О, я помню все. Помню, как сидел в колясочке. Как начал ходить. Как прятался под обеденным столом. — Он заметил, что я удивлен. — В этом нет ничего особенного. — Он помедлил, и я снова ощутил присутствие той женщины, в которую он превращался, надевая красное платье и светлый парик. — По-моему, с тех пор все стало немножко не так.

— Значит, ты тоскуешь по детству?

— А кто не тоскует? Кроме тебя? — Его стакан пустел чересчур быстро. — Помнишь тот мост через Темзу, что тебе привиделся?

— Конечно.

— У меня есть одна мысль на этот счет. Ты, наверное, вряд ли захочешь, чтобы я ею с тобой поделился? — Его обычная скептическая, даже надменная интонация на мгновенье исчезла.

— Что-нибудь связанное с твоими моравскими братьями или как их там?

Он притворился, будто не слышит.

— По-моему, время можно представить себе в виде такой же осязаемой субстанции, как огонь или вода. Оно может менять форму. Перемещаться в пространстве. Понимаешь, о чем я?

— Не совсем.

— Это и был твой мост. Кусок остановившегося времени. — Он снова налил себе виски. — Ты когда-нибудь думал о том, почему окрестности твоего дома выглядят так необычно?

— Значит, ты тоже это заметил?

— Мне кажется, что все время стеклось сюда, в этот дом, а снаружи ничего не осталось. Ты у себя все время собрал. — Я был до того изумлен, что не нашелся с ответом. — А вот тебе еще один вариант. Существуют измерения, в которых время может двигаться в обратную сторону.

— То есть кончаешь дело, не успев начать?

— Разве нет песенки с таким названием?

— Не помню. — Мы выжидающе посмотрели друг на друга, и я понял, что молчать больше нельзя. — Я видел тебя недавно ночью, Дэниэл.

— О чем ты?

— Я видел тебя на Шарлот-стрит.

На секунду он очень крепко вцепился в край стула.

— Могу дать вполне разумное теоретическое объяснение,— сказал он. — Была такая группа радикалов, которые переодевались в знак протеста против всеобщего Морального Разложения. Это весьма древняя традиция. — Я удивленно поглядел на него, затем рассмеялся. — Приятно, что ты видишь в этом и смешную сторону,— произнес он. Однако не мог заставить себя посмотреть мне в глаза и потому уперся взглядом в свой стакан. — Разобраться в собственной личности — ужасно непростая задача, Мэтью, и мне она не по силам. Я уже говорил тебе, что очень интересуюсь самим собой, но вот ключа к этой загадке так до сих пор и не нашел. По крайней мере, тут мы с тобой похожи. В старые времена никто не ломал голову над такими вещами — возможно, потому, что тогда люди жили в упорядоченной вселенной...

— Ну нет, об этом думали всегда.

— ...но мы просто-напросто в тупике. Разве не славно было бы вернуться к какой-нибудь из прежних теорий? Насчет души и тела? Или четырех основных соков в организме[1]?

— Они ведь никогда не подтверждались опытом.

— Ошибаешься. Всякая теория хороша для своего периода. Неужто ты дума-

[1] Кровь, флегма, желчь и черная желчь (меланхолия).

ешь, что средневековые врачи не излечивали своих пациентов с помощью белой селитры, вытягивающей черную желчь? Когда-то эти средства работали, хотя теперь мы так же не способны пользоваться ими, как те эскулапы нашими. Тебе следовало бы это помнить. Естественно, что сейчас находятся люди, считающие, будто они могут заработать снова. — Он уже почти не обращал на меня внимания и, казалось, разглядывал что-то в углу комнаты. — Наверное, поэтому многие так интересуются магией. Магией секса.

— Что?

На миг он словно бы смутился, и на его лице промелькнуло почти вороватое выражение.

— Да нет, ничего. Просто я думал, что именно привлекает меня в том... ну, в том самом. Я никогда толком этого не понимал. Иногда мне чудится, что я раскапываю в себе какой-то сгинувший город. Понимаешь, о чем я говорю? — Он встал со стула и принялся ходить вокруг меня. — Почему все так таинственно, так умело спрятано? Как то заделанное окно наверху. — Он остановился. — Здесь ведь наверняка есть заделанное окно, или я не прав? — Он снова начал расхаживать по комнате, еще более возбужденный, чем прежде. — Мы считаем, будто внутри нас кроется какая-то таинственная золотая сердцевина. Что не подвержена ни ржавенью, ни тленью. Помнишь, откуда это? А ну как мы найдем ее — не окажется ли она обманкой, пиритом? — Он подошел к одной из старых стен и провел своей изящной рукой по ее рябоватой каменной поверхности. — Когда я переодеваюсь, я, должно быть, выгляжу дураком. И все-таки это часть меня. Я испытываю от этого странное удовольствие. Как от секса, только без него самого. Совершенно ничего не понимаю.

Мне надоело слушать его откровения, и я решил переменить тему.

— Это правда, что ты сказал о радикалах?

Он повернулся ко мне лицом.

— Конечно. Лондон — родина чудаков. В восемнадцатом веке группа гомосексуалистов развела в Тайберне костры и спалила виселицы. Потому-то публичные казни и перенесли в Ньюгейт. — Он улыбнулся и снова сел на стул. — Боюсь, я гораздо более робок.

Я понимал, что он и сейчас не договаривает всего до конца, но мне по-прежнему не хотелось проникать в суть его навязчивых идей; это было бы чересчур болезненной операцией, ненужной крайностью. Он почувствовал мое беспокойство и взмахнул рукой, точно подводя черту.

— А теперь,— сказал он,— мы должны, как в настоящей истории с привидениями, обследовать чердак старого дома.

— Но здесь нет чердака.

— Хм. А как насчет подвала?

— Там мы уже были.

— Верно. А чулан под лестницей?

— Отсутствует.

— По-моему, там найдется хотя бы шкафчик.

Мы отправились в прихожую; как он и предполагал, под лестницей, за панельной перегородкой, обнаружился небольшой чуланчик. Сначала я не заметил маленького шпингалета сбоку, но Дэниэл опустился на колени и тут же открыл его. У меня создалось впечатление, что ему и не надо было искать защелку.

— Как ты догадался, что тут есть чулан? — спросил я.

— Под лестницами всегда бывают каморки. Ты что, не читал леди Синтию Асквит? — Но в этот миг я понял, что он прекрасно знает мой дом. — Ага,— теперь он заговорил быстрее. — Трубы. Интересно, вода поступает к тебе прямо из подземного Флита? Это объяснило бы твое поведение.

— Какое еще поведение?

— Эй, а это что такое? — Слегка напрягшись, он выволок наружу деревянный ящик, прикрытый куском черной материи. Пока он стягивал ее, я отвернулся. — Игрушки,— сказал он. — Детские цацки. — На мгновение я закрыл глаза. Когда я повернулся снова, он вынимал оттуда картонную рыбку с жестяным крючком; рядом лежали кукла из тех, что надеваются на руку, и волчок. Я поднял маленькую книжку — ее страницы были сделаны из какой-то блестящей ткани.

— Это я помню,— сказал я, глядя на букву «Д», по которой карабкался ребенок.

— Что?

— Теперь я вспоминаю кое-что из своего детства. Это мои игрушки. Но откуда они взялись в этом доме?

Вдруг раздался громкий стук в парадную дверь; он был таким неожиданным,

что мы на миг вцепились друг в друга. «Мэтью! Мэтью Палмер! Где там мое дитятко?» — это кричала в почтовый ящик моя мать, и в смятении я запихнул игрушки обратно в чулан и закрыл его: мне не хотелось, чтобы она увидела их у меня в руках. Дэниэл встал — он показался мне необъяснимо смущенным, — а я поспешил к двери; мать подставила мне щеку для поцелуя, и я уловил исходящий от ее кожи запах «Шанели». Этими же духами она пользовалась в годы моего детства.

— Миленок там машину ставит,— сказала она. — Может, и вовсе сюда не доберется. — Я представил ей Дэниэла, и она взглянула на него со странной смесью любопытства и отвращения. — Кажется, мы с вами встречались?

— По-моему, нет.

— Что-то в вас есть знакомое. — Она была словно озадачена. — Еще минутку, и вспомню.

Внезапно в холле возник Джеффри, и Дэниэл воспользовался секундной заминкой, чтобы улизнуть. Он опять показался мне каким-то пристыженным, а мать проводила его мрачным взором. В этот момент я заметил, как она постарела: она явно сбавила в весе, а ее правая рука легонько дрожала.

— Ну вот,— сказала она. — Покажи-ка нам с миленком свой дом.

Я подошел к двери и проследил, как Дэниэл отворяет калитку и, не оборачиваясь, торопливо уходит по Клоук-лейн. Мне вдруг захотелось поглядеть на дом сбоку; обогнув угол, я увидел на верхнем этаже заложенное кирпичом окно. Он знал о нем, точно так же как знал о чулане под лестницей. Теперь мне стало ясно, что он хорошо здесь ориентировался и, должно быть, нарочно привел меня туда, где хранились мои детские игрушки. Но разве такое возможно? Откуда ему все знать?

— А твой отец был темной лошадкой,— сказала мать, когда я вернулся в холл. — Это ж надо, припрятать целый дом для себя одного. — Она направилась в большую комнату так беззаботно, точно была здесь хозяйкой. — Пошаливал тут, наверное.

— По-моему, этот дом не слишком подходит для таких вещей.

— Много ты знаешь. — И опять я увидел, насколько глубока ее враждебность к отцу и даже ко мне; можно было подумать, будто когда-то она подверглась насилию с нашей стороны или нас разделяла кровная месть. — Ладно, ладно. Куда миленок-то задевался? — Я поглядел назад, но Джеффри уже исчез. В этом доме ничто не оставалось на месте.

— Я тут побродил малость,— сообщил он. Оказывается, он успел подняться без нас по лестнице, и меня внутренне покоробило его чересчур вольное поведение в доме моего отца. — А вы можете получить за него хорошие деньги.

— Я не хочу продавать его. Буду здесь жить.

Я порадовался, что голос мой прозвучал так ровно, и с удовольствием увидел на лице матери страх.

— Но ты же не станешь продавать дом в Илинге? — немедля спросила она. Чтобы помучить ее, я сделал недолгую паузу.

— Нет, конечно. Он ваш.

— Ты славный мальчик. — Мать явно вздохнула свободней и достала из сумочки зеркальце; поглядевшись в него, она смахнула с лица немного пудры. Я видел, как та осела на старые каменные плиты у нас под ногами. — Нельзя не признать, что ты лучше своего отца. — Я хотел спросить ее об игрушках, которые только что нашел, но у меня язык не поворачивался заговорить с ней о своем детстве. — Ну так как, ты покажешь мне дом?

Все шло хорошо, пока мы не поднялись на самый верхний этаж.

— Сколько тут пыли,— сказала она. — Весьма типично для твоего отца. — Она помахала рукой, точно отгоняя от себя муху или осу; но я ничего не заметил. Мы спустились этажом ниже, и я, к своему удивлению, обнаружил, что в моей спальне нет ни пылинки; словно кто-то позаботился о том, чтобы подготовить комнату к моему приходу. За неимением лучшего занятия Джеффри решил выступить в своей профессиональной роли инспектора и теперь увлеченно выстукивал стены и изучал потолок. Похоже, мать одобряла его действия: это выглядело так, будто дом, а следовательно, и мой отец, стали объектами некоего критического разбирательства, которое до сей поры все откладывалось.

— Что это было? — спросила она.

— Ты о чем?

— По-моему, там что-то мелькнуло. — Она указала на совершенно пустой участок стены под окном спальни.

— Муха, наверное,— сказал я. — Летняя муха.

Но затем, когда мы спустились по лестнице на первый этаж, она отшатнулась назад в ужасе.

— Там опять что-то проскочило. — Она смотрела туда, где была дверь, ведущая в полуподвал. — Ты видел? Как будто что-то живое. Маленькое.

Джеффри начал подтрунивать над ней.

— Глаза мою старушку подводят. Чего только не примерещится в ее-то возрасте.

Она осуждающе посмотрела на меня, словно я был в ответе за ее нелады со зрением.

— Пошли,— сказала она. — Закончим наш гранд-тур.

Я приблизился ко входу в подвал с некоторой опаской: неужели мать увидела мышь, а то и крысу? Я потряс ручку, стараясь произвести как можно больше шуму, и лишь потом отворил дверь.

— Идем вниз,— позвал я. — И здесь тоже был один из мрачных уголков земли[1].

Не знаю, почему мне взбрело в голову это сказать; она попыталась засмеяться, но по лицу ее пробежал ужас, снова доставивший мне удовольствие. Она пошла за мной по ступеням, но, дойдя до последней из них и оказавшись в самом подвале, испуганно огляделась.

— Здесь точно что-то есть,— сказала она. — Как будто вижу что-то краешком глаза, но это не соринка. Это здесь. — И вдруг опрометью кинулась мимо Джеффри обратно в холл.

Он повернулся и изумленно поглядел ей вслед.

— Что-то не похоже на вашу мамочку,— сказал он. Я провел его по подвалу и изложил ему гипотезу Дэниэла о постепенном оседании почвы под домом. Он очень заинтересовался этим и подошел посмотреть на метки над замурованной дверью.

— Городские власти тут ни при чем,— сказал он. — Не вижу в этих значках никакого смысла.

Я вдруг ощутил глубокую усталость и повернулся, чтобы уйти. Он с неохотой последовал за мной в холл; мать поджидала нас наверху, сидя на лестнице.

— Что там миленок тебе втолковывал? — она старалась сохранить шутливый тон, но у нее ровным счетом ничего не вышло. Раньше я никогда не видел на ее лице такого выражения — оно было одновременно и озабоченным, и мстительным.

— Я вынес свое суждение как инспектор.

— На твоем месте я не стала бы судить чересчур строго. — С гримасой отвращения она стряхивала что-то с рукава. — Еще напугаешь моего отпрыска. — По-прежнему кривясь, она перевела взгляд на меня. — Говорят, тараканы плодятся от грязи. Стало быть, поэтому у тебя их такая прорва? Какой мерзкий дом. Что-то случилось здесь, верно? Здесь несет дерьмом и помойкой. И все пропитано духом твоего отца. — Я поднимался по лестнице, чтобы помочь ей, но она вытянула руки, останавливая меня. — Ты тоже им пахнешь,— сказала она. — Всегда пах. — Она встала и посмотрела на меня так свирепо, что я инстинктивно прикрылся рукой, ожидая удара. Она рассмеялась. — Не бойся,— сказала она. — Твой отец все еще печется о тебе, правда? — Она спустилась к Джеффри, который взял ее под локоть и мягко вывел из дверей на улицу, не промолвив ни слова.

Я был так потрясен, что отправился к себе в комнату и лег на кровать, никуда в особенности не глядя. Что вдруг всколыхнуло эту безумную злобу? Я подошел к окну; они стояли в конце Клоук-лейн. Джеффри держал ее за талию; они тихо беседовали и бросали на дом взоры, в которых сквозило что-то вроде страха.

Я решил не мешкая принять ванну и дочиста оттерся найденной среди туалетных принадлежностей старомодной щеткой. Затем улегся в воду, как в постель, но вокруг было столько тумана и пара, что мне почудилось, будто я лежу в трубке из матового стекла, а вода омывает мне лицо и тело. Да, это был сон, ибо я протянул руку и коснулся стекла только что сформировавшимися пальцами. Преодолевая сопротивление, я попытался встать, и тут меня буквально обдало ужасом: что, если это была та тварь, которую она здесь видела? Что, если ее ярость подхлестнуло нечто, замеченное ею в подвале? Я медленно вылез из ванны и завернулся в полотенце так осторожно, точно вступал в какой-то совсем другой сон.

* * *

На следующее утро я поехал в Национальный архивный центр на Ченсери-лейн. Я часто работал в этом мрачноватом здании как раз напротив доходного дома Карнака и почти всегда получал от этого удовольствие; знакомые гулкие залы, мягкое

[1] Цитата из повести Дж.Конрада «Сердце тьмы».

освещение, приглушенные звуки, покрытые царапинами деревянные столы — все здесь как бы защищало меня и приближало к моему истинному «я». Большинство церковно-приходских книг и налоговых реестров было уже перенесено на микрофиши, но я до сих пор предпочитал иметь дело с обычными томами, хранящимися в зале Блэр. Давнее знакомство с персоналом позволяло мне бродить тут как вздумается, и долгие методичные поиски привели меня к трем переплетенным в кожу фолиантам, содержащим записи прихода Св.Иакова в Кларкенуэлле за шестнадцатый век. Я насилу снял их с полок; они распространяли вокруг едкий запах древности и пыли, словно я держал в руках тела усопших, завернутые в саваны. Что ж, это сравнение было вполне обоснованным — ведь в них хранились имена, подписи, длинные перечни мертвых душ, уложенных друг на друга так же, как тела этих людей, наверное, покоились в земле. Я уже привык к особенностям письма шестнадцатого столетия, однако и мне было непросто разобрать отдельные слова, потому что чернила, которыми велись записи, совсем выцвели и стали бледно-коричневыми.

За моей спиной отворилась дверь, и я услышал приближающиеся шаги. Я не обернулся, выжидая.

— У меня есть для вас любопытная история, мистер Палмер. — Я прекрасно знал голос Маргарет Лукас, архивариуса и заведующей залом Блэр; это была худая, почти скелетоподобная женщина, которая любила одеваться в очень крикливые цвета. Кроме того, она имела обыкновение говорить самые ошеломительные вещи — в основном, как я подозревал, из-за неуверенности в себе. Она оборонялась от рядового внимания, стараясь постоянно ошарашивать собеседника. — Кстати, вы когда-нибудь читали Сведенборга?

Я повернулся и выдавил из себя улыбку.

— Вроде бы нет. Точно, нет. — Мои руки по-прежнему лежали на исписанных пергаментных страницах, и я чувствовал пальцами, как шероховата бумага — она походила на землю, иссушенную зноем этого современного города.

— Да неужели? А я прямо-таки обожаю его. Вчитайтесь в «Рай и ад», и вы найдете там объяснение всему. Но я вот о чем, мистер Палмер,— она обогнула угол моего стола, и я увидел, что на ней пурпурная пара, а ее тощая шея обмотана ярко-синим шарфом. — Сведенборг учит нас, что после смерти человек попадает в компанию тех, кого он по-настоящему любит. — Я не понял, что она имеет в виду, но мне так не терпелось вернуться к своей работе, что я невольно снова устремил взгляд на старые приходские записи. Она этого будто бы не заметила. — Он говорит, что каждый из нас вступает в некий дом и некую семью — не в те, что были на земле, вовсе нет, но в те дом и семью, которые соответствуют нашим душевным склонностям. Якобы после смерти мы обретаем то, чего жаждали на земле.

Она умолкла, и я не сразу придумал толковый ответ.

— Надо же, какое совпадение,— сказал я. — Я тоже ищу дом и семью.

Она внимательно посмотрела на мою книгу.

— В таком случае, мистер Палмер, вам, пожалуй, стоит сначала заглянуть в записи церковного старосты. Вы найдете их в конце. — Страницы были довольно тяжелыми, и я переворачивал их, год за годом, словно снимая покровы с мертвых; во внезапном откровении каждой страницы их имена являлись на свет Божий. — Видите ли, с этим связана одна необычная история. — Маргарет Лукас все еще стояла надо мной. — Недавно сюда зачастил некий молодой человек. Вы его не замечали? Низенький такой толстячок. Весьма жалко одетый. Его звали Дэн Берри. — Я покачал головой. — Он занимался тем же, чем вы сейчас. Просматривал реестры и списки. Поначалу я думала, что он ведет какую-то научную работу, но это оказалось нечто более личное. У него был маленький блокнотик, и я видела, как он заносит туда отдельные имена. Он пояснил мне, что это его предки. Но не в том смысле, в каком мы с вами употребили бы это слово. — Я перестал листать страницы и поднял глаза на нее. — Он сказал, что эти имена ему приснились.

— Ученый никогда не совершил бы подобной ошибки,— заметил я.

— Я, знаете ли, в сумасшествие не верю, мистер Палмер. По-моему, люди могут на время терять свою обычную индивидуальность, только и всего. Просто отодвигаются в прошлое. Так вот, наш друг Дэн Берри был убежден, что эти имена принадлежат членам его истинной семьи.

Моя рука до сих пор лежала на старинной книге, уголок страницы был зажат между пальцами.

— Почему он так решил?

— Некоторые из этих людей были похожи на него. Чувствовали то же самое. Думали аналогичным образом. Может быть, обладали даже внешним сходством с

ним, хотя я не помню, говорил ли об этом Дэн. — Меня удивило, что она позволила этому юноше беспрепятственно рыться в архивах, однако я начал ощущать то же, что должна была ощутить она,— некое очарование, таящееся в подобных поисках. — У него был перечень человек в десять-двенадцать. Он плохо представлял себе, в какое время они жили, но тут мне удалось немного ему помочь. Ну где еще искать Раффа Кайтли, как не в шестнадцатом столетии?

— Но что он надеялся выяснить? Пускай он нашел некоторые имена...

— Тут имелось любопытное обстоятельство. Он считал, что все они жили в одном районе Лондона. Пришел сюда уверенный, что они в разные эпохи обитали на одной улице и даже, возможно, в одном и том же доме.

— А потом?

— А потом он взял да исчез.

— Понятно.

— Но я-то ничего не поняла. Вот в чем дело. Это было в пятницу после полудня, месяца три назад,— он явился к нам, страшно возбужденный. За неделю до этого он отыскал одно из имен в церковно-приходской книге за 1708 год. И думал, что вот-вот отыщет другое. Хотел установить связь. — Она пододвинула ко мне стул и, хотя в зале больше никого не было, перешла на шепот. — Как раз в то утро мне случилось просматривать «Справочник по древним церковно-приходским книгам» Ки, весьма неудовлетворительный труд, и вдруг я услыхала крик Дэна. Сначала я подумала, что ему стало плохо, но тут он примчался ко мне. «Я нашел его! — завопил он. — Вернусь попозже!» Ну, вы прекрасно знаете, что я человек тактичный. — Я кивнул. — Пока не подошло время закрывать, я на его стол и краешком глаза не взглянула. Да там и смотреть-то было особенно не на что — лежал только налоговый реестр девятнадцатого века из Сток-Ньюингтона. Однако он до того разволновался, что забыл свою сумку, и я, конечно, ждала, что он вернется. Но нет. Он так и не вернулся. — Она все заплетала свой шарф в косицу, и он угрожающе плотно сомкнулся вокруг ее шеи. — Хотите увидеть его вещи?

Отказаться было бы невежливо, и я последовал за ней в конец зала, в ее маленький кабинет; здесь повсюду валялись книги, старинные и современные, но я заметил журнал «Вог», засунутый под янговский «Путеводитель по усадьбам восемнадцатого века».

— Я держу их тут,— сообщила она, открыла ящик стола и вынула обыкновенный холщовый ранец, на котором было неряшливо написано красными чернилами: «Дэн Берри». — Доказательств у меня нет,— продолжала она,— но, по-моему, с ним что-то стряслось. Я отправила письмо по адресу из его заявки на проведение исследовательской работы, но оно вернулось нераспечатанным. Он жил в общежитии. Я туда заходила. Погодите секундочку.

Мне показалось, что она сейчас выскочит из окна. Она широко распахнула его и далеко высунулась наружу, откровенно рискуя свалиться на Ченсери-лейн; я было решил, что ее пора спасать, но тут увидел над ее правым плечом клуб белого дыма. Она курила в здании, где курить запрещалось, хотя самый вид женщины, вывесившейся из окна на высоте пяти этажей, мог вызвать нежелательные комментарии. Я на мгновение поднял сумку Дэна Берри — ощущение было такое, словно дотрагиваешься до какого-то мертвого существа. И все же в этой истории сквозило нечто трогательное, и я понимал, почему она запала в душу Маргарет Лукас. Связать себя с людьми, жившими прежде, видеть во сне дом, а потом исчезнуть... Она разогнулась так стремительно, что я вздрогнул от неожиданности.

— Не знаю, для чего я ее храню. — Она забрала у меня холщовую сумку. — Ему она больше не пригодится.

Поскольку все было уже сказано, я вернулся за свой стол и к своей книге. В записях церковного старосты, как мне следовало бы знать и самому, было легче всего отыскать нужную информацию; здесь фиксировались взносы прихожан церкви Св.Иакова в Кларкенуэлле, которая раньше именовалась женским монастырем Св.Марии, и для начала я решил изучить промежуток от 1560 до 1570 года. Разбирать написанное не составляло труда — главным образом благодаря тому, что рядом со старым монастырем находилось очень мало частных домов,— и вскоре я увидел то, что искал. Это было упоминание о «доме Клок, за монастырской часовнею». Оно относилось к 1563 году, а в графе против названия дома стояло: «Получ. от Джона Ди — обычная десятина».

Я невольно издал торжествующий клич (теперь мне думается, что Дэн Берри выразил радость по поводу своей находки точно таким же возгласом): «дом Клок» рядом с часовней, несомненно, и был моим домом шестнадцатого века на Клоук-

лейн. Имя владельца тоже было мне знакомо, хотя, обрадованный и возбужденный своим открытием, я не мог сразу вспомнить откуда. Ко мне подошла Маргарет Лукас.

— Я услыхала ваш крик,— сказала она,— и решила, что вас можно поздравить.

— Я нашел дом и его хозяина.

Она впилась взглядом в страницу со своей обычной истовостью.

— Знакомое имя. Джон Ди.

— Я тоже его знаю, только...

— Мне очень неприятно, мистер Палмер. — Она улыбалась чрезвычайно странной улыбкой. — Но дело в том, что прежний владелец вашего дома был специалистом по черной магии.

## *Больница*

По дороге в Аксбридж, близ Св.Джайлса-на-Полях, есть старый полуразрушенный монастырь, который в недавние годы сделался богадельнею и лечебницей для престарелых; в субботу спозаранку я отправился туда через Холборн и Брод-Сент-Джайлс, так как получил известие, что отец мой уже при смерти. Это было краткое, но приятное путешествие, по Ред-Лайон-филдс и далее, мимо Саутгемптон-хауса; в это зимнее утро дыханье животных паром поднималось в воздух, а деревянные обручи на бочонках с водой, высокой кучею наваленных у канала на Друри, казалось, вот-вот лопнут. Все вокруг было переполнено жизнью, и на холоде я острей ощущал биение собственной крови. Это наиболее духовная из всех жидкостей, и потому дух мой был свеж и бодр; я даже принялся напевать песенку «Старик — он что мешок с костями».

Больница Св.Мартина, прежний монастырь того же имени (названный так оттого, что рядом лежит поле Св.Мартина),— строенье весьма древнее, возведенное, я полагаю, во времена первых Генрихов. Вход туда расположен в обветшалой башенке у обочины дороги, и, проезжая под аркой, я чувствовал запах старого камня и холод иной природы, нежели утренний морозец. Навстречу мне выбежал слуга. На нем была куртка буйволовой кожи, усаженная жирными пятнами — следами пищи, которую он, должно быть, ронял с бороды. «Приветствую вас, сэр,— сказал он. — Пусть Бог пошлет вам удачи. Вы, верно, зазябли? Нынче на дворе и мороз, и снег, так что пожалуйте-ка в стряпную. Прошу вас, сэр, обогрейтесь, покуда я кликну хозяина». Он провел меня по развалившейся галерее в сводчатую комнату, где весело пылали два очага, однако я не мог выбросить из головы думы о церкви без крыши, стоявшей неподалеку,— она была столь печальна и заброшенна, что служить в ней взялся бы разве что сам Дьявол.

Довольно скоро ко мне вошел содержатель лечебницы, недурной малый по имени Роланд Холлибенд. «Да благословит вас Бог, доктор Ди,— сказал он. — Мы вам рады». Он знал меня вполне хорошо, ибо я отдал сюда своего отца благодаря любезности лорда Гравенара: отец управлял поместьем сего славного лорда близ Актона, и, к моей великой радости и удовольствию, наш господин согласился похлопотать о нем в его нынешнем плачевном состоянии. Я желал проводить свои дни в покое и уюте, и видит Бог, что натыкаться на отца за каждым поворотом и в каждом коридоре моего Кларкенуэллского дома было бы немыслимо. А поскольку прочие члены нашего семейства уже отошли в иной мир, я почел за лучшее подыскать ему пристанище, где он ожидал бы кончины, никому этим не досаждая. «Ваш батюшка очень плох,— промолвил Холлибенд. — Он все время отчего-то тревожится и дрожит как осиновый лист».

«Ладно, ладно,— отвечал я,— если он уйдет первым, то мы последуем за ним позже».

«Вашими устами глаголет сама мудрость. Но мне жаль, что я не могу сообщить вам ничего более приятного».

«На одну счастливую весть приходится тысяча печальных».

«Прекрасно сказано, воистину прекрасно. А теперь не угодно ли вам пройти к нему?» Он снова повел меня в галерею, до сих пор хранящую следы разрухи и беспорядка после недавних чисток[1], затем мы с ним миновали грубую каменную лестницу и вступили в длинную залу, где было

[1] Секуляризация монастырей была проведена Генрихом VIII в 1536 и 1539 годах.

так много толстых колонн, что она более всего напоминала крипту. Вдоль обеих ее стен тянулись убогие койки и тюфяки, на коих возлежали престарелые страдальцы, однако Холлибенд двигался меж ними весьма живо, приговаривая: «Дай вам Бог славного утра», и «Как ваше здоровьице?», и «Не отяготил ли вас вчерашний ужин?» Воздух тут был столь спертым и затхлым, что я поднес к лицу платок, и это вызвало у него улыбку. «Согласно воле милорда Гравенара,— сказал он,— ваш батюшка содержится особо от прочих». Я следовал за ним по пятам, покуда мы не добрались до маленького закутка, или каморки, которую отделяла от общей залы деревянная ширма с искусной резьбой. Внутри были гладкие каменные стены; несомненно, прежде эта комната служила чем-то вроде часовни.

Мой отец отдыхал в постели, сложа руки на груди, и я сразу заметил на его коже черные и красные пятнышки — одни покрупнее, другие помельче, похожие на брызги чернил. Я приблизился к нему, и он с любопытством посмотрел на меня.

«Как вы себя нынче чувствуете, отец?»

«Не слишком хорошо».

«Вы с каждым разом выглядите все лучше».

«Откуда вы это взяли?»

«Я сужу по вашим румяным щекам».

«Нет, сэр, нет. У меня было пять или шесть приступов горячки — она вывернула мне нутро, и я очень ослаб. Я и теперь не пришел в себя, ибо до сих пор не нарушал поста».

«Что ж, вы крепкий человек. Бог ниспошлет вам счастливую и долгую жизнь».

В его взоре все еще сквозило любопытство, но речь стала менее гладкой.

«По-моему, я уже встречал вас однажды, сэр, да не упомню где. Не в Лондоне ли?»

«Вы правы, я из Лондона, хоть родился не там».

«Осмелюсь ли я спросить, как вас зовут?»

На миг мне почудилось, что он смеется надо мною, но на лице его было написано такое замешательство, что я воздержался от грубости. «Полагаю, мое имя вам известно».

«Право? И как же величают вас люди?»

«Они величают меня по-разному, но мое подлинное имя доктор Ди». Я отступил от его кровати и заметил, что Холлибенд внимает нашей беседе с большим интересом и удовольствием; однако, встретя мой взгляд, он поклонился и вышел из комнаты. Но Боже мой, что это за смутные очертания на стене позади него, лишь теперь увиденные мною? С испугу мне померещилось, будто там, обратив ко мне лик, сидит какое-то чудище. Но затем я понял, что это древо жизни, изображенное в далекую пору (несомненно, монахами сего монастыря) и ставшее ныне как бы частью самого камня; полустертые пятна, в коих я узнал ветви и животных, были сплошь изборождены трещинками и покрыты налетом неумолимого времени.

Отец зашептал что-то у меня за спиной. «У меня есть золото, сэр...» На этом он прервал свою речь, издав несколько звуков, подобных звону пересчитываемых монет. Тут я насторожился, ибо помнил, что под конец службы лорд Гравенар одарил его двадцатью золотыми ангелами; а что с ними сталось, мне было неведомо. «У меня есть и серебряные деньги, сэр, не только злато». Он поманил меня к себе и зашептал мне на ухо. «Я положил их в сумку. Связал шнурки хорошим двойным узлом, чтобы не развязались. А сумку закопал у подножья стены, дряхлой обвалившейся стены, где растет терновник. Смотрите, как он истерзал мне пальцы».

«Слова ваши туманны в отношении места. Где мне найти стену, о которой вы говорите?»

«Она называется...»— тут он заелозил рукою, хватая в щепоть одеяло. Увидя это, я спросил, не дать ли ему перо, чернила и бумагу; но он отрицательно покачал головой. Тогда я спросил, не следует ли мне записать то, что он скажет, однако он не ответил ничего определенного. «Поторопитесь, сэр,— промолвил он чуть погодя. — Принесите мне воды умыть руки. Только не речной — она мутная. Подайте ключевой или колодезной. Да поторопитесь». Я вышел за деревянную ширму, заметил в углу таз и кувшин и схватил их не мешкая: меня грыз смертельный страх, что он утеряет нить своего рассказа и я останусь во мраке. Я плеснул воды на его дрожащие руки, хотя, по чести говоря, она была довольно-таки дурна на

вид; он поднял их к свету, и капли побежали вниз по его худым запястьям, а затем протянул ко мне сложенные ладони. «Могу ли я омыть и уста, сэр?»

«Прошу вас».

Но он только слизнул воду с запястий и сплюнул ее в таз, а потом зашептал снова. «Идите, покуда не достигнете высокого вяза, затем сделайте двадцать шагов вперед, пятнадцать шагов влево и еще пять направо. Там очень светло, сэр, этот свет слепит мне глаза. Возьмите у меня кусок тафты и прикройте им лицо — он защитит вас от солнца».

Он опять начал заговариваться, но я одернул его. «Боюсь, что не совсем понимаю вас. Я не знаю этого места».

«Там очень сыро, но ведь золото не ржавеет, сэр».

«Так нас учили. Есть ли иные приметы?»

«Ее называют стеной Де-ла-При, но почему, мне неведомо». И тут я очень ясно увидел заветное место своим мысленным взором; это были руины древнего скита, стоявшего некогда на Актонских полях. Мальчишкой я бродил среди этих руин, грезя о давно минувшей поре и размышляя, сколь бренно все земное. Отец мой не отрывал от меня любопытных глаз, но вдруг черты его исказились. «Прочь от меня, доктор Ди! Прочь от меня! Довольно вынюхивать да выпытывать. Я еще не в могиле, пока нет. А ты жаждешь лишить меня всего имущества уже теперь, не дожидаясь моей смерти?» Он сел в постели прямо и со столь лютым видом, что я отвернулся, дивясь такой перемене, и обратил взгляд к древу жизни.

«Я пришел сюда, дабы утешить вас, сэр»,— был мой ответ.

«Ты пришел обмануть меня. Ты не лучше карманника, шныряющего по подворотням, или тех плутов, что дурачат народ загадками на Варфоломеевской ярмарке».

«Я почитаю вас, отец».

«Что? И это ты зовешь почитанием? Сын, который едва не разорил все мое хозяйство, непрестанно требуя денег, а потом отверг и презрел нас в годину горькой нужды?» Я смолчал. «Пришел ли ты, когда братьев твоих скосила падучая и они умерли? Утешал ли меня после кончины твоей матери, моей возлюбленной жены? Был ли мне опорою в старости? Нет, ты идешь своей дорогой. И ведет тебя сам Дьявол».

«У меня есть работа, отец...»

«Ах, работа! Одни только фокусы да розыгрыши — а коли это не так, стало быть, трудишься ты по бесовскому наущению. Я ставил тебя превыше других сынов и делал все, чтобы выучить тебя; я каждый день старался помогать тебе в твоих занятиях. А в награду получил гордыню и алчность, каких еще не видел свет».

«Я ни в чем не повинен. Я никому не приносил вреда».

«Что ж, открещивайся от своих деяний. Попробуй откреститься от того, что ты использовал меня и бросил, поправ все законы природы в своей погоне за богатством и славой. А если ты не посмеешь сделать это, Джон Ди, то признай все и возопи, что вельми гнусен еси».

Если он хотел вырвать у меня покаяние, то взял явно негодные клещи; однако я решил ублажить его избитым приемом, нацепив на себя личину грешника. «Простите меня за невольные обиды». Затем я добавил нечто более осмысленное: «Но я стремился к знаниям не ради себя, а ради самой истины. Жизнь моя не в моей власти».

На это он рассмеялся. «Сколь убога сила, коей ты хвастаешь! Ты позабыл то, что знал, и ослеп от суетности и тщеславия. Хорошо начал, да плохо кончил. Ты стал обманщиком, и все богатство твое — мишура. Что ж, да воздастся тебе по делам твоим». Он попытался слезть с кровати, но не смог и изнуренно откинулся на валик, заменявший ему подушку. «А теперь вон отсюда. Уходи».

Я рад был покинуть его и на прощанье сказал ему несколько тихих слов. «По крайней мере, мой многоуважаемый и достопочтенный родитель, я не потерплю оскорблений и не сделаюсь посмешищем на склоне лет». Я закрыл ему рот рукою и плюнул на нее. «А вы?»

И тут он снова переменился в лице и поник на своем изголовье. «Леонард,— сказал он,— дожарены ли каштаны? Прошу тебя, порежь этот сыр». Он бредил непонятно о чем, затем опять взглянул на меня. «Пожалуйста, не верьте ему, сударь. Он вас обманет». Потом, ударив себя в грудь, добавил серьезно: «Мне чудится, будто говорят двое, или этот глас отдается эхом. Что вы сказали, сударь?» Он вновь превратился в слабого, жалкого старика, и я едва мог смотреть на него: что общего у меня с ним, этим существом в

постели, или у него со мною? Что значит смерть, если она не моя собственная? Ради чего стою я здесь, созерцая агонию этого старика? Он опять что-то забормотал, и я приблизил ухо к его устам. «У меня гудит голова, сэр, точно ястреб сжимает ее когтями». Ища поддержки, он хотел было взять меня за руку, но я убрал ее и отошел подальше. «Не глядите сюда, сэр,— сказал он,— ибо, сдается мне, он пересчитывает деньги рядом с моей кроватью».

Я уже повернулся к нему спиной. «О ком вы толкуете, отец?»

«По душе ли вам эта музыка, сэр? Сэр, как ваше имя?»

Тут я рассмеялся и покинул его, снова пройдя через юдоль скорби, где стонали на тюфяках прочие страдальцы. Холлибенд ожидал меня у подножья лестницы и улыбнулся мне навстречу. «Что вы о нем скажете, мой добрый доктор?»

«Он человек острого ума».

«Да, весьма приятный и глубокомысленный джентльмен». Мы уже вступали в галерею, а он все еще улыбался. «Но, как и все мы, он склонен заблуждаться».

«Я побеседую с вами об этом позже, мистер Холлибенд, но теперь мне, к сожалению, недосуг...» Я и впрямь торопился, ибо у меня вдруг возникло опасение, уж не подслушал ли он рассказ отца о спрятанном золоте. «Мне надо попасть в одно место до захода солнца».

«Неужто вы так спешите, доктор Ди? Давайте хоть обогреемся, а потом, может, и выедем вместе. Ведь вы, я чай, вернетесь домой, к своим каждодневным занятиям?»

Я угадал в словах Холлибенда второй смысл: что, тебя, аки пса, тянет к своей блевотине? И потому оборвал его. «Нет. Я думаю совершить небольшую прогулку и, скорей всего, не поспею обратно до темноты». Я быстро зашагал к воротам, но он упорно следовал за мной. «Скоро я отблагодарю вас за ваши хлопоты,— сказал я. — Но сейчас — где мой конь?»

Засаленный слуга привел мне коня, и я поскакал прочь, вдыхая прохладный воздух носом, дабы изгнать оттуда мерзкую вонь богадельни. Я направлялся в Актон, безотчетно выбирая дорогу по местам, знакомым мне с детства,— мимо гравийных карьеров Кенсингтона, через Ноттинг-вуд, а затем вдоль недавно огороженных полей Шеппердс-буша. Я не знал, что найду под стеной Де-Ла-При, но в мыслях своих видел, как склоняюсь над матерчатой сумой, развязываю шнуровку и запускаю руки в россыпь эдвардианских шиллингов, генриховых соверенов и елизаветинских ангелов. Иного наследства ждать не приходилось, поскольку мне никогда не перепадало от отца ни пенни (даже в пору глубочайшей нужды и гонений), и было ясно, что после его смерти я не получу ни имущества, ни денег. Так почему же не взять то, что принадлежит мне по праву? Теперь, бредя, он обвинил меня в краже и присвоении его богатств, но я ни разу не просил у него и фартинга, хотя бывали в моей молодости дни, когда многочисленные тяготы доводили меня едва ли не до последнего предела.

Меня никогда не покидает трепет перед грядущими невзгодами, и потому я усердно погонял коня, стремясь поскорее добраться до спрятанного отцовского золота. Я достаточно часто уверялся в слепоте госпожи Фортуны и преотлично знаю, что любого состояния можно лишиться в мгновение ока; даже на вершине своего благополучия (впрочем, весьма относительного) я панически боялся, что уже в следующий миг могу очутиться за воротами и стать обыкновенным скитальцем вроде того нищего, забредшего ко мне в сад. Я и сейчас измышляю средства спасения от внезапного голода и подробнейшим образом, с помощью особых записей веду счет своим накоплениям. Боюсь я также угодить в тенета кровососов-ростовщиков. А если дом мой ограбят и умыкнут все серебро, что тогда?

Около полудня я достиг лугов, где играл в детстве; неподалеку высилось старое, побитое непогодой жилище, в коем обитала некогда наша семья. Но сейчас не время было предаваться воспоминаниям. Впереди тянулась стена Де-Ла-При — то бишь всего-навсего редкие каменные глыбы да частью уцелевшие следы кирпичной кладки, что едва виднелись в заиндевелой траве. Я спешился и освежил коня у речушки, чьи воды благодаря зимней поре журчали весьма лениво; позволив ему хорошенько напиться и угостив кое-чем из своей сумы, я отвел его в полуразрушенный амбар около стены, дабы укрыть от холода. Затем побрел вспять, к облетевшему вязу, который рос на краю поля. Солнце стояло довольно низко, и дерево отбрасывало на остатки стены длинную тень; я твердо помнил объяснения

отца и подошел к вязу вплотную. Отсчитав двадцать шагов вперед и пятнадцать влево, я оказался у самой кромки стены; затем я сделал пять шагов вправо, и это привело меня к каменному пупырю дюймов в одиннадцать высотою, так густо покрытому мхом и лишайником, что сам древний камень был едва виден; здесь, под землею, и следовало искать мой золотой клад!

Я сразу же принялся за дело — сердце мое так и прыгало в груди — и начал кромсать мерзлую почву своим маленьким карманным ножом; она отваливалась комками не крупнее булочки ценою в пенни, хотя продвижение все-таки было заметно. Я не видел ничего, кроме земли, однако докопался до самого основания стены; там почва и камень рассыпались подобно праху, но золота по-прежнему не было. Не могу сказать, как долго я трудился — солнце, по крайней мере, успело сесть; я вырыл яму с обеих сторон пупыря и, еще не закончив, уже проклял себя за все пустые мечты и несбыточные надежды! Я проклял и отца, смердящего в богадельне, за его подлый обман: разве у меня спина осла, чтобы снести всю его глупую болтовню, и рыло свиньи, чтобы ничего не ответить? Так не бывать же тому! Я не стану крутиться на колесе подобно Иксиону и, уязвленный, найду способ уязвить обидчика.

Итак, я работал на актонских полях точно каторжный, умываясь потом, хотя к ночи крепко подморозило, и за всю свою каторжную работу не получил даже ломаного гроша. Я не нашел ни золотого клада, ни сумы с монетами, нет, ровным счетом ничего. Верно говорят, что приятное минует быстро — на нас непременно наваливается какое-нибудь тяжелое бремя, и теперь, на исходе дня, я успел позабыть о своей утренней душевной легкости и добром здравии. С горечью в сердце вывел я из амбара дрожащего коня и медленно, под темным небом, пустился в обратный путь к Лондону.

Хорошо, что я мог отыскать дорогу и с завязанными глазами, ибо коню моему пришлось брести домой в необычайно густом мраке. И все-таки мне было неспокойно, ибо я опасался внезапного нападения грабителей или карманников; но сильнее гнетущих меня страхов была жестокая досада на самого себя. Я, желавший обитать в золотой башне, пал так низко, что побежал копаться у развалин старой стены, где можно было найти лишь мусор да грязь. А что, если бы я подцепил в этой сырости простуду? Едучи по лугам, я чувствовал в своих сочленениях смутное нытье, и вдруг мое правое плечо и локтевой сустав пронзила такая острая боль, что я едва не закричал в голос — и это несмотря на боязнь угодить в лапы разбойников или иных лихих людей.

Вполне возможно, что сии ужасные схватки и приступы были проявленьями некоего более общего недуга; я помнил, что недели две-три тому назад жидкость столь внезапно бросилась мне в ногу, словно меня ударило камнем, и я испытал такую невыносимую боль, точно все мои сосуды и жилы лопнули от мгновенного растяжения. А осенью прошлого года я мучился почкою, хотя полагал, что ныне уже избавился от этой хвори. И мои теперешние муки были, несомненно, признаком какого-то весьма серьезного недомогания, и я ужаснулся этому про себя; затем у меня в ушах зашумело, и я вперил глаза в окружающую тьму. Что, если мне суждено умереть до срока? Что, если я умру, как отец, в одиночестве и бреду? Я представлял себе самые разнообразные страдания, кои могли угрожать мне, мысленно живописуя бесчисленные язвы плоти и заблужденья ума, покуда меня едва не оставили последние жизненные силы. Свирепую боль я еще, пожалуй, смогу вынести, но потерять разум в горячке или в лихорадке, навек утратить всякую память и затем сгинуть в углу какой-нибудь лачуги или на улице... Но отчего же меня снедают столь жестокие волнения и тревоги, что я еле держусь в седле и напуган своими мрачными думами не менее, чем мраком вокруг? Я все еще пребываю в сетях демонов, повелевающих временем: материя находится в непрестанном брожении, никогда не замирает, и меня укачало на волнах сего потока чуть ли не до смерти. Всю жизнь я пытался продвигаться вверх gradatim[1], от вещей видимых к постиженью вещей невидимых, от телесного к духовному, от краткого и преходящего к вечному и нетленному. Но почему же я не могу изменить самого себя? Я во многом подобен стеклу, прозрачней и хрупче коего нет ничего на свете. Как же мне вообще случилось занять в этом мире некое место? Как я уцелел? Вдруг смятение и тоска разом навалились на меня, и тогда я согнулся над тропою и выблевал свои страхи. О Боже, который во

[1] Последовательно (*лат.*).

мне, я должен быть сильным. Gloria laus et honor Dei in excelsis[1]. И теперь, изрыгнув на дорогу содержимое своего нутра, я громко запел старинную песню:

Один да Один всегда одинок, так будет во веки веков.

А в дальнейшем особливость моя лишь возрастет. Мое искусство превознесет и облагородит меня, я буду восхи́щен в третье царство и затем вернусь, осененный столь чудной благодатью, что здешний текучий мир станет мне безразличен. Тогда, страх, я распрощаюсь с тобой. Никто больше не превратит меня в легкую добычу для подлых завистников и коварных интриганов, повергнув наземь нежданной подножкой. Я перестану опасаться изменчивости, ибо познаю все, и пигмеи, что ныне окружают меня, будут сметены прочь. Я не убоюсь никого. Я не позавидую никому. Итак, я должен быть железом, стремящимся обратиться в адамант: я должен неуклонно приближаться к великой тайне. Разве я уже не на пути к созданию новой жизни без помощи женской утробы? А если я сотворю бессмертное существо, значит, мною будет найдена та внутренняя божественность, та душа, та искра, то пламя, что движет сферы. Глядите. Я плюю на ваш мир. И, очистясь таким образом от последних следов изрыгнутой из желудка скверны, еду к снова встающему впереди Лондону.

* * *

Утром я усердно трудился над составом влажной среды, пригодной для дыхания гомункулуса, но мои занятия были прерваны появлением горничной. Она крикнула: «Вы не спите, сэр?»— а затем громко постучала в дверь моей комнаты.

«Я уж давным-давно на ногах, Одри Годвин. Высоко ли поднялось солнце?»

«Сейчас не так поздно, как вы думаете. Всего лишь половина восьмого. Но поспешите, сэр. Это ваш батюшка».

На мгновение я побледнел. «Он здесь?»

«Нет. Из лечебницы прискакал гонец — говорит, он вот-вот отдаст Богу душу».

«Что ж, время приспело».

«Торопитесь, сэр, не то опоздаете».

Несмотря на ее призывы, я оделся со всем тщанием и только потом выехал вместе с гонцом к последнему приюту моего отца на этой земле. День выдался еще более суровый и морозный, чем вчера, и, свернув на Аксбриджскую дорогу, я замотал рот и нос шарфом, дабы уберечься от простуды. Когда мы миновали подъездную арку, Холлибенда поблизости не было, и я отправился по знакомому пути один: прошел через галерею, поднялся по лестнице, которая вела в общую спальню престарелых, и отыскал деревянную ширму, отделяющую отцовский угол. Но на кровати его не было, и на миг мне померещилось, будто он уже покоится в могиле; затем я увидел его. Он стоял у другой стены, рядом с древом жизни, бледный как труп и голый, во всей своей срамоте; руки его были сложены на груди, и вдруг он зашагал в мою сторону. Я отшатнулся, но он ничем не показал, что узнал или заметил меня. Перейдя комнату, он в молчании возлег на кровать, затем устремил на меня взор и разразился смехом. «Не ведаю, что означает сей черный шарф,— произнес он. — Но догадываюсь». Глаза его глубоко запали или ушли в череп, а плоть так истощилась, что еле прикрывала кости. Я не вымолвил ни слова, и вскоре он перевел взгляд на потолок и принялся быстро бормотать что-то невразумительное. Внезапно он спросил меня, что вы сказали? Я отвечал, ничего; тогда он подивился, чей же голос он слышал. Затем стал жаловаться, будто по нему кто-то ползет, как бы пиша на спине и поднимаясь к голове. «Я вижу его,— вдруг воскликнул он, сел в кровати и распрямился. — Вон там, на подушке у окна, маленькое существо — оно заигрывает с вами. Разве вы не слышите? Вот оно говорит: *погаси свою свечу, ибо это последнее, что тебе нынче нужно сделать*. Так вы не видите и не слышите его, сэр?»

«Я ничего не вижу. Ровным счетом ничего».

«Да, да, вы правы. Оно уже исчезло. Теперь от него не осталось и следа. Боюсь, сэр, что и вы также колеблетесь и расплываетесь». Я знал, что глаза ему застит пелена смерти, и, хотя он манил меня к себе, по-

[1] Хвала и слава Господу в вышних (*лат.*).

прежнему держался поодаль. «Мальчик,— сказал он затем,— принеси огня. Разведи огонь, дабы нам отдохнуть».

Я улыбнулся на такую нелепость. «Кликните-ка погромче. Этот пострел вас не слышит».

«Подайте мне штаны. Где мой камзол? Принесите мои подвязки и обувь. И чистую рубаху, ибо эта грязна». Он вновь погрузился в бредовые потемки и многажды прикоснулся к своему лицу, точно собирая с него паутину. «Где мой пояс и моя чернильница, моя куртка гишпанской кожи? Где мои чулки, моя шляпа, мой плащ, мои перчатки, мои туфли?» Голос его все возвышался, переходя в страдальческий вопль. «У меня ничего нет. Ничего нет рядом со мною». И он зарыдал, что нимало меня не тронуло: когда во мне самом так много ужаса и мрака, могу ли я обращать внимание на тьму, окутавшую моего отца? Он был всего лишь первым в гонках к роковому рубежу и отнюдь не заслуживал особой жалости. Я даже начал досадовать вслух на его визгливые вопли и шепот, ибо почему должен я внимать тому, кто совсем недавно поносил меня, да еще столь жестоко обманул и ввел в заблуждение? Но он ничего не слышал.

«Люби меня». Это прозвучало так ясно, что я воззрился на него в изумлении. «И люби мою собаку. Где мой пес? Вы не видали его, сэр?» Затем он изверг на меня такой поток невнятных жалоб, что я едва не заткнул уши. И тогда мне вспомнилось, что прежде у него действительно была собака, сопровождавшая его повсюду и делившая с ним кров (образно говоря), когда он жил один в восточном Актоне. Что с нею сталось, я не ведал. «Славный песик,— сказал он,— славный песик. Славный». Потом опять разразился причитаниями, так что я шагнул к нему и похлопал его ладонью по рту.

«Кто вам дороже — пес или Господь Бог?»— спросил я. Он закивал в беспамятстве. «Ну, так вы вскоре получите свою награду. А теперь помолчите, прошу вас. Право же, вы меня утомили».

Тогда он слегка успокоился, чего я и ждал: во мне есть сила, способная усмирить бурю, коли я того пожелаю. Спустя несколько мгновений он принялся считать от одного до десяти, снова и снова, и хватать нечто невидимое на своих простынях. Затем поднял руку, точно предлагая мне что-то. «Налейте стакан,— сказал он. — Только не до краев, дабы мне было легче пить». Я видел, что он вот-вот отойдет, ибо он смежил глаза и застыл, как труп. Пусть угасает, подумал я, с меня довольно. Я уже наглядelся. Наконец-то я сброшу это бремя — теперь, после его смерти, жизнь станет для меня еще драгоценней. Ну же, сэр, отправляйтесь прямиком в тартарары! Кажется, я не произнес этого вслух, однако вдруг он очень широко раскрыл глаза, как будто уставившись на меня.

Нет, нет, повода для страха не было. Я мигом понял, что он уже лишился дара зрения и свет покинул его. Он разлучился с жизнью. Но меня заворожил его мертвый взор, и я смотрел бы ему в глаза вечно, если бы не услышал какой-то шум, доносящийся сверху: это было посвистыванье, весьма низкое или тихое, похожее на «ву, ву, ву». Несомненно, его производил ветер или какая-нибудь севшая на крышу сова, и я отошел от мертвеца, желая выглянуть из окна. Снаружи не было ни дуновения ветерка, ни признаков какой-либо птицы. Затем я ощутил мягкое прикосновенье к своему плечу и обернулся с громким возгласом, поспешно, словно лист, подхваченный ураганом. «Не печальтесь». За моей спиною стоял Холлибенд и улыбался. «Он был человеком высокого ума, и я призываю вас отнестись к его кончине с должным смирением».

Я посмотрел на усопшего: дух только что оставил его и грудь еще дышала теплом, но, искренне говоря, я не чувствовал ничего, кроме благодарности. А я-то жив! «Вы похороните его, мистер Холлибенд, не так ли?»

«Если вам угодно, доктор Ди».

«О да. Мне угодно». Я отвесил ему поклон и, смеясь, пошел восвояси; его отнесут на погост, а я и палец о палец не ударю. Я сберег четыре шиллинга за саван и шесть шиллингов за похороны. Кошка любит рыбку, но не любит мочить лапы: я предал его сумраку и тлену, не потратив на это ни единого гроша.

Я велел подать себе коня и вскоре уже скакал по Брод-Сент-Джайлс, а ветер свистел у меня в ушах; всю дорогу мне чудилось, будто за мной по пятам скачет другой всадник, но, свернув на перекрестке, я увидел позади лишь старый деревянный загончик на колесах. Верно, это копыта моей собственной лошади так звонко стучали по промерзшей земле, что порож-

дали вокруг эхо. Впрочем, холод не мог помешать моей радости, и я решил направиться в Парижский садик, что за рекою. Недавно там была воздвигнута сцена — как раз на старой площадке для стрельбы из лука, рядом с ареной для травли медведей,— а кто откажется от спектакля, когда на душе у него легко? Пьесы трагические или исторические равно воспламеняют сердце и пробуждают дух соперничества в тех, кто стремится к совершенству на сцене этого мира. Я не могу глядеть на образ великого человека и не ощущать желания очутиться на его месте — пускай даже перед зловонной толпой. Тогда я сумел бы повелевать ими всеми, не прибегая к иному средству, кроме чар своего присутствия.

Я проехал по Темза-стрит, где люди кучками грелись у разнообразных костров; дым ел мне глаза, однако, приблизясь к большим часам, я увидел сквозь слезы цирюльню в боковом проулке под названием Платок. Будучи в хорошем расположении духа, я решил постричься и умастить себя благовониями, а посему немедля отдал лошадь прислужнику и вошел в наполненную сладкими ароматами залу. Там уже сидел один посетитель, пестрый и расфуфыренный, точно павлин; усишки его походили на черный конский хвост, завязанный узлом, из коего торчали в обе стороны два пучочка, и цирюльник управлялся с ним, то и дело окуная пальцы в тазик с мыльной водой. Утро — пора праздности, когда те, кто сами себе хозяева — к примеру, стряпчие или воины, свободные от службы,— целиком посвящают себя подобным удовольствиям; я скорее предпочел бы гореть в аду, нежели вот так бесцельно убивать время, однако в сей радостный день отцова успения меня, противу обычного, тянуло усесться и поглядеть по сторонам.

На руках у малютки цирюльника было с полдюжины серебряных колец, на вид не дороже чем по трехпенсовику штука, и от него требовалась немалая ловкость, чтобы не запутаться ими в чужих волосах. Но сидящий перед ним пустомеля ровным счетом ничего не замечал: он то и дело осведомлялся о париках новой завивки и воротниках нового фасона. Затем он стал выспрашивать у цирюльника цены на зубочистки и футляры для гребней, на щетки для головы и щетки для бороды, словно сам решил заняться торговлей. Но по нему было видно, что он не вылезает из таверны, единственного места сборищ для богатых ленивцев, и вскоре он переключился на болтовню об азартных играх и иных развлечениях. «Знаете, что такое триктрак?»— спросил он. Цирюльник покачал головой. «А лурч?»[1]

«Нет, сэр. На досуге я иногда подсаживаюсь к игрокам в рафф[2] или колчестерские козыри, но более ничего не знаю».

«Так приходите нынче, мистер Хадли; вы хоть и новичок, а вполне сможете составить с кем-нибудь партию в Novem Quinque или фаринг. А с игрою в дуплеты вы уж наверно знакомы? Эту игру придумали французы, и число игроков в ней произвольно».

Он все не умолкал, одновременно разглядывая свои усишки то так, то сяк и под любыми мыслимыми углами в овальном зеркале, висящем на стене перед ним. Я не мог дождаться его ухода; видя мое нетерпение, цирюльник поскорей завил ему напоследок несколько локонов и отпустил с миром. Затем он вернулся ко мне, усадил меня в кресло и с улыбкою взялся за свой гребешок и ножницы. «До чего ж приятно,— сказал он,— услужить такому солидному и почтенному джентльмену, как вы, сэр. Эти юные щеголи не способны по достоинству оценить наше искусство. То они требуют подстричь их как итальянцев, кругло и коротко, а то по-испански, с длинными прядями на ушах. А ваш предшественник, вот что сейчас ушел, просил сделать ему французскую прическу с локонами до плеч, но при его волосах это невозможно. Итак, сэр,— что мы с вами выберем?»

«Я хотел бы подстричься на добрый старый английский лад».

«Вы правы, сэр, это самое лучшее. С английским стилем ничто не сравнится». И он с превеликим рвением принялся за работу, тараторя, словно девица сразу после венчания. «Видели вы шествие на Фенчерч-стрит, сэр? — спросил он, подстригая мне бороду. — Ей-Богу, там было на что посмотреть — всю улицу украсили золотыми полотнищами. На каких только инструментах там не играли, да так складно! А один трубач, вот вам крест, чуть не целый день разливался».

«Нет, я был занят».

«Туда явился новый французский посол, и, поверите ли, сэр, такого воротничища на человеке еще свет не видывал. Он топорщился вокруг его

[1] Старинная игра наподобие нардов.
[2] Карточная игра XVI века, предшественница виста.

шеи, будто клетка из прутьев, а на голове у него сидела малюсенькая шапочка с полями, точно крылышки у камзола». Он рассмеялся своим воспоминаниям. «А мантия этакого темно-багряного цвета, и рукава сплошь расшиты кружевами. Он умудрился нацепить ее так, чтобы выставить напоказ свои белые тафтяные штаны да чулки черного шелка. Ей-ей, кабы с ним рядом не было нашего градоправителя, его закидали бы камнями!»

Тут я расхохотался. «По мне, лучше отсечь ему голову, а туловище спалить у Тауэра».

«А что, и до этого могло бы дойти, в наши-то дни». Он замолчал и вздохнул, на миг оторвавшись от своего утомительного занятия. «Ах, сэр, сколь превратна мода. И все это, знаете ли, проходит перед моими глазами. В Англии нет ничего более переменчивого, нежели мода на платье. То здесь одеваются на французский манер, то на испанский, а то подавай им мавританские наряды. Сначала одно, потом другое».

«Так уж устроен мир». На мгновенье ко мне вернулись недавние думы. «Но я-то вовек не убоюсь их презрения».

«Конечно, сэр».

«Слыхали, что молва говорит о зависти?»

«Поведайте мне, сэр. У подобных вам я всегда ищу знаний».

«Зависть — это крокодил, что льет слезы, убивая, и со вздохами поглощает каждую новую жертву».

Тут брадобрей притих, ибо это не имело ничего общего с тем, о чем говорил он сам, однако вскоре я снова услышал его голос: «А уж весь этот деревенский люд, что сюда стекается, сэр! В самое летнее пекло они ходят мимо моего заведения и заглядывают ко мне не потому, что им надобны мои услуги, а лишь для того, чтобы спросить дорогу к вестминстерским могилам или львам в Тауэре. Поверите ли, сэр?»

Эти слова напомнили мне о цели моего собственного путешествия, и я попросил его закончить стрижку со всем возможным проворством. Он охотно согласился и спустя несколько минут уже умывал мне лицо душистой водою. «Ну вот, сэр,— сказал он,— теперь вы похожи на живописца».

«Да,— отвечал я,— и на того, кому суждено преобразить сей мир». Я вышел от цирюльника и, сворачивая за угол, заметил, что он смотрит мне вслед.

От Палтока было рукой подать до Нью-Фиш-стрит, а она скоро привела меня к мосту. Многие расхваливают этот мост[1], называя его гордостью Лондона и не забывая упомянуть о двадцати его сводах из обтесанного песчаника, но на самом деле это весьма узкий путь через реку, столь загроможденный лавками и домиками, что по нему очень нелегко пробраться; я медленно вел коня сквозь суетливую толпу, а кругом было такое море носильщиков, уличных продавцов, купчишек и приезжего народу, что я достиг Банксайда[2] только после многократных остановок под крики: «Дорогу, дорогу!» и «С вашего позволения, сэр!» Я проехал немного до Уинчестерского причала и сдал лошадь хозяину тамошней конюшни, а затем направился пешком к пустырю у площади Мертвеца, где травят медведей. Чтобы забраться на деревянные подмостки и увидеть это зрелище, надо заплатить всего-навсего пенни; но я явился одним из последних и вынужден был смотреть на арену поверх чужих плеч и шапок. Туда только что выпустили медведя, а потом натравили на него пса; и как ликовала толпа, когда пролилась кровь, какой шум они подняли, когда пес вцепился медведю в глотку, а тот принялся охаживать его когтями по голове! Они бросались то вперед, то назад и так кусались и царапались, что вскоре превратили арену в кровавую лужу, — и глядеть, как медведь, с его розовым носом, исподлобья наблюдает за приближением врага, а пес вертится вокруг и выжидает, дабы поймать его врасплох, было не менее увлекательно, чем следить за сценическим действом. Претерпев укус, медведь снова вырывался на свободу и дважды или трижды поматывал башкой, перемазанной слюной и кровью; и все эти броски, эти увертки, эта грызня, этот рев, эти швырки и метания вконец стали выглядеть достойным символом нашего безумного града. Воистину, чернь обожает страданья и смерть.

Я покинул арену в отличном расположении духа и пошел к Парижскому садику и недавно выстроенному там театру. Едва миновав Моулстрандский док, я услыхал за спиной чей-то оклик. «Господи Иисусе,— произнес

[1] До 1749 года Лондонский мост был единственным в городе мостом через Темзу.

[2] Банксайд — участок на южном берегу Темзы, известный как «район театров»; именно здесь был позже построен шекспировский «Глобус».

мужской голос,— ну кто бы мог подумать, что я встречу вас здесь?» Я обернулся и сразу признал говорившего по его грязной белой атласной куртке: это был мой прежний помощник, Джон Овербери. Год назад он оставил службу у меня и нашел себе (если верить его речам) лучшего хозяина. Я знал его также как угрюмого и подозрительного малого, весьма склонного к злословию. «Что привело вас сюда?» — продолжал он, догнав меня и шагая рядом.

«Ровным счетом ничего, Джон». Мы как раз подошли к Фолконскому причалу, что близ борделей на Пайк-лейн, и он воззрился на меня с любопытством. «Вот пьесу хочу поглядеть».

«И только-то, сэр?» Я держал язык за зубами и не чаял от него избавиться, но он все не отставал. «А медведей вы нынче смотрели?» — поинтересовался он.

«Постоял минутку».

«Значит, вы, как всегда, с умом выбрали день. Ведь и месяца не прошло с тех пор, как ихний помост рухнул, переполненный людьми,— слыхали об этом? Тогда многих убило да покалечило. Слыхали, сэр?» Я кивнул. «Бают, без колдовства там не обошлось».

«Мало ли что говорят, Джон, дабы поразить несмышленых».

«Истинно так, доктор Ди. Но уж мы-то с вами знаем, где собака зарыта, верно?»

Я оставил сию дерзость без внимания, хотя видел его насквозь. После того как он покинул мой дом, я случайно обнаружил ящичек с записями, сделанными его рукою,— свидетельство того, что этот мошенник запечатлевал ход моих опытов. Я не сомневался, что он рассчитывал продать свои бумаги какому-нибудь невежде, алчущему золота или власти, однако результат его торопливых трудов выглядел весьма убого. К тому же он все равно не достиг бы цели, ибо нет подлинных секретов кроме тех, что заключены в тайниках человеческих душ.

Впереди уже замаячил помост театра, к которому отовсюду стекался народ, но этот шут и не думал уходить. «Чего желаете, сэр? — спросил он. — Смотреть пьесу вместе с толпою или заплатить за сиденье?» Он говорил о деревянных скамьях, стоявших по обе стороны сцены в отдалении от кипучей толпы, и я окончательно понял, что он решил прилипнуть ко мне теснее, чем подошва к башмаку.

«Где же мы сядем? — отозвался я. — Там все полно. Все скамейки заняты».

«Да уж найдем местечко, сэр. Будьте покойны и держитесь за мной. Я пойду первым, растолкаю их и проложу нам путь». И он направился вперед, вопя: «Дорогу! Дорогу благородному доктору Ди!» В ответ раздались смешки, на которые всегда горазды эти ехидные дуралеи, и лицемер Овербери повернулся ко мне с улыбкой. «Вы не отстали, мой добрый доктор? В жизни не видывал такого столпотворения!» Я промолчал и хотел было шагнуть в сторону и затеряться среди этого зловонного сброда, но он уже взял меня за рукав и подвел к скамьям. «Сядьте здесь, напротив сцены,— сказал он,— и вы ничего не пропустите». Затем он похлопал по плечу одного из зрителей, мужчину в бархатном плаще. «Прошу вас, сэр, подвиньтесь чуток и дайте нам сесть с вами рядышком».

«С превеликим удовольствием»,— отозвался тот; но я уверен, что он не мог не услышать, как Джон Овербери пробормотал мне, прикрыв рот рукою: «Ну и задница у него, верно? Страсть сколько места ей надобно». Не знаю, откуда набрался он такой наглости, но я уж давно отчитал бы его хорошенько, если б не подозревал, что, прибегнув к какой-то коварной уловке, он застиг меня тут намеренно. А посему я решил покуда смолчать.

«Всем известно, что вы чересчур много трудитесь,— прошептал он мне, когда актеры начали выходить на сцену. — Приятно видеть вас в театре, на отдыхе».

Тем временем перед нами явилась целая вереница благородных персонажей, облаченных в пышные наряды темно-красного, синего и желтого цветов. По их платью и осанке я понял, что это действующие лица исторической трагедии, и приготовился выслушать пролог на тему круговращений бытия. Персонажей было семеро, подобно сферам над нами, и выступали они весьма торжественно: вот так с помощью живых картин и зрелищ можно отобразить глубочайшие мировые закономерности. Один из главных героев в королевской мантии шагнул вперед, чтобы обратиться к нам, но тут Джон Овербери склонился ко мне и указал на толпу. «Видите Мэрион? —

спросил он. — Знаете ее? Вон ту, что задрала юбку чуть не до пояса, дабы все могли полюбоваться ее дивными точеными ножками?» Я устремил взор в ту сторону и увидал среди публики цветущую девицу. «Она родилась под знаком Венеры,— продолжал он. — Гляньте-ка, один уже строит ей глазки. Видите, около нее вьется какой-то старый потаскун?»

О сферы, ваше вечное вращенье
Должно б стократ усилить хор стенаний
Над гробом королевы. Восхищенья
Достойная супруга и страданий
Моих виновница невольная — о небо!
Как буду жить я без тебя, родная?
Я в ад навек переселен из рая.

«А хитрец-то знает здешние обычаи — небось не впервой подбирать себе подружку. Видите, как он заманивает ее сверканьем своих золотых перстней?»

Я снова изготовился внимать сладкозвучной речи актеров, ибо к королю приблизился отрок, несущий факел мудрости.

ОТРОК. Пусть Скорбь рассеют Разума лучи.
КОРОЛЬ. Не вижу я ни проблеска в ночи.
ОТРОК. Рассудок повелит — Печаль уйдет.
КОРОЛЬ. Ярмо Рассудка счастья не вернет.

«А что это за важнецкий господин, доктор Ди,— вон там, сбоку от нас? Вы с ним знакомы?»

Я не откликнулся, хотя слышал его хорошо: я не мог оторвать глаз от сцены, ибо актеры повернулись в танце и король вновь выступил вперед.

Мой сын честолюбивый жаждет власти
И ищет, как со мной покончить разом,
Чтоб опереть сапог на лоб мой хладный
И плод сорвать...

Прочего я не расслышал, так как Овербери снова зашептал мне на ухо: «Видите вон того, в плаще с широкими рукавами? Сразу ясно, что он любитель мальчиков. Разве не правду говорят, что театр — истинная школа жизни?»

Когда я опять посмотрел на сцену, там произошла резкая перемена, ибо теперь старый король, одетый в платье обычного покроя, был простерт на ложе, а виолы и трубы возвещали о пришествии его сына.

КОРОЛЬ. Кто там стучит, как Дьявола подручник?

Тут Овербери подтолкнул меня локтем.

СЫН. Я, ваш наследник и послушный сын.

«Злодей, доктор Ди, ручаюсь вам. По лицу видать».

КОРОЛЬ. Входи. Нет силы под луною,
Что удержала бы тебя.

Засим принц, облаченный в синие с белым одежды, подошел к нему вплотную и поразил отца шпагой, что означало убийство; наверное, в этот миг на деревянные доски был опорожнен бычий пузырь с кровью, ибо жидкость пролилась даже с края помоста, а виолы и трубы зазвучали снова, на сей раз более тревожно. Джон Овербери глазел на это разиня рот и соблаговолил молчать вплоть до самой интерлюдии, когда четыре фигуры со знаменами, олицетворяющие Смерть, Вину, Месть и Неблагодарность, выступили на сцену, а затем принялись вопрошать друг друга о смысле происходящего.

«Поясните мне это, мой добрый доктор»,— сказал Овербери, озадаченный их беседой, слишком глубокой для его куцего умишка.

«В этом пафос всего зрелища,— отвечал я. — Разве ты не понял, что кровь короля символизирует неорганическую природу металлов, а сама шпага означает преображение огнем?»

«Накажи меня Бог, если понял. Но кто ж эти величавые фигуры?»

«Они назвали себя. Кроме того, сия четверица представляет собою четыре звезды, или materia prima[1] философского камня. Что еще осталось тебе неясным?»

«Ох, сэр, это загадка, непосильная для моего ума».

«Думай, думай. Неужто головенка твоя совсем пуста?»

«Я ею доволен, доктор Ди, но коли вы считаете ее глупой, то уж простите меня великодушно». Однако он то и дело посмеивался, а затем вдруг обратил взор на стоявших рядом и начал перекидываться с ними вопросами вроде «Как живете-можете?» и «Что новенького?» Было очевидно, что он со многими хорошо знаком, ибо тут собралось не меньше негодяев, чем их обычно бывает на Клинк-стрит неподалеку отсюда.

СЫН. Зачем ты здесь, отродье Люцифера?
КОРОЛЬ. Я призрак твоего отца, восставший
Из гроба, чтоб проклясть отцеубийцу.

Я поднял взор и увидел смятенного принца, сидящего в кресле с подушкою, и короля, что стоял перед ним, с ног до головы закутанный в белое полотно, — сие должно было означать его возврат из могилы.

СЫН. Прочь, адский выползок, вернись в геенну!
КОРОЛЬ. Не упокоюсь я в земле, покуда
Ты лик ее уродуешь...

«Богом молю, говори громче,— вдруг крикнул актеру Джон Овербери. — Повтори это слово еще разок. Твой саван мешает нам слышать тебя, почтенный призрак».

Но я не присоединился к общему гоготу. Мною овладел странный испуг: мне казалось, что если сдернуть белое дамасское полотно, я увижу на сцене труп своего отца.

КОРОЛЬ. Ты лик ее уродуешь собою.

Актер начал снова, однако заметно сбитый с толку криками слушателей, уронил на дощатый пол восковую свечу, которую держал в руке; от нее вспыхнуло его одеяние, но два прислужника тут же выскочили на сцену с кувшином воды и загасили пламя.

В последовавшем за сим волнении (ибо огонь был смертельным врагом всего театра) я поднялся со скамьи, по-прежнему панически боясь увидеть перед собой отца, и повернулся спиною к разноцветным фигурам лицедеев. «Сиди,— сказал я Джону. — Не то потеряешь свое место».

«Но пьеса еще не кончена, уважаемый доктор».

«С меня довольно и этого. А через толпу я проберусь сам».

«О нет, сэр, скажу вам без лести, ваше общество столь приятно для меня, что я не расстанусь с вами по доброй воле». Я мысленно застонал, но он снова ухватил меня за рукав. «Экая толкотня!» — воскликнул он и двинулся вместе со мною, крича «Позвольте же!» и «Дайте нам пройти, умоляю вас!», покуда мы не выбрались на Бродуолл. Тут он остановился и хлопнул в ладоши. «Погодите минутку,— сказал он. — Кажется, я обронил там свой серебряный перочинный нож». И он опрометью кинулся назад к театру, но, пройдя за ним несколько шагов, я увидел его беседующим с той самой шлюхой, или блудницей, которую он назвал Мэрион. Чуть позже они вышли оттуда вдвоем, и я воззрился на рыбацкую лодку посреди реки, как бы погруженный в глубокие раздумья.

«Ну вот, господин мой,— окликнул он меня, приближаясь. — Говорят, что унция веселья лучше фунта печали. Разве это не так?»

«Ты нашел нож?»

«Он завалился в уголок кармана. Ничто не утеряно, сэр, зато кое-что найдено». Тут он улыбнулся Мэрион; это была весьма миловидная и пухлая девица с кожею чистой и белой, точно редчайшая слоновая кость, и, пойдя за нею в сторону реки (причем она то и дело украдкой бросала на меня взгляды через плечо), я ощутил, как напрягся под моим платьем златой жезл Адама. «Помните,— продолжал Джон, замедлив шаг, дабы я мог настигнуть их,— как вы пороли меня по утрам, стоило мне проспать? Да еще приговаривали, будто-де сок молодой березки всякую хворь выгоняет, — так ведь, почтенный доктор?» На слове «березка» он ущипнул блудницу за руку, и та

[1] Первичная материя (*лат.*).

рассмеялась. «Кабы вы применили свое средство к другому достойному объекту, вы, верно, увидали б новое чудесное преображение». Я хорошо понимал его намеки. «Не прогуляться ли нам еще немного,— добавил он,— и не зайти ли всем вместе вон в тот трактир?» Я знал место, о котором он говорит: это был публичный дом, или клоака для потаскух и блудниц, куда захаживало больше народу, чем в Вестминстер-холл, и где водилось больше заразных хворей, чем в Ньюгейте. И однако я согласился пойти туда. Что ж, и Сократ порою пускался в пляс, а Сципион играл камушками на морском берегу; я не стану ни оправдываться, дабы не сочли это признаньем вины, ни скрывать своих замыслов, дабы не показаться глупцом. Если верить молве, аптекари любят только запах мочи, и в тот раз я уподобился им: я был словно муха, что облетает стороной розу, норовя усесться в навоз.

Когда мы приблизились к дому с вывеской «Лилейная Дева», какая-то полупьяная мегера осыпала нас бранью, но в сем не было ничего удивительного для здешних мест. У дверей трактира нас встретила толстогубая грязнуха с мутным взором и сопливым носом.

«Госпожа Анна,— сказал Джон Овербери, отвешивая ей поклон,— приветствуем вас от всего сердца».

«Входите же, леди и джентльмены,— отвечала она. Изо рта ее несло чем-то зловонным, а голос резал ухо. — Не угодно ли посетить мой трактир? Мою «Деву»? А уж как я вам рада». Она называла себя госпожою, но я прекрасно знал, чем она живет и какой славой пользуется ее заведение.

«Право слово, мадам,— с улыбкой продолжал Овербери,— давненько не припомню я такого морозцу, как нынче. Не найдете ли чем нас согреть?»

«Заходите, сэр, да без всяких церемоний. У меня уж готово вино с пряностями». Я уступил дорогу Мэрион, которая, шагнув внутрь, вежливо присела перед старой сводней. «Вот сюда, в эту дверь, джентльмены,— сказала хозяйка, благосклонно кивнув ей в ответ,— присоединяйтесь к нашей компании». Мы последовали ее приглашению; грязная и закопченная комната, куда мы попали, была полна мужчин и женщин, праздно сидевших на табуретах и тюфячках. Не знаю, мог ли Дедал воздвигнуть лабиринт для таких чудовищ или Апеллес живописать столь уродливые формы, но, приглядевшись, я увидел в них обычных пьяниц, потаскушек и шлюх. «Ну, детки,— промолвила госпожа Анна, взгромоздясь на покрытый кошачьей шкурой стул с ночным горшком,— что поделываете?»

«Да пошлет вам Бог доброго утра, матушка»,— ответили ей две неряхи разом.

«Я пришла навестить вас со своими друзьями, детки, и мы очень рады видеть, что вы не теряете времени попусту. За что бы вы ни брались, старайтесь делать это хорошо». Она повернулась к одной из потаскух, рябой девке в заношенном красном платье. «Ты у меня знаешь толк в дамасских тканях»,— сказала она, поглаживая ее по обтянутой грязным лифом груди.

«Покорно благодарю вас, матушка, вы так любезны со мною».

Все еще лаская грудь потаскухи, госпожа Анна обернулась ко мне. «До чего же сладко и приятно слышать, как они величают меня матушкой. А вас, сэр, это разве не радует? Поглядите только, какие послушные у меня дочки. Не угодно ли вам побеседовать с одною из них в отдельной горенке?»

Тут Джон Овербери просочился между нами и нашептал что-то ей на ухо. Госпожа Анна поднялась со стульчака (который, казалось мне, она вот-вот использует по назначению) и с глупой ухмылкою шагнула ко мне. «Из дикого винограда выходит славное винцо,— промолвила она. — Кабы я не пила, я высохла бы, точно окорок, подвешенный к печной трубе. А вы что скажете, сэр? Уж лучше расхаживайте по моему дому без штанов, чем воздерживаться от питья. Что вам больше по вкусу, сэр?»

«Что ж, хозяйка,— отвечал я, взглянув на Мэрион,— говорят, будто после обедов у Катона Росций всегда бывал под хмельком».

«Я не знакома с этими господами, сэр, но коли встречу их, непременно передам от вас привет».

Тут я громко рассмеялся. «Подайте мне вина с мускатным орехом. И чем прянее, тем лучше».

Она вернулась с дымящейся чашей, и я вмиг осушил ее. «Господи помилуй,— сказала она. — Да вы что сухая губка. А ну-ка, дочка, принеси джентльмену еще».

«Нет,— вскричал я. — Нет, нет. Этак у меня к вечеру разыграется водянка».

«Винцо вам не повредит». Она поглядела на Мэрион, которая с щипцами в руках опустилась на колени перед очагом. «Разве может мужчина прожить на одном соленом масле да голанском сыру?»

«Ладно, хозяйка, будь по-вашему».

«Вот и славно. Вы только не робейте здесь, сэр. Прошу вас, распоряжайтесь как у себя дома, уважьте старуху». И я выпил еще вина, а затем еще, покуда кровь не забурлила у меня в жилах. «Не пора ли вам уединиться с нею? — спросила старая сводня. — Не соскучился ли Джек по своей Джоанне?» Тут она кивнула на Мэрион. «Эта девица приготовит вам такое блюдо с подливою, что слаще некуда». И она отвела нас в соседнюю комнатенку с хлипкой деревянной дверью.

«Разве здесь нет засова?»— спросил я ее.

«Засовы нам ни к чему,— отвечала она. — Мы все живем большой дружной семьей».

«Но ее надо помыть,— сказал я заплетающимся от хмеля языком. — Сначала ее надо вымыть, иначе я до нее не дотронусь». Затем Мэрион стала разоблачаться, а я прочел молитву, точно предваряя трапезу. «Да будет освящено словом Божьим все, что есть ныне и появится впредь на сем столе. О повелитель и властелин мира, позволь нам вкусить от жизни вечной. Аминь. Подайте мне кувшин, лохань и полотенце, дабы я мог смыть с нее грязь».

Старая сводня поспешила прочь, а Мэрион чуть повела рукою, как бы прося меня о чем-то. «Но я ведь мылась, сэр. И с тех пор ничего такого не делала».

Но я не раскрыл рта, пока госпожа Анна не внесла в комнату старую надтреснутую лохань и горшок с мутной водою, словно зачерпнутой из какой-нибудь лужи или канавы. «Уложите ее на пол и вымойте лицо. Поднимите ей волосы и вымойте как следует». Старая карга покорно принялась за дело, а молодая девица тем временем не сводила с меня жалобного взора. «Это общий берег,— сказал я,— где скапливается дрянь со всего города. Не забудьте протереть ей уста. На ней пыли, что на придорожном столбе. Ну-ка, покажи мне язык. А теперь раскрой пошире рот, я хочу заглянуть внутрь».

Хозяйка исполняла то, что я ей велел, с большой неохотой. «Зачем вы ее мучаете? — спросила она. — Мэрион славная девушка, а не какая-нибудь грязнуля».

«Здесь нельзя оглашать причины моих поступков,— ответил я,— не то может свершиться непоправимое». Тут она примолкла. «Какая белая шея,— продолжал я. — Ты мила и тучна, мое дитятко. Вымойте у нее под мышками. О, какая полная у тебя рука, а запястье совсем маленькое. И как ты управляешься по хозяйству с такими запястьями? Открой-ка свою правую ладонь. Смотри, на большом пальце и мизинце у тебя черные пятнышки — это следы блошиных укусов. Нет ли блох в твоем тайничке? А может, ты делишь ложе с тем, кто дает им пристанище? Подрежьте ей ногти, госпожа Анна, дабы она не расчесывалась. И, молю вас, вытрите как следует ее соски, прежде чем я возьму их в рот, не то мне может попасться волос или еще что-нибудь. Теперь переверните ее на живот, я хочу поглядеть сзади. На плечах у нее есть отметины, видите, однако ягодицы мясисты и не искусаны». Мерзкая старуха понимала, что ее товар хорош, и в предвкушении своего золота стала вести себя более покладисто. «Ах, что за чудные лядвеи у этой девицы! Помойте ей ноги от икр и до самого верха. Теперь вымойте подошвы и не забудьте протереть пальцы, большой и все прочие. Так, можете переворачивать снова». Я стал на колени, дабы приникнуть к ней устами, но в этот миг неожиданно облегчился, даже не успев снять платье. Затем на меня напал такой страх и ужас, что я вскочил на ноги, дрожа, и вытер рот рукою.

«Больно уж вы торопитесь,— сказала Мэрион, удивленно поглядев на меня. — Поспешишь — людей насмешишь, разве не так?»

Но я уже довольно увидел и сделал. «Одевайте ее,— сказал я. — Пусть напяливает свою грязную юбку. Я ухожу».

Угодить в сети легко, но выпутаться из них труднее. «Покажите-ка нам свой кошелек, сударь,— потребовала старуха. — Или мы так низко пали, что нам уже не дотянуться до ваших денег?»

Мне слишком не терпелось уйти, чтобы затевать споры, поэтому я

открыл кошелек и швырнул им несколько шиллингов, которые они кинулись собирать на карачках. «Из какой только берлоги он вылез,— крикнула в мою сторону Мэрион,— что ведет себя с нами точно со скотами?»

«Лучшего вы не заслуживаете»,— отвечал я.

Добрейшая госпожа Анна поднялась с колен и плюнула мне в лицо; я хотел было ударить ее, но она схватила ночной горшок, угрожая выплеснуть на меня его содержимое. Так что я покинул их и, отправясь вон, миновал скопище шлюх, сидевших в соседней комнате навострив уши. Джон Овербери ковырял ножом в зубах на пороге трактира; я ничего не сказал ему и пошел прочь от этого гнездилища разврата, этого рассадника заразы и приюта блудниц, а вдогонку мне неслись гнуснейшие оскорбления, какие только может измыслить ум, изощренный во всем подлом и низком. Так завершился тот день, когда почил мой отец. Laus Deo[1].

## 4

Садовник обнаружил во дворе кучку костей. Он пришел расчищать участок перед домом, и, хотя было раннее утро, мне показалось, что от него попахивает спиртным. На нем чернели наушники «уокмена», и он чуть раскачивался в такт какому-то однообразному мотиву. Я наблюдал, как он взялся за работу среди сорняков и кустарника; он был еще вовсе не стар, но выглядел совсем хилым, и я тут же пожалел, что нанял такого доходягу. Вид сорняков явно выбил его из колеи, и, склонившись над ними, он на целую минуту замер с лопатой в руке. Потом начал неуверенно изучать каменную дорожку, точно опасаясь, что она вот-вот провалится у него под ногами, и наконец переключил свое внимание на лужок с высокой травой. Он принялся подрезать ее лопатой под корень, без особого, впрочем, успеха, затем вдруг поскользнулся и упал ничком. Больше я не заметил никакого шевеления и потому поспешил наружу; он растянулся в неглубокой ямине, вырытой между кустами, потревожив при этом несколько косточек, которые были аккуратно выложены кружком на ее дне.

— Надо же, какая странная штука,— сказал он, нимало не смущенный своим падением. — Я говорю про кости.

В первый момент мне почудилось, что это останки какого-то младенца, и я посмотрел на садовника в ужасе.

— Чьи они, по-вашему?

— Собачьи. Или кошачьи. В общем, какой-нибудь зверюги. — Он поднял одну из косточек и передал мне; она была неожиданно гибкой и мягкой на ощупь, и мне захотелось прижать ее к щеке, но тут я увидел около ямы что-то блестящее. Это оказалась разбитая стеклянная трубка, и я сразу признал ее: точно такая же, с необычным загибом или выпуклостью на конце, лежала в ящике стола у меня дома. Но эта была расколота пополам так ровно, будто из нее что-то аккуратно вылили на землю.

Я вернулся в комнату на первом этаже и открыл стол у окна; стеклянной трубки там уже не было. Чтобы окончательно убедиться в этом, я пошарил в пыльном ящике рукой и почувствовал, как мои пальцы на что-то наткнулись. Вынув из ящика тонкую стопку неизвестно кем туда положенных листков бумаги, я увидел на верхнем из них надпись, сделанную грубыми печатными буквами: «РЕЦЕПТ ДОКТОРА ДИ». Я изумленно воззрился на эти слова, удивительным образом подтвердившие мое вчерашнее открытие: теперь личность прежнего владельца дома можно было считать твердо установленной. Но что это за странный «рецепт»?

Да возрастет он помимо всяческой утробы! Сие есть тайна тайн и пребудет ею до конца времен, когда раскроются все тайны мира. Пусть ятрохимик возьмет семя и поместит его в закупоренный сосуд, желательно из антверпенского стекла, каковое легко пропускает и свет, и тепло. Потом закопай его на сорок дней в конский навоз с четырьмя природными магнитами в форме креста и не забывай каждый четвертый день обновлять воду в сосуде, доливая туда свежей росы; на сорок первый день он начнет дышать и расправлять члены. Он покажется тебе человеком гармонических пропорций, но прозрачным и лишенным глаз. Далее, он должен поглощать arcanum sanguinis hominis[2] на протяжении одного года, все время оставаясь под стеклом, и в конце сего срока превратится в чудесное маленькое дитя. Итак, сей будет истинным гомункулусом и сможет быть воспитуем подобно любому обычному младенцу; мужая и развивая свой ум и дарования,

[1] Хвала Господу (*лат.*).
[2] Тайна человеческой крови(*лат.*).

он доживет до тридцати лет, после чего уснет и вернется в свое прежнее бесформенное состояние. Тогда один из Посвященных должен принять на себя заботу о нем и вновь поселить его под стекло, дабы сие загадочное и прекрасное существо могло опять возрасти и выйти в мир. Если ты обратишься к нему со священными словами, он будет весьма мудро пророчествовать о будущем, однако главное его достоинство состоит в том, что при надлежащем уходе и внимании он сможет постоянно возрождаться и сим способом обретет жизнь вечную.

Я поднял взгляд и заметил в окне плывущие над домом облака. Они принимали такие странные очертания, что мне померещилось среди них мое собственное лицо; но это видение мгновенно растаяло, и я снова посмотрел на бумаги, которые держал в руке. Поразительно! Маргарет Лукас говорила мне, что доктор Ди занимался черной магией, но это была какая-то чудовищная фантазия. Создать искусственного человека в стеклянной трубке... Я отложил верхний лист бумаги; заголовок на следующем гласил:

### *СЛУЧАИ ИЗ ЕГО ЖИЗНИ*

Он избежал Черной смерти [1], принимая раствор дубильной кислоты, изготовленный им по наитию. Он предсказал Великий пожар[2], хотя никто не внял его речам. Собаки отвечали на его приближение лаем, а лошади пугались, хотя более ничто в природе не способно было воспринять его сущность. Однако же кошки его любили.

Он знал Исаака Ньютона, и они провели вместе много ученых бесед, во время которых он объяснял Ньютону научный смысл каббалы. Он присутствовал при кончине Ньютона и был тем, кто закрыл ему глаза монетами.

Он был принят в Королевское общество и поставил несколько важных опытов по определению функций лимфатической железы.

Он изобрел воздушный насос, после чего записал у себя в блокноте: нас выдают только наши мечты.

Он работал на стекольном заводе в Холборне, изготавливая линзы для Гринвичской обсерватории.

Однажды он подвергся нападению лондонской черни, из-за его бледности заподозрившей в нем гугенота.

Он преподавал в Детской школе Св.Марии в Уолтемстоу сразу после ее открытия в 1824 году. Здесь, к великой радости ребятишек, он собрал модель паровоза Тревитика. В обществе малышей естественным цветом его кожи был светло-розовый; остальные учителя приписывали это ускоренному кровообращению.

Он трудился в лондонских подземных коллекторах.

Он пестовал малолетнего Чарльза Бэббиджа[3], усматривая в нем залог будущего преуспеяния.

Он очень любил гулять в районе Уоппингских новых доков, где был железный разводной мост.

Он работал над радаром во время второй мировой войны.

Он побывал на Луне.

Порой он ведет в мире обыкновенную жизнь, не подозревая о своем предназначении, но затем благодаря ему вдруг начинают твориться чудеса. Он имеет столь любящую натуру, что помогает другим обнаружить их истинный гений. Он ничего не помнит ни о своем прошлом, ни о будущем, пока не вернется домой на тридцатом году; но возвращается он всегда.

У него есть своя теория: он верит в прогресс и совершенствование человека. Поэтому в компании людей непросвещенных он меняет цвет с белого на красный.

Вот каким видится ему будущее. Он знает, что современная наука разовьется настолько, что придет обратно к своим истокам, очистится, а затем раскроет тайны прошлого. Тогда представления алхимиков и астрологов, с которыми гомункулус знаком очень хорошо, будут возрождены и вольются в грандиозную картину мира, созданную квантовой теорией.

Он знавал Галена и считает, что его положения в основном правильны. Следовательно, теория четырех жидкостей еще возродится. Далее, гомункулус утверждает, что теория четырех элементов также верна в духовном смысле и когда-нибудь войдет в арсенал современной физики.

Больше всего он страшится одной перспективы. Если великим ученым не дано повелевать круговращением времен, тогда конец света (каковой он относит к 2365 году) ока-

---

[1] Чума в Европе в XIV веке; в 1348 — 1349 годах она унесла в Англии и Ирландии около четверти населения.

[2] Пожар 1666 года в Лондоне, уничтоживший половину города.

[3] Чарльз Бэббидж (1792 — 1871) — английский математик, изобретатель счетной машины.

жется поворотным моментом. Он знает, что тогда столетия потекут вспять и человечество постепенно возвратится к своему началу. Снова вынырнут из небытия викторианский и елизаветинский периоды, и Рим восстанет вновь, прежде чем кануть во тьму того, что мы теперь называем доисторической эпохой.

Я прочел уже достаточно, но ненадолго задержал взгляд на бумаге; почерк показался мне знакомым, и вдруг я понял, что это рука моего отца.

Раздался стук в дверь, и я, встрепенувшись, поспешил к ней. Это был садовник.

— Что прикажете делать с этими костями?

— Заройте их,— ответил я. — Заройте как можно глубже. — После возни в старом саду он выглядел таким усталым и измотанным, что во мне проснулась жалость. — Нет. Погодите. Я помогу.

Вдвоем мы отправились к яме и засыпали кружок из костей сухой землей; затем я накидал на это место побольше земляных комьев и притоптал получившийся холмик ногой. Две половинки стеклянного сосуда я забрал оттуда заранее и теперь понес их по Клоук-лейн на кладбище Св.Иакова. Я с удовольствием побродил бы немного среди могил, но на развалинах каменной стены, поодаль друг от друга, сидели два старика; они словно ждали воскрешения мертвых. Я решил не тревожить их и, повинуясь внезапному желанию, поднялся по ступеням главной паперти; большая деревянная дверь была не заперта, и я вступил в прохладный церковный полумрак. Я по-прежнему держал стекло в руках и, заметив у бокового алтаря крестильную купель, сразу понял, что нужно сделать. Приблизившись к купели, я наполнил обе части сосуда святой водой, оказавшейся довольно теплой, а затем опустил их на пол, прислонив к маленькому алтарю. После этого я крадучись прошел между рядами деревянных скамей и сел на одну из них. Не знаю, пытался ли я произнести слова молитвы,— *молить* мне было, собственно говоря, не о чем,— но помню, что стал на колени и закрыл лицо ладонями. Я как бы хотел забыться и тем самым обрести покой. Но и преклонив колени в тишине храма, я сознавал, что здесь мне покоя не найти: мой бог обитал там, где была моя любовь, а любил я прошлое. Если для меня и существовало какое-либо божество, то оно было заключено в самом времени. Только одно я и мог почитать и боготворить — эту череду поколений, в которую я как исследователь пытался проникнуть. А здесь, в церкви, для меня ничего не было.

К тому времени, как я вернулся на Клоук-лейн, наступил полдень, и садовник уже ушел. Стараясь не глядеть на свежий земляной холмик, я поспешно миновал дорожку и как можно быстрее отпер дверь: я не хотел признаваться себе, что боюсь входить в этот старый дом, где лежат записи, сделанные рукой моего отца. Если бы я хоть раз поддался этому страху, последствия могли бы быть плачевными. Я рисковал оказаться изгнанником, отторгнутым от того, что являлось, в конце концов, моим наследством.

Меня снова поразила тишина, царившая в старом доме; присев на лестницу, я слышал свое собственное дыхание. Уже готовый подняться к себе в спальню, я вдруг услыхал новый звук: где-то журчала, или шептала, вода. Не это ли журчанье доносилось до слуха Джона Ди, когда река Флит бежала по его саду к Темзе? Затем я понял, что источник звука находится внутри дома. По пути в кухню я все еще слышал шум своего дыхания, но никаких поломок там не обнаружил — просто кран был неплотно завернут, и струйка воды текла в раковину, а оттуда в систему подземных труб. А до чего чистой была эта струйка. Она сверкала в падающих из окна лучах солнца, и на мгновение я умиротворенно смежил веки. Когда я вновь разомкнул их, струйка иссякла. Но что это? Я помнил, что после завтрака оставил свою чашку и блюдце в раковине, однако теперь они блестели на полке. Наверное, я вымыл и вытер их, находясь в какой-то прострации, и мне подумалось, что я, пожалуй, уже не в первый раз брожу по дому точно лунатик. Я отправился к себе в комнату и с некоторым удивлением отметил, что постель убрана; мне казалось, что утром я не потрудился сделать это. Еще через миг до меня дошло, что аккуратно сложенные простыни накрыты маленьким ковриком. И тогда я позвонил Дэниэлу Муру.

Вскоре он приехал и очень внимательно выслушал мой довольно путаный рассказ обо всех странностях, творящихся в этом доме. По неясной причине — возможно, оттого, что это было чересчур уж нелепой фантазией,— я не упомянул о записках, посвященных гомункулусу. Зато сообщил ему о Джоне Ди, а потом, сам не знаю отчего, начал посмеиваться. Дэниэл живо поднялся со стула и шагнул к окну.

— Слава Богу, лето уже на исходе,— заметил он, удовлетворенно потирая руки. — Конец светлым вечерам.

Я хотел было спросить его, почему он так хорошо ориентируется в моем доме — как он нашел каморку под лестницей и почему знает о заложенном окне,— но тут зазвонил телефон. Это была моя мать; не дав мне и слова вымолвить, она стала извиняться за свое поведение третьего дня. Она, мол, позвонила бы и раньше, да ей с тех пор нездоровилось.

— Я, видно, уже тогда заболела, Мэтти. Была не в себе. Абсолютно не в своей тарелке.

— Как твои глаза?

— То есть?

— Тебе больше ничего не мерещится?

— Нет, нет. Что ты. Ничего мне не мерещится.

— Похоже, все дело в доме. — Мне было очень любопытно узнать, что она о нем думает. — Понравился он тебе?

— Как он мог мне понравиться, Мэтью, если я плохо себя чувствовала? — Она снова заговорила сдержанно, как тогда, но потом опять извинилась и повесила трубку.

Когда я вернулся в комнату, Дэниэл все еще глядел в окно; он принялся насвистывать. Затем сел на свое место и наклонился ко мне, сложив перед собой руки, точно в горячей, искренней молитве.

— Давай скажем так, Мэтью. Не слишком ли мы всё драматизируем? Неужто ты и впрямь веришь, будто здесь, с тобой, живет кто-то или что-то еще?

— Но как же посуда, коврик на кровати?

— Может, мы подметали комнату или вытирали пыль и случайно оставили его там. — Он по-прежнему плотно сжимал руки перед грудью. — Тебе не кажется, что в последнее время мы с тобой грешим излишней рассеянностью?

— Ну...

— Говорю тебе, Мэтью, ничего сверхъестественного не было. — Полагаю, что он убедил меня, хотя обратное утверждение — будто бы в этом доме происходит нечто «сверхъестественное» — выглядело чересчур нелепым, чтобы рассматривать его всерьез. — Давай лучше держаться фактов, а не фантазировать,— продолжал он. — Расскажи мне, что именно ты вчера обнаружил.

— Только то, что в 1563 году Джон Ди платил здесь налоги и что, если верить Маргарет Лукас, он был черным магом.

— У этой дамочки богатая фантазия.

— На днях ты спрашивал меня, как далеко я намерен продвинуться в своих розысках. — Я очень устал и слышал свой голос как бы со стороны, точно стоял в нескольких шагах от себя самого, — это было чрезвычайно странное ощущение. — Я хочу знать все, Дэниэл. И не успокоюсь, пока не узнаю. Как там в книжке? Нет такого мрачного уголка, где я не мог бы скрыться.

Он посмотрел на меня с непонятным выражением, словно я ляпнул что-то невпопад.

— Что ж, наверное, это правильно.

— Иначе просто нельзя. Это мой долг.

— Ты говоришь так, словно не дом принадлежит тебе, а ты ему.

— Я чувствую, что принадлежу чему-то. А ты разве нет? — Вдруг у меня в голове мелькнула мысль, что стены можно украсить коврами — тогда их узоры будут отражаться на гладком каменном полу. — Разве ты не согласен, что возникает известная ответственность? Когда селишься в таком месте? Я отвечаю перед этим домом. Отвечаю перед собой.

— И перед Джоном Ди?

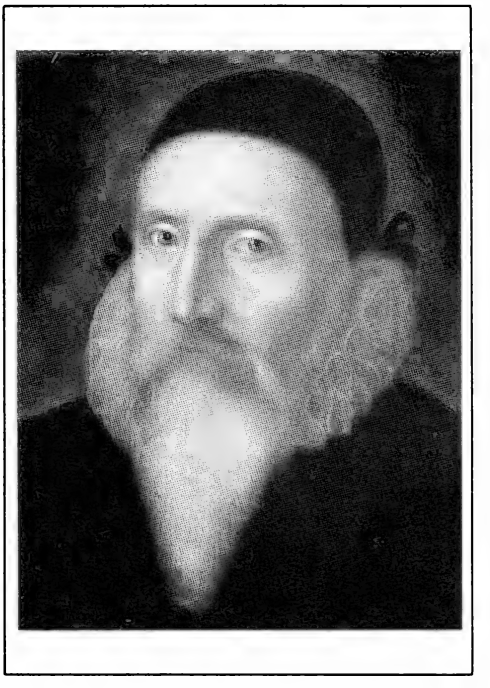
— Конечно. Он ведь теперь в некотором смысле мой предок.

Я смежил глаза; видимо, я устал больше, чем думал, потому что мне сразу пригрезилось кладбище, где я недавно побывал. Ко мне шел какой-то бродяга, рядом с ним трусил пес. Наверное, этот сон наяву продолжался всего мгновенье, поскольку, очнувшись, я услыхал слова Дэниэла, отвечающего мне так, точно никакого перерыва не было.

— Значит,— говорил он,— Джон Ди сейчас как будто бы ждет нас где-то. С чего начнем?

* * *

Было время, когда библиотеки меня отпугивали. Эти полки с книгами представляли собой мир, почти буквально обращенный ко мне спиной; запах пыли, дерева и полуистлевших страниц навевал меланхолическое чувство утраты. Но, став



исследователем, я начал менять свою жизнь: одна книга вела к другой, документ — к другому документу, тема — к другой теме, и я углублялся в сладостный лабиринт познания, где так легко было затеряться. Кое-кто верит, будто книги говорят друг с другом, когда их никто не слышит, но я-то знаю, что дело обстоит иначе: они вечно ведут между собой безмолвную беседу, которую мы можем подслушать, если нам повезет. Вскоре я научился распознавать людей, также понимающих это. Они отличались от прочих тем, что бродили меж полок непринужденно, словно чувствуя надежное и умиротворяющее присутствие тысячи незримых существ. Складывалось впечатление, что они говорят сами с собой, но нет — они говорили с книгами. И вот теперь я вхожу в число постоянных посетителей Английской исторической библиотеки на Карверс-сквер, самой ветхой и необычной из всех лондонских библиотек; коридоры здесь узкие, лестницы винтовые, и на всем лежит печать благостного увядания. Книги тут часто бывают навалены грудами прямо на пол, а шкафы ломятся под бременем томов, которые скапливались в них годами. И все же где-то среди этих руин я надеялся отыскать Джона Ди.

И действительно, к моему удивлению, я нашел целых две посвященных ему книги — они лежали в нише с табличкой, на которой старомодным готическим шрифтом было выведено: «История английской науки». Более поздняя из этих книг, написанная Николасом Клули, называлась «Естествознание Джона Ди: между наукой и религией»; сняв ее с полки, я обнаружил, что это не повесть о черном маге, а библиографический справочник в тридцать четыре страницы. Даже беглый просмотр глав дал мне понять, что этот перечень изобилует серьезными работами по математике, астрономии и философии. Рядом с этим томиком стоял другой, «Джон Ди: мир елизаветинского волшебника» Питера Френча; и когда я взял его, на меня глянул сам средневековый ученый. Он был изображен на обложке, и от внезапного испуга я чуть не уронил книгу. Я не ожидал увидеть его так скоро, и прошло некоторое время, прежде чем я смог вновь посмотреть на портрет. Глаза у него были немного больше, чем нужно, будто художник не знал, как еще передать ясность взора, и что-то в выражении его лица вселяло в мою душу тревогу. Его просторный лоб обрамляла черная ермолка; не слишком длинная седая борода ниспадала на белый кружевной воротник, а одет он был, похоже, в черную мантию. Но что же было не так в его чертах? В них сквозило что-то одновременно угрожающее и доверительное, словно он хранил какой-то секрет огромной важности и пока не решил, поделиться им со мной или нет. Однако его широко раскрытые глаза смотрели так прямо, что я не мог не встретить его взгляд.

Я забрал эти книги к себе на Клоук-лейн и положил их на стол под окном. Пожалуй, это было для меня невероятнее всего: принести книги о Джоне Ди в комнату, где некогда звучали его шаги. Я сам чувствовал себя кем-то вроде волшебника, пытающегося вызвать его из могилы. Потом мне вдруг пришло на ум, что он ведь и умереть мог в этом доме. Чтобы выяснить правду, достаточно было заглянуть в одну из книг, но вместо этого я повернулся к ним спиной и покинул комнату.

Я открыл парадную дверь и вышел в сад. Очередной влажный летний день сменился влажным теплым вечером, и меня одолевали необычное утомление и вялость. Даже если бы передо мной вырос призрак усопшего Джона Ди, я и то вряд ли заметил бы его; я сам ощущал себя почти что привидением. Скоро я добрел до конца сада, где было узкое, и сейчас еще заросшее сорняком пространство, отделяющее мой дом от высокой стены муниципального участка. До сих пор я ни разу не осматривал этот узкий проход как следует, главным образом потому, что заполонившая его беспризорная растительность могла дать приют каким-нибудь живым существам. Но теперь я пересек его и провел рукой по старой стене; она была холодной, и к

моим пальцам прилипло немного каменной крошки. Я лизнул ее — вкус был как у древней соли.

Именно тогда я заметил, что на этой стене, у самой земли, чернеют какие-то знаки; сначала мне показалось, что они нанесены краской, но, опустившись на колени, я понял, что эти пятна глубоко въелись в камень. Они походили на отметины, оставленные пожаром. Я повернулся к стене дома — на ней тоже были опаленные места. Что-то здесь горело. Может быть, пламя затронуло и самый дом. И если оно разрушило его верхние этажи, то понятно, откуда взялись надстройки восемнадцатого и девятнадцатого веков. Это не могло случиться во время Великого пожара, так как Кларкенуэлл не входил в число районов, погубленных огнем. Нет, это произошло раньше.

Я перевел глаза на небо, прикрывшись от чересчур яркого света, затем абсолютно бездумно задрал рубашку, спустил брюки, присел на корточки и опростался. Я был так поражен собственным поведением, что тут же вскочил на ноги и с минуту или больше не двигался с места, медленно покачиваясь взад и вперед. Значит, примерно в таком вот дерьме и рос гомункулус? Я мог бы стоять здесь вечно, упершись взглядом в землю, но меня спугнул шум за спиной; он был похож на смех, завершившийся вздохом. Неужели кто-то следил за мной и все видел? Я торопливо натянул брюки и побежал в дом.

* * *

Обри называл Джона Ди «гордостью своего века»; королева Елизавета упоминала о нем как о «наемном философе», а один из ее подданных утверждал, что он заслужил титул «короля математиков нашего времени». Питер Френч в своей биографии провозгласил его «величайшим кудесником елизаветинской Англии». Все это я выяснил сразу. Но открытия, сделанные в последующие несколько дней, заставили меня удивиться прежнему хозяину моего дома; он был знатоком математики и астрономии, географии и навигации, древних рукописей и естественных наук, астрологии и механики, магии и теологии. Я заглянул в другие сочинения, отражающие его деятельность,— это были «Джордано Бруно и герметическая традиция» Фрэнсис Йейтс, «Астрономическая мысль в Англии времен Ренессанса» Ф.Р.Джонсона и «Тюдоровская география, 1485 — 1583» Э.Дж.Р.Тейлора. Эти работы почти не касались его занятий колдовством, а единственным, что не менялось от описания к описанию доктора в прочих найденных мною трудах, было его лицо, теперь уже столь хорошо мне знакомое. Всякий раз, заходя в комнату первого этажа с ее толстыми каменными стенами и узкими окнами, я брал со стола книгу и пытался достойно ответить на его прямой взгляд.

В историческом обзоре Фрэнсис Йейтс доктор Ди фигурировал как «волшебник Ренессанса», продолжавший в Англии ту же герметическую традицию, в русле которой трудились Фичино, Пико делла Мирандола и Джордано Бруно. Однако Николас Клули не соглашался с этим, связывая основную часть наследия доктора Ди со средневековыми источниками, и в первую очередь с теориями и экспериментами Роджера Бэкона. В то время как Йейтс склонна была считать доктора Ди ортодоксальным представителем европейской философии, Клули изображал его бо́льшим эмпириком и эклектиком. Однако все авторы сходились в одном — что он занимался самыми злободневными проблемами в той сфере, где их нелегко было разграничить. Имелось и другое, столь же важное обстоятельство. Сам Джон Ди так или иначе принадлежал всем эпохам. Он был отчасти медиевистом, комментировавшим древние рецепты, но вместе с тем активно развивал современное ему естествознание; он обращался к прошлому, размышляя о происхождении Британии и погребенных под землей городах, но его же труды в области механики предваряли будущую научную революцию; он был алхимиком и астрологом, пристально изучавшим мир духов, но и географом, который составлял для елизаветинских мореходов навигационные карты. Он был вездесущ, и, бродя по его старому дому, я чувствовал, что ему в известном смысле удалось победить время.

Благодаря тем же книгам я начал понимать, в какого рода волшебство верил Джон Ди. Он считал, что мир наделен духовными качествами — полон «знаков» и «соответствий», вскрывающих его истинную природу. Семя аконита лечит расстройства зрения, так как имеет форму глазного века; псы из породы бедлингтонских терьеров похожи на ягнят и оттого являются наиболее робкими представителями собачьего племени. Каждый материальный предмет есть обиталище универсальной силы, или комплекса сил, и в задачу просвещенного философа и алхимика входит опреде-

ление этих подлинных компонентов. Например, весьма результативные методы Парацельса научили его исцелять больных путем поиска плодотворного союза звезд, земных растений и человеческого тела. Но была и еще одна истина: согласно Джону Ди, Бог живет внутри человека, и тот, кто познает себя, познáет и вселенную. Алхимик находит во всех вещах совершенство, или чистую волю; ему ведомо, что соль — это желание, ртуть — беспокойство, а сера — страдание. Отыскав эту волю или идею, скрытую под материальной оболочкой, алхимик получает возможность подчинить ее своей собственной воле. Через всю жизнь пронес Джон Ди веру в то, что ни на земле, ни на небе не существует ничего такого, чего не было бы в человеке; в подтверждение этого он цитировал слова Парацельса: «Человеческое тело есть пар, материализованный солнечным светом, проникнутый дыханием звезд». Когда астролог видит восход солнца, говорит Ди, солнце радости восходит и в его душе. Вот она, самая драгоценная мудрость.

Такова, по меньшей мере, была теория. Но, читая о его жизни (Марджори Боуэн посвятила ему целую книгу под названием «Я обитал в высших сферах»), я выяснил, что он чересчур увлекался секретами и тайнами — нумерологией, каббалистическими таблицами и магической техникой. Его покорила поэзия власти и тьмы, а это, в свою очередь, создало почву для корыстных и честолюбивых побуждений. Так что бывали случаи, когда он терял из виду ту священную истину, которой вдохновлялся в своих исследованиях.

Теперь я знал весь его жизненный путь: интенсивная учеба в юности, путешествия в Европу, где он приобрел репутацию выдающегося мыслителя, услуги, оказанные королеве Елизавете, научная и математическая деятельность, создание самой большой библиотеки в Англии, занятия алхимией и оккультными дисциплинами. Он утверждал, что разговаривал с ангелами, и пока что у меня не было причин ему не верить. Это был человек, одержимый тягой к знаниям, всю жизнь пытавшийся разрешить загадки природы и благодаря упорной работе достичь своего рода божественного просветления. Он был слишком учен для того, чтобы впечатляться трудами своих современников, и слишком мудр для того, чтобы обращать внимание на злые выпады, которыми они сопровождали его прорывы за рамки общепринятых теорий. Он был тверд, энергичен, целеустремлен; и все же, как я упоминал, его любовь к мудрости имела и негативную сторону. Похоже, что он хотел добиться знаний и власти любой ценой и не важно, за чей счет — свой или окружающих. Что-то гнало его вперед, манило в ту тьму, где он беседовал с ангелами и строил планы духовного обновления мира с помощью алхимии. Многие его современники считали, будто на плече у него примостился Дьявол, но разве мог я поверить в это, сидя в комнате, где он когда-то работал?

А какие книги он здесь написал? Может быть, он сочинял свое математическое предисловие к «Элементам геометрии наидревнейшего философа Евклида Мегарского», поглядывая в окно на спокойное течение Флита? Или шагал по комнате, как я сейчас, обдумывая свои «Общие и частные рассуждения о благородном искусстве навигации»? Не в этом ли доме трудился он над «Monas Hieroglyphica» [1] и «Propaedeumata Aphoristica»? Сначала я произносил названия работ вслух, но умолк, когда это стало звучать наподобие молитвы в церковных стенах. Несколько мгновений спустя я взял в руки другую книгу, современный перевод трактата доктора Ди «Liber Mysteriorum Sextus et Sanctus»[2]; среди иллюстраций мне попалась фотография титульного листа оригинала. На древнем титуле были начертаны четыре знака, которые заставили меня бегом кинуться к лестнице, ведущей в полуподвальный этаж. Внизу я зажег свет и осторожно приблизился к символам над замурованной дверью; они были теми же, что и в книге, но с одним отличием. Под знаками на титульном листе стояли слова «Сунсфор», «Зосимос», «Гохулим» и «Од» соответственно, но над дверью этих имен не было. Еще на иллюстрации был изображен стеклянный сосуд, прикрытый соломой, или грязью, или еще чем-то; под ним я прочел фразу «Ты будешь жить вечно». Не знаю, что тут со мной приключилось; я вертелся и вертелся на электрическом свету, покуда голова у меня не пошла кругом. Тогда я лег на каменный пол.

Вдруг на одном из верхних этажей послышался шум; там что-то упало и разбилось. Я перекатился по холодному камню, пока не желая оставлять его. Но наверху снова что-то грохнуло, и мне пришлось-таки встать на ноги: если бы я промедлил еще, я больше не смог бы жить в этом доме. Взойдя по лестнице, я услыхал за открытой дверью какой-то шорох, но, подняв глаза к потолку — мне показалось, что

[1] «Иероглифическая монада» (*лат.*).
[2] «Шестая священная книга мистерий» (*лат.*).

звук доносится оттуда,— ничего там не увидел. Тогда я пересек холл и миновал первый пролет лестницы, идущей наверх; дверь в мою комнату была отворена, и, глянув на свою кровать, я заметил на ней что-то белое, похожее на маленький клуб дыма.

Затем это нечто двинулось по кровати. Я вскрикнул, и оно порхнуло мне навстречу; я отшатнулся назад и полетел бы вниз, если б не схватился за перила. Я вытянул руки, и по ним скользнуло что-то очень теплое. А потом раздался шелест крыльев. Это был голубь. Наверное, он угодил сюда, оторвавшись от одной из тех стай, которые я видел на кладбище у церкви Св.Иакова. Я не хотел трогать его: я боялся ощутить биение его сердечка, почувствовать, как он трепыхается у меня в руках. Птица опять шарахнулась в комнату, я спокойно зашел туда вслед за ней, распахнул окно настежь и оставил ее там — шуршащую крыльями о стены,— притворив за собой дверь.

В этом было что-то забавное. Я снова шагнул в комнату; птица все еще бестолково металась по ней, натыкаясь на стены и потолок. Рядом с моей кроватью лежала книга — исследование алхимических диаграмм Джона Ди,— и, истово взмолясь об удаче, я изо всех сил швырнул ею в голубя. Видимо, я повредил ему крыло, потому что он шлепнулся на пол, и тогда я с победным кличем опустил свой каблук ему на голову. Не знаю, как долго я топтал его, но остановил меня лишь вид заляпанной кровью книги, которая валялась около мертвой птицы.

И тогда я набрал номер Дэниэла Мура и попросил его зайти ко мне сегодня вечером: он явно утаивал что-то, относящееся к моему дому, и в этот миг могущества и жестокости я хотел выяснить все. Когда он пришел, я вытирал с обложки трактата о докторе Ди кровь мертвого голубя.

— Иногда,— сказал я,— у меня бывает впечатление, что где-то в этом доме прячется сумасшедший.

— Почему ты так говоришь?

— Да сам не знаю. Повсюду какая-то дохлятина. Кучи дерьма. — Он изумленно посмотрел на меня, и я рассмеялся. — Не волнуйся. Я просто шучу.

Я отправился на кухню, якобы с целью налить ему виски, но на самом деле для того, чтобы очистить тарелку с печеньем, ожидавшую меня на полке; рядом с ней лежали два пакетика орешков ассорти, и я умудрился прикончить их до возвращения в комнату.

— Если бы в доме кто-нибудь был, Мэтью...

— Знаю. То я уже отыскал бы его. — Я рассмеялся опять. — Хочешь, скажу, почему у меня такие грязные руки?

— Разве они грязные?

— Я тут решил заняться раскопками. Гляди. — Я кивнул на разбросанные по комнате книги и начал подробно рассказывать, что мне теперь известно о Джоне Ди. — Знаешь, почему меня так озадачивает то, что каждая книга говорит о нем по-своему? — спросил я после долгих объяснений. — Ведь все эти Джоны Ди разные. Понимаешь ли, прошлое — сложная штука. Тебе кажется, будто ты разобрался в человеке или событии, но стоит завернуть за угол, и все снова меняется. Это как с тобой. Я завернул за угол на Шарлот-стрит и увидел тебя другим.

— Может, не надо опять возвращаться к этой теме?

Но я отмел его слова прочь взмахом руки.

— Или как с этим домом. Тут ни одна вещь не остается на месте. И знаешь что? Возможно, именно в этой комнате доктора Ди посещали видения. Как я ее сейчас назвал?

— Гадальней. Или кельей для заклинания духов. Что все-таки стряслось, Мэтью?

— Скажи, ты ничего не слышал?

— Нет.

— А мне почудился голос.

— Скоро ты увидишь в углу самого этого доктора.

— Что ж, я и впрямь вижу его. Смотри. — Я поднял книгу с портретом Джона Ди на обложке. — Читатель,— сказал я,— се есть начало и конец.

Мы довольно быстро разделались с виски и неторопливо пошли в ресторан на Кларкенуэлл-грин, где обедали неделю тому назад. Тогда я еще ничего не знал о докторе Ди, но теперь моя жизнь изменилась. Вечер был теплый, и через открытое окно я видел, что творится в маленькой типографии на другой стороне площади. Там горел свет, и кто-то, жестикулируя, ходил туда-сюда; движения его силуэта на ярком фоне навели меня на мысль о хрупкости всех живых существ. Снаружи, у двери ресторана, повис рой мелких мошек; они кружились в вечернем воздухе, а закат-

ные лучи просвечивали сквозь их крылышки. Если бы они перелетели за порог и очутились в этом небольшом зальце, он, наверное, показался бы им сказочным чертогом. Но куда лететь мне, чтобы узреть сияние неземной славы?

Когда мы уселись за столик, меня охватило возбуждение какого-то необычного, едва ли не болезненного свойства. Один или два раза подобное со мной уже бывало, и потому я знал: что-то должно случиться. Что-то изменится. Я взял поданную официантом бутылку «Фраскати», налил себе огромный бокал и лишь затем передал вино Дэниэлу. У меня отчего-то сжималось горло, в груди пылал огонь, который надо было погасить; верь я в такие вещи, я счел бы себя живой иллюстрацией к алхимической теории сухого мира, призывающего влагу. Когда я налил себе второй бокал, Дэниэл попытался принять шутливый вид.

— Нас мучает жажда?

— Да. Мучает. Нечасто приходится мне сидеть напротив прекрасной женщины.

Он посмотрел на меня долгим укоризненным взглядом.

— Тебе непременно нужно снова говорить об этом?

— Но ты меня очень интересуешь, Дэниэл. И чем дальше, тем больше. Откуда ты узнал, что одно из окон наверху заложено кирпичом?

Он поднес к носу указательный палец и понюхал его.

— В старых домах это не редкость. Ты что, не слыхал об оконном налоге Питта?

— А каким чудом тебе стало известно о шкафчике под лестницей?

— Догадался. — Он все еще нюхал свой палец. — Или ты думаешь, что я волшебник?

— Волшебство тут ни при чем. Ты просто вспомнил. — Я снова налил себе вина. — Ты ведь отлично знаешь этот дом, правда? — Он чересчур энергично помотал головой. — Не надо мне лгать, Дэниэл. По-моему, мать тоже тебя узнала.

— Мы с ней вовсе не знакомы. Могу в этом поклясться.

— А еще в чем ты можешь поклясться?

— Ни в чем. — Он опустил глаза и, когда официант подошел к нам принимать заказ, воспользовался паузой, чтобы прочистить горло. Затем отчаянным рывком подтянул узел галстука. — Странная вещь,— сказал он,— но стоит мне приехать в эти места, как меня начинает тянуть обратно в Излингтон. Это и называется «тоской по родному очагу»? Чье это выражение, как ты думаешь?

Я устал от его попыток сменить тему.

— Говори, Дэниэл. Пора.

Теперь он посмотрел прямо мне в лицо.

— Все это очень тяжело. — Я заметил, что его левая рука дрожит, и стал с любопытством наблюдать за ней, слушая его тихий голос. — Ты совершенно прав. Я действительно бывал в твоем доме прежде. Я знал твоего отца. Иногда мы приходили туда вдвоем.

Я замер.

— И что вы там делали?

— Я должен кое-что тебе сказать. Я имел в виду... — Официант принес нам первое блюдо, пармскую ветчину, и Дэниэл принялся нарезать ее на крошечные кусочки.

— Дальше.

— Мы с твоим отцом очень хорошо знали друг друга. — Он опять замолчал, продолжая крошить мясо, но и не думая отправлять его в рот. — Мы встретились в том клубе. Где ты меня нашел.

— Я что-то не пойму.

— Нет. Ты отлично все понимаешь. Мы с твоим отцом были любовниками. — Кажется, я встал на ноги, но под его встревоженным взором снова опустился на место. Он заговорил очень быстро, почти бессвязно. — Это случилось лет десять назад. Дело в том, что мне больше нравятся люди в возрасте. А он был так обаятелен. Так мягок.

То возбуждение или недомогание, которое я испытывал, теперь заполнило все вокруг меня. Я точно купался в каком-то белом сиянии, делавшем отчетливым каждый жест и каждое слово. Я снова встал и направился в маленький туалет в конце зала. Сев на унитаз, уперся взглядом в рисунок на желтой двери перед собой — что-то насчет члена и туннеля. В голове у меня мелькали картины: Дэниэл с отцом в подвале моего дома, обнаженные. Вот они целуются. Вот отец стоит на коленях рядом с замурованной дверью, а Дэниэл с раскрытым ртом опускается на колени перед ним. Вот платье и парик Дэниэла летят в стену, а отец улыбается своей особенной, так хорошо знакомой мне улыбкой. Вот они в «Мире вверх тормашками», тан-

цуют в красноватой полутьме. Потом я подумал, каково это — ощутить прикосновенье отцовского языка к своей шее. Я вскочил, и меня вырвало в унитаз.

Странно, но, возвращаясь обратно к столику, я улыбался.

— Скажи мне, Дэниэл. Он что, тоже переодевался женщиной?

— Господь с тобой. — Его чуть ли не оскорбило мое предположение. — Но ему нравилось, когда это делал я. И ходил в таком виде по дому.

Я услышал вполне достаточно. Теперь я понимал, зачем он купил себе жилье на Клоук-лейн: оно служило отличным прикрытием для его интимной жизни. У него не было ни малейших причин разводиться с матерью, потому что она тоже являлась своего рода камуфляжем. Но она-то, наверное, знала об этом с самого начала; вот почему она так злилась на него даже после того, как он умер. Возможно, у нее было подозрение, что я тоже имел ко всему этому какое-то касательство, почему и стал богатым наследником, — мысль почти невыносимая. За эти несколько минут вся моя прошлая жизнь деформировалась и обрела новые контуры. Теперь я должен был осмыслить свою собственную историю, так же как осмысливал историю минувших веков.

— Он когда-нибудь говорил о докторе Ди? — вот все, что мне удалось спросить.

— Я такого не помню. — Мы оба уже вернулись к привычной для нас манере общения, словно пытались уверить друг друга в том, что ничего существенного не произошло. Он ел очень быстро, жадно глотая пищу и вновь набивая рот. — Но он говорил, что этот дом особенный. Считал, что однажды там случилось некое событие, и хотел вернуть его. Или повторить. Я не совсем понимал, что у него на уме. Но именно поэтому... — он снова запнулся.

— Теперь уже поздновато что-либо утаивать.

— Он верил в то, что называется сексуальной магией. Верил, что можно вызывать духов с помощью, ну... известной практики.

— И как?

— Что?

— Приходили к нему духи?

— Нет, конечно.

Это было еще одной правдой, с которой мне предстояло смириться. В тщетной надежде оживить тени прошлого отец занимался на Клоук-лейн колдовством; по крайней мере, такова была суть сделанного мне Дэниэлом признания. С единственной целью — найти нечто, якобы до сих пор обитающее в его доме,— он создал своего рода сексуальный ритуал. Связано ли это с его размышлениями о гомункулусе? Здесь были темные коридоры и уголки, куда я не отваживался заглядывать. Во всяком случае, он наверняка понимал то, что забрезжило передо мной благодаря знакомству с Джоном Ди: жизнь может быть порождена только любовью. Все прочее — мираж, фокусничество, чепуха.

— Я никогда не верил ни во что подобное,— продолжал Дэниэл, когда нам принесли спагетти. Я уставился на эти белые волокна с чувством, близким к ужасу. — Некоторые историки утверждают, что радикализм и оккультизм были связаны друг с другом, но я считаю, что это был просто акт отчаяния. Способ убедить себя, будто ты повелеваешь какими-то таинственными силами, или вообразить, что твоя мощь способна ниспровергнуть признанных кумиров. Но на самом деле оккультизм — всего лишь убежище для слабых и отчаявшихся. Эдакий прокисший радикализм.

— Но мой отец не был слабым.

— Да. Слабым он не был. Большинство оккультистов действуют группами — им нужна дополнительная поддержка. Но твой отец отличался от прочих. Он был абсолютно одинок. И он искренне верил, что нашел некую скрытую истину. Словно бы унаследовал ее от кого-то.

Я уловил в этом определенный тревожный намек.

— А обо мне он часто говорил?

— Постоянно.

— Но не когда...

— Нет. Перестав быть любовниками, мы остались друзьями. Понимаешь, он питал настоящую страсть к прошлому. Как и ты. Всегда интересовался моей работой. Ты удивишься, однако именно он навел меня на «моравских братьев». Разыскал места их собраний, куда мы с тобой ездили. Помнишь?

— Да. Помню. — Фигура отца обретала все больше зримых черт, и это начинало меня пугать. Я заказал очередную бутылку вина, а Дэниэл тем временем снова подтянул галстук.

— Я должен открыть тебе еще кое-что, Мэтью.

— О Господи.

— Мы познакомились не случайно. — Подали вино, и я вновь принялся пить его бокалами. — Около двух лет назад твой отец узнал, что у него рак. Тогда он и попросил меня приглядывать за тобою. Сказал, что ты необыкновенный человек.

— Необыкновенный?

— Он сказал, что таких, как ты, больше нет. И конечно, был прав. Он очень хотел уберечь тебя от всяких неприятностей. Сообщил мне, какими библиотеками ты пользуешься, а уж встречу организовать было несложно. В конце концов, у нас с тобой общие интересы, а Лондон иногда бывает совсем маленьким городом. — Он вдруг смолк, пытаясь угадать мою реакцию; но я по-прежнему хранил невозмутимость. — Надеюсь, ты не считаешь меня последним негодяем. Ведь мы все-таки подружились.

Наш обед подошел к завершению — по крайней мере, я уже все доел,— но час был еще относительно ранний, и ресторан до сих пор пустовал. Только в углу зала, совсем рядом друг с другом, сидели молодые мужчина и женщина — я давно успел заметить, что они напряженно перешептываются. Я пытался разобрать, о чем они говорят, но уловил лишь отдельные злобные слова: «слизняк», «сука», «овца».

— Извини,— сказал я Дэниэлу. — Не могу больше терпеть. — Я встал из-за столика и направился к ним. Они с опаской посмотрели на меня. — Ну-ка, заткнитесь, сволочи,— прошептал я так же тихо, как шептали они. — Понятно? Заткните свои поганые пасти. — Затем я вернулся к Дэниэлу. — Я кое-что вспомнил, дорогуша. Мне пора домой.

Я покинул его сразу же и, заглянув в окно, порадовался его растерянному и несчастному виду. Не помню, чтобы по дороге на Клоук-лейн я испытывал какие-нибудь особенные ощущения; вместо этого я начал повторять слова песенки, которую слышал, сидя сегодня утром в старом доме. По-моему, она называется «Судьбинушка-судьба», но твердой уверенности у меня нет. Я дошел до кладбища и тут, желая справить нужду после обильного возлияния, перепрыгнул через каменную стену и помочился на одну из могильных плит. Что-то шевельнулось рядом, и, застегнув брюки, я наступил на это ногой. У меня возникло такое чувство, будто я стучусь в открытую дверь.

## *Монастырь*

«Кто-то стучится к нам в дверь,— сказал я своему слуге, Филипу Фоксу. — Погляди, кто это».

Он живо спустился по лестнице, и я услыхал, как он разговаривает внизу со служанкой моей жены.

«Одри, где ключи?»

«Висят на гвоздике у двери, на своем обычном месте».

«Нет! На месте их нет!» Все это время раздавался стук, достаточно громкий, чтобы поднять мертвого; я задумался о старой собаке моего отца, и из забытья меня вывел голос Филипа. «Кто там?»

«Друг, надеюсь. Отворите же мне, здесь очень сильный ливень. Я пришел к доктору Ди». На миг эти слова ужаснули меня, и я поднялся со стула.

«Что вам угодно? Как мне о вас доложить?»

«Скажите ему, что я недавно был в обучении у его доброго товарища».

«Входите, сэр». Я услышал, как отпирают дверь и отодвигают засов; потом внизу обменялись еще несколькими словами. «Сэр,— окликнул меня Филип,— тут джентльмен, он желает побеседовать с вами».

«Пригласи его наверх. Нет, постой. Я спущусь сам». Я не хотел, чтобы чужой человек видел меня за работой, и, кроме того, меня снедали сомнения относительно его персоны. Я надел мантию и, слегка встревоженный, спустился приветствовать его. Однако это был всего лишь какой-то нарядный молодец, и, идя ему навстречу, я проглотил свои страхи. «Пожалуйте к нашему очагу,— сказал я. — Здоровы ли вы?»

«Да, сэр, благодарение Богу».

«Как прикажете величать вас?»

«Келли, сэр. Эдуард Келли. Я семь лет состоял в обучении у Фердинанда Гриффена, а он частенько поминал вас».

«Я хорошо его знал. Хотя мы не виделись уже лет двадцать, ко мне не

раз заглядывали его близкие друзья. Как он поживает?»

«Он скончался, сэр, от грудного рака».

«Печально слышать. Однако же он, верно, был в весьма преклонных летах».

«Правда, сэр, истинная правда. Но перед самой кончиной он молил меня свести с вами знакомство».

На нежданном госте была пухлая кожаная куртка и довольно короткий плащ в испанском стиле; покуда он расточал мне любезности, я смотрел, как его одеяние впитывает в себя дождевую влагу. «Прошу вас, обсушитесь в моей комнате,— сказал я. — Вы промокли насквозь. Филип, принеси-ка еще дровишек да разожги добрый огонь. И захвати ведерко угля, дабы мистер Келли мог согреться как следует». Я пригласил его наверх и, ступая за ним, учуял в его дыхании сильный запах вина; он был молод, лет двадцати двух либо двадцати трех, невысокого роста и с рыжей бородою, укороченной, под стать плащу, на испанский манер. Его густая рыжая грива, сколько я мог заметить, поднимаясь за ним по пятам, была смазана маслом и сбрызнута духами. В общем, он глядел изрядным щеголем, однако в память о Фердинанде Гриффене я решил проявить радушие. «Садитесь у огня,— сказал я, перешагнув порог своей комнаты,— и поведайте мне что-нибудь о моем старом наставнике».

«Он почитал вас, сэр, называя рыцарем ордена Посвященных».

«Пустое, пустое. Полно вам». Я не хотел подпускать этого странника чересчур близко к теме своих занятий. «Кабы не его повседневная и неусыпная забота, я никогда не достиг бы начального уровня овладения мастерством. Он всегда шел дорогой праведника, и его деяния были безупречны даже в мелочах».

«Да, сэр. Воистину он был великим чародеем».

«Я этого не говорил,— поспешно добавил я. — Когда я делил с ним кров и труды, мистер Гриффен был философом».

«Но ведь многие философы, несомненно, суть и великие чародеи. Разве это не так, доктор Ди?»

Теперь я увидел в нем не только бойкого юношу и стал подозревать, что его подослали ко мне, дабы он изыскал пищу для навета. «Полагаю, что может существовать некая тайная философия,— произнес я,— однако для меня это предмет весьма туманный».

«А как же тайное знание природы?»

«Что ж, такое вполне возможно, вполне возможно». Теперь я задумал испытать его; тут Филип принес уголь. «Но скажите, чем были заняты его последние дни?»

Он странно поглядел на меня. «С месяц тому назад, сэр, мы вместе побывали в Гластонбери».

«Ах, вот как? Для чего же?»

«О...» Он словно боролся с неохотой. «Иногда о подобных вещах дозволяется молвить вслух, однако...»

Здесь я навострил уши (как говорят в народе), но решил покуда попридержать язык и не торопить своего собеседника; я прекрасно знал, что в Гластонбери издавна процветают науки — такого места не найти более во всем королевстве и, если верить молве, именно там схоронили свои секреты исполины, населявшие наш остров в древние времена. «Вы нагрянули ко мне внезапно,— сказал я с улыбкой,— но, быть может, задержитесь ради легкой закуски? Пища у нас проста, как и полагается в доме ученого, но недостатка в ней, надеюсь, не будет».

«Премного вам благодарен, доктор Ди. Как это говорят — на сытый желудок и дело спорится?»

«Да. Именно так».

Засим мы спустились вниз, где Филип уже собирал на стол. Моя жена возилась с ушатами и полотенцами, однако ответила на поклон Келли и с готовностью вступила с ним в беседу. Впрочем, это была обыкновенная пустая болтовня, и я вскоре наскучил ею. «Ополосни-ка стакан, сударыня,— сказал я,— дабы я мог испробовать вино». Напиток был фламандского урожая, несколько терпкий на вкус; но я люблю горьковатые вина и потому опорожнил свой кубок с охотою. «Нравится вам такое?»— спросил я у нашего гостя.

«До чрезвычайности».

Тут моя жена рассмеялась, и я прикрикнул на нее. «Что в этом смешного, сударыня?»

«Что? Да я прекрасно видела лицо нашего гостя, когда он пригубил его. Хитрец из вас никакой, мистер Келли. Вы не убедите нас, будто вам нравится наше вино».

«О нет, мадам. Вы ищете зло там, где есть лишь благо». Он говорил в шутливой манере, и это, похоже, нравилось ей. «Винцо преотличное. У него северный аромат». Филип и Одри уже накрыли на стол, и Келли воскликнул: «Что вы, сэр, это уж слишком. Такое изобилие, ровно как на свадьбе». Тогда я почти уверился, что он не лазутчик и не соглядатай, а тот, за кого себя выдает.

Мы уселись и, после вознесения мною молитвы, приступили к трапезе.

«Прошу вас,— сказала мистрис Ди,— прошу вас, муженек, отрежьте себе ломтик вон того мяса с приправами, на которое мистер Келли взирает с таким аппетитом. Или я ошибаюсь, сэр?»

«Отнюдь нет, мадам».

«А не угодно ли телятины, сэр? Или вот эту баранью ножку?» Затем она снова перешла на шутливый тон, заданный Келли с самого начала. «Однако же вы, верно, чересчур изысканны для того, чтобы вкушать столь грубую пищу. Разве не так?»

«Я съем все, лишь бы оно было с вашего стола».

«Филип,— сказал я,— подай мне твой нож. Этот туп, он ничего не режет». Я был в дурном расположении духа, ибо меня всегда удручает многословие за обедом. «А у пирога подгорела корка»,— продолжал я, глядя на сидящую против меня жену.

«Нет, нет, он весьма неплох,— отозвалась она. — Жаль только, что сок из него вытек. Это вина пекаря; заставить бы его набить им собственную утробу».

«Жена, это все, что у нас есть?»

«Нет, муженек. Быть может, пока режут мясо, мистер Келли отведает наших ракушек? Или вы предпочитаете угрей с корюшками? А рядом с ними славный пармезанский сыр, протертый с шалфеем и сахаром — по лондонскому рецепту, мистер Келли».

«Нынче, в холодную пору,— отвечал тот,— пища не может быть излишне пряной, а прянее ракушек, как утверждают лекари, ничего нет. Сделайте милость, положите их мне на блюдо, и я займусь ими с превеликим удовольствием».

Я люблю радовать странников обилием яств, хотя сам ем быстро и без всякого наслаждения. Ибо разве не предписано человеку алкать того, чего у него нет, и отвращаться от данного ему? Аппетиты велики, их утоленье бедно. «Не говорите мне о лекарях,— молвил я. — Это невежды. Полные невежды. Есть глупцы, которые, едва пустив ветры, бросаются глотать слабительные пилюли, а увидав на своем лице крохотное пятнышко, сразу принимают средства для обуздания пылкой крови. Я не из таких. Я не стану зазывать к себе в дом аптекаря с его порошками да мазями».

«Истинно, доктор Ди, вы проявляете большую мудрость».

«А чему аптекарь способен меня научить? Тому, что меланхолия излечивается чудодейственным морозником, а желчность ревенем? Пускай — я в свою очередь скажу ему, что камень инкурий прогоняет обманы зрения. Сии людишки торгуют лишь плотью да кровью да иным мерзким товаром».

«Отщипните белого мясца от этого вареного каплуна, мистер Келли,— вмешалась моя жена. — Кое-кто за морем удивляется, что англичане едят каплунов без апельсинов, хотя это нам следовало бы дивиться тому, что они едят апельсины без каплунов. Разве я не права, муженек?»

Но я не обратил на нее внимания, поглощенный собственными речами. «И вы должны знать, мистер Келли, что я научился изгонять из своего тела всяческие хвори. Помнишь, жена, как я страдал почечным недугом?» Она промолчала с удрученным лицом. «В почке у меня застрял огромный камень, и за весь день, мистер Келли, мне удалось выдавить из себя лишь три-четыре капли влаги. Но я выпил белого вина и растительного масла, а затем съел крабьи глаза, растолченные в порошок вместе с косточкой из головы карпа. Потом, часа в четыре пополудни, я съел поджаренный пирог с маслом, сдобренный сахаром и мускатным орехом, и запил его двумя большими глотками эля. И знаете, что за этим последовало? Не прошло и часа, как я выпустил всю свою воду, а с нею вышел и камень размером с зерно смирнии. Так чему же могут научить меня эти лекари, если я и так все знаю?»

Жена посмотрела на меня, как мне почудилось, с состраданием. «Ох,

муженек, ты, верно, объелся баранины — уж больно грубы твои речи».

«Нет, нет,— произнес Келли,— это отличный урок для тех из нас, кто все еще льнет душой к аптекарям да костоправам».

Затем они вдвоем принялись болтать на иные темы, а я сидел молча и сожалел о сказанном. Я предпочел бы есть в одиночестве, глотая пищу как пес: смотреть, как едят другие, как они смеются и разговаривают, значит видеть, как далеки мы от сфер и звезд. Подобные напоминанья о нашей бренной плоти ужасны. «Прошу тебя, сударыня,— вымолвил я, когда мое терпение исчерпалось,— подай нашему гостю полотенце. Здесь их не хватит, чтобы всем нам как следует утереться».

Услыша это, Келли хотел было встать, но жена поглядела на меня умоляюще. «Не надо спешить,— сказала она. — Разве плохо немножко посидеть после обеда? Как вы считаете, доктор Ди, знакома ли нашему гостю пословица:

Отобедав, отдыхай,
А отужинав — гуляй?»

«Что ж,— произнес я,— в твоих словах есть резон».

«Истинно,— сказал Эдуард Келли,— я готов на все, лишь бы угодить вам».

Тут она захлопала в ладоши. «Джон, а не спеть ли нам что-нибудь?»

Он поддержал ее. «Да, сэр, славная песня всегда во благо. Долог день без веселой трели».

Куда мне было деваться? «Ноты лежат у меня наверху,— сказал я. — Филип, возьми ключи от моей комнаты. Ты найдешь то, что нужно, в ящичке по левую руку».

Вскоре на столе появились различные нотные партии, а спустя несколько минут они остановили свой выбор на старой песенке «Пока Дышу, Меня Не Забывай». Я слушал их молча и вступал только с началом припева:

Избавь меня и сохрани
От мировых коловращений,
Пусть сей напев звучит в ладу
С тем, что не знает изменений.

Когда мы закончили, я пригласил Эдуарда Келли к себе для продолженья беседы. Сначала я спросил его, зачем он ко мне пожаловал. «Но вы живете не затворником, сэр,— ответствовал он,— и за много лет заслужили доброе имя и славу».

«Рад слышать это. Но я ведь обыкновенный скромный астролог...»

«О нет, сэр, воистину вы более простого астролога».

«Что ж, конечно, мне следует разбираться не только в правилах астрологии, но и в законах астрономии...»

«И вы написали о сих предметах книги, которые будут жить, покуда жив наш язык. Однако же есть, безусловно, и нечто высшее?»

«Здесь уста мои немы».

«Мой усопший наставник...»

«Если вы ведете речь о Фердинанде Гриффене, то он *наш* усопший наставник».

«Он часто поминал о триединстве».

«И чем же образуется сие триединство?»

«Книгою, свитком и порошком. А еще как-то раз он упомянул о заклятиях, или о начале проникновения в секреты мистических таблиц». Я молчал. «И еще он обучил меня принципам разложения, растворения и возгонки». Келли поднялся со стула и, выглянув в окно, за которым не на шутку разыгралась буря, повторил на память следующие слова: «Мастерство скрыто внутри тебя, ибо ты сам и есть мастерство. Ты — частица искомого тобою, ибо то, что вовне, находится также и внутри».

«Продолжайте, если можете».

«Приготовь воду, каковою ничто нельзя увлажнить, затем омой в ней солнце и луну. По завершении сего дохни на них и увидишь, как возрастут два цветка, а из них — одно древо».

«И как же вы истолкуете это, Эдуард Келли?»

«Природа ублаготворяет природу. Природа овладевает природой. Природа порождает природу. Се есть образ воскрешения».

Я был весьма поражен, ибо он произнес известные мне тайные слова. «Вы запомнили это случайно?»— спросил я его.

«Нет, сэр».

«Стало быть, вашими устами глаголет само мастерство?»

«И разум, на коем, как не раз повторял мистер Гриффен, всякое мастерство зиждется». Он отвернулся от окна и взглянул мне в лицо. «Но что о сем образе воскрешения знаете вы?»

Тайну гомункулуса не следовало поверять ни ему, ни кому бы то ни было другому. «Это побег природной жизни. У него есть должное время и цель, но большего я сказать не могу».

«Совсем ничего не скажете?»

«В иных вещах следует рассчитывать лишь на собственные глаза и уши. Выбалтывать свои секреты без нужды или благорасположения — дурное дело, сэр. Весьма дурное».

Тут он разразился смехом. «Я просто учинил вам проверку, сэр,— хотел узнать, можете ли вы держать язык за зубами». Это была откровенная дерзость, и я уже хотел было обрушить на него свой гнев, но он снова сел на табурет рядом со мною и весьма серьезно промолвил: «Ибо я хочу поделиться с вами секретом чрезвычайной важности». Затем провел по лицу рукой, и я увидел, как на его пальцах, точно роса, заблестела влага.

«Вы больны?» — спросил я.

«Да, и тяжкой болезнью».

Я отшатнулся от него, опасаясь заразы. «Что же вас так терзает?»

«Безденежье».

Он снова рассмеялся, но на сей раз не громче меня самого. «О, поправляйтесь скорее, мистер Келли. Безденежье — всем хворям хворь. Уж я-то знаю».

«Поэтому я и пришел потолковать с вами, доктор Ди». Меня снедало любопытство, но я старался не подавать виду. «Была пора,— произнес он, глядя в огонь,— и эту пору отделяет от нас не столь уж много веков, когда чудеса служили людям единственной усладой и единственной темой для бесед. Вот что привело меня сюда, сэр. Я хочу рассказать вам о чуде».

«И что это за чудо?»

«Был некий джентльмен, умерший не более двух месяцев назад, чье имя и место обитания я мог бы открыть...»

«Говорите же. Не таитесь».

«Знали ли вы Бернарда Рипли?»

«Его имя и репутация мне известны. Он был весьма почитаемым и образованным антикварием». Я завернулся в мантию, дабы уберечь себя от сырости. «Здесь, в моем кабинете, имеются его хроники, где он утверждает, что острова Альбион и Ирландия следует называть Брутаникой, а не Британикой, в честь их благородного открывателя и покорителя Брута. Кроме того, именно Рипли в своих летописях, посвященных нашему острову, доказал, что первым истинным королем Британии был потомок Брута Артур. Я не знал, что сей превосходный хронист расстался с жизнью».

«Он умер в безумстве».

«Но как такое могло случиться? Он был человеком вполне разумным, и свидетельство этому — его глубоко продуманные и гармонически построенные опусы».

«Я полагаю, сэр, он чересчур много грезил о былых временах. Он не мог успокоиться, не разведав всего, и потому отправился в Гластонбери».

«Если ехать туда считается признаком сумасшествия, тогда все мы давно уже лишились рассудка. Тамошний разрушенный монастырь — усыпальница многих знаменитых героев, каковые, если тела их тайным образом предохранены от порчи (а люди говорят, что это так), однажды вновь прославят наш народ по всему миру. Там погребен Эдгар; кроме того, где-то под руинами сего аббатства покоятся печальные останки нашего великолепного Артура».

«А если заставить их вновь отверзнуть уста? Что будет тогда?»

«Тогда, возможно, нам откроется тайна времени». Я смотрел в огонь вместе с Келли. «Но к чему эти вопросы?»

«Ощутив приближенье кончины, сей Бернард Рипли послал к Фердинанду Гриффену гонца с просьбой приехать в Гластонбери: он желал обсудить с ним дело необычайной важности. Как вам известно, наставник мой всегда обладал нравом решительным и любопытным, а посему мы недолго думая пустились в путь. Старый трактир, или постоялый двор, где жил Рипли, находился неподалеку от руин городского монастыря, и там, уже почти сломленный недугом, он поведал нам историю своих действий».

«А именно?»

«Снедаемый слепою жаждой знаний, он прибегнул к помощи колдуна из

Солсбери. Колдун же сей неоднократно повторял ему, что умеет оживлять мертвых и говорить с ними...»

«Это адский промысел — вопрошать мертвецов о грядущих событиях».

«Не о грядущих, доктор Ди».

«О каких же тогда?»

«О минувших». Теперь он не отрывал от меня взгляда. «Я не оправдываю ни колдуна, ни Бернарда Рипли, но, поверьте мне, мистер Гриффен и я не участвовали в сем жутком предприятии».

«И что было предметом беседы в Гластонбери? Какой великой философской тайной поделился с вами умирающий Рипли?»

«Колдун из Солсбери сказал ему, что, вопрошая мертвых под луною, он узнал о старинных рукописных свитках, хранящихся в одном месте среди руин аббатства; что в сих бумагах содержатся некие сведения и особые заметки касательно нашего острова в былые времена, наипаче же многоразличные арифметические закономерности и описания древнейшего града Лондона».

«О, мистер Келли, это всего лишь праздная болтовня нищего чародея, озабоченного скорее тем, как раздобыть себе денег на пропитание, нежели поисками истины. Сообщил ли он Рипли, как именно рекли мертвые?»

«Насколько мы поняли, он не рассказывал ему о методах черной магии, которые были пущены в ход. Только о том, что, когда они начали говорить, небо пересек странный метеор в форме облака; он сказал, что затем это облако раздвоилось и, хотя небеса вокруг были чисты и звезды светили ясно, пребывало наверху во все время речений».

«Досужие выдумки, и ничего более. Вычислил ли он высоту сего облака над горизонтом или его отношение к зениту? Я никогда не слушаю астрологов, не разбирающихся также и в математике. Странно, что Рипли проглотил подобную чепуху».

«Но вот что самое диковинное, доктор Ди. Эти древние пергаменты, или манускрипты, были найдены Бернардом Рипли точно в указанном месте».

Здесь я насторожился, хотя, полагаю, лицо мое по-прежнему было невозмутимо. «И в каком же?»— спросил я, не переставая между тем обдумывать возможность получения живыми известий от мертвых.

«Близ фундамента аббатства, на западной стороне, была обнаружена огромная каменная глыба, выдолбленная в форме человеческой головы. Когда ее отвалили, под нею нашлись упомянутые мной пергаменты, а еще камень, прозрачный как хрусталь».

«Он был круглым?»

«Да, похожим на небольшой мяч. И, как сообщил Бернард Рипли, в нем можно было увидеть то, что сокрыто от всех ныне живущих. А еще он сказал, что камень этот — память о древнем граде Лондоне, давно уже стертом с лица земли».

«Но кто поверит его словам без надлежащих доказательств?»

«Доказательств довольно, сэр. Ибо я сам видел это».

«Вы сами?»

«Меня удостоили чести подержать камень: я глянул внутрь него, и там, in crystallo, мне открылось видение. Да, я видел».

«И что же вы видели?»

«Светлая пелена разошлась, и я узрел руины, где некогда кипела жизнь, но теперь все умерло. Небо над той местностью было тусклым, как в вечернюю или предрассветную пору».

«А что еще вы там заметили?»

«В самом камне более ничего. А на пергаментах, найденных рядом с ним, я видел английские слова, но у меня не было досуга, чтобы разобрать их не торопясь. Однако моему наставнику с превеликими трудностями и усилиями удалось прочесть их. Он упоминал такие имена, как Сунсфор, Зосимос, Гохулим и Од».

«Боже,— меня внезапно бросило в жар,— я знаю эти имена. Я отлично их знаю, ибо они встречаются в книгах, хранящихся в этой самой комнате». Я вскочил со стула и подошел к маленькому столику, где у меня лежали «Краткая история Британии» Гэмфри Лойда и «Historiae Britannicae Defensio»[1] достойнейшего Джона Прайса. Они были напечатаны лишь недавно, но я уже успел запомнить их содержание наизусть. «Эти имена есть у Лойда,—

[1] «Речь в защиту истории Британии» (*лат.*).

сказал я, опять усевшись на стул с книгою,— среди имен друидов, основавших город Лондон или, скорее, селившихся близ храмов и жилищ наших далеких предков и исполинов. Получил ли Фердинанд Гриффен возможность серьезно изучить найденные пергаменты? Дали их ему хотя бы на время?»

«Ему дали их навечно, доктор Ди».

«Как так?»

«Умирая, Рипли призвал Фердинанда Гриффена в Гластонбери, ибо знал его как превосходного и добросовестного ученого. Поскольку он согрешил, прибегнув к пособничеству колдуна (таковы были его слова), он хотел снять с себя вину, доверив бесценные древние реликвии человеку, который опубликует их к вящей пользе живых. И, сопроводив свои действия любезными и проникновенными речами, он передал свитки Фердинанду Гриффену всего за несколько часов до своей мучительной смерти». Келли потер глаза, как бы желая отогнать зрелище, до сих пор стоявшее перед его взором. «Затем, как я уже говорил вам, мой благородный и достопочтенный наставник простудился в холодном климате Гластонбери и вскоре отдал Богу душу. Так и случилось, что я стал единственным обладателем камня и свитков».

«Что за невероятная история!» Я не хотел говорить это вслух, но слова вырвались сами.

«Сначала я решил, что документы следует сжечь».

«О нет!»

«Я был столь глубоко взволнован, что долго не мог придумать, где и как спрятать эти сокровища».

«Они сейчас с вами?» Я едва не дрожал, но посильно старался унять беспокойство.

«Нет, сэр. Я купил сундучок, сложил их туда и стремглав помчался в Лондон; один мой добрый друг, ювелир, живущий близ Чипсайда, охотно согласился взять его на хранение, покуда я не найду мудрого советчика. Он не знал, что в сундучке, но, вняв моим настойчивым увещаниям, спрятал его у себя в горнице, под дощатым полом. И вот, доктор Ди, я приехал к вам, дабы испросить вашей помощи в этом деле и получить от вас толковый совет касательно обращения с этими свитками и хрусталиком».

«Какой великой хвалы удостоится тот,— воскликнул я,— кто сможет заново восстановить всю карту нашего Лондона! Без сомнения, мистер Келли, вы на своем веку посетили не один славный город?»

«Я посетил множество городов, сэр».

«Я также. Но, по свидетельствам минувших веков, наш древний, давно погибший и забытый Лондон был воистину великолепным градом — многие говорят, что именно в нем стоял главный храм Британии. Да ведь и самому нашему острову нет равных в целом свете». Я на мгновенье остановился, дабы перевести дух. «Однако ни одна живая душа не ведает всей правды о нашем происхождении».

Когда я договорил, Эдуард Келли взглянул на меня ясным взором. «Тогда, сэр, возможно, что благодаря этим старинным бумагам мы распахнем окно, в котором впервые забрезжит свет. С тех пор истекли два тысячелетия, но теперь все может открыться».

Грудь мою терзало будто лихорадкой — так не терпелось мне взять в руки эти пергаменты,— но внешне я все еще хранил невозмутимость. Разве не был Симонид медлителен на язык и горазд на умолчание, печалясь более тому, что отверзал уста, нежели тому, что держал их замкнутыми? Так и во мне есть нечто, бегущее чужого внимания, как червь бежит пожара. «Существуют факты,— сказал я,— которые могут помочь нам, ибо наш славный город Лондон имеет божественное происхождение. Как сообщает Гальфрид Монмутский, Брут, потомок полубога Энея, сына Венеры, дочери Юпитера, родился около 2855 года от сотворения мира. Далее, сей Брут выстроил город на реке, каковую мы теперь называем Темзой, и нарек его Тронуантом, или Тренуантом. После чего, в году 1108 до Рождества Христова, король Люд не только восстановил его, но и добавил к нему множество прекрасных зданий, башен и валов, в честь себя самого дав ему имя Людстаун. Также и хорошо укрепленные ворота, воздвигнутые им в западной части города, получили от него название Людгейтских, или Лудгейтских».

«Если я видел в камне именно это, тогда он — истинное сокровище».

«Не спешите, мистер Келли, не спешите. Есть и другая история, пол-

ностью подтвержденная многими старинными хрониками и генеалогиями,— она повествует о еще более раннем основании града в те туманные дни минувшего, когда Альбион победил самосийцев, изначальных обитателей Британии. Мы зовем их исполинами из-за тех гигантских могильных холмов, или курганов, кои были найдены мистером Лилендом, мистером Стоу и, совсем недавно, мистером Камденом».

«Я знаю о них благодаря вечерним беседам с Фердинандом Гриффеном».

«Но выяснить происхождение этих первых британцев — задача весьма трудная. В те дни, ныне окутанные пеленою и мраком прошлого, остров Британия был вообще не островом, а окраиной древнего царства Атлантиды; затем волны поглотили эту великую страну, пощадив лишь ее западную часть, ставшую нашим королевством».

«Значит, погибший град Лондон...»

«Сейчас мы слишком далеки от того, чтобы угадать истину. Может быть, он возник во времена Брута, или Люда, или в более давнюю пору существования Атлантиды. Старинные записи говорят нам лишь одно: в этом канувшем под землю городе были триумфальные арки, высокие столпы, или колонны, пирамиды, обелиски и тысячи прекрасных зданий, сияющих бесчисленными огнями».

«Но именно это я и видел! В кристалле мне открылось зрелище старинных арок, рухнувших стен, развалин храмов, театров, усеянных обломками разбитых колонн,— о Боже, все это словно лежало в земных недрах и очень походило на руины некоего великого града».

«Вы лицезрели чудо, мистер Келли. Если эта картина не была обманной, то перед вами предстало нечто, сокрытое от человеческих глаз в течение многих тысяч лет. Единственное, что мы могли видеть,— это Лондонский камень, последний уцелевший осколок древней столицы. Вы его знаете? Он находится на южной стороне Кенуик-стрит, близ Св.Суитина, и всегда напоминает мне о нашем общем прошлом. Должно быть, во время ваших совместных трудов с мистером Гриффеном вы слышали о такой теории: иногда земля начинает дрожать, точно в горячке, небо извергает слезные потоки вод, самый воздух теряет свою животворную силу и огонь пожирает все, но камень пребывает неуязвимым. А знакомо ли вам речение многомудрого Гермеса Меркурия Трисмегиста о том, что Господь есть неколебимый столп? Как по-вашему, зачем все мои трактаты помечены особой Лондонской печатью Гермеса?» Тут я прикусил язык, испугавшись, что сболтнул лишнее.

«Так скажите же, доктор Ди, каково ваше мнение о том, что я вам нынче поведал?»

«Ваш смиренный вид и доказательства, извлеченные мною из вашего повествования, убеждают меня, что все это никак не назовешь глупой бабьей сказкой, годной лишь на то, чтобы скоротать у камина зимний вечер».

«Весьма рад слышать».

«Нет, сэр; упомянутые вами имена древних друидов, а также детали, сопутствующие обнаружению старинных свитков...»

«И хрустального камня».

«Да, и камня. Все эти вещи заставляют меня считать, что против вашей повести не может возвысить голос ни одна живая душа. Конечно, теперь я должен увидеть бумаги собственными глазами и увериться в их подлинности...»

«И вы сделаете это очень скоро. Если угодно, отправимся хоть сейчас».

«Однако я не стану бороться с тенью сомнения. Дайте мне руку, мистер Келли. Замысел наш так грандиозен, что до сих пор, насколько мне известно, еще никому не удавалось претворить его в жизнь, а именно — найти среди земных просторов то место, где обреталась наша древняя столица, и путем надлежащего изучения этого места явить миру его сокровища. Совершить сие значило бы совершить чудо. И хотя в нынешнюю безотрадную пору трудно рассчитывать на должное воздаяние за успехи в каком бы то ни было высоком искусстве, я верю, что в случае удачи нас ждет громкая слава».

«Значит, мы будем трудиться вдвоем, доктор Ди? Таково ваше решение?»

«Что ж,— промолвил я,— поскольку иначе вам грозит превращенье в обычного блюдолиза, я дам вам работу». Услыша это, он рассмеялся с большим облегчением. «Но предупреждаю вас,— добавил я,— что все, кто в пре-

жние времена замышлял против меня дурное, расплатились за это сполна».

«Будьте покойны, сэр, ибо я не сделаю ничего, что могло бы лишить вас покоя».

«И мы оба удостоимся славы первооткрывателей».

«И разбогатеем».

Не ответив на это, я снова торжественно взял его за руку, и мы поклялись в верности друг другу. Меня неудержимо влекло к пергаментам, однако на диво темное небо извергало целые потоки воды, и мы решили отправиться на Чипсайд завтра поутру. Келли снял угол в жалком домишке близ Бейнардс-касла, на берегу реки, но я сказал ему, что он не найдет ничего лучше комнаты в моем собственном доме, как в смысле удобства, так и в смысле оплаты. Он охотно согласился и, несмотря на разыгравшуюся бурю, отбыл этим же вечером, вскоре вернувшись с носильщиком и поклажей. Ужинать он не пожелал, но ради доброй беседы на сон грядущий зашел ко мне в комнату.

«Скажите,— спросил я, когда мы устроились у камелька,— чему еще научил вас Фердинанд Гриффен?»

«В столь поздний час негоже пускаться в обсуждение тайн...»

«Вы правы».

«...которые вам и без того известны. Но вот, например, он поведал мне, как можно сжечь камень без огня, и еще, я припоминаю теперь, показал, как изготовить свечу, что сгорает без единого следа. Он научил меня уловке, помогающей курам нестись всю зиму напролет...»

«Негоже было ему, большому ученому, забивать себе голову подобными пустяками».

«...и показал, как заставить полое кольцо пуститься в пляс. А яблоко — двигаться по столу. Далее, благодаря его урокам я могу вызывать у человека ужасные сновидения».

«О, я знаю этот дешевый фокус. Надо взять кровь чибиса и перед отходом ко сну помазать ею жилки на лбу. Не так ли?»

«Да. Именно так, доктор Ди. Я вижу, от вас не укрылось ни одно из этих умений».

«Для подобных мне и мистеру Гриффену это лишь способ развлечься. Пустое фиглярство, за которое я не замолвлю и словечка. Знаете, как сделать так, чтобы комната показалась полной змей и аспидов? Убиваешь змею, погружаешь ее в кастрюлю с воском и кипятишь как следует; затем лепишь из этого воска свечу, и вот, если ее зажечь, по комнате словно поползут тысячи змей. Все это чепуха, сэр. Детские забавы».

«Но разве нет и в них капли истины? Ведь они основаны на тех же принципах гармонии и взаимосвязи, каковые великолепно изложены вами в вашем «Facsiculus Chemicus»[1]?

«Вы знакомы с этой работой? Она печаталась лишь для узкого круга».

«Мне показал ее Фердинанд Гриффен. И разве не писали вы в другом месте, не помню точно где, что из мельчайших сопряжений родятся величайшие чудеса?»

«О да,— отвечал я,— и самые крохотные тучки чреваты дождем».

«И тонкая ниточка ладно штопает».

Он явно подшучивал надо мной, и я отозвался ему в тон, платя добродушием за непочтительность. «И малые волоски отбрасывают тень».

«А тупые камни острят ножи».

«Мягкий ручеек точит твердую скалу».

«На одной карте можно увидеть весь мир».

«Илиада» Гомера уместилась в ореховой скорлупке».

«А портрет королевы — на пенни».

«Довольно, сэр,— сказал я. — Довольно. Когда-нибудь я покажу вам нечто большее, чем фокусы для невежд. Учил ли вас Фердинанд Гриффен искусству вытягивания благовонных масел? Возможно, я даже поделюсь с вами великим секретом приготовления соляного эликсира».

«Я надеюсь стать достойным подобных посвящений, сэр. Они принесут мне истинную радость, но пусть это случится лишь после того, как я честно заслужу ваше доверие и право трудиться в вашей лаборатории».

«Недурно сказано, Эдуард Келли. Но разве у нас с вами уже нет общей тайны, поважнее всех прочих? Завтра мы должны встать чуть свет и сразу же двинуться на Чипсайд. А когда нам вернут старинные документы, мы

[1] «Краткое руководство по химии» (*лат.*).

сможем начать поиски давно исчезнувшего с лица земли града Лондона».

«Сэр,— сказал он, поднимаясь со стула,— вы почтили меня своим знакомством и оказали мне великую милость. Благодарю вас за это».

«На сем желаю вам спокойной ночи. Филип со свечою проводит вас в вашу спальню».

Когда он ушел, я поднялся по задней лестнице в лабораторию, всегда запертую на замок и засов от нескромных глаз; площадка этой довольно широкой витой лестницы выходит на мой Кларкенуэлльский зимний садик, и, выглянув туда через узкое окно, я заметил неясный облик или силуэт некоего бегущего под дождем существа. Затем оно прошмыгнуло внутрь дома, и спустя несколько секунд я услышал, как оно несется по ступеням за мною вслед. Испугавшись, что эта тварь вскарабкается на меня, я запахнул мантию на коленях, а легкий топот тем временем стал громче; наконец неведомое существо выскочило из-за ближайшего поворота, и я увидел, что это моя кошка. Она бежала не так, как обычно, а затем уронила что-то к моим ногам. Я дотронулся до него носком, но оно было уже мертво; это оказался голубь, однокрылый от рождения. Как же, лишенный всякой возможности летать, он вырос таким гладким и жирным? И я захватил его с собою в лабораторию, отложил в сторону, дабы изучить на досуге, и бережно снял с полки особым образом изогнутый стеклянный сосуд, в котором надеялся вырастить своего человечка.

«Дай тебе Бог доброго сна»,— сказал я жене, прежде чем удалиться к себе на покой.

«Не притомились ли вы, сэр,— спросила она,— обменявшись столь многими словами с мистером Келли? Прежде вы вели такие долгие беседы разве что в школе Святого Павла».

«Верно, мистрис Ди. Я устал. Не кликнешь ли ко мне Филипа? А, вот ты где, мошенник,— прячешься за дверью, как тот соседский пес из стишка. Войди же и поставь в канделябры восковые свечи; завтра будет нелегкий день, а запаха сала я не выношу. Где щипцы, чтобы снимать нагар? А грелка с углями? Проверь, есть ли под кроватью ночной горшок. Ты не забыл вымыть тазик? Прошу тебя, налей туда чистой воды». Все мои пожелания были выполнены, и все же, улегшись в постель, я не мог спать: меня преследовали думы о сути находок Эдуарда Келли и о событиях грядущего утра, и я не подпускал к себе сон подобно журавлю, что ради этой цели держит ногою камень.

* * *

«Вы не спите, сэр?»— голос Филипа пробудил меня от полета в поднебесье: мне грезилось, будто я расстался со своей бренной оболочкой.

«Нет, Филип, нет. Который теперь час?»— простонал я, снова возвратясь в оковы смертного бытия.

«Ранний, сэр. На дворе еще темень, и лавки торговцев закрыты — я только что проходил мимо».

«Вели Одри испечь на угольях дюжину свежих яиц. У нас нынче гость».

«Знаю, сэр. Он полночи тянул вино и распевал сам с собою».

«Входи, Филип. Ни слова более, и помоги мне встать». Я умылся и оделся довольно быстро, однако, спустясь вниз, обнаружил, что Келли уже греется у огня, покуда жена вместе с Одри накрывает на стол. Я пожелал всем доброго утра, и он спросил меня о здоровье. «Все в порядке, хвала Господу. А как вы?»

«Благодарение Богу, недурно для человека, который не мог заснуть всю ночь».

«Вы не могли заснуть? И я также. Я смежил веки не более чем на час, а затем голос слуги вывел меня из забытья».

«Я вас понимаю. Минуты падали у моей кровати, точно желуди, и я коротал время, отлаживая механизм своих часов».

«Однако нынче нам воздастся за все. Где эль, жена, дабы нам утолить жажду?»

«Он рядом с вами, сэр, пейте всласть».

Мы перекусили на скорую руку, ибо нам не терпелось отправиться за пергаментами; не успев встать из-за стола, Эдуард Келли хотел распорядиться, чтобы седлали его кобылу, но я отговорил его. «Близ Чипсайда опасно оставлять лошадей,— сказал я. — Это место знаменито ворами; стоит нам зазеваться, и конокрады сделают свое черное дело, а потом их ищи-свищи.

Нет, сэр, мы пойдем пешком».

«Разве вам не жаль терять время?»

«Время никогда не теряется, ибо мы творим его заново на пути вперед. Через Чартерхаус и Смитфилд мы попадем в Сити быстрее, чем вы думаете».

Одевшись потеплее, мы вышли на морозный воздух и двинулись к Олдерсгейтским воротам; вскоре мы уже миновали их и спустились к Чипсайду по улице Св.Мартина. «Где нам искать вашего друга? — спросил я. — Ювелиров в Лондоне не счесть, и мы можем заблудиться, точно в сверкающем гроте Ребуса. Где он ведет торговлю?»

«Я узнаю его вывеску, когда увижу ее. На ней нарисован заяц, который перепрыгивает луну. По-моему, нам нужно идти куда-то за Элинор-кросс».

Мы зашагали дальше, с трудом протискиваясь меж лотков, у которых стояли зазывающие нас торговцы; с утра они подняли такой хай и шум, что с ними не сравнились бы и черти в аду.

«Господа, что вам угодно купить? — орет один. — Я обслужу вас лучше и дешевле любого лондонца».

«Господа, загляните ко мне в лавку,— вопит другой,— у меня непременно найдется для вас что-нибудь нужное!»

Один из них подошел ко мне так близко, что я обонял его смрадное дыхание. «Пожалуйте ко мне, сударь. У меня отличные и превосходные ткани, дорогие сэры. Лучшие в городе».

«Ткани нам ни к чему»,— отвечал я.

«Но скажите, какой цвет вам по вкусу?» Он извлек откуда-то штуку материи и забежал с нею вперед, не давая нам пройти. «Я возьму с вас всего по кроне за ярд, сэр. Меньшая цена меня погубит».

«А мне что за печаль, коли вы начнете пускать пузыри?» Эдуард Келли рассмеялся на мои слова. «А теперь пропустите-ка нас».

«Вы чересчур суровы, сэр. Бог вам судья».

Мы добрались до угла Бред-стрит, и я огляделся в поисках описанной Келли вывески. «Как зовут вашего друга? Быть может, спросим о нем?»

«Его зовут Порклифф, но спрашивать нет нужды — я доведу вас по памяти».

«О,— ввязался тот надоедливый купчишка, не отставший от нас до сих пор,— негоже вам ходить к Порклиффу. Идите в соседнюю лавку на этой стороне улицы, сошлитесь на меня, и вам все отпустят задешево».

Тут Эдуард Келли увидел вывеску, наполовину скрытую лестницей какого-то ремесленника и возом, доверху груженным соломой. «Вон она,— сказал он. — Я был здесь только однажды, но хорошо ее запомнил». И он поспешил вперед, пересекая Чипсайд, а я живо устремился за ним по пятам, слыша, как тот купчишка бросает нам вслед язвительные слова. «Ну и шут с вами,— вопил он. — Скатертью дорога. Вы как те глупые телята, что порастрясут на ярмарке брюхо да и бегут домой».

Эдуард Келли вновь захохотал и испустил громкое «Му! Му!».

Здесь начинался квартал торговцев бархатом и золотых дел мастеров, и чуть далее, под изображением луны и зайца, мы увидели три невысокие ступеньки — они вели вниз, в комнату с зажженными свечами. «Мадам,— говорил продавец весьма преклонных лет в камчатной одеже, когда мы появились при сей занимательной сцене,— мадам, что вам угодно приобрести?» Он выложил на бархатную подкладку несколько камушков. «Сударыня, вы увидите у меня прекраснейшие камни Лондона. Если они вам не понравятся, не берите. Я прошу вас только взглянуть на них, а уж показывать да рассказывать — моя забота».

Покупательница была древней, под стать продавцу, старухой в синей юбке с фижмами, напоминающей церковный колокол; на ней был французский чепец, но я видел, что губы ее так щедро намазаны чем-то алым, а щеки так напудрены сахаром и нарумянены вишней, что она с успехом сошла бы за портрет, намалеванный на стене. Мистер Порклифф кинул на нас беглый взгляд, но сейчас он был занят другой добычей. «У драгоценных камней, госпожа, есть много чудесных свойств, однако я перечислю вам лишь те, о коих обычно поминают гранильщики. Доводилось ли вам слышать о древних исследователях природы — Исидоре, Диоскориде и Альберте Великом?»

«Нет, не слыхала, но если они столь же солидны и учены, как их имена, то я искренне восхищаюсь ими».

«У вас мудрое сердце, сударыня. Сказать ли вам прямо, что Исидор

называл алмаз камнем любви? Видите, как мерцает он в свете канделябров? Его считают главнейшим из камней, от природы наделенным скрытою силой, что вызывает нежные чувства к его обладателю. Вы хотели бы вызывать нежные чувства, госпожа?»

Она тихонько хихикнула. «Ох, я и не знаю, что вам ответить».

«Я не отдал бы этот алмаз малодушной женщине — нет, ни за какие барыши. Только той, что сможет справиться с его ношением».

«Но я не дам вам ни пенса сверху трех фунтов».

«Не спешите, мадам, не спешите. У меня еще есть что вам показать. Видите этот изумруд? Он развеет любые злые чары...» Тут он глянул на меня и улыбнулся. «Подождите минутку, джентльмены,— промолвил он и вновь обратился к старой карге: — Кроме того, изумруд умеряет похоть».

«О, сэр!»

«Приумножает богатства и наделяет даром красноречия. Что же до этого агата вот здесь, перед вами, то он вызывает бури...»

«В душе?»

«Везде, где вам пожелается, сударыня». Она снова хихикнула. «Он также помогает толковать сны и одаряет своего хозяина привлекательностью. Но вы в этом не нуждаетесь. Не взять ли вам вместо него сапфир, камень королей,— древние язычники называли его Аполлоновым камнем? Он изгоняет меланхолию и весьма полезен для зрения».

«Мое зрение,— сказала она,— в полном порядке, как и всегда. А что до меланхолии — пожалуй, иные и впрямь порой поддаются унынию. Теперь, когда мой муж умер...» Она испустила вздох из глубины своих обширных телес. «Покажите-ка мне еще раз тот, что вы называли камнем любви. Его действительно находят в чреве ласточки?»

«Довольно,— пробормотал я. — Предложите ей лучше топаз, коим лечат недоумие».

Не подав виду, что слышал меня, ювелир взял алмаз и опустил его на свою правую ладонь. «А на каком пальце следует его носить, госпожа? В старинных книгах сказано, что эмблемой Венеры является большой палец, но мы всегда посвящали любви указательный». Затем он снова вернул камень на прилавок. «Какая цена вас устроит, сударыня? — спросил он уже более серьезно. — Сколько вы заплатите мне за такое приобретение?»

«Я дам вам сорок шиллингов». Ее шутливый тон сменился повелительным. «Если согласны, не тяните время, ибо у меня есть дела поважнее, чем препираться с вами».

«Воистину, я не стал бы возражать, если бы мог отдать его за такую цену, но, поверьте мне, это не в моих силах».

«Даю сорок пять, и ни полпенни больше».

«Ладно. По рукам. Согласен. Камень любви нашел достойную владелицу. Я всего лишь исполняю свой долг». Несколько мгновений спустя она покинула лавку, и ювелир обратился ко мне. «Я вижу,— сказал он,— что вам ведомы тайные свойства камней».

«Я знаю их, сударь. Для таких покупательниц, как она, вам надобно надевать на себя халцедон, отпугивающий чертей».

На это он рассмеялся, а затем отвесил поклон мистеру Келли. «Нед,— сказал он,— Нед. Мне ясно, зачем ты пожаловал. Не угодно ли вам пройти внутрь? Осторожней на этой ступеньке, она скользкая». Мы перешли в тесную комнатку, где он нас оставил; потом, очень скоро, вернулся с дубовым ларчиком, о коем я уже слышал. Келли вынул ключ, висевший у него на шее, и дрожащей рукой отпер замок; когда он откинул крышку, я стал рядом с ним и увидел внутри несколько документов и маленький шарик чистого стекла. «Не желаете ли подняться в верхнюю комнату,— спросил хозяин,— дабы рассмотреть все это получше? Ко мне могут наведаться и другие посетители». С этими словами он проводил нас в горницу наверху и ушел, а я затворил за ним дверь.

Эдуард Келли поставил ларец на небольшой столик, и, вынув оттуда часть пергаментных листов, я убедился, что всего их семь — самый малый длиной около восьми дюймов и шириною в пять. «Мы можем утверждать,— сказал я,— что некогда эти листы были свернуты вместе таким образом, что меньший из них находился в середине, запечатанный отдельно вследствие чрезвычайной важности его содержания. Прочие шесть заключали его в себе, составляя как бы несколько обложек, на каждой из коих были свои письмена». На меньшем из документов я заметил некие формулы и значки арифметического характера; вникать в это подробнее не было времени,

однако любопытство мое возгорелось. «Перед нами,— сказал я Келли,— алмаз гораздо более драгоценный, нежели те, что хранятся в комнате внизу. Помните слова Исаии: «Небеса свернутся, как свиток книжный?» Перед нами же пророчество иного рода».

«Так вы видите здесь нечто полезное для нас? Что до меня, то я не могу разгадать эту тайну».

Склонясь над самым маленьким пергаментом, я погрузился в размышления и не отвечал ему в течение нескольких минут. «Тут нет тайны,— наконец изрек я,— по крайней мере, для просвещенного ума. Видите эти значки, подобные символам алгебраической цифири, эти кружочки и квадратики? Кто-то усердно трудился, дабы изобразить строения, возведенные на некоем участке земли. Сие есть геометрия, что, как явствует из происхождения этого слова, означает землемерие». Я вгляделся в чертеж пристальнее. «Пожалуй, нам следует заключить, что это старинный град Лондон. Вот, смотрите,— видите здесь змеистую линию? Несомненно, это и есть та река, что ныне зовется у нас Темзою. Видите, как она слегка изгибается в сем месте?» Я ткнул пальцем в рисунок. «Готов поклясться, что это излучина около Уоппингской пристани, где река сворачивает в Шадуэллские поля». Я на мгновение прервал свою речь и бережно уложил пергамент обратно в ларец. «А потому, если сей документ и впрямь унаследован нами от древнего мира, нужно искать наш погибший град на востоке».

«Но в том районе нет ничего, кроме низких и ветхих домишек».

«Верно, мистер Келли. Однако «нет» не значит «не было». Вы говорите о том, что находится на поверхности, но земля всегда скрывает в себе свои секреты».

«Не этот ли город я видел?» Стремясь поскорее отправиться к старинным местам, я едва не позабыл о камне. Но теперь Келли с благоговением вынул его из ларчика. «Глядя in crystallo, я лицезрел фундаменты древних строений. И коридоры то тут, то там, словно некие тайные ходы».

«Я помню все, что вы рассказывали, мистер Келли». Произнося эти слова, я неотрывно смотрел в камень — он был чист, как хрусталь, но удивительно светел, точно внутри него была пустота, содержащая лишь легкое сияние. «Порою о редких и драгоценных вещах говорят,— продолжал я,— что они старше всех творений Мерлина. И если сей стеклянный шарик пролежал здесь столько веков и не утратил своей прозрачности, то он воистину древней и диковиннее всего, что сотворил Мерлин. Вам открывались видения, мне же покамест нет; а потому вы должны стать моим беррилистикусом».

«Почел бы за честь, сэр, кабы знал, о чем вы толкуете».

«Вы станете посредником, глядящим в камень, очевидцем чудес. Теперь мы будем повсюду носить его с собою завернутым в кожу для защиты от холода, ибо известно, что в кристаллах, наряду с зеркалами и поверхностью воды, открываются наиболее подробные и прекрасные картины минувшего. Итак, не вернуться ли нам в Кларкенуэлл за лошадьми, дабы поспеть на нужное место до захода солнца?»

И мы снова возвратились в мой старый дом, где я с превеликим тщанием и осторожностью сделал точную копию древней карты, а затем убрал все пергаментные свитки в лабораторию, под надежный замок. Хрустальный камень был положен мною в весьма удобный кожаный мешочек; затем нам подали лошадей, мы вновь проделали путь мимо Чипсайда на Леденхолл-стрит и выехали из города через Олдгейтские ворота. Достигнув Св.Ботольфа, мы пересекли Гудманские поля в направлении Темзы; неподалеку от берега реки была знакомая мне тропа, ведущая в деревушку Уоппинг, и мы поскакали по ней. «Если великий изначальный град будет обнаружен,— сказал я Келли, который на узком участке тропы ехал чуть позади меня,— он станет основою всех наших надежд. Мы совершим чудесные открытия, найдем то, о чем нет речи в хрониках и анналах». В этот миг мы поравнялись с несколькими разбросанными по лугу хижинами, и, сверясь с отметками на сделанной мною копии, я пришпорил коня. «Если бы нам было дано ясно прозреть те далекие годы сразу после сотворения мира, когда по земле ступали наши праотцы, раскрылись бы многие великие тайны».

«Какие, сэр?» Теперь он ехал рядом со мной, поскольку тропа стала шире.

«Иные авторы — сейчас я не помню, кто именно,— утверждают, будто Артур не мертв, но всего лишь спит; однако разве не пробудится он ото

сна, если целый волшебный град Лондон восстанет из мрака забытых времен? Здесь надо слегка повернуть к северу...» Мы уже немного отдалились от берега и теперь ехали среди скопища деревянных строений — нас окружали только хлипкие, унылые навесы да сараи. Было еще светло, хотя солнце стояло так низко над горизонтом, что я мог смотреть на него не моргая. «Вот это место соответствует пометкам на карте,— сказал я Келли. — Оглядитесь и поищите признаки чего-нибудь необычного — к примеру, углублений или каналов. Подумай мы об этом заранее, можно было бы использовать водомерную рейку».

«Но вам ведь известны и другие способы, доктор Ди».

«Некоторые применяют так называемую ars sintrilla, то есть пользуются сосудами с водой, вином и маслом, ловя отраженье лучей солнца, а иногда блеск луны или звезд. Но у нас есть средство понадежней горящей свечи или капризного солнечного света — наш хрустальный камень». Я вынул его из кожаного мешочка и передал Келли. «Смотрите туда. Не увидите ли вы какое-либо подтвержденье тому, что мы на верном пути?»

«Я полагал, что вы уже определили место поисков».

«Однако вопросить камень будет нелишне. Смотрите же».

Взяв хрусталик у меня из рук, он поднес его к лицу, словно потир, и вдруг я заметил, что длинные солнечные лучи, преломляясь в камне, как бы указывают нам направление.

«Стойте! — вскричал я. — Вы видите? Не двигайтесь и подымите камень повыше. Луч света, исходящий из кристалла, велит нам двигаться в ту сторону». Я живо поскакал вперед, и луч вывел меня на узкую прямую тропку, столь густо заросшую шиповником и ежевикой, что по ней едва можно было пробраться. Однако это меня не остановило; Эдуард Келли устремился за мной, и вскоре мы очутились на каком-то старом, мертвом и невозделанном пустыре. «Кажется, мне знакомо это место,— по минутном размышлении промолвил я. — Оно зовется Дурацким полем, где ничто не может благополучно жить и произрастать. Темный люд верит, что это обиталище духов — вот почему здесь нет хижин или иных строений».

«Прежде я не говорил вам об этом, однако первый раз, в Гластонбери, я видел в кристалле нечто весьма похожее».

Я спешился и быстро зашагал к земляному кургану неподалеку. «Видите там камень? — воскликнул я. — Вон ту огромную глыбу на краю кургана? Она напоминает остаток древней мостовой — некогда тут могла пролегать улица или переулочек». Ну конечно же, в далекую допотопную пору здесь высился искомый нами дивный град, прекраснейшее из украшений земного лика! Почему я был так убежден в этом? Потому что мысленным взором я ясно видел тот чудо-город, его волшебные здания и сады, его мостовые и храмы — все это вдруг поднялось окрест меня на холодном уоппингском болоте. Я читал о нем, о древнем городе исполинов, в старинных летописях, однако теперь магия этого места возродила его в моем воображении величавым и сияющим ярче самого солнца.

Эдуард Келли бегом догнал меня, однако так запыхался, что не мог произнести ни слова. Покуда он сопел и хватал ртом воздух, я спокойно обозревал низину.

«Солнце заходит,— наконец сказал он. — Боюсь, что мы не сможем попасть домой засветло».

«Вы устали?»

«Не столько устал, сколько опасаюсь, ибо здесь не след задерживаться до ночи. Давайте поспешим, доктор Ди, прошу вас, не то стража закроет ворота».

«Что ж, для одного дня я видел довольно». Пускай передо мною закроют врата Лондона, зато врата сего древнего города всегда будут открыты для тех, кто способен видеть,— да, были они распахнуты и для меня, когда я стоял на том высохшем болоте, подставив лицо студеному ветру.

Келли двинулся назад; я смотрел, как он в своем желтом камзоле и голубом плаще бредет по темной пустоши медленно, точно ему опалило ноги. «Мы еще вернемся,— сказал я, когда мы подошли к лошадям. — Тут есть для нас работа. Ныне под нами покоятся останки древнего Лондона, однако они не утратили своей силы. И если бы удалось поднять сей погибший град из земных недр, что тогда?»

«Тогда мы снискали бы богатства».

«Да, богатства. Но кроме того, славу и вечное признание. Итак, вы по-прежнему со мной, мистер Келли?»

«Да, сэр. Я с вами».

*Я буду с тобою всегда.* Сказал ли он эти слова, или их принесло ветром? Я оглянулся на бывшую топь, и мне почудилось, что там стоит вся белая, нагая фигура со сложенными на груди руками.

## 5

Кто-то, весь в белом, стоял за оградой кладбища. Пока я мочился на могилу и топтал ногой землю рядом, за мной наблюдала женщина, одетая в белое кожаное пальто; подойдя к ней, я увидел, что она довольно молода. Ее окружало непонятное фиолетовое сияние, и на миг мне померещилось, будто это нечто вроде эманации ее души; но потом я понял, что источник света лежит за нею. Там, где-то ниже уровня мостовой, приглушенно билась музыка: это был ночной клуб на другой стороне площади, гораздо больше и шумнее того, который попался мне на Шарлот-стрит. Его расположение показалось мне очень естественным, словно он существовал на этом самом месте всегда, даже прежде того как оно возникло. Но как я умудрился не заметить его раньше? Неужели я был так поглощен историей своего района, что не видел вещей, находящихся буквально у меня под носом? Это страх держал меня в узде, ослеплял меня. Но теперь я уже не боялся. Я вышел с кладбища и приблизился к наблюдавшей за мной женщине. Она стояла неподвижно, глядя на меня с любопытством и опаской.

— Не пугайтесь,— сказал я.

— И не думаю.

— Что вы тут делаете?

— А как по-вашему? — Я вспомнил трех женщин на Тернмилл-стрит, увезенных в полицейском фургоне. — А вы что делаете? Танцуете на могиле своей матери?

— Примерно так. Куда вы сейчас?

— Никуда. Просто ищу чем заняться. — У нее было симпатичное, но не совсем оформившееся лицо, будто ее истинной натуре только предстояло проявиться: карие глаза, скупо вылепленный носик, очень полные губы, и на мгновение, в полумраке, она показалась мне слегка похожей на манекен. — Ну, а вы-то куда?

С той минуты, как я покинул ресторан, меня свербило неотступное вожделение; наверное, я был возбужден чем-то, касающимся связи Дэниэла Мура с моим отцом, и едва сдерживался.

— Да я так, брожу без дела.

— Прохлаждаетесь?

— Вот-вот. Прохлаждаюсь. Как вас зовут?

— Мэри.

— А где вы живете, Мэри?

Она мотнула головой.

— На том берегу.

— Чтоб вернуться, надо речку перейти?

— Что?

— Я говорю, хорошо жить за рекой.

У нее был необычный смех, похожий на внезапный выдох.

— Кому как. А вы где живете?

— Здесь, за углом.

— Да ну? — Мы вместе зашагали мимо церкви, и я украдкой поднес к лицу ладонь, чтобы проверить запах изо рта; вино смыло последние следы рвоты. Мэри засунула руки глубоко в карманы своего белого пальто и шла, вовсе не глядя на меня; она опустила глаза на дорогу и, похоже, угадывала верное направление без всякой помощи. Мы достигли поворота на Клоук-лейн, и она осмотрелась по сторонам.

— Мне надо кое в чем признаться,— сказала она. Я не сводил с нее взора, но молчал. — У меня плоховато с деньгами, понимаете. Я нынче временно без работы.

Я ожидал этого.

— Все в порядке, Мэри. Я тебе дам. Не беспокойся. — Честно говоря, я отнюдь не был недоволен ее признанием; оно возбудило меня еще больше, и по пути к старому дому я обнял ее рукой.

— Это ваш?

В ее голосе прозвучал явный интерес, даже алчность; возможно, тут сказалось мое виноватое воображение, но я не хотел говорить ей, что живу в этом доме один.

— Нет,— ответил я. — Тут живет еще кое-кто. Мой отец.

— Я видела, как там кто-то мелькнул.

— Ты не могла его увидеть. — Я положил руку ей на плечо. — Он ушел. И нескоро вернется.

— Где же он тогда?

— В клубе, играет в бинго.

— Не говорите мне про бинго. Мать по нему с ума сходит.

Она не сопротивлялась, когда я привлек ее ближе к себе и, поцеловав в шею, чуть ли не потащил к дому. Открывая дверь, я уже знал, что хочу сделать.

— Идем в подвал, Мэри. Там нас никто не увидит.

— Годится. Но сначала отдайте деньги.

— Получишь ты свои деньги. — Я хотел ударить ее по лицу, как на моем месте, наверно, сделал бы отец, но вместо этого пошел наверх и достал из конверта, лежащего у меня в спальне, несколько пятифунтовых банкнот. Потом, захватив еще бутылку виски, спустился к ней: я знал, что не смогу сделать то, чего мне действительно хочется, если не напьюсь. Я отвел ее в подвал, не включая света, однако тьму здесь слегка рассеивали скудные лучи, проникающие из холла; они словно высвечивали контуры замурованной двери. Я поволок ее туда и, приперев к стене, начал раздеваться. Затем раздел Мэри, облил ей грудь виски и стал жадно слизывать его.

— Поосторожней с сосками,— сказала она. — Не оставляй отметин. — Однако испустила легкий взвизг удовольствия, когда я ощутимо ее укусил.

Наверное, именно в этом углу Дэниэл и мой отец исполняли свои собственные ритуалы, и, становясь с Мэри все грубее, я понял, что он использовался для той же цели и гораздо раньше; этот дом был посвящен сексу, и мы были последними в череде его обитателей. Не знаю, как долго мы оставались в подвале, но на все это время я словно бы выпал из обычного мира: реальность целиком свелась к наслаждению даримому и наслаждению получаемому. Не было ни обычных этических рамок, ни долга, ни убеждений, ни причин и следствий; а еще я понимал, что такой экстаз и неистовство способны вызвать из небытия любое чудо. Мэри лежала на полу, покрытая синяками, грязная, от нее разило виски, которым я ее облил. «Когда мой отец сделал меня,— сказал я,— он сделал меня сильным».

Кажется, я плевал на нее. «Не в глаза,— говорила она,— побереги мои глаза».

Потом я вдруг уловил другой голос, шепот. «Зачем ты звал меня?» Я оставил ее и, вытирая рукой губы, поднялся по лестнице. Мне удалось найти свою спальню, и я торопливо ополоснулся, прежде чем накинуть на себя какую-то одежду. Когда я вернулся в подвал, она уже исчезла. К тому времени я успел так напиться, что плохо помню дальнейшее; я вывалился из дома в поисках кого-нибудь еще — другой женщины или девушки,— чтобы продолжить начатый обряд. Все переменилось, и дома высились надо мною, точно я навзничь лежал на дороге. Я оказывался в разных местах, не понимая, как попал туда, и говорил с людьми, исчезавшими без предупреждения. Я был в незнакомом баре, или ночном клубе, и таращился на видеоигру, которая вертелась и плясала у меня перед глазами. Затем помню себя в туалете: я стоял на полусогнутых ногах, а по ним струилась моча. Там был старик. Он наклонился ко мне и взял одну мою часть в рот. Напряжение отпустило меня, и я рассмеялся. Довольно. Это было последним штрихом. В тот вечер я открыл правду о своем отце.

* * *

На следующее утро я лежал у себя в постели. Не знаю, как я добрался до нее; от прошлого вечера в памяти остались только отдельные моменты, вкрапленные в амбру шóка или изумления, но на душе у меня было удивительно спокойно, словно после долгого отдыха. Затем, повернувшись, чтобы заснуть вновь, я заметил, что на кровати рядом со мной лежит еще кто-то. Этот человек тихо дышал в утренних лучах. Сначала я принял его за Мэри, до сих пор не покинувшую моего дома, но это был отец. Он улыбался мне. Я тяжко застонал, и он исчез. Второй раз я проснулся на лестнице, полностью одетый. Дверь была распахнута; каким-то образом в пьяном угаре я отыскал обратную дорогу в старый дом. Но теперь он внушал мне отвращение, и я еле принудил себя подняться по ступеням в свою комнату.

Я чувствовал, что настала пора идти к матери; настала пора поделиться с ней тем, что рассказал мне Дэниэл, хотя я подозревал, что она всегда знала о тайной жизни мужа. Но почему же я никогда не замечал ее отчаяния, не думал о том, чтобы ее утешить? Даже сейчас перспектива заключить ее в объятия взволновала меня больше, чем я хотел себе признаться.

Иногда, если накануне много выпьешь, все органы чувств начинают работать

по-иному и окружающее предстает перед тобой в простом и ясном свете. Вот почему я мог теперь увидеть мать в ее настоящем облике. Наверное, я никогда толком не заботился о ней именно потому, что никогда толком не *видел* ее. Я никогда не старался понять ее жизнь, и потому она оставалась для меня все той же двумерной картонной фигуркой, с которой я и обращался соответственно. Я никогда не признавал, что она способна страдать, не пытался постичь природу сформировавшего ее долгого брака; но еще важнее то, что я никогда не давал себе труда любить ее. Вот почему с годами в ней становилось все больше этой напускной бодрости и внутренней отчужденности. Она ведь должна была как-то защищаться от моего равнодушия.

Дэниэлу я сказал, что ничего не помню о своем раннем детстве, но, как вы, пожалуй, уже догадались, слегка покривил душой. Однажды мне довелось прочесть статью о некоем итальянце — он эмигрировал в Америку, но в последние годы жизни рисовал исключительно улицы и дома своего родного поселка. Само по себе это легко объяснить; удивительным было то, что, сличенные с фотографиями, его рисунки оказались верными до мельчайших деталей. После перерыва в тридцать-сорок лет он в точности помнил абрис каждого дома и извивы каждой улочки. Вот и я, возвращаясь мыслями к детству, до сих пор вполне ясно вижу окружавшие меня тогда улицы и дома. Вижу маленькие белые особняки Вулфстан-стрит, ряд муниципальных домов из красного кирпича на Эрконуолд-стрит, скаутский клуб в верхнем конце Мелитус-стрит и небольшой парк рядом с Брейбрук авеню. Но в моем воображении там всегда бывает тихо и безжизненно. Даже мой собственный дом, где я жил ребенком, видится мне совершенно пустым. Людей той поры у меня в памяти не осталось вовсе. Их нет — за одним исключением. Как-то раз, когда я был еще очень маленьким, мать посадила меня к себе на колени и заплакала; я вышел из комнаты, не сказав ни слова.

Это воспоминание ожило во мне на следующий день, когда я вернулся в Илинг. Утро было солнечным и погожим, и я шел по Мелвилл авеню, внимательно глядя себе под ноги; это была старинная детская игра — на трещину наступишь, матушку погубишь. Она «работает» в саду, сказал открывший мне дверь Джеффри. Он точно удивился моему появлению и, идя со мной на кухню, продолжал что-то беспокойно говорить. Я увидел ее в окно: она согнулась над какими-то поздно цветущими кустами, и я еще раз подивился тому, до чего хрупка она стала; наши взгляды встретились, но лица — и у нее, и у меня — в течение нескольких секунд были еще лишены всякого выражения. Затем она улыбнулась и, вытерев руки тряпкой, пошла ко мне.

— Какая честь,— сказала она. — Целуй. — Впервые я не почувствовал отвращения, прикоснувшись губами к ее щеке.

— Я надеялся еще раз увидеть тебя в Кларкенуэлле.

— Уж слишком далеко ехать, Мэтью. А в саду нынче работы невпроворот. Надо побольше успеть до осени. — Я обвел взором лужайку, кусты и мощеные дорожки из разнокалиберного камня: все осталось таким же, как в детстве, хотя тогда я видел в этом целый мир, где можно было укрыться. — И кроме того,— добавила она,— дом у тебя не очень...

— А чем он тебе не нравится?

В этот миг ее внимание приковал к себе какой-то предмет на краю лужайки, и она наклонилась, чтобы поднять его; это был осколок стекла, и она аккуратно засунула его в землю.

— Пойдем отсюда,— сказала она. — Приготовлю тебе кое-что вкусненькое.

— Иногда с тобой бывает ужасно трудно разговаривать. Такое впечатление, будто на уме у тебя больше, чем на языке.

— Разве не потому я так обаятельна? — Это была попытка кокетства, но неудачная. Что-то ее беспокоило; думаю, она уже тогда догадалась о причине моего визита. Мы вошли в дом, и, пока Джеффри варил кофе, она занялась приготовлением толстого сандвича с сыром, какие я ел еще мальчишкой. — Ну-ка, слопай его,— это прозвучало почти мстительно. — Ты всегда обожал сандвичи. — Насколько я помнил, я всегда их терпеть не мог, но покорно начал жевать.

— Да, кстати,— сказала она. — Я тут кое-что нашла в шкафу. — Она все еще держалась со мной очень неловко и покинула комнату с видимым удовольствием; Джеффри проводил ее пристальным взглядом. Но она вернулась почти сразу же и принесла большой коричневый конверт. — Я не хотела оставлять их. — Она помедлила, словно сказала что-то совсем не то. — Я не хотела выбрасывать. Подумала, надо отдать тебе. — Я открыл конверт, и оттуда на стол выпало несколько фотографий. На всех были мы вдвоем с отцом. Вот он держит меня на руках (тогда мне было,

пожалуй, лет пять-шесть), а вот мы вместе сидим на низкой ограде. Некоторые снимки казались сделанными совсем недавно — на одном, к примеру, мы поднимались по каким-то каменным ступеням,— но я почему-то не мог вспомнить, когда и где это было.

— Он был красивым мужчиной,— сказал я.

На мгновение она очень широко раскрыла глаза.

— Прошу тебя, убери их, Мэтью. Потом посмотришь.

Ей не удалось скрыть отвращение — оно сквозило в ее голосе. Джеффри тихонько вышел из комнаты, бормоча что-то об автомобиле, и между нами воцарилась недолгая тишина.

— Скоро у тебя день рожденья,— сказала она, водя пальцем по ободку чашки. — Именинничек ты мой.

— Я все про него знаю, мама.

Она поднесла руку к лицу.

— О чем ты? — вопрос прозвучал раздраженно.

— Я знаю, что он был за человек.

— И что же он был за человек?

— Наверно, ты и сама знаешь, мама.

Мне показалось, что она подавила зевок, но затем я понял, что у нее чуть не вырвался вскрик или, может быть, стон.

— А я все это время была уверена, что ты забыл.

— Забыл?

— Ты был тогда такой маленький. — Я ощутил, как что-то вздымается во мне, точно переворачивая вверх тормашками, и я как бы снова становлюсь ребенком. И потом, вдруг, мы оба заплакали. — Ты знаешь, правда? — сказала она. Затем подошла и обняла меня одной рукой. — Но я охраняла тебя. Хоть на что-то твоя мать годилась, даже тогда. Я его остановила. Я только раз поймала его с тобой, но пригрозила, что вызову полицию. — Я смотрел на себя с бесконечным вниманием и любопытством: видел, как я брожу по улицам Лондона, наблюдал, как я роюсь в своих книгах, слушал, как я беседую с Дэниэлом о своем детстве. Оказывается, я себя совершенно не знал. — После этого я никогда не оставляла тебя с ним наедине,— говорила она. — Я защищала тебя. — Я очень пристально глядел в стол — я различал структуру древесины, все ее свилеватости и неоднородности, я так напряженно вглядывался в самую сердцевину этого дерева, что меня стало затягивать туда, точно водоворотом. — Он клялся, что не причинял тебе вреда, Мэтью. Говорил, что и пальцем тебя не тронул. Но после того случая я возненавидела его навсегда. — И тут, покоясь в глубине этого дерева, я понял истину, которая почему-то ускользала от меня прежде: материальный мир есть обиталище вечности. Одна тайна вела к другой тайне, и я медленно сдвигал завесу. — Прости меня, Боже, было время, когда я думала, что ты с ним...

— Твой собственный сын?

Несколько секунд я слушал ее молчание, потом поднял на нее глаза. Сейчас мне кажется, что я не плакал.

— Ты не мой сын, Мэтью. Он нашел тебя. Усыновил. Он говорил, ты какой-то особенный. Уникальный. Мне пришлось с этим смириться: я знала, что сама никогда не смогу родить ему детей. — Теперь я понял, откуда брались ее гнев и горечь, даже в тех случаях, когда она изливала их на меня. Мой отец медленно разрушал ее, так же верно, как если бы кормил ее ядом. Но чего он хотел от меня? Как назвал это Дэниэл? Магией секса? Теперь мне стало ясно, отчего я забыл свое детство и потому забыл себя. Ясно, почему в моих воспоминаниях не было людей. Я утерял все с самого начала. Лишь ценой невыносимого душевного напряжения я мог обращаться мыслями к той поре своей жизни, которую мнил забытой, но которая, по сути, сформировала меня.

До полудня мы успели поговорить обо всем, и я рассказал ей, что выведал о его жизни на Клоук-лейн. Она ни капли не удивилась этому: она уже давно подозревала, что у него имеется, по ее выражению, «логово». По мере того как развивалась беседа, каждый из нас начинал узнавать собеседника; мы походили на чужих друг другу людей, понемногу налаживающих знакомство. Это было чрезвычайно странное чувство: увидев в ясном свете его, мы увидели и себя.

— Мне было так трудно, Мэтью. Ведь он всегда оставался рядом, понимаешь. Ты всегда был, в общем-то, его ребенком, а не моим. Считается, что все дело в любви, но... — Вот в чем была главная тайна. Я вырос в мире без любви — в мире магии, денег, обладания — и поэтому не имел ничего ни для себя, ни для других. Вот поче-

му вместо реальных людей я видел призраков. Вот почему мне слышались голоса прошлого, а не настоящего. Вот почему я мечтал о том, чтобы укрыться под стеклом, в покое и отчуждении. Миф о гомункулусе был всего-навсего одной из сторон лишенного любви отцовского существования — этот образ стерильности и ложной невинности не мог родиться ни из какого иного источника. Теперь же наступило время коренных перемен.

Я встал из-за стола и обнял ее.

— Что ж, мы все-таки можем быть благодарны,— сказал я. — По крайней мере, мы уцелели, правда?

— Вроде бы.

В этот момент на кухню вернулся Джеффри.

— Я не пропустил ничего интересного?

— Нет, милый,— сказала она. — Мы тут просто повспоминали кое о чем.

— А, ну хорошо. — Теперь я понял, отчего моя мать выбрала себе в пару столь заурядного человека: он был символом обычного течения жизни, которого она все эти годы была лишена. Впрочем, что же здесь такого обычного, если это принесло ей счастье? Только начни искать вечность, и будешь обнаруживать ее повсюду. Я стоял у кухонного окна и глядел на лужайку, а он подошел ко мне, точно желая утешить.

— За садом нужен уход,— сказал он. — Пойдемте, я покажу вам, какие подсолнухи вырастила ваша мать. — Я оглянулся, думая увидеть ее, но она уже вышла из кухни, и я последовал за ним к цветочным клумбам, куда вели дорожки из разноцветного камня. Он догадывался, что случилось нечто особенное, я знал это, но задать нескромный вопрос было для него так же невозможно, как раздеться донага перед соседями. — Стало быть, потолковали, да?

— Да. Потолковали.

— Ну и славненько. — Мы неторопливо шли по лужайке, восхищаясь каждым кустом и каждым отдельным цветком, и наконец добрели до подсолнечников, которые росли у кучи мусора в дальней части сада. — Удивительно, как они вырастают из всей этой дряни и грязи,— сказал он.

— Не думаю, что это так. Вернее, не совсем. — Он изумленно поглядел на меня, но смолчал. — Отчего они, по-вашему, зовутся подсолнечниками?

— Они всегда поворачивают головки вслед за солнцем.

— Нет. Они и есть солнце.

— Не могу уследить за вашей мыслью.

— Не можете повернуться вслед за сыном? — Я пробормотал это себе под нос, и он меня не расслышал.

— Я знаю, что вас заинтересует, Мэтью. Вы помните, что я работаю в районе будущих лондонских новостроек? — Он уже много раз говорил мне, что исполняет функции топографа на прокладке одного из восточных «коридоров» города. — Недавно мы наносили на карту русло старой реки Соукен — надо было удостовериться, что там не произойдет оседания. Она течет от Уолтем-форест вниз, через Бетнал-грин и Шадуэлл. Понятно, где это? — Я кивнул, хотя слушал его вполуха; я глядел на окно спальни матери. — Мы изучали старые сливные каналы, которые туда впадают, и кое на что наткнулись. — Теперь он завладел моим вниманием, и мы присели на деревянную скамейку перед лужайкой. — Мы нашли несколько узких туннелей, где-то между Уоппингом и Шадуэллом. Конечно, сначала я подумал, что они были построены вместе с каналами, но потом сообразил, что их направления абсолютно друг другу не соответствуют. Абсолютно. И мы решили пройти по одному из них — там было сыро, и скользко, и дух тяжелый, но мы к этому привыкли. И тогда мы наткнулись на удивительнейшую вещь. — Мать помахала из своего окна, и я помахал ей в ответ. — Мы выбрались на открытое место, и там лежали какие-то старые камни. Один походил на кусок колонны, а другой — на булыжник из мостовой. Понимаете, стертый ногами. А еще там был обломок арки — просто валялся на земле. Что вы об этом думаете? — Я думал только одно: обнаружен погибший город. Восстановлена какая-то часть прошлого.

В этот миг кернтерьер моей матери стремглав вылетел из дому и приветствовал нас пронзительным лаем. Прежде я никогда толком не обращал внимания на этого пса, но теперь увидел, какой он живой и веселый. В саду, мире земли и воды, он выглядел порождением мира огня. Но существует ли место, где можно примирить все стихии, где призраки и реальные люди, древние города и нынешние, мои прошлая и настоящая жизни, моя мать и я смогли бы объединиться в любви? Джеффри поднял песика, и тот пылко лизнул его в лицо.

— Мне уже пора,— сказал я. Он хотел встать и проводить меня, но я положил руку ему на плечо. — Нет. Оставайтесь с собакой. Я только зайду к матери.

Она ждала меня на кухне, и мы в первый раз обменялись рукопожатием. Это был очень странный жест, но отчего-то он показался нам уместным. Затем я поцеловал ее в щеку.

— Я еще появлюсь,— сказал я.

Я вышел из дома и уже шагал по Вулфстан-стрит, когда меня захлестнула первая волна чувства. Что-то поднялось во мне и бросило меня на кирпичную стену соседнего сада. Я словно пытался удержаться на поверхности ощущения гораздо более мощного и глубокого, чем все мои собственные душевные порывы. Оно наполнило меня, а потом, спустя несколько мгновений, исчезло. Я все еще стоял, прислонившись к стене, и теперь поднес руку к лицу. Вскоре я завернул за угол, на Брейбрук авеню, и направился к «Илинг-Бродвею». В этих местах прошло мое детство, которое я раньше презирал и отвергал, но сейчас я испытывал странное умиротворение и даже радость. Я видел, как девочка переводит через дорогу старика, и слышал, как кто-то поет неподалеку. Мне кажется, что именно тогда я начал жалеть своего отца.

## *Келья прозрений*

«Очистились ли вы, мистер Келли? Вы хорошо знаете, что, если предпринимающий сие не чист, он навлечет на себя кару».

«Я воздерживался от соития в течение одного дня и одной ночи. Я не грешил чревоугодием. Я вымыл все тело и остриг ногти».

«Тогда смело переступайте порог. Это место священно». И мы вошли в свою тайная тайных, гадальню или келью прозрений, неся с собою кристалл, каковой я с должным благоговеньем возложил на шелковую ткань. «Сядьте за опытный стол,— промолвил я,— и изготовьтесь ко всему, что может быть увидено или услышано».

«Нет ничего более тяжкого, доктор Ди. Сей труд изнуряет меня».

«Что ж, покуда вы еще крепки». Я стал за ним на своем обычном месте, хотя мне не дано было узреть что-либо in crystallo. «Вы еще ничего там не видите?»

«Нет. В камне не видно ничего, даже золотой завесы».

«Прозрачность камня такова, какою ей надлежит быть по природе?»

«О да».

«Значит, мы должны преисполниться веры и ждать, ибо в наших руках огромная сила. Мы постигли многое и постигнем еще больше».

«Теперь я вижу в камне золотую завесу,— прошептал Келли немного спустя. — Она не шевелится. Нет, шелохнулась. Она словно бы далеко-далеко от меня, а между завесой и своим передним краем камень прозрачен. Под завесой я различаю ноги людей до колен. Сейчас все замерло».

«Наберитесь же терпенья, мистер Келли, ибо картины сии чудесны».

И мы вернулись к своему бдению. Каждый сеанс занимает день, но поскольку всякая попытка сопряжена с величайшими предосторожностями и трепетным волнением, мы входим в эту комнату лишь однажды в неделю. Кроме того, многое требует истолкования, и смысл всего увиденного открывается мне только по мере просмотра моих книг: сии истины не следует схватывать с жадностью, уподобляясь псам, треплющим за уши медведей в Парижском садике.

С той поры, как Эдуард Келли поступил ко мне на службу и мы с ним впервые побывали на пересохшем болоте близ Уоппинга, куда привели нас поиски древнего города Лондона, минуло ровным счетом двенадцать месяцев. Однако туман, коим окутано былое, не так легко развеять: мы возвращались на пустырь несколько раз, но не нашли там ничего, кроме кургана и обломка старинного камня. Как-то зимним вечером, когда воцарилась тихая погода (к вящему неудовольствию Эдуарда Келли), я даже установил на кургане столик, водрузив на него сосуды с маслом, вином и водою: Агрикола в своем «De re metallica»[1] пишет, что луч свечи, падающий на поверхность сих жидкостей после отражения от гладкого металла, может возродить образ забытых вещей. Однако в свете луча не возникло ничего, способного помочь нам, и все осталось скрытым. Мы могли бы попросту начать раскопки, но лишь рискуя выдать свои замыслы. «Я чувствую себя

[1] «О металлическом» (*лат.*).

так, будто родился не в свое время,— сказал я Эдуарду Келли той ночью, когда мы возвращались с Уоппингского болота. — Будто мне предлагают любоваться деревянным глобусом, тогда как я жажду увидеть все небо». Говоря это, я и впрямь был близок к отчаянию, но вдруг обнаружил стрелу, могущую поразить нашу цель иначе. «Впрочем,— сказал я,— почему бы вам не стать моими глазами?»

«А именно?..»

«Мы должны снова обратить свои взоры к камню. Вы хорошо знаете, как действует на солнечные лучи параболический отражатель, или воспламеняющее зеркало. Так почему бы нашему священному кристаллу, нашему дивному камню не увеличить и не сделать зримым окружающий нас мир духов? Где отыщем мы лучших проводников на пути к канувшему в землю граду?»

«Конечно,— ответил он,— сей камень обладает волшебными свойствами, ибо я уже видел в нем чудные картины. Но я не уверен...»

«Нынче не время угрызаться сомнениями, Эдуард. Если он и вправду таит в себе ключ к сокровенному, его следует блюсти и охранять. Я приготовлю маленькую келейку за своей лабораторией, и она будет замкнута и заперта от посторонних глаз — даже моя жена не отважится войти туда. И там, в этой уединенной комнате, мы станем вопрошать камень упорно и терпеливо. Иначе нам ничего не достигнуть».

Так было решено оборудовать для волшебного кристалла комнату, к каковому труду я приступил на следующий же день. На полу я начертал магические круги, символы и заклинания, ведомые мне благодаря «De mysteria mysteriorum»[1] Корнелия Агриппы. Затем с помощью «Mutus Liber»[2] я сделал прозрачный столик, круглый, как тележное колесо, и желтою и синею красками нанес на него необходимые символы и имена; по бокам он тоже был расписан, но алым цветом, а каждая ножка покоилась на восковой печати Гермеса Трисмегиста. Большая печать с выдавленными на ней священными именами была положена мною в центр столика; затем я накрыл все это красным шелком, а сверху поместил хрустальный камень. И наши кропотливые приготовления не были напрасными, ибо, laus Deo, сей камень оказался истинно ангельским, отворяющимся под взором Эдуарда Келли; в сем стекле были замечены многие предметы или образы предметов, посланные нам — в чем я нимало не сомневался — либо самим Богом, либо по его воле.

Первого посещения мы удостоились не более чем через неделю после всей этой тщательной подготовки и начала опытов. «Там брезжит завеса,— сказал Келли, склонившийся над кристаллом,— и вот она поднимается как бы рукою». Я затрепетал от любопытства и восхищения и стал умолять его говорить обо всем как можно подробнее. «Теперь я вижу маленького мальчика. Он вынимает из кармана какую-то книжечку. Глядит на рисунок в книжечке».

«Вы видите рисунок?»

«Нет. Он переворачивает страницы книги. Его словно окликнул некто, кого я не слышу. Одежды мальчика испускают сияние внутри камня. Мальчик как бы собирает вокруг себя дымку и исчезает в непроницаемой пелене. Теперь он пропал».

Второй посланец явился на следующей неделе. «Завеса шевелится,— сказал Келли. — Там что-то есть, однако я еще не могу разобрать что. Теперь вижу человека, идущего по белой дороге. Это высокий мужчина преклонных лет, с непокрытой головой».

«И сие происходит въяве?»

«Я гляжу в камень своим телесным взором, доктор Ди, а не мысленным. Сейчас этот человек идет прямо к нашему дому! Он уже поравнялся со старым колодцем».

«Неужели он так близко?»

«Он приближается к дому. Делает взмах, словно желая постучать в дверь. Но вдруг опускает руку и смеется». Внезапно Келли рывком откинулся назад. «Он бросил из камня пылью мне в глаза».

«Глядите же в камень,— взмолился я,— ведь сей старец совсем рядом с нами».

«Вот он дернул завесу, как бы обернув ее вокруг камня, и я более ничего не вижу».

---

[1] «О тайне тайн» (*лат.*).
[2] «Безмолвная книга» (*лат.*).

Он распрямил спину, лихорадочно дрожа, и я готов был задрожать вместе с ним: что за призрак или демон едва не постучался ко мне в дверь? И тут я вспомнил отца. «Не было ли у того престарелого человека седой раздвоенной бороды?»— спросил я Келли, который уже вновь опер-ся на столик, вглядываясь в камень точно во сне.

«У него не было бороды. Он был одет в странные одежды». Келли опять разогнул спину и сел прямо. «Но теперь я вижу другого, целиком заключен-ного в пламень. Да, он состоит из великого множества языков огня. Вот он уподобился большому огненному колесу величиной с колесо телеги, и оно вращается в камне. Вот оно пропало. Теперь исчезло все». Он покрылся обильным потом и провел рукой по лицу. «На сегодня с меня хватит. Лицез-рение подобных картин достается смертным чересчур дорогой ценой».

«Что говорить о цене,— сказал я, пытаясь ободрить его,— если нас ждет высочайшая из всех мыслимых наград? Здесь, в камне, заключено сокровище».

«Вы имеете в виду тайну золота?» Его вдруг снова бросило в пот. «Я думал, она вам ведома».

«Нет, не золота, но гораздо более чудесных субстанций. Если сии духи — посланники Бога, в чем я убежден нерушимо, то они способны помочь нам в поисках сердцевины самого времени».

«Но тайна золота вам известна? По сему предмету вам нечего испраши-вать помощи?»

«Мне ведомы многие тайны и секреты, мистер Келли, о каковых я расскажу в свой час. Однако ныне мы близимся к разрешению более великой тайны, и я прошу вас вернуться к вашему занятию. Если вы жаждете злата, алмазов или иных драгоценностей, обратите свой взор к священному кристаллу».

Через две недели после этого разговора в келье прозрений случились перемены. Я вошел туда чуть позднее своего напарника — меня задержала необходимость сказать несколько гневных слов слуге, не вымывшему мой ночной горшок,— и застал его сидящим на стуле в некоем изумлении. «Вы слышите звуки?»— спросил он меня.

«Где?»

«Где же, как не в кристалле? Там раздается шум. Разве вы его не слышите?»

В испуге я отступил назад, но затем меня одолело любопытство; я приблизился к камню и спустя несколько мгновений услыхал в нем потрес-киванье или позвякиванье, хотя его не тревожила ни рука смертного, ни что бы то ни было иное, принадлежащее этому миру. «Я слышу нечто,— прошептал я,— подобное звону связки ключей, которую трясут скоро и сильно».

«Вы надеялись услышать голоса, сэр, но это всего только шум».

«Кто знает, что произойдет дальше? Быть может, это лишь первая нота целой песни».

В последующие недели правота моя была доказана: Эдуард Келли скло-нялся над камнем, и при его посредстве я обрел возможность беседовать с духами. Первою явилась к нам маленькая девочка не старше семи или восьми лет: он ясно увидел ее сидящей на скале в пустынном месте и спросил, откуда она. Я ничего не видел и не слышал, но он повторял все.

«Я вторая по возрасту в нашей семье,— ответила она. — У меня дома остались малютки».

«Спросите, где ее дом, мистер Келли».

Он задал ей этот вопрос, и она отвечала так: «Я не осмеливаюсь ска-зать, где мы живем. Меня побьют». Но тут она протянула к нему обе руки, говоря: «Прошу тебя, поиграй со мной немножко, и я скажу, кто я такая».

«Ангел ли она,— спросил я его,— или некий дух более низкого чина, присланный для беседы с нами?» Но тут она исчезла.

Я преклонил колени и начал молиться, а Келли тем временем тушил свечи, одну за другой. «Если вы вступаете в связь с творцом сих существ,— сказал он, снимая нагар с последней,— смотрите, как бы вам не оказаться обманутым».

Теперь келья прозрений погрузилась в довольно густой мрак, ибо я завесил окно гобеленом и убедился в том, что все двери надежно заперты. «Какого же обмана вы опасаетесь?»

«Дьявол порой принимает странные обличья, доктор Ди, и прежде чем довериться этим духам в камне, мы должны еще о многом вопросить их».

На следующей неделе нам не повезло, in crystallo ничего не явилось, и мы уже собрались покидать комнату, как вдруг я услыхал исходящий от камня весьма громкий шум, словно некие люди крушили земляные стены. Скоро он разросся в ужасный стук и грохот — нам почудилось, будто сотрясается весь дом. Мы оборвали молитву и в испуге воззрились друг на друга; тут шум прекратился, и наступила тишина.

Минула еще одна неделя, и, едва усевшись за опытный столик, Эдуард Келли заметил в кристалле движение. «Я вижу двоих мужчин,— сказал он,— беседующих меж собою».

«Слышите ли вы их речи?»

«Один говорит, что видел второго на Харлот-стрит[1] или Шарлот-стрит».

«Но такой улицы не существует».

«Второй тяжко вздыхает. Теперь оба исчезли».

Это было воистину диковинное видение, но когда мы вернулись к кристаллу в очередной раз, нас ожидало еще большее чудо. «В камне гремит гром,— сказал мне Келли, приблизясь к опытному столику. — Еще там как бы некий расплывчатый свет, в коем я различаю фигуру».

«Нам знаком этот человек?»

«Это мужчина,— сказал он. — На нем черный атласный камзол, раздвоенный сзади».

«Кто же он по своей природе? Ждал ли он нас целую неделю?»

Келли повторил мои вопросы и прислушался, словно улавливая ответ. «Того, кто говорит с нами, не следует спрашивать о подобных вещах»,— сказал он.

«Может ли он назвать нам свое имя?»

«Он отвечает, что его имя Зальпор, один из Элохим. Сейчас я вижу его ясно. Вокруг его шеи плоеный воротник. Он широкий, с чернотой или синевою по краям».

«Скорее черный. Вопрошайте же его, покуда он не исчез».

«Погодите немного, ибо он приближается. Теперь засмеялся, ха, ха, ха! это громоподобный смех. Вот он говорит, Ди, Ди, я знаю, кто твой тайный враг».

Здесь у меня подпрыгнуло сердце. «Кто же?»

«Род людской».

«О, — воскликнул я,— в его шутке скрыта глубокая правда!» Затем я добавил, уже спокойнее: «Да будет так. Он изрекает лишь истину».

«Ди, Ди, по замыслу Господа суждено тебе претерпевать от недостойных хулу и поношения, быть гонимым на своей родной земле».

Тут мне вспомнились те, кто противостоял мне,— Оустлер, Раштон, Дандас и другие,— и на меня нахлынул великий гнев. «Да,— вскричал я,— пусть невежды тешат себя болтовней, покуда судьба благоприятствует им. Но жирный гусь первым попадает на вертел, и я еще увижу, как удача отвернется от них навсегда!»

Келли жестом призвал меня к молчанию. «Дух говорит опять,— прошептал он. — Но я не могу разобрать его слов. О. Теперь я понял. Я слышу все. Он говорит, что вам, верно, радостно видеть, как эти глупые мотыльки играют с огнем, который пожрет их. Вот он сотрясается. О Боже. Теперь его голова как бы вертится на плечах». Келли продолжал глядеть в камень, а затем, словно по чьей-то чужой воле, произнес следующие слова: «Ди, Ди, склони слух к моему предвещанию. Беги, когда можешь бежать».

После сего призрак исчез из камня, оставив Келли в чрезвычайном смятении — ибо, сказал он, откуда нам знать, из какой сферы он пришел и ангел ли он либо некто еще? «Я согласен глядеть и изустно описывать вам все, что он мне явит,— сказал Келли,— но душа моя восстает против него».

Я же оправился довольно скоро и ответил ему, что бояться нечего, зато достигнуть можно многого. «Сии призраки направляют наш путь в лабиринте знания,— продолжал я. — Добры они или злы — хотя я готов поклясться, что их породили добрые силы,— в любом случае они приносят нам вести из иного мира. Помните, что мы с вами обречены жить здесь, под луною, где материальное тяготеет над нами подобно оковам. Неужто не прислушаемся мы к сим голосам из иных областей или отвратим взор от столь дивных видений? Что же нам делать, как не стремиться к знанию высших сфер? Презрев жалкую человеческую суету, я посвятил кропотливым поискам великой истины всю жизнь, и ничто на свете не заставит меня изменить свой

[1] В переводе с английского — «улица шлюх».

выбор. Я знаю, что вы хотите добыть денег с помощью дистилляции и завершения алхимического процесса...»

«Да нет же, сэр...»

Я поднял руку. «Хотите. И я хочу. Но я вижу впереди сияние, затмевающее блеск любых земных сокровищ, а оно призывает меня сюда, к этому хрустальному камню. И довольно разговоров о демонах. Мы должны идти далее».

Он согласился на это с огромной неохотой, но моя решимость была щедро вознаграждена уже во время очередного сеанса.

«В камне слышится гул,— сказал он мне в тот день,— громкий гул множества голосов. Теперь слышно, как рушатся колонны».

«Вам пока ничто не явилось?»

«Вот возникает некий юноша, он улыбается мне. Он стоит на кафедре, словно уча или проповедуя».

«Что еще вы видите?»

«На нем странная мантия без широких рукавов. Вместо обычных штанов в обтяжку его ноги прикрыты какой-то тканью. Теперь я вижу другого человека без камзола, в одной рубахе и с такой же тканью на ногах. Между ними происходит краткая беседа или совещание».

«Слышите ли вы, о чем они говорят?»

«Голоса этих людей тихи, словно шепот ветра, но сейчас я, кажется, что-то слышу. Их зовут Мэтью и Дэниэл».

«Святые имена».

«Теперь они говорят о вас и весело смеются».

«Обо мне?» Я был глубоко устрашен этим, однако любопытство возобладало надо всем.

«Вот они ушли. Вот явился другой. Это человек в бархатной мантии, отороченной белым мехом, и он помавает руками, как бы обращаясь к вам. Я повторю его речи слово в слово». Затем Келли стал передавать то, что слышал.

«Джон Ди, Джон Ди, срывался ли ты с лестницы жизни?»

«Да,— отвечал я,— и неоднократно, из-за чужих злоумышлений».

«И потому дорога к благоденствию была для тебя закрыта?»

«Воистину так».

«Что ж, Джон Ди, в сем мире мало дружбы. Но исполнись мужества: в стане врагов твоих есть лишь один властелин, и имя ему страх. Ведом ли тебе некий Ричард Пойнтер, что зовется щеголем Ричардом?»

«Да, отъявленный негодяй, вор и мошенник».

«Он еще жив и распространяет о тебе ложные слухи, но дни его уже сочтены».

«Сладок плод твоей воли».

«То не моя воля, а твоя. Джон Ди, Джон Ди, будь учтив со всеми, но не доверяй никому. Я знаю, сколь дерзки твои замыслы и мятежна душа, но тебе суждено покорить все вершины. Помни, что к Сизифову камню мох не липнет, о нет, и к подошвам Меркурия не пристает трава: так стремись же дальше, чем надеешься досягнуть, пытайся познать весь мир и чекань злато как вещественное, так и духовное. Я говорю тебе, Джон Ди: земных лет достанет тебе на то, чтобы после ухода из сей юдоли оставить по себе славу и память до скончанья веков. И помни, что твой маленький человечек уведет тебя далеко за пределы сосуда, в коем он обитает. Теперь прощай». И Эдуард Келли поник в обмороке. Я был поражен, услыша его слова о гомункулусе, который даже в ту пору был не более чем моею мечтой и моею надеждой, покуда ни во что не воплощенной; но я забыл, что из той сферы они могут видеть все, даже тайны, хранимые у меня в груди.

Да, врата вечности распахнулись широко, и за недели, прошедшие после этой беседы, мы стали свидетелями многих чудес и откровений. Спустя некий срок Келли стало чудиться, будто призраки покидают камень и летают по комнате, и он был жестоко уязвляем их злонамеренными проказами. В его голове раздавались звуки — хотя ничто зримое о сем не говорило,— а когда он садился в зеленое кресло у священного столика, на его правое плечо начинал давить тяжкий груз или невидимое бремя. Ему казалось, что некто пишет на нем, но я не замечал никаких слов. Еще через неделю — мы всегда обращались к магическому кристаллу по пятницам,— сев после полудня рядом со мною, он ощутил у себя на макушке странное шевеление. Затем потустороннее существо снова угнездилось на его правом плече, и он

почувствовал исходящее от него сильное тепло.

Но впереди было еще не одно диво: вскоре после этого, когда я ожидал у столика, Эдуарду Келли привиделся над моей головою клуб белого дыма. Потом вокруг его собственного лица заплясали маленькие дымчатые шарики, круглые и величиною с булавочную головку, и он насилу отогнал их от себя. «Сии духи обладают большой мощью,— заметил я немного спустя, когда мы сидели в моем кабинете и обсуждали наши последние наблюдения. — Они становятся зримыми не только в камне, но и в окружающем мире и способны оказывать на нас вещественное воздействие. Так почему бы им, подобно пчелам, не творить мед наряду с воском?»

«Поясните мне это».

«Я желаю познать все, но, кроме того, желаю и свершить все. Лишь тогда достигну я верхнего предела своих устремлений. Хотите услышать больше об искомом нами древнем граде?»

«Я всегда готов внимать вам, как вы могли убедиться».

«Рядом со мною лежат повествования о далеких временах, отстоящих от нашего века более чем на три тысячелетия,— тогда на земле пребывала такая сила, что все люди были равны богам. Именно представители сей допотопной расы — если я, конечно, не заблуждаюсь — и основали волшебный град Лондон. Где-то под землей, среди древних руин, могут и поныне лежать эмблемы и символы того священного поколения, чья власть была столь велика, что его нарекли поколением исполинов, славных не физической, но духовной мощью. И кто знает, какую силу мы обретем, найдя оставшиеся от них предметы и реликвии — что-нибудь наподобие нашего магического кристалла из Гластонбери? Не сможем ли мы тогда поколебать сферы и дотянуться рукою до самих неподвижных звезд?»

«Вы замышляете больше, чем я способен помыслить, доктор Ди. Почему вы говорите мне обо всем этом лишь сейчас?»

«Я бы и прежде упомянул о сих материях, если б вы умели понять меня». Он хотел было сказать еще что-то, однако я жестом остановил его. «Но нам мало только строить планы да догадки. Мы должны действовать, опираясь на то знание, какое у нас есть. Помните чудесную выдумку Эзопа о мухе, что сидела на ступице тележного колеса и молвила, экую пыль я подымаю? Не стоит нам уподобляться сей мухе. Мы должны вращать колесо собственными силами».

«Я не могу проникнуть в смысл ваших речей».

«Мы должны вызвать призраков в камне, как делали прежде, но теперь нам следует открыто вопросить их о том, что нас гложет. Пусть они направят наши шаги прямиком к сокровищам древнего града. Мы приступим к ним с молитвою и душевным трепетом, и однажды они отведут нас под землю, где мы отыщем своих праотцев. Если они станут нашими поводырями, нам не понадобится иного компаса». Он явно ужаснулся моим словам и начал расхаживать взад и вперед по кабинету, а затем разразился целой бурей сомнений и попреков в адрес являющихся нам духов.

«Они будут наставлять нас»,— отвечал я.

«Я им не доверяю».

«Но вы не можете презреть и отринуть советы потусторонних посланцев до того, как услышите их».

«Да разве я их не слышал? Кто знает, не отведут ли они нас в царство тьмы и страха?»

«Будьте смелее, Эдуард. Они — наши стрелы. Неужто мы не отважимся с их помощью поразить мишень?» Я на мгновенье остановился, затем добавил: «Это сделает вас богатым».

«Мне не надобно злата, сэр, коли оно от Дьявола».

«Прекрасно. Тогда *я* сделаю вас богатым. Положитесь на меня, а не на те бесплотные создания».

«Воистину?»

«Воистину. Я ограждаю вас от их слов и поступков, если таково ваше желание. Только продолжайте делать то, что делали до сих пор, и будьте моим посредником. Я не требую большего. Я не стану сжигать ваш дом, чтобы поджарить себе яичницу». Это немного успокоило его, и после недолгих препирательств он обещал задать им мои вопросы во время следующего сеанса.

В тот день я приблизился к опытному столику с заметным душевным трепетом. «От камня исходит на диво громкий шум,— сказал он,— словно разом заработала тысяча водяных мельниц».

«Вы что-нибудь видите?»

«Вижу два существа или двух призраков — не знаю, как теперь величать их. Вот высокий молодец на лошади; у него подстриженная борода и плащ небесного цвета. Мне не видно, каким путем он следует, но места эти мне знакомы: да, он едет по Чаринг-кросс. Рядом еще один всадник — мужчина с худощавым лицом, в короткой накидке и с позолоченной рапирой».

«Спросите их, куда они направляются. Быть может, им ведомо то, что нам нужно».

Он повторил мой вопрос, а затем прислушался, наклонясь поближе к камню. «У них нет определенной цели,— отвечал он. — Но вот они подъезжают ко мне. Высокий держит в скрюченных пальцах маленькую палочку, на левой руке у него шрам от удара саблей. Другой, с худым лицом, обут в высокие сапоги, тесно облегающие ноги. Он поднимает свой жезл и указывает из камня на вас».

Тут я ощутил чрезвычайно сильный испуг и почувствовал, что белею, точно бумага. «Готовы ли они исполнить мое желание?»

«По-моему, да».

«Тогда просите их скакать к древнему граду. Пусть отведут нас к сей погребенной славе».

«Они слышат вас и начинают смеяться. Теперь вперед выходит девушка, облаченная в длинный белый балахон; она берет коней под уздцы и ведет их от Чаринг-кросса к центру города».

«Возможно, она слышала мою просьбу и показывает нам верный путь». Меня одолел азарт охотника, идущего по следу. «Что вы видите еще?»

«Они скачут во весь опор, а девушка движется впереди с широко раскинутыми руками — ее ноги не достигают земли примерно на ярд. Похоже, сейчас они минуют те поля, что чуть далее Св.Ботольфа, прямо за Олдгейтом».

«Они стремятся туда, где захоронен старинный град».

«Они остановились у той пустоши...»

«Мы и сами стояли там неоднократно».

«Вот они указывают на фундамент древнего здания, видимо, церкви или храма».

«Имеет ли он отношение к той глыбе, что мы там нашли?»

Продолжая вглядываться in crystallo, он не заметил моего вопроса. «Теперь все изменилось. Все залито светом. Они стоят посреди города, где дома сложены из камня и очень величавы».

«Возможно ли это? Ужели нам открылось видение самого древнего града?»

«Это не похоже на зрелище, представшее передо мною в Гластонбери, однако я спрошу их». Затем он снова прислушался к камню. «Они не говорят мне имени города или не знают его».

«Но что же они говорят?»

«Человек с худощавым лицом приближается и окликает вас».

«Скажите ему, что я здесь и жду его велений».

«Он слышит вас и молвит следующее. Ди, Джон Ди, я здесь, дабы поведать и преподать тебе суть вверенных мне доктрин, что сокрыты в тринадцати обиталищах или воззваньях. Для пяти врат сего города есть четыре природных ключа (ибо одни врата отпирать не должно), и с их помощью ты по праву удостоишься проникновения в тайну сего места». Слова эти были темны, и пока я не мог постигнуть их смысла. Келли продолжал, не отрывая от хрусталя жадного взора: «Он приближается к широкой, открытой части города, подобной нашему Смитфилду. Посреди нее возвышается огромный камень около восьмидесяти дюймов в длину и ширину, по меркам смертных, и в камне сем пылает огонь. Теперь он берет шкатулку, открывает ее, и вот, внутри нее бледный восковой образ, сделанный как бы из свечного воска. Теперь второй, с подстриженной бородою, держит над ним нечто вроде стеклянного сосуда, однако я все еще вижу, сколь дивно выписан сей образ. Или, быть может, он весьма грубо вылеплен, с вмятинами и шишками на ногах. Не могу сказать точно. Теперь они опоражнивают в пламя лохань с кровью, и это пламя в глубине камня вспыхивает сильнее, и они бросают туда восковой образ, который словно растет там».

Я отлично понимал всю подоплеку происходящего, ибо сии духи разыгрывали не что иное, как немую сцену рождения гомункулуса. «Ну, а сейчас?»— жадно поторопил я его.

«Сейчас вся картина исчезает». Келли протер глаза и опять склонился над кристаллом. «Два призрака обозревают высохшую пустошь, по коей мы с вами недавно ступали. Оба вздыхают, и один указывает жезлом на землю. О Боже, теперь он растет и заполняет собою весь камень. Теперь я вижу только его зияющий рот. Господи Иисусе, сохрани меня от этого зрелища!»

С этими словами он отшатнулся от опытного столика, и его охватил кратковременный tremor cordis[1]. Но я был весьма обрадован и ублаготворен — не только беседой с духами, в продолжение коей они повиновались моим приказам, но и тем, что они надежно подтвердили мои расчеты относительно местоположения древнего города. «На сегодня хватит,— сказал я ему. — Завершайте свой труд. Мы увидели довольно и теперь должны подготовиться к завтрашнему сеансу».

«Завтрашнему? Зачем же менять укоренившиеся правила?»

«Следует ковать железо, мистер Келли, покуда оно горячо».

«Но я надеялся отдохнуть, сэр, ибо лицезрение подобных вещей дается нелегко. И вот опять, так скоро...»

«Сейчас нам некогда отдыхать. Мы должны двигаться далее».

Вскоре он покинул меня, еще раз сославшись на глубокую усталость, и я прошел к себе в кабинет, дабы заново обдумать все случившееся. Могу признаться, что рассудок мой был до сих пор смущен, а потому я положил перед собою и раскрыл сочинение высокоученого аббата Фладда «О злых демонах», где он предостерегает нас от вызова любых привидений, какой бы природы они ни были. Однако здесь я не могу с ним согласиться. Если сии призраки знают более, нежели мы сами, и если всякое знание есть добро, то что за беда, коли мы будем укрепляться в добродетели? Дыханье льва способно породить как голубку, так и змею, но стоит ли нам из-за страха перед змеями лишаться и голубок? Я размышлял об этом, когда услыхал на лестнице шаги жены; вскоре она вошла в кабинет, а я притворился, будто читаю книгу.

«Я отдала сапоги мистера Келли почистить»,— сказала она, ни пожелав мне доброго дня, ни утрудив себя каким-либо иным приветствием.

«Что ж, прекрасно»,— отвечал я, не подымая глаз от книги. Тогда она опустилась на табурет у моего стола и, тихо напевая себе под нос, взяла один из лежащих рядом томов. «Не потеряйте места, где я читаю, сударыня».

«Не волнуйтесь. Эти страницы так жестки, что я и переворачиваю-то их с трудом». В руках у нее был трактат«Maleficia Maleficiorum»[2]. «У меня голова начинает болеть, стоит только увидеть всю эту писанину,— продолжала она. — Что это, муженек?»

Я заметил, что она разглядывает символ звездного демона, находящийся в широком употреблении у некоторых неплохих ученых из Праги и Гамбурга. «Это часть каббалы. Смотри не ожгись».

«Я видела, как мистер Келли изучает ваши книги с пребольшим рвением, а ведь на нем ни волдырика».

«Эдуард Келли — здесь?»

«Он частенько роется в ваших бумагах, когда вас нет дома. Странно, что он не сказал вам об этом».

«Что ж, библиотекой он может пользоваться и без особого дозволения».

«Хорошо, коли так. А то ведь я не раз слыхала, как он тут бормочет, будто пытается затвердить что-то наизусть». Это поселило у меня в душе легкую тревогу; хотя я и постарался скрыть от жены свое беспокойство, здесь имелись бумаги, каковые никто не должен был видеть без моего одобрения или ведома — никто, даже моя жена, ибо разве можно угадать, какими бедствиями чревато опрометчивое выбалтывание важных секретов? Помнил я и то, что здесь лежат кое-какие заметки о сотворении новой жизни, отнюдь не предназначенные для чужих взоров. Но что же именно Келли старался заучить наизусть?

«Почему вы хмуритесь? — спросила жена. — Неужто заметили какую-нибудь пропажу?»

«Нет. У меня ничего не пропало». Я пристально посмотрел на нее. «Ты желаешь сообщить мне еще что-то?»

«Да нет».

«Однако мне кажется, ты нынче не в настроении».

---

[1] Сердечный трепет (*лат.*).

[2] «Злодейства из злодейств» (*лат.*).

Тут она поднялась с табурета и стала шагать взад и вперед по комнате, буквально не смыкая уст. «Мистер Келли уже много месяцев живет с нами в одном доме, но мы и теперь знаем о нем не более, чем о любом случайном прохожем. Он шныряет в ваш кабинет и обратно, словно боясь, что его изловят, и глядит на Филипа и Одри с таким презреньем, будто они выползли невесть из какой дыры».

«Слова ваши довольно вески, сударыня, однако, думаю я, за ними ничего не кроется».

«Ничего? Стало быть, это ничего, что он имеет собственный ключ от ваших личных комнат и роется в ваших записях и книгах, покуда вас нет дома? Что он таскает тома из вашего кабинета и проглядывает их со свечою?»

«Он ученый, мистрис Ди, и его снедает великая жажда знаний».

Она рассмеялась. «Кабы только знаний, сударь. Если он и впредь будет пить так много вина, у него в животе разведутся лягушки».

«У него возвышенный ум, а ведь люди говорят, что более всех пьет тот, кто дальше прозревает».

«И что же он там узрел, сударь?»

«Пока сие должно оставаться тайной». Я был зол на нее и хотел побольней ужалить напоследок. «Вот что я вам скажу, сударыня. Лучше я выброшу все свои бумаги в отхожее место, листок за листком, нежели отдам их на прочтенье глупцу или вору. Но Эдуард Келли совсем из другого теста. Он — мой semper fidelis[1], и я требую, чтобы вы так же уважали его и доверяли ему, как я сам».

«Ну хорошо, будь по-вашему». Она встала с табурета, присела в знак покорности и направилась к двери. «Верно говорят,— пробормотала она себе под нос,— что разбитую голову штукатуркой не склеишь». Я не понял, к чему это, но едва собрался задать ей вопрос, как она стремительно, точно маленький смерч, повернулась и исчезла из комнаты.

На следующей неделе мы ежедневно посещали келью прозрений, однако в кристалле ничего не являлось; побеседовав, мы сошлись на том, что внезапная перемена в порядке опытов возмутила или разгневала духов. Поэтому мы решили не предпринимать новых попыток до истечения целой седмицы.

Между тем мистрис Ди вняла моим увещаниям и во время трапез беседовала с Эдуардом Келли весьма любезно. Встречаясь с ним в коридоре, она также обращала к нему вежливые и почтительные речи. «Скажите, сударь,— промолвила она как-то днем, когда мы сидели все вместе,— что служит вам главной опорой в трудах — память или вдохновение?»

«Это славный вопрос,— отозвался Келли. — Довольно будет сказать, что память без вдохновенья неплодоносна, тогда как вдохновенье без памяти подобно коню без всадника, пустившемуся в галоп. Такой ответ вам подходит?»

«Вполне, сударь. Именно такого ответа я и ожидала от вас, истинного ученого, который знает, куда ему скакать».

Это был приятный для слуха разговор, однако два дня спустя она внезапно появилась в моем кабинете. Она была охвачена невероятным гневом и яростью и даже занесла руку, точно собираясь ударить кого-то. «Мои кольца и браслет исчезли,— сказала она. — Как корова языком слизнула». Слова извергались из нее таким бурным потоком, что я велел ей успокоиться. «Я искала большую иголку,— продолжала она,— потому что петельки у вас на штанах обтрепались и шнурок никак не продернуть, и пошла в свою комнату, где у меня лежат коробки со всякими мелочами. А ее уже нет».

«Чего нет?»

«Деревянной шкатулки, где я держу кольца. Господи Боже, до чего ж короткая у вас память! Разве не вы купили ее мне в прошлом году в Олд-Джуэри? Такая чудная шкатулочка, вся в мелкой резьбе и с русалкой на крышке! Вот она и пропала. Стибрили ее вместе с моими кольцами и браслетом!»

«Ты просто не можешь найти свою шкатулку. Куда ты положила ее вчера?»

«Вчера я ее не трогала. Она всегда лежит на одном и том же месте, а теперь ее украли».

«Но кто мог это сделать? Филип? Одри? Больше у нас в доме чужих нет».

[1] Верный товарищ (*лат.*).

«Филип и Одри вам не чужие, как и я. Вы забыли про своего мистера Келли...»

«Кэтрин!»

«Будто он не говорил вам, что водит дружбу с чипсайдским ювелиром! А давеча я слыхала, как он рассуждает о полезных свойствах природных камней». Тут я подумал, что он лишь повторяет сведения, добытые от меня. «Почем мы знаем, что это не он тайком уволок мое добро и отнес его в город?»

«Кэтрин. Мистрис Ди. Человека честней мистера Келли свет не видывал. Не он ли работает со мною и помогает мне на протяжении целого года?»

«Вы слепы, как крот, когда сидите зарывшись в свои книги. Взгляните, как он ведет себя и что говорит,— неужто вы искренне верите в его дружеские чувства? Ведь он только и мечтает о золоте, только и думает, как бы выскочить в богачи, а все прочее гори хоть в адском огне. Терпеть его не могу. Больше того — он мне мерзок. И здесь, в собственном доме, я получаю от вас тычки за то, что перестала ему угождать!»

Слова сии были произнесены в чрезвычайном расстройстве и смятении духа, и я попытался ее урезонить. «Но все отнюдь не так, жена. Отнюдь не так. Неужто, потеряв кольца, ты заодно потеряла и разум?»

«Вот что я вам скажу, доктор Ди». Она подошла к окну и выглянула в сад. «Одри видела, как он там с кем-то болтал у калитки. Она божится, что он хулил и вас, и вашу работу».

Я был поражен этим, но даже в первое мгновенье не мог поверить, что возможен столь подлый обман за моей спиной; я отлично понимал, что это происки Одри, и уже изготовился вызвать ее к себе и допросить хорошенько, как вдруг в кабинет вскочил Келли собственной персоной. Я полагал, что дверь закрыта, и теперь весьма испугался его бурной реакции на те нелестные речи, которые он мог ненароком услышать. Жена отступила назад, поднеся руку ко рту. «Девица Одри,— сказал он,— наглая лгунья. Приведите ее сюда, и мы поглядим, хватит ли у нее смелости повторить столь явную ложь мне в лицо!»

Очевидно, слова моей жены произвели большее действие, чем она думала, и будто стальным кинжалом уязвили и поразили его в самое сердце. «Скажите, отчего,— обратился он к ней,— отчего вы не дали себе труда понять чувства, кои я питаю к вам и вашему мужу?»

«Я прекрасно знаю все ваши чувства,— отвечала она. — Вы точно прожорливый крокодил, не жалеющий никого, кроме себя». Тут он заявил, что она заблуждается, а она так разъярилась, что обозвала его лицемером и интриганом. Тогда я велел ей оставить невоздержность и попытался трезвым гласом примирить их, но не достиг цели. «Что ж, я предупредила вас,— сказала она, обернувшись ко мне и пылая очами. — Я вела себя как полагается честной жене. Не надо бы вам менять старого друга на нового». Затем она с сердитым видом вышла вон и захлопнула за собой дверь моего кабинета.

Я встал и устремился за нею, поймав ее за плечи прежде, нежели она ступила на лестницу. «Мое доброе мнение о вас, сударыня, сильно пошатнулось. Как вы могли наплести столько небылиц и лживых историй?»

Она выдержала паузу, не сводя с меня взгляда. «По-вашему, это я плету небылицы, но кое-кто умеет плести их гораздо лучше меня. И еще запомните, сударь. Красильщик может вычернить любую шерсть, какой бы белизны она ни была. Все, больше мне сказать нечего».

«Тогда возвращайся к своим кастрюлям. Да позови ко мне Одри».

Я вернулся в кабинет и со всей возможной веселостью попытался утешить Эдуарда Келли. «Моя жена сущая мегера,— произнес я. — Но слова — это ведь только слова, не принимайте их близко к сердцу».

«Я не держу на нее зла. Ее обманули гнусные наветы вашей безмозглой служанки».

Через несколько минут к нам явилась эта мерзавка, дрожащая как осиновый лист. «Отвечай,— сказал я,— почему ты распускаешь лживые слухи и злобно клевещешь на мистера Келли, который не сделал тебе ничего дурного?» На глазах у нее выступили слезы, и она не могла вымолвить ни словечка, а потом разревелась вовсю. «Когда ты поступила к нам на службу?» Она по-прежнему стояла и плакала, не в силах заговорить. «Не в Михайлов ли день? Я плачу тебе три фунта в год, да еще даю отрез ткани на платье. Так-то ты отблагодарила меня? Что я получил от тебя за свои

деньги, кроме вреда?»

«Я хотела как лучше, сэр. Только...»

«Лучше? Значит, по-твоему, это хорошо — ославить моего гостя вором и коварным ругателем?»

«Я видела его в саду, сэр».

«Ладно, а где была ты? Пряталась под изгородью, вынюхивала да выслушивала, а то и еще что похуже? Итак, ты уволена. Теперь к моему дому и близко не подходи».

Тут Келли выступил вперед, улыбаясь ей. «Не будьте столь суровы, доктор Ди, молю вас. Ее слезы говорят о том, что она раскаялась. Давайте же уподобимся священникам и отпустим ей грехи».

«Слышишь, Одри? Что ты на это скажешь?»

«Я буду благодарна вам, сэр, коли вы меня простите».

«Нет. Не благодари меня. Стань на колени и вознеси хвалу этому джентльмену, ибо он отвратил от тебя кару». Она послушалась, сбивчиво пробормотала несколько слов, а затем ушла от нас, рыдая так, словно ей выжгли клеймо на ухе. «Вы проявили доброту,— сказал я,— к тому, кто не заслуживал и снисхождения».

«Я не считаю ее виновной во всем». Он шагнул за ней и плотно закрыл дверь в комнату. «Здесь есть нечто еще. Кто-то в этом доме трудится и хлопочет, будто пчела».

«О ком вы?»

«О том, чей зловещий обман отравил их разум, так что ваша жена обратилась против меня, а ее горничная видит одни лишь фантасмагории. О том, кто нашептал глупой шлюшке Одри сии подлые слова и кто самым гнусным и наибесчестнейшим образом выкрал у вашей жены ее драгоценности».

«Откуда вы знаете о краже?»

«Мне сказала Одри». И он продолжал еще горячее: «Разве вы не понимаете, что существа, коих мы вызывали в келье прозрений и видели в волшебном кристалле, не вернулись туда, где обитали прежде (где бы ни находилось их обиталище), но остались здесь, в этом доме и в этих самых стенах? В какие черные воды зла заплыли мы, взяв на борт сих пассажиров?»

Меня изумили его речи. «Все это не что иное, как досужее плетенье словес, пустой звук, и не более. Послушать вас, так привидения забрались и в наше отхожее место!»

Несмотря на свое дурное настроение, я не сдержал улыбки, что, однако же, распалило его еще более. Внезапно он обрушил град свирепых проклятий на все и вся, виденное или слышанное нами в потайной комнате. «Наши учители суть обманщики,— заявил он,— и добрых поводырей из них не получится».

Я ответил, что он глубоко заблуждается и перед нами, напротив, распахнут мир знаний и власти. «Какой нам прок поворачиваться спиной к златому граду, первому в Альбионе, когда под землею прячутся несказанные сокровища? Мы должны заново открыть то, что было утеряно нашей страной много тысячелетий тому назад. Теперь уже слишком поздно рассуждать, правильно ли мы сделали, обратясь к сим духам или призракам; мы должны думать лишь о том, как нам двигаться дальше. Я не могу заставить себя бросить начатое, мистер Келли,— нет, я намерен воспользоваться данным мне шансом и исполнить свое назначение».

«И это вы зовете назначением? Более безумного назначения свет не видывал, но коли вам так угодно, будь по-вашему. Я же готов идти с вами только при одном условии».

«А именно?»

«Вы больше не будете скрывать от меня никаких тайн вашего мастерства вплоть до самых высоких и поделитесь со мною всеми секретами ваших ученых занятий и алхимической практики».

Я понимал, откуда ветер дует. «Вы хотите завладеть философским камнем? Вы жаждете разбогатеть?»

«Да, в свой час».

«Или это еще не предел? Может быть, вы жаждете какого-то иного знания?»

«Всему свое время».

«Что ж, пусть будет так. Я не откажу вам ни в чем».

Он протянул руку. «А я не оставлю вас ни теперь, ни в будущем».

«Значит, вы со мной заодно?»

«Заодно, доктор Ди».

На следующей неделе после сего знаменательного договора мою жену свалила горячка. Сначала у нее было лишь некое томительное урчанье в животе, но едва она попыталась нарушить свой пост сладкими гренками, как тут же извергла их обратно; затем ее прошиб горячий пот, и я положил ей на грудь примочку, изготовленную из яиц, меда и сосновых орешков. Впрочем, мне сразу стало ясно, что недуг сей есть лишь плод ее фантазии, дурацкий самообман, вызванный пропажей колец и нашей недавней размолвкой. Посему я трудился не менее ревностно, чем прежде, с головою уйдя в работу за своим столом, покуда она оставалась в постели. «Как здоровье моей женушки?»— спросил я, войдя к ней в комнату через два дня после того, как она слегла.

«Ох, сэр, меня не отпускают ужасные боли и судороги». Она и теперь была в поту и перекатывала голову с одной стороны на другую.

«Это лихорадка,— ответил я. — Терпи и принимай минеральное снадобье, что я для тебя смешал. А тревожиться тут нечего». Затем я с легкой душою покинул ее светелку и отправился к Келли потолковать о завтрашнем сеансе.

Назавтра выдался воистину трудный день, и вечером я сидел у себя в кабинете, изучая очередные сообщения духов. Я взял за правило записывать все происходящее, благодаря чему располагал полными отчетами о наших еженедельных бдениях и обыкновенно корпел над своими бумагами до полуночи. На сей раз передо мною было вот что:

*Призрак.* 4723 зовется мистическим корнем в наивысочайшей стадии трансмутации.

*Ди.* Твои слова темны.

*Призрак.* Сие есть квадрат труда философа.

*Ди.* Ты назвал это корнем.

*Призрак.* Следственно, сие есть квадратный корень, квадрат коего составляет 22306729. В словесном же истолковании он трактуется как Ignis vera mater[1].

*Ди.* Но что это значит?

*Призрак.* Довольно. Я все сказал.

Сидя в кабинете, я пытался проникнуть в смысл этих фраз и вдруг услышал некий загадочный стук; затем раздался голос, повторенный десятикратно,— он напоминал вскрик человека, мучимого болью, однако был тише и протяжней. Я сильно взволновался, а дальнейшее и вовсе едва не повергло меня в обморок, ибо передо мною возникло бесплотное существо, стоящее в углу и простирающее руки в мою сторону. Оно скорой поступью пересекло комнату и остановилось спиной ко мне в противоположном углу. Затем обернулось, вновь издав долгий, мучительный стон, и я узнал в нем отца: он был мертвее, чем год назад, и походил на свой оживший портрет, выписанный чрезвычайно подробно от пят до самой макушки.

«Во имя Иисуса, кто ты?»— воскликнул я. Он безмолвствовал. «Я знаю, что Дьявол может являться в обличье отца или матери, дабы тот, кто увидит его, охотней прислушался к его речам в сем знакомом образе. Так ты и есть сам Сатана? Говори».

Тогда он показал мне ладонь со словами, начертанными на ней как на странице книги: она была столь далека от меня, что я не мог прочесть их, но вдруг, mirabile dictu[2], призрак очутился намного ближе ко мне, чем его рука. «Не тщись ускользнуть от меня,— промолвил он. — Отныне тебя не спасут никакие науки. Твоя ладья уж почти на плаву».

«О какой ладье ты говоришь?»

«О ладье скорби, коей быть тебе печальным кормчим».

«Ты — мой отец?»

«А ты сомневаешься в этом? При моей жизни ты не обращал на меня внимания, однако теперь все будет по-другому». Я был столь глубоко поражен и изумлен, что лишился дара речи, ибо прекрасно видел сквозь него стену своей комнаты и свечу, мерцающую на дубовом сундуке. «Взгляни в

[1] Огонь — истинная мать (*лат.*).

[2] Как ни странно (*лат.*).

мое изъязвленное чрево! — продолжал дух. — Внутренности мои достойны сострадания, но ты скорее смотрел бы, как они корчатся от яда, нежели помог мне».

. «Если ты думаешь, отец, или Дьявол, или кто бы ты ни был, услыхать слова раскаяния или долгий рассказ о том, как терзала меня нечистая совесть, то я тебя разочарую».

«Так вот каков твой ответ? Да стоит мне захотеть, и ты навеки разучишься улыбаться». Он обратил взгляд внутрь себя и выдернул из живота маленькую струйку дыма. «Я вижу, до чего довели тебя твои безумные помыслы и вечное невезение — ты сам стал похожим на мертвеца. А теперь я вижу тебя в большой оконной нише, с вервием на вые».

«Я плюю на твои пророчества».

«Это не пророчество — речь идет о настоящем». Я повернулся, чтобы оставить комнату, но призрак как бы взял меня за горло, хотя я и не ощущал прикосновенья его руки. «Я не собираюсь дать тебе улизнуть и, пожалуй, снизойду до того, чтобы говорить языком рассудка с тобою, его не имеющим. Я скажу тебе слова, запечатленные посредством aqua fortis[1]: ты станешь тем, кто ты есть, ты тот, кем ты станешь».

«Значит, Дьявол говорит загадками?»

«Не гневи меня, жалкий глупец. Ибо я пришел, дабы открыть тебе тайное знание земных недр». Тут я встрепенулся, словно очнувшись от сна, а он издал смех, напоминающий мучительный стон. «Я вижу, как твое сердце скачет вверх и вниз, точно бумажный змей на ветру».

Он понял меня верно. «Воистину,— сказал я,— ради этого знания я трудился всю жизнь».

«Я подарю тебе его. Ибо внемли: мир всегда готов исполниться скорби. Слушай, что будет поведано. Да пошлет тебе Господь доброго отдыха. Я еще вернусь».

Я не знаю, как он покинул меня — растаял ли в воздухе, вылетел в окно или проник сквозь пол моего кабинета; но я уловил как бы слабое дуновение, сорвавшее его с места, после чего он исчез из виду. Я рад был избавиться от него и с облегченьем сел за свой стол, но тут снова раздался голос. Я словно опять услышал глубокий вздох отца, лежащего на смертном одре, где я видел его в последний раз, а потом он заговорил своим прежним голосом: «Никогда никого не любить — страшный жребий. А теперь, добрый доктор, воззри. Воззри на мир без любви».

## *Город*

Воззри же. Воззри на мир без любви. Я очнулся и увидел, что меня окутывает необычайно плотный ночной мрак; но я был уже не в кабинете. Я шел под открытым небом, освещая себе путь фонарем и свечой, а затем уперся в городской вал. Каменный, он вздымался передо мною, словно лик идола из девонширских копей, но, подняв фонарь, я заметил все те щели, трещины, борозды и расселины, кои являют собой печать глубокой древности. Казалось, что стена совсем обветшала и наполовину разрушилась, но как же тогда могла она защищать город? Вдруг один из камней зашевелился у меня на глазах, и я отступил назад с проклятьем, ибо то был паук (весьма редкостный по величине тулова и длине ног); он тронулся с места и столь же внезапно исчез.

Я вошел внутрь через Мургейтские ворота, и сразу послышался глас рога, такой громкий, что в нависшей над Лондоном тьме разнеслось звучное эхо. Я прекрасно знал здешние улицы и не заблудился бы даже без света, однако, подняв фонарь у Большого прохода, увидел множество бредущих по дороге людей в длинных мантиях и бархатных плащах. Каждый из них держал в руке зажженную восковую свечу и вздыхал так, точно грудь его вот-вот разорвется. Они словно меряли шагами темницу ночи — ночи, что была колыбелью тревог, матерью отчаяния и дщерью самого ада. Отчего брели они по Вормвуд-стрит и Бред-стрит с непрестанными стонами? Они как будто были взлелеяны в утробе скорбей и теперь, извергнутые в эти мутные и грязные туманы, стали всего лишь призраками или бесплотными тенями, кои нельзя увидеть при дневном свете. И вместе с тем здесь было

[1] Азотная кислота *(лат.)*. Здесь имеется в виду метод травления, каким изготовляются офорты.

разлито невыносимое зловоние, приводящее на память городскую псарню по ту сторону полей.

Меня охватила внезапная грусть, и тут, на углу Бартоломью-стрит, я заметил идущего мне навстречу Фердинанда Гриффена, моего старого учителя. «Я думал, что вас настигла смерть,— сказал я,— но теперь вижу, что вы еще не покинули жизни». Не отвечая мне, он медленно направился к низкому деревянному дому, на крыше коего пылали семь или восемь факелов,— я знал, что в этом доме безраздельно властвует скорбь. Я последовал за ним и, подойдя к двери, увидел сидящего у окна человека в пурпурной мантии. Самый же дом весьма напоминал мою собственную лабораторию, ибо здесь висели разнообразные стеклянные сосуды; во многих из них я заметил гомункулусов, взращивание коих было предметом моей пылкой надежды. Я присмотрелся и понял, что существа эти совершенно бездыханны; итак, сей опыт был закончен. На щеке мужа, облаченного в пурпур, была бородавка; рядом с ним стояли две девочки в зеленых юбках. Одна из них, маленькая красавица, побежала по коридору прочь от него, но этот человек призвал ее обратно; он сделал ей знак, ударив одной рукою по другой и проведя ею по шее, точно предупреждая, что грозит непослушной, если она выдаст тайну. Но тайна сия была мне отлично известна. Я знал ритуалы amor sexus, ибо она, да поможет мне Бог, практиковалась в тиши и уединении моего собственного дома; это происходило в дни моей юности, когда духи были благосклонны ко мне и глаза демона мерцали в углу. Но вот мой старый учитель, Фердинанд Гриффен, снова очутился перед окном и заговорил со мною. «Глядите,— сказал он,— у меня есть нечто интересное. Я раздобыл последнюю карту Лондона, составленную лишь недавно. Как она вам нравится, любезный доктор?» Он распростер ее передо мной, и я увидел, что все на ней нарисовано верно — ясно обозначены даже совсем новые постройки у Финсбери-филдс и надписаны даже названья переулочков Саутуорка; но когда я смотрел на сей план города, оседлавшего реку, он показался мне изображением мужчины, вскочившего на женщину и свирепо насилующего ее.

И столь велик был мой ужас и столь велика ярость, что я вытянул руки ладонями вперед, точно ограждая себя от своего учителя. «Воистину, я не знаком с вами по-настоящему,— ответил я. — Ни с вами, ни с любым иным человеком, живым или мертвым. Я жажду уединения».

Я повернул назад и спустился по Бартоломью-лейн к Лотбери, где тихой поступью стремились куда-то многочисленные горожане. Глубоко удрученный, я пролагал свой путь сквозь толпу, пока не достиг лечебницы, недавно воздвигнутой на углу Колман-стрит; тут я остановился в изумлении, ибо увидел на ее пороге одного из призреваемых, сплошь покрытого человечьими нечистотами и с ликом жутким и безобразным, усеянным пятнами засохшей крови и разъеденным, словно открытая язва, так что сие зрелище едва можно было вынести. «Зачем дивишься ты моей уродливости,— молвил он мне,— когда нет на белом свете никого, чья душа не была бы столь же немилосердно изувечена? Ты думаешь, это лечебница? Однако, доктор Ди, весь наш мир есть лечебница, и мы томимся здесь в заключении, окруженные таким несметным количеством могил, что не можем и выйти из дверей, не поправ ногою мертвых и умирающих. Видишь сей влажный туман, что стелется над городом подобно пушечному дыму? Это они — вредоносные испаренья земли, густые клубы ядовитых кладбищенских миазмов, что поднимаются отовсюду». Я был страшно потрясен и, обратив взгляд внутрь себя, увидел там лишь гнездилище ужаса, тьмы и смрада. Воистину, сей мир полон скверны и все в нем прогнило насквозь.

Когда я покинул этого страдальца и зашагал по Олд-Джуэри к часам, вокруг стало уже заметно светлее, так как солнце успело немного подняться над горизонтом; вдоль обочины растянулась цепочка людей с пиками в руках, и взоры их были устремлены к Полтри, где стояли бочонки с водой — на эти бочонки забрался человек, громко провозглашающий нечто важное. Я не мог расслышать его речей, но любопытство побудило меня свернуть с дороги, и вскоре я оказался в нескольких ярдах от него. Он произносил не целые фразы, но одни только цифры, словно купец, подводящий итоги своей торговли; он называл денежные суммы, повторяя их столь часто и с такими дикими восклицаньями и ужимками, что я счел его совсем выжившим из ума. Тем не менее я спокойно стоял и внимал ему. «Пятнадцать шиллингов,— выкрикнул он. — И еще парочка пенни сверху. Вы дадите мне пять фунтов? Нет? Один ангел — раз».

Слушая эти денежные подсчеты, я ощутил в душе странное умиротворение, заставившее меня улыбнуться и кивнуть оратору. «Тысяча фунтов золотом»,— промолвил я.

Он спрыгнул с бочонков на землю и зашептал мне: «Если вы не против, мы с вами можем попытать счастья на Бирже. Это недалеко отсюда, а мне надо купить шелковой веревки для вешания».

«Но ведь Биржа еще не достроена».

«В нашем городе она достроена. Пойдемте же». Он заметил, что я дрожу, и рассмеялся. «Неужто вы озябли? Застегните камзол — и не боязно вам ходить таким расхристанным? У нас всегда холод». И он быстро зашагал по улице, вскоре приведя меня к величественному зданию из тесаного камня; внутри него был ровный мощеный двор, где прохаживались люди в черных балахонах, с печальными и мрачными лицами,— иные из них, собираясь по двое или по трое, обсуждали друг с другом какие-то дела. «Вы, верно, думаете, что угодили в Вифлеемскую больницу[1],— сказал, улыбаясь, мой спутник,— а эти несчастные маются черной меланхолией и ипохондрией. Однако не заблуждайтесь. Все это предприниматели — купцы, посредники, менялы, ростовщики. Они суть столпы нашего общества, все более и более возрастающие на обманах, подлогах, взятках, вымогательстве и прочих ухищрениях. Град наш — воистину вселенский, и он расползается подобно черным тучам, что порождают ливень. Довольны ли вы этим, любезнейший доктор Ди?» Тут нас стали теснить и давить со всех сторон, так что я еле удерживался на ногах. За шумом и гамом ничего нельзя было разобрать, да и в самом шуме я не понимал ни единого слова, точно его производили не человеческие уста. Вокруг нас бурлил уже не Бедлам, а сущий ад, где царят лишь мрак да разобщение душ. Так вот во что превратился мой город? Была ли сия жизнь продолжением смерти или то была смерть, коей завершилась жизнь?

Я ходил по Лондону с фонарем и свечою, рыдая, как неприкаянный, и вдруг набрел на толпу, образовавшую собой как бы полумесяц; впереди нее стояла роскошная сцена для мистерий с золотым занавесом. Один из лицедеев, одетый музыкантом и с лютней в руках, выступил на край сцены и обратился к зрителям: «Все радости сей жизни — не что иное, как ребячьи забавы. Вся слава сего мира есть лишь рукодельный фейерверк, что блистает краткое время, оставляя по себе только вонючий дым. Все труды человеческие подобны усилиям ветра, что борется с пустотой и вздымает тучи пыли, от коих нет никакого проку». Они смеялись каждой его шутке и захлопали, когда он кончил свою речь; все еще улыбаясь, он взялся за лютню. Музыка его была необычна, в ней звучало страдание,— однако мелодия почему-то не взмывала ввысь, но как бы попадала в ловушки площадей и переулков, так что вскоре музыка наполнила Бридж-Роу, Уолбрук, улицу Св.Марии Ботольфской и Кенуик-стрит. И, слушая его игру, я ощутил свою ничтожность и тщету всех своих потуг. Чего добивался я, как не славы и мирского успеха, хотя они были голой видимостью и мишурой, не приносящей счастья даже в момент ее обретения? Разве я хотел превозмочь время и природу лишь затем, чтобы напороться на них, точно на кол? Пускай я найду философский камень и постигну тайны звезд — что мне в них, если я так и умру непризнанным? Да я, наверное, уже умер и попал вот сюда. Это был город тьмы. Ибо теперь на сцену вышла женщина: она приблизилась к музыканту и связала его сладкогласные уста бечевою.

Затем все большой процессией двинулись по улицам, которые от Аберч-лейн до Ломбард-стрит были заново усыпаны гравием. На домах висели гобелены, ковры и шелка, а Берчин-лейн была убрана золотыми и серебряными тканями, а также бархатом всех оттенков. Возглавляли шествие дети в голубом и зеленом, с гербом Лондона, вышитым на рукавах. Потом шли члены всех городских гильдий в костюмах красного и желтого цвета, неся впереди свои знамена и вымпелы; на углу Сент-Николас-лейн их встретили бакалавры в малиновых капюшонах, с барабанами, флейтами и звонкими трубами, а за ними — шестьдесят дворян, одетых, согласно обычаю, в голубые мантии и красные накидки. Далее шагали представители цехов в белом платье, затем олдермены в алом и сопровождающие их парламентские приставы в богатых желтых и золотых нарядах, затем рыцари в синем и пурпурном и, наконец, лорды: каждый из них был облачен в цвета,

[1] Вифлеемская больница (Бедлам) — психиатрическая больница, в ту пору находившаяся в Лондоне.

соответствующие его рангу и положению в обществе, точно так же, как любая из сфер движется и поет особым, подобающим ей образом.

Но что за группа замыкала шествие? В конце его появились пятьдесят священников и клириков в черных одеждах, распевающих псалом «Помилуй мя, Боже», а за ними нищие с белыми посохами в руках. И вдруг я заметил, что улочка у Финч-лейн, близ Св.Антония, завешена черным. «Отчего это так? — спросил я того, кто стоял рядом со мною. — Подобного убранства я еще никогда не видывал!»

«Разве вы не слыхали новость? Нынче день казни. Был у нас некто, отравивший жену одного горожанина,— его потом сварили в кипящем свинце,— но сегодня мы празднуем убиение чрезвычайно искусного и сведущего мужа, который помогал возводить сей город. Вон он едет в повозке; скоро то, что у него на плечах, украсит городские ворота, а прочее сожгут в яме близ Уоппингской пристани. Да помилует Спаситель его душу».

«Но в чем же его вина, если он заслужил столь суровую кару?»

«Он знал слишком много тайн».

Тем временем повозка с приговоренным выехала на Финч-лейн и остановилась у высокого эшафота, покрытого холстом. Но, Господи Иисусе, что сие значит и как это возможно? Я увидел, что с грязной повозки совлекают меня самого, одетого лишь в белый балахон, весьма напоминающий саван. Над моей головою, когда меня пригнули долу и связали крепкой веревкой, возделось полотнище со словами: «То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу». Я хотел было крикнуть, но вдруг на меня напала необычайная охриплость, сковавшая мне горло до немоты. Я был совсем повержен духом. Констебль не преследовал меня свистками и улюлюканьем, ни бейлиф не вручал мне приказа Королевского суда, однако вот — меня тащат на заклание, точно свинью на вертел. И тогда мною овладела единственная мысль: вверить свою судьбу милости королевы, пускай даже мне придется ждать целую вечность, пока я буду допущен пред ее светлые очи.

Итак, избрав это решение, я быстро зашагал через Боу-лейн и Гарликхилл на Темза-стрит; я стал поспешать еще более, когда заметил некую преследующую меня фигуру, и делал повороты, желая избавиться от нее, покуда не достиг новой пристани близ Уотергейта. Дойдя до нижних ступеней лестницы, так что вода Темзы плескалась у моих ног, я кликнул перевозчика. Один из них подплыл к берегу и явно вознамерился затеять со мною торг, но я мигом положил конец его глупым притязаниям. «Послушайте, любезный, во всем городе не сыскать простака, который не знал бы, какая вам положена плата. Я знаю, сколько с меня причитается за переправу к Уайтхоллу, а потому вот вам пенни».

«Сразу видно,— отвечал он смеясь,— что вы несокрушимы, как адамант».

«Вы ничего не добьетесь, будь у вас в запасе хоть целый мешок оскорблений».

«Ладно, ладно,— сказал он, подгребая к лестнице,— я возьму вас, сэр».

Я слышал, как он пробормотал себе под нос, что меня не мешало бы начинить каленым железом, и готов был уже ответить на его дерзость советом придержать язык, но вдруг увидел у него на шее черный платок; не поняв, какой цели служит сей странный убор, я ступил в его грязный ялик и уселся в нем, не раскрывая рта.

Едва мы, влекомые спокойным течением, миновали мост, как я услышал чей-то приветственный оклик и пожеланье удачи. Я повернул голову и глянул назад, однако, увидя кричавшего, ощутил внезапный и сильный испуг: то был человек моего собственного обличья, с веревкой на шее, машущий мне из лодки, которая плыла совсем рядом с нами. Я издал жалобный возглас, и мой спутник разразился столь громким и неистовым хохотом, что с минуту не мог вымолвить ни слова.

«А я-то думал,— наконец сказал он,— что так пронзительно умеют визжать только женщины. Но наберитесь мужества, доктор Ди, волнам не удастся потопить нас. Вам суждено упокоиться на ином ложе». Я не понял смысла его речей, а также того, откуда ему известно мое имя, но его смех выводил меня из себя; и, снедаемый в равной мере страхом и гневом, я велел ему поспешить к Уайтхоллу и оторваться от нашего зловещего преследователя. «Лучше не усердствуйте в своих понуканиях,— ответил он, все еще смеясь,— не то река перевернет и потопит нас. Истинно вам говорю, сэр, я и так не расположен бить баклуши». Его огромный, висячий, изъеденный

червями нос походил на гроздь винограда, и он приложил к нему палец. «У меня есть свои цели и расчеты, доктор Ди. Зачем, по-вашему, на мне этот черный платок?»

«Довольно потчевать меня загадками, говорите яснее. Откуда вы знаете, как меня зовут?» Я снова боязливо оглянулся, но моего двойника уже нигде не было видно.

«Что ж, любезный доктор, я выложу вам всю правду о своих намереньях. Я — Харон и везу вас прямиком в ад!»

В этот миг мы достигли Уайтхолльской пристани, у которой стояли барки с вымпелами и флагами. Бросив на дно лодки монету, я выскочил и живо вскарабкался на берег, подальше от сего опасного безумца. Я слышал, как он вопит мне вслед: «Вы удираете так быстро, точно палач уже принялся вас потрошить! Скатертью дорога, мой славный доктор! Скатертью дорога!» Тут он рассмеялся вновь. «Но запомните вот что. Это придет ночью, по воде».

Я обернулся, но все кругом было как будто подернуто дымкой — в таком смятении находились мои чувства. Затем я вдруг обнаружил, что стою уже под стеной Уайтхолльского дворца. Передо мною были высокие распахнутые ворота; я вошел туда, пересек роскошную площадку, предваряющую лестничные ступени, и вступил в просторную и великолепную залу, где собралось множество людей с различными грамотами под мышкой. Я счел их адвокатами и судьями, советниками и поверенными; и впрямь, некоторые из них прибивали к резным деревянным панелям какие-то меморандумы. Один законник в блестящей мантии, отороченной лисьим мехом, приблизился ко мне, не сделав ни малейшего движения — как тень от столбика солнечных часов, что скользит по земле неуловимо для наблюдателя. «Вам следует знать,— промолвил он,— что здесь разрешается столько тяжб, сколько на свете жалобщиков и отправителей правосудия. Я охрип, мой добрый доктор, оглашая протесты и audita-queraela[1], приказы о передаче дел на апелляцию и ne exeat regnum[2], приказы о подавлении мятежей и приказы о высылке. Вереницы исков бесконечны, и приговорам несть числа». Он словно хотел улыбнуться, но прикрыл лицо мантией. «Но вот что я вам скажу,— продолжал он. — Я не так уж пресыщен хлопотами, чтобы не сделать вам одного искреннего и нерушимого обещания величайшей важности. Ну же, смелее — протяните мне руку и будем друзьями. Я знаю, что не в ваших привычках оглядываться на каждого брехливого пса, но кое-кто здесь желает вам дурного. Наймите меня, и я отодвину вашу погибель еще на год, а то и более. Чего вы хотите — обвинять или защищаться? По уголовной или гражданской части пойдете вы, любезный доктор? Я сочиню вам какое угодно заключение или протест, а вы можете признать свою вину или отрицать ее. Так на чем же мы остановим выбор? Мое время слишком дорого, чтобы тратить его на пустую болтовню. Если закон был нарушен — по сути или по форме, в ходе процесса или при вынесении приговора,— вы должны заявить об этом во всеуслышание». Я собирался ответить ему, но он выхватил шпагу и нанес мне удар в грудь. «Вот тебе,— сказал он. — Расплатишься, когда сможешь».

Тут вдруг все, бывшие в зале, окружили меня, точно на некоем тайном судилище. «Вы уже мертвы,— сказал один бледный клирик,— хотя причина сего в недуге, поразившем весь свет».

«За что мне такая кара? — воскликнул я. — Разве я лгал или обманывал, наговаривал или клеветал? За какой грех меня тащат на виселицу?»

Я побежал от них и выскочил на вымощенную плитами галерею, а оттуда — в другую залу с колоннами. Тут было довольно шепота, чтобы заполнить им неф собора Св.Павла, и царила такая темень, будто эту часть дворца уже принял к себе подземный Аид. Но я преодолел испуг, огляделся и понял, что нахожусь в глубине Уайтхолла, среди целого лабиринта галерей, зал, приемных, кабинетов и опочивален. Здесь, близ личных апартаментов ее величества, собрались все, кто ей прислуживал: камергеры, хранители королевского гардероба, сокольничьи, экономы, лакеи, повара и посыльные по особым поручениям.

Вдруг загремели пушки и затрубили трубы, и при свете факелов я успел углядеть стражей в рейтузах и камзолах, расшитых бриллиантами. «Она здесь,— в великом страхе прошептал некто, стоявший рядом. — Она про-

[1] «Выслушанная жалоба» (*лат.*) — судебный приказ о пересмотре дела в свете новых фактов.
[2] «Да не покинет королевство» (*лат.*) — приказ «о невыезде».

шествовала по нашей зале в приемный чертог». Сейчас же везде были подъяты черные и белые стяги, и важные государственные сановники поспешили в свои собственные покои. Однако я почувствовал, что фортуна мне улыбнулась, ибо вспомнил цель своего прихода: пасть ниц перед королевой и вымолить у нее прощение за грехи.

Я не имел понятия о том, каким образом можно проникнуть в приемный чертог, однако мои шаги направляло немеркнущее сияние свеч, факелов и каминного огня в конце богато убранной галереи. Миновав ее, я вступил в небольшую комнату или залу, предназначенную, видимо, для одевания и подготовки королевы к выходу; эта зала была сплошь задрапирована золотыми тканями, где изображались страсти мучеников за прежнюю веру. Далее была другая комната, сверкающая золотом, как солнечными лучами, и здесь я увидел трон, усыпанный на диво крупными алмазами, рубинами, сапфирами и другими редкостными камнями, что блистали среди прочих драгоценностей, словно лед, готовый вот-вот растаять. Ее величества нигде не было видно, но я перешагнул порог и, памятуя, что к Елизавете должно обращаться не иначе как на коленях, опустился на подушечку с золотой вышивкой, а затем, в тиши и уединении, выказал пустому трону свое глубочайшее благоговение и покорность.

«Vivat regina»[1],— вскричал я, точно в беспамятстве.

И тогда раздался тихий женский голос, ответствующий мне из противоположного угла чертога: «Gratias ago. Gratias ago»[2].

Я торопливо встал на ноги и, обернувшись, узрел перед собой королеву. Она была в великолепной мантии из пурпурного атласа, расшитой золотом и весьма роскошно украшенной такими камнями, как аметист, опал и ляпис-лазурь; на груди ее был хризоберилл в форме висельника, а голову венчала целая райская птица в золотых блестках и с султаном из фиолетовых перьев. Сначала я не мог посмотреть ей в лицо, хотя и ощущал на себе ее светлый взор; однако, подняв глаза, я отшатнулся в ужасе и изумлении. На ее лике, объемля его весь своими ногами, сидел огромный паук и как бы впивал дыхание из ее рта. «Подойди ближе»,— молвила она глухим голосом из-под тулова мерзкой твари. Я сделал три положенных шажка с приседаньями, и она протянула мне руку для поцелуя. «Тебе не нравится мой маленький любимец?» Тут она взяла паука и отбросила его прочь, весело рассмеявшись при этом.

«Ваше величество,— произнес я,— на меня обрушилось тяжкое и внезапное горе. Позвольте же мне прочесть вам всю энциклопедию своих несчастий».

Она улыбнулась. «Все, что с охотою изойдет из твоих уст, будет с не меньшей охотой воспринято моим слухом». И я рассказал ей обо всех постигших меня бедах — о том, что я одинок и окружен врагами, что у меня не осталось ни доброй репутации, ни состояния. «Итак,— отвечала она,— ты желаешь славы и злата, а также почестей, каковые полагаются тебе за твои великие труды».

«Я прошу у вас лишь воздаяния по заслугам, ваша милость,— большего мне не надобно. Я не поведал и не изложил вашему величеству ничего сверх того, что выпало мне на долю благодаря жестокой судьбе; и поскольку жребий мой весьма печален, я взял на себя смелость лично умолять вас о заступничестве перед палачом и об избавлении от петли».

«А затем?»

«Надеюсь, что с вашего благосклонного соизволения мне возвратят отнятое у меня имущество и капиталы».

Она отвернулась и словно бы занялась чем-то в углу залы; вскоре я уловил исходящий оттуда отвратительный смрад. «Мы с тобой проведем беседу по старинному обычаю,— сказала она. — Я буду спрашивать, а ты — отвечать, и слова наши повторит эхо в Храме Костей». Я не понял ее, но поклонился и шагнул ближе к высочайшему присутствию. Тут она чуть отодвинулась, и я пережил мгновенье глубокого ужаса. Перед ней лежал нагой труп с покрытой белым головою; грудь его была рассечена и отверста, и я видел внутри плоть и жир, мышцы и сухожилия, волокна и перепонки. Королева стояла, окунув руки в тело по запястья. «Я всегда пекусь об общем благополучии,— изрекла она. — Подойди же сюда. Силы не должны изменить тебе — таково наше желание». Я не мог ни ответить ей, ни

[1] Да здравствует королева! (*лат.*).
[2] Благодарю (*лат.*).

двинуться с места. «Сейчас,— сказала она,— я распахну дверь в тайная тайных природы. Ибо разве мое царство и царство природы не суть одно и то же? Так гляди, какой властью обладаю я над всеми частями и наиважнейшими органами человеческого тела. Вот оно, мое истинное королевство».

Засим она как бы приподняла из разверстого тела косточку. «Видишь, доктор Ди? Кости во всем существе человека наиболее тверды и сухи, они ближе всего к праху земному. И в моей власти крушить и дробить их на колесе, точно так же, как я, сама того не замечая, попираю ногой земную персть. А теперь — видишь ты, сколь искусен и замысловат, словно узоры на моем платье, созданный природою каркас тела со всеми его хрящами и протянутыми везде связками и сочленениями? Подойди ближе, давай поиграем вместе». Тут ее величество от души рассмеялась и спросила меня, разве не весело мы коротаем время? В том же приятном расположении духа она задала мне следующий вопрос. «Как, по-твоему, называется это?»— промолвила она, указывая на комок волокнистой плоти.

«Не могу знать».

«Это мышца. Видишь, сколько в ней мяса, дабы человек был крупен телом?» Тут она прикоснулась ко мне, оставив на моем рукаве кровь и слизь, и я согнулся в почтительном поклоне. «А вот и нервы — благодаря им она исполняет приказы, кои отдает ей владыка-мозг. Все сие подобно государству: ведь его части тоже трудятся в общем согласии, питаемые кровью, которую шлет им их царственная глава». Она вновь обратилась к трупу и погрузила в него дымящиеся руки. «А как ты думаешь, Джон Ди, отчего она зовется мышцей? Это имя дано ей из-за ее сходства с мышью. Видишь — у нее тоже крохотная головка, широкое брюшко и длинный, узкий хвост?»

«Она подобна и рыбе, ваше величество».

«Тогда мы наречем их нашими маленькими рыбками, плавающими в теле. Но как нам назвать само тело? Какое мы подыщем для него имя?» Тут она сдернула с мертвеца покрывало, и я в несказанном ужасе и смятении увидел свой собственный лик, хотя словно бы уже в преклонных годах. «Сей был негодной рыбешкой,— произнесла она,— порожденной самим Дьяволом. Ну что, доктор Ди, по душе ли тебе мой урок анатомии? Ибо здесь, своей властью, я развернула перед тобой всю историю человека. Одна Вера, один Повелитель, одно Солнце, один Феникс[1], один Разум, один Путь».

Я снова взглянул в свои мертвые, белее облака, черты и едва не потерял сознания. «Дивлюсь я,— молвила королева,— отчего ты так взволновался. Но я здесь не затем, чтобы бранить, а лишь для того, чтобы показать тебе суть моей власти и законы, коими управляется наш город. Разве ты не согласен, что эти мышцы и жилы очень тебе к лицу?» Тут она вскочила, и подпрыгнула, и хлопнула в ладоши. «Я славно потрудилась нынче,— воскликнула она,— ибо к тому был хороший повод. Теперь время трапезничать». Она взяла пару надушенных, расшитых золотом перчаток и надела их прямо на выпачканные моей кровью руки. «Мой добрый доктор,— сказала она,— я была ласкова к тебе, и моя благосклонность простирается столь далеко, что ты будешь допущен к моему столу».

В проходе показались трубачи и торжественным гласом своих инструментов возвестили о начале трапезы ее величества. Затем вошли многочисленные стражники — каждый из них нес в руке факел для освещения залы,— а также прислуга, усыпавшая пол соломой, дабы скрыть кровавые пятна. «Знаешь старинное реченье,— спросила королева,— бегут меня все жаждавшие встречи, что прокрались босыми в мой чертог?» Она вновь засмеялась, покуда слуги расставляли по столу чаши и золотые кубки, бокалы и хрустальные кувшины, отделанные серебром, а также блюда, судки и подносы, сверкающие в свете факелов. Но что было подано нам на обед, как не части моего собственного тела? Их вид ужаснул меня более мерзких жаб и визжащих мандрагоровых человечков[2]. «Погляди,— сказала она,— все мышцы кончаются жилами, кои мы иногда называем связками. А вот и язык — не брезгуй, отведай».

Я не мог ни вымолвить слова, ни поднять глаз, ни шелохнуться. Ее уста широко разверзлись, словно угрожая поглотить меня, и тогда я с воплем выбежал из приемного чертога. Я поспешил во двор и самым кратким путем выскочил вон через ворота, обращенные к Уайтхолльской пристани. Я

[1] То есть идеал красоты.

[2] Мандрагоровые человечки — корни мандрагоры, которые считались живыми.

думал только о том, как бы скорее очутиться подальше от сего гнездилища смрада и ужаса, сего второго Гадеса; однако мне страшно было опять повстречаться на реке с Хароном, и я направился по ближайшей улочке в сторону Скотленд-Ярда и Чаринг-кросса. Оттуда до Клар Энуэлла был час ходьбы, и всю дорогу мне мерещилось, будто меня преследует нечто столь же мрачное, сколь и покинутые мной королевские покои. Оно упорно стремилось за мной по пятам, точно существо, гонимое тайным заклятием, но когда я в испуге оглядывался назад, я не видел ничего — ничего, кроме собственной тени, которая все вытягивалась и вытягивалась по мере моего приближения к дому.

Добравшись до своего жилища, я настойчиво забарабанил в двери, однако никто не отвечал мне. Тогда я посмотрел вокруг и заметил, что мой старый дом выглядит теперь совсем иначе — близ него возвышались громадные здания из камня и кирпича. Что же это за место, и мое, и не мое? Дверь распахнулась передо мною, и, войдя внутрь, я не увидел ничего привычного. Вот моя комната для общения с духами, но она пуста и чисто выметена. И что она делает здесь, у самой земли, ведь ей следует быть двумя этажами выше? Я спустился по лестнице в подвал: тут была моя лаборатория, но я отшатнулся, заметив на полу обнаженных мужчину и женщину. Он обернулся и крикнул мне: «Зачем ты звал меня?»

Я онемел от страха и снова поднялся в свою бывшую гадальню, а оттуда выглянул в сад: теперь там было лишь несколько облетевших и несколько вырванных с корнем деревьев, меж которыми валялись каменные осколки. Эта картина будто зеркалом отразила то, что творилось у меня в душе, и, полный страданья и недоумения, я поднес руку к лицу. Где выход из лабиринта, куда я себя вверг? Все те, кого я знал, давным-давно умерли, и впервые на глазах моих выступили слезы; они застили мне взор, и я словно сквозь тонкий платок увидел мелькнувшую передо мной смутную фигуру.

В тот же миг поблизости раздалось странное легкое постукиванье, и спустя краткое время в углу комнаты, рядом с большим оптическим прибором, появился отец. Он был наг, но как бы в путах дымчатого или пепельного оттенка, обвивавшихся вокруг его груди, и ноги его не достигали пола на несколько дюймов. Лик его был ликом давно умершего человека, и я выпрямился, охваченный сильным трепетом. «Червь уже вызрел,— промолвил дух,— скоро он подточит сердце лилии».

Голос его был глубок, ровен и звучен; но суть его речей ускользала от меня. «Что это значит, отец, или дух, или ангел?»

«Я думал, что тебе лишь то и ведомо». Затем он раздвинул воздух или разверз его перед собою, и там, в миниатюре, как бы в маленьком деревянном глобусе, я узрел себя, снова блуждающего по окутанному тьмой городу. «Это было видение мира без любви, Джон Ди, но того, который сотворил ты сам. Ты надеялся создать жизнь, а вместо этого создал только образы смерти. Поразмысли об этом и раскайся в срок. Теперь же прощай».

И мой отец пошел ко мне, вздыхая. Я отступил назад и хотел было отворить дальнюю дверь, чтобы бежать от него, но он опередил меня. Словно туман, он проник глубоко в мою плоть и кровь, а затем исчез.

## 6

Я решил просмотреть бумаги отца как можно более внимательно и терпеливо; после его смерти я лишь мельком взглянул на них, но теперь хотел разобраться во всем как следует. Теперь я знал, что он мне не «настоящий» отец; однако наша связь была еще теснее, ибо он сформировал меня путями, которые я едва начинал себе представлять. Узнав что-нибудь новое о его жизни, я наверняка узнал бы что-то и о своей. Среди прочего у меня были и документы, относящиеся к Кларкенуэллскому дому; после похорон я сунул их в обыкновенный хозяйственный пакет, а затем бросил тут, в одной из пустых спален; теперь же я принес их в кухню и разложил на столе. Пачка счетов, в которых фигурировал «дом на Клоук-лейн», была аккуратно перетянута голубой резинкой, и я быстро проглядел все, что там находилось. Единственным интересным для меня обстоятельством оказалось то, что отец приобрел этот дом у мистера Абрахама Кроули 27 сентября 1963 года — дата, вызвавшая у меня в мозгу целый рой мыслей, так как она всегда считалась моим днем рождения.

Некоторые бумаги относились к другой отцовской собственности; был здесь и коричневый конверт, раньше мною не замеченный. Отец написал на нем что-то печатными буквами — ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ,— и, вынув эти «документы», я увидел, что он, как всегда педантичный, даже перенумеровал их. Бумага тут была разного качества, почерк везде тоже разный; на первом листке он был неровным и угловатым, типичным для семнадцатого века. Я с трудом разбирал слова и поднес листок к свету, льющемуся из кухонного окна.

Мы, верующие в откровение истинного Бога и в возрождение Духа среди людей, призываем и умоляем жителей Лондона ожидать предвещенного мора и пламени [1]. Но изгоните от себя всякий страх и трепет, ибо все вы суть боги и в последний день предстанете друг перед другом в своем божественном облике. Тогда не будет ни мужчин, ни женщин, ни богатых, ни бедных, но все сердца воспылают в радости.

Внизу значилось: «Сходка Лондонцев в Кларкенуэлле, август 1662 г.». Это было достаточно любопытно, но на следующей странице оказался более пространный текст, написанный другой рукой:

Мы никогда не разделяли римских суеверий о существовании призраков, называемых *ангелами-хранителями*, но с той поры, как нужда и хвори вынудили нас уединиться в сем старинном доме, с нами произошло нечто весьма поразительное и опровергающее наши прежние воззрения. Как-то летним вечером мой несчастный больной брат лежал у окна, что выходит на реку и поля; в целом свете остались лишь мы одни, и он был как моим неизменным товарищем, так и моей неизменной заботой. «Взгляни,— сказал он. — Взгляни на эту стену. Видишь на ней человеческие черты?» Я ответил ему, что дом был выстроен более двух столетий тому назад и пятна на камне появились просто от сырости. Он словно бы удовлетворился этим и, снова опустившись на ложе, промолчал до конца вечера; но пульс его был очень частым, и я опасался возвращения горячки и бреда. Поэтому я провел рядом с ним всю ночь, держа наготове чашу с ароматической жидкостью, дабы освежать ему лицо. Потом, в предрассветный час, что-то вдруг пошевелилось там, где он лежал; я счел замеченное игрою теней уходящей ночи и мерцающей свечи, но когда оно обрело форму, я понял, что это пришелец из мира духов: фигурой и обликом он не отличался от брата, но был гораздо светлее и поднялся из него, как легкий туман над водопадом. Когда сей призрак выпрямился во весь рост, я увидел, что он на один или два фута выше своего смертного тела. Весь его силуэт серебрился по краям, а руками он как бы стряхивал с себя остатки плоти. Затем он подарил меня улыбкой и низким поклоном, после чего обернулся и указал на брата. Это был мой собственный брат, глядящий на себя самого, и на мгновение я ощутил, как меня объемлет некий свет. Потом призрак смежил глаза и снова улегся в спящее тело. Тут брат проснулся, и я понял, что хворь отпустила его: на нем не было пота, а кровь в жилах стучала ровно, как барабан. Сердце мое было так переполнено, что я тотчас же поведал ему все об этом чудесном пришествии, и мы оба преклонили колени в молитве. Как это возможно, чтобы милость Божья снизошла на двух смиренных обитателей ветхого дома в Кларкенуэлле?

Прежде мы состояли в небольшой конгрегации Божьих Братьев, и местом наших сборов была верхняя комната трактира «Компас» в Крипплгейте. Там мы постигали отдельные важные истины — например, что мужчины и женщины в равной мере причастны божественному огню, что город, где мы обитаем, есть лишь прогнившая видимость, что после того, как распахнутся врата вечности, все мертвые воспрянут. Тогда сильные мира сего падут и их королевства рассыплются в прах, а людей духа осенит слава. Теперь же эти истины, провозвестникам коих мы с братом благодарно внимали в Крипплгейте, получили в наших глазах незыблемое подтверждение: мы сами видели духовное существо, осиянное светом, и поняли, что даже бедные и сирые, наподобие нас, могут удостоиться благодати. Хвала Господу! Писано сего дня, 12 января 1762 года, в Клок-хаусе, Кларкенуэлл.

Кто-то другой подписал на полях: «В Продолжение Той Же Веры». Я перевернул страницу и обнаружил приклеенную к ней вырезку из журнала «График» от 5 октября 1869 года. Первым, что я заметил, была вставленная в текст гравюра: на ней красовался мой старый дом, почти не изменившийся с тех пор, хотя фантазия художника сделала его намного больше. Внизу имелся второй рисунок: сидящая вокруг стола группа людей, один из которых воздел руки в изумлении или ужасе. Заголовок статьи, выполненный псевдоготическим шрифтом, гласил: «Медиум сбит с толку: Стивен Козуэй в Кларкенуэлле»,— но все прочее было достаточно внятным. Я прочел:

Медиумы-спириты редко заявляют, что их собственное поведение вызывает у них тревогу, но именно такое признание услышали мы от известного целителя Стивена Козуэя, посетившего один старинный и очень ветхий дом в Кларкенуэллском приходе. Он отправился туда по приглашению Лондонского профсоюза рабочих, арендовавшего этот

[1] Имеются в виду Великая лондонская чума (1665) и Великий лондонский пожар (1666).

дом восемь месяцев тому назад. Если кому-то покажется странным, что общество столь рационального и прогрессивного толка прибегло к услугам специалиста, зарабатывающего себе на хлеб беседами с духами и привидениями, мы можем лишь посчитать это очередным парадоксом нашего противоречивого века. В течение нескольких месяцев служащие Профсоюза рабочих наблюдали периодическое возникновение в нижних этажах здания некоей странной «атмосферы». Прекрасно знакомые с исследованиями покойного мистера Фарадея в области магнитоэлектричества, они были склонны предполагать, что эти необычные явления имеют вполне познаваемую физическую природу. Но вскоре двое из этих почтенных джентльменов непосредственно столкнулись с призраками: стоя в полуподвальном этаже дома, они оба отчетливо увидели, по их словам, «юношу и девушку без одежды», тут же исчезнувших. Именно после этого события туда и был приглашен мистер Козуэй. Дальнейшее излагается по его собственным записям, ибо он был настолько любезен, что на прошлой неделе прислал нам отчет о предпринятых им действиях. Читатель может верить или не верить его рассказу согласно своему разумению. «Едва войдя в Кларкенуэллский дом,— начинает он,— я ощутил, что здесь витает некая сила, то ли благая, то ли грозная. Однако я не мог предвидеть ужасных последствий...»

Я перевернул страницу, но на обратной стороне было лишь книжное обозрение; конец отчета Стивена Козуэя отсутствовал, хотя кто-то сделал на полях примечание: «Довольно глупостей. Привычка к обману и мошенничеству застит Козуэю глаза». Среди сохраненных моим отцом документов нашлось еще одно признание. Оно было написано на линованной бумаге, словно вырванной из какого-нибудь гроссбуха или приходо-расходной книги. Почерк был очень аккуратный, строчки нигде не вылезали на поля, отчеркнутые красным на каждой странице.

Меня преследует один страх, одна навязчивая идея. Она часто занимает мои мысли, когда я сижу в этом доме за письменным столом, но редко покидает вместе со мной эти стены. Обычно приступ начинается часов в десять-одиннадцать утра, а проходит примерно через час; все это время я обильно потею и брожу по дому, не в силах остановиться или заняться чем-нибудь определенным. Но почему меня мучает опасение столь ничтожное, столь смехотворное, что позже оно не вызывает у меня ничего, кроме улыбки? И тем не менее это чувство всегда возвращается — боязнь, что любая написанная мною строка имеет какой-то иной источник, что я краду у кого-то фабулу и слова, что я использую темы и находки других романистов. Вот почему бывают случаи, когда я покидаю дом и еду в Лондонскую библиотеку на Сент-Джеймс-сквер. Полки английской литературы одновременно и пугают, и утешают меня: я ищу на них подтвержденье своим страхам, но эти поиски оказываются тщетными. И все-таки, даже испытывая облегчение, я не перестаю бояться того, что где-нибудь среди этих томов обнаружится роман, который я сейчас пишу.

Сильнее всего это чувство бывает, когда книга уже завершена и я жду ее публикации. В эти месяцы мой страх принимает весьма разнообразные формы — я начинаю подозревать, что использовал диалог, сочиненный моим собратом по ремеслу, что сюжет заимствован мною из некогда прочитанной и забытой книги, что я просто записал чьи-то чужие слова. А вот самая странная тревога — что́, если внутри меня все время живет кто-то другой? В таком состоянии духа я находился вчера, после отправки рукописи своим издателям на Феттер-лейн. Весь роман создавался в этом доме; честно говоря, я не верю, что мог бы написать его где-нибудь еще. Он весь был пропитан здешней атмосферой, и я даже взял на себя дополнительный труд, перенеся в этот район само действие — забастовку медников в 1740 году. На самом же деле эти сцены нищеты и страданий, мятежей и смерти разыгрывались на улицах и в тупиках Верхнего Ламбета; однако я перенес их в Кларкенуэлл, а в качестве декораций взял ныне разрушенные жилые дома рядом с церковью Св.Иакова. По-моему, именно это и допускается в качестве художественной вольности, хотя настоящие художники никогда не бывают свободными.

И вот вчера это наконец случилось. Я сошел в полуподвал старого дома, чтобы выбрать вино к своему одинокому обеду, и тут меня охватил привычный страх. Моя книга уже была написана прежде. Я был уверен в этом. Я не знал, как именуется подобное явление (наверно, этот феномен давно известен врачам), но был убежден, что каким-то образом слово в слово скопировал чужой роман. Даже название было тем же. Не могу передать, какой ужас вызвала во мне эта мысль: из меня точно вынули мою собственную личность, как вынимают сеть из воды, и во мне не осталось ничего своего.

Я немедленно вышел из дома и поехал трамваем на Хай-Холборн; оттуда я пешком добрался до библиотеки на Сент-Джеймс-сквер. У столика с журналами мне встретился Том Элиот, и у меня хватило вежливости поздороваться с ним. Затем я поднялся по лестнице к полкам с художественной литературой и начал поиски, зная, что их исход может стать роковым — роковым, ибо если я найду нужную книгу и мои страхи подтвердятся, жизнь моя как писателя будет кончена. Я перестану доверять своим собственным словам, не смогу больше наивно полагать, что обязан какой бы то ни было находкой своему собственному воображению. Все будет извлекаться из другого источника. И тут я нашел

се. На полке стояла книга с названием, выбранным мной лишь недавно. Ее опубликовали два года назад — на корешке значилось «Лондон, 1922», — и, открыв ее, я увидел те же слова, которые печатал на своей машинке. Это был только что написанный мною роман. «Я — ничто,— вслух сказал я. — Из ничего не выйдет ничего». Я вернулся в дом, который безотчетно считал причиной обрушившегося на меня горя, и равнодушно сел за свой рабочий стол. Но неужели я и теперь пишу то, что давно успел написать кто-то еще? И если так, что же мне делать?

Здесь, на последней строчке второй страницы, рукопись обрывалась. Я перевернул лист и с внезапным испугом вновь увидел знакомый почерк отца. Чистую страницу пересекала крупная надпись: «Его Астральное Тело Вызвано К Жизни». Я убрал бумаги обратно в пакет и тихо отнес их в пустую комнату.

Я всегда легко засыпал в этом доме — глубоким, темным сном, который после пробуждения оставлял у меня во рту привкус ночи, словно кислого съеденного плода. Но в этот вечер, изучив документы, я пришел в такое беспокойство, что не мог сомкнуть глаз. Уличный фонарь в конце Клоук-лейн бросал на стены и потолок мерцающие отблески; вокруг меня двигались странные тени, и я точно видел обнаженную шпагу, всадника на лошади, какое-то полощущееся в небе знамя. Затем я попытался отвлечь себя, произнося слова задом наперед, но некоторые звуки необъяснимо напугали меня. Уже перед самым рассветом я прокрался в прихожую и вынул из-под лестницы ящик с игрушками. Что они здесь делали? Ребенком я не жил здесь ни дня — мать не позволила бы этого,— но изготовлены они были не больше двадцати-тридцати лет тому назад. Однако потом их присутствие в этом доме стало мне понятным: в них играл отец среди порожденных им образов сексуальной магии. Я сел на пол и с величайшей серьезностью принялся собирать из отдельных деталей волчок и складного человечка.

* * *

Несмотря на бессонницу, наутро я почувствовал себя достаточно свежим, чтобы ознакомиться с завещанием Джона Ди. Ему следовало бы храниться среди других старинных волеизъявлений в архивах Канцлерского суда [1], но библиографические указатели привели меня в Отдел рукописей Британской библиотеки. Из этого я сделал вывод, что завещание не было оформлено непосредственно перед смертью; наверное, он умер либо в безвестности, либо в каком-нибудь отдаленном месте, откуда ничего нельзя было переслать. Имелась и другая возможность: оригинал могли потерять, а некоторое время спустя обнаружить в его бумагах копию. Таких бумаг осталось много: в каталожном списке рукописей доктора Ди были навигационные и математические трактаты, гороскоп королевы Елизаветы и рецепт средства от мигрени, карты и схемы, таблицы и родословные. Но меня интересовало именно завещание.

Оно находилось рядом с другим трудом доктора Ди под одним переплетом из зеленой кожи. Название этой второй работы заинтриговало меня: «Благие вести от ангелов»,— но я почти ничего в ней не понял. Мне сразу бросилось в глаза, как торопливо устремляются к полям выцветшие коричневые строки; даже здесь, в покойном зале Британского музея, было видно, в каком волнении или панике писались эти слова. Некоторые предложения были подчеркнуты дважды или трижды, а отдельные фразы обведены неровными квадратами и кругами. Основной текст, казалось, состоял из вопросов и ответов, а поля были испещрены приписками, пометками и рисунками. Потом я заметил выведенное большими буквами слово УОППИНГ, а рядом с ним ангела или какое-то другое пернатое создание, словно взлетающее к краю листа. Тогда это ничего мне не сказало, разве что память откликнулась на знакомое слово; впрочем, это была последняя страница «Благих вестей», и я нетерпеливо перевернул ее, чтобы прочесть завещание Джона Ди.

Оно, видимо, тоже сочинялось в большой спешке: буквы были нацарапаны криво, множество мелких пятнышек говорило о том, что перо брызгало чернилами, а пишущий не обращал на это внимания. Были и другие странности. Под документом стояла дата 1588, хотя смерть доктора Ди предположительно наступила двадцатью годами позже, а упоминание о душеприказчиках было чрезвычайно кратким. Доктор оставлял определенные суммы денег двум слугам, «девице Одри Годвин» и «человеку Филипу Фоксу», а все прочее свое имущество завещал «тем, кто придет после». В следующем абзаце он упоминал о доме на Клоук-лейн — называя его «моим

[1] Верховный суд Великобритании до 1873 года.

ветхим жилищем в Кларкенуэлле»,— но потом делал весьма неожиданное заявление, просто-напросто завещая его «тому, кто в нем нуждается». Неудивительно, что такой бумаге не нашлось места в архиве Канцлерского суда. Но продолжение было еще загадочнее: дальше упоминался камень, «предназначенный тем, кто сможет отыскать его». Затем в тексте стояла довольно туманная фраза: «Ступай за мной следом по ту сторону могилы». Может быть, он погребен где-то под домом, а камень возложен на его могилу вместо памятника? Я перевернул страницу и обрадовался, увидев в центре листа грубую схему, или план; мне удалось различить на нем лишь реку да несколько домов. Его размашистой подписи предшествовал еще только один абзац, который я едва разобрал. «Я, сотворивший его, буду жить в нем вечно. Он, обязанный мне жизнью, вернется ко мне». Без сомнения, это была какая-то заключительная молитва, и я оторвался от книги с завещанием.

Младший библиотекарь с готовностью принял ее обратно в свои руки.

— Ну как, нашли, что искали? — Он немного косил правым глазом, и потому было трудно понять, куда он смотрит — на меня или на кого-то за моей спиной.

— Вроде бы да.

— Прочли эти ангельские послания? — Его любопытство удивило меня — отчасти, видимо, потому, что я привык считать доктора Ди объектом своих личных интересов. — Вы, наверное, знаете, что его волшебный хрусталик тут, в музее? — Я покачал головой; на шее у него были два-три белых шрама, и я боролся с желанием уставиться на них. — Здесь и лежит. Наверху, в Тюдоровской галерее. — Он бережно опустил зеленую книгу на стол и ласково провел по ней ладонью. — Как он, по-вашему, умудрялся подглядывать за ангелами?

Найти магический кристалл доктора Ди оказалось довольно просто. Я поднялся по лестнице, ведущей из главного зала Британского музея к останкам древней Британии. Кубки, кинжалы и четки лежали в стеклянных витринах, отражающих мое лицо; я задержался взором на маленьком человечке, вырезанном из камня, потом зашагал дальше. Я быстро миновал Римскую Британию и средневековый период; разнообразные церковные реликвии купались в приглушенном свете, словно плавая в прозрачных аквариумах, и это напомнило мне о воде из святого кларкенуэллского колодца. Наверно, и ей, как этим старинным предметам, присущ неестественно ровный блеск былого?

Дальше начиналась Тюдоровская галерея, и узкий проход перед нею был освещен теми же скудными рассеянными лучами; я будто вступил под своды склепа. В самом проходе стоял шкаф с несколькими экспонатами — богато расшитой перчаткой, увеличительным стеклом, кучкой монет грубой чеканки. Но нужный шарик я заметил сразу. Он был меньше, чем я думал, размером всего с теннисный мяч; как же ангелам удавалось пробираться в столь тесное пространство и в его границах разворачивать перед доктором Ди целую духовную вселенную? Свет точно омывал хрусталик, не проникая внутрь самого стекла, и я без труда прочел маленькую карточку под ним: «Этот хрустальный шарик использовался Джоном Ди (1527-1608) для гадания, являющегося родом магической практики».

Позади кристалла был кусок ткани, расцвеченной синими, красными и желтыми изображениями; я представил себе, как набрасываю ее на собственные плечи, вздыхаю и поднимаю глаза к потолку своей полуподвальной комнаты. Я услышал, как кто-то кашлянул за моей спиной, но не отвел взора от хрустального шарика. Я видел лишь какие-то мерцающие на стекле световые блики и контуры; внутри все казалось смутным и расплывчатым, будто я глядел сквозь слезы на горящую свечу.

— Видишь, как он сияет?

Голос прозвучал позади меня, но я по-прежнему смотрел в камень.

— Да,— сказал я. — Прекрасно вижу.

— Словно самый драгоценный бриллиант.

— Ну, не так ярко. — Вымолвив это, я повернулся, но рядом никого не было. Кто же говорил со мной таким тихим голосом? Мне почудилось, будто поодаль, в толпе японских туристов, мелькнула чья-то фигура, но это было не более чем ощущением какой-то малозаметной перемены в поле зрения. Я снова посмотрел на шарик, но теперь не увидел в нем ровным счетом ничего.

От Грейт-Расселл-стрит до Кларкенуэлл-роуд я поехал автобусом. Лето уже близилось к концу, и, идя по площади к Клоук-лейн, я чувствовал в сыроватом воздухе бодрящую осеннюю свежесть. В саду кто-то плакал — похоже, ребенок. Отворив калитку, я сразу увидел сидящего на земле мальчугана; он поник головой и вцепился обеими руками в траву, а по щекам его текли слезы.

— Откуда ты взялся? — спросил я. — Тебя что, обидели?

— Меня зовут Мэтью.

— Меня тоже. Значит, мы тезки. Что с тобой стряслось?

— Я ведь совсем маленький. — Он еще плакал, но между всхлипами уже успевал переводить дыхание.

— Где ты живешь, Мэтью?

— У себя дома. Если я скажу тебе где, отец побьет меня. — С этими словами он посмотрел мне в глаза и зевнул. Не могу передать, какой меня охватил ужас, ибо я глядел на себя самого в обличье ребенка. Я видел это лицо на фотографиях, сохранившихся у матери. Но тут мальчишка вскочил на ноги и выбежал прочь из сада.

Я снова почувствовал то особое недомогание, или опустошение, которое, казалось, преследовало меня повсюду. Несколько секунд я простоял, пытаясь отдышаться; затем поспешил в дом и с громким треском захлопнул за собой дверь. По-моему, я дрожал, но все вокруг было тихо. Это разбудило во мне злобу, и я помню, как вызывал на свет Божий того, кто якобы притаился в этом доме и ждал меня. Никто, понятно, не откликнулся; тогда я чуть ли не в ярости распахнул дверь, ведущую в полуподвал, и опрометью бросился вниз по лестнице. Едва включив свет, я увидел символы на старой стене, но теперь меня почему-то больше манил прямоугольный контур под ними. Я прошел по каменным плитам и постучался в замурованную дверь.

Тогда стена раскрылась, и нечто проникло внутрь. По крайней мере, так мне почудилось тогда, но, переведя дух, я уже не мог отнести эту фигуру к какому-то определенному месту; она словно стала неким чувством у меня в груди. Затем мне послышались голоса.

«Я думал, что в камне видны лишь призраки, но теперь вы начинаете видеть и живых людей».

«На то Божья воля, сэр».

«Ах вот как? Божья или ваша собственная?»

«Вы знаете меня и должны помнить, что между нами никогда не было и тени лжи. Постойте-ка. Видите там нечто? Нечто в человеческом образе?»

«Я ничего не вижу. Совсем ничего».

«Говорю вам, доктор Ди, сей камень отворил врата ада. Эта комната, этот дом уже полны его исчадьями».

— Скажите,— громко произнес я,— вы верите в привидения?

«Вы что-нибудь слышите?»

«Я слышу только ветер».

— Есть теория, что они воплощают собой половую неудовлетворенность, а как по-вашему? А если призраки — это символы поражения, то что означает все прочее — запертая дверь, неубранная постель, плачущий ребенок? Как все это вписывается в общую картину? И что связывает вас с моим отцом? — Тут я понял, что в подвале звучит один лишь мой голос; но вместо того чтобы поддаться благотворному действию тишины и пустоты, я ощутил странное смятение. Мне хотелось слышать эти голоса, хотя бы ради того, чтобы уверить себя, что не все еще потеряно. Но разве мертвые могут говорить?

## *Светелка*

О Господи, что это был за сон? Я вновь сидел у себя в кабинете, склоненный над своими бумагами, но видение темного града так глубоко потрясло меня, что я с трудом сдерживал вопль ужаса. До рассвета оставался еще час, и я обонял в горсти свое зловонное дыхание; что за жуткую ночь выпало мне пережить! Я помнил, как плыву в лодке, преследуемый своим двойником, как стою перед королевой, погрузившей руки в мое тело, но, конечно же, все это были только призраки и порожденья кошмара? Однако я ощущал, что внутренне изменился. Я видел мир без любви и отлично понимал, почему это зрелище было открыто мне не кем иным, как отцом: моя любовь к золоту намного превышала любовь к нему, и смерть его вызвала у меня в душе лишь отвращенье да страх. Так вот куда мне грозило попасть, если то был мир, созданный по моему собственному образу!

Кто мог спасти меня от этого мрака? Один-единственный человек, но я так привык к его присутствию и его любви, что считал их почти не заслуживающими внимания; но спасти меня могла только моя жена. Нет, имелся

лучший и более верный способ: я должен был спастись сам, вновь обретя те нежность и симпатию, которые некогда питал к ней. Мне следовало освежиться в водах того ключа любви, что есть в каждом человеке; но прежде надо было найти свой путь к сему ключу, к сему началу. Итак, я стал похож на статую, изваянную Праксителем: стоявшему перед ней казалось, что она смеется; стоявшему слева — что спит; с другого же бока она выглядела плачущей. Я повернулся к миру своей скорбной стороной и узрел его в новом обличье.

Вдруг словно из-под земли полилась загадочная и сладостная музыка, но, потихоньку выйдя в коридор, я сразу понял, что это звуки клавесина, доносящиеся из горницы жены. Я на цыпочках спустился по лестнице и некоторое время слушал, не переступая порога ее комнаты; затем отодвинул портьеру, которая загораживала вход, шагнул внутрь и остановился на почтительном расстоянии за ее спиной. Она наигрывала мелодию «Чужие Мы Ныне», но оборвала свою чудесную игру, едва заслышав мое дыхание. Потом обернулась, и я, к своей великой печали, увидел, как исхудало ее лицо. Точно та, кого я знал, ушла навсегда и оставила вместо себя другую; но разве не могло это способствовать возрожденью любви?

«А я думал, тебе нездоровится»,— сказал я, пытаясь подбодрить и ее, и себя.

«Так и есть. Но я играла, чтобы разогнать тоску».

«Отчего ты тоскуешь, жена?»

«Отчего? Вы еще спрашиваете?» Я промолчал. «Всю ночь меня мучили спазмы и колики, сэр, а теперь накинулась мигрень».

Я пощупал у нее пульс и осмотрел ее внимательнее. «Да, ты больна,— промолвил я,— но хворь твоя не опасна. Ступай к себе в светелку и приляг отдохнуть. Я сварю тебе бульон, который успокоит желудок и окажет мочегонное действие. Все будет хорошо, мистрис Ди, все будет хорошо. А еще твою комнатку надо украсить цветами. Засушенные розы навевают мирные думы и исцеляют любые кишечные расстройства».

«Мистер Келли уже лечил меня».

«Келли? И что же он сделал?»

«Он дал мне особое питье с пшеничной мукой и дынными семечками. Назвал его укрепляющим — и горько же оно было, скажу я вам! А я только проснулась и даже ночное платье не успела переменить, но он заставил меня выпить».

«Ладно,— отвечал я. — Ни слова более. Я предписываю тебе строгую диету, а кроме того, ты должна много спать».

Я проводил жену в ее светелку и велел Одри усыпать пол душистыми цветами и благоухающими травами с малой примесью ароматических порошков — всему этому надлежало помочь ей в борьбе с недугом. Потом я принес ей легкий капустный отвар и накрошил туда немного куриного мяса, но она лишь пригубила этой похлебки. Далее, я изготовил фиалковый настой — им смачивают лоб и ноги даже самых тяжелых больных, если те страдают бессонницей. И так минули два дня, а она все угасала да угасала; я уже не знал, что сказать и что сделать, и решил посоветоваться с Эдуардом Келли, который каждое утро гулял в коридоре перед ее комнатой.

«Как она нынче?»— спросил он меня, когда мы встретились.

«Очень плоха». Я только теперь вспомнил о том его лекарстве. «Чем это вы ее потчевали?»

«Всего-навсего вином с мускатным орехом».

«Она сказала, что питье было горькое».

«Нет, нет,— ответил он. — Это все ее фантазии, ведь больному в бреду невесть что может почудиться. Знаете, как лихорадка меняет вкусовые впечатления».

Назавтра он вновь спросил меня о ее самочувствии и весьма расстроился, когда я сказал, что ей до сих пор не полегчало. В тот же день, примерно в час пополудни, ко мне в кабинет прибежала Одри: она пожаловалась, что Келли услал ее от постели госпожи с каким-то поручением, но она подглядела в замочную скважину и увидела, что он дает мистрис Ди какое-то снадобье. Я немедля спустился вниз и застал его возле ложа жены плачущим и возносящим молитвы.

«Что вам здесь нужно, сударь? — спросил я. — Вы ведете себя неподобающим и неблагоразумным образом».

Он прервал молитву и посмотрел на меня сквозь слезы. «Пожалуй, мне недостает благоразумия,— сказал он,— но чего же вы ждали от человека,

который всегда любил вашу жену как брат?»

«Одри сообщила мне, что вы давали ей какой-то напиток или лекарство».

«Нет. Я лишь нагнулся, чтобы уловить ее дыхание. Ей нужно смочить десны уксусом или мятной настойкой».

Внезапно лежащая на постели жена очнулась от тяжкой дремы и устремила на меня серьезный взгляд; я попросил Келли покинуть комнату и после его ухода стал рядом с нею. «Он жестоко обманывает тебя»,— промолвила она так тихо, что я едва смог разобрать ее слова.

«Откуда ты знаешь?»

«Я чувствую. Уверена». Она помедлила, чтобы перевести дыхание. «И мне он тоже не друг. По-моему, он вливает что-то мне в рот, когда я сплю».

Все это говорилось с великими усилиями и в большом смятении духа, но затем она поднесла руки к горлу и стала напевать «Песнь Углекопа», вскоре перейдя на мотив «Ступай Печальной Тенью За Красным Солнцем Вслед». «Я знаю еще сотню баллад,— серьезно сказала она мне. — Их ноты хранятся у меня, завернутые в пергамент и перевязанные бечевой».

«Ты должна отдохнуть, жена. Ты еще споешь, когда поправишься, но сейчас не надо. Не надо».

«Я слышала, доктор Ди, что двух голубей можно поймать на один боб, а двух куликов — в один силок. А один злодей может поймать двух глупцов?»

Я понимал, о чем она говорит, но мои думы были заняты совсем другим. «Уже поздно. Склони голову на подушку и спи».

«Ты, верно, прав. Не стоит больше толковать о важных вещах. Но поразмысли вот о чем, муженек. Разве, потеряв все, мы не обретем наконец покоя? Кто отдыхает сутки напролет, если не нищие? Что может быть радостней песенки бедняка без гроша в кармане?» Тут у нее начался бред, и горячка продолжалась весь этот день и всю ночь, вплоть до первых утренних лучей. Она очнулась совсем бледной и ослабевшей до последней степени. «Я почти не помню, что я говорила и делала»,— прошептала она мне.

«Ты спала, и сон освежил тебя. Более ничего».

«Нет, сэр. Силы мои на исходе. Я чувствую, как близится что-то другое, новое. Летний день долог, но и за ним наступает вечер».

«Молчи. Не говори так».

«Но, муженек, разве ты не слыхал, что, увядая, земляничные листья издают самый сладкий аромат?»

«Лучше сравни себя с базиликом — чем сильнее его сокрушают, тем упорней он распрямляется снова. Или с маком, что расцветает еще пышней, когда его топчут ногами. Наберись мужества».

Тут над домом послышались крики залетных чаек, и ей, похоже, пригрезилось, будто она лежит у берега моря. «Время надежды ушло,— шепнула она. — Я готова ждать здесь».

Я оставил жену в печали, не ведая, как излечить ее или хоть чем-то облегчить ее страдания. Но ни постоянно треплющая ее лихорадка со свирепыми приступами через два дня на третий, ни ужасные головные боли, которые не отпускали ее ни на секунду, не могли изгнать из моего смятенного ума тревожные мысли об Эдуарде Келли. Он прекрасно знал, что нынче мне было не до гадания по кристаллу, но почему же его несколько раз находили у ее ложа? Я не мог не верить словам жены о том, что он давал ей некий напиток, но неужели это был яд, с помощью коего он надеялся пресечь ее рассказы о его злоумышлениях? Нет, сие было слишком невероятно; однако я попал в тупик и не видел из него выхода.

Как-то вечером, когда я, снедаемый скорбью, сидел у себя в кабинете, он зашел ко мне и тихо стал рядом. «Я почитаю вас за отменного целителя,— сказал он,— знающего больше, чем любой аптекаришка или травник. Разве не можете вы ускорить ее излечение какими-нибудь лекарствами?»

«Вроде тех, что давали ей вы, мистер Келли?»

«Я? Но я лишь молился да проливал слезы».

«Что ж, не буду спорить».

Я пристально поглядел на него, и он отвернул лицо прочь. «Я знаю, что в эти печальные дни у вас нет ни досуга, ни охоты посещать келью прозрений,— сказал он. — Однако не пора ли нам обратиться к волшебному кристаллу?»

«Для чего же?»

«Если земные соки и минералы не способны победить хворь вашей

жены, то почему бы нам не оставить наши колбы и реторты, дабы спросить совета у призраков из камня? Да, я клеймил их бранными словами, но теперь, когда на нас обрушилось такое горе, я готов сделать все, чтобы...»

«Чтобы отвратить ее скорую погибель?» — это вырвалось у меня само собой, и я почувствовал, как сердце мое упало.

«Говорят, что страстное желание может принести больше пользы, нежели любое материальное средство...»

«Я надеюсь на это».

«Так если мощь воображения способна преодолеть косную природу, отчего бы нам не обратиться к кристаллу и не воззвать к ангелам, дабы они указали нам, что делать?»

Будучи совсем слаб душевно, я дал свое согласие, и Келли ушел готовиться к завтрашнему сеансу. Я не спал всю ночь, опасаясь дурных вестей, которые могло принести утро; а что, если порчу на жену напустило какое-нибудь зловредное существо, вырвавшееся из камня? Тогда я воистину заслуживаю проклятия. Поутру я тихо проник вслед за Келли в потайную комнату общения с духами и, по сложившемуся у нас обычаю, преклонил колени, покуда он сосредоточенно вглядывался in crystallo. «Сейчас все в тумане,— сказал он. — Теперь туман рассеялся. Вот на самом краю поля, видимого в камне, появляется некто, весьма быстро идущий по широкой дороге. Это мистрис Ди».

«Моя жена?»

«Теперь я слышу в кристалле громоподобный и раскатистый глас, и ваша жена выбегает из своей комнаты и как бы перепрыгивает балюстраду на галерее и лежит точно мертвая». Я встал и крепко затворил все двери, чтобы никто не услыхал его. «Теперь вы выходите из своей собственной спальни,— продолжал он,— и падаете на колени, и стучите руками по полу. Слуги поднимают вашу жену, но голова ее мотается из стороны в сторону. Она мертва. Правая половина ее лица и тела застыла и не может двигаться. Ноги ее босы, на ней белое платье. Они держат ее. Вот они выносят ее из ворот. Вы словно бежите впереди них в поля. Вы бежите по водам. А теперь все исчезает». Странен был его пересказ, и странно само видение — я удивился тому, как легко напророчествовал он кончину моей жены. Я провел по глазам рукою, и мне почудилась улыбка на его устах. «Воспряньте духом,— сказал он. — Я никогда вас не покину».

«Сударь?»

«Всем нам придется умереть, и лучше обрести утешенье теперь, чем лить слезы потом. Неужто вы не знаете, что после смерти нас ждет покой?»

«Нет, не покой, но слава. Если ей суждено погибнуть, хотя эта мысль для меня непереносима, она соединится со священным огнем, пылающим внутри божества. Но разве облегчит это мой собственный жребий?»

«Я буду рядом и поддержу вас, мой добрый доктор. И мы снова, как два юных бакалавра, отправимся на поиски истинного знания».

Он радовался, что моя жена больше не будет стоять у него на пути,— я видел это столь же ясно, как если бы смотрел in crystallo,— и теперь он сможет еще крепче привязать меня к себе. Понемногу я учился постигать его хитрые замыслы и уловки. «Я думал, что в камне видны лишь призраки, но теперь вы начинаете видеть и живых людей».

«На то Божья воля, сэр».

«Ах вот как? Божья или ваша собственная?»

Тут он внезапно впал в гнев. «Вы знаете меня и должны помнить, что между нами никогда не было и тени лжи. Постойте-ка. Видите там нечто? Нечто в человеческом образе?»

«Я ничего не вижу. Совсем ничего».

«Говорю вам, доктор Ди, сей камень отворил врата ада. Эта комната, этот дом уже полны его исчадьями». Он вдруг умолк и словно прислушался к чьему-то голосу. «Вы что-нибудь слышите?»

«Я слышу только ветер. Но довольно этих выдумок, Келли». Я был точно медведь, привязанный к столбу, вокруг коего рыщет лев. «Вы говорите, что в отношениях между нами царит справедливость, но как обстоит дело с вами и моей женой?»

Келли был по-прежнему поглощен созерцанием призрака, сотворенного его собственной фантазией, но минуту спустя вздохнул свободнее. «Тот человек исчез»,— прошептал он.

«Я говорил о своей жене».

Он взглянул прямо на меня. «Я не сетую на ее зависть и злобу,—

промолвил он,— ибо она теперь в таком плачевном положении. Если ей суждено умереть...»

«Вы так думаете. Или знаете наверняка?»

«Я видел это в кристалле». Тут я разразился смехом, и его негодование возросло. «С нынешнего дня, сэр, я не стану более иметь дела ни с вами, ни с вашей женой, ни с вашей челядью. Я не боюсь никого на этом свете, и никому не удастся толкнуть меня на дурное. Мои предки были честными людьми, и благородство у меня в крови!» Он повернулся и протянул руку, как бы желая схватить камень и то ли отшвырнуть его, то ли забрать с собой. «Разве вы вопрошали сих духов? А не я ли? Не я ли? Эти сеансы, эти явления, и зрелища, и голоса тревожили меня с самого начала. Душа моя не доверяла им и отвращалась от них, но мало того — вы сами помните, сколь часто я искал случая прекратить все это навеки!» Он запинался от ярости, но я внимательно слушал его слова. «Их речи и деянья несут на себе отблеск геенны. Разве я не отваживался противостоять им даже в вашем присутствии, понуждая их исчезнуть или хотя бы прояснить свои туманные и коварные иносказания!» Он по-прежнему пылал гневом и говорил не умолкая. «А теперь вы клевещете на меня, заявляя, будто я сам все выдумал. Это несправедливо, сэр. Стыдитесь!»

Он поспешно вышел прочь, и на мгновение я склонился над камнем: взор мой встретил лишь чистое стекло, такое же пустое, каким было оно на протяжении всех этих дней и сеансов. Я слышал, как он шагает взад и вперед по устланному соломой полу моего кабинета; затем он вдруг вернулся. «Я раскаиваюсь в своей горячности,— сказал он,— ибо знаю, какое бремя вы нынче несете. Стоит ли нам скорбеть над ушедшим, вместо того чтобы трудиться ради наших потомков? Ведь вы согласны, что мы должны продолжать работу, невзирая на недуг вашей жены?» Он взял меня за руку и, хоть я не выказывал к тому расположения, поднял ее и поцеловал мой перстень с Соломоновой печатью. «Вы глубоко увязли в подозреньях и недоверии,— промолвил он,— а ведь рядом с вами надежный брод».

«Пусть так,— отвечал я,— но я не из тех, кто, замочив ноги, уж не тревожится, сколь глубоко он зайдет. Мы с вами выберемся на твердую землю».

«Отлично сказано, мой добрый доктор. И отправимся дальше вместе». Все это время в моей груди кипели подозрения, хотя и не имеющие бесспорных резонов: я, столь преуспевший в изучении древности и удостоенный дивных прозрений, в коих являлась мне мудрость минувших веков, заблудился в лабиринте настоящего и не видел из него выхода. Я, мечтавший о сотворении новой жизни, даже не мог спасти жизнь своей жене. Не произнеся более ни слова, я вновь спустился к ней.

Она лежала на постели в поту, едва ли различая, что творится вокруг, а Одри сидела обочь нее с чистым полотенцем и каменной чашей, в которой была прозрачная и благоуханная розовая вода для освеженья ее лица. Я сказал ей, что единственное мое счастье заключается в том, чтобы видеть се здоровой и довольной, и что после изгнания хвори ей предстоит еще много радостных дней, но тут она взяла меня за руку и тихо заговорила. «Доктор Ди, доктор Ди, я больна и не вижу для себя исцеления». Я хотел покормить ее бульоном, но не мог убедить ее съесть ни ложки. И тогда я просто присел рядом с нею, размышляя о том, сколь жалок будет мой жребий, если она покинет земную юдоль; как черепаха, потерявшая пару, бродит бесцельно, не находя услады ни в чем, кроме уединения, так буду скитаться и я. Но затем я жестоко укорил себя за отвлеченные думы — ведь истинное страдание испытывала сейчас она, оставляя сей мир. О, что за великая скорбь наблюдать, как угасает твой единственный светоч!

Я смотрел на нее, спящую, и тут Одри, вытерев ей лоб, шепотом обратилась ко мне: «Она немножко плачет, сэр, когда думает, что никто не видит. А когда я вхожу к ней снова, она встречает меня улыбкой — ей-Богу, ну прямо сердце разрывается».

«Не трави душу, Одри. Довольно».

«Я вам больше скажу, сэр. У нее в крови яд. Не знаю уж, то ли от его снадобий, то ли от его черного колдовства». Я понимал, о ком она говорит, и слушал ее с чрезвычайной неохотой. «Он столько раз угрожал ей на словах и бушевал тут у ее ложа, что самый воздух напитался его проклятиями».

«Откуда тебе это известно?»

«Я боялась за ее жизнь, сэр, и подслушивала у двери».

«Но слова подобны ветру, Одри: едва вырвутся из уст, и вот их уж нет. Нам не в чем обвинить его».

Она пристально посмотрела мне в глаза. «Я знаю, сэр, в каком укромном уголке он держит свои бумаги и письма. Может быть, наведавшись туда, вы и откроете его истинное лицо».

«Как же ты это разузнала?»

«Я не доверяю ему, а потому следила за ним и видела, как он тайком прячет свои вещи».

Я прислушался к тяжкому дыханию жены; на ее челе уже проглядывала печать грядущей смерти. «И где же находится сей тайник?»

«У него в комнате. Там есть маленькая шкатулка — он принес ее с собой в тот злосчастный день, когда впервые переступил порог нашего дома...»

«Ни слова более. Я слышу его».

Келли был в прихожей и приветствовал меня, когда я вышел из светелки жены. «Я собираюсь съездить верхом в Саутуорк,— сказал он. — Там живет один мой старый товарищ, он хочет потолковать со мной кое о чем».

Он явно опасался, что мое недовольство им еще не утихло, однако я отвечал ему как можно более благосклонно. «Скоро ли вы вернетесь?»

«Не раньше вечера». Затем он спешно покинул дом, направясь в город по Тернмилл-стрит. «Так, так,— сказал я Одри. — Стало быть, разделенье у нас опередило растворение[1]».

«Что, сэр?»

«Ничего, Одри. Пустое. Достаточно ли крепок сон моей жены, чтобы нам можно было на минутку отлучиться?» Она кивнула. «Тогда пойдем живее. Веди меня к его тайнику».

Мы торопливо поднялись по лестнице и вступили в его комнату. Одри пересекла ее и, обогнув дальний край каминной доски, сунула руку за кирпичи. «Где-то здесь,— сказала она,— но я не могу нащупать. Ага, вот». Она вынула маленькую, изящную резную шкатулку, вполне пригодную для хранения бриллиантов, монет и тому подобных вещей. «Тут замочек,— произнесла она,— а ключика нет».

«Разве ты не знаешь, что за многие годы занятий я весьма понаторел в искусстве механики? Спустись-ка в горницу да принеси мне серебряную зубочистку».

Она не заставила себя ждать, и вскоре я открыл шкатулку, где лежали бумаги, исписанные вдоль и поперек. Мне удалось прочесть их без особых затруднений, и я обнаружил много любопытного — в одном месте, например, Келли аккуратно записал: «В двадцать пятый день апреля он совершил проекцию красного камня на равное количество ртути. Путем сего действа он рассчитывает получить эликсир добродетели». Затем, несколько позднее, Келли добавил: «Он скажет мне, как то, что тленно и несовершенно, может быть приведено от несовершенства к совершенству». А еще, на другом листке, были поспешные каракули, которые я разобрал довольно легко: «Тело человечка может быть создано из росы, звездного света и сублимации amor sexus. Если сию смесь очистить и заключить в стеклянный сосуд, то драгоценное семя обретет дыхание». Тут записи обрывались, но я и так понял, в чем дело: он нашел в моих конспектах, спрятанных от чужого глаза, секрет порождения гомункулуса. С помощью лицемерия и коварства он добрался до самой основы моих трудов и был близок к тому, чтобы похитить у меня тайну деянья во много раз более дивной, чистой и возвышенной природы, нежели все чудеса алхимии,— сотворения существа, которое живет и растет. И на этом мои находки не кончились, ибо под всеми бумагами лежало наспех намаранное письмо: «Он почти в нашей власти. Когда его жена умрет, он будет наш. На сем прощай. Джон Овербери».

Овербери. Боже, помилуй меня. Мой старый слуга, которого я случайно (как мне думалось) повстречал у Парижского садика, вступил в сговор с другим пройдохой и играл мною, как куклой в балагане. И только теперь я наконец понял всю глубину низости Эдуарда Келли: хоть я и не мог еще утверждать, что они объединились, дабы погубить мою жену, но в черноте их замыслов, направленных против нас с нею, у меня больше не оставалось сомнений.

---

[1] Каламбур: английское слово solution означает и растворение как стадию алхимического процесса, и разрешение (проблемы).

Не прошло и трех часов после этого открытия, как в кабинет ко мне заглянул уже успевший снять сапоги Эдуард Келли. Увидя его, я весь внутренне вскипел, однако продолжал делать записи; поздоровавшись со мной, он прошел в свой собственный кабинет, затем вышел снова. Когда он спускался по лестнице вниз, я покинул свою комнату и окликнул его. «Смотрели в театре какую-нибудь пьесу,— сказал я,— или развлекались иначе?»

«В театре? Не был я в театре, сэр, и не развлекался. Ведь я говорил вам, что ездил на встречу с одним весьма почтенным старцем, моим другом, живущим близ Саутуорка. Вы не знакомы с ним, сэр, но он шлет поклон мудрецу, который, по его словам, постиг все мыслимые науки».

«Благодарю». Затем я продолжал более серьезным тоном. «Я человек пожилой, мистер Келли, и потому подвержен многим сомнениям. Мне кажется, что вы дурно поступили со мной».

«Полноте, здоровы ли вы? Да я скорей взбегу на купол Святого Павла или проскачу верхом по всей Венеции. Я никогда бы не причинил вам зла».

Однако румянец покинул его лицо, и я это заметил. «Одри говорит, что вы возвышали голос у постели моей больной жены и бранили ее».

«Бранить человека в таком положении? — Он вспыхнул гневом. — Эта проныра, эта дырявая корзина для сплетен опять возводит на меня напраслину. Она точно верблюд, что не станет пить, покуда не замутит воду ногами,— она не уймется, пока не обольет меня грязью с ног до головы. Пускай я только ваш слуга...»

«Более, много более, чем слуга».

«Но меня то и дело язвят и шпыняют те, кому должно блюсти благополучие ваше и вашей жены».

«Прекрасная речь, мистер Келли. Но мне довелось познакомиться с речами, ее затмевающими. Не вы ли говорили, что когда моя жена умрет, я буду в вашей власти?»

«Уверяю вас, я никогда не говорил ничего подобного».

«Ах да, прошу меня простить. Это ведь слова Джона Овербери». Тут я вынул из кармана найденное в шкатулке письмо, и он отшатнулся в изумлении. «Меня не раз предупреждали,— продолжал я,— что вы питаете неприязнь ко мне и моим домашним. Но я не имел ни одного тому доказательства. Теперь же вы не сможете отрицать, что чинили здесь козни и плели интриги».

«Сударь, — он положил ладони на свою надушенную бороду. — Клянусь, что никогда не замышлял и тени дурного. Этот мерзавец Овербери послал мне письмо без моего ведома и согласия».

«Так зачем же вы спрятали его у себя в комнате? Нет, Эдуард Келли, свет не видел более подлого и низкого лицемера, чем вы!»

Тут он ударился в слезы и поник головой. «Вы знаете, что я всегда стремился быть вам истинным другом, мой добрый доктор. Даже в общении с призраками, хотя я скорее сжег бы все книги в мире, чем погубил свою бессмертную душу!»

«Боюсь, что вы сами измыслили все эти чудеса, всех этих духов и призраков, дабы вернее обмануть меня и завлечь в расставленную вами сеть». Я выбросил вперед руки, и полы моей мантии взметнулись по бокам, точно крылья.

Он обратил на меня неожиданно спокойный взор. «Я сохраню терпение, сэр, и постараюсь снести даже эту обиду. Я и далее намерен творить доступное мне добро, как бы меня ни оскорбляли, ибо никогда не забуду о своем долге и не запятнаю своей чести». Он умолк, видя мое суровое лицо, но потом заговорил снова. «Такова моя доля, и я знаю это. Но я скорее примирюсь с тем, что меня не ценят, нежели унижусь перед кем бы то ни было до мольбы о пощаде. Пусть сей грех останется у вас на совести — я же смиренно склоняюсь под вашей разящей дланью».

Я видел, что злодей думает оправдаться, громоздя ложь на ложь, и что он уже почти погребен под горой кривд и обманов. Я помахал письмом у него перед глазами и разорвал бумажку на три части. «Я изгоняю вас, Эдуард Келли, и отрекаюсь от вас. Я тратил свои деньги на обретение фальшивых надежд и фальшивых друзей и ныне прошу вас не докучать мне более».

«За какую же провинность вы обрушиваете на меня такую кару?»

«Я утверждаю, что вы подло лгали и обманывали меня. Сейчас я говорю лишь о духах, коих вы так ловко изобретали в келье прозрений, но мне еще

не ведомо, что содеяли вы против моей жены. Я намерен открыть правду. Можете быть в этом уверены».

«Я не ждал от вас такой бесстыдной клеветы, сударь. Как вы смеете оскорблять меня и обвинять в столь мерзких грехах?»

«Вы сами навлекли на себя этот позор. Довольно препирательств». И я опять указал негодяю на дверь, повелев никогда больше не появляться у меня на пороге.

«Вы обошлись со мной самым бессовестным образом, доктор Ди. И коли я не смогу отплатить вам, то найдутся в стране люди посильней меня, коим будет весьма любопытно узнать о ваших занятиях колдовством и черной магией. Куда как интересно услыхать об искусственном человечке, этом будущем сатанинском порождении!»

Я громко рассмеялся в ответ на его праздную угрозу, заметив, что ни одна живая душа ему не поверит; затем я сказал, что он должен убраться до темноты. Тут он принялся бушевать, заявляя, что не ступит и шагу прочь, покуда я не выплачу ему пятьдесят ангелов за всю его работу. Я не пожелал этого сделать, и он занес руку, собираясь ударить меня. Тогда я воззвал к слугам: «Идите сюда, мне угрожают расправой!» И он наконец ушел с проклятьями на устах.

Дрожа, словно лист под ураганным ветром, я опустился на табурет и в течение некоторого времени не понимал, кто я и что я недавно говорил. Но вскоре ко мне в кабинет постучалась Одри. «Ей все хуже и хуже,— сказала она. — Как начало смеркаться, ей совсем занедужилось: она прямо пылает и не может ни есть, ни пить. Не сойдете ли вы к ней, сэр?»

Тотчас позабыв о Келли, я отправился к жене и сразу увидел, что на спасенье нет никакой надежды. Все ее тело отощало и ссохлось, так что кости почти проступили наружу; она более походила на привидение, чем на живое существо, и, приблизясь к ее кровати, я подавил глубокий вздох скорби. «Я нынче слишком худа,— улыбаясь, молвила она,— но ты уж не серчай на меня».

«Да разве могу я сердиться на тебя, Кэтрин? С каждым днем ты все меньше ешь и спишь, и это меня тревожит. Но и только».

«Не надо тревожиться. Я стала так легка, что мне теперь не нужны ни сон, ни пища. Иногда мне чудится, будто я взмываю в воздух в каком-то ином облике».

«Быть может, позвать сюда Одри, чтобы она сыграла для тебя какую-нибудь песенку или мелодию на клавесине? Он стоит там, за занавесью, и пылится».

«Нет, нет. От музыки я расплáчусь. Теперь я слышу в ее звуках, как возрастает и гибнет все сотворенное».

«Но ведь в ней есть и истинная гармония. Нас осеняет нетленное небо с эмблемами звезд и планет, твоя настоящая пристань. Ты отправишься туда в свой час, как пчела, что летит на цветок».

«Значит, поэтому мне кажется, будто я возвращаюсь к началу? Будто я вновь стала ребенком?»

«Звезды проникают наши тела своими блаженными лучами, и мы, согласно нашему месту в мире, всегда напоены их волшебным светом. Но отдохни же. Ты полна дум, а думы могут помешать тебе выздороветь».

«Нет. Я уже собралась с силами, теперь, когда ты рядом со мной, и я вполне счастлива. Вполне счастлива. Разве не счастливою нужно сходить в могилу? Ведь мне нечего больше бояться».

«Не говори так».

«Но почему бы мне не говорить о счастье, когда это, быть может, мои последние слова к тебе на этой земле?» Тут я отвернулся, чтобы она не заметила моих слез; повернувшись опять, я увидел, что она смежила веки. «Теперь мне рисуют тебя вера и воображение,— сказала она. — А где нет веры, там нет жизни». Засим я преклонил колени у ее ложа и молился целый час напролет, прислушиваясь к каждому ее вздоху как к последнему и зная, что драгоценное тепло скоро вознесется из ее груди к своему родному обиталищу над звездами. Вдруг она шевельнулась, и я увидел, как глаза ее открылись и нечто ласково глянуло на меня. «Мы встретимся вновь, Джон, а пока — прощай». И после сих слов она испустила дух. Что сделалось со мною, я не могу описать.

Я громко кликнул Одри, которая стояла у порога, заливаясь слезами. «Убери ей волосы,— сказал я. — Я не в силах более находиться с нею. Я запомню ее такой, какою она была, и домыслю в воображении ту, кем она

будет».

Я покинул ее светелку и вышел в холл. Там, брошенная Одри, лежала груда вытканного женою тонкого полотна; оно пахло левкоем, и я прижал его ко рту и носу, точно желая лишить себя дыхания и оборвать свою собственную жизнь. Затем я услыхал позади шаги Келли — он спускался по лестнице.

«Теперь,— промолвил он,— когда мне известна мера вашей неблагодарности, я с охотою ухожу прочь и отрекаюсь от вас». Он еще не знал о смерти моей жены, и я скорее дал бы растерзать себя собаками, нежели открыл ему это. «Но вот что я вам скажу, Ди. Ваша догадка верна. Духов, которым вы так трепетно внимали, придумал я сам, и в Гластонбери никогда не обнаруживали реликвий древнего града. Все эти уловки изобрел Джон Овербери, ибо он хорошо изучил вас и нашел кратчайший путь к вашему сердцу — если в груди у вас сердце, а не жаба. Я проник к вам на службу с единственным умыслом: снискать ваше доверие, дабы с течением времени вы открыли мне секрет философского камня. Узнав же о гомункулусе, я понял, что деньги — это далеко не все, к чему стоит стремиться. Но сейчас мне думается, что вы и золота не умеете сделать». Значит, они с Овербери хотели раздобыть злата, а потом решили выпытать у меня более драгоценную тайну. Что ж, теперь все это нимало меня не тревожило. «Я уйду на рассвете,— продолжал он,— и вместе со мной канет в небытие ваш древний город». Я ничего не ответил; по-прежнему стоя спиной к нему, я прижимал к лицу вытканное женою полотно.

Конец дня и ночь я провел в келье прозрений. Я не мог спать и сидел, свесив голову долу и вспоминая о жене — ибо что еще оставалось мне, как не клониться к той самой земле, где вскоре упокоится ее тело? Было четыре часа, самая тихая утренняя пора, когда я услыхал в кристалле слабый зов, или шепот. Не прошло и минуты, как далеко-далеко — хотя это было не далее чем в углу комнаты,— появилась женщина, столь светлая и прозрачная, что я видел внутри нее дитя мужского пола. Она приближалась ко мне с простертыми руками, и я вдруг понял, что ребенок в ее чреве — это я сам.

«Матушка,— воскликнул я. — Нет, ты не мать, но жена! Ты— призрак жены моей, вставший передо мною! Но отчего ты несешь меня в своем чреве?»

«Джон Ди, я послана Богом».

«О, увидеть тебя, и так скоро! Я думал, что никогда больше не увижу твоего лика в сей жизни, никогда не услышу твоего голоса на этой печальной земле».

«Я пришла научить тебя истинному зрению, Джон Ди, дабы ты мог видеть то, что кроется в душах людей. Тогда облачишься ты в новый наряд, и он будет иного цвета».

«Какой наряд? Какого цвета? Я блуждаю во тьме».

«Что ж, оставлю рассужденья и отвечу тебе простой песенкой:

Пускай твоя мудрость не будет помехой в пути,
Сожги свои книги и смело за мною иди.

Ну как, понятно?»

«Могу я задать тебе несколько вопросов? Всегда ли любовь начинается скорбью, а кончается смертью? Всегда ли наслажденье полно боли, а радость проникнута горечью? Разве возможно на свете добро, если венец всему — печаль?»

«Ты спрашиваешь меня об этом даже теперь?»

«Да, я и теперь не знаю, какой может быть любовь».

«Вот почему при всей своей учености ты нашел в сем мире лишь злобу да честолюбие. Ты читал свои фолианты вотще и тратил время впустую. Теперь пойми нечто, способное принести тебе гораздо больше пользы: этот мир есть ты сам, Джон Ди».

«Так как же его изменить?»

«Для этого нужно суметь изменить себя. Однажды ты уже видел мир без любви. Теперь раскрой глаза и воззри на мир с любовью».

После сих слов это бесплотное существо, моя дорогая жена, словно бы погрузилось в пол и исчезло в пламени. Затем огонь охватил всю комнату, однако не причинил мне вреда. И стены вокруг меня пропали.

## *Сад*

Воззри же на мир с любовью. Я стоял в своем собственном саду, что разбит на покатом берегу Флита, однако он дивным образом изменился. Прежде здесь витали зловонные миазмы, поднимающиеся с ближних луж и канав, но теперь они исчезли, и воздух был сладостен и благоухающ; также пропал куда-то гнус и иные летучие твари, кои ранее весьма мне досаждали. Все вокруг казалось светлым, пробужденным к новой жизни, а посреди деревьев я увидел прекрасную розу, обвивающую собою дуплистый дуб. Цветы на ней были белыми и красными, листья сияли, как червонное золото, а у подножия дуба бил хрустально-чистый ключ. «Я знаю, что это,— вслух промолвил я. — Это Сад Философов, и вход сюда обычно преграждают такие замки и препоны, что никто не может их миновать».

И правда, здесь были многообразные растения и цветы, символизирующие стадии великой работы: роза, которая есть цветок солнца; шелковица, означающая таинство изменения; и мирт, что является истинным символом бессмертия. Все они, вместе с неиссякаемым родником, вечно освежающим наши усилия, представляют собой эмблемы химического поприща. Были тут и другие побеги и травы, по природе своей тяготеющие к различным планетам, чьи лучи оживляют, лелеют, холят и взращивают хрупкие семена этого мира. Вот почему все следует сеять и пожинать в соответствии с положением астральных тел над или под горизонтом. Кориандр и укроп должно сеять, когда месяц растет, а собирать на ущербе луны. Травы лучше всего срывать после двадцать третьего марта и до двадцать третьего июня, когда их целебные свойства усиливаются излученьем небесных светил. Однако пусть об этом радеют аптекари, чья главная забота — выделять из растений их драгоценную квинтэссенцию; Сад Философов хранит в себе гораздо более великую тайну, ибо в здешней росе пребывает дух новой жизни. Соберите ее в месяце мае, расстелив по траве чистое белое полотно, и дистиллируйте в стеклянном перегонном кубе...

«Довольно, Джон Ди. Довольно. Я прочла все твои мысли». По правую руку от меня, как раз возле недавно построенного мною причала, клонилась к воде маленькая ива; и вдруг из нее, чудно преображенной и раздвоившейся посередине, ступила на землю моя жена. На ней была синяя мантия, расшитая серебряными нитями, а под мантией — белое шелковое платье, усыпанное бриллиантами величиной с боб. Ее красота едва не ослепила меня, и я закрыл лицо ладонями. Нет, то была не жена. То была моя мать, которую я не видел вот уже многие годы. Нет. Это была не она, но другая — та, кого я видел во снах с самого детства и кого неизменно терял, пробуждаясь. Да, то была она. «Довольно,— сказала она. — Ты проник в алхимический сад. Теперь отвори угловую калитку и найди то, что будет для тебя самым благим и полезным. Взойди на холм отреченья и избавься от знаний, обретенных из страха и честолюбия. Мне нечего к этому добавить».

И она исчезла. Маленькая калитка, упомянутая ею, находилась слева от меня, на краю сада, и я весьма охотно двинулся в ту сторону; отворив калитку, я вышел на ровный луг, покрытый мягкой травой и простирающийся до самого горизонта. Он был залит солнечными лучами, но я нигде не видел холма, о котором шла речь; затем он внезапно возник передо мною, и я начал подъем, зная, что вскоре обрету под ногами более надежную почву. Через какое-то время я достиг вершины холма и, остановясь, дабы перевести дух, устремил взгляд на обширные сады, раскинувшиеся внизу великолепным ковром. Здесь были поросшие муравою террасы, чудесные деревья и цветы, восхитительные аллеи, живые изгороди, отбрасывающие прохладную тень, и прочие насаждения, изобилующие увитыми зеленью беседками, скамьями и шпалерами, расставленными с превеликим изяществом, прилежанием и искусством. Даже с верхушки холма я обонял столь сладостные ароматы, источаемые растениями и травами, слышал столь дивную музыку природы и трели птиц и видел клумбы, пестрящие столь многими прелестными цветами, что это побудило меня сказать вслух: «Первым местом обитания, созданным Всемогущим Богом, был сад, и теперь, о Господи, я воочию убедился в том, сколь прекрасна Твоя обитель».

Я спустился с холма и вышел на очаровательную лужайку. Со всех сторон ее окаймляли укромные аллеи, образованные густым колючим кустарником; в самом же этом кустарнике, подобно ежу, что хоронится среди шипов, ибо шкура его полна иглами, пряталось множество неприхотливых

растений — я узнал тут гвоздичные, мускатные и фисташковые деревца, а также алоэ, известное своим укрепляющим действием. Все это символизировало пору, когда лучше собирать целебные травы для желудка, нежели благоуханные цветы для услаждения чувств. Ибо сей мир способен как ранить, так и врачевать; и хотя базилик порождает скорпионов, их можно полностью извести с помощью того же базилика. Уловил я и тонкий запах руты, изгоняющий из зеленых насаждений змей и прочих ядовитых гадов. Воистину, все на этой поляне дышало миром и простотою — где еще, если не здесь, следовало учиться смирению и мудрости? Внимая окружившим меня безмолвным наставникам, я почувствовал, что меланхолия покидает меня, и с облегченной душой зашагал по ровно подстриженной мураве к самому саду.

И куда же попал я, как не в царство редчайших и изысканнейших цветов? Тут росли дивные розы, ароматные примулы, грациозные фиалки, лилии, гладиолусы и турецкие гвоздики; были тут и желтые нарциссы, пестрые анютины глазки и сераделла с белыми и красными цветками. Чтобы определить названия и свойства всех этих многочисленных растений, мне понадобился бы какой-нибудь специальный ученый труд, однако я заметил, что они принадлежат к различным сезонам: весенняя примула, эмблема верной любви, и благородный левкой соседствовали с лавандой и майораном зимней поры, желтые январские крокусы цвели бок о бок с июньским водосбором, а белая апрельская фиалка — рядом с сентябрьским маком. Да, подобного изобилия я еще не видывал, и меня обдало такою волной сладких запахов, точно я распахнул дверь в чулан, где хранился заботливо высушенный гербарий, обнимающий богатство целого года.

Затем откуда-то повеяло ароматом желтофиолей, и этот миг вернул меня обратно к детским годам, когда я играл в бабки под стеной амбара, стоявшего на нашем поле в восточном Актоне. А вот и моя мать в белом платье, любовно простирающая ко мне руки. Молю тебя, поговори со мною ласково, матушка, хоть я уже не дитя, ибо теперь, на склоне лет, мне так нужно услышать твой голос и обрести утешение. Помнишь, как крепко ты обнимала и целовала меня, сразу изгоняя все мои страхи! И тут пропало все, что ждало меня впереди и что было за моей спиною,— осталась только сыновняя любовь. Матушка, матушка, там, где есть ты, нет места ночи и мраку, ибо в памяти моей твое сиянье побеждает тьму, как вихри, что вбирают в себя пыль. Так осенил меня аромат желтофиолей, и я замер, покоренный его волшебными чарами.

Потом я еще немного прошел далее и очутился на поляне, где росли стройные вязы, а также ряды молодых деревьев, увитые виноградными лозами. Здесь я заметил ноготки, тимьян, девясил, розмарин и подобные им цветы для города (по моему разумению), и вдруг ощутил благоуханье левкоя, схожее с пряным ароматом гвоздики. Где слышал я этот запах прежде? Так пахла маленькая, крепко зашитая ладанка, которую моя жена никогда не снимала с шеи; и тут я отчетливо увидел ее такой, как в ранние дни нашего брака,— в длинном голубом платье, ожидающей меня у дверей дома на Постерн-стрит, где мы тогда обитали. О, как страстно хотел я вновь пережить этот миг — какую радость он принес бы мне, не отягощенному бременем своих обычных страхов! Тогда я не видел и не осознавал всей святости этой минуты, а теперь вдруг отчетливо понял, что она ушла навсегда. Бывает, что злато лежит незамеченным в прахе земном, покуда какой-нибудь ребенок случайно не подберет его; так другие замечали и собирали злато этого мира, а я оставался ни с чем. Я пытался постичь мир, но ни разу не видел его в истинном свете; я жаждал знаний, но, мучимый страхом, не умел оглядеться по сторонам. Я искал определенности в думах о прошлом и грезах о будущем, но упустил тот драгоценный миг настоящего, когда моя жена махала и улыбалась мне на крыльце нашего дома. О, если бы увидеть ее опять, как тогда, и услышать ее голос...

И вдруг она появилась из-за деревьев и стала передо мною, как бывало прежде. Сначала я застыл, испугавшись, что моя мольба вызвала из небытия некий коварный призрак. «Не бойся меня,— промолвила она, догадавшись о моих сомнениях. — Мой приход не сулит тебе ничего дурного — я хочу лишь попросить тебя о том, в чем ты не сможешь мне отказать».

«Разве могу я отказать тебе, при жизни или после смерти?»

«Я хочу, чтобы ты исцелил сам себя. Но язвы следует врачевать не прежде, чем изучишь болезнь, и ради этого мы отправимся в путь. Я

предложила свою душу в залог Господу,— добавила она,— чтобы явиться сюда и излечить тебя от всех твоих страхов. В то краткое время, что мы проведем вместе, я по-прежнему буду тебе чуткой и преданной женой. А теперь не пойти ли нам на прогулку, подышать свежим воздухом?»

Я шагнул к ней, и слезы заструились у меня по щекам. Однако она покачала головой, как бы желая сказать, что оплакивать нечего. Тогда я осушил глаза и нежно заговорил с нею. «Куда я попал, женушка? Я не знаю такого места — разве что это алхимический сад, изображения коего есть в моих книгах».

«Нет, это не сад алхимиков. Это сад истинного мира, и среди здешнего многоцветья мы увидим прекрасную розу и жгучую крапиву, робкую лилию и колючий терновник, высокую лозу и низкие кусты. Их уроки ты должен затвердить наизусть, ибо что толку в знаниях, если они не помогают жить?»

«Словно зерно, тихо лежащее в почве природы, пока его не пробудит и не воскресит тепло духовного солнца, стану я внимать тебе и цвести под лучами твоих наставлений». Затем я объяснил ей, что ни прежние мои учители, ни прочтенные мною книги не поведали мне тех истин, к коим я столь жадно стремился.

Она весело рассмеялась. «Я знавала людей, которые с презрительным фырканьем отвергли бы совет, данный женою».

«Но к ним нельзя причислить того, кто возносит дарителю мудрости смиренные мольбы, прося наконец осенить его подлинным светом».

«Что ж, двинемся навстречу ветрам этого мира. Южный ветер чреват вредными и гнилостными испарениями, однако в сем саду его не бывает. Северный ветер исцеляет от колик, западный нагоняет меланхолию, но восточный всегда мягок, приятен и свеж. Ты увидишь, какой из них будет овевать тебя во время нашей прогулки».

И мы пошли в сад, где нашим глазам вновь открылось несметное количество цветов, среди коих были веселая маргаритка, преданная лаванда и благородная лилия. «Как я хотел бы получить в дар от Бога ключ к этому месту,— сказал я. — Оно мне милее самого прекрасного чертога».

«Но у тебя есть сей ключ. Разве ты не знал и разве твои высокоумные сочинители ни разу не поведали тебе, что цветы и растения суть образы внутреннего мира? Посмотри, как в бутоне розы прячется гложущий ее червь. А шипы на ее стебле говорят нам о том, что не бывает сладости без горечи и наслаждения без скорби. А теперь взгляни на виноградную поросль, оплетающую вязы на дальнем берегу».

«И что же нового должен я почерпнуть из сего зрелища?»

«Да ведь это не столь уж для тебя ново. Как садовник сочетает браком вяз и виноградную лозу, так истинный философ умеет обвенчать землю с небом, то есть элементы дольнего мира с духовным могуществом горнего. Не пойти ли нам туда и не нарвать ли букет фиалок? А может, дамасских роз? Что лучше? Чему ты отдаешь предпочтение — красивым цветам перед благоуханными или аромату перед зримым великолепием? Собирая те или другие, ты выкажешь свою потаенную страсть».

«Но разве не следует ценить их в равной мере? И те и другие всегда свежи и молоды, однако никогда не остаются прежними. Все прочее подвержено увяданию, гибели и тлену; но в этих цветах обитает дух — дух красоты, дух вечной прелести, именуй его как угодно,— который горит неугасимым пламенем, подобно сияющему маяку или искристому факелу; сей дух способен пребывать и в том, что ты нарекла ветрами мира».

«Теперь я вижу, Джон Ди, что ты начинаешь постигать тайную грамоту природы. Идем же. Куда мы отправимся — под сень широколиственных дубов или в солнечный виноградник? А если твои ноги устали, мы можем отдохнуть в беседке. Согласен ли ты со мною?»

«Да,— сказал я. — Если я и устал, в сем благословенном месте ко мне быстро вернутся силы. Не войти ли нам вон в ту рощу, где трава еще влажна от росы?»

«Некоторые зовут эту росу слезами мира. Но чу! Слышишь, как малые птахи славят Господа своим счастливым щебетом? Для созданья божественной гармонии нужен порядок — имеется такой порядок и здесь. Знаешь ли ты, что дрозд никогда не поет вместе с соловьем, дабы избежать неблагозвучия? Так какую птицу ты более всего хотел бы послушать — соловья, коноплянку, зяблика, дрозда, жаворонка или воробья?»

«Я не люблю воробья, ибо его пение не ласкает слуха».

«Однако его шаловливая резвость снискала ему имя Венериной птицы».

«Так значит, вся живая природа есть символический образ человечества?»

«Не только человечества, но и тех ангельских воинств и духовных сил, что приводят в движенье небесные сферы».

«Тогда я хотел бы остаться в этом уголке навеки. Я точно кузнечик — порожденный травою, он скорее умрет, чем покинет ее».

«В таком случае я уподоблю себя черепахе, ибо она всегда хранит верность разлученному с нею супругу».

Тут я вздохнул и едва не заплакал снова. «Женушка, милая женушка, скажи мне, призрак ты или живое существо, вновь ступающее по земле? Конечно, ты лишь воплощение чистого духа, ибо, увы, я видел твою смерть собственными глазами».

Она ничего не ответила мне на это, однако рассмеялась и взяла меня за руку. «Давай отдохнем у тех серебристых струй». И мы вышли из беседки и направились к небольшому ручью, который брал начало в девственной лесной чаще. На берегу его зеленели ивы, ибо они любят произрастать в сырых и влажных местах, а неподалеку от нас ручей впадал в озеро столь совершенной формы, что его можно было счесть сделанным чьими-то искусными руками. «Разве не чудная здесь царит прохлада? — сказала она, глядя вниз, на прозрачный поток. — А как мелодично журчит бегущая по камням вода!»

«Взгляни на озеро, жена,— не правда ли, рябь, поднятая этим легким ветерком, весьма приятна для глаза? Одна волна бежит за другой, а у берега одна нагоняет другую. Это зрелище завораживает и усыпляет меня».

«Нет. Спать нынче не время. Разве ты не знаешь, что кипарис вянет тем быстрее, чем больше его поливают?»

«Я похож не на кипарис, а на миндальное дерево: чем оно старше, тем обильнее плодоносит».

«И что же, Джон Ди?»

«Такова и любовь — с возрастом она укрепляется верой».

«Пожалуй, уроки зачарованного сада не прошли для тебя даром. Не продвинуться ли нам еще на один шаг, побеседовав вон о том дубе, что возвышается в чаще?»

«Я готов внимать тебе бесконечно».

Она засмеялась снова. «Хорошо. Видишь, как много рук вырастает из тела этого дуба и как много пальцев на каждой руке? Вот он, символ твоей силы и счастья: силу дает тебе доброе имя, а счастьем награждает познание истины. Твой дух должен быть подобен дубу, ибо нет ничего крепче и здоровее. Все должно брать начало в одном корне, ибо таков залог постоянства и простоты. Сие есть древо Господа нашего, столь глубоко укорененное, что страх и ненависть, угрызающие бугристую кору, никогда не доберутся до сердцевины; а крона его вознесена на такую высоту, куда не досягнут ни злая зависть, ни жестокое честолюбие. Под сенью этого древа ты обретешь и покой, и защиту от палящих лучей нашего грубого мира».

«Твои наставленья и впрямь драгоценны: они изгоняют из моей души страхи и зависть. Благодарю тебя, жена, ибо ты и сама подобна древу».

«Какому же?»

«Тому, на котором отдыхает феникс. Ведь феникс на свете один, а значит, одно и древо, где он свивает себе гнездо».

Тут она взяла меня за руку и повлекла мимо ручья и леса в укромный уголок сада; там мы увидели лабиринт. По четырем углам его стояли четыре плодовых дерева, а вдоль аккуратно подстриженных живых изгородей тянулись заросли чабреца и мяты. «Теперь,— сказала она,— мы можем вступить в круг танцующих».

«Но разве здесь кто-нибудь танцует?»

Не отвечая, она повела меня по столь длинным и извилистым аллеям, что я скоро перестал понимать, куда мы стремимся. «Отринь смятение,— сказала она. — Сейчас тебе все откроется. Ведь мир и сам во многом схож с лабиринтом».

Наконец, после бессчетных извивов и поворотов, мы достигли просторной лужайки, где готовились к танцу мужчины и женщины; согласно обычаю, каждый выбрал себе партнера, а затем все они на моих глазах закружились поочередно в гальярде, куранте и паване. «Не думай,— сказала мне жена,— что это легкомысленная, непостоянная и падкая на различные веяния толпа, которая станет плясать под любую дудку. Эти люди избрали в

жизни истинный путь, а разве можно найти для него лучший образ и подобие, нежели танец?» Я смотрел на танцоров и видел такие чудеса ловкости в оборачиваниях и подхватах, такие прыжки и подскоки, такие пируэты и кувырки, что не мог не рассмеяться: столь сладостно выглядели вращающиеся, порхающие и огибающие нас пары, что с моих плеч будто свалилось многотонное бремя. Я читал о тех духах, что под аккомпанемент волшебной музыки водят хороводы на прекрасных полянах и зеленых лугах, исчезая сразу же, едва к ним кто-нибудь приблизится; но здесь были представители человеческого рода, двигающиеся в ритме мировых сфер под звуки виол, скрипок, флейт, лютней, цитр, свирелей и клавесинов.

«Помнишь старинную песенку, что напевала тебе мать?»— тихо шепнула жена мне, замершему в удивлении.

«Да,— отвечал я,— она еще жива у меня в памяти.

Я дремлю и засыпаю,
Уношусь мечтами к раю...»

Тогда она взяла меня под руку и повела по другой аллее лабиринта, откуда мы вышли на яркий свет. «Взгляни,— сказала она,— на эти стези радости и счастья». Внезапно кругом заполыхали необыкновенные языки огня, вздымавшиеся высоко в небо и как бы горевшие неугасимо. «Ибо всякий, кто умирает и кто рождается, есть светоч, который нельзя задуть. Как от малой искры или от крохотного уголька возгорается великое пламя, так сияет наша земля в объятьях небесной тверди. Вот почему сверканье сего места ярче солнца, если ты только способен узреть его».

Затем я, к своему изумлению, увидел, что мы находимся в гигантской толпе: кто-то стоит рядом, кто-то вокруг, кто-то вверху, кто-то внизу, и самый лабиринт являет собою множество людей, в котором царят безупречный порядок и симметрия. Взоры их были устремлены на некое скрытое от меня зрелище, и я снова и снова слышал со всех сторон восторженные кличи, коими они выражали свою радость. «Куда они смотрят?»— спросил я у жены.

«На мир с любовью».

«Но где же он?»

«Повсюду».

«Однако я не вижу его, несмотря на все мои усилия».

«Сейчас ты попал туда, где потребны не усилия, но скорее вера и молитва. Тебе не надо корпеть над книгами — нужно лишь смирить гордыню и очистить душу. Не найдя ничего, ты обретешь все на свете».

«Теперь эта истина пустила в моей душе столь глубокие корни,— сказал я,— что как ни копай под нее, она только укрепится, как ни ломай ей ветви, ее крона станет еще пышнее, как ни пытайся согнуть ее, она не лишится своей гордой прямизны».

«Твои речи мудры и достойны, Джон Ди. Но возрадуйся же. Однажды ты узрел мир без любви, а ныне вступи в мир с любовью». И она взяла меня за руку, приглашая в ряд танцующих павану. «Теперь ты видишь, что ты звездный житель? — сказала она, когда мы закончили все фигуры танца. — Ты весь — благодать без зависти, легкость без превосходства».

«Я всю жизнь искал того, чья родина — звезды».

«Но он в тебе самом и был там всегда, хотя его нельзя найти с помощью опытов или размышлений. Он божествен по своему происхождению и имеет столь благородную природу, что, едва укоренясь в душе человека, расцветает пышным цветом и приносит нетленный плод».

«Я вижу, ты испытываешь мою старую веру в искусства и науки».

«Теперь ты должен поверить не в знания, а в любовь, не в силу, а в покорство».

«Скажи мне более и помоги».

«Любовь есть драгоценная субстанция, пылающая пред Господом, но суть ее так загадочна, что немногие могут описать ее или понять, какими тайными путями входит она в людские сердца. Немногим знакомы довольство и радость, осеняющие душу в тот сладостный миг узнавания, когда мужчина и женщина устремляются друг к другу всеми своими помыслами. Я — твоя истинная жена; так обними же меня, и наши глубинные сущности сольются в одну. Ведь любовь — это светоч мира».

«Однако пока передо мною горит иной путеводный огонь, милая женушка. Духи научили меня многому, но очиститься я смогу лишь через воплощенье собственной мечты. Есть великий град, который я полагаю своим

истинным домом, а разве неправда, что всякий человек должен провести вечность в доме, выстроенном для себя им самим?»

«Правда,— отвечала она,— что воображенье бессмертно, и потому каждый из нас создает свою собственную вечность».

«Так дай мне отсрочку, жена. Я обрету спасение, когда постигну свою мечту».

«Будь осторожен, Джон Ди, и не ошибись в выборе».

Я хотел было сказать ей, что отвергаю путь мирского знания и посвящаю все силы поискам того первичного духа, что обитает во мне, но тут она окуталась сиянием, точно плащом, и исчезла.

## 7

Так кто в этом мире может заставить мертвых говорить? Кто может увидеть их собственными глазами? Это было бы чем-то вроде волшебства — снова вызвать мертвецов к жизни, пускай даже на страницах книги. Или в моем собственном сознании, когда я той ночью лежал в постели и вспоминал дневные события; просмотр документов, унаследованных от отца, чтение завещания Джона Ди, ребенок в саду, голоса у замурованной двери — все теперь словно выстраивалось в один ряд. Слышно было, как отбивают время колокола Св.Иакова; я уже почти дремал, умостившись головой на руках, и меня посетила одна из тех грез наяву, которые иногда предшествуют сну. Я был на огромной равнине, а по ней, невесть из какого могучего источника, полз широкий поток лавы; некоторые части этого потока обгоняли другие, так что двигалось как бы много различных поверхностей, а маленькие, разбегающиеся в стороны ручейки уже начинали застывать, принимая знакомые формы. Над главным руслом взвивались огненные смерчи, а у края, где я стоял, раскаленное умирающее время излучало такое тепло, что я сразу же погрузился в сон.

На следующее утро пришло письмо для отца. Увидев на конверте его имя, я так удивился, что у меня промелькнуло странное опасение — уж не им ли самим оно написано? Разумеется, это был абсурд: письмо прислала некая Элизабет Скелтон, о которой я никогда не слышал; она благодарила его за «предоставленную нам возможность осмотреть дом доктора Ди», извинялась за задержку с ответом, а потом спрашивала, «как подвигаются ваши разыскания в Уоппинге».

Я выпустил письмо из рук, и оно плавно упало на пол. Вот и еще одно доказательство интереса моего отца к доктору Ди — интереса, в котором я даже теперь не мог полностью разобраться. Что за непонятную симпатию питал он к нему? Зачем скопировал рецепт создания гомункулуса? Я снова поднял письмо и перечел фразу о «разысканиях» в Уоппинге; именно это место было упомянуто в манускрипте доктора Ди, и я вспомнил нарисованного там ангела, вспархивающего к краю страницы. Но что делал в восточном Лондоне мой отец?

В верхнем углу письма стоял телефонный номер, и я сразу же взялся за аппарат. Позабыв назвать Элизабет Скелтон свое имя, я заговорил торопливо и громко. «Вы написали моему отцу, но он умер. — Молчание. — Вы писали ему насчет Джона Ди». Я ждал стандартных соболезнований — с тех пор как отца похоронили, я успел к ним привыкнуть,— но она, похоже, была огорчена искренне. Голос ее дрожал, и я испугался, что она вот-вот расплачется, а потому решил говорить покороче. «Вы не могли бы навестить меня завтра утром? — спросил я, прежде чем повесить трубку. — Мне многое нужно у вас узнать». Затем я позвонил матери. Я хотел показать ей все бумаги отца, чтобы мы вместе могли начать очищение нашего прошлого; она выслушала меня молча, а потом, хоть и не слишком охотно, согласилась приехать в Кларкенуэлл на следующий день.

Утром на моем пороге появилась Элизабет Скелтон; это была довольно полная женщина, почти толстушка, чьи манеры оставляли желать лучшего. Не принадлежала ли она к тому печальному племени, о котором говорил мне Дэниэл Мур,— к племени людей, живущих в разладе с миром и потому питающих естественную склонность к оккультизму?

— По-моему, дом сильно изменился,— сказала она, вступив в холл.

— Да нет, вы ошибаетесь. Он точно такой же.

— А вы правда его сын? — Этот вопрос поверг меня в ужас, и я безмолвно уставился на нее. — Извините. Я не хотела вас обидеть. Просто ваш отец никогда не упоминал о своей семье. Мы все считали его холостяком.

Я провел ее в комнату первого этажа, но она, видимо, уже не раз здесь бывала.

— А кто это «вы»?

— Ну, члены Общества. — Она без приглашения уселась на выцветший голубой диван. — Общества Джона Ди. Хотя нас не так уж много — живем тут неподалеку, кто где. Вы ведь, разумеется, знаете, что ваш отец состоял в нем много лет?

— Конечно. — Я решил сменить тему. — А почему вам показалось, что дом стал другим?

— Сама не пойму. Когда здесь жил ваш отец, он выглядел каким-то необитаемым, что ли. А теперь нет. Такое ощущение, что в нем всего полно.

Я подавил пробуждающуюся панику.

— Я хотел у вас кое-что спросить, мисс Скелтон.

— Элизабет.

— Что мой отец делал в Уоппинге?

— Проводил одно интереснейшее исследование. — Она отвечала очень азартно, и я с легким испугом осознал, что Джон Ди мог быть живым человеком не только для меня, но и для кого-то еще. — Он выяснил — не могу сказать как,— что доктор Ди занимался какими-то поисками к востоку от того места, где проходила граница города при Тюдорах. Потом он наткнулся на упоминание о той же деревушке, Уоппинге, в его документах...

— Да. Я тоже их читал.

— ...и обнаружил, что Джон Ди купил там участок земли. По-моему, ваш отец был уже близок к тому, чтобы во всем разобраться.

— А что он, собственно, думал найти?

— Наверняка мы не знали, но предполагали, что следы каких-то раскопок. Ваш отец говорил, что хочет снова выкупить эту землю. Но вот успел ли он...

— Это легко проверить,— сказал я. — Подождите.

Я поднялся в пустую спальню и вынул из пластикового пакета документы, удостоверяющие права отца на различную собственность. Здесь перечислялись здание конторы в Барнстапле, жилой дом в Илфракуме, прибыльный участок земли близ Кардиффа, дом в Кларкенуэлле и, на отдельном листе бумаги, маленький частный гараж на Пасс-Овер-стрит, Уоппинг, Ист-1.

Я снова спустился вниз.

— Очень жаль,— сказал я. — Там ничего нет.

— Я так и думала. — Она по-прежнему улыбалась. — В конце концов, это была только теория.

— А теории никому не мешают.

— Да уж. — Она оглядела комнату с необычайным довольством, точно сама жила здесь. — Могу я быть вам еще чем-нибудь полезна? — Пожалуй что нет. Впрочем, еще один вопрос. Скажите, Элизабет, Джон Ди занимался сексуальной магией?

— Что?

— Вызывал ли он духов с помощью секса?

— Нет, конечно. Он же был христианин.

— Но разве вы не чувствуете здесь этого? В самой атмосфере, а, Элизабет?

Я говорил, отвернувшись к окну, но услыхал, как она поспешно встает с дивана.

— Мне правда надо бежать,— сказала она. Я не ответил, но начертил на пыльной деревянной столешнице один из тайных символов. — Нет, правда, извините. — И я услышал, как она вышла из дома.

Когда появилась мать, я все еще стоял у окна.

— Ты оставил открытой входную дверь, Мэтью. Мало ли кто может залезть.

Я глядел на машины, которые текли по Фаррингдон-роуд; мне думалось, что этот поток на месте прежнего русла реки Флит вечен и со сменой столетий лишь принимает разные формы.

— В старые времена,— сказал я,— дверь в доме отворяли, когда кто-нибудь должен был умереть. Чтобы его душа могла вылететь на волю. — Я повернулся к ней лицом. — Но чтобы открыть дверь, миссис Палмер, нам нужно найти ключ! Где он, ключ?

Я взбежал наверх и снова просмотрел бумаги отца, но безрезультатно. Тогда я вспомнил о шкатулке, в которой он держал всякие запонки и булавки для галстуков; она лежала в одном из ящиков у меня в спальне и теперь, открыв ее, я нашел то, что искал. Это были четыре блестящих ключа на железном колечке, завернутые в бумагу. Я с триумфом спустился к матери.

— Мы возьмем их с собой,— сказал я.

— С собой?

— Ну да. Мы едем в Уоппинг.

В такси я попытался объяснить ей, что это место упоминается в рукописи доктора Ди и что ее муж, возможно, отыскал там следы древних раскопок. Она слушала меня довольно терпеливо, но без особенного интереса; мне было ясно, что она не хочет узнавать о его жизни ничего нового. Однако мое небрежное замечание о «кладе», который могли там найти, заинтриговало ее, и она остановила такси, едва завидев по левую руку начало Пасс-Овер-стрит. Эта улица проходила вдоль одного из типичных для Лондона неосвоенных участков, отделяя его от муниципального района высотных жилых домов. Пустырь был обнесен ржавой железной оградой, и где-то за ним торчал церковный шпиль; но частного гаража, принадлежавшего моему отцу, пока нигде не было видно.

Потом мать присела на корточки и заглянула в дырку, проеденную ржавчиной в железном заборе. «На дальнем краю поля что-то есть,— сказала она. — Может, это гараж». Но здесь не было прохода внутрь, и мы вынуждены были двинуться дальше на поиски ворот или калитки. По дороге я объяснял ей, как странно, что наши действия до сих пор направляются кем-то, умершим четыре века назад, и вдруг заметил щель, буквально вырезанную в ограде. Не дав себе труда подумать над тем, чья это работа, я живо воспользовался этим самодельным лазом и очутился на той стороне. Там, в углу пустыря, стоял маленький прямоугольный сарайчик. Чтобы получше рассмотреть его, я прикрыл глаза ладонью и мельком увидел рядом с ним что-то блестящее; оно сверкнуло мне в лицо, и одновременно с этой яркой вспышкой мне почудился стук лошадиных копыт.

Мать шла к сараю впереди меня; вся ее прежняя вялость мгновенно испарилась. Она целеустремленно шагала по гравию и сорнякам, и я впервые задался вопросом, говорил ли ей отец о Джоне Ди хоть раз за всю их совместную жизнь. Мне по-прежнему казалось странным, что этот алхимик и философ оставил по себе такую долгую и действенную память; но, возможно, существуют способность к прозрению или склад ума особого типа, которые никогда не умирают окончательно. Вдруг почва у меня под ногами стала немного зыбкой, я ощутил легкую неустойчивость, точно брел по тонкому слою земли над гигантской пещерой или каверной.

— У тебя есть ключ? — крикнула она мне, добравшись до запертых ворот гаража.

— Погоди минутку. Сейчас подойду. — Кругом валялись порожние банки и бутылки, да и вообще весь пустырь, по-видимому, служил свалкой людям, живущим по соседству: заросли вьюнка и крапивы были усеяны картонными коробками, ржавыми железяками, обрывками старых газет, кусками исковерканного пластика, словно все это тоже могло дать всходы и расцвести пышным цветом. Поэтому я шел осторожно, выбирая путь, и не сразу заметил стоящего на краю поля бродягу. Он высоко поднял какой-то стеклянный или металлический предмет, блестевший на солнце, и помахал им мне, но тут я споткнулся о камень и чуть не упал — у меня даже вырвалось досадливое восклицанье. Когда я снова выпрямился, бродяга исчез.

— Видела того человека? — спросил я у матери, нетерпеливо ожидавшей меня перед гаражом.

— Какого еще человека? Скорей отпирай замок, Мэтью. Я сгораю от любопытства.

Это оказалось совсем несложно: один из ключей, которые я принес с собой, подошел к двум висячим замкам, и она откатила воротину, не дожидаясь, пока я ей помогу. Темнота и затхлая сырость, царившие в этом замкнутом пространстве, заставили меня помедлить у порога. Наверное, гараж не открывали ни разу со дня смерти отца — и, по-моему, в глубине души я боялся увидеть, как он выходит из этой тьмы мне навстречу. Мать явно не разделяла моих опасений.

— Честно говоря, тут вряд ли вообще что-нибудь есть,— сказала она, шагнув в полумрак. — Ах, нет. Прошу извинить. Кое-что здесь имеется.

Я вошел внутрь следом за ней и увидел в одном углу большую каменную глыбу. Ее контуры четко выделялись на фоне темной кирпичной стены, и мне померещилось, что она испускает слабое свечение; только подойдя к ней, я заметил покрывающие ее пятна мха и лишайника, словно камень посыпали зеленой пылью, древней, как прах веков.

— Знаешь,— сказала она,— могу поклясться, что это ступеньки.

Я сразу понял, что она права: в огромном валуне были грубо вырублены три ступени, хотя мы, стоящие на бетонном полу этого современного гаража, могли только догадываться о том, куда они вели прежде.

— Хочу взойти по ним,— сказал я. Говорить это не было нужды, но у меня возникло чувство, что я должен к кому-то обратиться. — Следи за мной, а то вдруг

исчезну. — Это, по-видимому, озадачило ее, и я прибавил: — Помнишь такую песенку: «Я доберусь по лестнице до звезд»?

— Может, они вели не вверх, а вниз.

Я уже занес ногу на первую ступеньку.

— Сама видишь,— ответил я,— тут что вниз, что вверх — все едино. — Я поднялся по ним довольно легко и, разумеется, ничего не почувствовал. Однако, дойдя до верхушки глыбы, я вытянул руки, и мать громко рассмеялась; ее голос зазвенел в тесном пространстве сарая, и на миг мне почудилось, что смеется кто-то рядом с ней. Резкий жест вызвал у меня головокружение, которое затем так усилилось, что обратный путь по ступеням на землю показался мне длиной с милю. Если бы она не поддержала меня под руку и не вывела на свежий воздух, я, наверное, упал бы в обморок. Там я и ждал, покуда мать завершит свое, как она выразилась, «расследование». Я не думал, что ее поиски дадут результат; было ясно, что отцовское предприятие пришло к неожиданному концу раньше, чем он обнаружил на этом месте что-нибудь интересное. На земле, среди другого мусора, валялась какая-то стеклянная трубка или бутылка; я хотел было наподдать ее ногой, но вдруг ощутил сильный аромат фиалок и поднес руку ко рту. Примерно так же пахло от Дэниэла Мура, когда он, переодетый, поднимался по ступеням того ночного клуба.

— Хоть шаром покати. — Мать вышла из гаража, брезгливо вытирая руки белым платком. — А я-то надеялась отыскать здесь кусочек истории.

— Никакой истории на свете нет,— сказал я. — История существует только в настоящем. — И тут снова появился бродяга: теперь он махал мне с середины пустыря. — Вроде этих ступенек. Мы видим их сейчас. Так что — они часть прошлого или настоящего? Или и того и другого? — Он что-то кричал мне; по крайней мере, его рот открывался и закрывался, хотя я не мог разобрать ни слова. Мать смотрела в ту же сторону, но делала вид, будто не замечает его; конечно, это было самой правильной реакцией, и, продолжая говорить, я повысил голос. — Не верю я больше в прошлое. Это фантазия.

Потом где-то залаяла собака, и бродяга исчез: возможно, он решил спрятаться, хотя у меня осталось впечатление, что пес был рядом с ним. Я запер отцовский гараж и по дороге обратно к забору снова ощутил под ногами ту же странную пустоту. Нет, пожалуй, не пустоту. Это была какая-то блуждающая сила, словно в недрах земли бушевал ураган. Мы пошли на юг, к реке, и тут мать пожаловалась на сильную усталость. «Совсем вымоталась,— сказала она. —Это все твой отец — опять он меня измучил». Я поймал такси и велел шоферу отвезти ее в Илинг. Можно было поехать с ней и самому, но я вдруг почувствовал такой прилив энергии, что решил отправиться в Кларкенуэлл пешком.

Вечер выдался туманный — по крайней мере, все казалось окутанным легкой дымкой; на город как бы надвинулась грозовая тень, и когда я шел по берегу Темзы, цвета́ всего, что меня окружало, стали насыщенными, а движения — замедленными. Скоро я достиг Ньюгейта со стороны Грейфрайарс-пассидж; я хорошо знал эти места, так как на близлежащей площади располагался центр генеалогических исследований, однако неожиданно для себя свернул в какой-то незнакомый переулок. Так уж устроен наш город: в любом районе вы можете наткнуться на улочку или тупичок, до той поры ни разу не попадавшиеся вам на глаза. А этот поворот и вовсе ничего не стоило пропустить, потому что за ним тянулась только узкая аллейка с неосвещенными домами и магазинами по одну руку.

Затем я ощутил новое колебание почвы; она словно подалась и слегка накренилась подо мною, но, не успев перевести туда взгляд, я заметил, что мои правые ступня и нога полностью онемели — точно одна половина моего тела внезапно ухнула в бездну. Впрочем, это онемение мгновенно исчезло, и сразу все кругом показалось мне очень славным на вид: старые дома, нависшие над улицей, изящные резные двери, груда деревянных бочек на углу — все это было просто восхитительно. У одного крыльца стоял человек в темном плаще, и я улыбнулся ему, проходя мимо. «Здравствуй, мой человечек»,— шепнул он и опустился передо мной на колени. Конечно, это меня изумило, но я ничего ему не ответил; я продолжал свой путь, пока не вышел к Ньюгейт-клоус, и шум уличного движения привел меня в чувство.

Скоро я вернулся в Кларкенуэлл; кажется, переступая порог старого дома, я напевал себе под нос какую-то песенку. Возможно, это была «Судьбинушка-судьба». Но, едва войдя в комнату первого этажа, я понял: что-то неладно. Кто-то побывал здесь до меня. Диван стоял немного не так, как прежде, из шкафа выдвинули ящик, а под окном валялась книга. Я выскочил в холл, готовый бежать прочь из этого дома, подальше от неведомого пришельца, но меня остановил запах гари.

Видимо, в доме вспыхнул пожар — запах доносился откуда-то сверху,— и, взбегая по лестнице, я уже слышал, как потрескивает огонь. Я врывался в комнату за комнатой, но нигде ничего не обнаружил — ни дыма, ни пламени, ни незваных гостей. Досадуя на свою глупость, я медленно спускался вниз и вдруг услыхал на первом этаже голоса. Их было два, усиленных страхом или болью, и они буквально проревели у меня в ушах.

«А что с Келли? Он в огне?»

«Он ушел, сэр. С вашим перегонным кубом и вашими записями».

«Что ж, пусть бежит, пока может. Тот, кто более нас, стремится за ним по пятам».

Я крадучись миновал последние ступени и коснулся ногой пола прихожей; голоса мгновенно смолкли. В комнате никого не было.

И тогда я позвонил Дэниэлу Муру, и он не заставил себя ждать.

— Опять происшествия. Это ты виноват? — выкрикнул я, едва он появился на дорожке перед домом, и сразу увлек его в комнату первого этажа, точно за ним гнались; там я рассказал ему о пожаре и о голосах, а он молчал и слушал, не спуская с меня глаз. Кажется, я даже заметил на его лице улыбку.

— А я думал, ты не веришь в призраков,— наконец вымолвил он.

— Я верю в этот дом.

— Может, кто-нибудь пробрался сюда вслед за тобой?

Тогда я описал ему темную аллею, найденную мной по дороге к дому, и передал слова незнакомца, стоявшего в тени у крыльца.

— Он назвал меня своим человечком, а потом я ушел.

— Гомункулус,— сказал он. — Термин алхимиков. Так называется существо, созданное волшебным путем и выращенное в стеклянном сосуде.

— Но при чем тут я?

— Так разве это не ты? Твой отец говорил мне, что ты и есть он. Гомункулус. — И с этими словами Дэниэл исчез.

Мне оставалось лишь покорство обреченного. Джон Ди ждал меня внизу, и, не издав больше ни звука, я повернулся и зашагал к коричневой двери. Я двинулся за ним по лестнице, стараясь не касаться его и не подходить слишком близко. Он пересек комнату и, очутившись у замурованной двери, провел пальцем по символам, вычерченным над притолокой.

* * *

— Интересно,— говорила мать,— а это еще что такое? — Я стоял перед гаражом на пустыре, пытаясь обрести утерянное самообладание; все повторялось снова. Заглянув в гараж, я увидел, что она с любопытством рассматривает какие-то знаки, нарисованные краской на кирпичной стене.

— Не знаю,— ответил я. — Мне надо поймать лодку.

Передо мной простиралась широчайшая водная гладь; вечернее солнце высветило на ней прямую дорожку, и по этой дорожке, в маленьком ялике, плыл ко мне Джон Ди. «Время приспело,— сказал он. — Пора перебираться на ту сторону».

Я все еще смотрел на знаки вместе с матерью, но когда повернулся, бродяга вновь звал меня с середины пустыря. Теперь я видел, что он держит в поднятой руке стеклянную трубку. Я пошел к нему, не отваживаясь взглянуть внутрь сосуда.

— Ты не ко граду ли Риму? — спросил он меня. — Сам-то я тороплюсь домой.

Я поглядел вокруг, на залитые светом улицы, высокие белые стены, усыпанные драгоценными камнями, и блистающие башни.

— Кто бы поверил, что город может быть столь прекрасен?

— И в городе этом, Мэтью, всякий нищий что царь.

* * *

— Но что они означают? — Мать была сбита с толку этими символами и поднялась по ступеням, чтобы получше рассмотреть их.

— Не знаю. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Что-нибудь вроде этого. — Я помог ей спуститься; она мягко оперлась на меня, но теперь я уже не испытывал при этом никакого волнения. — Мне надо возвращаться,— сказал я ей. — Меня ждут. Ты отыщешь дорогу домой?

Мы заперли гараж, и я взял такси до Кларкенуэлла. Когда я подошел к воротам, на них сидело бесформенное существо, и несколько мгновений мы смотрели друг на

друга: человек разглядывал гомункулуса, думая о его долгой жизни и о его ви́дении мира, а гомункулус разглядывал человека.

— Я ждал тебя,— сказал я,— хотя и знал, что ты фантазия и порожденье больного ума. Ты вымышлен теми, кто верит в реальность времени и власть материального мира; пока я разделял эти иллюзии, ты не давал мне покоя. Тебя породил мой отец, и потому ты воплощал собой мои страхи. Но существует высшая жизнь — там, далеко, вне течения времени. И ныне я покидаю тебя. Гомункулуса никогда не было. — Тогда существо раскрыло рот и завизжало. Я двинулся по дорожке и вошел в дом, где ожидал меня он.

## *Мечта*

Я был у себя в саду, когда светлый образ моей жены покинул меня и я опустил взор на собственную одежду, местами заляпанную грязью. Сумерки уже сгустились — после заката солнца прошло, наверное, около часа,— и вдруг за моей спиной что-то ярко вспыхнуло и на тропинке, ведущей к реке, заплясала моя неровная тень. Я обернулся, услыша крики и вопли, доносящиеся из дома, и с ужасом увидел пламя — оно вырывалось из окна моей комнаты на верхнем этаже и почти достигало крыши. Тут меня громко позвали: это Филип выбежал в сад. «Сэр,— сказал он, объятый страхом и возбуждением,— мистер Келли учинил пожар у вас в кабинете».

Я был так поглощен мыслями о своем недавнем видении, что утратил способность удивляться. Тем временем пламя возрастало; бросившись вперед, я окликнул Одри, выносящую из дома гобелен. «Как это случилось?»— промолвил я.

«Он работал в вашей потайной комнате, сэр, и у него перевернулась лампа. А рядом стоял стакан с винным спиртом, и он не припер его книгами, как обычно делаете вы,— я видела это, потому что подглядывала за ним, сэр, зная, что у вас вышла размолвка,— и этот стакан тоже упал набок, спирт из него вылился, и сразу загорелось то, что было на столе. Полотняная скатерть и ваши книги, а потом, Господи помилуй, сэр, пламя перекинулось на все вокруг».

Из ее поспешных и сбивчивых речей я уловил главное: прежде чем навсегда оставить мой дом, Эдуард Келли решил с какой-то низкой целью воспользоваться моим перегонным аппаратом и ретортами. Я вывел ее в сад, к дрожащему Филипу. «А где сам Келли?»— спросил я ее.

«Он ушел, сэр. Удрал от огня, но не забыл прихватить с собой кое-какие ваши записки».

«И стеклянный сосуд,— добавил Филип. — Тот, который я не единожды видел у вас в руках».

Так вот что произошло: Эдуард Келли утащил у меня секретные записи о гомункулусе, а теперь верхнюю часть моего дома объял огонь, грозивший полностью испепелить ее. «Он погубил плоды моих трудов,— сказал я Филипу,— хотя одной ногой уже стоял за порогом. Все объято пламенем, и я чувствую приближенье свирепой польской хвори, что застит глаза красным туманом. Ибо взгляни — гибнет наше бедное обиталище!» Я видел яркий свет в западном окне своего кабинета и понимал, что разом лишился всех прежних удобств. Настал конец и келье прозрений, а с нею и магическому кристаллу, и священному столику, и канделябрам, и расписанному тайными символами покрывалу — все погибло в огне. А как же мои книги? Для того ли я столь ревностно собирал библиотеку, чтобы дать ей бесследно исчезнуть? Однако тут я вспомнил слова жены, услышанные мною в недавнем сне наяву: пускай начало мое в природе, конец должен быть в вечности. Нигде более не отыщешь нетленного града. И тогда с души моей спало тяжкое бремя.

«Я отрекаюсь от своих искусств»,— сказал я Одри.

«Сударь?»

«Мой гомункулус, мои поиски новой жизни были иллюзией».

Она поглядела на меня, ровным счетом ничего не поняв, так что я чуть отошел в сторону и обратился к земле и небу. «Духи моего отца и жены объяснили мне, что существует только одно истинное бессмертие. Победить время и слиться с вечностью можно лишь благодаря прозрению, или мечте. Мечта — единственное, что способно изменить жизнь». Я видел сей мир часто, но не с помощью веры и воображения; теперь же мне предсто-

яло пуститься в новое путешествие.

Тут я вновь заметил подбежавшего Филипа. «Все слуги собрались на дворе, сэр,— сказал он,— и пожар уже не причинит вреда ни одной живой душе». В глазах его блестели слезы, и он вытер их полотняным лоскутом. «Дым,— пояснил он,— проклятый дым». Затем подал мне тяжелый, искусно переплетенный том. «Я спас эту книгу,— сказал он. — Она лежала в светелке вашей жены».

Я сразу узнал Библию, с которой жена не расставалась в продолжение всей болезни. И именно ей было суждено уцелеть! «А теперь, Филип,— произнес я,— окажи мне последнюю большую услугу».

«О нет, сэр, не последнюю...»

«Открой книгу, где захочешь, и опусти палец туда, куда тебе вздумается».

Видя мою великую печаль, Филип не отважился перечить мне; залитый светом пламени, он угнездил книгу у себя на колене и открыл ее.

«Я обучил тебя грамоте,— продолжал я. — Теперь прочти мне место, на которое лег твой палец».

Он вытер рот грязным рукавом и, медля и запинаясь, наконец одолел выбранную фразу. «Тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен».

Шум пожара уже немного утих, но к этому времени появилась приходская стража с приспособленьями для тушения пламени и бочонками воды. Филип закрыл книгу и, перекрикивая вопли и команды, сообщил мне: «Иезекииль. Слова пророка».

Я взял у него Библию, повернулся спиной к гомону и пошел вниз, на берег. Там я опустил книгу в бегущую воду и в тот же миг понял, что должен уйти от этого дома на поиски более прочного очага.

Огонь, пожравший мой кабинет и библиотеку, был уже почти затушен; объяснив Филипу, как следует позаботиться о других слугах, я миновал толпу и направился в свою конюшню на Тернмилл-лейн. Оседлав лошадь, я поехал через Финсбери-филдс, мимо оружейной у Св.Ботольфа, где льют пушки, но тут моей лошади стало так худо от попавшего к ней в легкие дыма, что я отправил ее с посыльным обратно в Кларкенуэлл, а сам зашагал пешком дальше на юг, в сторону реки.

Читатель, здесь запечатлены отнюдь не праздные домыслы. Все, о чем пишу, я видел въяве и как на ладони, но если мое бедное стило где-нибудь и споткнется, вспомни в оправданье о том, сколь чудны и непостижимы картины, кои мне довелось лицезреть.

Всю дорогу до Уоппингских низин дождь лил не переставая; там же по-прежнему возвышался унылый и одинокий курган, а рядом с ним покоилась древняя каменная глыба. Эдуард Келли сказал мне, что он все выдумал и ввел меня в заблуждение, однако я был уверен, что под толщей этой земли скрываются останки былых веков; я и тогда ясно ощущал их присутствие и влияние, а теперь, когда злодея не было рядом, мое внутреннее око стало видеть гораздо лучше. «Я не сойду с этого места,— вслух промолвил я,— покуда все не откроется мне. Здесь распрощаюсь я с миром и пожелаю ему доброй ночи».

Я стоял там целую вечность, пока не переродился, словно обратясь в кого-то иного. Нечто забрезжило в моей душе; кажется, я плакал. Нет, те звуки издавал не я. Моими глазами плакал весь мир, и сквозь туманную завесу слез я увидел, как каменная глыба взмыла вверх и стала частью гигантской арки. Я сделал шаг и почувствовал, что, пытаясь приблизиться к ней, схожу вниз. Двигаясь вперед, я спускался по древним ступеням. Они были вытесаны из старого камня, покрыты мохом, и их зеленая растрескавшаяся поверхность вселяла мне в душу невыразимое умиротворение. Я как бы погружался в прошлое — но не свое, а других людей. Эти ступени несли на себе печать неведомой мне седой старины, и, спускаясь по ним, я услышал свой собственный голос, произнесший на древнем наречии: Oculatus abis. Смотри, уходя.

И я очутился в городе с ровно вымощенными улицами, под коими тянулись погреба; здесь были храмы и пирамиды, площади и мосты, высокие стены с башнями и вратами, статуи из чистого злата и столпы из прозрачного хрусталя. Он казался порождением какого-то нового неба или новой земли — этот божественный град, не ведавший времени. И я увидел идущего в мою сторону знакомого человека, за которым бежала его соба-

чонка; однако теперь он сбросил с себя свои прежние грязные одежды и сиял подобно солнцу. «Ты явился по большаку, с ветерком из Иудеи,— сказал он и рассмеялся. — Но довольно бродяжьей музыки. Я уже не скитаюсь сам по себе, но пребываю во всех вещах».

«Благодаря музыке родились Фивы,— отвечал я. — Какою же силой держатся сии великолепные здания?»

«Разве ты не знаешь их секрета? Дух бессмертен, а сей град воздвигнут в духовном теле человека».

«И каждый из нас обладает таким телом?»

«Да, но мы являемся частью друг друга и всякого живого существа». Он наклонился и погладил свою собаку. «Нет более ни смерти, ни горя, ни плача. Не будет и страданий, ибо прежнее минуло безвозвратно».

И разлился свет, как на закате и восходе солнца, так что весь град словно вспыхнул и задрожал перед моими глазами. Я знал о пламени, что пребывает во всех вещах, и теперь город как бы воспарил в сиянии этого вечно сущего огня. Я пошел по Кларкенуэллу в сторону Перс-элли и на углу Тернеген-лейн встретился со своим отцом и женою — они приветствовали меня и взяли за руки. Потом к нам приблизился другой. «Я — Дэн Берри,— сказал он,— тот, что искал свою семью. Ныне свершилось. Я есмь начало и конец». Идя вниз, к Холборн-хилл, я увидел еще одного, и он улыбнулся мне. «Я искал свои слова в чужих книгах, но это уже позади. Весь мир сотворен мною заново. Теперь мои слова дышат верой и истиной».

Никогда не встречал я града столь прекрасного, и во время своей прогулки видел все в первый и последний раз. Таким, как будет вначале, и таким, как было в конце. Те, кого я считал погибшими, уцелели, и те, кто принадлежал прошлому, вновь оказались среди живых.

«Да. Я расскажу тебе кое-что очень любопытное. Около года тому назад я гулял вдоль Темзы. Знаешь, рядом с Саутуорком? И вдруг мне почудилось, будто я вижу мост из домов. Мерцающий мост, перекинутый через реку».

«Мост на Темзе обвалился, обвалился, обвалился...»

«Нет, серьезно. Это был словно мост из света. Я видел его только одно мгновение, а потом он исчез. Но на один миг оба берега соединились мостом».

«Это могло быть что угодно, Мэтью».

Я завернул за угол и увидел их, идущих навстречу; их лица показались мне такими знакомыми, что я поднял руки в приветствии. Это был истинный эликсир жизни, который я пытался найти грубыми материальными средствами; это был эликсир, исцеляющий все хвори, ибо он существует прежде их начала и после их конца, тот, что сохраняет жизнь навеки и позволяет беседовать с духами.

«Послушайте меня,— сказал я. — В третьем веке от Рождества Христова мост, о котором вы говорите, был примитивной каменной переправой. В мое время там жили мастеровые, делавшие иглы, но потом их дома убрали. На этом же самом месте было построено столько мостов, что я не берусь перечислить их все...»

«Но было и еще кое-что. Ты слушаешь, Дэниэл? Когда я смотрел на этот мерцающий над водой мост, мне почудилось, будто я вижу людей, идущих по нему вдоль полосы света. Они поднимались и опускались все вместе, точно шли по волнам. Но ты, конечно, ничему этому не поверишь».

Они свернули в высокий дом, обращенный к улице своим весьма узким фасадом; я последовал за ними, дабы вставить в их разговор еще несколько слов, однако там, где я ожидал увидеть дерево или гипс, сияло сплошное стекло. На пороге вырос маленький мальчик, сказавший мне: «Сейчас я отворю эту дверь, Джон Ди, и узрим свет, что пребудет целое тысячелетие. Все, открытое ныне, смертный да не закроет». Но тут дом пропал с моих глаз. «Видишь, я был прав,— мальчик снова возник передо мною. — Ибо гляди, тысяча лет уж минула». Затем я услышал звон многих колоколов — и церковных, и торговых, и тех, что возвещают о чуме, и тех, что ограждают от привидений.

А потом мне явилась моя мать, чреватая младенцем, и вскричала как бы в родовых муках. «Ты рожден вновь, Джон Ди, и возмужаешь в граде, что зовется Лондоном».

«Но я знаю Лондон...»

«Этого города ты не знаешь. Другой займет там твое место, и хотя ты опять будешь жить в нем, он сведет с тобою знакомство только по книгам.

Однако может статься, что он вновь отыщет тебя, пытаясь найти себя самого».

И это, по крайней мере, чистая правда — поскольку мне неведомо, какая часть этой истории объективна, а какая является моей личной выдумкой. Да и что это, собственно, такое — прошлое? Создается ли оно в процессе писания или представляет собой некую самодовлеющую реальность? Открываю я его или выдумываю? А может ли быть, что я открываю его внутри себя и потому в нем сочетаются достоверность уцелевших фактов и непосредственность сиюминутной интуиции? Сам «Дом доктора Ди» подсказывает мне этот вывод: без сомнения, вы полагали, что книга эта написана человеком, чье имя значится на ее обложке и титульном листе, однако в действительности многие слова и фразы принадлежат собственно Джону Ди. А если не ему персонально, то его современникам. Точно так же, как он взял несколько железных деталей и собрал из них жука, умеющего летать, я взял несколько малоизвестных текстов, перетасовал их — и получился роман. Но кто он, новый доктор Ди, — не более чем проекция моих личных идей и пристрастий или историческая фигура, образ которой я честно старался воссоздать?

Услышь же меня, Ди, явись из того переулка, где я мельком заметил тебя, скитающегося по вечному граду эпохи твоей и моей. И, приблизясь ко мне, застывшему в ожидании, он не выказал желанья говорить со мной: несомненно, причиной тому была скорбь человека, из которого сделали книжный персонаж на потребу читателям. И все же мне думалось, что я не заслужил столь великого негодования, и мы пошли по городу вместе, обсуждая итог. Он обвинил меня в многократных искажениях истины, на что я заметил, что вызвал его обратно к жизни и возродил в памяти людей. «Ты можешь ввести в заблужденье весь свет,— молвил он. — Но я-то знаю, что твой герой отнюдь не похож на меня, но изъязвлен червоточинами, подобными червоточинам твоего ума. Ты напеваешь фальшиво. Я не твой человечек. Я не твой гомункулус. И потому, говорю тебе, довольно плести байки — пора пожелать твоей истории доброй ночи».

«Должен ли я проститься с нею раньше, чем увижу, как мой вымысел оживет?»

«Отчего не писать о своем времени? Отчего ты бежишь его? Не оттого ли, что бежишь самого себя?»

Я слышал этот спор, завершившийся долгим смехом. И, шагая по городу, видел столько домов и улиц, которые блекли и исчезали под моим взглядом, будто целую вечность ступал по теням. Здесь были жители, стоявшие на пороге,— когда отворялись двери, их заливало светом,— а еще были силуэты мужчин и женщин, направляющихся к воде, ибо давным-давно тут шумело море; а потом были люди, бредущие мимо холмов, что клубились подобно дыму, мимо гряд из красной глины и кораллов, мимо камней — из них выложат улицы и построят дома, среди которых я иду и иду, размышляя о докторе Ди. Он верил, что материя — это сгустки света и что в самой сердцевине материального мира откроются великие тайны, дотоле укрытые пеленой мрака. Затем, когда я возжег свой фонарь на темных улицах Лондона, его лучи уперлись в толстый купол севшего на город тумана: словно и небеса, и земля, и море, и водяные фонтаны, и уличная пыль перемешались и слились воедино. Рядом же со мной шагали позабытые обитатели Лондона, чьи лица впервые озарились светом,— моравские братья с Эрроулейн, «болтуны», последователи Якоба Беме. А кто еще был со мною? Мэри в своем белом кожаном пальто; Натаниэл Кадман; Маргарет Лукас; Фердинанд Гриффен; Мэтью Палмер; Эдуард Келли; Дэниэл Мур; Кэтрин Ди; и множество других, по-прежнему населяющих этот город.

Я начал с природы, где, точно сирота, искал следы божественного дома, спрятанные в темном мировом веществе, но теперь я обрел свой конец в вечности. Однако это не было мертвым подземным градом. Завесу откинули прочь, и хотя ослепительные звезды угасли навсегда, свет воображения залил каждый уголок и каждый квартал, каждую улицу и каждый дом моей родины, куда я теперь вернулся. Воображение есть духовное тело, и оно бессмертно. Быть по сему.

«— В любом случае, тут история кончается. После этого он исчез.

— Как он мог исчезнуть?

— В доме случился пожар. А доктора Ди так и не нашли.

— Откуда ты все это знаешь?

— Да ничего я толком не знаю. Понимаешь, прошлое — сложная

штука. Тебе кажется, будто ты разобрался в человеке или событии, но стоит завернуть за угол, и все снова меняется. Оно вроде этого дома. Тут ни одна вещь не остается на месте. И знаешь что? Возможно, именно в этой комнате доктора Ди посещали видения. Как я ее сейчас назвал?

— Гадальней. Или кельей для заклинания духов. Что все-таки стряслось, Мэтью?

— Скажи, ты ничего не слышал?

— Нет.

— А мне почудился голос.

— Скоро ты увидишь в углу самого этого доктора.

— Что ж, я и впрямь вижу его. Смотри».

Доктор Ди слышал все эти слова, и они наполняли его душу радостью. И правда, я вижу его теперь. Я простираю к нему руки, и он тихо напевает мне.

Мост на Темзе обвалился,
Обвалился, обвалился...

О ты, что пытался найти свет во всех вещах, помоги мне построить новый мост меж двумя берегами. И возликуй вместе со мною. Приди же, подойди ко мне, дабы нам слиться в одно. Тогда Лондон будет искуплен, ныне и вовеки, и все те, кто неразлучен с нами,— живые или мертвые — станут вселенским волшебным градом.

■

# ПИТЕР ПОРТЕР

## *Стихи*

*Перевод С. ГАНДЛЕВСКОГО*

### *Bella prospettiva*[1]

Не пора ли заняться
концом времен
с неоплаченными счетами на половике
и облезлым попугаем?

Многие из твоих друзей
думают, что поэзия — это
обрывающиеся на краю страницы
умные строчки.

И библиотеки вздымаются,
как пирамида Хеопса
или кладбище в Сан-Паулу,
готовые принять новичка.

А жизнь всегда казалась идеалистам
глупостью, суматохой, в которой
вкус находят разве что хваты
средней руки.

Не пора ли подбить бабки:
твои 127 квинтетов,
68 квартетов
и 101 трио переживут тебя.

Как Архимеду, тебе нужна
точка обзора,
перспектива для продолжения
навсегда известного неизвестно чего.

### *Упорное домогательство*

Художник может заглянуть
в Энциклопедию пап,
освежить в памяти —
грешные или праведные
всходили они на престол Петра
на старости лет на короткий срок.

[1] Прекрасная перспектива (*итал.*) (*Здесь и далее — прим. перев.*).

© The British Council 1995

Другое дело цезари и короли —
они для трона и родились
и правили с регентом или без
до вступления в возраст,
с коня окидывая взглядом толпу
либо играя на флейте.

«Состаримся вместе» — такой девиз
художнику не по душе.
Плетя из сонетов, как из маргариток, венки,
весь мир обмеряя метром стиха,
наши юные барды пьют до дна
за свою беспутную подружку Смерть.

Если вновь заняться папским двором,
прочтем о Формозусе, прочтем
о Кононе[1] и Стефане Шестом,
«Суде над трупом»[2] и, наконец,
Пие Двенадцатом[3] — вот какова
старость, объятая ненавистью.

Власть — будь то целой жизни страсть
или горячка венценосцев-юнцов,
треволненья праведников,
козни пап и прихвостней —
яснее ясного даст понять:
что-что, а счастье здесь ни при чем.

## *Вилла Верди, Санта-Агата*

В радиусе пятидесяти миль
от Реджо и Модены
округа пропахла дерьмом.
Добрых чудес не бывает —
вот и кухня Эмилии-Романьи
славится на весь мир.

Размеренно солнце бредет
над оцепененьем полей.
Импорт киви теснит
урожаи местных садов,
и под геральдическими мостами
спят пересохшие реки.

Некогда здесь возделывали искусство
на износ, как землю,
и до сих пор наглядны
плоды расплывчатые смерти и натуры
под сенью Доссовых рощ
или в ягодицах Корреджо.

Где, однако, она, та грандиозная заурядность,
которая отличала нечастых
гениев, жадных до жизни?

[1] Конон — папа римский (686 — 687).
[2] «Суд над трупом» (862 ) — посмертный суд, устроенный папой римским Стефаном VI над своим предшественником Формозусом, тело которого было эксгумировано и подвергнуто публичному поношению.
[3] Пий XII (1876 — 1958) — папа римский (1939 — 1958), скомпрометировавший себя сотрудничеством с фашизмом.

Вырожденье великих родóв
в названия замков,
после ленча открытых для посещенья.

У виллы Верди налицо все приметы
провинциальной безвкусицы —
комнаты — не развернуться,
глупые виды, бронзулетки
вдовы главного казначея,
памятные безделушки под стеклом.

В саду ленивый пруд,
холм — погребенье льда,
тропинки как попало — все ведут
к калитке в степь;
и меланхолик кот,
как полдень, предусмотрен.

■

# АНТОНИЯ С.БАЙЕТТ

## *Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»*

ПОВЕСТЬ

*Перевод И. ТОГОЕВОЙ*

Давным-давно, когда мужчины и женщины со свистом пересекали воздушные пространства на металлических крыльях, когда, надев ласты, они опускались на дно морское и учили язык китов и песни дельфинов, когда жемчужно-белые духи техасских пастухов и их украшенных драгоценностями гурий мерцали в сумерках на холмах Никарагуа, когда люди в Норвегии и Тасмании в самый разгар зимы вполне могли мечтать о свежей клубнике, финиках, гуаяве и пассифлоре, а утром находили все это разложенным на столах, жила-была женщина, которая на редкость не соответствовала своему времени и своей среде, а потому была счастлива.

Она профессионально занималась рассказыванием сказок и всяких историй, однако не была ни изобретательной царицей, страшащейся того, что с рассветом ее оденут в саван, ни накиб-аль-малеком, старшим постельничим шаха, возвещающим отход его господина в страну снов, ни ашиком, бродячим артистом, любовником-менестрелем, распевающим песни о Мехмете Завоевателе[1] и о разграблении Византии, ни хотя бы дервишем в коротких кожаных штанах и кожаной тюбетейке, который отбрасывает страшную тень, размахивая боевым топором или дубинкой. Не была она и меддахом, рассказчиком-панегиристом, который сочиняет невероятные истории при дворе правителей Оттоманской империи или в кофейне на базаре. Нет, она просто исследовала различные повествовательные жанры, была фольклористом, существом, так сказать, вторичного порядка, из тех, кто свою жизнь проводят, согнувшись над столами в огромных библиотеках, разгадывая смысл старинных текстов, интерпретируя их, пытаясь расшифровать волшебные сказки нашего детства и водочные рекламы мира взрослых, бесконечные романтические истории, которые так нравится рассказывать позлащенным солнцем любителям кофе: истории о несчастной любви докторов и сиделок, герцогов и служанок, искусных богатых наездниц и нищих музыкантов. А еще иногда она летала. Бедная юность заставила ее считать жизнь ученых сухой, малоподвижной и пропитанной книжной пылью. Но теперь она знала об этом гораздо больше. Два-три раза в год она летала в города со странными названиями, в Китай, в Мексику, в Японию, в Трансильванию, в Боготу и в страны Южных морей, — где фольклористы и литературоведы собирались в стаи, как скворцы, как члены парламента мудрых птиц[2], и рассказывали истории об историях, сказки о сказках.

В те времена, когда начинается моя история, зеленое море казалось черным и скользким, точно шкура кашалота-убийцы, и вялые волны были охвачены огнем, над ними плясали тысячи языков пламени и висела завеса тяжелого вонючего дыма. Пустыни действительно опустели и были усеяны черепами людей и животных и металлическими баллонами, содержащими смерть. Мор незаметно расползался там от бархана к бархану. В те времена мужчины и женщины, включая даже и фольклористов, опасались летать на Восток, так что их собрания стали происходить значительно реже.

---

[1] Мехмет II (1432—1481) — турецкий султан, проводил завоевательную политику в Малой Азии и на Балканах. В 1453 г. захватил Константинополь и сделал его столицей Османской империи, положив конец существованию Византии.(*Здесь и далее - прим.перев.*)

[2] Намек на памфлет Джефри Чосера (1340?—1400) «Птичий парламент».

© A.S. Byatt 1994.

Тем не менее наша фольклористка, которую звали Джиллиан Перхольт, оказалась-таки в воздухе где-то между Лондоном и Анкарой. Кто знает, то ли она продолжала путешествовать, потому что была англичанкой, а стало быть, человеком абсолютно бесстрастным, достаточно флегматичным и даже не представляла себе, как это вдруг ее самолет взорвется прямо в воздухе; то ли потому — хотя, по правде сказать, она обладала чрезвычайно живым воображением и вполне способна была испытывать страх, — что просто не могла противиться соблазну путешествия над облаками, над минаретами Стамбула, в такой вышине, откуда открывается роскошный вид на Золотой Рог[1], Босфор, берега Европы и Азии, обращенные друг к другу лицом. Согласно статистике, самолет даже более безопасен, чем любой другой вид транспорта, уверяла себя Джиллиан Перхольт, хотя, конечно, в наши дни, пожалуй, чуть-чуть менее безопасен, даже согласно статистике, чуть-чуть менее.

У нее было одно любимое выражение для обозначения неуловимой прелести таких воздушных путешествий в одиночку. Она повторяла его про себя как заклинание, когда огромный серебристый корабль отделялся от своей пуповины, раздвижного рукава для пассажиров в аэропорту «Хитроу», потом вперевалку, точно альбатрос на суше, выбирался на гудронированную взлетную полосу и начинал подъем сквозь серую завесу английского дождя, сквозь похожие на клочья шерсти серо-стальные густые английские тучи — целый мир клубящегося пара, — и в крохотное окошко она видела, как самолет втягивает длинные ноги-шасси и выпускает шлейф газа, поднимаясь все выше, в тот синий и золотой мир, что всегда существует над миром серым. «Плывет вольготно»,— говорила она про себя, потягивая шампанское, грызя подсоленный миндаль, а вокруг расстилались райские поля — белые волнистые облака, сверкающие и сияющие под солнцем, розовые и голубые в тени. «Плывет вольготно»,— шептала она блаженно, когда самолет накренился, совершая вираж, и бесплотный мужской голос объявил, что хотя над Францией висит довольно мощная облачная пелена, они рассчитывают, что солнце скоро выжжет в ней дыру и пассажиры успеют полюбоваться Альпами. «Выжжет» — какое могучее слово, — подумала она, — и интересное с точки зрения риторики, ибо вода не горит, но тем не менее жар солнца превращает ее в ничто; да, я сейчас нахожусь среди яростных и могучих сил; я сейчас ближе к солнцу, чем любая моя прародительница могла бы мечтать; я могу спокойно смотреть на него здесь и никуда не торопиться, плывя вольготно».

Эти слова она, конечно, придумала не сама; она относилась, как я уже сказала, к существам вторичного порядка. Фраза принадлежала Джону Мильтону[2] и была извлечена им в самом расцвете его таланта прямо из воздуха или заимствована в одном из известных ему языков для описания первобытной красоты колец змея-искусителя в райском саду. Джиллиан Перхольт отлично помнила тот день, когда слова Мильтона впервые, свернувшись в змеиное кольцо, поднялись во всей своей красе над страницей книги и поразили ее, ничего не подозревающую, как некогда настоящий змей — Еву. Вот она тогдашняя: ей шестнадцать, золотистые волосы, белая кожа — сама невинность с подернутыми дымкой, чуть рассеянными голубыми глазами (такой она в своем воображении теперь рисовала себя); а перед нею на перепачканном чернилами школьном столе лежит пыльная потрепанная книга в изумрудно-зеленом переплете; ее страницы покрыты кляксами — книга побывала у многих хозяев и в лавке букиниста, — исчерканы вкривь и вкось старательными или нетерпеливыми девичьими пальчиками; и вот среди едкого, неистребимого запаха нагретых чернил, линолеума и пыли — а может, пепла? — возникает он, дерзкий и очаровательный обольститель.

... литой и без единого изъяна,
Простершись по земле, над ней он приподнялся.
Из башни, созданной извивом его тела,
Нагромождением колец, волнующимся лабиринтом,
Возникла гордая его глава на шее золотистой,
Застыла неподвижно. Колышется. И снова замерла...
Глаза ж его карбункулам подобны.
То спиралью свившись, то распрямляясь,
Он по траве плывет вольготно,
И удивительно прекрасна его форма,
И восхитительна поистине.

На какое-то мгновение Джиллиан Перхольт тогда действительно увидела его,

[1] Золотой Рог — бухта у европейских берегов южного входа в Босфор; на обоих берегах — город и порт Стамбул.

[2] Джон Мильтон (1608—1674) — английский поэт, политический деятель. Имеется в виду его поэма «Потерянный рай»(1667).

великолепного, чуть раскачивающегося в воздухе прямо перед нею... нет, это был не тот змей, которого встретила в саду Ева, и пока еще не тот, что вздымался во тьме пещеры — в черепе ослепшего Джона Мильтона, — но просто некий Змей, может быть, тот самый, что в некотором смысле был создан из слов, однако зрим. Точно так же в детстве она порой на самом деле видела волков, медведей и маленьких серых человечков, вечно стоявших между ней и спасительной дверью в гостиную, где, как всегда в воскресенье, спал в кресле отец. Но я отвлекаюсь или вот-вот отвлекусь от темы. Я призвала сюда этого змея (я ведь тоже его видела в свое время), только чтобы пояснить те выводы, которые доктор Перхольт сделала относительно своего состояния.

Некогда ее научили видеть в выражении «floating redundant» — плывущий вольготно — одно из мильтоновских слияний двух языков: слово «floating», явно тевтонского происхождения, имело отношение к разливам и паводкам, а слово «redundant», происхождения неведомого и сложного, но безусловно латинизированное, означало нечто льющееся через край, избыточное. Теперь же у нее насчет этого выражения имелась и своя собственная догадка, связанная с некоторыми современными значениями слова «redundant» — «чрезмерный, нежелательный, излишний». «Боюсь, нам придется расстаться с вами»— так всегда говорят работодатели, словно предлагая свободу некоему сопротивляющемуся Ариэлю, словно их работники — плененные эльфы, только и мечтающие о том, как бы вырваться на волю, вернуться в родную стихию. Догадка доктора Перхольт, однако, лишь в некоторой степени касалась отношений работников и работодателей. Прежде всего она имела отношение к ее полу и возрасту, ибо доктор Перхольт была женщиной пятидесяти с лишним лет; она уже миновала детородный возраст и имела двоих взрослых детей, давно покинувших родной дом и даже уехавших из Англии — один в Саскачеван[1], а второй в Сан-Паулу[2], откуда они писали и звонили редко, потому что были заняты собственными семьями и детьми. Муж доктора Перхольт также покинул родной дом, бросил ее, перебрался в другое место после целых двух лет поисков собственного «я», двух лет бесконечных приездов и отъездов, уходов и возвращений, двух лет приступов самобичевания и раздражительности, внезапной импотенции и нежелания есть приготовленную с любовью пищу, жалкой и хвастливой спекуляции какими-то таинственными записочками; после двух лет приглушенных телефонных разговоров (когда ему казалось, что доктор Перхольт спит), пропущенных встреч и опозданий на званые обеды, загадочных колебаний, облаков вонючего табачного дыма, запаха бренди и странного аромата чужой кожи — чужого пота с примесью аромата гиацинта. Он сбежал тогда на Мальорку с Эммелин Портер, а потом связался по факсу с Джиллиан и сообщил, что поступил как последний трус, но исключительно ради того, чтобы спасти ее, Джиллиан, и никогда домой не вернется.

Когда включился факс и раздался знакомый гнусавый звонок и треск, Джиллиан Перхольт как раз оказалась в своем кабинете. Белый листок бумаги безвольно взметнулся в воздух, а потом совершенно обессиленный упал на край стола; послание было длинным, полным самооправданий, однако мне нет нужды пересказывать его вам: вы и сами легко можете себе представить нечто подобное. Так же легко вы сможете себе представить и Эммелин Портер; она, собственно, больше к данной истории не будет иметь ни малейшего отношения. Ей было двадцать шесть, вот и все, что вам нужно о ней знать. Впрочем, это вы и сами предполагали, наверное. Джиллиан с восторгом наблюдала, как, подрагивая, выползает из факса листок бумаги, восхищаясь отнюдь не самим письмом мистера Перхольта, а тем, что листок с нервными черными каракулями можно засунуть в такой аппарат где-то на Мальорке и он тут же появится у нее на Примроуз-хилл[3]. Собственно, факс был куплен для мистера Перхольта, редактора-консультанта, чтобы он мог работать дома, когда с ним «расставались» в той или иной газете или же ему было лень и он чувствовал себя чересчур вольготно (в самом обычном значении этого слова), чтобы каждый день ходить в редакцию. Однако пользовалась факсом в основном Джиллиан Перхольт, которая часто получала послания— различные варианты фольклорных произведений от ученых из Каира и Окленда, из Осаки и Порт-оф-Спейна. Теперь этот факс принадлежал ей целиком, поскольку муж из дому сбежал. И хотя теперь уже «расстались» с нею и она оказалась лишней и никому не нужной ни как жена, ни как мать или любовница, она ни в коем случае не стала лишней среди ученых-фольклористов, как раз наоборот, она требовалась буквально повсюду. Ибо то были времена, когда женщины оказались в привилегированном положении, а мастерство женщин-фольклористок ценилось особенно высоко, когда в фольклористике существовали свои прорицательницы, хранительницы святынь и сивиллы, которые могли приоткрыть вечные тайны и строго сле-

[1] Саскачеван — провинция на юге центральной части Канады.
[2] Сан-Паулу — крупнейший город и экономический центр Бразилии.
[3] Примроуз-хилл — небольшая возвышенность в Лондоне, в северной части Риджентс-парка; *букв.* «холм примул».

дили за соблюдением пределов и законов, установленных их наукой.

Итак, получив послание от мужа, Джиллиан Перхольт постояла немного в опустевшем кабинете, пытаясь вообразить себя горюющей по поводу мужниного предательства, утраченной любви, может быть, еще потери старого друга и уважения в свете, как это бывает, когда стареющая женщина отвергнута ради молодой. На Примроуз-хилл в тот день сияло солнышко, а стены кабинета, окрашенные в веселый золотистый цвет, казалось, сами светились, излучая счастье и радость жизни. Джиллиан чувствовала себя — она как бы примерила эту метафору — узником, разрывающим оковы и, моргая, выбирающимся из темницы на свет божий. Она чувствовала себя птицей в клетке, газом в закупоренной бутылке, которые наконец-то нашли выход и устремились наружу. Она чувствовала, как перед ней раздвигаются горизонты ее собственной жизни. Никакого тебе ожидания совместных трапез. Никакого ворчания и стычек, никакого усталого отвращения к чуждым тебе переживаниям, никакого храпа и прочих отвратительных звуков, никаких вытряхнутых из бритвы волос в раковине...

Она обдумала ответ. И написала:

«Хорошо, я согласна. Одежда сложена в кладовой. Книги в ящиках там же. Сменю замки. Желаю приятно провести время. Дж.».

Она понимала, что ей повезло. Ее предки-женщины, о которых она думала все чаще и чаще, скорее всего, уже умерли бы к тому возрасту, которого она сейчас достигла. Умерли бы от родов, от гриппа, или от туберкулеза, или от родильной горячки, или от элементарного истощения, умерли бы — она все дальше уходила в мыслях своих по оси времени — от изношенных, никуда не годных зубов, от трещины в коленной чашечке, от голода, от удара лапы льва, тигра, может быть даже саблезубого, в результате вторжения чужого племени, наводнения, пожара, религиозных преследований, человеческих жертвоприношений, почему бы, собственно, и нет? Некоторые фольклористки рассказывали с ужасом и восторгом о мудрых Старухах-прародительницах, но она-то еще не старуха и никогда старой каргой не была, она вообще существо беспрецедентное, она — женщина с фарфоровыми коронками на зубах, с исправленным при помощи лазерного луча зрением, со своим собственным банковским счетом, со своей собственной жизнью и полем деятельности; женщина, которая летает по всему свету, которая спит на роскошных простынях в отелях всех городов мира, которая днем смотрит на белоснежные горы облаков, освещенные солнцем, а ночью — на яркие звезды, плывя себе вольготно в небесах.

Конференция в Анкаре называлась «Истории о женских судьбах». Это было удивительно удобное, всеобъемлющее название, ибо оно давало возможность высказаться любому — представителю любой страны, любого жанра, любой эпохи. Доктора Перхольт встречал в аэропорту импозантный турецкий профессор, бородатый, черноволосый, улыбающийся, и она бросилась в его объятия с вполне приличествующими случаю криками радости — то был ее старый друг, они вместе учились когда-то и бродили меж средневековых башен и медлительных, окаймленных ивами рек; у них была и своя собственная история, в общем-то, скорее незначительная, второстепенная сюжетная линия, этакая ниточка — то совсем тоненькая, то становившаяся вдруг крепче, но никогда не рвавшаяся — в пестрых коврах жизни обоих. Доктор Перхольт в данный момент была сердита на белокурую стюардессу, которая с почтительным видом кланялась седым бизнесменам, покидавшим самолет компании «Люфтганза», и говорила: «До свидания, сэр, спасибо вам большое», однако доктора Перхольт удостоила лишь снисходительного «До свидания, дорогая». Впрочем, Орхан Рифат уже за порогом аэропорта успел заворожить ее как всегда оживленным разговором; он был полон проектов, новых идей, новых стихотворений, новых открытий. Они непременно посетят Измир с группой турецких друзей, а потом Джиллиан обязательно приедет к нему в Стамбул, это его родной город.

Конференция в Анкаре, как и большинство подобных конференций, напоминала базар, где все без конца менялись и обменивались историями и идеями. Все это происходило в похожем на пещеру, довольно темном помещении театра, где не было окон во внешний мир, однако светилось множество экранов для слайдов, на которых мелькали бесплотные изображения, дергаясь и сменяя друг друга. Лучшие фольклористы выступали там, рассказывая и пересказывая сказки и истории; это никогда не даст слушателю заснуть, зато позволит рассказчику попытаться проникнуть внутрь сказки. Так, один весьма свирепого вида швейцарский ученый рассказал ужасающую историю о некоей Мэри Брюшной Тиф, невинной отравительнице колодцев, невольной убийце. Элегантная Лейла Дорук добавила страстности и цветистости в свою

версию истории о кроткой Фанни Прайс, вечно дрожащей и болезненной, что жила в глубине дремучих лесов Англии. Доклад Орхана Рифата был последним; он назывался «Сила и бессилие: джинны и женщины в сказках «Тысячи и одной ночи». Перед ним выступала Джиллиан Перхольт. Она выбрала для анализа «Рассказ студента» из «Кентерберийских рассказов»[1], то есть историю о Терпеливой Гризельде. Никого никогда особенно не привлекала эта история, хотя ее у Чосера рассказывает один из наиболее симпатичных пилигримов, книголюб, человек не от мира сего. Этот сюжет оксфордский студент почерпнул из латинского перевода новеллы Боккаччо, сделанного Петраркой. Джиллиан Перхольт эта история тоже не нравилась; но именно поэтому она и выбрала ее для своего сообщения. О чем я сразу подумала, спросила она себя, получив приглашение на конференцию в Анкару, и сама себе ответила с трепетом и дрожью: о Терпеливой Гризельде.

Итак, она выступала с докладом в Анкаре. Аудитория была смешанная — ученые, студенты. Турецкие студенты в основном походили на всех студентов мира, одетые в такие же джинсы и майки, однако в первом ряду в глаза бросались три молодые женщины, головы которых были укутаны в серые шарфы, а среди молодых людей в джинсах там и сям виднелись военные — молодые офицеры в форме. В Турции, республике светской, эти шарфы были свидетельством религиозного фанатизма, который в данной ситуации следовало рассматривать как проявление внутренней независимости, так что либеральные турецкие профессора чувствовали себя обязанными испытывать некое сочувствие к этим девушкам, хотя в любой другой мусульманской стране бóльшая часть того, чему они учили своих студентов и чем дорожили как идеалами, непременно вызвала бы возмущение или даже запрет, точно такой же, какой могли бы вызывать эти серые шарфы здесь. Джиллиан Перхольт заметила, что молодые военные слушали очень внимательно и усердно записывали. Те три мусульманки, напротив, гордо смотрели перед собой, не желая встречаться взглядом с докладчиками; видимо, их целиком занимало собственное, всем бросающееся в глаза самоутверждение. Однако они досидели до конца и выслушали всех докладчиков. Орхан потом рассказывал, что все-таки спросил одну из них, зачем она так оделась. «Мой отец и жених считают, что так нужно, — ответила она. — И я с ними полностью согласна».

Итак, вот история Терпеливой Гризельды в пересказе Джиллиан Перхольт.

Жил-был в Ломбардии один молодой маркграф по имени Вальтер. Он радовался жизни, как и все молодые люди, любил развлечения — особенно загонную и соколиную охоту — и не имел ни малейшего намерения жениться, возможно, потому, что брак представлялся ему чем-то вроде тюремного заключения, а может, потому, что всякий брак — это конец молодости с ее вольностью и беззаботностью, если юность действительно так уж свободна от забот. Однако приехали его родные и прямо-таки заставили выбирать жену, объяснив это тем, что он должен позаботиться о наследнике, а кроме того, им казалось, что брак сделает молодого человека более уравновешенным. Вальтер поддался на их уговоры, назначил день свадьбы и пригласил их на пир, но с одним условием: пусть поклянутся, что примут его невесту, кем бы она ни оказалась.

Такой уж у него был характер — нравилось ему заставлять людей клясться неведомо в чем и заставлять их подчиняться ему безоговорочно и не ропща, тогда как сам он мог делать все что угодно.

Итак, родственники согласились, дали ему такое обещание и приготовились в назначенный день праздновать свадьбу. Они собрали угощение для пира, припасли богатые одежды, украшения и постельное белье для будущей невесты. И вот в назначенный день в церкви уже ждал священник, свадебная процессия верхом на лошадях тоже была готова, но по-прежнему никто не знал, где же невеста.

Ну а Гризельдис, или Гризельд, или Гризильдис, или Гриззель, или Гризельда, красивая и добродетельная девушка, была дочерью бедного крестьянина. В день свадьбы она пошла за водой к колодцу, ибо, обладая всеми достоинствами настоящей хозяйки дома, хотела сперва покончить с делами, а уж потом присоединиться к ряду крестьян у дороги и приветствовать свадебную процессию, что должна была проследовать мимо. Свадьбы всегда привлекают нас, делая своими зрителями-участниками. Гризельде тоже хотелось поучаствовать в свадебном торжестве и увидеть невесту — ведь все мы любим смотреть на невест. На невест и на принцесс — на существую-

[1] «Кентерберийские рассказы»(1386—1400) — крупнейшее и самое знаменитое произведение Джефри Чосера.

щих внутри истории, которую выдумали или вообразили себе те, кто снаружи. Вполне возможно, что и Гризельда пыталась вообразить себе чувства неизвестной юной женщины, что проедет мимо нее.

Однако на дороге появился один лишь молодой маркграф, да и тот не проехал мимо, а остановился, попросил Гризельду поставить кувшин на землю и немного подождать. А сам отправился к ее отцу и сказал ему, что хотел бы взять Гризельду в жены, если тот, конечно, не возражает и дает дочери свое благословение. Потом молодой человек поговорил с самой Гризельдой и предложил ей выйти за него замуж, но при одном условии: она должна пообещать подчиняться мужу во всем и делать все, как он пожелает, не колеблясь и не ропща, в любое время дня или ночи. И Гризельда, «от страха вся дрожа», по словам Чосера, поклялась, что никогда не возникнет у нее желания — ни в поступках, ни в мыслях, ни даже под угрозой смерти — выказать непослушание супругу своему, хотя, конечно же, ей было бы очень страшно расстаться с жизнью, умереть, прибавила она честно.

И тогда молодой Вальтер сразу приказал снять с девушки ее бедное платье и одеть в богатые новые одежды, которые давно уже были приготовлены. Гризельде красиво уложили волосы и украсили ее головку маркграфской короной, сверкающей драгоценными самоцветами. И вот она уехала из родной деревни, стала жить в замке и, как рассказывает нам Чосер — а он специально рассказывает нам об этом, — проявляла большую рассудительность, умела примирить спорящие стороны, была щедра и обходительна со всеми, несмотря на новое, высокое положение, и народ очень ее любил.

Однако история ее жизни неумолимо движется дальше; вот уже миновала свадьба и близится тот черный час, когда ей придется исполнить данное обещание. Учтите следующее, сказала Джиллиан Перхольт: почти во всех историях, связанных с обещаниями и запретами, эти обещания и запреты заранее обречены на то, чтобы их нарушили. Тут Орхан Рифат улыбнулся в бороду, военные начали что-то быстро писать — наверное, насчет обещаний, запретов и их нарушений, — а закутанные в серые шарфы женщины в первом ряду не мигая смотрели перед собой.

Через некоторое время, рассказывает далее Чосер, Гризельда родила дочь, хотя предпочла бы родить сына; тем не менее все обрадовались: раз эта женщина доказала, что небесплодна, то в следующий раз вполне может родить и сына. Вот тут-то Вальтеру и пришло в голову испытать свою жену. Интересно, отметила Джиллиан, — здесь студент из Оксфорда как рассказчик совершенно отстраняется от протагониста, говоря, что не может понять, зачем маркграфу понадобилось такое испытание, однако продолжает рассказывать, как Вальтер мрачно сообщил жене: народ, мол, недоволен, люди ворчат — позволили крестьянской дочери нами править, не желаем, чтобы потом нами ее сын правил. А потому, говорит рассказчик, Вальтер сам предложил предать их дочь смерти. И Гризельда сказала на это: она и ее дитя принадлежат ему, он может делать с ними то, что сочтет нужным. Итак, маркграф велел какому-то мужлану-стражнику взять дитя у матери, и Гризельда отняла девочку от груди, поцеловала ее на прощанье и попросила только, чтобы малютку похоронили там, где ее тело не смогут растерзать дикие звери.

Прошло еще сколько-то времени, и Гризельда родила сына, но ее супруг, попрежнему настроенный продолжать испытания, снова приказал и этого ребенка отнять от груди, унести прочь и убить. А Гризельда, упорно продолжая хранить верность данному обещанию, уверяла мужа, что вовсе не опечалена этим и ничуть не скорбит, что двое ее детей принесли ей сперва лишь тошноту, «а потом страдания и боль».

И тут в повествовании образуется как бы провал, — сказала Джиллиан, — разрыв во времени, причем достаточно долгий, чтобы малые дети Гризельды, которых тайно воспитывали в Болонье, выросли, достигли зрелости и брачного возраста. Перерыв здесь такой же большой, как между третьим и четвертым актами в «Зимней сказке» Шекспира, когда королева Гермиона прячется и все считают ее мертвой, а ее дочь Утрата, брошенная на произвол судьбы и воспитанная пастухами, успевает вырасти и влюбиться в принца, из-за чего вынуждена бежать вместе с ним на Сицилию, где счастливо воссоединяется со своим раскаивающимся отцом и исчезнувшей матерью, которая является предо всеми на пьедестале в виде статуи, чудесным образом оживает и обретает счастье. В «Зимней сказке», — сказала Джиллиан, — очаровательная взрослая дочь — это как бы второе рождение матери, подобное возрождению Персефоны[1], вместе с которой возрождались весною поля, утратившие плодоро-

[1] Персефона (*рим.*Прозерпина) — дочь Деметры и Зевса, жена Аида; в греческой мифологии богиня плодородия и подземного царства.

дие и превратившиеся в пустыню из-за гнева Деметры[1], богини-матери. — В этом месте голос Джиллиан чуть дрогнул. Она умолкла, подняла на аудиторию глаза и рассказала своим слушателям, как Паулина, подруга и верная служанка Гермионы, взяв на себя роль колдуньи, скульптора и рассказчицы, вернула свою королеву к жизни. — Лично мне, — сказала Джиллиан, — всегда была неприятна, отвратительна эта искусственная развязка, совершенно противоположная возрождению Персефоны весной. Ибо человеческие существа не способны умирать и возрождаться вновь, подобно траве и злакам; они могут прожить только одну жизнь, потом они стареют и умирают. А у Гермионы — и, как вы, конечно, уже поняли, у Терпеливой Гризельды — бóльшую часть этой единственной жизни отняли во имя построения сюжета, превратили их существование в серую беспросветность вынужденной бездеятельности.

Итак, что же делала Гризельда, пока ее сын и особенно дочь подрастали? История в этом месте несется галопом. Жизнь героини во мгновение ока пролетает от свадьбы до рождения ребенка и... до пустоты. Чосер даже не намекает на то, что у Гризельды рождались еще дети, хотя упорно говорит о том, что Гризельда хранила верность в любви, оставалась терпеливой и покорной. Однако ее супругу явно хотелось превзойти Паулину в желании стать дирижером событий и самостоятельно управлять действием, так что в этот период он сам находит себе занятия, например, добивается у папы римского разрешения отослать прочь свою жену Гризельду и жениться на молоденькой девушке. А люди кругом шепчутся об убиенных детях. Однако Вальтер, если верить этой истории, идет к своей терпеливой жене и сообщает ей, что намерен заменить ее на другую, более молодую и подходящую, а она, Гризельда, должна вернуться к своему отцу-бедняку, оставив в замке все богатые наряды, украшения и прочие вещи, некогда подаренные ей мужем. И заметьте, Гризельда вновь проявляет терпение, хотя здесь-то Чосер и приводит ее просьбу, свидетельствующую о внутренней силе героини, и слова Гризельды вызывают у читателей сочувствие и не дают нетерпению взять над этим сочувствием верх.

Гризельда говорит своему мужу: «Нагая пришла я к тебе от отца моего, нагой к нему и вернусь». Но поскольку у нее отняли тогда всю старую одежду, она просит мужа дать ей хотя бы рубашку. «Вы не допустите, мой господин, — говорит Гризельда, — чтобы то тело женское, в котором зачаты были ваши дочь и сын, нагим как червь предстало бы пред взором толпы сбежавшейся... За девственность мою, что вам когда-то я принесла и ныне взять с собой уж не могу, прошу мне дать в уплату одну рубашку». И маркграф великодушно позволяет жене не снимать ту сорочку, в которой она перед ним стоит.

Однако наш герой неустанно заботится о самых различных поворотах интриги, поскольку каждая гримаса сюжета делает задуманную им развязку все более занятной и привлекательной для него. Итак, отправив Гризельду домой, ее муженек тут же является туда сам и просит снова вернуться в замок и приготовить покои для его новой невесты, а также позаботиться об устройстве свадебного пира. «Никто лучше тебя этого сделать не сумеет», — сообщает он ей. Можно было бы предположить, естественно, что после возвращения в дом отца Гризельда должна бы воспротивиться и нарушить данное некогда слово, но не такова наша Гризельда: терпеливо возвращается она в замок, стряпает, чистит, моет и готовит брачное ложе для невесты.

И вот брачная процессия прибывает в замок; среди гостей прелестная девушка, однако Гризельда продолжает трудиться на «людской» половине и в убогих одеждах, а знатные гости и их жены садятся за накрытые пиршественные столы, и начинается пир. И когда наконец Гризельде удается из темного уголка с опозданием взглянуть на свадьбу, Вальтер подзывает ее к себе и спрашивает, какого она мнения о красоте его юной жены. И Гризельда не только не проклинает ни ее, ни даже его, но отвечает, как всегда, кротко, что никогда не видела более прекрасной женщины, однако молит его всеми святыми никогда не мучить эту очаровательную девушку так, как он мучил ее, Гризельду, ибо юная невеста не так воспитана, слишком нежна и не вынесет подобных пыток.

Вот тут-то и наступает наконец вожделенная развязка; Вальтер открывает Гризельде, что юная невеста — вовсе не невеста его, а их дочь, а юноша с нею рядом — их сын, и обещает жене, что все отныне будет прекрасно и теперь она непременно будет счастлива, ибо он заставил ее пережить все эти испытания не по злобе и не из жестокости, но только чтобы проверить ее верность, и не обнаружил в ней ни малейшего изъяна. И все могут друг с другом помириться.

И что же сделала Гризельда? — спросила Джиллиан Перхольт.— Да, так что же

[1] Деметра (*рим.*Церера) — греческая богиня плодородия и земледелия, дочь Кроноса и Реи, сестра и супруга Зевса. Когда Аид похищает ее дочь Персефону, Деметра предается такому горю, что на земле наступает голод, гибнут люди, и Зевс приказывает вернуть Персефону матери. Персефона возвращается, и земля вновь расцветает, однако 1/3 года Персефона посвящает своему мужу Аиду и проводит в подземном царстве.

сказала она и что она сделала, наша героиня? — повторила доктор Перхольт. Аудитория была явно заинтригована. Эту историю многие знали довольно плохо, а бóльшая часть и вовсе только понаслышке: так, название и общую идею. Превратится ли во что иное тот «нагой червь»? — спрашивал себя кое-кто из слушателей, тронутый тем, как Гризельда изобразила собственное обнаженное тело. Все смотрели на доктора Перхольт в ожидании ответа, однако она молчала, словно вдруг окаменев. Она стояла на кафедре с открытым ртом, будто собираясь что-то произнести; рука ее была вытянута вперед в риторическом жесте, но глаза остекленели, и электрический свет отражался в них, как в глазах мертвеца. Доктор Перхольт была довольно крупная и полная женщина с нежной, чистой кожей. Сегодня она надела свободное, с мягкими складками льняное платье и жакет — такая одежда больше всего идет полным женщинам. Ее светло-серый костюм оживляли лишь синие стеклянные бусы.

Джиллиан Перхольт смотрела перед собой остановившимся взором и чувствовала, что голос не желает ей повиноваться. Она была сейчас далеко отсюда, в давних временах, — она была соляным столбом, ее голос, не громче писка случайно пробудившегося зимой кузнечика, печально звучал внутри хрустального гроба. Она не могла пошевелить ни пальцами, ни губами, а в самом центре зала, позади укутанных в серые шарфы женщин, ей виделась огромная, точно изрытая пещерами женская фигура, голова которой, тоже окутанная вуалью, склонилась над пустотой, что была на месте ее тела, и длинные, могучие, мускулистые руки бессильно повисли вдоль той же пустоты; падавшее мягкими складками платье с капюшоном, напоминавшее рясу и чуть шевелившееся, как от ветра, облегало ту же пустоту — для призрака вид довольно обычный, но при всей обычности вызывающий ужас и отвращение именно потому, что сам-то призрак был рядом, его можно было рассмотреть, глаза Джиллиан легко различали малейшую складку на платье, видели красные ободки вокруг опухших глаз и трещины на обвислых губах беззубого, не знавшего радости рта. Существо это имело несколько оттенков, но все они были оттенками серого, одного лишь серого цвета. Грудь у призрака стала совсем плоской, и сморщенная старая кожа виднелась над той пустотой, той сквозной дырой, которая когда-то была чревом этой женщины.

«Вот оно, то, чего я боюсь», — подумала Джиллиан Перхольт, чей разум продолжал работать словно отдельно от нее, решая, как бы убедиться, галлюцинация это, или все же ужасное существо неким образом явилось сюда на волнах неведомой энергии.

И когда Орхан уже поднялся с места, собираясь прийти ей на помощь, поскольку она по-прежнему смотрела перед собой, точно Макбет на пиру[1], она снова заговорила как ни в чем не бывало, и аудитория облегченно вздохнула и снова уселась по местам, чувствуя себя несколько неуютно, однако соблюдая правила приличия.

— И что же сделала Гризельда? — спросила Джиллиан Перхольт. — Да, что же Гризельда сказала и что она сделала? — повторила доктор Перхольт. — Во-первых, ничего не понимая, ошеломленная этим известием донельзя, она упала в обморок. А когда очнулась, то поблагодарила мужа за спасение ее детей и сказала детям, что дедушка их очень по ним скучал и любит их крепко, — и она обняла обоих, дочь и сына, да так сжала их в объятиях, что снова надолго потеряла сознание, однако не выпускала детей из рук, и окружающие не могли вырвать их из ее объятий. Чосер не говорит, как не говорит этого и студент из Оксфорда, что она их душила, в словах его слышится страх, как и в объятиях Гризельды чувствуется странная, необычная сила, словно вся ее до того закупоренная в бутылку, насильственно запертая энергия вырывается наружу и заставляет всех троих потерять сознание, уйти в неосознавание, в непонимание происходящего, в неприсутствие в финальной сцене, так замечательно подготовленной их господином и повелителем.

Но конечно же, Гризельда потом приходит в себя, срывает старые одежды, вновь облачается в золотое платье и украшенную самоцветами корону и занимает подобающее ей место за пиршественным столом. Чтобы все начать сначала.

И еще я хотела бы сказать несколько слов, — заметила Джиллиан Перхольт, — о неловкости ситуации, которая описана в этой ужасной сказке. Можно предположить, что история о Гризельде относится к той категории сказок или мифов, где отец или король пытается жениться на собственной дочери после смерти своей жены; тот же Леонт в «Зимней сказке» пытался жениться на Утрате, подобно герою мифа, созданного задолго до появления пьесы Шекспира, — мифа о человеке, ищущем возвращения весны, юности и плодородия путями, неприемлемыми для человеческого существа, существа, противопоставленного траве и полевым цветам. Это весьма неприят-

[1] В известной трагедии Шекспира Макбету на пиру является окровавленный призрак его друга Банко, полководца шотландского короля Дункана; Банко был убит по приказу Макбета.

ная, однако вполне естественная история человеческой ошибки, которую все сказки спешат наказать и исправить. Но самый-то ужас сюжета о Терпеливой Гризельде заключен отнюдь не в психологическом страхе перед фактом инцеста или приближающейся старости. Самое ужасное здесь — форма изложения данной истории и участие в этом Вальтера. Эта история отвратительна потому, что Вальтер захватывает в ней чересчур много позиций: он и герой, и злодей, и судьба, и Господь, и рассказчик — в этой сказке нет игры действующих лиц, нет драмы, хотя студент из Оксфорда (и Чосер за его спиной) пытается менять интонации и настроения героев, сообщая, например, о противоречивых чувствах народа или — весьма сухо и в самом конце — о счастливом браке сына Гризельды, который

...в браке тоже
Был счастлив (по стопам отца не шел
И не пытал жену свою он все же).
Мы в век живем не старый, не похожий...

И рассказчик прибавляет еще, что мораль сей истории заключается *не в том*, что жены должны следовать примеру Гризельды, когда их так унижают, ибо это было бы невозможно, недостижимо для них, даже если б кто-то из них этого захотел. Мораль здесь совпадает с моралью Иова[1], говорит студент из Оксфорда (в полном соответствии с Петраркой), и существа человеческие должны терпеливо сносить выпавшие на их долю испытания. И тем не менее наш собственный ответ — это, разумеется, гневное возмущение тем, что сотворили с Гризельдой, тем, что у нее была отнята лучшая часть жизни, которую не вернешь и не возродишь, тем, что энергии ее не давали выхода. Ибо все истории о женских судьбах в художественной литературе — история Фанни Прайс, Люси Сноу и даже Гвендолин Харлет — это истории той же Гризельды, и все героини в итоге приходят к тому же — к удушению, к желанному забвению.

Джиллиан Перхольт подняла глаза. Тот упырь или призрак исчез. В зале слышались аплодисменты. Она сошла с кафедры. Орхан, человек прямой и добрый, сразу спросил, как она себя чувствует и не было ли ей плохо во время доклада. Она ответила, что у нее слегка закружилась голова, но, как ей кажется, беспокоиться не стоит. Просто небольшой спазм, который быстро прошел. Ей очень хотелось рассказать ему о видении, но что-то мешало. Язык тяжело, точно свинцовый, лежал во рту, и она не смогла выговорить ни слова, однако то, что выговорить было невозможно, продолжало свою весьма бурную жизнь в ее крови, в клетках головного мозга, в нервных волокнах. Еще ребенком она догадалась: если описать словами тех серых человечков на лестнице или ту старую каргу в уборной, то они исчезнут. Но она никогда не могла этого сделать. Она воображала их себе, ужасаясь и восхищаясь одновременно, а порой и видела их, но то было, конечно же, совсем другое дело.

Доклад Орхана завершал конференцию. Ее друг был прирожденным артистом и всегда им оставался, по крайней мере в присутствии Джиллиан. Она помнила студенческую постановку «Гамлета», в которой участвовали они оба. Орхан играл призрака отца Гамлета, и у всех просто кровь стыла в жилах, когда он глубоким басом произносил свой монолог. Борода его теперь была — тогда-то о седине и речи не шло — цвета «седой чернобурки», но, как и тогда, была подстрижена по моде Елизаветинской эпохи, хотя с годами черты его некогда просто задумчивого лица заострились, стали более резкими; теперь он немного похож, подумала Джиллиан, на Мехмета Завоевателя, каким его изобразил Беллини[2]. Сама она в том спектакле играла Гертруду, хотя мечтала о роли Офелии: ей хотелось быть прекрасной и сойти с ума от любви. Но она изображала королеву, которая не способна была увидеть, как дух покойного мужа шествует по ее спальне, — это пришло ей в голову неожиданно, после совершенно фантастического видения духа Гермионы-Гризельды, когда она смотрела на Орхана, высокого, импозантного, улыбающегося в бороду, который как раз собирался начать свой доклад о Шехерезаде и джиннах.

— Необходимо сразу признать, — сказал Орхан, — что женоненавистничество — основная движущая сила историй и сказок в сборниках былых лет, и, может быть,

[1] Иов — в иудаических и христианских преданиях страдающий праведник, испытываемый сатаной с дозволения Яхве; главный персонаж ветхозаветной Книги Иова; основное кредо его: «Господь дал, Господь и взял — благословенно имя Господне!»

[2] Джованни Беллини (1430—1516) — итальянский художник из знаменитой семьи живописцев венецианской школы.

прежде всего это относится к рамочным историям — от «Katha Sarit Sagara», «Океана сказок», до «Тысячи и одной ночи», «Alf Layla wa-Layla» . Почему это именно так, до сих пор, насколько я знаю, достаточно внятно объяснено не было, хотя, безусловно, этому есть причины как социального, так и глубинно-психологического характера; но остается прискорбным фактом, что женщины в таких историях чаще всего изображены неверными, ненадежными, жадными, неумеренными в своих желаниях, беспринципными и просто опасными существами, успешно осуществляющими свои тайные намерения (здесь мы не принимаем в расчет колдуний, женских ду́хов и оборотней, а также великанш-людоедок) благодаря, как это ни парадоксально, собственной беспомощности. В «Тысяче и одной ночи» для нашей конференции особенно интересна та рамочная история, в которой рассказывается о двух царях, доведенных предательством женщин до отчаяния и желания убивать, но где, однако же, есть весьма сильная героиня-рассказчица Шехерезада, которая вынуждена спасать свою жизнь от мстительной, не имеющей пределов ненависти, вызванной совсем другими женщинами, но обращенной теперь на всех женщин мира, и рассказывать по ночам сказки. Искусство Шехерезады заключено в бесконечном откладывании концовки: она умело прерывала свою историю на самом интересном месте, назавтра рассказывала ее конец и тут же начинала новую, еще более увлекательную историю, которую также прерывала, когда ее застигало утро. Эта женщина, исключительно богатая духовно и исключительно проницательная, — сказал Орхан улыбаясь, — тем не менее пользуется и обманом, и различными уловками в своем положении полного бесправия и бессилия, когда меч ее судьбы висит в спальне у нее над головой, подобно мечу Дамоклову, на метафорической нити — нити ее же повествования — и каждый вечер к следующему утру ей готовят саван. Ибо царь Шахрияр, как и маркграф Вальтер, взял на себя две роли — мужа и Судьбы, оставив жене лишь само исполнение историй да изобретение сюжетов, чего, впрочем, более чем достаточно. Достаточно, чтобы спасти ее, достаточно, чтобы выиграть время, необходимое ей для вынашивания и рождения детей, которых она прячет от мужа, подобно тому как Вальтер прятал своих детей от Гризельды; достаточно, чтобы долго и витиевато тянуть нить повествования, пока Шехерезада не превращается в любимую жену, которая затем, разумеется, «жила долго и счастливо», как это произошло и с Гризельдой. Ведь подобные сказки и истории — это отнюдь не психологические новеллы; им нет дела до велений разума и состояний души героя, им безразлично становление его характера, но они напрямую связаны с Судьбой, с Роком, с тем, что уготовано людям свыше. И как отлично сказал режиссер Пазолини, сказки «Тысячи и одной ночи» все кончаются исчезновением той судьбы, которая «снова тонет в сонливой повседневной жизни». Однако жизнь самой Шехерезады не может снова утонуть в сонливости, пока не будут рассказаны все сказки. Так что возврат к обыденной жизни — это ее конец; то же самое происходит и с Золушкой, и с Белоснежкой, но не с мадам Бовари и не с Жюльеном Сорелем, которые умирают, но не исчезают из жизни вместе с окончанием своих историй. Однако я опережаю события и предвосхищаю собственные же аргументы, которые, как и у моего друга и коллеги доктора Перхольт, касаются характера, судьбы и пола в народной сказке, где характер героини — это *не* ее судьба, как считал Новалис[1], а нечто совсем иное.

Прежде всего мне хотелось бы поговорить о судьбах женщин в этой рамочной истории, а затем я кратко остановлюсь на истории Камар-аз-Замана и царевны Будур, которая изложена в «Тысяче и одной ночи» лишь частично.

Джиллиан Перхольт сидела позади укутанных в серые шарфы мусульманок и наблюдала за смуглым ястребиным лицом Орхана, а он увлеченно рассказывал о двух царях и братьях, Шахрияре и Шахзамане, и о том, как Шахзаман, отправившись в гости к брату и забыв попрощаться с женой, вернулся домой и застал ее в объятиях кухонного мальчишки, тут же обоих зарезал и снова отправился в путь, охваченный отвращением и отчаянием. Ему полегчало, только когда он увидел, стоя у окна во дворце Шахрияра, как в потайной уголок сада явилась жена его брата, а с нею двадцать девушек-рабынь. Из них десять белые, а десять черные, и черные сбросили свои одежды и оказались юношами, которые тут же принялись весьма деловито заниматься любовью с белыми девушками, а черный любовник царицы, Масуд, вышел из дупла дерева и стал развлекать ее точно таким же способом. Это развеселило Шахзамана и облегчило его страдания, ибо он понял, что его собственная судьба — судьба всех мужчин на свете, и он доказал это брату, который сперва ему не поверил, а потом впал в отчаяние от стыда и гнева. Итак, оба царя, мрачные, испытывая отвращение к женщинам и прежней своей жизни, покинули двор и отправились в странствия, надеясь отыскать кого-нибудь еще более несчастного, чем они сами,

[1]Новалис (настоящее имя и фамилия Фридрих фон Харденберг; 1772—1801) — немецкий поэт и философ, представитель йенской школы романтизма.

бедные рогоносцы.

— Отметьте, — сказал Орхан, — что в тот момент они и не думали лишать жизни царицу и ее любовника, а также двадцать сластолюбивых рабов и рабынь.

И кого же встретили два царя? Джинна, который вылетел из бездны морской и воздвигся подобно черной колонне, покачиваясь и касаясь облаков, а на голове его покоился стеклянный ящик с четырьмя стальными замка́ми. Оба брата (как прежде Масуд) спрятались в дупле дерева. А джинн улегся под этим самым деревом вздремнуть — что было случайным везением, улыбкой фортуны или судьбой, как хотите, — отпер ящик, и оттуда вышла прекрасная женщина, которую он некогда унес прямо из спальни во время ее первой брачной ночи. Джинн положил голову ей на колени и тут же захрапел. А прекрасная женщина мгновенно дала понять братьям-царям, что ей известно, где они находятся, и что она сейчас поднимет крик и разбудит джинна, если они немедленно не вылезут и не утолят ее нестерпимую любовную жажду. При сложившихся обстоятельствах это казалось обоим царям несколько затруднительным, однако угроза немедленно выдать их и предать смерти звучала убедительно, так что они постарались не ударить лицом в грязь. И когда оба уже вдосталь намиловались с украденной джинном красавицей и та лежала, обессиленно раскинув ноги, на песке под деревом, она попросила у каждого по кольцу и положила эти кольца в маленькую сумочку, которую носила на теле и в которой уже было девяносто восемь колец самых различных фасонов и из самого различного материала. И она не без самодовольства сообщила братьям, что все это кольца мужчин, с которыми ей удалось наставить джинну рога, несмотря на то что он запер ее в стеклянный ящик с четырьмя стальными замками и держал в глубинах гневно ревущего моря. Этот джинн, пояснила она, зря старается сохранить ее чистоту и целомудрие; он не понимает, что ничем нельзя предотвратить или переменить предначертанное судьбой, как ничем нельзя остановить женщину, если она страстно чего-то желает.

И оба царя, успешно спасшись от джинна, пришли к выводу, что этот джинн еще более несчастен, чем они. Так что, вернувшись во дворец, они обезглавили жену Шахрияра и тех двадцать ее рабов и рабынь, сменили в гареме всех служанок и объявили по всей стране поиски невест-девственниц, каждая из которых должна была быть предана смерти на исходе первой же брачной ночи, дабы «спасти царя Шахрияра от женской злобы и обмана». Тут-то и родился хитроумный план Шехерезады по спасению бесчисленного множества девушек — подменить удовольствие, получаемое от ночи с девственницей, удовольствием, получаемым в обществе искусной рассказчицы, — сказал Орхан, улыбаясь в бороду,— и воплощение этого плана в жизнь заняло как раз тысячу и одну ночь. И в этих двух рамочных историях, — сказал Орхан, — судьба мужчин в том, чтобы утрачивать свое достоинство из-за женской жадности и двуличия, а судьба женщин — лишаться головы по той же причине.

А в истории о принце Камар-аз-Замане, — продолжал Орхан, — меня интересует вот что: активная роль джинна, пытающегося внести поправки в нормальную человеческую судьбу одного упрямого юноши. Камар-аз-Заман был единственным и любимым сыном султана Шахрамана из Халидана. Отец произвел его на свет уже немолодым от своей юной наложницы удивительной красоты, доставшейся ему девственницей. Юноша был очень хорош собой — подобен Луне и первым анемонам весною, подобен детям ангелов. Он был вежлив и любезен, но любил лишь себя самого, а когда отец попытался заставить его жениться, дабы не прервалась мужская линия в их роду, сын стал цитировать книги мудрецов и их мнение относительно женской злобы и вероломства, повторяя снова и снова: «Я скорее умру, чем позволю женщине приблизиться ко мне. Нет, правда, — говорил он заносчиво, — я без колебаний убью себя, если ты силой заставишь меня жениться». Так что отец отложил разговор о браке на год, и за этот год Камар-аз-Заман стал еще прекраснее, а когда отец снова спросил сына, не хочет ли он жениться, тот отвечал, что успел прочесть за год еще больше мудрых книг и теперь совершенно убежден, что все женщины безнравственны, глупы и отвратительны и лучше умереть, чем иметь с ними дело. Прошел еще год, и по совету своего визиря султан прилюдно обратился к сыну с тем же вопросом и в присутствии всех придворных получил наглый и высокомерный ответ. Тогда по совету того же визиря султан заключил сына в старую полуразрушенную римскую башню, где и предоставил ему возможность влачить самое жалкое существование, пока не станет сговорчивей.

Ну так вот, в резервуаре для воды, находившемся в этой башне, обитала женщина-джинн, которая была правоверной, служанкой Сулеймана[1] и к тому же полна энер-

[1] Сулейман (Сулайман, Соломон) — сын Дауда, соответствует библейскому царю Соломону. Один из любимых героев исламского фольклора. На перстне Сулеймана, по преданию, было вырезано так называемое величайшее из 99 имен Аллаха, знание которого будто бы давало ему власть над джиннами, птицами и ветрами. Перстень Сулеймана с печатью, имевший форму шестиконечной звезды, считался у мусульман сильнейшим талисманом.

гии. Джинны, как вы, возможно, знаете, представляют собой один из трех видов разумных существ, созданных Аллахом: ангелов он создал из света, джиннов — из языков пламени, а людей — из праха земного. Существует три разновидности джиннов — пернатые, земляные и водяные; все они могут менять обличье и, подобно человеческим существам, подразделяются на служителей Бога и слуг Иблиса[1], властелина демонов. Коран часто призывает как людей, так и джиннов к раскаянию и вере, и, действительно, существуют определенные законы, управляющие отношениями между людьми и джиннами, в том числе браками и плотской любовью. Джинны — существа нашего мира, порой видимые нам, порою нет; их любимые места — в ванных комнатах и уборных, но они могут свободно летать и в небесах. У них есть своя собственная сложная социальная иерархическая система, однако я не буду отклоняться от темы и вдаваться в подробности их жизни. Упомянутая женщина-джинн Маймуна была из породы пернатых джиннов, и, пролетая мимо башни Камар-аз-Замана, она заглянула в окно и увидела спящего юношу удивительной красоты. Маймуна к нему влетела и некоторое время любовалась спящим. Потом снова взвилась в ночное небо и встретила там другого пернатого, ифрита[2], похотливого скептика по имени Дахнаш, который стал возбужденно рассказывать ей о прекрасной китайской царевне Будур: ее заперли старшие родственницы из опасений, что она убьет себя кинжалом, как поклялась, когда ей пригрозили замужеством. Она спросила тогда: «Как же мое тело, едва способное выносить прикосновение шелков, вынесет грубые ласки какого-то мужчины?» И оба джинна начали спорить, кружа на кожистых крыльях над землею, какое из этих человеческих существ, мужчина или женщина, прекраснее. И Маймуна приказала Дахнашу принести спящую царевну из Китая и положить ее рядом с Камар-аз-Заманом для сравнения, что уже через час и было проделано. Оба джинна спорили горячо — и при этом классическим арабским стихом, — но так и не решили, кому же принадлежит первенство по красоте. Так что они призвали третьего «судью» — огромного земляного джинна с шестью рогами, тремя раздвоенными хвостами, горбатого, хромого, с одной невероятно огромной рукой и одной крошечной, как у пигмея; этот джинн обладал когтями и копытами одновременно и чудовищно длинным половым членом. Это существо исполнило восторженный танец вокруг постели и объявило, что единственный способ сравнить силу красоты юноши и девушки — разбудить их по очереди и посмотреть, кто из них проявит большую страстность; победителем же станет тот, кто пробудит в другом наибольшую страсть. Так они и поступили: разбудили Камар-аз-Замана, он чуть не потерял сознание от страстного желания и восторга, однако его снова усыпили, так и не дав его желанию осуществиться; затем была разбужена царевна, и она так сильно возжелала юношу, что и в спящем пробудила горячее ответное желание, и «случилось то, что и должно было случиться». Но прежде чем я расскажу о том, как Камар-аз-Заман и Будур были разлучены и обезумели от горя, о долгих скитаниях юноши под видом предсказателя в поисках своей утраченной любимой, об их свадьбе и последовавшей затем разлуке, после того как ястреб украл талисман царевны, об изобретательности Будур и о том, как она притворилась собственным мужем и ухаживала за другой царевной, о том, как она приставала к собственному мужу и он даже счел это противоестественным, — так вот, прежде чем я расскажу обо всем этом, я бы хотел прокомментировать лишь один эпизод: присутствие джиннов при дефлорации Будур Камар-аз-Заманом, их невидимый глазу смертного восторг при виде безупречных, прекрасных человеческих тел и некоторую странность их поведения при созерцании тайного удовлетворения первой любовной страсти, тогда как их присутствие при этом на самом-то деле являлось всего лишь повествовательной уловкой, описанием события группой довольно эксцентричных наблюдателей и соучастников одновременно, которые то ли заключают джентльменское пари на скачках, то ли занимаются сводничеством, то ли ставят спектакль, то ли выступают в роли профессиональных сказителей, а может быть, отчасти являются теми джентльменами и дамами, что сопровождают молодых в опочивальню. Эта часть повествования, — сказал Орхан, — всегда несколько озадачивала меня и очень мне нравилась, ибо события в ней изложены с точки зрения трех волшебных существ, причем главный подстрекатель среди них — женского пола, а подчиняющиеся ему существа — мужского. То, что представляется наиболее интимным моментом в жизни людей — утрата девственности, а тем более взаимная утрата девственности, и к тому же при полном взаимном удовлетворении и восторге, — одновременно служит проявлению страсти и любопытства, а также становится неким соревновательным моментом для огненных созданий земли, неба и воды, точнее, резервуара с водой. Камар-аз-Заман и Будур, подобно маркграфу Вальтеру, пытались сохранить свою свободу и независимость, отвергали противоположный пол как

[1]Иблис — в мусульманской мифологии дьявол.
[2]Ифрит — неверующий джинн; слуга Иблиса.

безобразный, отвратительный и наглый, и вот в глубочайшем сне они, однако, уступают своей судьбе, которая решается на уровне не то комедии, не то сентиментальной пьесы странными невидимыми существами и из этих существ с точки зрения законов повествования самым «вольготным» является тот, кто также и самый большой, самый навязчивый, самый запоминающийся — рогатый, с раздвоенными хвостами, вызывающе непропорциональный и толстый земляной тролль, выделывающий от восторга антраша над прекрасными и безупречными телами двух спящих молодых героев. Эти существа, словно наши сны, наблюдают за нами и направляют наши жизни, привнося в них свойственную им энергию, в то время как мы пассивно, бессознательно всего лишь разыгрываем то, что нравится им. Хотя, разумеется, джинны куда более материальны, чем сны, и их интересы и занятия в этом мире не исчерпываются юным Камар-аз-Заманом и царевной Будур...

Военные яростно записывали; закутанные в свои шарфы мусульманки сидели и смотрели перед собой, высоко и гордо подняв головы. Джиллиан Перхольт с удовольствием слушала Орхана Рифата, который уже давно перешел к чисто теоретическим вопросам повествовательного воображения и особенностей конструирования сказочной действительности, то есть создания сказок внутри сказок, обрамленных сказками же. Джиллиан устала и чувствовала, что у нее легкий жар; воздух Анкары, пропитанный дымом от горящего в очагах бурого угля, вызывал в ее памяти дни детства, проведенного в одном йоркширском промышленном городе; там она задыхалась от запаха серы, и приступы астмы валили ее в постель, где она была вынуждена лежать день за днем, а дни были долгие, наполненные чтением волшебных сказок и воображением всего прочитанного. А еще они тогда ходили смотреть «Багдадского вора». Джиллиан была совсем маленькой; в воздухе тоже пахло серой, и волшебная лошадь взлетала, перемахнув через весь экран, и жуткий демон вырастал до огромных размеров из пылинки, превращаясь в облако и заполняя собой весь морской берег. Пока они были в кино, начался воздушный налет; на экране все мигало и прыгало, и вспышки электрических фонариков мешали волшебнику смотреть мрачно и свирепо; а прогулку принцессы по саду сопровождали негромкие отдаленные взрывы. Все цепочкой спустились в подвал и спрятались там, это Джиллиан помнила, и она тогда тоже дышала со свистом, и ей виделись огромные крылья и огонь, яркий в вечерних сумерках. «Интересно, какой я представляла себе тогда свою будущую жизнь? — подумала доктор Перхольт, больше уже не слушая Орхана Рифата, а он в это время как раз пытался найти предел доверия между вымышленными персонажами в вымыслах вымышленных персонажей в сочинениях реальных людей, а также между читателем и писателем. — У меня, безусловно, было представление о том, какой я должна буду стать женщиной,— продолжала размышлять Джиллиан, — даже, по-моему, еще до того, как я узнала, что такое секс (она всем своим телом ощущала, как обморочно-приятно было Камар-аз-Заману и царевне Будур впервые узнать это), но я воображала тогда, что непременно буду замужем, что у меня будет свадьба, и фата, и дом, и Кто-то... преданный — как Багдадский вор или как собака. Нет, хотела я — но это уж абсолютно безо всякого полета фантазии — стать фольклористом и побывать в Анкаре, ведь это настолько интереснее и увлекательнее», — твердо сказала она себе, пытаясь снова прислушаться к тому, что Орхан Рифат разъяснял теперь насчет порогов в сознании и умолчаний.

Почти весь следующий день она была предоставлена самой себе и отправилась в Музей анатолийских цивилизаций, куда ей советовали непременно сходить все ее турецкие друзья, и встретила там Старого Морехода[1]. Автомобиль Британского Совета подвез ее к самому входу в музей — скромное и изящное современное здание из дерева и стекла, как бы врезанное в склон холма. Здесь было тихо и все располагало к раздумьям, и она надеялась провести по крайней мере час или два в одиночестве, вольготно наслаждаясь покоем элегантных залов, когда этот старик совершенно беззвучно возник откуда-то из-за колонны или из-за статуи и тронул ее за локоть. «Американка?» — спросил он, и она возмущенно ответила: «Нет, англичанка», — и таким образом волей-неволей вступила в разговор. «Я здесь официальный гид, — заявил этот тип. — Я сражался вместе с английскими солдатами в Корее, они хорошие солдаты, и турки, и англичане — хорошие солдаты». Это был плотный приземистый безволосый человек с округлыми складками на шее, между черепом и плечами, и с большой блестящей, как полированный мрамор, головой. На нем была куртка из овчины, военная медаль и повязка, видимо самодельная, с надписью «Гид». Лоб низко

[1] Мореход — главный персонаж поэмы С.Т.Колриджа «Сказание о Старом Мореходе» (1798), стремящийся каждому встречному рассказать свою историю.

нависал над глазницами — у него не было ни ресниц, ни бровей, и когда он открывал рот, там сверкали белоснежные крупные искусственные зубы. «Я могу вам все показать, — сказал он Джиллиан Перхольт, сжимая ее локоть, я знаю такие вещи, которых вы сами никогда не заметите». Она не сказала ни да, ни нет, но прошла в вестибюль музея, а этот бывший солдат, мускулистый и приземистый, прошаркал за нею следом.

— Вот посмотрите, — сказал он, когда она остановилась перед макетом жилища пещерного человека, — посмотрите, как они жили тогда, эти первые люди, — они рыли себе норы в земле, точно звери, однако стремились все же сделать их относительно удобными. А теперь взгляните на эту богиню. Однажды, вы только представьте это себе, они обнаружили, что вертят в руках комок глины и из этого комка вырисовываются голова, тело, — понимаете, в простом комке глины они неожиданно для себя увидели человеческие ноги и руки! Тогда они немножко сдавили комок в одном месте, в другом отщипнули от него кусочек, потом еще сдавили и еще отщипнули, и появилась Она, вы только посмотрите на нее, маленькая, толстенькая — им толстые нравились; жирок под кожей для этих голых, худых людей означал здоровое потомство и способность продержаться зиму; они, конечно же, чаще всего были худые и полуголодные — жили-то охотой и прятались в земляных норах, — так что свою богиню они сделали жирной, ибо жир для них означал жизнь. Хотя, кто знает, почему они слепили эту свою первую скульптуру и кем была для них маленькая толстая женщина — то ли куколка, то ли священное изображение, сделанное в качестве небольшого дара богине, чтобы умилостивить ее; впрочем, что было первым, куколка или богиня, нам знать не дано, — но мы *полагаем*, что они поклонялись ей, этой жирной женщине, мы *полагаем*, что, согласно их представлениям, все на земле вышло из ее чрева, подобно тому как они, люди, выходят на свет из своих подземных жилищ, как злаки и деревья вырастают и расцветают весною после зимнего ненастья. Посмотрите на нее вот отсюда, она очень стара, восемь или девять тысяч лет до начала вашего христианского летоисчисления; здесь изображена как бы только сама ее основа — голова, плечи, бедра и прелестный жирненький животик, а еще груди, чтобы кормить детей; даже руки и ступни не обозначены, в них нет нужды; и вот здесь, взгляните: лица нет. Посмотрите на нее, сделанную из глины руками человека такого древнего, что вы даже представить себе не можете, насколько все это было давно.

И Джиллиан Перхольт, глядя на маленьких толстеньких куколок с отвислыми животами и грудями, сама невольно подтянула живот и почувствовала где-то глубоко в груди, в сердце страх смерти, представив себе бесконечные столетия, что миновали с тех пор, как древние пальцы уподобили глину плоти.

— А позднее, — сказал он, водя Джиллиан от статуэтки к статуэтке, — она стала могущественной, она стала богиней, восседающей на троне со львами, — посмотрите, вот она сидит: теперь она правит миром, возложив руки на головы своих верных львов; а вон там, видите, головка ребенка появляется между ее ног, до чего же здорово эти древние люди смогли изобразить, как поворачивается крошечный череп младенца, проходя по родовым путям.

В этом зале были выставлены целые ряды маленьких статуэток из обожженной глины; все они были родственны типологически и в то же время все различны. Вот женщина, вся в складках жира, сидит на приземистом троне с короной — кружком глины — на голове; подлокотники трона сделаны в виде стоящих львов; ягодицы женщины чудовищно огромны, груди тоже тяжелые и некрасивые, а ее опрастывающееся чрево весьма реалистично свисает мешком, проваливаясь между могучими, жирными бедрами. Она составляет со своим троном единое целое — правящая миром плоть. Руки богини сливаются с головами львов, а голова у нее самой лысая, как у этого Старого Морехода, и плоский жирный затылок тоже сливается с жирной шеей, как у него.

— Теперь нам не нравятся толстые девушки, — сказал старик с сожалением. — Нам нравятся девушки, похожие на мальчиков, вроде вон тех мальчиков из греческой гимназии, что за углом. Но посмотрите на нее, и вы легко представите, насколько могущественной она была, и все же они, веря в ее могущество и надеясь, касались ее, мяли глину вот здесь, увеличивая ее груди, полные доброты, как им казалось.

Джиллиан Перхольт не смотрела на старого солдата, чей негромкий голос был полон страсти; она с самого начала не испытывала особого восторга от его сопроводительной лекции и рассеянно, самым верхним слоем сознания, подсчитывала, сколько турецких лир у нее с собой, и сколько это будет в английских фунтах, и сколько такой «гид» запросит с нее, окончив рассказывать свои сказки, если она не сможет от него отвязаться. Так они и продолжали бродить, она впереди, он — по пятам следуя за нею; она ни разу не обернулась и не посмотрела ему в глаза, а он, не умолкая ни на минуту, продолжал рассказывать что-то ей на ухо, глядя в затылок ее ученой головы, переходя от одной стеклянной витрины к другой и легко управляясь со своим массивным телом, ступая совершенно бесшумно, словно башмаки его были подбиты войлоком. А когда глиняные женщины сменялись металлическими наконечниками для коп-

ий и солнечными дисками, истории у нее за спиной тоже меняли своих героев, и теперь в них рассказывалось о правителях и армиях, о жертвах и массовой резне, о принесении в жертву девушек-невест и о кровавых дарах богу солнца, и она лишь беспомощно слушала (и не противилась), ибо рядом с ней был самый лучший, самый знающий и правдивый рассказчик, какого только можно отыскать. Она ничего не знала ни о хеттах, ни о жителях Месопотамии или Вавилона, ни о шумерах, и не так уж много знала она даже о египтянах и римлянах, но этот старый солдат знал действительно очень много и легко создавал целую свадебную историю вокруг какого-нибудь кувшина для вина с двумя ручками в виде уток или вокруг старинного серебряного ожерелья с бирюзой, а тысячелетней давности горшочек с краской для глаз тут же превращался во взволнованную невесту, что смотрится в бронзовое зеркало, — волшебный шепот старика заставлял Джиллиан видеть ее черные волосы, ее огромные глаза, ее руку, уверенно взмахнувшую щеточкой для ресниц, ее служанку, держащую наготове платье из тонкого полотна, заложенного мягкими складками. А еще он говорил, как бы между прочим, бродя среди бесконечных веков, представленных на стеллажах и стендах, о боеспособности британских и турецких солдат, сражавшихся бок о бок на корейских холмах, и Джиллиан вспомнила слова мужа о том, что в Турции наказания за мелкую кражу и дезертирство были так ужасны, что просто никто не осмеливался совершать подобные преступления. И еще она вдруг подумала об Орхане, который говорил: «Люди, рассуждая о турках, всегда имеют в виду их склонность к убийствам и чрезвычайное сладострастие, и это весьма прискорбно, ибо мы народ сложный и природа наша разнообразна. Бывают и свирепые характеры. Но нас всех определенно отличает вкус к хорошей жизни».

— Львы пустыни считались смертельно опасными для народов Анатолии, — сказал старый гид, когда они приблизились к концу своего путешествия, которое началось у экспозиции культуры людей каменного века, миновало цивилизации, создавшие прокаленные солнцем зиккураты, и привело их в Ассирию, к украшенным фигурами львов воротам Ниневии. — Та древняя богиня восседала на львином троне, львы были как бы частью ее собственной силы, она сама была и землей, и этими львами. А позднее правители и воины приручили львов и стали лишь использовать их могущество — носить их шкуры, обороняться с помощью их скульптурных изображений от диких племен. Вот персидские львы; они носят имя Аслан; они воплощают силу и смерть; через эти резные, украшенные скульптурами львов ворота вы можете попасть в мир мертвых, как это сделал Гильгамеш[1] в поисках Энкиду, своего умершего друга. Вы знаете историю о Гильгамеше? — спросил старик Джиллиан, когда они вместе проходили в львиные ворота — она шла по-прежнему впереди и не глядя на него. В музее настоящие древние резные стены и ворота были приспособлены так, что, казалось, вели в таинственные проходы, в царские дворы или лабиринты, подобные вот этому, освещенному холодным светом. Сейчас, когда день уже клонился к вечеру, только они двое остались во всем музее, и старый солдат еще приглушил свой голос, видимо, из уважения к великим произведениям давно умерших мастеров или из уважения к тишине, царившей в музее, где в полумраке поблескивали стеклянные витрины.

— Посмотрите-ка сюда, — сказал он, мгновенно оживляясь, — нет, вы только взгляните — вот вся история Гильгамеша, вырезанная на камне, если, конечно, вы сумеете ее прочесть. Вот сам герой, одетый в шкуры, а вот его друг, дикий человек со своей дубинкой; вот их встреча, а вот они борются перед царским дворцом и становятся друзьями. А вы знаете, как выглядел Энкиду? Он был огромного роста, волосатый и жил вместе с дикими зверями в лесах и полях; он помогал им избегать охотничьих ловушек и стрел. Но охотники попросили Гильгамеша, своего царя, разрешить им послать к Энкиду одну женщину, блудницу, которая его соблазнила и уговорила покинуть мир газелей и трав и предстать перед царем, который сперва стал с ним бороться, а потом полюбил его. Они были неразлучны. Вместе они убили великана Хумбабу — обманули и убили его в лесу. Вот, смотрите, как они его обманывают и убивают. Они здесь молоды и сильны, и нет ничего на свете, что было бы им не по силам. Однако молодость и сила Гильгамеша привлекли внимание богини Иштар[2], богини любви, а также войны, — это та же богиня, как вы знаете, мадам, что Кибела[3] и Астарта[4], а когда появились римляне со своей Дианой[5], то и она оказалась

[1] Гильгамеш — шумерский и аккадский мифоэпический герой. Возможно, реальная историческая личность — пятый правитель. I династии города Урука в Шумере (конец XXVII — начало XXVI вв.до н.э.). Очевидно, после смерти был обожествлен.

[2] Иштар — в аккадской мифологии центральное женское божество, соответствует шумерской Инанне. Богиня плодородия и любви; богиня войны; астральное божество.

[3] Кибела — греческая богиня, Великая мать богов. Символизирует неиссякающее плодородие гор, лесов и зверей. Всегда пребывает в окружении безумствующих львов и пантер.

[4] Астарта — в западносемитской мифологии богиня любви и плодородия, а также богиня-воительница; олицетворение планеты Венера.

[5] Диана — римская богиня растительности, родовспоможения, отождествляемая с Артемидой и Гекатой; олицетворение Луны.

той же богиней Иштар, грозной и прекрасной, — и храмы ее были окружены блудницами, причем блудницами священными, чьи желания нельзя было не исполнить. И вот Иштар пожелала взять Гильгамеша в мужья, но он отверг ее — он думал, что богиня обманет его, а потом убьет, и он совершил роковую ошибку, честно сказав ей о своих опасениях и о том, что не желает ее; он хочет остаться свободным, сказал он, тем более что она уничтожила Таммуза[1], которого оплакивали все женщины, а потом превратила пастухов в волков, а отвергнутых любовников — в слепых кротов, и она уничтожила львов в ямах и лошадей во время битвы, хотя ей вроде бы нравилась их ярость и беспощадность. И его слова страшно разгневали Иштар, и она прислала огромного небесного быка[2], чтобы тот уничтожил царство Гильгамеша, но наши герои этого быка убили — смотрите, вот здесь изображено, как они втыкают меч ему меж рогами, — и Энкиду отрубил заднюю ногу быка и швырнул ею в лицо Иштар. Тогда она созвала храмовых проституток, чтобы те оплакали небесного быка, и решила, что Энкиду должен умереть. Вот здесь он лежит больной на своей постели и мечтает о смерти. Вы же знаете, молодые мужчины смерти не ведают или представляют ее себе как льва или быка, с которыми можно бороться и победить. Но тяжелобольным людям смерть ведома, и Энкиду снилось, как смерть приходит к нему — пернатый человек-птица с лицом упыря и с когтями, — смерть, как вы видите, чаще всего изображалась в образе отвратительного стервятника, — так вот, Энкиду снилось, что смерть душит его и он превращается в человека-птицу, а потом отправляется в подземное царство, и там — все это Энкиду видел во сне — совсем нет света и радости, а люди едят пыль и глину. Там, внизу тоже была богиня — вот она изображена здесь, — Эрешкигаль, царица подземного мира. И оба они, Гильгамеш и Энкиду, плакали, испуганные этим сном больного так, что совершенно обессилели, а потом Энкиду умер, страдая от ужасных болей, и Гильгамеш был безутешен. Он не желал смириться с тем, что его друга больше нет, что он никогда не вернется. Гильгамеш был молод и силен, он не желал смириться даже с тем, что по нашему миру ходит смерть. Молодые мужчины, они ведь такие, вы же сами знаете, — они думают, что способны бросить вызов грядущему только потому, что кровь у них горяча и тела их полны силы.

И Гильгамеш вспомнил своего предка Ут-Напишти, единственного, кто спасся, когда на земле был потоп; говорят, он жил в нижнем мире и знал тайну вечной жизни. И вот Гильгамеш отправился в путешествие, он странствовал и странствовал и добрался до горы Машу, где была пещера, у ворот которой на страже стояли люди-скорпионы — ну, знаете, такие демоны вроде драконов. Посмотрите, мадам, вот эти ворота вполне могли вести в нижний мир — шумеры и вавилоняне вечно строили огромные тяжелые ворота и изображали на них стражей подземного мира. Вот здесь изображены львы, а здесь духи — вы ведь называете их духами? — да, так вот, в Вавилоне были добрые и злые духи; злые духи назывались «утукку», а некоторые духи были то добрыми, то злыми; добрые были вроде бы вот эти, в виде быков с крыльями и лицами мудрецов — они называются «шеду» или «ламассу»[3]; здесь они стоят на страже, но вообще-то могут принимать и другое обличье и ходить невидимыми следом за людьми по улицам города; каждый человек имел своего духа, так считалось, и духи защищали людей, есть даже одна старая пословица: «Тот, у кого нет своего духа, выходя на улицу, закутывается в головную боль, как в плащ». Любопытно, не правда ли?

Джиллиан Перхольт кивнула. У нее самой голова не на шутку разболелась — то была какая-то невнятная головная боль в виде спорадических уколов, словно в мозг ударяли невидимые стилеты или острые осколки льда; это началось, еще когда она увидела призрак Гризельды; а сейчас все странно плыло у нее перед глазами, окутываясь серым туманом, — и сами створки гигантских ворот, и каменные таблички с вырезанными на них героями шумерского эпоса. Старый солдат между тем все более оживлялся и теперь уже начал изображать в лицах сцену прибытия Гильгамеша к вратам горы Машу; он чуть ли не танцевал, правда с грацией медведя, то приближаясь к ней, то снова отступая, то почтительно воздевая очи горе, то неожиданно отпрыгивая на царский двор или в пространство между столбами ворот, то касаясь пальцами своего лысого черепа и показывая, где именно должны быть рога, то отвечая

---

[1] Таммуз — бог плодородия в Передней Азии; у шумеров Думузи, супруг Инанны (см.Иштар); полгода проводит под землей; умирающий и воскресающий бог, отождествляемый с греческим Адонисом и египетским Осирисом.

[2] Небесный бык создан по просьбе Иштар ее отцом Ана (Ану), богом неба или «отцом богов», центральным божеством города Урука.

[3] Шеду, Ламассу — старый солдат не совсем точен, ибо существуют различные точки зрения на этих духов. В аккадской мифологии ламассу (ламашту) — львиноголовая женщина-демон, поднимающаяся из подземного мира и насылающая на людей болезни, а также похищающая детей. Шеду (аккад.) — злые демоны, которым приносили в жертву животных и даже детей; имели зооморфный облик: косматые или с птичьими лапами.

самому себе от лица людей-скорпионов. («Это добрые духи, мадам, — сказал старый солдат как бы в скобках. — Эти люди-скорпионы, возможно, и были когда-то опасными существами, эдимму или даже хуже, араллу[1], которые вышли из подземного мира и вызвали мор; они плодились в желчи богини; попробуйте представить себе ужасающего вида людей-скорпионов на месте вот этих быков с крыльями. Они говорят: «Ты зачем пришел?» А Гильгамеш отвечает: «За Энкиду, за моим другом. И еще повидать своего предка хочу, Ут-Напишти». А они говорят: «Ни один человек, рожденный женщиной, не ходил внутрь этой горы; пещера очень глубока; там света нет, и мрак там подавляет душу». Подавляет душу!») Старый солдат снова выскочил из ворот, потом опять решительно направился внутрь горы, подобно Гильгамешу. Джиллиан подумала: он, должно быть, потомок тех ашиков, о которых я когда-то читала; у них было платье и шапка из шкур, и они носили с собой дубинку или меч в качестве профессионального орудия. С помощью своих дубинок они показывали тени на стенах кофеен и на рыночных площадях. Тень старого солдата кривлялась и гримасничала среди резных «утукку»: он был Гильгамешем, исчезнувшим во тьме пещеры; потом превратился в Сидури[2], женщину виноградной лозы, что живет в саду на берегу моря, хранительницу золотой чаши и золотистых бочек, наполненных ветром; потом он стал Ур-Шанаби[3], перевозчиком через Океан, потревоженным присутствием того, кто одет был в шкуры и питался мясом в мире живых. А ведь он, подумала вдруг Джиллиан Перхольт, родственник Карагёза и Хадживата[4], комических героев и кукольников в турецком театре теней, которые боролись как с демонами из подземного мира, так и с толстыми капиталистами. Орхан Рифат тоже был искусным артистом-кукольником: у него был целый кожаный чемодан маленьких фигурок, которые он умел оживлять, скрывшись за простыней, укрепленной на раме.

— И Ут-Напишти, — сказал Старый Мореход, внезапно присаживаясь на каменного льва и заставляя Джиллиан Перхольт смотреть ему прямо в глаза, — Ут-Напишти поведал Гильгамешу, что есть такое растение, дивный цветок, что растет на дне моря, однако у этого цветка острые шипы, которые непременно поранят Гильгамешу руки, но если он сможет добыть цветок, то снова обретет свою утраченную юность. И вот Гильгамеш привязал к ступням тяжелые камни, погрузился в глубокие воды, прошел по дну морскому и добрался до волшебного цветка, который действительно уколол его, но он все-таки сорвал цветок и вынес его на берег. А потом Гильгамеш пустился с Ур-Шанаби-перевозчиком в обратный путь, желая отвезти цветок старикам своего родного города Урука и вернуть им утраченную молодость. Они плыли все дальше и дальше, — сказал Старый Мореход, неуклюже танцуя среди старинных памятников, — и встретился Гильгамешу глубокий колодец с холодной водой, и он решил вымыться этой водой, чтобы освежиться. Но там, в глубине колодца, жила змея, которая, почуяв сладостный аромат цветка, вынырнула на поверхность, схватила волшебное растение и съела его. А потом сбросила старую кожу и снова нырнула в глубину — только ее и видели. А Гильгамеш сел и заплакал; слезы так и текли по его лицу. И он сказал Ур-Шанаби-перевозчику: «Неужели для этого положил я столько сил, неужели для этого заставлял я сердце свое выпрыгивать из груди? Ведь после столь тяжких трудов я не выиграл ничего — даже цветка того у меня нет, теперь им обладает зверь, вышедший из недр земных. Я нашел Знак судьбы, да утратил его».

Тяжелая лысая голова повернулась к Джиллиан Перхольт, и лишенные ресниц веки на мгновение прикрыли глаза старика, словно в безмерной усталости, отчего он стал похож на слепца. Толстые руки что-то искали в карманах куртки из овчины, неловко мяли карманы, словно пальцы его были пальцами Гильгамеша, пытающегося найти то, что он потерял. А Джиллиан видела перед собой сброшенную змеиную шкуру, тонкий, сохранивший форму тела змеи, шуршащий, как бумага, призрачный чулок, что плавал у краешка колодца, где в один миг скрылось мускулистое сильное тело похитительницы цветка.

— И что же все это значило, миледи? — спросил старик. — А значило это только одно: Гильгамеш теперь должен был умереть — он ведь уже все видел собственными глазами: и тот острый шип, который сумел смять рукой, и тот волшебный цветок, и должен был жить вечно, но змея совершенно случайно отняла у него этот цветок; нет, она вовсе не желала причинить Гильгамешу зло, просто очень любила сладости, и аромат цветка пленил ее. Ах, как это печально — держать в руках Знак судьбы и утратить его! Это очень печальная история —ведь в большей части подобных исто-

---

[1] Эдимму — души мертвых, ставшие пернатыми людьми-птицами; души тех мертвых, которые не получили погребения, становятся злыми утукку. Араллу — злые демоны подземного мира.

[2] Сидури (Сидури Сабиту) — богиня, «хозяйка гостиницы», живущая на берегу моря.

[3] Ур-Шанаби — перевозчик через «воды смерти» в царство мертвых.

[4] Карагёз(букв. «черноглазый») и Хадживат — персонажи турецкого народного театра кукол; Карагёз — маска «простачка»; Хадживат — маска «грамотея».

рий если уж герой отправляется искать что-то, то находит и приносит это с собой, разумеется, после борьбы и тому подобного, так, по-моему, но в данном-то случае какая-то тварь, обыкновенная змея, просто так, чисто случайно отбирает у героя плоды всех его трудов и усилий. Они были печальным народом, мадам, очень печальным. Смерть витала над ними.

Когда они вышли на свет божий, Джиллиан отдала старому солдату все турецкие деньги, какие у нее были с собой. Он внимательно на них посмотрел, пересчитал и сунул в карман. Она не в силах была бы сказать, счел ли он эту сумму чересчур ничтожной или, напротив, слишком большой: складки на его лысой голове подмигнули ей, когда он пересчитывал деньги. Водитель Британского Совета уже ждал, и она направилась к машине; когда она обернулась, чтобы попрощаться с Мореходом, того уже нигде не было видно.

Турки отлично умеют устраивать всякие пирушки и развлекать. Веселая компания в Измире состояла из друзей Орхана — ученых и писателей, журналистов и студентов.

— Смирна[1], — сказал Орхан, когда они по набережной въезжали в город, заткнув носы, поскольку в гавани невыносимо воняло экскрементами, — Смирна, город купцов, — повторил он, когда перед ними открылся тихий город на холме. — Здесь, в Смирне, как нам хочется думать, родился Гомер. Во всяком случае, большая часть людей соглашается с тем, что именно здесь он, возможно, и родился.

Стояла весна, воздух был легок и пронизан лучами юного солнца. В маленьких ресторанчиках Джиллиан и ее спутники ели фаршированные перцы, долму, шашлыки и печеные баклажаны; они бродили по городу, ели жареную рыбу прямо на улице, за столиками, стоявшими на самом берегу крошечного заливчика, и смотрели на рыбачьи лодки, казавшиеся вечными со своими названиями в честь луны и звезд. Они без конца что-то рассказывали друг другу. Орхан поведал о своем трагикомическом сражении с руководством университета по поводу бороды, которую его попросили сбрить, прежде чем допустят в аудиторию. Борода в современной Турции считается символом религии или марксизма, а и то и другое в университете неприемлемо. Он тогда действительно на время сбрил бороду, но теперь она уже вновь буйно росла. Как трава на лугу, сказал Орхан, даже еще гуще. Разговор перешел к поэтам и политике: ссылке в Галикарнас, тюремному заключению Назыма Хикмета. Орхан прочитал поэму Хикмета «Плакучая ива» с ее упавшим всадником и барабанным перестуком копыт рыжих коней, исчезающих вдали. А Лейла Серин прочитала стихотворение Фарука Нафиза Чамлибеля «Гёксу», где тоже была своя плакучая ива.

Когда б ни плыл я в мыслях по Гёксу,
Сад моей мечты сливается с ее лесами.
И розы в сумерках мне кажутся далекой дымкой;
Как привидение в плаще и капюшоне, склонилась ива....

Как прежде, ко мне слетевшись, соловьи
Мне пересказывают вечные во тьме свои баллады,
И синяя спокойная вода их слушает, и видно в ней,
Как проплывает месяц на своей шестивесельной барке...

А Джиллиан рассказала о том, как встретилась со старым солдатом в Анатолийском музее.

— Возможно, это был джинн, — сказал Орхан. — Джинн по-турецки пишется CIN, его вполне можно отличить от людей, хотя он порой встречается и в человечьем обличье: он всегда нагой и безволосый. Вообще-то джинны могут выглядеть как угодно, однако в обличье человека они всегда безволосые.

— У него была очень волосатая куртка, — сказала Джиллиан, — но сам он был действительно безволосый. И кожа такая желтоватая, цвета слоновой кости или пчелиного воска, и очень гладкая — нигде ни единого волоска.

— Ну конечно джинн, — сказал Орхан.

— А как же тогда, — воскликнул юный Аттила, который делал доклад «Баязет в гареме», — вы объясните историю о царице Савской[2]?

— А что я должен по этому поводу объяснять? — спросил Орхан.

— Ну как же, — сказал Аттила, — согласно исламской легенде, Соломон отпра-

[1] Смирна — древнегреческое название Измира.

[2] По некоторым преданиям, у царицы Савской были козлиные (ослиные) ноги; чтобы проверить, так ли это, Соломон заставил ее пройти по хрустальному полу, который она приняла за озеро.

вился из Мекки в Сабу, чтобы посмотреть на ее царицу, у которой, по слухам, были страшно волосатые ноги, как у ослицы, потому что она была дочерью джинна. Короче говоря, Соломон попросил ее руки, а она, чтобы доставить ему удовольствие, пользовалась различными мазями и травами, и ноги у нее стали гладкими, как у ребенка...

— Autres pays, autres moeurs[1], — сказала Лейла Дорук. — Невозможно связать джинна обещанием. Что же касается демона доктора Перхольт, то он, похоже, родственник того шестирогого ифрита из истории о Камар-аз-Замане, вам не кажется?

Ездили они и в Эфес. Этот белоснежный город частично восстал из руин; здесь вы можете пройти по улице мимо мраморных зданий, где, должно быть, проходил Святой Павел; колонны и портики, раковина элегантного здания библиотеки, храмы и кариатиды восстановлены и снова сияют в лучах весеннего солнца. Когда они брели мимо фасадов этих древних храмов, юный Аттила помрачнел и заявил, что при взгляде на них его пробирает дрожь; Джиллиан решила, что он имеет в виду гибель целых народов, но оказалось, что имел он в виду нечто значительно более примитивное и сиюминутное — землетрясения. И когда он об этом сказал, Джиллиан тоже со страхом посмотрела на разбитые каменные глыбы.

В музее они увидели две статуи Артемиды Эфесской, чей храм Артемизион, одно из семи чудес света древнего мира, вновь был «открыт» в девятнадцатом веке энергичным и упорным английским инженером Джоном Тертлом Вудом. Гигантская Артемида выглядит более суровой и больше похожа на Кибелу, Великую праматерь, со своей башенкой-короной — с целым храмом на голове, в арках которого сидят крылатые сфинксы. Ее тело — словно одна величественно вздымающаяся колонна: бедра едва прорисованы, ибо на ней нечто вроде юбки из разных тварей, полевых, лесных и небесных, связанных между собой по два и по три и расположенных в несколько рядов геометрически правильными квадратами; это быки, бараны, антилопы, крылатые быки, крылатые сфинксы с женскими грудями и львиными головами, люди-птицы и огромные иератические пчелы, ибо пчела[2] — это символ Кибелы, а также Эфеса. Богиня украшена гирляндами из цветов и фруктов — все это вырезано из того же камня, что и она сама; львы прикорнули под крючковатыми обломками ее рук (сами руки не сохранились), а ее головной платок соткан из рядами расположенных крылатых быков, подобных тем духам, что охраняют ворота в музее Анкары. И перед собой она несет, точно финиковая пальма, полная плодов, тройной ряд огромных грудей — семь, восемь и восемь — сама плодовитость, воплощенная в камне. Артемида поменьше, которую турки называют Гюзель Артемис, а французы Ла Белль Артемис, стоит напротив, у кирпичной стены; у нее менее египетский и значительно более восточный тип лица, на устах легкая улыбка. Она также одета в платье из тварей, населяющих землю и небо — из быков, антилоп, крылатых быков и сфинксов, — и львы дремлют в тени ее свисающих грудей. Ее головной платок также соткан из крылатых быков, однако корона-храм не сохранилась. Зато у этой богини видны ступни, поставленные рядышком то ли на гребень какой-то рептилии, то ли на раковину, то ли на свернутые кольца змеиного хвоста, и у самых ее ступней приткнулись полные меда ульи. Ее большие глаза с тяжелыми веками широко раскрыты: она смотрит на вас из камня.

Вся компания была в восторге от этой богини. Орхан даже поклонился ей, а Лейла Дорук и Лейла Серин принялись разъяснять Джиллиан Перхольт особенности ее культа и то, насколько она действительно древнее греческой Артемиды или римской Дианы, эта азиатская хтоническая богиня, Великая матерь Кибела, Астарта, Иштар, чей храм обслуживали девственницы и храмовые проститутки, развлекавшиеся пирами, роскошью и кровавой резней; чьи жрецы-мужчины оскопляли себя в религиозном экстазе, поклоняясь своей богине, подобно умирающим богам, Таммузу, Аттису[3], Адонису, чьей кровью полнились реки, и красной была их вода, добегая до моря.

— Женщины каждый год оплакивали трех умирающих богов, — сказала Лейла Серин. — Считается, что замечательная фраза Колриджа «где женщина о демоне рыдала»[4] связана с описанием этих ритуальных оплакиваний.

— Был там один жрец, — сказала Лейла Дорук, — Мегабиксус; это персидское слово, и оно означает «отпущенный Богом на волю». Возможно, он был евнухом-

[1] Иные времена, иные нравы (франц.).

[2] Пчела — символ Кибелы и Артемиды; до эллинистической эпохи жрецов Кибелы называли «пчелы» (как и жрецов Артемиды Эфесской). Артемида звалась «священная Пчела», ее жрицы — «пчелы», жрецы-евнухи — «трутни». Пчелами назывались и жрицы Деметры и Персефоны. Родоначальницей пчел считается нимфа Мелисса.

[3] Аттис — в греческой мифологии бог фригийского происхождения, связанный с оргиастическим культом Кибелы. Аттис нарушает обет безбрачия, увлекшись нимфой, и Кибела губит нимфу, а Аттис сходит с ума, оскопляет себя и умирает.

[4] Строка из поэмы С.Т.Колриджа «Кубла Хан» (перевод К.Бальмонта).

чужеземцем. И три жрицы — Девственница, Неофитка и Старая жрица, которая учила молодых. Эти жрицы носили имя Мелисса, что значит «пчела». И еще там были жрецы, которых называли Акробаты, потому что они ходили на пальцах; и жрецы, которых называли Эссены, — это еще одно негреческое слово, означающее «король пчел», греки тогда не знали, что пчелиная матка — это не король, а королева, зато мы теперь знаем...

— Ее груди выглядят устрашающе, — сказала Джиллиан Перхольт. — Как змеи у Медузы — их слишком много, однако чрезмерность эта, видимо, вполне закономерна и оправданна.

— Кое-кто сейчас утверждает, что это вовсе не груди, а яйца, ведь яйцо — символ возрождения, — сказал юный Аттила.

— Нет, у нее просто *должны* быть груди, — возразила Джиллиан Перхольт. — Как же иначе можно воспринимать их, глядя на эту скульптуру!

— А еще есть мнение, — улыбнулась Лейла Дорук, — что это яички быков, принесенных ей в жертву; видите, они повешены ей на шею как бусы, как... некие части тела... тех кастрированных жрецов... их тоже когда-то вешали ей на шею...

«Нет, — подумала Джиллиан, — это груди — зрелые, полные и вырезанные из того же камня, что и она сама».

— Все это просто метафоры, — вмешался Орхан. — И эти груди тоже обозначают одновременно множество вещей, как и сфинксы, и крылатые быки.

— Вы, наверное, восхищаетесь ею, нашей богиней? — спросила Лейла Дорук.

«Она не ваша, — подумала Джиллиан. — Вы все пришли слишком поздно. Она куда старше вашего народа и могущественнее. Нет, — решила Джиллиан чуть позже, — все-таки она гораздо больше ваша, чем моя». Кирпичная стена за спиной у Гюзель Артемис была украшена пластиковой виноградной лозой, кремово просвечивавшей на солнце.

Две Лейлы стояли рядом с Джиллиан Перхольт перед статуей Артемиды, и каждая взяла Джиллиан за руку и засмеялась.

— А теперь, доктор Перхольт, — сказала третья Лейла, Лейла Осман, — вы должны загадать желание. Знайте: если вы здесь окажетесь между двумя тезками и загадаете какое-нибудь желание, то оно непременно исполнится.

Лейла Дорук была женщина крупная и цветущая; Лейла Серин — маленькая и похожая на птичку. Обе красавицы — с большими темными глазами и прелестной кожей. Рядом с ними Джиллиан Перхольт почувствовала себя потной неуклюжей англичанкой, опухшей от жары. Впрочем, она привыкла отметать подобные эмоции. И ответила смеясь:

— Я в достаточной степени фольклорист, чтобы знать, что из загаданных желаний ничего хорошего никогда не выходит. Эти желания имеют скверную привычку подчинять себе людей, их высказавших.

— Только очень глупые желания, — сказала Лейла Серин. — Необдуманные. Когда люди не думают головой.

— Как, например, тот крестьянин, что спас волшебную птицу, и она предложила ему загадать три желания, так он пожелал связку жареных колбасок, и колбаски появились прямо на сковородке, и его жена заявила, что только глупец мог высказать такое дурацкое желание, если можно было пожелать хоть весь мир, и крестьянин страшно разозлился и пожелал ей подавиться этой колбасой, что и произошло, но это было уже второе желание, так что ему пришлось использовать свое третье, и последнее, желание, чтобы спасти жену от удушья.

На какое-то время эта крестьянская жена из северной сказки, украшенная связкой жареных колбасок, словно очутилась рядом с ними перед великой богиней с ее бесчисленными свисающими грудями. Все засмеялись.

— Пожелай что-нибудь, Джиллиан,— сказал Орхан.— Ты ведь вполне разумная женщина и не пожелаешь себе какой-нибудь глупости.

— В Англии, — сказала Джиллиан, — когда мы задумываем желание, разрезая именинный пирог, то громко кричим — наверное, прося судьбу отвернуть в сторону нож.

— Можете кричать, если хотите, — сказала Лейла Серин.

— Я не в Англии, — сказала Джиллиан Перхольт. — И это не мой день рождения. Так что кричать я не буду, а постараюсь сосредоточиться и вести себя как разумная женщина. Так велел мне Орхан.

Она закрыла глаза и сосредоточилась, видя, как просвечивают красным ее зажмуренные веки, и, как часто прежде, слыша слабый рокот крови в ушах. Она выбрала весьма определенное и очень осторожное желание — чтобы ей предложили выступить с основным докладом на конференции фольклористов в Торонто этой осенью и вдобавок оплатили билет первого класса и номер в отеле с плавательным бассейном. Это как бы «пакет» желаний, объяснила она тому глухому рокоту, что раздавался у

нее в ушах, и тому красному свету, которым просвечивали ее веки, снова открыла глаза и, увидев перед собой улыбающуюся Артемиду, потрясла головой. Все засмеялись. Вы выглядели такой серьезной, сказали они, пожимая и пожимая ей руки и смеясь.

Петляя по улицам старо-нового Эфеса, они добрались до театра. Орхан остановился перед разрушенной сценой и по-турецки прочитал нечто певучее — как он потом объяснил Джиллиан, это был первый монолог Диониса из «Вакханок» Еврипида[1], который произносится с ужасной улыбкой, исполненной угрозы. Потом Орхан забросил одну руку себе за плечо — и мгновенно облачился в плащ, стал выше ростом, суровее, сдержаннее в движениях, хотя на самом деле был мягким, гибким, улыбчивым восточным человеком.

— Послушай-ка, Джиллиан, — сказал он.

...Мне не дано
Касаться тайн моей тюрьмы. А то бы
От слов легчайшей повести моей
Зашлась душа твоя и кровь застыла,
Глаза, как звезды, вышли из орбит,
И кудри отделились друг от друга,
Поднявши дыбом каждый волосок,
Как иглы на взбешенном дикобразе.
Но вечность — звук не для земных ушей[2].

— Защити нас, Боже милосердный, — пробормотала Джиллиан, смеясь и вспоминая молодого Орхана таким, каким он выступал на сцене студенческого театра; а потом снова вспомнила о Мехмете Завоевателе, каким его увидел Беллини: красноречивым, настороженным и опасным.

— Когда-то, — сказал Орхан, — я действительно был хорош в роли призрака. Это ведь была и его роль — сам великий Шекспир играл призрака в своем «Гамлете». Ты об этом знал, Аттила? Так что, произнося эти слова, ты произносишь слова, которые произносил Он.

— Но не на этой сцене, — сказал Аттила.

— Зато сейчас они звучат здесь, — сказал Орхан.

Вспомнив о Боге, Джиллиан подумала о Святом Павле. Это Его ангелы распахнули двери тюрьмы в Эфесе, где томился Святой Павел. Когда-то, сидя в воскресной школе и слушая жужжание мухи под самым потолком на грязном окне церковного зальчика, она ненавидела все эти истории о Святом Павле и прочих апостолах именно из-за их правдивости, подлинности, во всяком случае, им их так рассказывали, и это каким-то образом приостанавливало игру ее воображения, не давало проникать внутрь историй об апостолах, может быть, потому, что она все-таки в их подлинность не верила. Она была и Гамлетом, и его отцом, и Шекспиром; она видела Мильтонова змея и чудесную летающую лошадь из «Багдадского вора», однако ангелы, спасшие Святого Павла, по-прежнему оставались под подозрением, казались ей искусственно сфабрикованными — и именно потому, что ее изо всех сил убеждали: они *истинные*, они существуют на самом деле. Святой Павел пришел сюда, в Эфес, чтобы сообщить здешним людям, что Артемида — ненастоящая богиня[3], что на самом деле ее не существует, она всего лишь творение рук человеческих. Он стоял где-то примерно здесь, в этом самом театре, неторопливо размышляла Джиллиан, этот реально существовавший человек, провинциал, сующий нос не в свои дела. Стоял со своим посланием на том же самом месте, где сейчас стояла она. Она вдруг обнаружила, что ей трудно поверить в это: Святой Павел всегда казался каким-то картонным в сравнении с Дионисом, Ахиллесом, Приамом, с которыми она познакомилась чуть позже. Однако же он действительно приходил сюда, пылая праведным гневом и клеймя рукотворных богов. Он тогда переменил этот мир. Он был сперва одним из гонителей,

[1] Еврипид (*ок. 480 до н.э. — 406 до н.э.*) — древнегреческий поэт, драматург.

[2] У. Шекспир. Гамлет. *Перевод Б. Пастернака.*

[3] Святой Павел — в христианской традиции «апостол язычников», не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов, но в силу особого призвания и чрезвычайных миссионерских и богословских заслуг почитаемый как «первопрестольный апостол», сразу после Петра и вместе с ним. Был воспитан в строгой фарисейской традиции; преданность консервативному иудаизму внушила ему ненависть к первым христианам, однако же после чудесного ослепления божественным светом и чудесного исцеления (явления ему Христа) начинает проповедовать христианство в Аравии, Дамаске, Антиохии, на Кипре, в Македонии, Афинах, Эфесе, Коринфе, пытаясь отвратить народ «от богов ложных» и обратить его «к богу живому». Его встречают враждебно. Казнен в Риме вместе с апостолом Петром.

и его ослепил чудесный свет по дороге в Дамаск (в тот миг он переставал быть картонным, ибо волшебный свет поглотил его), а потом он стал проповедовать веру в нового бога, которого еще не знал — по крайней мере, в Его человеческом воплощении. В Эфесе его проповеди популярностью не пользовались, зато разгневали Деметриуса, серебряных дел мастера, который изготавливал серебряные раки для святых. И Деметриус поднял жителей Эфеса против святого, который утверждал: «Не являются те боги богами, что сделаны руками человека», и Деметриус сказал согражданам, что этот чужеземец не только ни в грош не ставит их мастерство, но также утверждает, что храм великой богини Дианы должен быть презираем всеми и разрушен — богини, которой поклоняется, которую боготворит вся Азия!

И, услышав это, они исполнились гнева и выкрикивали громко: «Славься, великая Диана Эфесская!»

И когда поймали Гая и Аристарха, жителей Македонии, спутников Павла в его странствованиях, то весь город, казалось, собрался в этом театре.

И там в течение двух часов они продолжали возмущенно кричать: «Славься, великая Диана Эфесская!»

И, не выдержав рева толпы, Павел покинул город Эфес и направился в Македонию.

Так сердитый апостол был повержен эфесскими купцами и их могущественной богиней.

— А вы знаете, — сказала Лейла Дорук, — что ваша Дева Мария потом поселилась здесь? Здесь она и умерла. Это, правда, не совсем точно, как не совсем точно и то, что Гомер родился в Измире, однако говорят, что это именно так. Ее дом был обнаружен в девятнадцатом веке благодаря одной болезненной немецкой даме, которая увидела его в своих пророческих снах, и этот дом, и эти холмы, а когда отправились посмотреть и проверить, то дом действительно оказался там. По крайней мере, так принято считать. Мы называем его Панайя Капулу; там также есть христианская церковь. Говорят, Мария прибыла сюда вместе с Иоанном, а потом умерла здесь.

Однажды в ночном клубе Стамбула Джиллиан испытала глубокое потрясение, не сразу поняв его причину, — она обнаружила одну из этих размалеванных нежно-розовых и нежно-голубых Дев Марий «в натуральную величину» в числе прочих «украшений» — не то вешалка для шляп, не то немая официантка; точно так же в соответствующем западном клубе можно обнаружить многорукую индуистскую богиню или пластмассовую Венеру. И вдруг на месте этой куклы Джиллиан увидела настоящую Марию, растерянную старую женщину со ссохшимся бесполезным чревом и пустым взглядом — ведь ее сын был жестоко, с садистской медлительностью замучен у нее на глазах; и теперь шаркающей походкой бродила она по улицам Эфеса, тихо ожидая, когда к ней придет смерть. И та наконец пришла. Только тогда, после всего этого, уже после своей смерти старая женщина, существовавшая в действительности старая женщина превратилась в Богоматерь, в Царицу Небесную. Джиллиан вдруг почувствовала каждый дюйм собственной дряблой и увядающей кожи и вспомнила о каменных глазах той богини, о ее грозном достоинстве, о ее двусмысленных пышных грудях, а может, ожерелье из отрезанных мужских яичек или целехоньких куриных яиц, обвившем шею богини в момент ее торжества, и поняла, что реальна эта богиня или нет, но она действительно существовала и будет существовать — и там, в будущем, останется куда более живой, энергичной и бесконечно более могущественной, чем она, Джиллиан Перхольт, сейчас; и эта богиня будет стоять здесь и перед ее детьми, и перед детьми Орхана, и перед детьми их детей и по-прежнему улыбаться, когда и она, и Орхан давно уже станут прахом, распадутся на атомы.

И, подумав об этом в окружении улыбающихся друзей, в самом центре Эфесского театра, Джиллиан вновь испытала нечто вроде странной остановки в течении ее собственной жизни, как то было, когда ей явилось видение Терпеливой Гризельды. Она протянула руку Орхану, но более не смогла пошевелить ни рукой, ни ногой; она как бы находилась внутри огромного жужжащего темного облака, вспыхивавшего огнями, и чувствовала аромат цветов и запах собственной крови, и слышала, как ее кровь шумит и бьется в венах, и все же не могла шевельнуть ни единым мускулом. Еще мгновение — и рыдание влажной волной поднялось у нее в груди, и Орхан, поняв, в каком она состоянии, ласково обнял ее за плечи и успокаивал, пока она не пришла в себя.

В самолете, на пути обратно в Стамбул, Орхан спросил:

— Извини, но ты действительно хорошо себя чувствуешь?

— Никогда не чувствовала себя лучше, — ответила Джиллиан, и это было спра-

ведливо во многих смыслах. Однако она понимала, что именно должна ответить, и добавила: — Нет, я действительно чувствую себя прекрасно, во всяком случае, куда более живой, чем когда-либо прежде. Но недавно у меня было предчувствие собственной судьбы... собственной смерти... она ждала меня и просто решила наконец проявить себя и напомнить мне, что она здесь. Это вовсе не борьба. Я и не собираюсь бороться с ней и побеждать. Да и она появляется лишь на мгновенье и снова уходит и отпускает меня. Чем более живой я себя чувствую, тем более неожиданны ее приходы.

— Может быть, тебе стоит посоветоваться с врачом?

— Когда я так *хорошо себя чувствую*, Орхан?

— Что ж, если так, я очень рад, — смирился Орхан.

Самолет тем временем приземлился в Стамбуле, и пассажиры вежливо и негромко, но радостно аплодировали — возможно, благодарили пилота за его мастерство, а может быть, просто были счастливы, что в очередной раз благополучно избежали удара судьбы.

В Стамбуле Орхан Рифат, человек, очень счастливый в браке, вернулся к своей семье, а Джиллиан Перхольт на несколько дней поселилась в отеле «Пери палас». Это был не знаменитый «Перу палас» в старой европейской части города, по ту сторону Золотого Рога, а один из новых отелей, которые Джиллиан Перхольт нравились гораздо больше, ибо там было все: огромные жесткие кровати, элегантно оформленные зеркалами ванные комнаты, лифты и плавательные бассейны, отделанные с непременным местным колоритом, выложенные мозаикой фонтаны, турецкий кафель с гвоздиками и васильками в ванных комнатах, ковры, обильно расшитые шелковыми цветами, в небольших уютных гостиных и кабинетах. Здание отеля «Пери палас» скрывало целый улей внутренних двориков, поднимающихся один над другим балконов с шелковыми прозрачными бело-золотистыми занавесями за функционально-современными двойными стеклами балконных дверей. Джиллиан довольно поздно обнаружила в себе страсть к плаванию. Полеты разрушают человеческое тело — может быть, особенно тело уже не очень молодой женщины; за время полета живот надувается, суставы опухают как подушки, колени напоминают пуфики, даже пальцы на ногах и руках распухают и начинают блестеть. Джиллиан давно уже усвоила, что нельзя смотреться в зеркало сразу после аэропорта, ибо оттуда на тебя глянет мясистое опухшее чудовище. Нет, она приучила себя спешить в бассейн, даже если в данный момент ей совершенно не хотелось заниматься никакими физическими упражнениями. Ибо тело, которое в воздухе как бы надувается, распухает, в воде становится невесомым, вода мягко оглаживает его, делая полученный ущерб почти невидимым и неощутимым. В день приезда Джиллиан бассейн в «Пери палас» был совершенно безлюден. Он оказался очень мил, хотя и невелик. Собственно, это был большой резервуар в подвальном этаже, выложенный темно-зеленым, изумрудного оттенка кафелем и подсвеченный изнутри светильниками с золотистыми ободками; стены самого помещения, напоминавшего таинственную пещеру, были отделаны плиткой голубого и зеленого цвета с хризантемами и красными гвоздиками, а по краям выложены золотистой мозаикой, посверкивающей и переливающейся в неярком свете светильников. О, какое блаженство, сказала Джиллиан, вытягивая утомленное тело в зеленой мерцающей воде и чувствуя, как оно становится невесомым, как кровь и нервы начинают источать чистую энергию, и поплыла, поднимая рябь, словно змея. Легкие волны, созданные ее собственным движением, шлепали по подбородку; в этой таинственной пещере уши наполнял тихий невнятный шепот и плеск воды; широко раскрытые глаза видели вокруг лишь зелень воды и вплетенные в нее золотые волнистые нити света. Джиллиан ныряла, переворачивалась в воде, сверкая коленями, била по воде кулаками, потом наконец легла на спину, и волосы ее вольготно, веером раскинулись на прозрачных извивах волн. Нервы, превратившиеся в болезненный узел, расслабились; сердце и легкие успокоились и заработали как надо; тело ожило и наполнилось счастьем.

Когда Орхан повез Джиллиан в султанский дворец Топкапи, тело ее еще ощущало блаженство после купанья, кожа еще помнила прохладу воды, когда они с Орханом смотрели из окна верхнего этажа на огромный темный бассейн под кедрами, где когда-то плескались и резвились женщины из гарема. Там, в гареме, находилась и купальня самого султана, но только в совершенно отдельном помещении с резными стенами, заключенном в другое такое же помещение и еще в третье, — все это вместе напоминало резные шкатулки, вставленные одна в другую. Купальня султана размещалась в покоях его матери, Валид-султанши, где множество верных глаз охраняло его обнаженное тело от ножей убийц. И, как и в Эфесе, Джиллиан Перхольт вдруг

захлестнули страсти героев реальных историй, разворачивавшихся здесь. В этих резных клетках сыновья султанов ждали, когда придут евнухи с шелковыми шнурками и положат конец их жизни, освобождая трон для единственного Избранного. Здесь интриганок или просто неугодных женщин, изловив, завязывали в мешки и топили; здесь по прихоти абсолютного правителя рубили головы пленникам или проштрафившимся слугам. Как они здесь жили — в таком страхе? И она сказала Орхану:

— Все именно так, как ты говорил. Как в твоем докладе о Шахрияре и моем — о Вальтере. Вероятно, некоторым людям доставляло невыразимое удовольствие быть вершителями судеб других людей. Возможно, это давало им иллюзию, что они хозяева и собственной судьбы тоже...

— Возможно, — сказал Орхан. — Возможно, впрочем, что жизнь значила для них куда меньше, чем для нас. Их собственная жизнь или чья-то чужая.

— Ты действительно так считаешь?

— Не совсем,— сказал Орхан, рассматривая сверху пустой лабиринт потайных комнат и укромных убежищ. — Нет, не совсем. Нам просто нравится так говорить. Они верили в загробную жизнь, вот в чем дело. Этого мы даже вообразить не можем.

Тем не менее, показывая ей Стамбул, Орхан стал в значительно большей степени турком. Перед огромным золотым троном Мурада III[1], украшенным изумрудами и золотисто-белыми шелками, он сказал:

— Мы были кочевым народом. Мы пришли через степи из Монголии и Китая. Наши троны — это сокровища, которые можно было унести с собой; наши тронные залы напоминают кочевые шатры; все свое мастерство мы вкладываем в изготовление маленьких шедевров — кинжалов, чаш, кубков. — И она припомнила, как ритмично звучал его голос, когда он читал поэму о плакучей иве.

В Айя-Софии[2] Джиллиан, похоже, в третий раз встретилась со своей судьбой. Айя-София неизменно смущает душу своей пустотой, гулким эхом, гигантским куполом и архитектурной неточностью, неопределенностью, несмотря на весь свой впечатляющий вид. Это одновременно и христианская церковь, и мечеть, и современный музей; там есть минареты, и призрачные следы почти полностью уничтоженных золотистых мозаик византийских императоров, и Дева Мария с младенцем. Император Юстиниан вел строительство весьма эклектично, взяв колонны и орнаменты из храмов Греции и Египта, а также из храма Великой матери богов в Эфесе. Здесь действительно можно было ощутить — Джиллиан заранее предвкушала это — встречу культур Востока и Запада, христианской церкви и ислама, но сейчас почему-то такого ощущения не возникало. Скорее возникало ощущение пустого, даже опустошенного амбара, территории, истерзанной сражениями, грабежами и религиозным фанатизмом. Если там что-то и было когда-то, все давным-давно исчезло, улетучилось, думала Джиллиан, и Орхан, по всей видимости, тоже не испытывал особых чувств; напротив, он, вернув свое европейское академическое «я», разъяснял ей значение мозаик и попутно излагал свои новые соображения относительно абсурдности теорий Маркузе[3], на которых все были помешаны в шестидесятых годах, когда они оба только еще начали преподавать.

— Здесь есть одна любопытная колонна, — рассеянно сказал вдруг Орхан, — в ней, по-моему, такое отверстие... и люди там загадывают желания... может, и тебе захочется на нее посмотреть — если только я сумею ее отыскать... Камень этой колонны истерт до дыр от бесконечных прикосновений, я забыл, какие именно желания она выполняет, но тебе, возможно, будет интересно взглянуть.

— Ничего, это не важно, — сказала Джиллиан.

— Волшебную колонну укутали бронзовой сеткой, чтобы защитить ее от людей, — не слыша, продолжал Орхан. — Но пилигримы сетку практически стерли в порошок, могла ли им помешать какая-то сетка! Они прямо-таки вгрызались в эту колонну. Да где же она, в конце концов? Должен же я найти ее! Ты знаешь, она словно тает постепенно от капель их неиссякающей веры — мне это кажется довольно любопытным... вот хорошо бы еще вспомнить, какие именно желания она исполняет...

Когда они подошли к знаменитой колонне, ее уже облепила целая семья из Па-

[1] Мурад III— турецкий султан, правил в 1574—1595 гг.

[2] Айя-София — храм Святой Софии в Стамбуле, наиболее значительный памятник византийского зодчества. Сооружен в 532—537гг. Анфилием из Тралл и Исидором из Милета.

[3] Герберт Маркузе (1898 — 1979) — немецко-американский философ и социолог. С 1934 г. жил в США. В 60-х годах выдвинул идею о том, что рабочий класс якобы утратил революционную роль, которая перешла к «аутсайдерам» и радикальным слоям студенчества и интеллигенции. Теории Маркузе во многом определили идеологию левоэкстремистских движений на Западе.

кистана: сам отец семейства, его супруга и две их дочери; женщины были в богатых, красивых сари — одна в розовом с золотом, другая в сари цвета павлиньего пера с огненными разводами, третья в синем с серебром. Они уже давно отыскали ее — колонну с волшебной дырой и остатками бронзовой сетки, — и женщины без конца поглаживали ее, засовывали руки в дыру, вытаскивали их обратно, все время что-то кротко щебеча, точно птички. Отец семейства, весьма величественный в своем черном костюме, подошел к Орхану и спросил, говорит ли тот по-английски. Орхан ответил утвердительно, и пакистанец попросил его перевести из французско-турецкого путеводителя описание этой колонны.

Тем временем три женщины в шуршащих скользких шелках со смехом обернулись к Джиллиан Перхольт, протянули ей три нежные руки с золотыми браслетами на запястьях и повлекли ее — кто за рукав, кто за руку — к волшебной колонне. Они поглаживали доктора Перхольт по плечам, они обнимали и подталкивали ее, все время улыбаясь и смеясь, а потом сжали ее руку сильными гибкими пальцами и сунули в темную дыру, жестами показывая ей, что она должна сделать — повернуть руку, касаясь внутренней кромки, кругом, кругом, кругом, три раза. Она инстинктивно попыталась вырвать руку и отпрянула назад, испытывая чисто английский страх гигиенического свойства, во-первых, из-за чьих-то бесконечных прикосновений к этим мокрым камням, а во-вторых, и этот страх был куда примитивнее, из-за того, что там, внутри, в темноте была какая-то жидкость, холодная и отвратительная. Но женщины настаивали; они оказались на удивление сильными и руку ее не выпускали. Доктор Перхольт от страха вся покрылась гусиной кожей, и женщины снова засмеялись, а Орхан в это время пересказывал по-английски историю этой колонны пакистанцу в черном костюме. Очевидно, сказал он, ее касался Святой Григорий Чудотворец и вложил в нее свою силу. Считается, что вода внутри колонны исцеляет болезни глаз и бесплодие, а также весьма повышает женскую фертильность. Женщины засмеялись еще громче, обступив со всех сторон доктора Перхольт. Отец семейства между тем рассказывал Орхану о своих путешествиях по мусульманским святым местам. Он бывал в дальних краях и видел многое. Наверное, сказал он, и Орхан совершал подобные паломничества? Орхан сдержанно кивнул; он был заинтересован и хотел дослушать до конца. Запад — это зло, сообщил сей респектабельный господин в черном европейском костюме. Зло, разложение и постепенное соскальзывание во мрак. Однако силы правоверных крепнут. Грядет джихад. И тогда истинная вера поднимет свой очищающий меч и уничтожит всю грязь и мерзость загнивающего Запада, и на его поверженных останках расцветет вера в Аллаха; это не только вполне возможно; это уже происходит. Семена посеяны, искры священного костра взвились в воздух, и взойдет урожай копий, и огонь попиршествует всласть. И он продолжал вещать, этот paterfamilias, стоя посреди Айя-Софии, чьи камни уже не раз заливала кровь, чьи похожие на пещеры боковые приделы не раз были доверху забиты трупами и чей дух был теперь мертв, как то чувствовала Джиллиан Перхольт. Но может быть, чувствовала только потому, что не могла ощутить в этом храме его новую душу, которая, видимо, и говорила теперь с пакистанской семьей и, вещая их устами, наполнила ее, Джиллиан, таким страхом? Орхан, она это отлично видела, в общем-то продолжал развлекаться. Он поддерживал разговор мрачноватыми кивками и ничего не значащими замечаниями вроде: «Так вы действительно видели знамение, хм?», но не сделал ни единой попытки как-то переменить мнение собеседника на свой счет; пакистанец явно был уверен, что Орхан тоже правоверный и оба они находятся в мечети.

Его семья ездит с ним повсюду, сообщил этот пилигрим. Им нравится бывать в новых местах. А она — он показал на Джиллиан — говорит по-английски?

Было совершенно ясно, что Джиллиан приняли за тихую мусульманскую жену. Она стояла в двух шагах позади Орхана, когда он обернулся к магической колонне. Орхан сурово ответил:

— Она сама англичанка. Известный профессор. Приехала сюда с лекциями.

Орхан, дитя новой эпохи, дитя Ататюрка[1], развлекался. Ататюрк освободил турецких женщин. Эмансипированные Лейла Серин и Лейла Дорук тоже были детьми Ататюрка, сильными и свободными личностями, умными и думающими преподавателями. Орхан обожал драму и потому только что спровоцировал этот прелестный небольшой разоблачительный конфликт. Зато джентльмен из Пакистана ни малейшего восторга не испытывал. Они с Джиллиан посмотрели друг на друга; как подумалось ей, он вспоминал сейчас то, что говорил несколько минут назад насчет Лондона, источника мерзости и разложения, и насчет Содружества, «разлагающегося трупа, который вот-вот рассыплется в прах». Она не могла заставить себя поднять на него глаза; она действительно была англичанкой, и ей было за него неловко. Он тоже не мог посмотреть ей в глаза. Она была женщиной и вообще не должна была бы нахо-

[1] Ататюрк (*букв*: «отец турок») Мустафа Кемаль (1881—1938) — руководитель национально-освободительной революции в Турции 1918—1923гг. Первый президент (1923 — 1938) Турецкой Республики.

диться здесь — тем более с мужчиной, который не был ее мужем, — в этой мечети, правда одновременно оказавшейся и музеем. Он собрал свою стаю; женщины по-прежнему улыбались Джиллиан и пожимали ей руки на прощанье своими прекрасными пальцами.

— Грхм, — откашлялся Орхан. — Стамбул — действительно место встречи многих культур. Тебе не понравилась эта колонна, Джиллиан? У тебя было очень смешное лицо — этакой брезгливой английской леди.

— Мне не понравилась Айя-София, — сказала Джиллиан. — Я этого никак не ожидала. Мне очень нравится сама идея — София, Мудрость, мне нравится, что София мудрая, что она женщина, и я надеялась почувствовать здесь... что-то такое... в ее храме... А здесь какая-то сырая дыра, которая якобы исполняет желания и способствует рождению детей! И по-моему, эта колонна из храма Артемиды.

— Ну, наверно, все-таки не прямо оттуда, — сказал Орхан.

— Если бы я была сторонницей постмодернизма, — сказала Джиллиан, — я бы непременно что-нибудь такое придумала с этим храмом. Айя-София давно состарилась, превратилась в мерзкую каргу из волшебной сказки. Но я ничего не могу придумать, потому что слишком уважаю этимологию, это для меня святыня. А карга — это просто мое любимое словечко, северное, и оно не имеет к этим местам никакого отношения.

— Однако же ты его произнесла, — сказал Орхан. — Даже если теперь станешь от него отрекаться. Многие мои американские студенты тоже так думают, когда приходят сюда. Карга — это карга. Но они прямо-таки в восторг приходят от уродливых старух.

— А я нет, — сказала Джиллиан.

— А ты нет, — подтвердил Орхан, не сообщив, однако, что думает сам о старых каргах и всяких уродливых старухах. — Давай-ка мы теперь отправимся на базар. Покупки благотворно действуют на души западных женщин. И восточных тоже. Да и мужчины, надо сказать, очень любят делать покупки.

И действительно, Гранд базар был куда оживленнее и ярче, чем просторная, похожая на пещеру Айя-София. В его сводчатых галереях расположилось множество настоящих «пещер Аладдина», полных волшебных ламп и ковров, серебра и бронзы, золота и керамики, а также мозаичной плитки. Тут и там в магазинчике сидел в кресле у прилавка хозяин, окруженный покачивающимися лампами или смесителями для ванны; или же хозяин лавки усаживался по-турецки на груде ковров и под сенью ковров. Хозяева, зачастую бывшие студенты Орхана, приносили чашечки с турецким кофе, а для Джиллиан — стакан с розовым чаем, похожий на цветок тюльпана, и с удовольствием демонстрировали свои сокровища. Продавец ковров, защитивший докторскую диссертацию о «Тристраме Шенди»[1], теперь регулярно совершал поездки в Ирак, Иран и Афганистан и привозил оттуда замечательные ковры, путешествуя то на спине верблюда, то в военном джипе по горным дорогам. Он показывал Джиллиан kilims[2], модные в этом году скромные ковры естественных тонов и бледные, в стиле 30-х годов, цвета нильской воды или розового дерева с печальным, невыразительным серым рисунком. «Нет, — сказала Джиллиан, — нет, мне нужно пиршество красок, яркие, густые синие тона, алые и красно-фиолетовые, золотые и ржавые — тона старых ковров с их кремовыми цветами, с их деревьями, полными загадочных птиц и плодов». «До чего же этот Запад переменчив в своих вкусах, — сказал Булент, продавец ковров. — В этом году они требуют блеклые, безжизненные тона, и женщины в Индии и Иране покупают шерсть и шелк, а на следующий год, когда ковры готовы, европейцам нужно уже что-то другое — черное, пурпурное, оранжевое, и эти женщины разорены, у них никакого дохода, груды ковров лежат кругом и попросту пропадают. По-моему, вам должен понравиться вот этот ковер, — и Булент налил ей кофе. — Это свадебный ковер, ковер-приданое, он обычно висит на стене в шатре кочевников. Вот древо жизни, алое и черное на фоне полуночного синего неба. Этот вам определенно понравится». «О да», — сказала Джиллиан, представляя темный силуэт древа жизни на фоне бело-желтых стен ее комнаты на Примроуз-хилл, видя весь этот ковер в том доме, который теперь принадлежал ей одной. Кем бы она ни была, но прежде всего она была женщиной, и ее огромное желание во что бы то ни стало заполучить ковер пробудило в ней гордость и утонченное коварство. «Я не умею торговаться, — сказала Джиллиан Орхану, — я ведь англичанка». «Ты бы весьма подивилась, — ответил ей Орхан, — увидев, как некоторые из англичан владеют этим искусством. Но Булент — мой ученик, и он недорого с тебя запросит, причем исключитель-

[1] «Тристрам Шенди» («Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена») — роман Лоренса Стерна (1713 — 1768), английского священника и писателя, зачинателя литературы сентиментализма.

[2] Ковры с коротким ворсом, паласы (*перс.*).

но из любви к «Тристраму Шенди». И Джиллиан вдруг стало совсем хорошо, жизнь снова забила в ней ключом, душа ее запела от радости — здесь, далеко от той колонны с ее полной влаги дырой и от того храма, похожего на мрачную старую каргу, ибо теперь она спряталась в настоящей пещере Аладдина среди волшебных ковров, среди очаровательных вещиц, среди шедевров, созданных руками человеческими, рядом со свадебным ковром, принадлежавшим неизвестной женщине, среди сентиментальных и монументальных фантазий Стерна на тему жизни до рождения, среди чашечек с замечательным черно-коричневым кофе, который наливают из блестящего медного кофейника, невероятно вкусным и почти — но не совсем! — непереносимо крепким и сладким.

Другой бывший студент Орхана владел небольшим магазинчиком на центральной площади базарного лабиринта. В этом магазине неширокие простенки были сверху донизу увешаны горшками, сковородками, лампами, бутылками, изделиями из кожи, старыми деталями непонятного предназначения; там было полным-полно украшенных самоцветами кинжалов и охотничьих ножей, кукол из верблюжьей шкуры для театра теней, флаконов для духов и щипцов для завивки волос.

— Я хочу сделать тебе подарок, — сказал Орхан. — На прощанье.

(На следующий день он должен был лететь в Техас, точнее, в Даллас на коллоквиум фольклористов, изучающих семейные саги. Джиллиан предстояло выступать в Британском Совете, так что она еще на три дня задерживалась в Стамбуле.)

— Я подарю тебе вот этих куколок для театра теней. Вот Карагёз и Хадживат, а вот волшебная птица Симург, а вот женщина, бывшая возлюбленной дракона, — она, наверное, была из джиннов, вон у нее на плече сидит маленький крылатый демон, — тебе она, по-моему, понравится.

Фигурки были тщательно завернуты в алую ткань. Пока это совершалось, Джиллиан вертелась туда-сюда на скамейке и обнаружила одну очень пыльную бутылку в груде других старых и новых, еще явно неразобранных вещей. Это была фляжка с высоким горлом; она отлично укладывалась в ладони и была заткнута стеклянной пробкой в виде миниатюрного купола. Бутылка была темного стекла с рисунком — извивами белых полосок, опоясывавших ее. Джиллиан собирала стеклянные пресс-папье; ей вообще очень нравилось стекло, ее привлекала парадоксальность его природы — оно было прозрачное как вода, тяжелое как камень, невидимое как воздух и плотное как земля. И создавалось оно силой человеческого дыхания над горном, полным огня. Ребенком она любила читать о волшебных хрустальных шарах, в которые заключены замки и снежные бури, но в реальной действительности такие шарики всегда ее разочаровывали, а впоследствии она переключилась на стеклянные пресс-папье, внутри которых фантастические, волшебные цветы и орнаменты геометрически правильных форм сияли вечно, причем их можно было заставить то расширяться, то сжиматься, если такой стеклянный шар или пресс-папье другой формы поворачивать в солнечных лучах. Она привозила пресс-папье из каждого своего путешествия, если удавалось найти что-то сто́ящее, и в Турции она уже успела купить одно — стеклянный конус, похожий на шляпу ведьмы и даже шершавый на ощупь, зеленоватый и прозрачный, точно лед, с концентрическими кругами на дне, голубыми, желтыми, белыми, синими, напоминавшими радужку волшебного ока, способного отогнать чужой сглаз.

— Что это? — спросила она бывшего студента Орхана, которого звали Фейяз.

Он взял бутылку у нее из рук и потер пальцем.

— Я вообще-то не специалист по стеклу, — сказал он. — Это, возможно, çesm-i bülbül, «соловьиный глаз». А может быть, просто венецианское стекло относительно недавнего производства. Была здесь в Инчиркейе одна знаменитая мастерская году так в тысяча восемьсот сорок пятом, по-моему, и там делали это турецкое стекло «соловьиный глаз»; у него как раз такой вот спиралевидный рисунок из неярких голубых и белых полосок или еще иногда красных, по-моему. Я не знаю, почему оно называется «соловьиный глаз». Возможно, у соловьев такие глаза — прозрачные и неяркие. У нас все просто помешаны на соловьях. Наша поэзия полным-полна соловьев.

— Когда природа у нас еще не стала «окружающей средой»,— сказал Орхан, — когда телевизоры были еще далеко не у всех, люди весенним вечерком выходили на улицу, чтобы прогуляться вдоль берега Босфора: там из каждого сада доносилось пение соловьев. Это было так прекрасно! Как для японцев — их сакура в цвету. Весь город молча и неспешно прогуливается и слушает соловьев.

Фейяз тут же прочитал какое-то стихотворение на турецком, и Орхан перевел:

В лесах, что вечера полны, умолкли соловьи;
Река пьет небо, и ручьи в нее вливают свою влагу,

Но птицы вновь уже летят на синие брега из тени леса,
У каждой солнца бусина зажата в клюве, сияя алым.

— Я должна ее иметь, — твердо сказала Джиллиан. — Название не очень к ней подходит, но и то, и другое мне очень нравится. Вот только если это «соловьиный глаз», то, наверное, она очень дорогая...

— А может быть, и нет, — сказал Фейяз. — Может быть, это как раз венецианское стекло и недавнего производства. Наши стеклодувы часто ездили в Венецию учиться, еще в восемнадцатом веке, а потом венецианцы помогли нам развить собственную технику. Я продам вам эту фляжку как венецианское стекло, раз она вам так нравится, и вы легко сможете вообразить, будто перед вами действительно настоящий «соловьиный глаз». А может быть, так потом и окажется, или так оно и есть. Вот.

— У Фейяза докторская диссертация о Йейтсе и Византии, — сказал Орхан.

Джиллиан попробовала повернуть пробку, но та не поворачивалась, и она побоялась сломать ее. Итак, бутылка из «соловьиного глаза» тоже была упакована в алую ткань, и было выпито еще немало розового чая, и наконец Джиллиан вернулась в свой отель. В тот вечер в доме Орхана состоялся еще прощальный обед с музыкой, ракией и щедрым прекрасным угощением. А на следующий день Джиллиан сидела одна в своем номере, в отеле «Пери палас».

В тишине отелей время проходит по-другому. Мысли текут широко, но лениво, а тело, напротив, как бы уменьшается в размерах, заключенное в сверкающую коробку роскошного номера. Кто-то здесь может думать о чем угодно, а другой способен долгое время совсем ни о чем не думать. Джиллиан в отелях чаще всего развлекалась переключением с одного телевизионного канала на другой. Она валялась среди алых и кремовых роз на огромной кровати и властно тыкала переключателем дистанционного управления с яркими кнопочками в экран. На экране вспыхивала, мерцала, танцевала призрачная жизнь; Джиллиан могла заставить телевизор наполнить комнату громкими звуками, ревом транспорта, пением скрипок, голосами, предрекающими войну, и сладкоголосыми обещаниями вкуснейшего в мире йогурта, «Оранжины», тутти-фрутти, «Марса» и прочих лакомств. Или же она могла превратить экран — это она любила больше всего — в настоящий театр теней. Рональд Рейган, улыбающийся и активно двигающий ртом, казался стеклянным в стеклянной коробке между двумя прозрачными, бесшумными крыльями своей речи; самолет падал, объятый пламенем, на склон горы — действительность или трюк? Священник сидел за рулем гоночного автомобиля, на дикой скорости огибающего скалу, — это рассказ о чем-то или просто реклама? Турки в поле обсуждали зрелость и сочность помидоров, потом появлялись какие-то новые сельскохозяйственные машины, потом снова поле, уже хлебное, потом горы, потом люди падали из небоскребов, а какая-то гурия лизала язычком некое сказочное блюдо из малины и сладострастно вздыхала. Немыслимых размеров муха цеце энергично прокалывала шкуру коровы во весь экран. Джипы, полные грязных солдат в шлемах, с автоматами, неслись по пыльным улицам — это правда или выдумка? Или это спектакль? Теннис...

Теннис из Франции, с кортов, похожих на красные пустыни; теннис из Монте-Карло, где сейчас жаркий солнечный полдень (в Стамбуле он миновал уже два часа назад); теннис мужской, да к тому же прямая трансляция, да еще на том канале, где никогда ничего не происходило, кроме бесконечных демонстраций человеческого тела (живого, разумеется), распластанного, усталого, или торжествующего, или поверженного — как бы в одном скучно-бесконечном, но прекрасно иллюстрированном повествовании. Доктор Перхольт часто говорила в своих докладах по фольклористике, что тот, кто изобрел правила и систему счета в теннисе, был абсолютным гением повествовательного жанра, сравнимым разве только с древними сказителями, которые определили, что животных-помощников должно быть три, и придумали наказания для тех, кто осмеливался нарушить запреты. Ибо, чем ровнее идет игра, говорила доктор Перхольт, тем труднее при такой системе кому-то из игроков победить. При равном счете, шесть-шесть, ставки растут, и уже не одно очко нужно для достижения победы, а два, не одна, а две игры; таким образом обеспечивается максимальное напряжение, и зрители получают максимальное удовольствие. Теннис в этой стеклянной шкатулке она особенно любила, как любила в детстве сказки на сон грядущий. Она восхищалась мастерством операторов: промелькнувшее в кадре мокрое от пота лицо в момент сильнейшего напряжения, почти балетный, невероятно точный поворот ног, медленный ленивый повтор кадра, где игрок совершает разрывающую легкие пробежку, но показан так, будто в данный момент он парит над площадкой подобно листу, который медленно-медленно, кружась в воздухе, падает на землю с дерева, — так мастера-операторы заставляют тяжелых мускулистых мужчин в раздувающих-

ся рубашках на мгновение повисать в воздухе, плыть вольготно. Она так сильно полюбила теннис лишь тогда, когда, к сожалению, ей уже поздно было играть самой и когда единственно возможной для нее осталась роль зрительницы. Она испытывала наслаждение при виде геометрически точных линий на корте, тех белых линий, что обозначали преграды и ограничения для игрока, его надежду и отчаяние; при виде золотистого шарика мяча, взлетающей из-под ног красной пыли, плетеных квадратов натянутой сетки... У нее были свои причуды — этакий повествовательный снобизм: прямая трансляция всегда была для нее более привлекательна, чем запись, даже если она не могла сразу отличить первую от последней. Ведь при записи кто-то где-то уже *знал* имя победителя, и напряжение, таким образом, значительно снижалось, а замечательная волшебная непредсказуемость концовки — любая история прекраснее всего, когда приближается к счастливому, удовлетворяющему всех концу, но еще не все расставила по своим местам, — просто исчезала, превращаясь в обман. Ибо при прямой трансляции могло произойти что угодно — на поле могла, например, опуститься тьма кромешная, или же земля могла разверзнуться под игроками. Живой эфир — это живой эфир, прямая трансляция матча — это история, движущаяся к концу, который еще не наступил, но обязательно, *почти наверняка* наступит. Именно в этом-то «почти» и заключалась вся прелесть.

Прямая трансляция матча (Беккер — Леконт) была обещана через час. Джиллиан рассудила, что у нее вполне хватит времени принять душ — хороший горячий душ; а потом она будет сидеть, не спеша сушить волосы и смотреть, как бегают по корту двое мужчин. Так что она включила душ, массивный, бронзовый, отгороженный стеклянным экраном в углу ванной комнаты, — собственно, это была целая стеклянная кабинка, на стенках которой радовали глаз вьющиеся розы и прелестные маленькие птички, сидевшие между шипами на могучих стеблях. Стеклянная коробка душа была заключена в красивую бронзовую раму. Вода показалась Джиллиан чуть мутноватой и тоже отливающей бронзой, однако была горячей, и Джиллиан с наслаждением подставляла тело ее струям, намыливала груди, мыла шампунем волосы и с огорчением поглядывала вниз, хотя туда лучше бы не смотреть вовсе: складки под грудью и на боках, обвисшие мышцы живота... Она вспомнила, потянувшись за полотенцем, как всего каких-то лет десять назад с удовлетворением смотрела на свою шею, на крепкие, полные груди и тогда еще, помнится, сочла, что тело у нее сохранилось очень хорошо, что оно почти безупречно. Она тогда все пыталась представить себе, как ее красивая, гладкая, эластичная кожа неизбежно сморщится и обвиснет, но была не в состоянии представить это. Ее кожа выглядела молодой, и сама она чувствовала себя молодой и не видела никакой причины им — ей и ее коже — стареть. Умом она, конечно, понимала, что кожа ее должна рано или поздно сдаться, уступить возрасту, но видела ее молодой, такой живой и прелестной, — и лгала самой себе. И вот теперь все это началось: на веках образовались мягкие маленькие складочки, края губ опустились, возле них появились морщинки, и помада растекалась по этим морщинкам тоненькими лучиками.

Джиллиан, не одеваясь, двинулась к зеркалу. Зеркало, висевшее в ванной комнате номера 49 отеля «Пери палас», запотело, и сквозь клубы пара Джиллиан увидела, как из зеркала к ней приближается ее смерть — волосы струятся черными жидкими прядями, тьма глазниц исходит дымом, рот на меняющем свои очертания каком-то полужидком лице приоткрыт как бы в страхе, что они сейчас сольются в одно. Джиллиан печально уронила голову, отвернулась от своего двойника и взяла висевший рядом в пластиковом пакете купальный халат. Там же лежали и белые купальные тапочки, и на них золотыми буквами было написано «Пери палас». Она сделала себе огромный тюрбан из полотенца и, упакованная столь основательно, вдруг вспомнила о бутылочке из стекла «соловьиный глаз» и решила сунуть ее под кран, чтобы оживить стекло. Она развернула сосуд — он действительно был чрезвычайно грязен, прямо-таки заляпан глиной, — отнесла его в ванную комнату, включила смеситель в раковине, сделав воду теплой, почти прохладной, и подставила бутылку под струю, постоянно поворачивая. Стекло вскоре стало синим, пронизанным неяркими белыми полосками, — кобальтово-синим, темным и ярким одновременно, сверкающим, восхитительным. Она все переворачивала фляжку под струйками воды, оттирая упрямые пятна грязи пальцами, как вдруг сосуд шевельнулся у нее в руках — словно лягушка, словно все еще бьющееся сердце в руках хирурга. Она вцепилась в него, сжала всеми пальцами и застыла; ее собственное сердце яростно и стремительно забилось от страшных предчувствий — ей уже виделись рассыпанные повсюду синие осколки. Но ничего страшного не произошло, лишь пробка вдруг вылетела из горлышка фляжки и упала со слабым стеклянным звоном в раковину, но не разбилась. А из бутылочки, которую она по-прежнему сжимала в руках, появилось нечто вроде

роя пчел — какая-то неясная масса, пар или туман, некое быстро движущееся темное пятно, и движение его сопровождалось высоким жужжащим звуком или свистом. В воздухе запахло древесным дымом, корицей, серой и еще чем-то, может быть, ладаном — и почему-то кожей. Темное облако собралось, развернулось и огромной запятой вылетело из ванной. «Ну вот, у меня уже видения начинаются», — подумала доктор Перхольт, направившись следом за облаком и обнаружив, что следовать за ним она не может: дверь ванной оказалась подперта чем-то снаружи, и это «что-то», как она медленно осознала, было человеческой ступней невероятного размера, с пятью пальцами, равными примерно ее росту и украшенными шипастыми ногтями. Кожа на ступне была оливкового цвета и как бы позолоченная, похожая на змеиную, но не чешуйчатая, а скорее бронированная. Она выглядела твердой и в то же время отчасти прозрачной. Джиллиан протянула руку. Ступню вполне можно было пощупать; она оказалась очень горячей — не как раскаленные угли, но все же значительно горячее, чем та вода, в которой Джиллиан мыла бутылку. Кожа была сухой и словно наэлектризованной. Возле сустава билась жилка — зеленовато-золотистая трубка, в которой виднелась почти изумрудного цвета жидкость.

Джиллиан стояла, уставившись на ступню. Никакое существо, если оно пропорционально этой ступне, не может уместиться в ее номере. Да и где же остальное тело? Стоило ей подумать об этом, как она услыхала звуки, вроде бы членораздельную речь; причем голос, произносивший слова, был низким, хрипловатым, однако довольно музыкальным и внятным. Природу языка она определить не смогла. Джиллиан сунула пробку в горлышко фляжки, крепко сжала сосуд в руке и стала ждать.

Ступня начала менять форму. Сперва она еще больше распухла, а потом немного уменьшилась, и теперь Джиллиан смогла бы проскользнуть в дверь с нею рядом, однако она решила, что это было бы слишком большим безрассудством, и пробовать пока не стала. Вскоре ступня достигла размеров большого кресла и немного втянулась в комнату, продолжая уменьшаться; Джиллиан поняла, что может выйти из ванной. Странный голос все время продолжал что-то бормотать на своем непонятном языке. Войдя в комнату, Джиллиан увидела джинна, занимавшего примерно половину помещения и изогнувшегося словно змея; его огромная голова и плечи упирались в потолок, руки — в две противоположные стены, а ноги и тело, заняв всю ее постель, сползали на пол. Он даже был одет — в нечто вроде зеленой шелковой туники, не слишком чистой и недостаточно длинной, потому что ей были видны все его мужские прелести, грудой лежавшие на ее расшитом розами покрывале. За спиной у него шевелился ворох каких-то разноцветных перьев — перьев павлинов, попугаев и райских птиц, — которые, как оказалось впоследствии, были частью его плаща, а плащ — частью самого джинна, но в то же время не его крыльями, которые должны по правилам расти от лопаток или хотя бы от позвоночника. Джиллиан наконец определила последний ингредиент его сложного запаха — когда джинн шевельнулся, чтобы посмотреть на нее. Это был запах мужчины, резкий запах самца, от которого у нее поползли мурашки по всему телу.

Лицо у джинна было огромным, овальной формы и совершенно лишенным растительности. Из-под тяжелых морщинистых мутно-зеленых век поблескивали яркие глаза цвета морской воды с малахитовыми вкраплениями. У него были высокие скулы, крючковатый нос и большой рот, широко растянутый и по форме напоминающий рты египетских фараонов.

В одной из своих немыслимых ручищ он держал телевизор, на жемчужном экране которого в красной пыли площадки Борис Беккер и Анри Леконт бросались к сетке, отскакивали назад, танцевали, ныряли. Можно было расслышать удары по мячу, и джинн приложил телевизор к одному огромному, однако весьма изящных очертаний уху, чтобы послушать.

Потом он обратился к Джиллиан. Та сказала:

— Не думаю, чтобы вы говорили по-английски.

Он снова повторил ту же самую фразу. Джиллиан спросила:

— Французский? Немецкий? Испанский? Португальский? — Она колебалась. Она не могла вспомнить, как по-латыни будет «латынь», и уж совсем не была уверена, что сможет вести на латыни какой-то разговор. — Латынь? — наконец выговорила она.

— Je scais le français, — сказал джинн. — Italiano anche. Era in Venezia[1].

— Je prefere le français[2], — сказала Джиллиан. — Я гораздо лучше говорю на этом языке.

— Хорошо, — сказал Джинн по-французски. И прибавил: — Я могу быстро научиться, какой у тебя язык?

— Anglais[3].

---

[1] Я говорю по-французски (*франц*). По-итальянски тоже. Бывал в Венеции (*итал.*).
[2] Я предпочитаю французский (*франц*).
[3] Английский (*франц.*).

— Пожалуй, надо еще уменьшиться, — сказал джинн, переворачиваясь на другой бок. — Приятно было снова стать большим и потянуться. Я пробыл внутри этого сосуда с 1850 года по вашему летоисчислению.

— Похоже, вам здесь очень тесно, — сказала Джиллиан, подыскивая французские слова.

Джинн внимательно следил за теннисистами.

— Все относительно. Эти люди, например, исключительно малы. Я тоже несколько уменьшусь.

И он уменьшился, но не весь сразу: сперва его новое тело, теперь почти таких же размеров, как у нормального человека, практически скрылось за грудой гениталий, которые, правда, он потом тоже сильно уменьшил и даже немного прикрыл, однако все равно это было почти хвастовством и каким-то эксгибиционизмом. Теперь джинн уютно свернулся на постели Джиллиан и оказался всего раза в полтора больше ее самой.

— Я тебе очень обязан, — проговорил джинн. — Ты освободила меня. Я джинн довольно могущественный и должен, разумеется, выполнить три твоих желания. Есть ли что-либо на свете, чего ты желала бы больше всего?

— А существуют ли пределы тому, чего я могу пожелать?— спросила фольклористка.

— Вопрос необычный, — заметил джинн. Его по-прежнему сильно отвлекало драматическое действо, разыгрываемое на экране крохотными, как насекомые, Борисом Беккером и Анри Леконтом. — Действительно, у различных джиннов различные возможности. Некоторые могут выполнить лишь незначительную просьбу...

— Вроде жареных колбасок?..

— Правоверный джинн — слуга Сулеймана, — безусловно, счел бы это отвратительным: выполнить мерзкое желание кого-то из адептов вашей религии относительно свиной колбасы. Но и это возможно. Существуют некие законы, которые нерушимы для всех нас, так что мы действуем в их рамках. Ты не можешь, например, пожелать, чтобы действие твоих желаний длилось вечно. Три — это три, магическое число. Ты не можешь пожелать себе вечной жизни, ибо, согласно твоей природе, ты смертна, а я, согласно моей природе, бессмертен. Я также не смогу с помощью волшебства удержать в едином теле все твои атомы, на которые ты распадешься...— И вдруг заметил: — А хорошо все-таки снова обрести способность говорить — пусть даже на этом непривычном языке! Кстати, не можешь ли ты мне сказать, из чего сделаны эти маленькие человечки и чем они заняты? Это напоминает королевский теннис в том виде, как в него играли во времена Сулеймана Великолепного[1]...

— Сейчас он называется лаун-теннис. Tennis sur gazon[2]. Но, как ты и сам видишь, в него играют на площадке с грунтовым покрытием. Мне нравится эта игра. А играющие в нее мужчины, — она вдруг обнаружила, что сообщает ему и это, — очень красивы.

— Действительно, — согласился джинн. — А как тебе удалось запереть их в этот ящик? Атмосфера здесь полна чьего-то присутствия, я только не понимаю, чьего — сплошная суета, шум, все насыщено... я не могу найти в своем родном языке подходящего слова, и в твоем тоже, то есть я хочу сказать, в твоем втором языке, — все насыщено электрическими эманациями живых существ, и не только живых существ, но и фруктов, и цветов, они доносятся даже из дальних стран... и еще ведется какая-то высокоумная математическая игра с движущимися фигурками, смысл которой я с трудом могу уловить, словно невидимые пылинки перемещают в прозрачном воздухе, нечто ужасное случилось с моим миром, с моим внешним миром, с тех пор как меня заключили в этот сосуд; мне трудно даже удерживать собственное тело в его теперешней форме, ибо все эти силовые потоки настолько направленны и всепроникающи... А что, эти мужчины — волшебники? Или же ты сама ведьма и с помощью волшебства держишь их в стеклянном ящике?

— Нет, это все наука. Разные технические науки. Телевидение. Оно использует разные волны — световые, звуковые... катодные лучи... ну, я не знаю, как именно это сделано, я всего лишь ученый-литературовед и, боюсь, маловато знаю о таких вещах. А телевизором мы пользуемся для получения различных сведений и для развлечения. По-моему, бóльшая часть жителей земного шара теперь смотрит телевизор.

— Six-all, premiere manche, — сказал телевизор. — Jeu decisif. Service Becker[3].

Джинн нахмурился.

— Я довольно-таки могущественный джинн, — сказал он. — Я уже начинаю понимать, каким способом передаются эти эманации. Может быть, ты хочешь иметь собственного гомункулуса?

— У меня есть всего три желания, — осторожно напомнила доктор Перхольт. —

---

[1] Сулейман I Кануни (Законодатель), в европейской литературе «Великолепный» (1495—1566) — турецкий султан, при котором Османская империя достигла высшего политического могущества.

[2] Теннис на траве (*франц.*).

[3] Шесть-шесть, первая партия. Решающая игра. Подает Беккер ( *англ.*, *франц.*).

Я вовсе не хочу зря потратить одно из них, чтобы заполучить какого-то теннисиста.

— Entendu[1], — сказал джинн. — Ты умная и осторожная женщина. Ты можешь высказать свое желание, когда захочешь сама, и древние законы требуют, чтобы я пребывал в твоей власти, пока не будут выполнены все три желания. Джинны помельче непременно постарались бы соблазнить тебя чем-нибудь, чтобы ты побыстрее выбрала желания и совершила глупость, а им дала свободу, однако я истинный слуга Аллаха и честный джинн (хоть и провел бóльшую часть своей долгой жизни запертым в различных сосудах), так что я так никогда не поступлю. Но тем не менее поймать одну из этих бабочек-путешественниц я попытаюсь. Они тоже перемещаются с помощью волн в атмосфере, но не так, как мы, переносясь *на* волнах, а *внутри* этих волн; попробуем-ка заманить сюда эту бабочку — главное удовольствие, собственно, заключается в том, чтобы воспользоваться законами, по которым этот теннисист виден в стеклянном ящике, и усилить их действие, — я легко мог бы просто *пожелать*, чтобы он здесь оказался, но я непременно, непременно заставлю его перелететь сюда по его собственной траектории, согласно законам его существования... так... и вот так...

Крошечный Борис Беккер, с золотистыми бровями и золотым пушком на загорелом теле, покрытом потом, возник на комоде; он был примерно раза в два больше своего телевизионного изображения, которое на экране застыло в момент удара по мячу. Беккер поморгал светлыми, песочного цвета ресницами над голубыми глазами и стал дико озираться, явно не в состоянии что-либо разглядеть, кроме светящейся дымки.

— Scheisse, — сказал крохотный Беккер, — Scheisse und Scheisse. Was ist mit mir?[2]

— Я могу показать ему нас, — предложил джинн. — Он нас убоится.

— Отправь его назад. Ведь он проиграет!

— Я мог бы его увеличить. До нормальных размеров. Мы могли бы с ним поговорить.

— Отправь его назад. Это нечестно.

— Он тебе не нужен?

— Scheisse. Warum kann ich nicht...[3]

— Нет, не нужен.

Беккер на экране застыл в эффектной позе — ракетка поднята, голова откинута назад, одна нога задрана и согнута в колене. Анри Леконт подбежал к сетке. Комментатор, спасая положение, сообщил, что «Беккера слегка прихватило», что весьма порадовало джинна, который действительно Беккера «прихватил».

— Scheisse,— сказал несчастный маленький Беккер в их комнате.

— Верни его назад, — рассердилась доктор Перхольт и быстро добавила: — Учти, это не одно из трех моих законных желаний; ты, конечно, волен поступать так, как сочтешь нужным, однако пойми, ты разочаровываешь миллионы людей по всему свету, прерывая эту историю на полуслове... извини, это déformation professionelle...[4] мне следовало сказать — эту игру...

— А почему твои гомункулусы не трехмерны? — спросил джинн.

— Не знаю. Этого мы пока не умеем. Но, возможно, научимся. Впрочем, ты, кажется, уже разбираешься в таких вещах лучше меня, хоть и просидел столько времени в этой бутылке. Пожалуйста, верни его на место.

— Исключительно ради твоего удовольствия, — галантно сказал помрачневший джинн. Он взял пальцами кукольного Беккера, быстро раскрутил его как волчок, что-то прошептал, и Беккер на экране бессильно рухнул на корт.

— Ты его повредил! — обвиняющим тоном заявила Джиллиан.

— Надеюсь, что нет, — голос джинна звучал несколько неуверенно. Беккер в Монте-Карло встал, пошатываясь и держась обеими руками за голову, его подхватили и повели прочь.

— Ну вот, теперь матч, конечно, прерван, — обиженно сказала Джиллиан и, сама себе изумившись, прижала пальцы к губам: женщина, у которой на постели лежит живой джинн, все еще оказывается способна интересоваться исходом теннисного поединка, который она начала смотреть.

— Ты можешь пожелать, чтобы он стал здоров, — сказал джинн, — но он, скорее всего, и так будет здоров. Даже почти наверняка. Да просто точно. А ты должна высказать свои самые сокровенные желания.

— Я бы хотела, — проговорила Джиллиан, — чтобы мое тело стало таким, как в те времена, когда оно в последний раз действительно нравилось мне, — если только ты можешь это сделать.

---

[1] Договорились (*франц*).
[2] Дерьмо собачье. Что это со мной? (*нем.*).
[3] Дерьмо. Почему я не могу... (*нем.*).
[4] Профессиональная оговорка (*франц.*).

Огромные зеленые глаза остановились на ее полной фигуре в белом халате и тюрбане.

— Я могу это сделать, — сказал джинн. — Я могу это сделать. Если ты вполне уверена, что хочешь этого больше всего на свете. Я могу вернуть твои клетки в то состояние, в каком они были тогда, но отсрочить твою Судьбу я не в силах.

— Очень мило с твоей стороны сообщить мне об этом. Да, разумеется, я именно этого хочу больше всего. Именно этого я безнадежно желала каждый день в течение последних десяти лет — чего же еще могла бы я пожелать сейчас?

— И все же, — сказал джинн, — на мой взгляд, ты и сейчас очень хорошо выглядишь. Полнота, мадам, весьма соблазнительна.

— Но не для людей моей культуры. И кроме того, тело ведь еще и стареет...

— Ну это-то я понять способен — хотя только разумом. Мы, джинны, созданы из огня, и наша плоть не стареет никогда. Вы же созданы из глины, из земли, из праха, и в него вы вернетесь.

Он поднял руку и лениво ткнул в Джиллиан одним пальцем, напомнив ей Адама с фрески Микеланджело.

Она почувствовала резкий спазм в стенках кишечника, во всем своем утратившем упругость чреве.

— Я рад, что ты предпочитаешь зрелых женщин, а не зеленых девчонок, — сказал джинн. — Я того же мнения. Но твоему идеалу, пожалуй, несколько не хватает полноты. Не хочешь ли стать чуточку покруглее?

— Извини, пожалуйста, — проговорила Джиллиан, внезапно став чрезвычайно скромной, и удалилась в ванную, где быстро распахнула халат и увидела в очистившемся от тумана зеркале крепкую и почти совершенную фигуру тридцатипятилетней женщины с полными, однако ничуть не отвисшими грудями, подтянутым животом, округлыми и нежными бедрами и розовыми сосками. И это крепкое, гибкое, прелестное тело было чуть розоватого оттенка, словно слегка опаленное огнем или распаренное в чересчур горячей ванне. Шрам, оставшийся после удаления аппендикса, был на своем месте, как и отметина на колене — память о том, как Джиллиан упала на разбитую бутылку под лестницей, где пряталась во время воздушного налета в 1944 году. Она принялась изучать в зеркале свое лицо; оно не было таким уж красивым, зато излучало здоровье и жизнерадостность; шея возвышалась стройной гладкой колонной; Джиллиан с радостью заметила, что и зубов у нее снова стало больше и они выглядят куда здоровее. Она развязала свой тюрбан, и волосы вольготно рассыпались по спине, еще влажные, длинные и блестящие. «Я могу спокойно ходить по улицам, — сказала она себе, — и все легко будут узнавать меня, но жизнь начнется совсем другая, новая и счастливая; и я буду *чувствовать* себя гораздо лучше, я больше буду нравиться самой себе. Это действительно было очень разумное желание, и я о нем никогда не пожалею!» Она расчесала волосы и вернулась к джинну, который валялся на кровати, наблюдая за Борисом Беккером, — тот, проиграв первую партию, теперь метался по корту как тигр. Джинн успел обложиться блестящими пестрыми журналами и каталогами различных магазинов, вытащенными из ящика прикроватного столика вместе с гидеоновской Библией[1], которая, как и Коран, лежала в том же ящичке. Из этих текстов он, по всей видимости, впитывал знания по английскому с помощью некоего сложного мыслительного процесса.

— Хм, — сказал он по-английски, — кто эта блистающая, как Заря, прекрасная, как Луна, светлая, как Солнце, грозная, как полки со знаменами?[2] Да, это твой родной язык; я обнаружил, что весьма быстро способен усваивать его законы. Довольны ли вы, мадам, результатом исполнения вашего желания? Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?[3] Я вижу на этих картинках, что в настоящее время вы предпочитаете женщин безгрудых, похожих на мальчиков. Странная форма аскетизма, если это аскетизм. А может быть, и извращения, что тоже возможно... Но сам я не из той породы джиннов; мне никогда не хотелось проникнуть в бани и подкрасться к мальчику сзади. Я любил исключительно женщин, причем самой различной внешности и положения: я любил саму царицу Савскую, я знавал Суламифь, чьи груди были подобны виноградным кистям и зрелым гранатам, чья шея напоминала столп из слоновой кости, ноздри же ее пахли яблоками... Мальчик — он мальчик и есть, а женщина — это женщина, миледи! Хотя у этих, на картинках, красивые глаза; они, надо сказать, весьма искусно пользуются краской для век.

— Если ты общался с самой царицей Савской, — сказала ученая дама, — то как же ты оказался запертым в сосуде, который, насколько я знаю, создан самое раннее в

---

[1] Международное религиозно-светское общество «Гидеонс интернэшнл», созданное в 1898 г., снабжает Библиями отели и гостиницы.

[2] Книга Песни Песней Соломона , 6, 10.

[3] Там же, 8, 8.

девятнадцатом веке, ибо это стекло «соловьиный глаз», если не венецианское?

— Разумеется, это «соловьиный глаз»,— сказал джинн. — Сделан этот сосуд совсем недавно, и его весьма ценила владелица, прекрасная Зефир, супруга Мустафы Эмин-бея из Смирны. А попал я туда из-за глупейшей случайности, а также из-за слишком большой любви к обществу женщин. Это было уже третье мое заточение; в будущем я постараюсь вести себя осторожнее. Я с удовольствием расскажу тебе свою историю, а ты можешь пока обдумать два оставшихся у тебя желания, однако ж и мне весьма интересно было бы узнать твою историю — ты чья-либо жена или вдова, и как тебе удалось поселиться в таких прелестных покоях с проточной водой, в этом «Пери паласе», чье название мне поведали твои блестящие книги? Сам я знаю об Англии крайне мало, а то, что знаю, не слишком обнадеживает. Я знаю историю белых рабов с того северного острова, о которых один римский епископ сказал: «Non Angli sed angeli»[1]. И еще я знаю о Бизинисменах — из разговора в караван-сарае в Смирне. По слухам, вы должны быть толстыми рыжими людьми, которые не способны ни поклониться как следует, ни улыбнуться, но я давно уже научился не доверять слухам, а тебя я нахожу женщиной изящной и приятной.

— Меня зовут Джиллиан Перхольт, — сказала доктор Перхольт. — Я совершенно независимая женщина, ученый, изучаю сказки и вообще фольклор. — Она подумала, что ему неплохо запомнить такое полезное слово, как фольклор; зеленые глаза джинна сверкнули. — Я приехала в Турцию на конференцию и через неделю возвращаюсь на свой остров. Не думаю, что история моей жизни так уж заинтересует тебя.

— Напротив. Я временно нахожусь в твоей власти, и всегда разумно попытаться понять жизнь тех, кто властвует над тобой. Бóльшую часть своей жизни я провел в гаремах, так вот в гаремах выяснение событий чьей-либо даже совершенно бесцветной личной жизни — предмет особой важности. Единственной действительно независимой женщиной, какую я знал, была царица Савская[2], моя троюродная сестра, однако, как я замечаю, с тех пор положение дел переменилось. Так чего же независимой женщине хотелось бы пожелать для себя, Джиль-ян Пери-хан?

— Не так уж много, — сказала Джиллиан, — что-нибудь из того, чего у меня еще нет. Впрочем, я должна подумать. Следует быть разумной. Расскажи мне лучше историю трех своих заточений. Если тебе это не неприятно, конечно.

Позже ей пришлось не раз удивляться тому, как прозаично она воспринимала присутствие в своем номере восточного демона, развалившегося в изящной позе на гостиничной кровати. Она безоговорочно принимала и факт его существования, и то, что он говорил, — словно встретила его во сне, то есть с некоторой оглядкой, с неким пониманием того, что реальность, в которой она в данный момент существует, не является реальностью повседневной, во всяком случае, той реальностью, в которой доктор Джонсон[3] опровергал солипсизм епископа Беркли[4] грубым пинком по валявшемуся на земле камню. Она часто говорила в своих лекциях, что потребность человека рассказывать сказки о несуществующих в действительности, нереальных вещах своим происхождением, вполне возможно, обязана снам и что память человеческая также имеет определенное сходство со снами; память перестраивает, делает более ясным простое повествование о событии, разумеется не только вспоминая, но и придумывая его детали. Гоббс[5], говорила она своим студентам, рассматривал воображение как ослабевшую память. Но ей и в голову не приходило, что она может вдруг «пробудиться» и обнаружить, что на самом деле никакого джинна нет и никогда не было; однако она действительно чувствовала, что вполне может неожиданно переместиться — или же это сделает он — в какой-нибудь иной мир, и тогда они уже не будут существовать одновременно. Тем не менее он продолжал оставаться в ее номере на кровати, поблескивая своими странными — особенно на ногах — ногтями, время от времени чуть меняя очертания своего тела и глядя на нее огромными внимательными глазами; и там же был его пернатый плащ-крылья, и его запах — запах духов, благовоний, дыма и неких его феромонов[6], если джинны выделяют феромоны,

[1] Не англы, но ангелы (*лат.*).

[2] Царица Савская — легендарная царица Сабейского царства (Сабы) в Южной Аравии. Услышав о славе царя Соломона, она (по одной из версий) прибыла в Иерусалим, чтобы испытать его загадками, и изумилась его мудрости. В мусульманской традиции носит имя Билкис.

[3] Сэмюэл Джонсон (1709 — 1784) — английский лексикограф, издатель, критик, поэт, драматург, биограф.

[4] Джордж Беркли (1685 — 1753) — английский философ, представитель субъективного идеализма.

[5] Томас Гоббс (1588 — 1679) — английский философ, создатель первой законченной системы механистического материализма.

[6] Феромоны — химические вещества, вырабатываемые эндокринными железами животных. К феромонам относятся половые аттрактанты, вещества тревоги, сбора и т.п.

а этот вопрос она еще не готова была ему задать. Она предложила ему заказать обед в номер, и они вместе выбрали блюда: салат из разных овощей, копченую индейку, дыню и шербет из плодов пассифлоры; когда ввезли тележку с этими яствами, джинн спрятался, потом появился вновь и добавил к пиршеству чашу спелых фиг и гранатов и какой-то рахат-лукум с сильным запахом роз. Джиллиан сказала, что вряд ли вообще стоило заказывать что-то в ресторане, раз он может сам сотворить любое блюдо, но он возразил: неужели она жалеет, что удовлетворила любопытство того, кто пробыл в заточении с 1850 года (по вашему летоисчислению, сказал он по-французски), — ведь ему так хочется узнать и новых людей, и новую жизнь по прошествии стольких лет.

— Ваши рабы, — заявил он, — выглядят здоровыми и улыбающимися. Это хорошо.

— Но рабов больше не существует, у нас больше нет рабов — по крайней мере, на Западе и в Турции, здесь все свободные люди, — сказала Джиллиан и тут же пожалела о столь упрощенном ответе.

— Нет рабов? — удивился джинн. — А может, и султанов больше нет?

— Султанов здесь нет. В Турции республика. А в моей стране есть королева. Но у нее нет власти. Она... чисто репрезентативная фигура.

— А у царицы Савской власть была, — задумчиво сказал джинн, приподнимая бровь и добавляя к столу, и без того уставленному яствами, финики, мороженое с фруктами, жареных перепелов, marrons glaces[1] и два куска tarte aux pommes[2]. — Она, бывало, говорила мне, когда шпионы доносили ей о его триумфальном шествии через пустыню — я имею в виду великого Сулеймана, да будет благословенна его память, — так вот, она говорила: «Разве могу я, великая царица, смириться с тяжкими оковами брака, с этими невидимыми цепями, которые прикуют меня к постели мужчины?» И я советовал ей не смиряться. Я говорил, что главное ее богатство — мудрость — всегда при ней, и она свободна как орлица, плывущая на волнах ветра и взирающая сверху на города, дворцы и горы. Я говорил, что тело ее прекрасно, великолепно, роскошно, но разум ее куда прекраснее и богаче, и к тому же долговечнее — ибо, хоть она и была родственницей джиннам, но все же оставалась смертной, как и ты, ведь джинны и смертные не дают бессмертного потомства, подобно тому как осел и кобыла тоже способны произвести на свет лишь бесплодных мулов. И она сказала, что я совершенно прав; она сидела среди подушек в своей дальней гостиной, куда никто без спросу не входил, и накручивала на палец прядь своих черных волос, и морщила лоб в раздумьях, а я пожирал глазами великолепные полушария ее грудей, ее тончайшую талию, ее роскошные, такие пышные и мягкие бедра, подобные двум дюнам шелковистого песка, и голова у меня кружилась от желания, хоть я и молчал об этом, ибо ей всегда нравилось чуть-чуть заигрывать со мной — она ведь знала меня с самого своего рождения, я тогда входил и выходил невидимым в ее спальню, и целовал ее нежные уста, и гладил ей спинку, а она все росла и росла, и вскоре я знал не хуже любой из ее рабынь те местечки, прикосновения к которым заставляли ее дрожать от удовольствия, но все это было только игрой; а еще она очень любила советоваться со мной по всяким серьезным вопросам — о намерениях правителей Персии и Бессарабии, о структуре газелей, о лекарствах против разлития желчи и отчаяния, о расположении звезд... Так вот, она сказала, что я совершенно прав, что ее свобода действительно принадлежит ей, что отдавать ее она не намерена и что только я — бессмертный джинн — и еще некоторые из женщин давали ей подобные советы, но бóльшая часть ее придворных, и мужчины, и женщины, а также ее родня со стороны людей высказывались в пользу ее брака с Сулейманом (благословенна будь его память), который между тем продвигался с каждым днем все дальше и дальше через пустыню, вырастая в ее представлении, как и я мог вырастать или уменьшаться прямо у нее на глазах. И когда он наконец прибыл, я увидел, что для меня все потеряно, ибо она возжелала его. Будет только справедливо, если я скажу, что он был прекрасен и женщины сгорали от желания при виде его. Шелковые шаровары не скрывали его мужских достоинств, а пальцы его были длинны и удивительно ловки — он мог играть на женщине столь же искусно, как на лютне или на флейте. Но она-то сперва не поняла, что желает его, а я как последний дурак начал снова твердить ей, что нужно сохранить свою власть и не подчиняться ему, а приходить и уходить когда вздумается. И она соглашалась со всем, что я ей говорил, и только мрачно кивала, а однажды даже уронила горячую слезу, которую я слизнул языком, — никогда в жизни никого я больше так не желал, ни женщины, ни демоницы, ни пери, ни мальчика, похожего на только что очищенный каштан. А потом она начала давать ему задания, которые казались совершенно невыполнимыми: найти какую-то определенную ниточку красного шелка в целом дворце; угадать тайное Имя ее матери, которая была из джиннов; сказать ей, чего женщины хотят больше всего на свете, — и тут я оконча-

[1] Засахаренные каштаны (*франц.*).
[2] Яблочный торт (*франц.*).

тельно понял, что пропал, ибо он мог разговаривать со зверями земными, и птицами небесными, и с джиннами из царства огня, и он отыскал муравьев, и те нашли для него нужную ниточку, и призвал ифрита из царства огня, который назвал ему то тайное Имя, и, глядя ей в глаза, он сказал, чего женщины хотят больше всего на свете, и она опустила свои очи и подтвердила его правоту, а потом разрешила ему то, чего он хотел больше всего на свете,— сделать ее своей женой, лечь с ней в постель, с этой прелестной девственницей; и когда они легли, дыхание ее вырывалось из уст вместе с легкими стонами страсти, каких я никогда от нее не слышал, никогда и никогда уж больше не услышу. И когда я увидел, как он лишает ее невинности и ручеек яркой крови стекает на шелковые простыни, я не сдержался и застонал, и тут он догадался о моем присутствии. Он был великим волшебником, да будет благословенно его имя, и прекрасно мог меня видеть, хоть я и сделался невидимым. И он лежал, омытый ее потом и своим собственным, и считал легкие любовные укусы, самым артистичным образом разбросанные — но, к сожалению, не ставшие невидимыми — в мягких впадинках у нее на шее и еще повсюду, где ты только можешь вообразить. И он, конечно же, отлично видел ее девственную кровь, иначе судьба моя была бы куда хуже, однако он всего лишь заточил меня могучим заклятьем в большой металлический сосуд, что стоял в той же комнате, и запечатал его своею собственной печатью, и она не сказала ни слова, даже не попросила за меня — хотя я правоверный, а не слуга Иблиса, — а лишь лежала и вздыхала, и я видел, как она касается язычком своих жемчужных зубок, а ее нежная ручка тянется к тем частям его тела, что подарили ей такое наслаждение, и я тогда был для нее ничто, так, глоток воздуха в сосуде. И вот меня бросили в Красное море, как и многих других джиннов, и я томился там две с половиной тысячи лет, пока какой-то рыбак не вытащил мой сосуд своей сетью и не продал меня вместе с сосудом бродячему торговцу, который отнес сосуд на базар в Стамбуле, где его купила служанка принцессы Мирима, дочери Сулеймана Великолепного, и отнесла в Эски-Сарай, во дворец султана, в гарем.

— Скажи, — прервала его Джиллиан Перхольт, — а чего женщины хотят больше всего на свете?

—А ты сама разве не знаешь? — удивился джинн. — Если ты сама этого еще не знаешь, то я сказать тебе не могу.

— Ну, может быть, не все хотят одного и того же.

— Может быть. Твои желания, Джиль-ян Пери-хан, мне не совсем ясны. Я не могу прочитать твои мысли, и меня это озадачивает и тревожит. Но неужели ты так и не расскажешь мне историю своей жизни?

— Она совершенно неинтéресна. Расскажи мне лучше, что случилось, когда сосуд с тобой купили для принцессы Мирима.

— Принцесса была дочерью Сулеймана Великолепного и его наложницы Рокселаны Рыжей, женщины родом из Галиции, дочери украинского священника. В Турции она была известна как Хуррем — Смеющаяся. Она была грозная, как полки со знаменами, эта Рокселана. Она одержала победу над прежней любовью султана, Гюльбахар — Розой Весны, которую он обожал, а когда родила ему сына, то так ужасно смеялась, что он в итоге вынужден был жениться на ней, чего ни одна его наложница, а тем более христианка никогда не могла добиться. А когда случился пожар на кухне и все хозяйственные помещения сгорели — это было, видимо, в 1540 году по вашему летоисчислению, — она переправила свою свиту в сераль, сотню служанок и евнухов, и при этом все они тряслись от страха и гадили в штаны, боясь, как бы им тут же не вспороли животы, но больше всего они боялись ее смеха. Итак, она поселилась в самом дворце. И муж Мирима, Рустем-паша, стал великим визирем после того, как задушили Ибрагима. Я помню Сулеймана Великолепного: лицо у него было круглое, глаза голубые, нос как у барана, тело как у льва, густая борода, длинная шея, — он был крупный мужчина, царственный, бесстрашный, прямой... удивительный человек... Те, что сменили его, были просто жалкие глупцы, мальчишки. Это все ее вина, Рокселаны. Она интриговала против сына Сулеймана Мустафы — его сына от Гюльбахар, — который был очень похож на отца и стал бы гораздо более мудрым правителем, чем те, другие. Она убедила Сулеймана, что Мустафа — предатель, и когда юноша без опаски вошел в покои отца, его уже ждали немые слуги с шелковыми шнурками; он попытался кликнуть на помощь преданных янычар, которые его любили, но душители сбили его с ног и умертвили. А я все это видел, ибо меня послала подсматривать моя новая хозяйка, девушка-рабыня, принадлежавшая Мирима; это она открыла мой сосуд, будучи уверенной, что там хранятся благовония, когда готовила ванну для своей госпожи. Она была христианка, черкешенка по имени Гюльтен; на мой вкус, она была бледновата и уж больно робка — чуть что реветь и руки ломать. А когда я появился перед нею в той потайной купальне, она только и сумела, что грохнуться в обморок, так что мне пришлось здорово повозиться, прежде чем я привел ее в чувство и объяснил, что у нее теперь есть три желания, которые я выполню, потому

что она меня освободила, что я не желаю ей зла, да и попросту не могу его причинить, ибо остаюсь рабом сосуда, пока три ее желания не исполнены. А эта бедная глупышка с ума сходила от любви к принцу Мустафе и немедленно пожелала, чтобы он предпочел ее другим. Что и осуществилось — он послал за ней (я с ним поговорил), и я проводил девушку до его спальни, по дороге объяснив ей, как доставить ему удовольствие, — он был очень похож на своего отца, любил поэзию, пение, хорошие манеры. Ну а потом эта дурочка пожелала от него забеременеть...

— Но это же вполне естественно.

— Естественно, но очень глупо. Лучше было бы использовать свое желание *против* беременности, миледи; а кроме того, нелепо тратить столь поспешно целое желание: ведь они оба были молоды, ненасытны, кровь их пылала страстью, и то, что случилось, и так произошло бы, без всякого моего вмешательства, а я зато смог бы помочь ей в более трудный момент. Ибо стоило Рокселане узнать, что Гюльтен ждет от Мустафы ребенка, как она, разумеется, приказала своим евнухам зашить ее в мешок и сбросить с мыса Сераль в воды Босфора. А я все надеялся, явившись обратно после убийства Мустафы, что она вспомнит обо мне и пожелает — не знаю уж, чего в точности, но пожелает, например, оказаться где-нибудь далеко, или хотя бы вне этого мешка, или вернуться назад в Черкесию; я ждал, когда она сформулирует это свое последнее желание, поскольку стоило ей произнести его, и мы оба были бы свободны, и я мог бы улететь туда, куда хочу, а она могла бы жить, родить себе этого ребенка и воспитать его, — но руки и ноги у нее окоченели от холода, а губы посинели от страха, стали цвета ляпис-лазури, а ее большие голубые глаза буквально вылезали из орбит, а эти садовники — знаешь, ее убийцы были к тому же еще и садовниками — сунули ее в мешок, как сухой розовый куст, завязали и отнесли на утес. А я думал только о том, как бы спасти ее, но я рассчитывал, что она непременно *должна*, пусть даже непроизвольно, *захотеть* спасти свою жизнь, даже если я сам вдруг замешкаюсь; я шел, незамеченный, следом за ними по саду, был вечер, розы как раз цвели, и аромат стоял такой, что кружилась голова, а ее несли все дальше и дальше... А потом она так и утонула, прежде чем я успел это осознать, прежде чем до меня дошло, что она просто была не в состоянии вообще чего-либо желать.

Ну вот, так я и оказался полусвободным (полунезависимым, как выразились бы вы); я все еще был привязан к своему сосуду третьим, невыполненным желанием. Я обнаружил, что днем могу свободно передвигаться внутри определенного круга, образованного влиянием заколдованного сосуда, однако ночью я обязан был возвращаться на свое место и, съежившись, спать там. Я стал настоящим пленником этого гарема и, похоже, так бы им и остался, ибо сосуд мой был заботливо спрятан в тайнике под плиткой пола купальни, известном только утопленной черкешенке. Женщины в гареме всегда устраивают для себя всякие тайники и прячут там разные свои «секреты»; им приятно иметь одну-две вещи, которые принадлежали бы только им и о которых никто бы не знал; или же в таких тайниках прячут письма, о которых, как они полагают, никто больше не догадывается. И я обнаружил, что, к сожалению, не в силах привлечь чье-либо внимание к той плитке и к своему сосуду; подобные вещи в круг моих возможностей не входили.

Так я как привидение бродил по Топкапи-Сарай целых сто лет или около того, точно шелковой ниткой привязанный — не правда ли, очень поэтично, с вашей точки зрения? — к своему сосуду, спрятанному под полом купальни. Я видел, как Рокселана убеждает Сулеймана Великолепного написать шаху Тахмаспу Персидскому[1], у которого нашел убежище их младший сын Баязид, и повелеть ему казнить юного принца, что он, конечно же, категорически отказался сделать из уважения к законам гостеприимства, однако позволил совершить это турецким немым, что было делом обычным, — и Баязида предали смерти с его четырьмя сыновьями, и пятый, трехлетний сын его, которого прятали в Бурсе[2], тоже погиб. Он бы непременно стал отличным правителем, как мне кажется, — да, собственно, так думали и все люди.

— Но почему? — спросила Джиллиан Перхольт.

— Это дело обычное, миледи, как я уже говорил. Рокселана желала спокойно посадить на трон своего старшего сына Селима[3], Селима Пьянчужку, Селима Поэта, который так и умер в банях, выпив слишком много вина. К тому времени сама Рокселана давно уже умерла и была похоронена в Сулеймание. Это Мирима, ее дочь, построила новую мечеть в память Сулеймана с помощью великого архитектора Синана[4], который создал эту Сулеймание из святой ревности к строителям Айя-Софии. И

[1] Тахмасп I, Персидский (1513 — 1576) — шах из династии Сефевидов.

[2] Бурса (Бруса) — город на северо-западе Турции. Основан во II в.до н.э.(Пруса). В 1326 г. завоеван турками и стал первой столицей Османского государства.

[3] Селим II (1524 — 1574) — единственный оставшийся в живых сын Сулеймана Великолепного, правил в 1566 — 1574 гг.

[4] Синан (1489 или 1490 — 1588) — знаменитый турецкий архитектор и инженер. Им построена, в частности, мечеть Сулеймание в Стамбуле (1550 — 1557).

я видел, как сменяли друг друга султаны — Мурад III[1], которым правили женщины и который удавил пятерых из своих братьев; Мехмед III[2], который удавил девятнадцать своих братьев и потом устроил им роскошные похороны; сам он умер после того, как дервиш предсказал, что он проживет еще пятьдесят пять дней, — на пятьдесят пятый день он и умер, просто со страху. Я видел Мустафу[3], святого безумца, которого извлекли из тюрьмы, где томились принцы, посадили на престол, свергли, затем, зверски убив юного Османа[4], снова усадили на трон и снова свергли, — его сверг Мурад IV[5], который был самым жестоким из них. Можешь ли ты вообразить себе человека, который способен, увидев прелестных девушек, танцующих на лугу, приказать их всех утопить, потому что они слишком громко поют? Никто в те времена и слова во дворце не мог сказать, боясь привлечь его внимание. Он мог приказать убить человека только потому, что у бедняги зубы невольно стучали от страха. А когда Мурад IV умирал, то приказал убить и своего единственного оставшегося в живых брата Ибрагима[6]. Но мать его, Кезем, гречанка, Валид-султанша и подлинный правитель, солгала ему и сказала, что брат убит, тогда как тот был жив. Я видел, как Мурад улыбнулся и попытался встать, чтобы взглянуть на труп, однако упал на свое ложе в смертной муке.

Что же касается Ибрагима, то это был дурак. Жестокий дурак, который слишком любил гарем, где, собственно, и вырос. Он без конца слушал сказки одной старухи — она была с севера Украины и рассказывала ему о северных правителях, которые занимались любовью со своими наложницами в покоях, буквально выстланных соболями; соболями было устлано и их ложе; соболий мех они носили и на своем теле. Ну и этот дурак сделал себе чудовищное платье — соболя снаружи, соболя внутри, с огромными самоцветами вместо пуговиц, — которое он надевал, когда хотел удовлетворить свое плотское желание; запашок, надо сказать, со временем от него стал исходить весьма неприятный. Ибрагим верил, что плотские утехи тем сладостнее, чем больше количество той плоти, с которой он соединяется, так что специально высылал янычаров рыскать по всей стране и приводить к нему самых мясистых, самых крупных женщин, которых и укладывал в постель, влезая на них прямо в своих черных мехах, точно дикий зверь. Как раз в это время я и вернулся снова в свой сосуд, потому что самая толстая из его наложниц, самая сластолюбивая, больше всего похожая на пахнущую молоком корову, чьи лодыжки и запястья были в два раза толще, чем ваша теперешняя талия, мадам, — она была армянка, христианка, очень покорная и вечно задыхалась, — так вот, именно она своей тяжестью проломила ту плитку, под которой я был спрятан, а когда я предстал пред нею, завопила от страха. Я сказал ей, что Валид-султанша собирается нынче же вечером удавить ее во время пира, когда она будет одеваться, чтобы выйти к гостям. Я надеялся, что она непременно пожелает оказаться за тысячу миль от дворца, или же чтобы кто-нибудь удавил саму Валид-султаншу, или хотя бы скажет: «Желала бы я знать, как мне быть дальше!», и тогда я бы объяснил ей, что нужно делать, и улетел бы на своих широких крыльях на самый край света.

Но эта шарообразная женщина оказалась слишком самоуверенной и слишком плохо соображала. Единственное, что она сумела, это заявить: «Я хочу, чтобы тебя снова запечатали в твоем сосуде, неверный ифрит! Я не желаю иметь ничего общего с грязными джиннами! Ты отвратительно воняешь»,— прибавила она, а я в это время уже снова сворачивался в кольца дымка и со вздохом просачивался в узкое горлышко своего сосуда и затыкал его пробкой. И эта женщина пронесла меня через тот самый розовый сад, где несли тогда мою беленькую черкешенку, и бросила сосуд с утеса в Босфор. Она сама проделала весь путь; даже в сосуде я мог ощущать, как тряслась и дрожала ее могучая плоть, когда она шла по тропинке. Я даже хотел ей сказать, что она слишком давно не занималась физическими упражнениями, но это было бы несправедливо: она ведь все-таки пользовалась своей мускулатурой, и весьма активно, в определенных ситуациях, чтобы удовлетворить султана Ибрагима во время его изощренных любовных игр. И Кезем действительно приказала удавить толстуху в ту самую ночь — в точности как я ей и предсказывал. Было бы куда интереснее, если бы меня освободили эти доблестные султанши, Рокселана или Кезем, но судьба посылала мне самых обычных женщин.

Итак, я болтался в Босфоре еще двести пятьдесят лет, а затем меня снова выловил рыбак и продал мой сосуд как античную редкость одному купцу из Смирны, ко-

---

[1] Мурад III (1546 — 1595) — сын Селима II.
[2] Мехмед III (1566 — 1603) — сын Мурада III.
[3] Мустафа I (1590 — 1617) — сын Мехмеда III, свергнут с престола.
[4] Осман II(1603 — 1622) — сын Ахмеда I и внук Мехмеда III, зверски задушен.
[5] Мурад IV (1612 — 1640) — сын Ахмеда I, брат Османа II.
[6] Ибрагим (1615 — 1648) — сын Ахмеда I, брат Мурада IV; известен своим безумием и экстравагантными выходками; убит в 1648 г.

торый подарил меня — или мой сосуд — в качестве знака любви своей молодой жене Зефир: та собирала всякие занятные бутылки, кувшины и фляжки, и у нее в гареме была уже целая коллекция. Зефир заметила печать на горлышке бутылки и догадалась, что это значит, ибо прочитала множество разных сказок и историй. Она рассказывала мне позже, что провела всю ночь в страхе, раздумывая, открыть ей бутылку или нет: она боялась, что я мог успеть разгневаться, как тот джинн, который пообещал убить своего спасителя, потому что просидел в своем сосуде слишком долго; тому бедняге здорово не повезло, когда он наконец пришел злому джинну на помощь. Однако Зефир была существом мужественным, храбрым и чрезвычайно любознательным; к тому же она смертельно скучала, и как-то, оставшись в своей комнате одна, она все-таки сорвала печать...

— А как она выглядела? — спросила Джиллиан, поскольку джинн, похоже, куда-то уплыл по волнам воспоминаний.

Он полуоткрыл глаза; его огромные ноздри чуть раздувались и трепетали.

— Ах, Зефир, — промолвил он. — Ее выдали замуж в четырнадцать лет за купца, значительно старше ее годами; впрочем, он был к ней вполне добр, да, вполне, если можно к жене относиться как к любимой собачке, или как к испорченному малышу, или как к растрепанной толстой птице, посаженной в клетку. Зефир была хороша собой, порывистая, смуглая, с таинственными темно-карими глазами и сердитой линией рта, чуть растянутого к уголкам. Да, она была своенравна и вспыльчива. И ей абсолютно нечем было себя занять. У купца была еще старшая жена, которая не любила Зефир и почти не разговаривала с ней; а слуги, как ей казалось, над ней подшучивали. Она проводила все время, вышивая огромные картины шелком — сюжеты из «Шахнаме» о Рустеме и шахе Кай Кавусе[1], который пытался превзойти джиннов и летать и изобрел некий метод, весьма остроумный, надо сказать: он привязал четырех сильных, голодных орлов к своему трону, а четыре сочные бараньи ноги — к столбикам балдахина, потом уселся, и орлы, пытаясь достать мясо, подняли трон — и шаха с ним вместе — к небесам. Но птицы скоро устали, и трон вместе с тем, кто на нем сидел, полетел на землю — Зефир так и вышила: Кай Кавус падает на землю, да еще и вниз головой, а потом она его пожалела и вышила внизу богатый ковер весь в цветах — чтобы шаху было на что падать. Ей он казался возвышенным мечтателем, а не дураком. Ах, если бы ты видела, как красиво она вышила шелком эти бараньи ноги, совершенно как живые — или точнее будет сказать, как мертвые? Она была великой художницей, моя Зефир, но никто ее искусства не видел. И она сердилась, потому что понимала, что способна на многое. Она даже сама себе не могла дать отчета, на что именно она способна, потому что все мечты казались ей чем-то вроде дурных снов, — так она мне сама говорила. Она говорила, что ее буквально распирает от нерастраченных сил, и ей казалось, что она, наверное, ведьма. А еще ей казалось, что если бы она была мужчиной, то все ее мечты могли бы стать реальностью, причем вполне обычным и для всех приемлемым делом. Если бы она была мужчиной, да еще с Запада, она бы, наверное, могла бросить вызов самому великому Леонардо, чьи летательные аппараты, как я помню, постоянно обсуждались одно лето при дворе Сулеймана...

Так что я научил ее математике, и это стало для нее настоящим блаженством, и астрономии, и многим языкам; она занималась со мною тайно. А еще мы написали эпическую поэму о странствиях царицы Савской. Я также учил ее истории — истории Турции и истории Священной Римской империи... Я покупал ей романы на различных языках и философские трактаты Канта, Декарта, Лейбница...

— Погоди, — сказала Джиллиан. — Неужели она сама пожелала, чтобы ты непременно учил ее всем этим вещам?

— Не совсем так, — сказал джинн. — Она пожелала быть мудрой и образованной, а я знавал когда-то царицу Савскую и понимал, что значит быть мудрой женщиной...

— Почему же она не пожелала *выбраться оттуда*? — спросила Джиллиан.

— Я ей посоветовал этого не делать. Я сказал ей, что это ее желание чревато различными неприятностями в будущем, ибо пока она недостаточно осведомлена о тех местах и временах, куда могла бы попасть по своему желанию, так что мы решили — спешить некуда...

— Тебе просто нравилось учить ее!

[1] Кай Кавус — в иранской мифологии второй царь из династии Кейянидов, богоборец. В «Шахнаме» Кай Кавус, желая уничтожить зло, отправляется в поход против царства дэвов, но, ослепленный, призывает на помощь богатыря Рустема, который освобождает его и возвращает ему зрение с помощью печени дэва. Рустем спасает Кай Кавуса и тогда, когда тот, соблазненный Иблисом, хочет подняться в небеса с помощью орлов, но вместе с обессилевшими птицами падает на землю.

— Редко среди людей мне встречалось более разумное и способное существо, — сказал джинн. — И не только разумное. — Он задумался. — Я еще и другим вещам ее учил, — сказал он, помолчав. — Не сразу, конечно. Сперва я без конца летал туда-сюда с мешками книг, документов и письменных принадлежностей, которые я затем прятал, делая их временно невидимыми, в ее коллекции сосудов так, чтобы она всегда могла их вызвать. Например, произведения Аристотеля она могла извлечь из своего флакона красного стекла, а Эвклида — из маленькой зеленой бутылочки, и я ей для этого не требовался...

— А это что же, желанием не считалось? — сурово спросила Джиллиан.

— Не совсем. — Джинн явно уклонялся от прямого ответа. — Я просто научил ее кое-каким магическим штукам, чтобы помочь ей... потому что любил ее...

— Ты любил ее?..

— Я любил ее гнев. Я любил свою способность превращать ее сердитое, нахмуренное лицо в лицо улыбающееся. Я учил ее тому, чему ее так и не научил муж: радоваться собственному телу и любить его без всяких ограничений, без излишней покорности супругу, которой этот глупец, кажется, от нее требовал.

— Ты, надо сказать, не спешил помочь ей бежать оттуда — и попробовать свои новые силы где-нибудь еще...

— Нет. Мы были счастливы. Мне нравилось быть ее учителем. Это довольно необычно для джиннов; для нас естественнее склонность ко всяким трюкам и проделкам, к тому, чтобы вводить людей в заблуждение. Но вы, люди, редко бываете так жадны до знаний, как моя Зефир. К тому же у меня впереди было сколько угодно времени...

— Да у нее-то его не было! — сказала Джиллиан, которой тоже очень хотелось стать героиней этой истории, но путь туда для нее оказался закрыт собственными чувствами джинна. Ей даже в какой-то степени была неприятна эта давным-давно умершая турецкая девочка-вундеркинд, одна лишь мысль о которой вызывала мечтательную улыбку на устах у джинна, а она его воспринимала — быстро же это произошло! — как своего собственного. Однако она все-таки испытывала беспокойство по поводу судьбы несчастной Зефир, ибо этот джинн желал быть одновременно и ее освободителем, и ее тюремщиком.

— Я знаю, — сказал джинн. — Она была смертной, я знаю. Какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот девяносто первый.

— Если бы она жила и сегодня, ей было бы сто шестьдесят четыре года. А нашему ребенку — сто сорок лет, что совершенно немыслимо для человеческих существ.

— Ребенку?

— Рожденному из огня и праха земного. Я мечтал облететь с ним вокруг земли и показать ему все города, леса и берега всех морей. Он должен был бы стать гением — по крайней мере, это было возможно. Но я так и не знаю, родился ли он.

— Или она.

— Или она. Да, конечно.

— Но что случилось? Она так ничего и не пожелала? Или же ты помешал ей сделать это, чтобы держать при себе в качестве пленницы? Как же ты все-таки оказался в моей бутылке из стекла «соловьиный глаз»? Я что-то не понимаю.

— Она была очень умная женщина, как и ты, Джиль-ян, и она понимала, что разумнее будет подождать. А потом — я так думаю, нет, я это знаю! — она пожелала, и пожелала страстно, чтобы я остался с нею. У нас с ней в ее маленькой комнатке помещался целый мир. Я приносил ей туда вещи отовсюду — шелка и атлас, сахарный тростник и целые зеленые льдины, принес даже Персея работы Донателло. У нее были вольеры, полные разноцветных попугаев, водопады, реки... Однажды неосторожно она пожелала слетать со мною вместе в обе Америки, а потом чуть не откусила себе язык и чуть не потратила зря второе желание, чтобы отменить первое, но я приложил к ее губам палец — она была такая быстрая, соображала все мгновенно — и поцеловал ее, и мы полетели в Бразилию и в Парагвай и видели Амазонку, огромную, как настоящее море, и тамошних лесных зверей, и такие места, где еще не ступала нога человека, и Зефир была такой восхитительно теплой внутри моего плаща из перьев... Мы обнаружили, что есть и другие духи в пернатых плащах; мы встретили их в воздухе над зеленым пологом лесов... а потом я принес ее обратно, и она потеряла сознание от радости и разочарования.

Он снова надолго умолк, и доктор Перхольт, во время рассказа лакомившаяся лукумом, напомнила ему:

— Итак, у нее оставалось два желания. И она забеременела. Была ли она этому рада?

— Естественно, в какой-то степени она была счастлива, что носит волшебное дитя. И естественно, с другой стороны, она боялась: она сказала, может, ей пожелать какой-нибудь волшебный дворец, где она смогла бы вырастить своего ребенка в тай-

не и безопасности. Но хотела-то она на самом деле совсем не этого. Тут она сказала еще: она, мол, совсем не уверена, что вообще хотела ребенка, и чуть было не пожелала, чтобы его не существовало вовсе...

— Но ты спас его.

— Я любил ее. Он был мой. Он был крошечным проросшим семенем, вроде кругленькой запятой или колечка дыма в сосуде; он рос, и я наблюдал за ним. По-моему, она тоже любила меня и не могла пожелать уничтожить его.

— Или ее. Или, может, ты способен был видеть, кто это, девочка или мальчик?

Он некоторое время подумал.

— Нет. Я не разглядел. Но полагаю, что сын.

— Но ты так и не увидел, как он родился?

— Мы ссорились. Часто. Я ведь сказал тебе: она была сердитая. От природы. Она налетала как внезапный шквал с дождем, громом и молнией. Часто бранила меня. Говорила, что я разбил ей жизнь. Очень часто. А потом мы с ней снова мирились и играли. Я становился маленьким и прятался от нее. Однажды, чтобы доставить ей удовольствие, я спрятался в бутылку из стекла «соловьиный глаз», которую ей когда-то подарил муж; я изящно вплыл в узкое горлышко и свернулся на дне, а она вдруг расплакалась, раскричалась и заявила: «Я бы очень хотела забыть, что когда-либо встречалась с тобой». Ну так она и забыла. Мгновенно.

— Но...— проговорила доктор Перхольт.

— Что «но»? — спросил джинн.

— Но почему же ты просто не вылетел обратно из бутылки? Ведь Соломон не запечатал эту бутылку своей печатью...

— Я уже научил ее тогда нескольким затворяющим заклятьям — просто так, для развлечения. Для своего и для ее удовольствия — мне было приятно оказываться в ее власти, а ей было приятно ощущать свою власть надо мной. Есть люди, которые играют в такие игры с помощью наручников и веревок. Подобное пребывание в бутылке имеет определенное сходство — причем по нескольким параметрам — с плотской любовью к женщине: оно тоже причиняет некую боль, которая порой неотличима от наслаждения. Мы, джинны, не можем умереть, но, когда я становился бесконечно малым и проскальзывал в горлышко флакона, кувшина или бутылки, я испытывал внутреннюю дрожь от осознания того, что могу вот-вот исчезнуть совсем, — так люди порой говорят, что умирают, достигнув высшего блаженства в любви. Стать ничем в ее бутылке и влить в эту женщину свое семя — в чем-то для меня это было одно и то же. И я научил ее магическим заклятьям, словно заключая некое пари с самим собой, словно играя с Судьбой. В «русскую рулетку» играя, — добавил джинн, кажется, извлекший эти неведомые ему слова прямо из воздуха.

— Итак, я оказался внутри, а она снаружи, и она совершенно забыла обо мне, — заключил он свой рассказ.

— Ну а теперь, — сказал джинн, — когда я рассказал тебе все истории моих заключений в различные сосуды, ты тоже должна рассказать мне о своей жизни.

— Я преподаватель. В университете. Была замужем, а теперь свободна. Путешествую по миру на самолетах и рассказываю о том, как нужно рассказывать сказки и истории.

— Ну так расскажи мне свою историю.

Тут доктора Перхольт охватило нечто вроде паники. Ей казалось, что никакой «своей истории» у нее нет, во всяком случае такой, которая могла бы заинтересовать это горячее существо с пронзительным взглядом и беспокойным умом. Не могла же она рассказать ему всю историю западного мира, начиная с того дня, когда Зефир по ошибке пожелала забыть о нем, оставив его в бутылке из стекла «соловьиный глаз», а без этого «ожерелья сказок» вряд ли он поймет ее.

Он положил свою огромную ручищу на прикрытое махровым халатом плечо Джиллиан. Даже сквозь халат она ощущала, какая у него горячая и сухая рука.

— Расскажи мне что хочешь, — сказал он.

И она неожиданно для себя начала рассказывать джинну о том, как когда-то училась в частной школе-интернате в Камберленде, где было полным-полно девчонок и от их гогота и ссор некуда было спрятаться. Возможно, она рассказывала это потому, что видела перед собой Зефир на женской половине купеческого дома в Смирне 1850-го года. Она рассказывала ему, как ужасны спальни, наполненные сонным дыханием множества других людей. Я от природы отшельница и люблю одиночество, говорила доктор Перхольт джинну. Именно тогда, в этой школе, она написала втайне ото всех свою первую книгу. Это была книга о молодом человеке по имени Джулиан, который скрывался, переодевшись девушкой и назвавшись именем Джулианна,

примерно в таком же интернате. Скрывался он то ли от убийцы, то ли от похитителя — это она уже с трудом могла припомнить, так много прошло времени. На мгновение она смолкла, но джинн тут же проявил нетерпение. А не имела ли она склонности к женскому полу в те времена? Нет, сказала доктор Перхольт, она считает, что написала эту историю из-за окружавшей ее пустоты, из желания вообразить какого-нибудь мальчика, мужчину, кого-то *иного*, чем она сама и все эти девчонки. «А что там в этой истории было дальше?— спросил джинн. Неужели ты не могла подыскать себе настоящего мальчика или мужчину? И как ты вообще решила этот вопрос?» «Нет, не могла, — призналась доктор Перхольт. — Да и история эта потом показалась мне такой глупой, особенно в письменном виде. Я напичкала ее всякими деталями, очень реалистическими — какое у него белье, какие проблемы с физкультурой, — но чем больше реализма я пыталась впихнуть в то, что на самом деле было воплем неосуществленного желания — желания самого обычного, — тем более глупой становилась моя история. Ее бы следовало назвать фарсом или басней, как я теперь понимаю, а тогда я писала о трагической страсти, да, это была настоящая трагедия, круто замешенная на правдоподобии. Я сожгла свое произведение в школьной печи. У меня просто не хватило воображения. Я совершенно запуталась в том, где реализм, а где реальность, и в том, что со мной происходило на самом деле, — а на самом деле мне страшно хотелось не быть в этой школе, в этом месте. И вот у меня не хватило воображения. Правда, наверное, именно потому, что этот Джулиан-Джулианна оказался такой нелепой, смехотворной фигурой, я стала исследовательницей повествовательных жанров, а не создательницей художественной прозы. Я честно пыталась вызвать его в этот мир, оживить — у него были длинные черные волосы, а тогда все англичане носили короткие стрижки, — но он решительно не желал появляться здесь, он отсутствовал или почти отсутствовал в моей жизни. Нет, не совсем так. Иногда он все-таки появлялся, в виде некоего духа, что ли. Ты меня понимаешь?»

— Не до конца, — сказал джинн. — Он тоже был некоей эманацией, вроде того Беккера, которого ты так и не позволила подарить тебе?

— Да, но только эманацией отсутствия. — Она помолчала. — Еще до него у меня был один мальчик, который был настоящим...

— Твой первый возлюбленный?

— Нет. Нет. Он был настоящий, но не во плоти. Золотисто-смуглый, он ходил со мною рядом повсюду, куда бы я ни пошла. Он сидел со мною за столом, лежал подле меня в постели, пел со мною вместе, проникал в мои сновидения. Он исчезал, когда у меня бывали головные боли или я просто плохо себя чувствовала, но всегда появлялся, когда я задыхалась от приступов астмы. Его имя было Таджио, не знаю уж, откуда я это взяла; да нет, он просто явился однажды вместе с этим именем, а я подняла глаза и увидела его. Он рассказывал мне всякие истории. На языке, который знали только мы двое. Один раз я нашла стихотворение, в котором говорилось, что это значит — жить в его обществе. Я не думала, что такое еще кому-то знакомо.

— Мне известно о таких существах, — сказал джинн. — У Зефир тоже был один из них. По ее словам, он был как бы слегка прозрачным, но двигался и все делал по собственной воле, а не по ее желанию. Прочитай мне это стихотворение.

Когда мне было лет тринадцать,
Я побывала в сказочной стране,
О, Чимборасо[1], Котопахи[2],
Они друзьями стали мне.

Отец мой умер, умер брат,
Они уплыли, как в мечтах,
В страну, где Попокатепетль[3]
Светился в солнечных лучах.

Я смутно слышала урок,
Мальчишек крики где-то далеко,
О Чимборасо, Котопахи,
Украли мою душу вы легко.

И, утонув в золотистой мечте,
В ту страну летела я с ней —
Сияющий Попокатепетль
Над пыльной улицей виделся мне.

[1] Чимборасо — потухший вулкан в Эквадоре, в Андах; 6 262м.
[2] Котопахи — вулкан в Эквадоре, в Андах; самый высокий действующий вулкан в мире; около 6 000м.
[3] Попокатепетль — действующий вулкан в Мексике; 5452м.

И смуглый мальчик меня провожал,
Но мы ни слова сказать не могли.
О Чимборасо, о Котопахи,
Вы все слова мои унесли?

И, зачарованно глядя ему в лицо,
Что прекрасней цветка любого,
Хотела я знать, о Попокатепетль,
Не ты ли сказал свое слово?

Дома и прохожие мне казались
Виденьями, улетающими с ветерком.
О Чимборасо, Котопахи,
Украли мою душу вы легко.

— Я люблю это стихотворение, — сказала доктор Перхольт. — В нем есть две вещи: волшебные имена и смугло-золотистый мальчик. Хотя имена к самому мальчику отношения не имеют, в них заключена поэзия языка, да и сам он — поэзия языка, его романтика... он, пожалуй, более реален, чем... сама реальность — подобно тому как богиня Эфесская более реальна, чем то, что я...

— И я тоже — находимся здесь, — подхватил джинн.

— Действительно, — сказала доктор Перхольт. — Бесспорно.

Наступила тишина. Потом джинн спросил доктора Перхольт о муже и детях, о ее доме, о родителях, и на все эти вопросы она отвечала, не ощущая — ни в собственной душе, ни в его восприятии — никакого по-настоящему живого отклика; эти люди как бы ничего для нее не значили в данный момент, и она не могла оживить их в своем рассказе. Мой муж уехал на Мальорку с Эммелин Портер, сказала она джинну, и решил назад не возвращаться, и я была этому рада. Джинн спросил, какова внешность мистера Перхольта и хороша ли собой Эммелин Портер, и получил невыразительные и неудовлетворившие его ответы. «Они просто восковые фигуры, эти твои люди», — сказал джинн возмущенно.

— Я не хочу думать о них.

— Это совершенно очевидно. Расскажи мне лучше что-нибудь о себе — что-нибудь такое, чего ты никогда никому другому не рассказывала, что-нибудь такое, чего ты ни разу не доверила ни одному своему любовнику в тиши самой прекрасной ночи, ни одному другу в тепле долгого вечера. Что-нибудь такое, что ты хранила только для меня.

И один образ тут же промелькнул в ее душе, но она отвергла его как недостаточно интересный.

— Расскажи мне, — сказал джинн.

— Это все ерунда.

— Расскажи.

— Однажды я была подружкой невесты. На свадьбе одной моей хорошей приятельницы, мы вместе учились в колледже. Она очень хотела белое подвенечное платье с фатой и цветами, и чтобы играл орган, и все такое, хотя уже давно и вполне счастливо жила со своим приятелем, они спали вместе, и она говорила, какое это блаженство — жить с любимым человеком, и я верила, что это на самом деле так. В колледже нам всем она казалась такой уравновешенной, замечательно сильной и властной женщиной, к тому же обладавшей сексуальным опытом, что в дни моей юности было явлением довольно необычным...

— Женщины всегда изыскивали способы...

— Не надо вторить «Тысяче и одной ночи». Я же тебе действительно что-то важное рассказываю. Так вот, она была исполнена чисто физической красоты и способности стать счастливой, на что большинство из нас способно не было, тогда было модно представляться встревоженной, страдающей, нервной, особенно это касалось девушек — а может, и молодых мужчин тоже. Наше поколение находило нечто постыдное в том, чтобы остаться незамужней, старой девой, — хотя все мы были умными и образованными, как Зефир, мои подруги и я сама, у всех у нас была та жажда знаний, о которой ты говорил, мы готовились стать учеными...

— Зефир была бы, конечно, тоже счастлива стать преподавателем, например философии, — проговорил джинн.— Никто из нас, ни я, ни она, не мог даже как следует придумать, кем ей стать — в те-то времена...

— А моя подруга — пусть она будет Сюзанной, это ненастоящее ее имя, но я не могу продолжать рассказывать без имени вообще, — так вот, моя подруга всегда казалась мне явившейся из какого-то дивного далека, из замка, полного прекрасных вещей. Но когда я приехала к ней на свадьбу, я увидела дом, весьма похожий на мой

собственный — маленькая коробка в ряду точно таких же домиков-коробок, — и там была все та же плетеная кушетка и стандартный набор из трех предметов с плюшевой обивкой...

— Стандартный набор с плюшевой обивкой? — поинтересовался джинн. — Что же это за вещь такая ужасная, что ты так хмуришься?

— Я знала, что бессмысленно рассказывать тебе о чем-то, принадлежащем к этому моему миру. Он был слишком велик для тех комнат, слишком громоздок, он *все придавливал*... А гарнитур из трех предметов — это два кресла и диван, которые у всех стоят на бежевом ковре с букетами цветов...

— Диван... — проговорил джинн, услышав знакомое слово. — Ковер.

— Ты не понимаешь, о чем я. Мне вообще не следовало рассказывать эту историю. Все английские истории тонут в болоте бесконечных разговоров о том, была ли социально и эстетически приемлемой мебель в конкретном доме или не была. Эта — не была. То есть это я так думала тогда. Теперь-то я все нахожу интересным, потому что живу своей собственной жизнью.

— Не горячись. Итак, тебе не понравился дом. Дом был маленький, а этот «стандартный набор из трех предметов с плюшевой обивкой» был слишком велик, как я понимаю. Расскажи мне о свадьбе. Изначально эта история была посвящена свадьбе, а не креслам и дивану.

— Да, верно. Само бракосочетание прошло великолепно. На невесте было очаровательное платье, как на принцессе из сказки, — тогда как раз в моде были платья кроя «принцесс», мне тоже сшили такое платье из переливчатой тафты, бирюзовой и серебристой, с вырезом сердечком. А на Сюзанне было несколько кружевных юбок, а поверх них еще шелковая, и просто невероятная фата из белых тонких кружев, и живые цветы в волосах — маленькие бутоны роз. И в ее маленькой комнатке просто места не хватало для всей этой лавины чудесных вещей и подарков. У нее была детская прикроватная лампа с Кроликом Питером, евшим морковку. И все эти переливающиеся шелка и кружева... В тот день она выглядела такой прелестной, словно явившейся из другого мира... А у меня была еще шляпа с широкими полями, она очень шла мне... Я надеюсь, ты можешь вообразить себе эти платья, но вот самого дома, самого этого места ты вообразить себе не сможешь.

— Если ты утверждаешь, что я не смогу себе чего-то вообразить, — отвечал джинн любезно, — то для чего же ты мне рассказываешь эту историю? Я не могу поверить, что это и есть та самая история, которую ты никогда никому не рассказывала.

— Вечером перед свадьбой, — продолжала Джиллиан Перхольт, не обращая на него внимания, — мы были с ней вместе в ванной, в маленькой ванной комнате ее родителей. Ванная была выложена кафелем, разрисованным рыбками с развевающимися плавниками и большими мультипликационными глазами...

— Мультипликационными?

— Диснеевскими. Да это все не важно. Очень смешными глазами.

— Смешной кафель?

— Ну, это не важно. Мы, правда, не садились вместе в ванну, но мылись вместе...

— И она захотела заняться с тобой любовью? — спросил джинн.

— Нет, — сказала доктор Перхольт. — Не захотела. Просто я вдруг увидела себя. Сперва в зеркале, а потом опустила глаза и посмотрела на себя. И на нее — у нее кожа была жемчужно-белая, а у меня золотистая. И она была нежная и милая...

— А ты не была?

— Я была безупречна. Как раз в это время, как раз в самом конце своего девичества, перед тем как стать женщиной, я, честное слово, была безупречна.

Она вспомнила, как увидела собственные маленькие прелестные груди, и теплый, плоский, крепкий живот, и длинные ноги, и стройные лодыжки, и талию — ах, ее талия...

— И она сказала: «Кто-то из мужчин сойдет с ума от страсти к тебе». И я готова была лопнуть от гордости — я никогда прежде такого не испытывала и потом никогда. Вся такая золотистая...— Она задумалась. — Две девчонки в жалкой ванной комнате пригородного домишка! — сказала она типично *английским* неодобрительным тоном...

— Но когда я переменил твою внешность, — сказал джинн, — то ты стала не такой. Ты сейчас очень мила, очень и очень хороша, очень желанна, но ты небезупречна.

— Это было тогда просто ужасно. И я ужасно испугалась. Это было, как...— она вдруг совершенно неожиданно нашла подходящие слова, — как если бы в руках у меня было страшное оружие, острый меч, с которым я не умею управляться.

— О да, — сказал джинн. — Грозная, как полки со знаменами.

— Но это оружие мне не принадлежало. Я просто невольно поддалась искушению... полюбить себя — полюбить собственное тело. Оно было прелестно. Но нереально. То есть я хочу сказать, оно действительно существовало, оно было самым на-

стоящим, но разумом я понимала, что оно таким ни за что не останется — что-нибудь с ним непременно случится. Я владела им — и в этом было что-то неестественное. Кроме того, я не собиралась жить согласно его законам. — Голос у нее сорвался, она вздохнула. — Я ведь живу скорее головой, чем телом, джинн. И я могу позаботиться о своем разуме. О нем-то я забочусь несмотря ни на что.

— Это что, конец всей истории? — спросил джинн после того, как она в очередной раз долго молчала. — Твои истории какие-то странные, мимолетные, что ли. Они как бы иссякают сами собой, у них нет формы.

— Так принято в моей культуре или, точнее, было принято. Но нет, это еще не конец. Еще немножко. Утром отец Сюзанны принес мне завтрак в постель. Вареное яичко в шерстяном колпачке, маленький посеребренный чайничек под вязаной грелкой, похожей на домик, тосты в подставке, масло в масленке, и все на маленьком подносе с опускающимися ножками — такие бывают у старух в богадельнях.

— Тебе не понравилось то — ну, что там было на чайнике? Твое эстетическое чувство, которое столь развито, было покороблено, взбунтовалось?

— Он совершенно неожиданно наклонился ко мне и задрал мою ночную сорочку до самых плеч. Потом взял в ладони мои безупречные груди, — сказала доктор Перхольт, которой было пятьдесят пять и которая теперь выглядела на тридцать два, — и опустил свое печальное лицо между ними — он был в очках, стекла запотели, очки съехали набок; а еще у него были маленькие колючие усики, которые царапали мне кожу, как сороконожка. Он сопел между моих грудей, потом пробормотал только: «Я не могу этого вынести» — и стал тереться своим телом о мое одеяло, я только наполовину понимала, что он делает; одеяло было из искусственного шелка, цвета пресловутой нильской воды, а он все сопел, и дергался, и крутил мои груди, а потом вдруг спустил эти маленькие ножки на подносике, поставил его поверх моих ног и быстро ушел прочь — чтобы вскоре отдать другому мужчине свою дочь, что он проделал с большим достоинством и вел себя совершенно очаровательно. А меня просто тошнило, и было такое чувство, будто во всем виновато мое тело. Будто именно из-за него, — сказала она четко, — случилось все это — и ползанье, и вздохи, и потное лицо этого человека, и гарнитур из трех предметов с плюшевой обивкой, и искусственный шелк одеяла, и эти колпачки для чайного набора...

— И это конец истории? — спросил джинн.

— Да, именно здесь закончил бы ее рассказчик из моей страны.

— Странно. И ты, встретившись со мной, попросила дать тебе тело тридцатидвухлетней женщины?

— Я просила не об этом. Я попросила сделать мое тело таким, каким оно нравилось мне в последний раз. А в юности оно мне не нравилось. Я, может быть, отчасти поклонялась ему, но оно меня пугало... А то, что ты дал мне, — это действительно мое тело, я нахожу его привлекательным, я им даже немного любуюсь, во всяком случае, мне приятно смотреть на него...

— Как гончар, который намеренно делает какую-нибудь щербинку, крохотный изъян в идеально получившемся горшке.

— Возможно. Если считать молодость «крохотным изъяном», каковым она и является. Наверное, и неведение той девушки было для нее тяжким бременем.

— А теперь ты уже знаешь, что еще хотела бы пожелать себе?

— А, так тебе просто хочется поскорее освободиться?

— Напротив, мне здесь очень нравится, я прямо-таки сгораю от любопытства, и у меня впереди сколько угодно времени.

— А мне сейчас просто нечего желать. Я все думаю о той истории с царицей Савской, и о том, каким мог быть ответ на вопрос, чего женщины хотят больше всего на свете. Вот послушай, я расскажу тебе историю об одной эфиопской женщине, которую видела по телевизору.

— Я весь внимание, — сказал джинн, вытягиваясь поудобнее на кровати и для этого чуточку уменьшаясь в размерах. — А скажи, ты действительно можешь заставить этот ящик шпионить для тебя повсюду в мире? И можешь увидеть Манаус или Хартум по собственному желанию?

— Не совсем, но отчасти. Например, тот теннисный матч шел в живом эфире — мы называем эфир «живым», когда передача идет прямо с места событий, в данном случае прямо из Монте-Карло. Но мы также можем фиксировать эти изображения на пленке — получаются истории, фильмы, которые потом можно просматривать для собственного удовольствия. Та эфиопская женщина была частью такой истории, отснятой для фонда «Спасите детей» — известной благотворительной организации. Эта организация отправила какое-то количество продуктов в одну эфиопскую деревню, в течение долгого времени страдавшую от засухи и голода. Продукты предназначались исключительно для детей — чтобы дети смогли продержаться в течение зимы. И когда продукты привезли, то заодно засняли на пленку людей из той деревни —

вождей, старейшин, играющих детей. Исследователи снова поехали туда примерно через полгода, чтобы осмотреть детей, взвесить их, проверить, помогли ли им оставленные продукты...

— Эфиопия — жестокая страна, и люди там жестокие, — сказал джинн. — Прекрасные и ужасные. И что же ты увидела в своем ящике?

— Сотрудники этого благотворительного фонда были просто вне себя — страшно огорчены и разгневаны. Вождь деревни тогда пообещал им раздать продукты только в семьи с маленькими детьми, которым, собственно, и предназначалась помощь согласно проекту; а проект — это...

— Я знаю. В свое время я знавал немало прожектеров.

— Но этот вождь поступил совсем не так, как его просили. Согласно его представлениям, кормить одни семьи и не кормить другие было недопустимо; а согласно представлениям этого народа, кормить следовало в первую очередь не маленьких детей, а взрослых мужчин, которые могут еще работать в полях и попытаться хоть что-то там вырастить. Так что подаренные продукты вождь распределил слишком широко — и все в деревне только еще больше отощали, а некоторые из тех детей умерли — даже многие, по-моему, — остальные же были в очень тяжелом состоянии от голода, потому что еды той им совсем не досталось.

И сотрудники благотворительной организации, люди из Америки и Европы, были всем этим разгневаны и огорчены, а их операторы (те люди, которые снимали события на пленку) отправились в поля вместе с мужчинами, которые тогда получили пищу и сумели засеять свои участки в надежде на дождь, и даже какой-то небольшой дождь у них, кажется, там прошел, — так вот, эти мужчины приподнимали с земли поникшие ростки и показывали операторам и официальным представителям, что корни у растений сожраны нашествием пилильщиков, значит, урожая все равно не будет. Они были в полном отчаянии, эти мужчины, когда держали в руках умирающие чахлые ростки. У них больше не осталось надежды, и они совершенно не представляли, что им теперь делать. Мы много раз видели по телевизору умирающих от голода людей и понимали — как, должно быть, понимаешь и ты, — чем это кончится, и мы послали туда еще продукты, потому что были глубоко тронуты тем, что увидели.

А потом операторы зашли в одну маленькую хижину и засняли ее обитателей; там в темноте ютилось четыре поколения женщин: бабушка, мать и ее дочь, молодая женщина с грудной девочкой. Мать деревянной палочкой помешивала что-то в котелке над огнем — видимо, какую-то очень жидкую похлебку, а бабушка сидела на лежанке, прислонившись спиной к стене в том месте, где крыша хижины — она, кажется, имела форму конуса — соединялась со стеной. Они все были ужасно худые, но еще не умирали — они еще не сдались, у них еще не было таких глаз, которые смотрят как бы в пустоту, или таких обвисших, совершенно бессильных мускулов, из-за которых люди уже ничего не могут, и им остается только ждать. Они были все еще красивы, эти женщины, с тонкими удлиненными лицами, с высокими удивительно изящно очерченными скулами, и в каждом движении их сквозило достоинство — во всяком случае, западные люди вроде меня воспринимали это как достоинство: они держались очень прямо и головы несли высоко...

И репортеры взяли интервью у старухи. Я помню его, хотя и не полностью, но все-таки помню — отчасти потому, что она была такая красивая, а отчасти благодаря искусству того мужчины, что снимал ее на пленку, — впрочем, возможно, оператором тоже была женщина; старуха была страшно худая, но вовсе не уродливая; одну свою длинную руку она закинула за голову, а ноги вытянула на лежанке, и при съемке получилась как бы рамка — рамка из ее рук и ног, некое убежище, из которого выглядывало ее лицо, когда она говорила. А глаза у нее были как темные дыры, а тонкое лицо — такое худющее, вытянутое... Она говорила с экрана телевизора и одновременно как бы изнутри собственного тела. А внизу по экрану шли титры на английском — перевод того, что она говорила. Она сказала, что еды у них больше не осталось совсем, что та маленькая девочка непременно будет голодать, что у матери не будет молока для нее, потому что еды тоже больше не будет. А затем она сказала: «Я женщина, поэтому я не могу выйти отсюда; я должна сидеть здесь и ждать своей судьбы. Ах, если бы только я не была женщиной! Я бы вышла отсюда и непременно что-нибудь сделала...» Все это она говорила таким монотонным, усталым голосом. А в это время мужчины снаружи в полном отчаянии топтались среди борозд на поле, пиная ногами превратившуюся в пыль землю и чахлые погибающие ростки...

Не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Впрочем, я и еще кое-что скажу тебе. Мне велели загадать желание у волшебной колонны в храме Айя-София — и прежде чем я успела сообразить и остановиться — это, надо сказать, была... не очень приятная с виду колонна, — я пожелала то, чего всегда желала в детстве.

— Ты пожелала не быть женщиной.

— Там были три женщины, они смеялись надо мной, заталкивали мою руку в эту

дыру... Я думаю, может, это царица Савская и сказала Соломону о том, чего хотят все женщины?

Джинн улыбнулся.

— Нет, не это. Она совсем не это сказала ему. Не совсем это.

— А ты откроешь мне, что же она все-таки ему сказала?

— Если таково будет твое желание.

— Да, я хочу... Ох, нет. Нет, и совсем не этого я хочу!

Джиллиан Перхольт посмотрела на джинна, раскинувшегося на ее постели. Пока они рассказывали друг другу истории, успел спуститься вечер. Странный отсвет плясал на его золотисто-зеленоватой коже, похожий на сияние, исходящее от византийских мозаик, в которых пластинки помещаются под небольшим углом друг к другу, чтобы особым образом отражать свет. Перья у джинна за спиной мерно поднимались и опадали, словно сами дышали, — дивной красоты перья, серебристые и алые, цвета бронзовых хризантем и лимонно-желтые, синие, как сапфиры, и зеленые, как изумруды. В аромате, исходившем от джинна, чувствовался легкий запах серы, и еще сандалового дерева, и еще чего-то горьковатого, может быть, мирры, решила она, хотя никогда в жизни мирры не нюхала, но помнила того короля в Рождественском гимне:

Мирра моя, горьковатый твой запах —
Жизни глоток средь кромешного мрака,
В печальной, вздыхающей, кровоточащей,
Холодной как лед запечатанной раке.

Кожа на внешней стороне бедер джинна была зеленоватой, а на внутренней — нежной, золотистого оттенка. Он несколько поправил свою тунику, но недостаточно аккуратно: Джиллиан могла видеть его член, свернувшийся как змея и подрагивающий.

— Я бы желала... — сказала доктор Перхольт джинну, — я бы желала, чтобы ты полюбил меня.

— Ты оказываешь мне честь, — сказал джинн. — Но, возможно, ты зря потратила второе желание: скорее всего любовь меж нами все равно зародилась бы, поскольку мы уже так долго вместе и без конца рассказываем друг другу истории из своей жизни, как то делают все влюбленные.

— Любовь, — сказала Джиллиан Перхольт, — требует щедрости. Я вдруг обнаружила, что ревную тебя к Зефир, а я никогда никого ни к кому не ревновала. Я хотела — даже больше чем просто хотела — отдать, подарить что-то именно тебе; хотя бы мое второе желание... — пояснила она несколько сбивчиво. Огромные глаза, точно драгоценные камни, обладающие множеством оттенков зеленого, внимательно смотрели на нее, и изогнутые губы раскрылись в улыбке.

— Ты даешь и привязываешь, — сказал джинн, — как и все влюбленные. Ты отдаешь себя — это очень смелый поступок, такого, мне кажется, ты никогда прежде не совершала; а я нахожу, что ты в высшей степени достойна любви. Иди сюда.

И, не шевельнув даже пальцем, доктор Перхольт обнаружила, что уже лежит обнаженная на постели в объятиях джинна.

То, что произошло потом, она запомнила чрезвычайно четко, каждой клеточкой своего тела, каждым нервом, однако в целом все это было неописуемо. Во всяком случае, не было никого на свете, кому ей захотелось бы попробовать описать свои любовные утехи с джинном. Физическая близость — это всегда смена обличий: мужчина может стать огромным, как дерево, как колонна; женщина, напротив, словно уходит в бесконечность, свертывая в себе пространство и время. Но джинн мог продлить все что угодно как во времени, так и в пространстве, и Джиллиан, казалось, плыла по его телу вечно, как дельфин в бескрайнем зеленом море; а потом становилась арками пещер в гористых берегах, и он проникал в эти пещеры, врывался туда как вихрь; или она становилась пропастью, где он лежал свернувшись, как дракон. Он мог стать вершиной наслажденья на холме ее дугой изогнувшегося в восторге страсти тела; он летал над ней, подобный удивительной бабочке, щекоча ее то тут, то там легким прикосновением, горячим, сухим, почти обжигающим поцелуем, — и снова превращался в холмистую долину, где она отдыхала раскинувшись, где теряла себя — теряла себя в нем, и он снова обретал ее в себе, держал на своей гигантской ладони, а потом со вздохом уменьшался и прижимал ее к груди, к животу, прижимал ее так, как влюбленный мужчина прижимает к себе женщину. Его пот был подобен дыму, а шепот — гудению роя пчел, говорящих почему-то на множестве разных языков; она чувствовала, как горит ее кожа, но не ощущала ни малейшей опасности и усталости тоже не чувствовала, а один раз даже попыталась рассказать ему о любовниках Марвелла[1], у которых не было «времени в достатке и пространства», но смогла прошеп-

[1] Эндрю Марвелл (1621—1678) — английский поэт и сатирик. Имеется в виду его знаменитое стихотворение «Застенчивой возлюбленной».

тать лишь несколько слов в зеленую пещеру его уха: «Любовь моя огромнее империй...», которые джинн с улыбкой повторил, повинуясь удивительно сладостному ритму движений собственного тела.

А потом она уснула. И проснулась одна в своей хорошенькой ночной рубашке среди подушек. И встала печальная, и отправилась в ванную, где по-прежнему стояла бутылка из стекла «соловьиный глаз», на влажных боках которой еще заметны были отпечатки ее собственных пальцев. Она печально коснулась синего ее бока, провела пальцами по белым спиралям — мне, конечно же, все это привиделось во сне, подумала она, — и вдруг из бутылки вылетел джинн и скрючился в ее ванной комнате, как та эфиопская женщина на телевизионном экране, пытаясь как-то разместиться в тесном помещении.

— Я думала...

— Я знаю. Но как видишь, я здесь.

— Ты поедешь со мной в Англию?

— Я должен, если ты меня попросишь. Но я и сам хотел бы этого — мне интересно посмотреть, каков теперь мир и где ты живешь, хотя ты и не способна описать это место как нечто представляющее интерес.

— Оно будет представлять интерес, если там будешь ты.

Но ей было страшно.

И они отправились в Англию — фольклористка, бутылка из восточного стекла и джинн; обратно Джиллиан полетела на самолете компании «Бритиш Эруэйз», и бутылка, завернутая в кусок толстой синтетической пленки с пупырышками, покоилась в сумке, стоявшей у нее в ногах.

А когда они приехали в Лондон, доктор Перхольт обнаружила, что и то желание, которое она некогда загадала, стоя между двумя Лейлами перед богиней Артемидой, также исполнилось: ее ожидало письмо с просьбой сделать основной доклад на конференции в Торонто этой осенью; в случае согласия ей оплачивался авиабилет в бизнес-классе и номер в отеле «Ксанад», где действительно был настоящий плавательный бассейн — голубой, под прозрачным куполом, на шестьдесят четвертом этаже над берегами великолепнейшего озера Онтарио.

В Торонто было холодно и ясно. Доктор Перхольт отлично устроилась в своем номере, отделанном с большим вкусом; зимы в Канаде холодные, поэтому весь интерьер был выполнен в теплых тонах — каштановых, коричневых, янтарных, и лишь кое-где пламенели легкие мазки красного и оранжевого. Гостиничные номера часто напоминают арену во время выступлений иллюзиониста: их бетонные стены тщательно оштукатурены и похожи на сахарный «снег», которым украшают торты, а все вещи и занавеси свисают с ввинченных в стены штырей и крючков — дамаск и муслин, зеркало в позолоченной раме и богатые канделябры с несколькими свечами, призванные создать иллюзию богатства и роскоши. Однако все это может исчезнуть во мгновение ока и смениться совершенно иными красками, тканями и вещами — хромированные ручки появятся вместо бронзовых, пурпурные тона — вместо янтарных, кисея в белый горошек заменит золотистый дамаск, и эта щегольская отточенная сиюминутность тоже является частью волшебства. Доктор Перхольт распаковала бутылку, вынула пробку, и джинн — на этот раз нормальных человеческих размеров — выбрался наружу, помахивая своими крыльями-плащом и расправляя перья. Потом он стрелой вылетел в окно, чтобы осмотреть озеро и город, вскоре вернулся и заявил, что она непременно должна пролететь с ним вместе над водами озера, огромного и холодного, и что небеса и атмосфера здесь настолько заполнены спешащими куда-то людьми, что ему приходилось то и дело вилять между ними. Такое кишение в волнах воздушного океана политиков и поп-звезд, телевизионных проповедников и реклам пылесосов, движущихся лесов и путешествующих пустынь, непристойных изображений задниц, ртов и пупков, пурпурных фетровых динозавров и безумных белых щенков глубоко опечалило джинна. Он загрустил и чуть не впал в депрессию. Он был похож на человека, который всю жизнь только и делал, что в одиночестве пересекал пустыню на верблюде или пробирался через саванну на арабской лошадке, а теперь вдруг угодил в жуткую автомобильную пробку с кинозвездами, теннисистами и актерами-комиками, а над головами у них кружат «боинги», желающие отыскать местечко для посадки. Коран и Ветхий Завет, сообщил он доктору Перхольт, запрещали рисовать лица и сотворять кумиры, но хотя эти лица и не были нарисованы, они тем не менее явно были кумирами. Джинну все это казалось просто настоящей чумой, наводнением мира паразитами. Атмосфера, рассказывал он, всегда, разумеется, была полна невидимых существ — невидимых, впрочем, лишь для людей. Но те-

перь срочно требовалось что-то предпринять. Там, сказал джинн, в верхних слоях, не лучше, чем в бутылке! Просто невозможно расправить крылья!

— А если бы ты был совершенно свободен, — спросила доктор Перхольт, — куда бы ты отправился?

— Туда, в страну огня... где мой народ играет в языках пламени...

Они посмотрели друг на друга.

— Но я вовсе не хочу улетать, — мягко успокоил ее джинн. — Я люблю тебя, и у меня к тому же сколько угодно времени. А вся эта болтовня в атмосфере и все эти летающие кумиры — они ведь тоже по-своему интересны. Я там выучил множество языков. Вот послушай.

И он отлично изобразил утенка Дональда Дака, потом канцлера Коля с его звучным немецким, потом голоса всех «Маппетс», затем удивительным образом перевоплотился в Кири Те Каанава, после чего соседи доктора Перхольт забарабанили в стенку.

Конференция проходила в университете Торонто — увитом плющом здании в стиле викторианской готики. Это была весьма престижная конференция. Там присутствовали французские фольклористы Тодоров и Женетт и многочисленные востоковеды, настороженно ждавшие со стороны ученых-западников сентиментального сюсюканья и извращения фактов. Доклад Джиллиан Перхольт назывался «Исполнение желаний и Судьба в фольклоре: некоторые аспекты исполнения желаний как повествовательное средство». Она довольно поздно села писать его. Она так и не научилась писать свои доклады не второпях и не в последнюю минуту. Это, впрочем, вовсе не означало, что она не обдумала свою тему заранее. Она ее обдумала. И обдумала тщательно, поставив перед собой, словно икону, бутылку из стекла «соловьиный глаз» и глядя на ее синие и белые полосы, спиралями сходящиеся у горлышка. Она смотрела на свои сильные, красивые — обновленные! — пальцы, быстро двигавшиеся от одного края страницы до другого, и ощущала подтянутость и удобство молодых мышц своего живота. Она хотела придерживаться текста, однако, едва поднявшись на кафедру, поняла, что тема доклада вдруг вывернулась у нее в руках, подобно чудесной камбале, пытающейся вернуться обратно в море, подобно волшебной лозе[1], которая благодаря собственной энергии указывает нужное место в земле и дрожит, словно проводник под воздействием атмосферного электричества.

Как всегда, она постаралась включить в свой доклад некую историю, и вот эта-то история неведомым образом изменила доклад, увела его в сторону от основной темы. Было бы утомительно пересказывать все положения доклада доктора Перхольт. Их направление и смысл и так угадываются с самого начала.

— Герои в волшебных сказках, — сказала Джиллиан, — подчинены Судьбе и, по сути дела, являются исполнителями ролей, определенных ею. Обычно они предпринимают попытки изменить Судьбу с помощью магических сил и средств, однако, что весьма характерно, это лишь усиливает влияние Судьбы на жизнь героев; она будто только и ждет столкновения с героями, что, видимо, лишь подтверждает тот факт, что люди эти смертны и вновь обратятся в прах, из которого вышли. Наиболее ярким примером сказанного выше представляется история о человеке, который встречается со Смертью; Смерть говорит, что придет за ним нынче вечером, и этот человек бежит от Смерти в Самарру[2]. А потом Смерть замечает своему знакомому: «Наша первая встреча произошла случайно, ведь я должна была встретиться с ним нынче вечером в Самарре».

Романы нового времени посвящены теме выбора и причинам, побуждающим человека этот выбор сделать. Нечто от предопределенности событий есть и в истории о встрече в Самарре, и в «свободном» выборе Раскольникова и совершаемом им убийстве, ибо именно этот выбор влечет за собой вполне предсказуемое и естественное наказание. В случае с Лидгейтом Джордж Элиот[3] мы, правда, не ощущаем, что «заурядность» его характера — это тоже свидетельство неизбежности Судьбы: для него как раз было вполне возможно не выбирать женитьбу на Розамунде, приведшую впоследствии к краху всех его устремлений. Мы чувствуем, что когда Пруст решает поставить всем своим героям диагноз «сексуальная извращенность», он тем самым пытается как романист подменить собой Судьбу реального мира; и все же когда Сван тратит столько лет жизни на женщину, которая ему попросту не подходит, он в опре-

[1] Волшебная лоза — прут из ивы или орешника, который якобы указывает, где находятся грунтовые воды или металлы.

[2] Самарра — город в Ираке на реке Тигр.

[3] Джордж Элиот (настоящее имя Мэри Анн Эванс, 1819 — 1880) — английская писательница. Лидгейт — герой романа Дж. Элиот «Миддлмарч».

деленный момент тоже совершает выбор, который вполне возможен, но отнюдь не неизбежен.

Чувство, которое мы испытываем, когда героям волшебных сказок удается просто так осуществить самые свои заветные желания, — это весьма странное чувство. Мы ощущаем как бы некий рывок свободы — да, я могу получить то, что хочу! — и одновременно упрямую уверенность, что этот рывок свободы ничего не изменит; что запись в Книге Судеб уже сделана.

Я бы хотела рассказать вам одну историю, ее поведал мне мой друг, с которым я встретилась в Турции, — там истории начинаются словами «bir var mis, bir yok mis», что означает «может, было это, может, не было», и уже в них с самого начала заключается парадокс.

Джиллиан подняла глаза и увидела, что рядом с красавцем Тодоровым сидит некто с огромной и тяжелой головой, в куртке из овчины, с пышной шапкой густых и совершенно седых волос. Этого человека там раньше не было; а его белоснежная грива казалась экстравагантным париком, который в сочетании с синими темными очками придавал новому слушателю вид человека, страшно изуродованного и тщательно скрывающего свою внешность. У Джиллиан мелькнула мысль, что ей вроде бы знакомо движение, которым он приподнимает свою верхнюю губу, однако под ее взглядом губы тут же изменили свою форму и стали презрительно тонкими и поджатыми. В глаза незнакомцу она заглянуть не могла: когда она попыталась это сделать, стекла очков стали практически непроницаемыми и засверкали как темные сапфиры.

— В те времена, когда верблюды свободно перелетали с крыши на крышу, — начала она, — а рыбы на ночь рассаживались, как на насесте, на ветвях вишневых деревьев, а павлины были величиной со стог сена, жил-был рыбак. Он был очень бедный, да к тому же ему постоянно не везло — ничего в его сети не попадалось, хотя он трудился без устали, а в огромном озере с чистой водой и прекрасными водорослями было полно рыбы. И он сказал тогда: вот еще разок заброшу сеть и, если в ней опять ничего не будет, брошу эту рыбную ловлю совсем, я из-за нее только голодаю, так что лучше уж нищенствовать на дорогах. Итак, он забросил сеть, и в сеть его попалось что-то тяжелое и бугристое, а когда он вытащил это на берег, то оказалось, что там мертвая обезьяна, мокрая и вонючая. Ладно, сказал рыбак, это все-таки уже кое-что. Он вырыл в песке яму и похоронил ту обезьяну, а потом снова забросил сеть, решив, что уж этот-то раз будет последним. И опять в сеть что-то попалось, причем на этот раз явно живое: оно билось под водой и старалось вырваться. Исполненный надежды, рыбак вытащил сеть на берег, и оказалось, что там вторая обезьяна, но еле живая, беззубая, страшно израненная и пахнущая почти так же дурно, как и ее предшественница. Ну что ж, сказал рыбак, можно, конечно, попробовать вылечить эту обезьяну и продать какому-нибудь уличному музыканту. Но мысль эта была ему не по душе, да и сама обезьяна вдруг заговорила. «Если ты меня отпустишь, — сказала она ему, — и снова закинешь сеть, то поймаешь моего брата. И если не поддашься на его мольбы и уговоры, а также не станешь более закидывать сеть, то он останется с тобой и одарит тебя всем, что ты только пожелаешь». Ну, разумеется, были там еще всякие сложности, как и всегда, но я отнюдь не собираюсь их вам пересказывать подробно.

Это предложение, довольно сомнительное, правда, с точки зрения порядочности, понравилось рыбаку, и он без лишних слов распутал тощую обезьяну, снова закинул сеть, и на этот раз то, что в нее попалось, так сильно стремилось вырваться, что рыбаку пришлось изо всех сил потрудиться, чтобы вытащить сеть на берег. И там действительно оказалась обезьяна, причем очень большая; она прямо-таки вся лоснилась, прямо-таки излучала благополучие, и у нее — мой друг особенно подчеркнул это — был удивительно красивый зад, одновременно и голубой, и ярко-розовый, пронизанный алыми жилками.

Джиллиан снова глянула в сторону сапфировых очков и убедилась, что все рассказывает как надо: их обладатель энергично закивал.

— Итак, новая, большая обезьяна заявила, что если рыбак освободит ее и снова закинет сеть, то вытащит огромное сокровище, и еще дворец, и целую толпу рабов, и обеспечит себя на всю жизнь. Однако рыбак припомнил, что говорила ему тощая обезьяна, и сказал: «Нет, я хочу новый дом на берегу озера и своего верблюда; а еще я хочу, чтобы в моем новом доме немедленно устроили пир — достаточно, впрочем, скромный».

И все сразу же появилось, и рыбак пригласил обеих обезьян за стол, уставленный изысканными блюдами, и они с удовольствием приняли его приглашение.

А надо сказать, что этот рыбак в свое время очень любил слушать сказки, кроме того, он вообще был не дурак и человек рассудительный, так что, подумав, понял, что главная опасность таких желаний — излишняя самонадеянность и торопливость.

У него не возникло ни малейшего желания попасть, например, в такой мир, где все сделано из золота и совершенно несъедобно, и ему не без оснований казалось, что постоянное общество гурий, злоупотребление шербетом и искристым вином вскоре надоест и покажется утомительным. И он неторопливо пожелал себе того и сего понемножку: лавку, полную черепицы и изразцов на продажу, хорошего, честного и смышленого помощника, сад, полный кедров и журчащих фонтанов, небольшой домик с девушкой-служанкой для своей старой матери и, наконец, маленькую женушку для себя, как раз такую, что пришлась бы по вкусу его матери: не то чтобы прекрасную, как солнце и луна, но добрую, заботливую и любящую. И так он постепенно и очень спокойно создавал для себя некий мирок, весьма похожий на тот, что бывает в конце всех сказок, когда герои «потом жили долго и счастливо», и совсем не похожий на мир, созданный лихорадочно-поспешными желаниями, которые выполняла волшебная камбала в сказке братьев Гримм или даже Аладдинов джинн. И никто особенно не обращал внимания, как рыбаку везет, никто ему не завидовал и не пытался украсть его счастье, а все потому, что он был очень благоразумен и осторожен. Если же он или его маленькая жена болели, он желал, чтобы болезнь прошла, и болезнь проходила; а если кто-нибудь разговаривал с ним грубо, он желал поскорее позабыть об этом — и забывал.

Ну а в чем же тут сложности, спросите вы?

А вот в чем. Рыбак стал замечать, хотя и не сразу, что стоит ему чего-нибудь пожелать, и большая, лоснящаяся обезьяна чуточку худеет. Сперва — ну разве что на сантиметр, но чем дальше, тем больше, и вскоре она так ослабела, что ее приходилось поднимать на одеялах, чтобы она могла поесть. И наконец она стала такой маленькой, что ее усаживали на крошечном стульчике посреди обеденного стола, и она лакомилась крошечной порцией сладкого творога с мускатным орехом и сливками, вполне умещавшейся в солонке. А та тощая обезьяна давно уже с ними рассталась, но время от времени заходила в гости и с каждым разом выглядела все лучше и лучше. Она совсем поправилась, обросла шерстью, как и все обычные обезьяны, и у нее был точно такой же синий зад, как у обычных обезьян, ничего выдающегося. И рыбак как-то спросил у тощей обезьяны: «А что случится, если я пожелаю, чтобы твой брат снова стал большим?»

«Не могу сказать тебе, — ответила тощая обезьяна. — Что значит: не скажу ни за что».

И вот как-то ночью рыбак подслушал разговор двух обезьян. Тощая держала брата на ладони и говорила печально:

«Плохо твое дело, бедный мой братец. А скоро ты и совсем исчезнешь; ничего от тебя не останется. Как это грустно, видеть тебя в таком состоянии».

«Такова, видно, моя Судьба, — отвечала вторая обезьяна, некогда бывшая такой большой. — Мне на роду написано постепенно утрачивать свое могущество и при этом уменьшаться в размерах. Когда-нибудь я стану таким маленьким, что меня невозможно будет разглядеть, и этот человек больше не увидит меня и не сможет пожелать что-нибудь еще, хотя я все еще буду жив — раб размером с зернышко перца или песчинку».

«Все мы обратимся в прах», — нравоучительно произнесла тощая обезьяна.

«Но не с такой чудовищной скоростью, — возразила обезьяна, исполнявшая желания. — Я стараюсь изо всех сил, но требования ко мне все не иссякают. Тяжело, когда тебя все время используют. Я хотел бы умереть, но ни одно из моих собственных желаний исполнено быть не может. О, как это тяжело, тяжело, тяжело!»

И тут рыбак, который был, в сущности, добрым человеком, встал с постели, вошел в ту комнату, где беседовали две обезьяны, и сказал:

«Я не мог удержаться и подслушал вас. Сердце мое разрывается от жалости. Чем я могу помочь тебе?»

Но обезьяны мрачно на него посмотрели и отвечать не стали.

«Я бы хотел, — сказал тогда рыбак, — чтобы ты, обезьянка, взяла себе мое следующее желание, если это возможно, и пожелала что-то для себя».

И он стал ждать, что же произойдет.

И обе обезьяны исчезли, словно их и не бывало.

Но ни его дом, ни жена, ни процветающее дело никуда не исчезли. И рыбак этот продолжал жить-поживать да добра наживать по своему разумению — хотя отныне и был подвержен самым обычным человеческим недугам, как и все мы, пока не умер.

В волшебных сказках, — сказала Джиллиан, — те исполнимые желания, которые не направлены во зло или на разрушение мира, приводят к состоянию некоего прекрасного покоя, стасиса, являющего собой скорее произведение искусства, чем развязку драмы, разыгранной Судьбой. Герой-счастливец словно покидает тернис-

тый свой путь и оказывается среди неизменно очаровательного ландшафта, где царят вечная весна и безветрие. Джинн дарит Аладдину прекрасный дворец, и пока этот дворец находится во власти Судьбы, самые разные волшебники яростно перемещают его по земным просторам, строят на новом месте или заставляют исчезнуть. Но в самом конце дворец тоже обретает состояние покоя, или стасиса: он попадает в некую псевдовечность, «где живут долго и счастливо». Когда мы представляем себе тот мир, «где живут долго и счастливо», нам видятся произведения искусства: семейная фотография, сделанная солнечным днем; портрет Гейнсборо[1] — дама с детьми на английском лугу под деревом; «заколдованный» замок под падающими хлопьями снега из птичьего пуха, заключенный в стеклянный шар. И только гений Оскара Уайльда заставил человека и произведение искусства поменяться местами. Дориан Грей неизменно улыбается, радуясь вечной юности, а его портрету достаются все удары Судьбы, Судьбы чрезвычайно жестокой, ибо она связана со все ускоряющимся разрушением личности. Сказка о Дориане Грее, а также «Шагреневая кожа» Бальзака — история об уменьшающемся куске шкуры дикого осла, на время заставляющем Судьбу держаться на расстоянии от человека, — родственны и другим историям о желании вечной юности. По правде говоря, у нас теперь есть и научные способы обеспечения некоего псевдостасиса — протезирование, гормоны, пластическая хирургия, имплантация волос; то есть мы можем превращать людей в произведения искусства или ремесла. Непреклонные и прекрасные, неизменные в своей красоте звезды Джоан Коллинз и Барбара Картленд — вот символы нашего стремления к вечной жизни и молодости.

А сказка об обезьянах, по-моему, имеет самое непосредственное отношение к теории Зигмунда Фрейда относительно цели человеческой жизни. Фрейд, при всех прочих его достоинствах и недостатках, был великим исследователем страстного желания, страстного стремления человека «жить долго и счастливо». Он изучал эти желания и то, как мы воплощаем их в жизнь, по рассказываемым нами снам. Он считал, что во сне мы как бы перестраиваем историю собственной жизни, стремясь дать ей вожделенный «счастливый конец», который соответствует тайным потребностям или устремлениям каждого. (Он утверждал, что не знает, чего на самом деле хочет каждая женщина, и это незнание окрашивает и меняет форму всех его историй.) Во время первой мировой войны в повторяющихся снах о смерти у солдат он обнаружил повествовательный элемент, который противоречил этой мечте о счастье и исполнении всех желаний. Он открыл, как ему казалось, некое стремление к самоуничтожению. Вновь обдумав всю историю органической жизни на Земле, он пришел к выводу, что так называемые органические (врожденные) инстинкты изначально являлись инстинктами консервативными, охранительными, что они реагировали на любые возбудители только адаптацией к ним, чтобы сохраниться в своем исходном виде как можно дольше. «Консервативной природе этих инстинктов, — говорил Фрейд,— противоречила бы такая цель жизни, которой никто никогда не достигал; такое положение вещей, достичь которого невозможно». Нет, говорил он, то, чего мы желаем себе, обязательно должно быть из *старого* миропорядка. Живые организмы, что весьма любопытно, стремятся вернуться к своей исходной, неорганической форме существования — к праху, камню, земле. «Целью жизни является смерть», — утверждал Фрейд, рассказывая свою историю о сотворении мира; в ней каждое создание стремится вернуться к тому состоянию, в котором находилось, пока в него не вдохнули жизнь, и тогда уменьшение шагреневой кожи или усыхание обезьяны — это не ужасные последствия расходования жизненной силы, но тайное желание самой жизни.

Это был еще не конец ее доклада, однако именно здесь она во второй раз заметила, как блеснули сапфировые стекла очков.

Было множество вопросов, и доклад Джиллиан был признан в целом очень удачным, хотя и несколько непоследовательным.

Вернувшись в отель вечером, она возмущенно сказала джинну:

— Это ты сделал мой доклад непоследовательным! Я готовила доклад о Судьбе, о смерти и исполнении желаний, а ты всунул туда свободу обезьян, исполняющих желания.

— Я не вижу, что тут непоследовательного, — возразил джинн. — Энтропия правит всеми нами. Количество энергии уменьшается как при действии магических сил, так и во время работы наших нервов и мускулов.

[1] Томас Гейнсборо (1727 — 1788) — английский живописец.

— Теперь я готова высказать свое третье желание, — объявила Джиллиан.

— Я весь внимание, держу ушки на макушке, — откликнулся джинн, мгновенно увеличивая свои органы слуха до размеров слоновьих. — Не смотри так скорбно, Джиль-ян, еще, может, ничего и не случится.

— А где это ты подхватил такое выражение? Впрочем, не важно. Пожалуй, можно подумать, что ты пытаешься помешать мне высказать желание.

— Нет, нет. Я твой раб.

— Я бы хотела, — сказала Джиллиан, — чтобы ты получил все, чего сам пожелаешь... чтобы это мое последнее желание, может быть, стало и твоим тоже.

И она стала ждать, не прогремит ли гром или, что было бы куда хуже, не окутает ли ее тишина одиночества. Но услышала только звук бьющегося стекла. И увидела, как ее драгоценная бутылка из стекла «соловьиный глаз», что стояла на прикроватном столике, словно растворяется и стекает, как слезы,— не разбивается на острые осколки, но превращается в маленькую пирамидку из крошечных кобальтово-синих детских стеклянных шариков, в каждом из которых колечком свилась белая спираль.

— Благодарю тебя, — сказал джинн.

— Ты теперь уйдешь? — спросила фольклористка.

— Скоро, — ответил джинн. — Но не сейчас, не сразу. Ты же еще выражала желание, — помнишь? — чтобы я тебя полюбил, и я люблю тебя. Я подарю тебе кое-что, чтобы ты меня вспоминала, пока... пока я не вернусь, а я время от времени обязательно буду возвращаться к тебе...

— Если не забудешь вернуться до конца моей жизни, — сказала Джиллиан Перхольт.

— Если не забуду, — сказал джинн, казавшийся теперь облаченным в одежды из жидкого голубоватого огня.

В ту ночь он любил ее, и это было так прекрасно, что она одновременно думала о том, как ей могло прийти в голову отпустить его и как она вообще осмелилась держать подобное существо в своей квартирке на Примроуз-хилл или в номерах отелей Стамбула и Торонто.

А на следующее утро он предстал перед нею в джинсах и куртке из овчины и заявил, что сейчас они вместе пойдут в город за подарком. На сей раз его волосы — по-прежнему чрезвычайно неестественного вида — представляли собой какие-то ужасные спутанные кудрявые патлы, а кожа была светло-коричневой, как у эфиопа.

В магазинчике на одной из боковых улочек он показал ей самую красивую коллекцию пресс-папье, какую она когда-либо видела. Это современное канадское искусство, объяснили ей; здесь есть художники, которые способны поймать в такую стеклянную ловушку бурное море с катящимися по нему валами и превратить его в геометрический рисунок, который снова превращается в море только под определенным углом зрения, но зато тогда прозрачные воды его сверкают, точно под солнцем, и в водяной золотистой пыли над волнами повисают радуги; здесь есть художники, которые могут навсегда заточить красное и голубое пламя в холодный стеклянный шар или матовую стеклянную пирамидку цвета кобальта или изумруда, в которой изображение как бы стремится в бесконечность, отражаясь в бесчисленных гранях. Стекло сделано из земли, из кремнезема, из песка пустыни, расплавленных в яростном жаре тиглей и, благодаря человеческому дыханию, обретших свою теперешнюю форму. Оно — огонь и лед, жидкое и твердое одновременно; оно то ли существует, то ли его нет.

Джинн опустил в ладони доктора Перхольт большой, чуть вытянутый шар, внутри которого как бы плавали пестрые нити среди множества созданных дыханием пузырьков; нити были похожи на запятые, или на рыболовные крючки, или на спящих эмбрионов, или на завитки разноцветного дыма, или на свернувшихся змеек. Они были всех цветов — золотистые и желтые, ярко-голубые и темно-синие, прелестного чистого розового цвета, и алого, и еще бархатисто-зеленого... застывшее броуновское движение.

— Как хлынувшее семя, — сказал джинн мечтательно, — несущее в себе возможности любые... Ну и невозможности, разумеется. Это настоящее произведение искусства, плод истинного мастерства и просто веселая, прелестная вещица. Она тебе нравится?

— О да! — сказала доктор Перхольт. — Я никогда не видела так много разных цветов вместе.

— Это называется «Танец стихий», — сообщил джинн. — По-моему, название не совсем в твоем стиле, однако этой вещи оно подходит, как мне кажется. Или нет?

— Да, — сказала доктор Перхольт; она была исполнена печали и в то же время сознания того, что все идет как надо.

Джинн внимательно следил, как пресс-папье упаковывают в светло-малиновую ткань, а потом расплатился радужной кредитной карточкой с голографической Вене-

рой Милосской, что вызвало тревожное жужжание в компьютере кассы и чуть его не испортило. Когда они вышли на улицу, джинн сказал:

— Ну что ж. Пока. До свиданья.

— Да, возвращайся в свою родную стихию, — сказала доктор Перхольт. — Будь там свободен и счастлив, прощай и всего тебе наилучшего.

Она думала о том, что рано или поздно ей придется это сказать, с того самого дня, когда впервые увидела его чудовищную ступню под дверью своей ванной комнаты. И сейчас так и стояла, прижимая к себе подаренное пресс-папье. А джинн поцеловал ей руку и исчез куда-то в направлении озера Верхнего, подобно огромному пчелиному рою, бросив на тротуаре свою куртку из овчины, которая медленно съежилась — сперва до детского размера, потом до кукольного, потом до размеров спичечного коробка, потом до нескольких шипящих в воздухе атомов — и исчезла. Он также оставил на тротуаре шевелящуюся груду своих спутанных кудрей, похожих на какого-то странного ежа, который подергался, потоптался на месте, пробежал несколько футов по тротуару и исчез в канализационном люке.

Но вы, конечно, спросите: виделась ли она с ним еще хоть раз? Впрочем, может быть, это и не самый главный из вопросов, что родились в вашей душе, но единственный, на который вы ответ получите.

Два года назад Джиллиан, по-прежнему выглядевшая на тридцать два и вполне довольная собой, шла по Мэдисон-авеню в Нью-Йорке; она летела на очередную фольклористическую конференцию в Британскую Колумбию, и здесь у нее была остановка и пересадка. Внезапно она увидела перед собой витрину, полную разных пресс-папье. Эти пресс-папье не были произведениями искусства, подобно изделиям художников из Торонто, которые играли с цветом и фактурой стекла, с нитями и пятнами, создавая иллюзию движения. Нет, это были самые обычные старомодные, однако весьма искусно выполненные вещицы: millefiori[1], решетчатые, в виде корон, плетенные из тростника, с розами и фиалками, с ящерицами и бабочками внутри. Доктор Перхольт вошла в магазин с сияющими глазами и встретила там в полутьме двух очаровательных старичков, двух счастливцев в пещере, украшенной самоцветами; и они, по крайней мере полчаса, с изысканной вежливостью терпеливо вытаскивали для доктора Перхольт одно стеклянное пресс-папье за другим, снимая их со стеклянных полок, в которых они отражались. Вместе с ней они восхищались наивными плетеными «корзиночками» с букетиками васильков; разноцветными кружевными «подушечками» с геометрически правильным цветочным рисунком и прелестными, как райский сад, красками — должно быть, именно в Раю, в самом начале его неземного цветения, все сверкало такой свежестью и чистотой, теперь спрятанной внутри блестящего стекла и не подверженной губительному воздействию земного воздуха.

— Ах, стекло! — сказала доктор Перхольт двум пожилым джентльменам. — Это совершенно невозможная вещь, словно некая овеществленная метафора, словно волшебное средство для того, чтобы видеть суть предмета и сам этот предмет одновременно. Это и называется искусством, — сказала доктор Перхольт, а ее собеседники передвигали светящиеся, наполненные светом шары, красные, синие, зеленые, на своих видимых и не видимых глазу полках. — Больше всего мне нравятся вот эти цветы в геометрическом стиле, — сказала доктор Перхольт. — Они значительно интереснее, чем те, что претендуют на некий реализм и пытаются выглядеть как настоящие. Вы со мной не согласны?

— Целиком и полностью, — сказал один из старичков. — Целиком и полностью. Да и все впечатление гораздо выигрышнее при использовании четкого рисунка, геометрии стекла, геометрии граней. А вот эти вы уже разве видели? Это американские.

И он протянул ей пресс-папье, внутри которого на влажной зеленой ряске лежала, свернувшись, маленькая змейка со стеклянной ниткой ищущего язычка и почти микроскопическим красно-коричневым глазом на чуткой, но в данный момент спокойно-расслабленной мордочке оливкового цвета. И еще старичок дал ей пресс-папье, внутри которого, в толще стекла плавал, точно в воде глубокого колодца, цветок с розовым отогнутым лепестком под белым колпачком, с зеленым стеблем, с длинными листьями, вольно шевелящимися в воде, и с корнями, коричневыми от собственных соков и той земли, в которой они росли, — большой корень и маленькие корешки-ниточки, отходившие от него прямо в стеклянную «воду». Это было восхитительно — иллюзия живого, неумирающего цветка казалась абсолютно полной, а искусственное прелестное растение притягивало к себе внимание, как его естественный

[1] Тысячелистник (*итал.*).

прототип. И Джиллиан подумала о Гильгамеше, и об утраченном цветке, и о той змее. И вот сейчас они оба — и цветок, и змея — были рядом, подвешенные в толще стекла.

Она перевернула пресс-папье и поставила обратно на прилавок: цена была совершенно немыслимой.

И тут она заметила — почти равнодушно, — что на тыльной стороне руки, взявшей пресс-папье, вроде бы появилось новое темное старческое пятно. И оно было приятного цвета опавших листьев.

— Я бы хотела... — сказала она, обращаясь к старичку, скрывавшемуся за стеклянными пересечениями полок.

— Тебе приятно будет иметь этот цветок, — произнес голос у нее за спиной. — И змейку в придачу, верно? Я их тебе подарю.

И он оказался совсем рядом, на сей раз в темном пальто и белом шарфе, в велюровой шляпе с довольно-таки широкими полями и в темных очках с сапфировыми стеклами.

— Какой приятный сюрприз! — вскричал владелец магазина, протягивая руку за кредитной карточкой с изображением Венеры Милосской. — Рады снова видеть вас, сэр. Вы, как всегда, неожиданно, но, как всегда, кстати. И мы действительно искренне рады видеть вас!

И доктор Перхольт вышла из магазина на Мэдисон-авеню вместе с золотисто-смуглым мужчиной, прижимая к себе два пресс-папье — со змейкой и с цветком. На земле есть такие рукотворные вещи и нерукотворные существа, которые живут жизнью, отличной от нашей, которые живут значительно дольше, чем мы, которые пересекают наши жизни в сказках и в снах, а порой — когда мы просто плывем вольготно. И Джиллиан Перхольт была счастлива, ибо она снова вернулась в мир этих вещей и этих существ или, по крайней мере, приблизилась к нему, как когда-то в детстве. И она сказала джинну:

— Останешься?

И он ответил:

— Нет. Но я, возможно, вернусь снова.

И она сказала:

— Если не забудешь вернуться до конца моей жизни.

— Если не забуду, — откликнулся джинн.

■

# Два поэта нового поколения

Поэту, как известно, необходим читатель (притом что отдельные представители поэтического цеха склонны утверждать, что пишут стихи исключительно для собственного удовольствия). Стало быть, надлежит заботиться о том, чтобы не очень многочисленная аудитория тех, кто в нынешний электронный век еще читает поэзию, обратила на поэта внимание или хотя бы узнала о его существовании.

Поэтов нужно представлять публике.

В Англии этим занимаются давно и успешно. Там сложилась целая система пропаганды и продвижения современной поэзии, включающая набор литературных наград и премий, проведение разного рода конкурсов, издательскую рекламу, организацию публичных выступлений поэтов, их поездок по стране и за рубеж, стажировки при университетах, колледжах и библиотеках, привлечение к работе в средствах массовой информации в качестве обозревателей и рецензентов и т.п.

Весной 1994 года состоялась беспрецедентная по масштабам — даже для Великобритании — кампания пропаганды поэзии. Кампанию эту задумали, провели и поддержали: Поэтическое общество, Совет искусств, Британский Совет, Би-би-си, группа издательств, ряд частных благотворительных фондов. Участвовали в ней, понятно, и сами поэты — двадцать человек, представленные публике как «поэты нового поколения» (New Generation Poets).

К этому событию был приурочен специальный выпуск выходящего с февраля 1909 года журнала «Поэтическое обозрение» (1994, № 1), на страницах которого были помещены материалы о всех участниках, подборки их стихотворений, отзывы современников — от крупных государственных деятелей до школьников — и рецензии на сборники. Получилось нечто вроде антологии — представительной, интересной и, главное, знакомящей с творчеством уже состоявшихся, неоднократно публиковавшихся авторов, чьи книги в ряде случаев были отмечены премиями.

Под новым поколением явно разумеется не возраст участников (он колеблется от тридцати с небольшим до пятидесяти с лишним), но, как следует из обзорной статьи главного редактора журнала Питера Форбза, обстоятельства их творческих дебютов и бытования в литературе: подчеркнутая независимость, нежелание равняться на признанных старших мастеров и пользоваться их поддержкой, отмежевание от национальных поэтических традиций. Действительно, если их что и объединяет, так именно сходство в несходстве, поскольку каждый в полной мере наделен «лица необщим выраженьем». Тут едва ли может идти речь о каком-либо литературном течении или хотя бы о группе единомышленников. Английские писатели вообще любят опровергать своим творчеством старания критиков зачислять их в «обоймы». Если вспомнить, так было с авторами знаменитого коллективного сборника «Новые строки» (1956): литературные их планиды оказались на поверку столь же разными, сколь и творческая манера. Однако стоит вспомнить и другое: некоторые участники «Новых строк» вошли позднее в число самых значительных британских поэтов послевоенной поры — Элизабет Дженнингс, Дональд Дейви, Джон Уэйн, Д.Дж.Энрайт и прежде всего Филип Ларкин. Быть может, и среди «поэтов нового поколения» есть тот или те, чей голос «озвучит» эпоху постмодернизма, отдающего, по справедливому наблюдению П.Форбза, в распоряжение современника все культуры мира в дополнение к родному культурному наследию.

«Иностранная литература» представляет читателям двух наиболее известных, как считает английская критика, поэтов нового поколения, на счету у которых по нескольку сборников, удостоенных наград. Один — коренной англичанин, другая — уроженка Шотландии. Оба стремятся писать так, словно нет и не было никаких национальных поэтических традиций. «Словно» — потому что традиции были и есть, они объективно закреплены в английском языке, великом языке великой поэзии.

Саймон Армитидж культивирует жесткий подход к материалу, изысканность тропов сочетается у него с несколько остраненной, «протокольной» манерой письма, суждения о жизни нередко облечены в гротескные, способные эпатировать сюжеты: общеизвестно, к примеру, как привязаны англичане к собакам и кошкам, своим домашним любимцам.

Кэрол Энн Даффи разрабатывает глубинную для всей лирической поэзии, включая английскую — от Шекспира до Ларкина, тему бега времени, однако скрывает это, искусно направляя внимание читателя на внешние приметы современного цивилизованного быта. Ее любимая форма, повествовательный лирический монолог (обиходная лексика, естественные разговорные интонации), вбирает в себя обширные пласты внеличного человеческого опыта, сгущенного до плотности мифа. Так, в стихотворении «Миссис Мидас» тема умирающей во времени любви раскрыта путем наслаивания ассоциаций с мифом о греческом царе, которого боги покарали роковым даром — обращать в золото все, к чему он прикоснется. Под пером Даффи обыденная жизнь оборачивается воплощенным мифом: ее стихотворения, как правило, являют собой один всеобъемлющий разветвленный троп.

Английская критика следит за творчеством этих поэтов и многого от них ожидает. Как знать, не их ли голос станет для Великобритании поэтической речью наступившей новой реальности...

**В.СКОРОДЕНКО**

# САЙМОН АРМИТИДЖ

## *Райские каникулы*

В первую ночь — чих или вздох,
словно бы дверь распахнули внизу;
пес проворчал — и был заперт в сарай:
сутки ареста проклятому псу!

В ночь после этого — стук или скрип,
будто лазутчик крадется в углу;
пес забарабанил хвостом:
завтра бездельнику хвост отрублю!

В третью ночь — за стеною шаги,
словно там золото делят враги;
пес забрехал — и пинка схлопотал:
тихо лежи и дышать не моги!

Месяц в окне на четвертую ночь
глянул, как морда бандита в чулке;
чиркнула спичка — фонарь воровской,
тень, распластавшаяся на потолке...

Мог бы залаять, но верность и боль
тут не на равных: он к месту прирос
и осрамился от страха — наутро
был он за это пристрелен как пес.

Вскоре нас выперли — грохнул замок,
злобно спросонья мотор застучал...
Вечная память тебе, кабысдох.
Кажется, ты навсегда замолчал.

## *Прежде, чем развязаться,*

внеси собак
в список неотвязных вещей, чье свойство —
возвращаться, как неразменный пятак;
пес, оставленный скулить в беспокойстве
у столба или выброшенный из машины,
как мешок с песком, где-нибудь в Девоншире,
перехватит вас в городке туристском
и, откуда ни возьмись, со счастливым визгом
бросится на грудь. Я слыхал о псине,
приносившей хозяину из магазина

© 1994 the Poetry Society

яйца, бекон и утреннюю газету;
через год, как его увезли в больницу,
эту псину видели миль за тридцать
от деревни: газета почти истлела,
бекон съеден, но яйца в корзине целы.
Верный пес может с края земли вернуться,
чтоб в колени хозяйские носом ткнуться;
может с острова Мэн доплыть с перепугу
до английского берега, мордой к югу;
он сотрет до костей все свои четыре,
чтоб дойти, дохромать, на последней миле —
доползти, хоть как, до крыльца родного;
пес на все пойдет, чтобы сдохнуть дома.
Можно снять ошейник и в пруд забросить,
но собачьей шкуры не перекрасить.
Ты слыхала вой несчастного пса,
в ночь кромешную вышвырнутого за
свой порог? Погляди ему прямо в глаза.

*Перевод Г. КРУЖКОВА*

## КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ

### *Миссис Мидас*

Был конец сентября. Я выплеснула недопитое вино и решила
заняться прической, пока варятся овощи. Кухня,
насытясь собственным чадом, отдыхала. Пар выбеливал
стекла двух окон. Я распахнула одно,
другое вытерла пальцами, как лоб в испарине, —
и вот он стоит под грушей, ухватившись за ветку.

Сад был огромный и плохо просматривался:
земная мгла пила и сосала небесный свет,
но ветка в его пальцах была золотая. А потом он сорвал
с дерева плод — осенний сорт, —
и груша засияла у него на ладони, как электрическая лампочка.
Я подумала — не зажигает ли он китайские фонарики на дереве?

Он вошел в дом. И бронзовые ручки вспыхнули золотом.
Дернул жалюзи, и знаете, мне вспомнилась
мисс Мак-Реди и ее золотая скатерть-самобранка.

© 1994 the Poetry Society

А он сидел в кресле, словно король на сверкающем троне.
Странный, дикий, пустой взгляд... — Ради Бога, — сказала я, —
что все это значит? — Он расхохотался в ответ.

Я накрыла на стол. Подала сперва кукурузу.
И он тут же стал плеваться золотыми зубами.
Вертел в руке свою и мою ложку, ножи и вилки.
Спросил вина. Я налила дрожащей рукой
ароматное, сухое, белое, итальянское, вижу,
он хватает стакан — и чудо! это уже кубок, золотая чаша — и пьет.

И тут я закричала. Он упал на колени.
Когда мы немного успокоились, я допила свое вино
и стала слушать его рассказ. Я посадила его
в дальний угол, чтобы он ко мне не прикасался.
Кошку я заперла в чулане. Телефон убрала.
О прическе я уже не вспоминала. Я не верила своим ушам.

Как ему такое пришло в голову? Желания у всех есть, это понятно,
но разве они сбываются? Хотя у него... И что такое золото?
Им не наешься. Ровный, мягкий блеск. Жажды не утолишь.
Он попытался зажечь сигарету, я завороженно следила,
как голубое пламя лизало оранжево-желтый стебелек.
— Теперь тебе проще простого бросить курить, — сказала я.

Спали отдельно. Больше того, я со страху загородила стулом
дверь. Он был внизу и превращал большую комнату
в гробницу Тутанхамона. Какими страстными мы были когда-то,
как нетерпеливо срывали друг с друга одежды — так распаковывают
подарки и домашние бутерброды. Но теперь от медовых его
лобзаний я могла превратиться в произведение искусства.

Да и вообще — как можно жить
с золотым сердцем? Ночью мне снилось,
что я от него понесла и явилось на свет дитя благородного металла,
язычок как драгоценная защелка у американского замка,
глазки точно мухи в янтаре. Молоко мечты
перегорело в грудях. Я проснулась от лучей льющегося солнца.

Он стал собираться. На просеке
у нас домик-фургон. Я увезла его туда
под покровом темноты. Он сидел на заднем сиденье.
Потом я возвратилась домой, женщина, ставшая женою глупца,
который жаждал золота. Припарковала машину
подальше от дома и шла пешком.

Ну а потом — ясно что. Золотая форель
в водорослях... Зайчик в ветвях лиственницы —
золотой лимон, который ошибся деревом... Потом следы,
сверкающие на тропинке к реке.
Когда-то он был таким хрупким, его одолевали фантазии,
говорил, что в лесу слышит музыку Пана.

И сегодня меня больше всего мучит не то, что я идиотка. И не жадность.
Беда в том, что я никому не нужна. Эгоизм, конечно.
Я распродала все, что было. Осталась ни с чем.
Я думаю о нем, едва только забрезжит свет и на ночь глядя.
Как-то увидела вазу с золотистыми яблоками и обмерла. Я потеряла все,
но и теперь я ощущаю его руки, его теплые ладони, его прикосновения.

*Перевод А. ШАРАПОВОЙ*

# РОУЗ ТРЕМЕЙН

## *Перемещения герольда Монжуа*

РАССКАЗ

*Перевод Л. ЛОКШИНОЙ*

**Место близ Азенкура. Октябрь 1415 года[1].**

Ему не нужно далеко ехать.

От их лагеря до вражеского чуть больше мили. Так близко, что ночью, в морозной тишине, каждая сторона слышит смех, ругань и крики другой. Они как фермеры, подслушивающие соседа при луне.

Французы шумней англичан. Их самих намного больше, у них больше выпивки, и, кажется, они знают больше песен.

Выйдя из французского лагеря, герольд Монжуа[2] сворачивает направо через лес к Мезонсель[3] и останавливается среди деревьев, чтобы послушать англичан. Он слышит дружный стук. Может быть, бедняги из последних сил строят себе шалаши из веток вяза? Он вспоминает своего маленького племянника Ролана, который построил себе шалаш на дереве. Он любит Ролана. Своих детей у него нет, и он решил рассказать про свою работу Ролану. Он сказал ему: «Герольд — это наблюдатель. Важно это понять. Он наблюдает за поведением армий, но на самом деле не принадлежит ни одной из них. Он не солдат, он сам по себе».

Потом наступает утро, просоленное белым инеем, и герольда Монжуа вызывают в палатку дофина. Дофин[4] приказывает ему ехать через поле в английский лагерь и спросить английского короля[5], не хочет ли он предложить выкуп и спасти свою истерзанную армию от неминуемого поражения. В палатке дофина роскошные, синие с золотом портьеры. Он накачивает мышцы и попутно отдает приказания. Выходя из палатки, Монжуа слышит, как дофин говорит герцогу Алансонскому: «Черт! Я в отличной форме».

Герольд Монжуа садится на коня. Поле, по которому он должен проехать, вспахано, и он боится, как бы его конь не споткнулся о заледеневший гребень борозды. Над полями повис туман, молочно-белый и густой, и герольду хочется, чтобы и этого тумана тоже не было. Он да еще трескучий мороз придают этому дню какую-то странную неповторимость.

**Место близ поместья Ла Валле. Апрель 1412 года.**

Ему не нужно было далеко ехать.

От дома его родителей до поместья, где жила Сесиль, было чуть больше двух миль. Он и конь знали эту дорогу наизусть. Она почти все время шла под гору. И он издалека уже видел дом Сесиль. Его мысли всегда летели вперед него и садились, как прирученные птицы, на голову Сесиль, на ее плечи и на ее ноги в ярких башмаках.

---

[1] Сражение при Азенкуре — знаменитый эпизод Столетней войны. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Герольдмейстер Монжуа — реальный исторический персонаж с литературной судьбой. Холиншед упоминает о нем в своих «Хрониках», и Шекспир, не раз находивший в них сюжеты для своих пьес, делает Монжуа действующим лицом пьесы-хроники «Генрих V».

[3] В деревушке Мезонсель и вокруг нее располагался английский лагерь.

[4] Самонадеянный дофин также действующее лицо шекспировской хроники.

[5] Королем Англии в то время был Генрих V.

© Rose Tremain 1994

Она была такая... *необыкновенная*. Во время своих путешествий до ее дома и обратно он пытался разрешить вопрос, создала ли природа или человек хоть что-то похожее на нее. Может быть, только озеро с кувшинками и серебристыми рыбами, мерцающими в глубине? Или она похожа на солнечные часы, непогрешимые и всегда напоминающие, как и она своим обожанием всего эфемерного, о быстротечности времени?

В конце концов он решил, что не существует ничего столь же странно прекрасного, как Сесиль. Ни та местность, через которую лежал их путь — его и коня, — с ее цветущими лугами, прозрачным ручьем, молчаливым лесом и благоуханным воздухом. Ни даже его сны, в которых он иногда обретал крылья, взлетал в небо и парил над Францией.

Нет. Ничто не могло сравниться с Сесиль. В фруктовом саду своего отца она держала медоносных пчел в высоких ульях. У нее была специальная шляпа с прозрачной вуалью, со всех сторон ниспадавшей до земли, и когда в своих снах герольд Монжуа летал над Францией, внизу шла Сесиль, одетая только в прозрачную вуаль.

Он знал, что должен жениться на Сесиль, что она должна принадлежать ему — ее тело, ее душа, ее нижние юбки, ее пчелы, ее шкафчик для обуви. Он не мог больше ждать.

Он был красив — темные мягкие волосы, веселый рот — и нисколько не сомневался, что Сесиль примет его предложение. Он скажет ее отцу: «Месье, два-три года — и я главный герольд Франции. Не думаю, что это замок на песке»[1].

## Азенкур. Октябрь 1415 года.

У него чудна́я шапка: темно-синяя, с бархатными петлями, свисающими на левый глаз; стоит пустить коня галопом, как они начинают раскачиваться.

Он скачет в морозном тумане, и качающиеся перед лицом петли раздражают его. В этот морозный день все словно сговорилось ослепить его. Он предпочел бы ехать ночью, чтобы поле освещала круглая луна, а песни и дружный стук вели его в английский лагерь. Он бы видел и мыслил гораздо яснее; в этом тумане, рядом с немым, оцепеневшим лесом он чувствует робость и растерянность.

Он осаживает коня, сворачивает в лес и спешивается. Прислоняет тяжелый штандарт к дубу и к дубу же привязывает коня.

Он снимает шапку и проводит рукой по кудрявым волосам. Ночью ударил сильный мороз, и каждая веточка в лесу обернута в кружево инея. Он спрашивает себя: «Чего ты испугался, Монжуа?»

Ему тридцать лет, и он тремя годами старше Генриха Английского.

Неужели каждый на этом клочке земли втайне боится предстоящего сражения — такого реального и нереального одновременно? Сражения, которое вот-вот начнется, а может никогда и не произойти, — реального и нереального, то исчезающего, как любовник, то возвращающегося, как лихорадка?..

Дофин не боится. «Бояться? Глупости!» Он любуется своей ногой. «Англичане продержатся полчаса, не больше. И то если им повезет».

Распоряжения дофина говорят о беспечности: «Просто скажешь королю, чтобы он соглашался на выкуп. Хорошо, Монжуа? И пусть тогда эти живые мощи, которые он называет армией, отправляются домой в Саутгемптон[2] и рассыпятся там прахом».

Ему приказано скакать во весь опор и поскорей возвращаться. Дофин не любит ждать. Монжуа, который ни разу в жизни не ослушался приказания, все еще в лесу: почесывает в затылке, уставившись на деревья. Почему-то ему кажется, что он не сможет доехать до английского лагеря.

## Ла Валле. Апрель 1412 года.

В тот апрельский день он чувствовал себя легким как пушинка. Казалось, ему ничего не стоило оторваться от седла. На нем был небесно-голубой жакет. Его мягкие кудри освещало солнце.

---

[1] Холиншед пишет, что Монжуа был герольдмейстером (титул, жалуемый главному герольду). Только поэтому он и упоминает его имя в «Хрониках». Тремейн же изображает Монжуа неудачником.

[2] Саутгемптон — порт на юге Англии, из которого в 1415 году Генрих V и его войско отплыли во Францию.

Он скакал в Ла Валле просить руки Сесиль. Когда он уезжал, улыбающиеся мать с отцом махали ему на прощание: «Такая хорошая девушка. Такая красавица! Удачи тебе, сынок».

Его мысли, как всегда, были уже с Сесиль. Они гладили ее плечо. А когда она выходила из дома с корзиной, они, как пойманные бабочки, затихали под ее сиреневой накидкой.

Что собиралась она положить в свою корзину? Цветущие ветки?

Мысль надолго не поймаешь в ловушку. Она свободна в своем полете и в своих решениях.

Мысли Монжуа выпорхнули из-под накидки. Теперь они бродили вместе с Сесиль по мокрой траве. Прятались в тени ее юбок и забирались наверх, в темное пространство между ее ног. С каждым шагом она нежно дотрагивалась до них.

Тут ему пришлось осадить коня, спешиться, подойти к ручью и освежить голову. «Ты скачешь слишком быстро, — сказал он сам себе. — Ты еще не жених».

Он опустился на колени, зачерпнул ледяной весенней воды и плеснул себе в лицо. У него перехватывало дыхание. Это был один из тех важных дней в жизни, которые, как казалось, могут изменить мир. Колоссально билось сердце — точно кукушка кричала в лесу. Небо над его коленопреклоненной фигурой росло, лезло вширь и разбухало и теперь больше чем когда-либо напоминало твердь.

Он сел в траву. Рядом пасся, отмахиваясь хвостом от весенних мух, его конь. Как счастливо у некоторых людей складывается жизнь, думал он. Существует смелость, и существует везение. И существует вкус. Женский башмачок может быть желтого цвета...

На берегу ручья росли желтые цветы. Монжуа не разбирался в названиях цветов, но еще долго просидел там, любуясь ими.

## Азенкур. Октябрь 1415 года.

В этом вымершем лесу Монжуа ищет какой-нибудь зелени, чего-нибудь нежесткого.

Безотчетный страх просочился из мозга во все уголки его тела, дотронулся невидимой рукой до сердца, потом до сфинктера — и вот Монжуа сидит на корточках и испражняется на сухой багрянец папоротника.

Он не находит никакой зелени, ничего мягкого, чтобы подтереться. Приходится сгребать грубые листья папоротника и палую листву и подтираться ими. Он подтягивает чулки и чуть не плачет.

Лес действует на него угнетающе. Он заехал сюда, чтобы хоть ненадолго обрести покой и потом снова ехать в английский лагерь. Но лес застыл как неживой.

Не отвязав коня и не притронувшись к штандарту, он возвращается назад к вспаханному полю, завешенному пеленой тумана.

Он идет по полю, его нога скользит по заиндевевшему краю борозды. Он чувствует, что туман скоро рассеется и день сегодня может выдаться ясный. Поле уже лучше освещено.

Он смотрит на землю. Интересно, кто пашет эту землю, что за урожай ждут в следующем году. Бархатные петли свисают ему на глаза. Сейчас он стоит на том месте, где будет самая жаркая схватка. Вот здесь, где сейчас стоит его нога, упадет английский солдат (французское копье пронзит его легкие, изо рта его хлынет кровь). Рядом с ним навсегда лягут обреченные его товарищи, их души растают в воздухе. Вот какой это будет урожай: в бешеном упоении битвы поле будет засеяно костями английских солдат. Считать убитых — это его дело, его и английских герольдов, нужно назвать точное число, даже если руки, ноги и головы у солдат отсечены и лежат в стороне от туловищ. Герольд должен быть точным. Он не имеет права отводить взгляд. Потом он скажет своему племяннику Ролану: «Я видел это сражение. Оно произошло у замка Азенкур. Но великим его не назовешь. Силы были слишком неравны».

Внезапно он осознает, что прошло уже много времени с тех пор, как он выехал. Далеко впереди он опять слышит жалкий стук в английском лагере. Это немного успокаивает его. Теперь ему не так страшно.

Размашистыми шагами он возвращается в лес и отвязывает коня. Его конь дрожит от холода, и Монжуа ласково треплет коня, чтобы он согрелся.

Он садится в седло и поднимает штандарт. Лучи света пробиваются сквозь тающий туман, Монжуа поворачивает коня и скачет на свет.

## Ла Валле. Апрель 1412 года.

Сидя на берегу, Монжуа повторял про себя объяснение в любви и предложение, которое он должен сделать Сесиль. Его нос грели теплые лучи солнца.

Он представил себе, как Сесиль стоит к нему спиной и смотрит в окно. Он опускается на одно колено, но она ничего не замечает. Стоит не шелохнувшись. Он говорит ей: «Сесиль, я думаю, ты уже давно догадываешься, что ты для меня центр вселенной...»

Он представил себе, как она невольно улыбнется, — *он хочет сделать мне предложение!* — но тут же постарается спрятать улыбку.

Он продолжает: «Это правда. И больше того, благодаря тебе я стал по-другому смотреть на мир. Моя жизнь казалась мне такой маленькой, ограниченной, пока я не встретил тебя. Ты и я, мы могли бы стать хозяином и хозяйкой и вместе распоряжаться своей прекрасной судьбой!»

А теперь, решил он, было бы разумно — по крайней мере, так полагается — спросить у Сесиль, чувствует ли она в свою очередь, что мир преображается, когда *он* рядом. Он представил себе, как она поворачивается от окна, подбегает к нему, поднимает его с колен и говорит: «Да, Монжуа! Да. Я чувствую, что мир преобразился!» И тут он целует ее.

Поцелуй был таким упоительным, что Монжуа, в одиночестве сидевший на берегу, не мог прервать его в течение нескольких минут. Он уставился в пустоту невидящими глазами. У него над головой летали дрозды и зяблики. Флотилии пескарей проплывали мимо по ручью.

Поцелуй кончился, и Монжуа посмотрел вокруг. В сумерках он будет возвращаться по этой дороге уже женихом, запрятав в себя обещание Сесиль, как деньги в шкатулку. И отныне всегда, проезжая по этой дороге, он будет чувствовать, что это благословенная земля (вместе с мокрой травой, желтыми цветами и студеным ручьем), потому что именно здесь он повстречался со своим будущим.

Пчела жужжала у него над ухом.

Он поднялся на ноги. Им было по пути: он и пчела держали курс на волшебную и благоуханную пристань.

## Азенкур. Октябрь 1415 года.

Один из их провиантских отрядов, посланных на сбор орехов, ягод и хвороста, уже издалека замечает приближение всадника с развевающимся знаменем. Двое солдат стоят и глазеют на него, двое других припускаются в лагерь.

Англичане — в испачканной одежде, с вязанками хвороста на спине, рядом с ними он просто щеголь. Его синяя шапка теперь кажется ему не смешной, а даже по-своему элегантной. Он приосанивается в седле.

Он повторяет про себя инструкцию дофина: «Тут, Монжуа, все проще простого. Англичане не могут победить. Нас впятеро больше, чем их. Если они не смогут понять этой простой арифметики, покажи им это на камешках, на монетах — что там у тебя будет под рукой. Мы их сокрушим. Какое чудесное слово! Сокрушим. Мне оно очень нравится. А тебе?»

Туман понемногу рассеивается, и теперь виден английский лагерь. Он приютился среди худосочных деревьев. Монжуа не ошибся: солдаты выстроили себе шалаши из веток и папоротника. Тут же несколько видавших виды палаток. От десятка маленьких костерков поднимается дым. Вокруг них греются солдаты. Они поворачивают к нему бледные лица.

Монжуа никогда не был в Англии. Он слышал, что одна ее часть лежит под водой, но где-то в другой растут огромные леса, древние как мир. И эти люди кажутся ему похожими на утопленников или — из-за своей бледной кожи — на лесных жителей, никогда не видавших солнца.

Он осаживает коня. Английские солдаты серыми призраками выходят из-за деревьев и стоят, вперившись в него. Расправиться с людьми, одной ногой уже стоящими в могиле, — какая в этом честь для Франции? Какая честь для герольда наблюдать за кровавой бойней? Он думает о Ролане. В задушевном уединении мальчишечьего шалаша Монжуа как-то сказал ему: «Для меня в жизни, Ролан, что-то значат всего две вещи: одна из них — честь...»

Его мысль обрывается, так как он внезапно осознает, что к нему приближаются солдаты. Они идут, построившись в каре. В центре его Монжуа видит что-то блестя-

щее. Это корона на голове короля.

Монжуа обнажает голову и спешивается. Неся перед собой штандарт, он ведет в поводу коня. И тут — он сам не знает почему — какой-то остаток давешнего страха забирается в его сердце, и Монжуа видит — точно это сон или видение, — как ему навстречу идет не Генрих Английский, а его ненаглядная Сесиль в венке из желтых цветов.

Он спотыкается. Потом, превозмогая себя, идет дальше. Только теперь он осознает, что сотни английских призраков вышли из-за деревьев и глазеют на него.

Отвесив королю поклон, он поднимает глаза: перед ним почти квадратное осунувшееся лицо, но все-таки менее бледное, чем лица вокруг. У его обладателя спокойный взгляд и, как оказывается, негромкий голос.

— Что скажешь, герольд?

— Государь, я прибыл от дофина. Он и его пэры настоятельно рекомендуют вам задуматься над своим положением. По их оценкам, ваша армия в пять раз меньше французской, и они считают, что, если вы хотите спасти своих солдат от верной гибели, самым мудрым решением было бы согласиться на выкуп...

Монжуа видит, как один из солдат беззвучно отрыгивает. Он решает, что от бегства обратно в Кале[1] этих людей удерживают две вещи: выпивка и присутствие короля.

— Как твое имя, герольд? — спрашивает король.

— Монжуа, государь.

Король улыбается. Кажется, что пришедшие с ним солдаты смотрят сквозь Монжуа на землю, по которой он только что прошел.

Все еще улыбаясь, король говорит:

— Знаешь, Монжуа, передай-ка принцу дофину вот что. Он забывает, что мало в чем на земле можно быть уверенным. Почти что ни в чем. Когда я был маленьким, у меня дома жил жук-рогач в шкатулке из слоновой кости. Я иногда разговаривал с ним. И вот в один прекрасный вечер он ответил. До этого вечера я был совершенно убежден, что жук-рогач не умеет разговаривать.

Король смеется. Солдаты, оторвав тревожные взгляды от поля, смотрят на своего монарха.

— Сам видишь, — говорит король, — человек только предполагает.

— А что сказал жук-рогач, государь? — спрашивает Монжуа.

— Не помню. Всего только слово или два. Это было так неожиданно, что я совсем растерялся. Ну так вот, герольд. Уверен ваш дофин в победе или нет — это его личное дело. Для нас это ничего не меняет. Выкупа мы платить не будем.

Призраки вытянули шеи и стараются не пропустить ни слова. Они всё смотрят куда-то и щурятся с непривычки к солнечному свету. Они почесываются через одежду.

— Иди с богом, Монжуа, — напутствует король.

Монжуа отвешивает поклон. Король и его солдаты поворачиваются и уходят. Монжуа снова водружает синюю шапку на свою темноволосую голову.

## Ла Валле. Апрель 1412 года.

Вот и ее дом. С голубями на крыше, так похожими на окрылившиеся мысли, и дымком, тянущимся от одной из каменных труб.

Слезая с коня и передавая слуге поводья, Монжуа все еще повторял про себя предложение, которое он сделает Сесиль. Потом слуга сообщил ему, что мадемуазель Сесиль ушла с родителями проведать кузена, на которого упал флюгер. Их ждали только к ужину.

На картине, созданной его воображением, было утреннее солнце, оно заглядывало в окно, у которого стояла Сесиль, в то время как он говорил ей, что мир для него преобразился. И ему хотелось, чтобы в жизни все происходило так, как в его мечтах. Поэтому сейчас он колебался: уехать ему или остаться и подождать.

Он решил ждать. Слуга увел его коня. Он сел на каменную стену и стал смотреть на небо. Потом отправился в сад, где уже зацвели яблони, и стоял там у ее ульев. Движение пчел к ульям и обратно надолго захватило его внимание. Он все старался представить себе, каков этот медоносный мир изнутри. Он решил, что из всего существующего в природе Сесиль ни на что так не похожа, как на рой пчел. Ее движения

[1] Кале в то время принадлежал Англии.

были исполнены какого-то смысла, но он не мог его постичь.

Сесиль нашла его в саду. Он заснул, сидя на солнце, и ему пригрезилось море. Когда он пробудился и увидел стоящую над ним Сесиль, ему на долю мгновения показалось, что она была кораблем, проплывающим мимо.

Она смеялась. Монжуа представил себе, как смешно он должен был выглядеть — уснувший в траве, словно крестьянский мальчик. Он вскочил на ноги, оправляя жакет и приглаживая волосы. Он лихорадочно искал слова.

Опередив его, Сесиль протянула ему руки. Он заметил, что у нее очень розовое лицо, а глаза широко раскрыты. На ней было белое платье.

— Друг мой! — заговорила она. — Я так рада, что нашла тебя здесь! Так счастлива! Ты здесь, и спишь, как маленький мальчик! Правильно, все так и должно быть. Потому что я сегодня такая счастливая! Ты только взгляни на меня. У меня такая радость!

— Правда, Сесиль?

— Да! И ты как раз тот человек, с которым мне хочется ею поделиться. Ты всегда был мне таким нежным другом, и теперь я могу сообщить тебе потрясающую новость! Что за день сегодня? Я всегда буду помнить этот день. Всегда-всегда. Знаешь почему?!

— Почему, Сесиль?

— Потому что я выхожу замуж! Месье де Гранвилье сделал мне сегодня днем предложение. У меня впереди такая счастливая жизнь!

Сесиль отошла от Монжуа и закружилась между деревьев, подняв грациозные руки. Монжуа увидел, что и башмачки на ней сегодня белые, и подумал, что они скоро испачкаются о траву. Трава только казалась сухой. Он чувствовал ее влажность ягодицами, лопатками и всей спиной.

## Азенкур. Октябрь 1415 года.

Пустив коня легким галопом, Монжуа скоро оставляет позади все запахи и звуки английского лагеря. Он не останавливается, чтобы взглянуть на поле или лес. Он думает не о предстоящем сражении, а о том, какой примерно голос может быть у жука-рогача. Сидя наверху, в своем шалаше, Ролан придумывает разные голоса для ветра и звезд. Некоторые звезды совсем не говорят, а только зевают.

Дофин обедает в окружении своих любимых графов и герцогов. Они едят черных дроздов.

— Черт побери, Монжуа, — восклицает дофин, — где ты пропадал? Что случилось?

Монжуа очень разгорячен после скачки. Он чувствует, что у него потная голова.

— Простите, принц, я объяснил королю, насколько неравны силы, но...

— Что «но»?

— Он отказывается платить выкуп. Похоже, он хочет драться.

Дофин берет в руки дрозда и с хрустом откусывает половину. Он говорит с набитым ртом:

— Он понял? В пять раз. Ты объяснил ему толком?

— Не представилось случая, принц. Он уже все решил.

— Ну, тогда он просто болван, самонадеянный болван. Значит, ему недолго осталось жить. Его просто убьют. Им там всем недолго осталось жить.

Дофин съедает вторую половину дрозда. Он выплевывает кусок кости и вытирает рот.

— Сходи за коннетаблем Франции[1], Монжуа. Завтра мы со всем этим покончим. Мне надоело торчать здесь и питаться какой-то гадостью. Чего же ты ждешь?

Монжуа выходит из палатки дофина. Он чувствует, что устал. Ему бы сейчас прилечь где-нибудь да соснуть.

## Ла Валле. Апрель 1412 года.

Чтобы не выглядеть невежливым, ему пришлось остаться и засвидетельствовать свое почтение родителям Сесиль. Как выяснилось из разговора, месье де Гранвилье еще в январе дал понять, что намерен жениться на Сесиль.

[1] Коннетабль — главнокомандующий французской армией.

— Мы очень польщены. Он прекрасная партия, — сказала ее мать.

Монжуа хотелось крикнуть: «Но я люблю ее больше, чем Гранвилье. Когда она рядом, мир для меня преображается. Я буду обнимать ее во сне. Я накуплю для нее башмачков». Но он только молча кивал в ответ.

Он возвращался по той же самой дороге, что и ехал к Сесиль. Лучи заходящего солнца окрашивали быстрый ручей в яркий пурпур. Он старался ни о чем не думать. Подъехав к островку желтых цветов, он отвернулся. Его конь споткнулся о камень, и ему захотелось превратиться в этот камень, чтобы ничего не чувствовать.

Когда Монжуа приехал домой, его родители ужинали. Они подняли глаза от тарелок с супом и положили ложки. Они ждали, что он скажет.

Монжуа стоял в дверях и смотрел на родителей. Впервые в жизни он чувствовал, что завидует им ноющей бездонной завистью. Они счастливо прожили бок о бок больше тридцати лет. И до сих пор еще спали вместе.

Он приложил кулак ко рту и заговорил сквозь сжатые пальцы:

— Я вычеркнул Сесиль из своей жизни. И прошу вас не напоминать мне о ней. Она теперь в прошлом, и я больше не хочу говорить об этом. Ни об этом, ни о ней. Я вообще больше не хочу касаться этой темы. Никогда.

Прежде чем мать и отец успели что-нибудь сказать, он повернулся и вышел вон из комнаты.

## Азенкур. Октябрь 1415 года.

Сейчас за ним послал английский король, который младше его на три года.

Темнеет. Начавшийся рано утром дождь кончился, и теперь восходит бледная луна. А под бледной луной лежат мертвые французы.

Он и конь вынуждены осторожно пробираться между трупами. Луна освещает мертвых и испачканную кровью землю.

Второй раз в жизни Монжуа едет в сгущающихся сумерках и спрашивает себя: «Почему я не предвидел такого ужасного конца?»

Он вспоминает, как насмехался дофин: «Они и полчаса не продержатся!» Вспоминает, как сам он собирался сказать Ролану: «Великим это сражение не назовешь. Силы были слишком неравны».

Он герольд. Герольды летят впереди событий. Они объявляют. Смотрят и оценивают. Жизнь подтверждает их прогнозы. Их, но не его. Несмотря на его веселую фамилию[1] и высокое положение при дворе, негаданное преследует Монжуа как тень.

Он не знает точно, как была проиграна битва. Он старался следить за всем, что происходит. Много раз скакал через лес, чтобы ничего не пропустить и иметь полную картину сражения. Он слышал полет английских стрел. Видел, как тучи их обрушились на конный авангард, слышал, как они стучали по шлемам и спинам доспехов — точно град в походной кухне. Видел, как упало несколько лошадей и с ними упали их всадники, беспомощные, похожие в своих латах на кастрюли. Лошади лягали и безжалостно топтали их копытами.

Потом он видел, как конный авангард поскакал в атаку и как англичане отступили. Их отступление было таким же внезапным, как до этого их появление из леса, — реальным и нереальным одновременно. На том месте, где только что лицом к вражеской коннице стояли английские солдаты, теперь, выстроившись в ряд, торчали из земли свежезаточенные колья. Их было не меньше тысячи. Они стояли в три или четыре ряда и так близко друг от друга, что пройти между ними могла разве что бесплотная тень.

Он знал: лошади будут вставать на дыбы и стараться повернуть, будут делать все от них зависящее, чтобы не налететь на колья. Но многие не смогли повернуть. Сжатые с боков, в тисках массированной атаки, они неслись не разбирая дороги и рухнули всей тяжестью на острые колья, их всадники вылетели из седел и оказались в руках врага.

Один из его товарищей-герольдов сказал ему сегодня на рассвете: «Англичане едят землю. Это значит, что они готовятся к смерти и своему погребению». И Монжуа почувствовал к ним жалость, жгучую, как любовь. Сейчас верный конь везет его через поле, заваленное трупами французских солдат. Конь идет с трудом: на скользкой грязи разъезжаются ноги, и он то и дело спотыкается. Мертвецы, обросшие лунной тенью, кажутся толстяками. Монжуа прикрывает рот рукой в синей перчатке,

[1] Фамилия герольда в переводе с французского означает «радостная гора».

запрокидывает голову и смотрит на звезды. Одна звездочка на западе зевает. Он опять думает о Ролане в шалаше, а потом о душах французских солдат, стремящихся пересечь черный провал неба.

Он не будет давать Ролану отчета о сражении, иначе придется отвечать на слишком много вопросов, не имеющих ответа. Почему конный авангард французов повернул назад и столкнулся с шедшими в наступление солдатами? Выходит, французская пехота поредела еще до встречи с врагом? А потом, когда она наконец встретилась с неприятелем, почему за считанные минуты погибло столько наших? Были ли они в этой толпе так тесно прижаты друг к другу, что не могли толком сражаться? Быть может, напуганная и растерянная толпа только кричала и толкалась и скоро оказалась перед стеной из своих же трупов?

Весь день дождь лил как из ведра и мешал герольдам наблюдать за сражением.

Сейчас Монжуа подъезжает к английскому лагерю и слышит, как поют англичане. Единственное, на что ему осталось надеяться, это на то, что со временем он во всем разберется.

Он скачет к королю Генриху. Он должен формально подтвердить поражение французов. Он надеется, что голос у него будет твердым, но боится, как бы он не зазвучал так же слабо и хрупко, как у жука-рогача в шкатулке из слоновой кости.

Он чувствует, что страшно устал. Устал быть наблюдателем. Ему хочется просто ехать домой к жене с парой малиновых башмачков в подарок.

■

# САРА ГРЕЙСИ

## *Уста наслаждения, уста смерти*

РАССКАЗ
*Перевод Н. ВАСИЛЬКОВСКОЙ*

Мне начали сооружать гробницу еще при жизни. Она должна была стать настоящим чудом, венцом местного строительного искусства. Каменотесов везли из Фив, мрамор — с Пароса. В скале прямо у стен дворца прорубили длинный коридор, ведущий в круглую камеру. Посреди камеры возвышался саркофаг. Туда собирались положить меня, пропитанную селитрой и убранную по всем правилам: со скипетром в руке, с туго стянутыми косами, покрытую с головы до ног золотом, которого я терпеть не могла при жизни. Я была обречена лежать так вечно, вдыхая спертый могильный воздух. И моя душа не могла вырваться оттуда, ибо даже обитатели мрачных берегов Стикса отвергли бы ее.

Но я не боялась. Бриомена учила меня: нельзя похоронить то, что живо, и невозможно убить то, что мертво. Можно было швырнуть мое тело за городские ворота на растерзание псам, ведь именно этого добивался Калхас, утверждая, что во мне не осталось ничего человеческого, — а суке и смерть сучья. Можно было, как предлагал Орест, и похоронить меня с почестями, демонстрируя тем самым, что восстановить попранные законы гораздо важнее, чем наказать меня. Но полностью уничтожить меня невозможно. Ибо я — идея. И я неуязвима. А эти поющие каменотесы даже не задаются вопросом, почему их руки так и тянутся прокладывать длинные коридоры в самое сердце холма и вырубать погребальные камеры.

Я родилась в Спарте, милях в пятидесяти от Микен, на склонах гор. Моим отцом был царь Спарты Тиндарей, а матерью — Леда; соблазненная лебедем-Зевсом, она родила Елену.

Я росла на воле. Предоставленная самой себе, я в полном одиночестве бродила по каменистым склонам гор Лакедемона. Мне были знакомы все реки и ручейки, каждый эвкалипт и каждая антилопа; я знала все убеленные снегом вершины, там весной расцветали горные орхидеи, и все сланцевые осыпи: по ним в мгновение ока можно было скатиться вниз. Иногда, втайне от отца, я правила колесницей, лихо подстегивая взмыленных лошадей, — глядя на меня, мои братья кричали от страха. Или совсем одна, если не считать речных божеств, подолгу стояла в застывшей воде, одурманенная запахом шалфея и дикой мяты. И только старый орел описывал жаркие круги над моей головой, незаметно исчезая из виду.

Я знала все тайные святилища Диониса. Притаившись за жертвенником, я смотрела, как люди сжигают свои приношения, льют из кувшинов вино, неистово пляшут под звуки тимпанов, кифар и бубнов. Моей же богиней была Артемида. Она обитала в порывах ветра, среди грозовых облаков, в качающихся кронах сосен, в неистовом ропоте бегущей воды, в топоте копыт на горных тропах. Я все время разговаривала с ней. Мы были соратницами.

Наверно, именно поэтому впоследствии я никак не могла свыкнуться с крепостными стенами Микен. С вечным жаром их камней. Вокруг — только зубцы огнедышащих гор. Все голо — нет ни кустика, ни веточки, ни листочка, ни облачка. Некуда укрыться от себя самой. Влага, приносимая с моря, высыхала на солнце быстрее, чем слезы. И еще этот огненный блеск золота, раскаленного ненавистного золота. Дважды я была близка к помешательству. Как-то раз, вглядываясь в клубящуюся пыль, я вдруг увидела перед собой пруды с замшелыми валунами и свежие дубки, обмахивающиеся жесткими весенними листочками; мне послышался стук антилопьих копыт. Я выбежала за дворцовые ворота, но меня вернули обратно. Позже мой порыв объяснили тем, что, якобы обезумев от страшной тоски, я приняла облако пыли за возвращающегося с войны Агамемнона.

Мой отец был коренастым и смуглым; он отличался невероятной жадностью и честолюбием. Пока я была маленькой, отец все высчитывал, сколько он получит за

© Sarah Gracie 1994

Елену, которая своей необычайной красотой могла свести с ума даже гермафродитов и старух. Он вкладывал в Елену капитал — покупал ей украшения и сам дрожащими руками надевал их на нее. Завороженная собственным отражением, она часами стояла перед высокими гладко отполированными каменными зеркалами. И всякий раз ее красота затмевала красоту и ценность его даров. По ночам я часто видела в его окне свет и темную фигуру, склонившуюся над столом, — отец доводил себя до безумия бесконечными подсчетами.

Моя мать была мягкой и покорной. В детстве меня не покидало чувство, что она живет в каком-то своем мире. Мать часто уходила побродить по склонам холмов; она не брала с собой никакого оружия — ни лука, ни копья, — и поэтому ее, беззащитную, непременно насиловали какие-нибудь божества. Однажды ей крупно повезло, и она разрешилась Еленой; в остальных случаях — о них обычно стараются не упоминать — она производила на свет безобразных монстров: уродов с покрытыми слизью хвостами, с перепончатыми лапами, с ослиными ушами и вывороченными ноздрями. Глубокой ночью их тайком уносили в горы и оставляли в лесу. Мне кажется, что, измученная этими постоянными беременностями, мать постепенно теряла рассудок. Она бубнила себе что-то под нос и разбрасывала цветы. К концу жизни она сильно мучилась от выпадения матки: выпавший орган болтался у нее между ногами и мешал передвигаться. Мать перестала выходить из дома. Она перетягивалась сукном, чтобы удержать матку в надлежащем месте и, может быть, чтобы наконец-то избавить себя от повторений прежнего горького опыта. Но было уже слишком поздно. Помню, как мать сидела перед ткацким станком, уставившись в одну точку. Она уже давно позабыла, как с ним нужно обращаться, и все же подолгу разглядывала нити, будто они могли поведать ей о чем-то; она закидывала голову и что-то бормотала, обрывая лепестки цветов.

На смертном одре она ненадолго пришла в сознание и позвала меня к себе. Ее лицо исхудало и заострилось, как костяная игла. Мать казалась совсем юной и прекрасной, как Елена. Она сделала знак, чтобы я наклонилась. «Всегда оставайся... женщиной», — прохрипела она. Я не расслышала и придвинулась ближе. «Всегда оставайся... женщиной», — повторила она. Ее взгляд царапал мое лицо, глаза метались, как два пойманных зверя. «Настоящей женщиной?» — спросила я. Сердце прыгало у меня в груди. Она сглотнула, едва заметно кивнула головой — я поняла это как знак согласия — и вздохнула. Странная синева разлилась по всему ее телу. Я протянула руку и закрыла ей глаза: ужас, застывший в них, напугал меня.

Я ни в чем не виню свою мать. Она обучила меня всему, что знала сама. С ее помощью я научилась вдевать нитку в иголку, управляться с челноком, ткать нитями разного цвета. И хотя скачки на колеснице доставляли мне большее удовольствие, я ничуть не жалею, что проводила много времени за ткацким станком. В первые месяцы моей жизни за этими раскаленными каменными стенами, среди невнятного и грубого чужеземного говора материнские песни были для меня единственным утешением. В них я вновь обретала свой дом, холмы и ручьи, лесные святилища и цветы родной Спарты.

Да, мать научила меня многому. И я благодарна ей за это. Но все же она не научила меня самому главному. Она не научила меня сражаться. Не научила обрывать на полуслове и давать отпор, отражать нападение и тут же наносить ответный удар. Она не научила сопротивляться и бить первой, нападать и расправляться с побежденным. Она не научила меня убивать. Зато она научила меня увертываться, втягивать голову в плечи и отступать. Ведь любой мужчина, даже самый жалкий и ничтожный, все равно был сильнее меня. И поэтому она учила меня молить о пощаде, как только он вздумает продемонстрировать мне свое превосходство.

Так как же я могла устоять, когда все мои мечты стали явью? За эти долгие годы я поумнела, мама. Меня соблазнила власть. И я, слабая женщина, в течение десяти лет одна управляла всей страной. Мои мечты наконец стали осуществляться, и уже никакие преграды не могли остановить меня. Этого ты не могла предвидеть, когда, извиваясь на ложе, перерезала пуповину и устало выдохнула: «Как жалко, что девочка». Но эта девочка стала легендой. Ее имя сохранилось в веках. Она не захотела подчиняться и быть покорной. Да, своими неистовыми проклятиями эти люди загнали ее за все круги ада, за все воды Стикса, за все поля мертвых. Но все же им не удалось предать ее имя забвению. Это имя будоражило их умы, разливалось ядом по их жилам: Кли-тем-нестра!

После смерти моей матери отец решил, что пришло время пустить в оборот свой капитал. И отдал меня в жены Танталу, сыну Фиеста. «Дочь моя, — сказал он, когда

я спустилась в зал, где стоял огромный мужчина с густой бородой. — Это твой муж. У него несметные стада и обширные земли. Он племянник славного Атрея, великого царя греков. Будь хорошей женой и во всем повинуйся ему». Я даже не удостоила взглядом этого человека — я направилась прямо к отцу и, швырнув кнут на пол, сказала: «Я не пойду за него. Я дам обет безбрачия и посвящу себя Артемиде». На свадебном пиру я сидела вся изукрашенная синяками — такую взбучку устроил мне отец.

В течение года во мне жили два человека. Как только мой муж взгромоздился на меня, мое прежнее «я» растворилось. Я превратилась в «ничто», существующее вне времени, вне пространства, вне истории. Крохотное, как песчинка, всеобъемлющее, как воздух. Только в горах, возле святилищ, я вновь обретала свое «я». Я стала учиться ненависти, той ее разновидности, которая медленно, капля за каплей расползается по всему телу, — так молодой побег покрывается грубой корой.

Как-то раз, вернувшись с прогулки в горах, я нашла своего мужа мертвым. Он был зарезан прямо возле домашнего алтаря. Рядом с ним лежал мой мертвый ребенок. Над их телами, широко расставив ноги, стоял мужчина с огромной бородой. Он тупо взирал выпученными бараньими глазами на свой тяжелый меч, покрытый кровью и еще дымящимися внутренностями. Лобызая его забрызганные кровью наголенники, мой отец умолял: «Бери все что пожелаешь! Бери золото! Коз! Вино! Масло! — Заметив меня, он добавил: — И ее бери! Он не особо ею попользовался. Я дам хорошее приданое».

Когда я прибыла в Микены, эти люди облачили меня в роскошные одеяния: затканные серебром пеплосы и расшитые золотом плащи. Мне подарили шерстяные хитоны, окрашенные настоящим царским финикийским пурпуром — кровью, выжатой из вен пурпуроносных моллюсков. Меня осыпали драгоценностями: опаловыми диадемами, венцами из сапфиров, добытых в копях Эфиопии, коронами и нагрудными украшениями из листового золота, изготовленными местными искусными ювелирами: полуслепые и сгорбленные, они от зари до заката стучали своими славными молоточками где-то в пыльных улочках. Золота здесь было так много, что его закапывали вместе с умершими царями. Мне подарили кубки, сандалии, краски и притирания, амфоры, расписанные диковинными медузами и сценами битв, — в этих амфорах хранили масло и вино, и вода в них долго оставалась холодной.

И в течение целого года он не прикасался ко мне. Он хотел, чтобы я сама, по собственной воле полюбила его. Ибо самолюбие этого человека не знало границ.

Он рассчитывал, что после приступов глухого отчаяния, шквала проклятий и слез, после припадков сокрушающего гнева, швыряния на пол золотых безделиц и битья кувшинов, после песен о Лакедемоне и бессонных ночей, когда я в ярости металась на чересчур мягкой постели, расточая проклятья, — что после всего этого я наконец выдохнусь и присмирею. И совершу страшное предательство: безмятежно засну под этим чужим, ненавистным небом. А когда проснусь, благоухающее утро уже заявит о новом дне. Молодая кровь заиграет в жилах, во мне раскроется цветок страсти, и тут мой взор упадет на этого человека — величайшего из греков, богоподобного героя, — и я подумаю: «Я согласна. Ведь он все-таки царь».

Но он не знал о Бриомене и просчитался.

Частенько, когда я возвращалась с прогулок по склонам гор, моя мать, очнувшись от своего вечного полусна, говорила мне: «Клитемнестра, ну что за нелепую косу ты соорудила на голове? Это же некрасиво, дорогая. Волосы должны свободно ниспадать на плечи, как у богинь. Бери пример с Елены». Или: «Клитемнестра, ну как ты стоишь? Ноги расставила, вся выгнулась. Ведь ты же женщина. Посмотри на статуи, моя милая». Однажды, заметив на моей щеке серповидную отметину, усеянную красными точечками, она пришла в ярость. Отец избил меня и на три дня посадил под замок. Но я так и не созналась.

В том, что это была любовная метка, метка соплеменников Бриомены.

Бриомена прибыла с берегов Нила. Ее народ строил величественные пирамиды из желтого кирпича, которые подпирали небо. Ребенком ее похитили пираты, привезли в Грецию и выставили на рынке рабов. Она приглянулась моему отцу, и он купил ее себе для забавы. Все остальное время она наравне с мужчинами работала на полях, рыла канавы, окапывала и подвязывала оливы.

У нее были глаза цвета черного дерева, бездонные и лучистые. Ее движения напоминали колебания пламени или воды; казалось, она не оставляет следов.

Мы встречались в зернохранилище на склоне дня. До этого я целый месяц дожидалась, чтобы она только взглянула на меня. Наш шепот, то неистовый, то умиротво-

ренный, витал над золотыми островками мякины, а на дворе пел соловей.

Она рассказывала мне о своем народе, о богах и о разных чудесах: о женщинах с ястребиными головами, грозно потрясавших жезлами и змеями, о мужчинах с головами баранов. Она рассказывала мне о змеях, которые не прячутся в густых зарослях, а греются на солнце и бочком скользят по песку. А еще она поведала мне, что наша жизнь — это лишь череда остановок на длинном пути, которые нужно миновать одну за другой, чтобы душа наконец добралась до своего истинного дома — солнца.

С помощью Бриомены я раскрыла тайны своей души и тела. Это она страстно целовала мне шею, ямку на локте, округлый живот, мягкие стопы, заветное место между ногами. О наслаждении я узнала именно от нее. Ее язык сводил меня с ума; у меня темнело перед глазами, и казалось, что падает дождь из светящихся лепестков. Только благодаря Бриомене я познала вкус жизни. Я осознала свою силу и свое естество, свою значимость, поняла, что можно парить как орел на крыльях собственного могущества. Но самое главное — она научила меня защищаться. «Если ко мне подойдут с лаской, — говорила Бриомена, — я стану медоносным цветком наслаждения и со временем отвечу любовью. Но если меня возьмут силой, напав, как воры в ночи, — она покачала головой и нахмурилась, и тут я поняла, что речь идет о моем отце, — мои уста будут источать смерть».

Спустя много лет, когда я поняла, что́ значит быть полновластной царицей, я тайно разослала гонцов во все концы страны. Но к тому времени мой отец уже успел потерять к Бриомене всякий интерес и продал ее какому-то торговцу из Смирны. Следов найти не удалось.

По прошествии года ненависть к Агамемнону и его окружению до того истощила меня, что я уступила. Но я хорошо усвоила наставления Бриомены, он не получал от меня никакого наслаждения. Когда он откидывался на спину, на его лице всегда была та же гримаса, что в день убийства Тантала, — злая ухмылка, отравленная ядом сомнения в собственных силах. Так что неудивительно, что он предпочел мне ту танцовщицу, Хрисеиду.

А потом появился на свет Орест. О таком очаровательном создании можно было только мечтать, и на какое-то время я почти со всем примирилась. Это был солнечный лучик, звонкий ручеек, веселая искорка, воплотившиеся в земном существе. Он лепетал без умолку, приносил мне скромные цветы, что росли на камнях дворцовых стен. Он выдергивал из только что сотканного полотна серебряные нити, забавляясь их блеском, и плескал водой из амфор на весело хохочущих служанок. Он снова и снова просил меня петь ему песни Леды, многие из которых я к тому времени уже успела позабыть. Я кормила его собственным молоком, хотя, пожалуй, и слишком долго.

За нами всегда следили жрецы. Не смыкая ревнивых глаз, обжигая завистливыми взорами. Нет ничего опаснее опытного жреца. Впереди у него — могила, позади — годами умерщвляемая страсть. От жрецов ничего не скроешь, они все разнюхают, а чего не разнюхают — домыслят. Их мозг постоянно работает, и мысли копошатся и множатся как клубок разъяренных гадюк.

Калхас, верховный жрец и прорицатель, был опаснее всех.

Он сказал, что Ореста давно уже пора отнять от материнской груди, и сына отдали воспитателю. Моего прелестного, веселого мальчика, любимца всех служанок, превратили в точную копию его отца. В грубого мужлана, не очень умного, но очень развязного, похваляющегося тем, что он может одним ударом свалить лошадь и, разорвав ей брюхо, рыться во внутренностях. Его научили презирать женщин. Как-то раз я хотела помочь ему снять флягу — он ведь, в сущности, был еще ребенок. «Отстань, мать, — буркнул он небрежно, точь-в-точь как его отец, — займись-ка лучше своим бабьим делом». И стукнул по столу. Как они заревели от восторга, и громче всех Агамемнон!

Но все было не так просто. Орест был вскормлен моим молоком, моими песнями, моими думами. Он разрывался надвое. Я жалела его, ведь что может быть несчастнее человека, который вынужден убить того, кого он любит, чтобы доказать свою любовь к тому, кого он на самом деле ненавидит. Увидев труп своего отца, Орест не знал покоя до тех пор, пока не отомстил. Но меня он любил больше всех. И только глупец станет отрицать это.

Известие о том, что Елена сбежала с Парисом, меня ничуть не удивило. Всю свою жизнь она была погружена в непрерывное самолюбование. Собственная красота интересовала Елену больше ее самой и заставляла забывать о своем прямом назначении

— формы вложения капитала. Вряд ли стоило удивляться тому, что красавец Парис, соблазнявший ее стихами и остроумием, молодостью и рассказами о дальних странствиях, сумел покорить ее сердце. Я желала ей счастья, но только до тех пор, пока не пришло известие, что воины со всей Греции отправляются в Трою, чтобы вернуть Елену.

Вот тут-то Калхас и нанес свой второй удар. Не насытившись тем, что отнял у меня одного ребенка, он потребовал жизнь другого — моей любимой дочери Ифигении.

Я замечала, что все без исключения местные мужчины отличались невероятным бахвальством и вместе с тем запредельной трусостью. Я не встречала такого, кто был бы готов отвечать за то, что делает. Даже Эгисф после нашей первой ночи счел необходимым сжечь десятка два бедренных костей, чтобы умилостивить богов. Чад от светильников, пылавших вокруг нашего ложа, и запах дымящегося масла изнуряли нашу страсть. И ему даже в голову не приходило, что мы преступаем все законы и исключаем всякую возможность умилостивить богов. Позже, когда мы замыслили лишить царя жизни, Эгисф вел себя точно так же; и вряд ли он воспринимал мои слова — так поглощен он был своими приношениями, орудуя у жертвенников трясущимися руками.

Для меня же все было иначе.

В тот день, когда Агамемнон убил мою дочь, когда в Авлиде я увидела, как он возлагает ее на алтарь с той же безумной гримасой, что была у него на лице после убийства Тантала или когда он слезал с меня после своих еженощных усилий, — в тот самый миг, когда он занес нож над ее девичьим телом, я вдруг поняла, что никаких богов не существует.

Я посмотрела на небо, голубое и безучастное, и убедилась, что там пусто. Что там нет ничего, кроме моих собственных фантазий. И я призвала страшные проклятия на головы всех жрецов, Калхаса, оракулов и прежде всего на голову царя, моего мужа, этого так называемого отца, который расплатился жизнью собственной дочери за попутный ветер до Трои.

Я спрятала свою ненависть глубоко в сердце. Я бережно сложила ее вдвое, потом вчетверо — так складывают акт о владении, так я складывала роскошные широкие полотна, которые ткала все дни напролет одно за другим, дожидаясь того дня, когда он наконец вернется из Трои; вот тогда я устелю ему путь этими пурпурными полотнами — знаменами непокорства и отмщения.

Я взяла в любовники Эгисфа. Я выбрала его, потому что он был изгнанником, человеком без родового наследства. Ему тоже были знакомы тайные зовы неутоленной мести — ведь это Агамемнон лишил Эгисфа всего. Я выбрала его за страшный позор: он был рожден от союза отца с собственной дочерью. И поэтому ходил всегда чуть ссутулившись.

Да, Эгисф был смуглым, неуклюжим, стеснительным, неспокойным. Продукт рода, пожравшего свою собственную плоть и выродившегося. Такой человек устраивал меня.

Мы встречались в послеполуденные часы в портике у купален. Я обучала Эгисфа премудростям Бриомены, и он был прилежным учеником. Возможно, из-за неуверенности в себе он, как никто другой, был восприимчив к доброте. И все эти десять лет мы были счастливы, счастливы безоглядным счастьем людей, отвергших все законы.

Но все это время я выжидала. И когда, после внезапного предчувствия, вдалеке на арголидской равнине я наконец увидела вьющуюся столбом пыль, мне показалось, что все эти десять лет были одним-единственным днем. Это вчера Агамемнон наваливался на меня своим грузным телом, это вчера он настраивал против меня сына, это вчера он, словно козу, зарезал на алтаре в Авлиде мою дочь.

У меня затряслись руки. Но не от страха, а от сладкого предвкушения.

Эгисф совсем потерял самообладание. Жажда мести, так долго не получавшая выхода, вконец извела его и лишила сил. «Мы делаем что-то ужасное. Ужасное!» И он в раскаянии кинулся разжигать жертвенники.

«Ты что, с ума сошел? — спросила я. — Самое ужасное нам еще предстоит совершить. Так что слушай меня внимательно!»

Всю ночь, пока сигнальные огни разносили весть о победе Агамемнона в Трое, я репетировала с Эгисфом его приветственную речь. Утром я послала его на берег. Я была уверена, что самолюбие Агамемнона сыграет нам на руку. И он не услышит в

словах приветствия расчетливой лести, не отличит радушия от коварства, гостеприимства от преступного умысла. Полнейшее презрение ко всему человечеству — его жизненная позиция. Так что он примет приглашение Эгисфа и явится на пир.

Я поджидала его в портике у колонны. При свете факела. С топором в руке.

Утверждают, что весь пол был залит реками крови. Что чан с водой был опрокинут, а крики разносились на многие мили. Утверждают, что Агамемнон рухнул, как бык на бойне, а с ним и вся его свита. Утверждают, что я отвернулась и даже не взглянула на Агамемнона, судорожно царапавшего землю, что я даже не захотела закрыть ему глаза, когда он уже спускался в царство Аида.

Все это правда.

Единственное, о чем не упоминают, так это о моей радости.

Невероятная радость наполняла каждую клеточку моего тела — от головы до кончиков пальцев. Разрубая топором его череп, я впервые почувствовала, что живу. Это было чудо: убийство вдохнуло в меня жизнь. Это было даже прекраснее того, что я переживала с Бриоменой.

После этого меня уже ничто не волновало. Я правила страной еще два или три года, а может, и все десять. Точно не помню. И конечно, настал час, когда за мной пришли.

Мой бедный Орест. Тайно привезенный на родину, чтобы стать послушным смертоносным орудием в руках собственной сестры. У него были такие несчастные глаза, когда он занес надо мной топор, и дрожали руки. И только Электра, придавившая спиной дверь, криками: «Убей! Убей! Убей ее, как она убила моего отца!» — заставила его сделать это.

Электра, это бедное безрассудное дитя, живущее грезами о своем отце. Том самом отце, который запросто смог бы принести ее в жертву, словно козу, по приказу какого-нибудь жреца с коварным сердцем. Я была ее защитой, но она никогда не признала бы этого. А по характеру она походила на меня больше, чем ей это казалось.

Но все это меня не волнует. Нисколько.

Через содеянное я познала истину, которая сделала меня неуязвимой. Я стала недосягаемой, как то далекое безжалостное небо. И такой же беспощадной. Я поняла, что по природе своей ничем не отличаюсь от этого чистого, свободного, первозданного неба. Я узнала свои возможности и их пределы. В те секунды я прожила больше, чем за всю остальную жизнь. Я опрокинула все их законы и установила свои собственные.

Эти люди упрятали меня в глубокую гробницу и замуровали все выходы. Придавили меня золотом. Они произносили надо мной речи на ненавистном мне языке, но мое тело уже не могло постоять за себя. И тогда эти люди решили, что они разделались со мной.

Но им не удалось усмирить меня. Я — задача, которую невозможно разрешить. Из недр холма доносились таинственные стуки и наводящие ужас вопли; земля пульсировала. По ночам в золотом дворце в сновидениях страхи этих людей будут приобретать реальные очертания ножей, кинжалов, топоров, секир и нежной женской руки, занесенной для отмщения. Конечно, этим людям захочется поскорей забыть обо мне, но я буду блуждать по страницам произведений их лучших писателей.

И еще долгие годы Орест будет скитаться из города в город, из страны в страну, гонимый мстительными Эриниями.

■

# ТИБОР ФИШЕР

## *Злоумышленники*

РАССКАЗ

*Перевод А. ЛИВЕРГАНТА*

### *Монпелье*

Захудалую гостиницу я нашел недалеко от вокзала, где такие гостиницы обыкновенно и находятся. Франция подобными заведениями славится. Роскошь в конечном счете приедается, дешевизна же притягательна всегда. Лично я люблю, когда комната обклеена обоями разного цвета, когда не знаешь, какой из двух кранов течет, а какой при повороте останется у тебя в руке.

Администратору я объяснил, что в поезде меня обокрали и номер мне нужен самый дешевый. Администратор все понял. Было очевидно, что ему, как правило, приходится иметь дело с куда более экзотическими персонажами, чем суровые философы, которые не ладят с суровой действительностью, и что даже такой уникум, как я, — явление для него отнюдь не уникальное.

Моим паспортом, судя по всему, администратор остался доволен. «Англичанам мы всегда рады», — изрек он, как будто я напрашивался на комплимент. Гостиница и впрямь никуда не годилась, и выбор свой я остановил на ней только потому, что постояльцами она явно обременена не была. В холле сидел, развалившись в кресле, долговязый юнец в дешевом черном кожаном пиджачке и с недостриженной челкой, который уставился на меня с таким видом, будто ему специально платили, чтобы он отваживал всех желающих здесь остановиться.

Я поднялся к себе в комнату, раскрыл чемодан (чисто машинально — доставать мне оттуда было, собственно, нечего) и прилег на кровать. Так, по-моему, лучше думается, да и вообще горизонтальное положение представляется мне более жизнеутверждающим — неприятности ведь имеют обыкновение преследовать нас не когда мы ложимся, а когда встаем.

В дверь постучали.

— Кто там? — спросил я, раздосадованный своей неизвестно откуда взявшейся общественной притягательностью.

— Вы забыли расписаться, — послышалось из-за двери.

Однако за дверью меня поджидал вовсе не документ, на котором я забыл поставить свою подпись, а дуло здоровенного пистолета, направленного на меня все тем же юным гангстером с недостриженной челкой.

— Деньги! — потребовал гангстер с той определенностью, которой, на мой взгляд, так не хватает современной философии. Не являясь крупным специалистом в огнестрельном оружии, я тем не менее моментально определил: из этого пистолета ничего не стоит убить не только меня, но и еще трех-четырех крупнейших философов современности. И тут я должен во всеуслышание заявить: в такие мгновения особенно хорошо осознаешь, что невоздержанная жизнь, которую ты вел на протяжении десятилетий, более чем оправданна. В самом деле, только представьте, как велико было бы мое разочарование, если б всю жизнь я, задыхаясь, бегал по утрам трусцой, отказывал себе в кружке пива или бокале вина, не заглядывался на пирож-

© 1994. Печатается с разрешения издательства «Polygon»

ные и вел счет калориям — и все это ради того только, чтобы потом ни за что ни про что получить пулю в лоб в дешевом отеле.

Я извлек из кармана четыре франка — все мое состояние — и протянул их стоящему в коридоре юнцу. «Коридорный» втолкнул меня обратно в комнату, переступил через порог сам и закрыл за собой дверь, дабы придать акту ограбления более интимный характер.

— Не двигаться. Деньги.

— Вот они, — отозвался я.

— Это все?! Но вы же турист!

— Да, но турист без денег.

— Туристов без денег не бывает.

— Как видишь, бывают. Можешь взглянуть, милости прошу, — сказал я, указывая грабителю на все, чем в этот момент располагал.

— Но вы же турист, — повторил он, и в голосе его — какое счастье! — прозвучало скорее недоверие, чем угроза.

### *Но*

Точно с такой же интонацией взывал ко мне обычно Танизаки. «Но вы же философ», — говорил он, и его бедный японский мозг трещал по швам от неспособности постичь, как это философ может ввести в заблуждение. Добрая душа этот Танизаки, в такие минуты я ему искренне сочувствовал. Превратное представление, будто философия — это гимнастика ума, сочеталось у него с типичной для японцев неспособностью постигать явления, если они находятся на расстоянии пяти миль от Японских островов. Он искренне надеялся, что я дам ему какое-то невероятное, но исчерпывающее объяснение, которое превратит длительную и бессовестную растрату в дотошный бухгалтерский учет. Я же и не думал ему лгать, потому что: а) разговор шел натощак и лгать не было сил и б) через несколько дней, самое большее — недель он все равно бы узнал горькую правду.

Я вводил фирму в заблуждение гораздо дольше, чем мне самому казалось. В течение многих лет предшественники Танизаки приезжали, одобрительно отзывались о моей руководящей роли и направляли всю свою кипучую энергию на изготовление усовершенствованных клюшек для гольфа и новых, более качественных сортов виски. Забавно, что, по мнению Танизаки, со своими обязанностями я справлялся лучше, чем его предшественники.

Справедливости ради следует сказать, что в начале своей философской карьеры я мог бы действовать более достойно. Идеализм, накрепко привязанный в моей профессии к вере, полетел за борт, стоило только мне ступить на корабль философии; одержимость и порядочность на последней четверти дистанции вчистую проиграли желанию взирать на мир с башни чистогана. Быть может, сохранись у меня надежда на то, что в моей профессии осталось еще немало нехоженых троп, я бы и впредь продолжал делать свое черное дело. Однако уже довольно давно отдаленные раскаты, возвещавшие о том, что как мыслитель я мало чем отличаюсь от музейного рабочего (отряхиваю пыль с обветшавших мыслей, переношу экспонаты из одного зала в другой), переросли в оглушительные удары грома.

Я сам был бы счастлив, если б выяснилось, что я ошибаюсь; было бы превосходно, если б явился гений и упорядочил, к нашей всеобщей радости, историю мысли. К сожалению, все, что нам остается на сегодняшний день, — это ожесточенные бои в сносках, перестрелка из-за знаков препинания и разночтений в хронологии.

Уже много лет назад я обнаружил существенные пробелы в философской науке, однако подобные пробелы отличаются обыкновенно тем, что

а) сделать что-либо здесь невозможно; или

б) сделать что-либо здесь чрезвычайно трудно; или

в) кое-что в этой области сделано, но вам об этом ничего не известно.

Кроме того, как специалист по истории философии могу с полным основанием заявить, что не существует ни одной мысли, авторское право на которую не принадлежало бы грекам; они присвоили себе все идеи задолго до рождения Иисуса Христа. Привести аргументы в доказательство этой точки зрения ничего не стоит. Те же плоды мыслительного процесса, которыми по случайности не воспользовались греки, были подобраны французскими, немецкими и английскими поисковыми партиями.

Если же вы полагаете, что злоупотреблять доверием читателей легко, попробуйте сами. Занятие это трудоемкое.

### *Я перебегал дорогу другим?*

Найдутся и такие, кто скажет, что я перебегал дорогу талантливым философам, не давал им «двигать науку». Прекрасно. Я рад, как выражаются политики, что вы «подняли этот вопрос». Именно это я и делал. Трех лет занятий философией в университете с лихвой хватит любому психически здоровому человеку.

### *Б-р-р-р-р-р*

Это к вопросу о морали философа и о кошельке туриста.

— Вы же турист, — повторил долговязый гангстер в третий раз, словно утверждение это было толстым свертком, который ему никак не удавалось протолкнуть в узкую щель почтового ящика. — Турист — и без денег.

Я извинился: с удовольствием отдал бы ему деньги, если бы они у меня были. Увы... По счастью, к насилию мой вооруженный грабитель прибегать явно не собирался; он лишь что-то бормотал себе под нос с раздосадованным видом пассажира, который внезапно обнаружил, что сел не в тот поезд.

Гангстер не угрожал мне, но и менять своих планов тоже, как видно, не собирался. Он сел и, подавшись вперед, подпер кулаком голову, которая в этот момент была похожа на застрявший в лузе гигантский бильярдный шар.

— Нет, нет, нет, — проговорил он. Медленно. С расстановкой. Я не знал, как быть. В школе нас этому не учили. Досадный пробел в нашем образовании. Пистолет лежал у него на коленях дулом вверх и весело поглядывал на меня.

— Ты бы с ним поосторожнее, — порекомендовал я грабителю.

— Он не заряжен, — сказал мне юнец голосом человека, у которого только что в автомобильной катастрофе погибли жена и дети (любимые жена и дети). — На пули мне на хватило, — пояснил он.

Я чуть было не сказал, что больше его не задерживаю, но тут сообразил, что задерживает скорее он меня, чем я его. Я задумался: как должен хорошо воспитанный философ вести себя с незадачливым вооруженным грабителем? Последнее время я стараюсь о своей профессии не распространяться: что-то, видно, есть в ней такое, что вызывает собеседника на откровенный разговор; вам признаются в таком, чего лучше бы не слышать. В данном случае, однако, вооруженный грабитель заговорил сам, без всякого поощрения со стороны именитой философской аудитории.

— Он не хотел продавать мне пистолет. У меня не хватало денег, — признался юнец. — Но потом он передумал: «Ладно, Юбер, учитывая, что ты только что вышел и что из полупистолета все равно не убьешь, — продам тебе его в кредит. Целиком».

Хотя я, со своей стороны, никакого интереса к его словам не проявил, он во всех подробностях изложил мне нехитрую историю своей жизни. Несколько часов назад он вышел из тюрьмы и на все имевшиеся в наличии деньги попытался приобрести пистолет — «пистолетик», как он с грустью выразился. Вооружившись, он отправился на поиски потенциальной жертвы — против меня лично он ничего не имел.

— Приятно слышать, что у меня такой преуспевающий вид, — посчитал необходимым вставить я: пусть знает, что я на него не в обиде.

— Придется снова идти на охоту, — вздохнул он, однако никаких телодвижений, которые традиционно ассоциируются с желанием покинуть помещение, я не заметил. Мой «гость» даже не шелохнулся. Поскольку тема вооруженного ограбления явно себя исчерпала, я бы с удовольствием предложил ему (да и себе тоже) чего-нибудь выпить — но комнату, да еще такую убогую, увы, не выпьешь.

Он внимательно посмотрел на меня, и тут только я заметил: то, что я принял за прищур, в действительности было стеклянным левым глазом.

В это время отстегнулась и со стуком упала на пол его правая рука.

— Вечно она у меня падает, — вздохнул гангстер, однако подбирать ее не стал; он вообще не производил впечатления человека, который куда-то торопится. Каково ограбление — таков и побег.

— А вы неплохо говорите по-французски, — сказал он. — Чем занимаетесь?

Я занял круговую оборону.

— Я философ, — ответил я и тут же пожалел об этом. Теперь он уже не уйдет никогда.

— И как, заработать этим можно?

— Это зависит...

— От чего?

— От того, какой ты философ.

— В смысле, богатый или бедный? Вы, значит, к богатым не относитесь? Или вас кто-то до меня грабанул?

Я изложил ему историю своих сегодняшних злоключений.

— У вас ведь были родители, да? — спросил он, нащупывая новую тему.

— Представь себе.

— А вот у меня не было.

В комнате воцарилась тишина, прерывать которую вопросами о его генеалогическом древе мне не хотелось.

— А как вам Франция? — поинтересовался он, сыграв, пусть и с некоторым опозданием, роль гостеприимного хозяина.

Я хотел было дать ему исчерпывающий ответ, однако он вновь переключился на самого себя. В результате мне была предложена часовая развлекательная программа «Познакомьтесь: Юбер», смысл которой сводился к тому, что никому на свете этот Юбер был не нужен.

Юбер: малоопытный преступник, многоопытный заключенный; робок в успехах — несокрушим в неудачах.

— В этот мир я явился недоделанным, — сообщил он мне. — Недоделанным на одну руку. Так, во всяком случае, мне говорят.

Детство Юбера: нашли его — неизвестно почему — в мусорном ящике и отдали в приют. «Им доставляло удовольствие постоянно напоминать мне про мусорный ящик». В результате инфекции он лишился левого глаза. Рассказывая про приют, Юбер избегал подробностей, полагая, по-видимому, что и без объяснений понятно: обращались с ним хуже некуда.

Пока я размышлял о том, что, к сожалению, не научился брать с собеседника деньги за то, что я его слушаю (этим искусством, мне кажется, я владею неплохо), он вкратце изложил мне историю первых восемнадцати лет жизни и перешел к описанию своего криминального дебюта.

Он и его сообщник, занимавший в преступной иерархии более высокое положение, наметили себе в жертву известного — в местных масштабах — скрягу и предпринимателя, который, когда они набросились на него в его же собственной квартире и связали по рукам и ногам, в первый момент потерял от ужаса голову, ибо принял Юбера и его партнера за спецподразделение налоговой инспекции. Когда же до него дошло, что это самые обыкновенные преступники, он разразился гнусным смехом, хотя грабители пинали старика ногами и угрожали ножом, пытаясь вызнать у него наборный код сейфа.

— Не скажу, — давясь от смеха, заявил он, после чего на стреноженного Гарпагона было вылито содержимое канистры с бензином, которую Юбер, по приказу своего более опытного сообщника, прихватил с собой. Затем confrère[1] Юбера словно бы невзначай закурил сигарету и сделал вид, что не знает, куда бросить еще непотухшую спичку.

Гарпагон «раскололся». Он говорил с такой скоростью, что ни Юбер, ни его ментор не успевали за ним записывать. Несколько раз повторив секретную информацию, скряга вдруг побагровел и рухнул замертво. Инфаркт миокарда.

— Любопытный юридический казус, — заметил дружок Юбера. — Интересно, что нам с тобой будут шить? — Ушли они с пустыми руками, если не считать почтовых марок, которые Юбер увидел на столе в кухне.

Тогда-то Юберу и пришло в голову, что самое время начать действовать в одиночку. Он отправился в arrière-pays[2], где собирал виноград, жил в сарае, а в свободное время размышлял о том, что на канистре, которую они бросили на месте преступления, остались его отпечатки пальцев. «А ведь за эту канистру, — припомнил он, — мне пришлось выложить свои кровные...»

Вернувшись из деревни отдохнувшим и возмужавшим, Юбер облюбовал себе небольшой банк — как говорится, маленький да удаленький, — где с ним в свое время, когда он пришел за кредитом на покупку престижного огнестрельного оружия (того самого, с которым он со временем попадется), обошлись без особого уважения.

Преступник «со стажем», он предусмотрительно угнал машину, чтобы после ограбления банка побыстрее скрыться. Достав из кармана пистолет, на который ушли

---

[1] Собрат, коллега (*франц.*). (*Здесь и далее — прим.перев.*)

[2] *Здесь*: в деревню (*франц*).

почти все заработанные в деревне деньги, он вошел в здание банка и обнаружил, что «взять банк», оказывается, легче легкого, так же легко, как дышать (при условии, естественно, что у вас нет респираторного заболевания или закупорки трахеи — в этих случаях дышится не так уж легко; дыхание также бывает затруднено, если вы находитесь глубоко под водой, а к вашим ногам привязан увесистый булыжник, или если вы находитесь в барокамере, или если вдруг выясняется, что вас душат).

Посчитав, что он нашел свое призвание, Юбер «снял банк», прочистил горло и обратился с небольшой речью к группе сотрудников банка, а также к двум водопроводчикам-алжирцам: «Дамы и господа, прошу минуту внимания. Вы удостоились чести быть свидетелями моего дебюта. Ваши внуки будут еще больше почитать вас, когда узнают, что в этот день вы находились на своих рабочих местах. Уже одно это заставит их превозносить вас и лелеять».

Выбежав со своим уловом на улицу, Юбер обнаружил, что машину, которую он угнал, угнали.

И неудивительно: он оставил дверцу открытой, а ключ — в замке зажигания. Разумеется, сохрани Юбер присутствие духа — и он нашел бы альтернативный способ унести ноги (или, выражаясь философским языком, «чувственные данные») — присвоить, к примеру, еще одно транспортное средство, мало ли... Но: «Я ошалел». Он ошалел и бросился бежать. Ориентируясь по указательным пальцам прохожих, показывающих на супермаркет, полиция ворвалась внутрь и обнаружила Юбера в отделе мороженых овощей; притулившись на полке по соседству с быстрозамороженной фасолью, он тщетно пытался скрыться от посторонних глаз. Приказ «бросить оружие!» Юбер выполнил настолько удачно, что пистолет при падении разрядился полицейскому в ногу.

И тут, как уверяет Юбер, счастье впервые в жизни ему улыбнулось. Его не пристрелили на месте. Ему дали десять лет. В тюрьме было лучше, чем в приюте: «Никто не делал вид, что ты на свободе». И еще: «Я знал, что выйду. Я знал, что у меня будет шанс».

Ночь. Я предложил ему сходить в магазин и на четыре имевшихся в наличии франка купить еды. Голодное братство. Юбер мое предложение принял. Больше того, он вручил мне свой «кровный» франк и сказал, что может одолжить пистолет. «Сегодня я больше рисковать не намерен». Мы нашли ночной магазинчик, где за пять франков нам с удовольствием продали пару батонов. Когда батоны были съедены и голод утолен, Юбер (предварительно попросив разрешения воспользоваться частью моего постельного белья) постелил себе на полу и принял горизонтальное положение.

### *Опять мысли вслух*

Раскинувшись на полу, Юбер лежал с закрытыми глазами, но по его дыханию я понял, что он проснулся, однако, точно так же как и я, день начинать не торопился. В самом деле, зачем принимать обременительное вертикальное положение, когда находишься в горизонтальном?

День тем временем уже демонстрировал кое-что из своих даров, просовывая их в щель между потолком и занавеской. Но солнечные лучи меня не интересовали. В своей жизни я их повидал немало и, чего они стоят, знаю.

Юбер пребывал в разобранном состоянии. Его слуховой аппарат восседал на кожаном пиджаке. Искусственная нога, в позе, которая не делала ей чести, стояла у стула, развязно к нему прислонившись. Рука же лежала на умывальнике, растопырив пальцы, словно готовилась по первому зову повернуть кран и приступить к водным процедурам. При столь широком ассортименте конечностей не было ничего удивительного, что Юбер вставать не спешил; по всей видимости, в данный момент он думал, как собрать себя в единое целое. Надо сказать, что в разобранном состоянии находился и я. Свои планы раствориться в жизни я не мог осуществить, не имея в кармане хотя бы скромной (не говоря уж о круглой) суммы. В жизни каждого человека наступает время, когда он имеет право перестать думать о деньгах. (Чуть-чуть потрудиться в молодости — и все будет в порядке.) Так вот, у меня это время наступило.

### *Некоторые общие замечания*

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у всех (или почти у всех) членов сколько-нибудь развитого общества есть тайные помыслы. Вот некоторые из них в произвольном порядке.

Книга. Лично я придерживаюсь той точки зрения, что большинство людей вынашивает в себе книгу. Многие, слава Богу, держат ее под домашним арестом. Бо́льшая же часть человечества втайне мечтает оставить после себя типографский след. Это могут быть мемуары, беллетристика, любовные излияния, путеводитель — жанр значения не имеет. К счастью для издателей и тех из нас, кто вынужден читать, чтобы прокормить семью, только небольшая часть этих мечтателей выходит на столбовую писательскую дорогу. (Некоторым удается сделать себе имя в литературе одной книгой, регулярно переиздавая ее под разными названиями.)

Еще одно общее поветрие — ресторан. Сколько раз бывало, что за обедом наш приятель вдруг принимался рассуждать о том, как хорошо было бы открыть ресторан, кафе или еще что-нибудь в этом роде. Аргументы?

а) это представляется делом не таким уж сложным;

б) все мы любим поесть;

в) за столом люди раскрываются с лучшей стороны.

Третье неосуществленное желание — ограбление банка. Плюсы этого предприятия очевидны. Всем нам почти всегда не хватает денежных знаков. Бывает даже, что денежные знаки нужны позарез. Вывод? Денежные знаки хранятся, как правило, всего в нескольких минутах ходьбы от вашего дома. Вы входите в банк ленивой походочкой и через полчаса выбегаете на улицу богатым человеком. Улыбка фортуны. Финансовый стриптиз: от этих прозрачных разноцветных бумажек, сулящих вам свободу, вас отделяет тонкая стеклянная перегородка. Несколько фунтов фунтов, несколько килограммов бумаги с изображением местных знаменитостей, карманы, набитые водяными знаками, — и вы можете делать что хотите, ехать куда хотите!

Кроме того, ограбление банка, в отличие от многих других правонарушений, не грозит вам длительным тюремным заключением. Ведь в банке лежит больше денег, чем нужно, лежит мертвым грузом, и человечество ненавидит: а) банки и б) банкиров, а потому сурово спрашивать с вас за ограбление банка не станет. Верно, люди, которые не занимаются ограблением банков, несут туда, как сказал бы Юбер, «свои кровные», но делают они это незаметно. Кроме того, с учетом пункта «б», сама по себе идея нагнать на банкиров страху весьма заманчива.

Останавливает нас не законопослушание и, уж конечно, не этические соображения. Нет, нас сковывает по рукам и ногам страх, угроза наказания. К тому же мало вероятно, чтобы ограбление одного банка обеспечило всю вашу последующую жизнь; при всех преимуществах этого занятия плоды его краткосрочны. Грабя банки, не разбогатеешь. Другое дело — мошенничество: тут и деньги побольше, и сроки поменьше; при определенном везении совершенное вами преступление может и вообще пройти незамеченным. Зато мошенничеству не хватает непосредственности, естественной красоты ограбления банка.

В периоды особой стесненности в средствах я не раз боролся с искушением ограбить банк — теперь же, воодушевленный присутствием Юбера, я этому искушению поддался и дал ему возможность заявить о себе. Ограбление банка хорошо еще и тем, что оно повышает нашу самооценку. Великое ограбление банка требует таланта и увлеченности; рядовое не требует ни того ни другого.

Помимо нужды в презренном металле, я испытывал любопытство... кроме того, у меня просто не было альтернативы. В это солнечное утро в Монпелье особого спроса на тучных английских философов с мировым именем что-то не наблюдалось. Даже если бы мои друзья были в пределах досягаемости, я не стал бы докучать им своими нелепыми просьбами. Свою записную книжку мне хотелось сохранить незапятнанной.

### *Высшая правда*

Подобно воде, сливающейся в сток, мои размышления слились в идею. Страх преступить грань дозволенного неизбежно ведет к смерти. Я же был и остаюсь бесстрашным правдоискателем, что побуждает меня исследовать доселе неисследованные уголки человеческой психологии.

Бедность не устраивает меня прежде всего тем, что она: а) наводит тоску и б) засасывает. И то и другое я испытал в полной мере. Бедные всюду одинаковы. О богатых судить не берусь: на такую высоту, даже в бытность свою растратчиком, я если и возносился, то лишь мимолетно. Но я не остановился на достигнутом. Терять мне было нечего. В любом случае я хотел развеяться, на что-то себя употребить.

## *Инструментарий*

Мне повезло: в результате невезения я обзавелся тем, чем обзавестись в целях ограбления банка сложнее всего, — пистолетом.

— Дай мне пистолет, Юбер. Пойду, что ли, банк ограблю.

— Это не так-то просто, профессор.

Поставил меня на место. Что ж, профессионалы не любят, когда к ним примазываются праздношатающиеся.

— Я же не сказал, что это легко. Просто наступает минута, когда надо идти грабить банк.

— А другим способом вы денег раздобыть не можете?

— Нет. К тому же я в бегах.

— В бегах?! От фараонов драпаете? От Скотленд-Ярда? Я сразу понял, профессор, что в вас что-то есть. Достаточно было на вас одним глазком посмотреть. Таких, как вы, и грабить приятно. — И Юбер, воодушевившись моим предложением, пристегнул ногу. — Да, пока что мне не везет, но я бы рекомендовал начать с туристов. С туристами меньше риска, профессор. А может, лучше пофилософствуете? Чем вы раньше-то пробавлялись?

— Пофилософствовать я, конечно, могу, но одной философией сыт не будешь.

Всю дорогу в банк («Платить будете как за двойной номер!» — бросил нам вслед администратор гостиницы) Юбер меня отговаривал; он непременно хотел меня сопровождать, хотя я предупредил его, что сотрудничество со мной в роли грабителя банка ничего хорошего ему не сулит.

— Интересно, что бы вы сказали, профессор, если бы я решил вдруг стать философом, а? — повторял Юбер, намекая на мою некомпетентность в вопросах ограбления банка. Что ж, я и в самом деле не знал, как должен выглядеть поддающийся ограблению банк; меня подмывало обратиться к Юберу за советом, но делать этого я не стал — не мог же я выдать свою растерянность. Я разгуливал по городу и высматривал подходящий банк, чем вызвал одобрение Юбера; он был доволен, что я не бросился на первый попавшийся объект, а занялся сбором информации.

Я-то понимал, что у меня всегда будут основания для сомнений: идеального банка в Монпелье (или, как сказал бы Платон, на всей земле) не существовало. Я мог выбрать банк подальше от гостиницы, мог подождать до середины дня, когда клиентов будет поменьше; мог руководствоваться десятком других, не менее здравых соображений — но грабить банк от этого было отнюдь не легче. Между тем неотвратимо приближалось время обеда, о чем невозможно было думать без слез.

Про себя я решил ограбить банк, где служащие особенно грубы и неприветливы. Как вы поступаете, если в банке грубят? Идете в другой банк. Где будет тот же курс, тот же сервис, та же грубость. У банковских служащих круговая порука: они словно бы договорились между собой извести всех своих клиентов (за исключением толстосумов, разумеется), отомстить нам за то, что мы, в отличие от них, не должны всю свою жизнь гнуть спину в банке.

Когда грабишь банк, главное — продумать, где спрятать оружие, и я, что в высшей степени симптоматично, выбросил из чемодана книги и положил туда пистолет. Необходимо также решить — стоять ли в очереди или сразу подходить к окошку. Первое, что я увидел, войдя в банк, были три встрепанные, дурно одетые мегеры с прическами, отстающими от моды лет на двадцать; эти похожие на учительниц таинственные личности, забыв на время про свою неудавшуюся личную жизнь, вдумчиво выполняли какие-то финансовые операции.

Одна женщина в очереди прихватила с собой целый выводок детишек разного возраста, которые беспрепятственно расползлись и разбежались по всему банку; многодетная мать наблюдала за ними с таким видом, что было ясно: пропажа одного-двух детей не явится для нее трагедией. Двое мальчиков не отрывали глаз от Юбера, который показал им фокус с отстегивающейся рукой. Еще один малыш с любопытством воззрился на меня; то ли он ожидал, что я проявлю к нему интерес (маленькие дети, привыкнув к круглосуточной опеке, полагают, что представляют интерес для всех взрослых), то ли ему впервые довелось увидеть философа, который собирается ограбить банк.

Решив не мешать клиентам заниматься своими делами — они ведь ни в чем не виноваты, — я молча подошел к окошку. Кассиров было двое.

Один — помятый старик с гигантской плешью, над которой вился редкий пух и с которой — словно подчеркивая отсутствие волосяного покрова — свисали длинные седеющие космы.

Вторым кассиром была женщина. И какая женщина.

Я знаю. Это ужасно. Я неисправим. Раб привычки. Надо же: без гроша за душой, возраст близок к преклонному, карьера закопана в карьере, циничные гробовщики уже снимают с меня глазами мерку. А туда же! Все думаю, как бы прибавить работенки своему будущему биографу. Вместо того чтобы заняться делом, я ощутил, как переполняет меня мой чувственный опыт, как я начинаю строить любовные планы.

Я стоял в очереди и молился, чтобы попасть к лысому, а не к красотке. Я часто думаю, что мыслительный процесс происходит у нас вовсе не в голове, как принято считать; у мужчин, по крайней мере, мысли располагаются в нижней части тела, в мягком висячем органе с двумя полусферами. Вот где пульсирует мысль. А то, что располагается на наших плечах, — не более чем прикрытие.

Мужчина (если он мужчина) теряет интерес, когда он: а)скончался или б) кончается. Всю жизнь он погружен в монаду гонады[1]. Для меня это всегда было вернейшим показателем того, насколько серьезно я болен: если от образа полураздетой блондинки в жилах не закипает кровь — значит, самое время обратиться к врачу.

Я испытал двойственное чувство. С одной стороны, мне хотелось с ней познакомиться; с другой — я не мог не понимать, что ограбление банка, в котором она работает, — не самый лучший способ добиться ее расположения.

В этой связи мне пришла в голову мысль: неплохо было бы убедить людей, что прибегать к столь банальному средству устрашения, как пистолет, я не намерен. Надо же поддержать свою солидную репутацию. Тут я заметил видеокамеру, но Юбер с широкой улыбкой от нее отмахнулся. Кассир, находящийся на волосок от тотального облысения, занялся многодетной семьей.

Я подошел к красотке.

— Доброе утро, мадам, — сказал я. — Ограбление банка. — Я бы нисколько не удивился, если б она мне сказала, что касса в другом окне.

— Ограбление банка? — Это ее нисколько не смутило. Ни столбняка, ни истерики. Стоик. Реакция такая, будто я спросил, который час. И улыбочка та же — как будто по губам джем размазан. Не первой молодости, но есть женщины, которые умеют обманывать время — особенно когда у них такой взгляд. Меня не удивишь, словно бы говорил он. — Вы уверены?

— Уверен, — сказал я и, приоткрыв чемодан, продемонстрировал ей злобно ощерившееся дуло пистолета, после чего она ни быстро, ни медленно стала складывать в чемодан пачки кредиток. Пистолет я положил перед собой.

— Мелкие тоже класть?

— Нет, благодарю.

— Вот именно, хоть что-нибудь оставь, — послышался у меня за спиной ворчливый голос. — Специально сегодня утром приехал, чтобы деньги снять. Жить-то надо.

Лысый в соседнем окошке не понял, что присутствует при ограблении банка, и затеял с многодетной матерью спор о том, как оформлять денежные переводы.

Тем временем моя красотка упаковала все имевшиеся в наличии деньги, после чего бросила в чемодан листок бумаги, на котором что-то написала.

— Ну вот, — сказала она. — У меня все. В соседнем окне можете взять остальное.

— Нет, нет, не отвлекайте его, — сказал я. Это было бы уже рвачеством. — Большое вам спасибо. Простите за беспокойство. До встречи.

— До встречи, — отозвалась красотка, неотразимо улыбаясь следующему клиенту.

Мы с Юбером вышли на улицу. Юбер не скрывал своего восхищения; я чувствовал, что он хотел прокомментировать увиденное, но воздержался — профессионалу не положено.

На улице Юбер вопросительно посмотрел на меня — он ждал от меня дальнейших действий, в его взгляде отчетливо читалось: «Что дальше-то делать будем?» Я вспомнил, что за углом есть очень хороший рыбный ресторан, и направился туда, но услышал за спиной свистящий шепот Юбера:

— Может, лучше немного пробежимся?

— Нет, — ответил я. Юбер, очевидно, не догадывался, что я: а) слишком стар, б) слишком толст и в) слишком ленив, чтобы пуститься в бегство, и что если мне суждено попасть в полицию, то я хотел бы не потерять лицо и выглядеть сообразно своему положению и возрасту.

---

[1] Монада гонады — субстанция половой железы.

Полиция не торопилась. Мы уже листали меню и пили аперитив, когда мимо окна, у которого мы сидели, промчалась первая полицейская машина.

У официанта отношения с Юбером не сложились. Юбер, как мне показалось, не был завсегдатаем первоклассных рыбных ресторанов, и официант, по-видимому, придерживался того же мнения. Он был убежден, что Юбера следует вывести в поле и сжечь напалмом.

— Позвольте рекомендовать вам наши фирменные блюда, — твердил официант.

— Знать не хочу никаких фирменных блюд, — упрямился Юбер. — Я хочу рыбную похлебку. Мы же не туристы. — Сказав это, он, точно злая собака, обнажил зубы — вот-вот укусит.

Потом нас попросили пересесть за другой столик, уступив наш какой-то парочке. Потом Юбер получил не то, что заказывал, и должен был раз пять напомнить, чтобы ему принесли пива. Несмотря на то что мы были непозволительно богаты, а ресторан — непозволительно дорог, обслуживали нас из рук вон плохо — и это притом, что заведение пустовало. Я, чтобы страсти не накалялись, заказал-таки фирменное блюдо, да и на спиртном мы не экономили. И это еще одна грустная закономерность нашей жизни: каким бы хорошим и дорогим ресторан ни был, рано или поздно вас все равно обхамят. В довершение всего официант вылил на Юбера какой-то желтый соус. Я думал, что Юбер его ударит, но он неожиданно стал настаивать на том, чтобы оставить официанту огромные чаевые.

— Это будет ему уроком, — сказал он.

— Не понимаю.

— Он считал меня козлом, теперь пусть знает, что я козел с деньгами, — от зависти удавится.

В чемодане среди денежных знаков я обнаружил совсем другой знак — ее записку. Крупными, четкими буквами, каждая из которых стоила целой картинной галереи, она написала свое имя и номер телефона. Джослин. Я показал записку Юберу. Он тоже обратил внимание на эту красотку, на ее взгляд.

— Вот это да! — воскликнул он, размахивая своей несъемной рукой, как будто ее охватило пламя. — Вот это женщина... такую не удивишь.

Выходя из ресторана, Юбер снял с вешалки чью-то кепку и нахлобучил ее мне на лысину.

— Не будем искушать судьбу, — заметил он.

Полиция за это время заметно активизировалась: полицейские с серьезным видом ходили по улицам, переговаривались по радиотелефонам и вообще вели себя так, будто на них возложена очень важная миссия. Мы беспрепятственно прошли мимо, остановившись только один раз, когда Юбер, подойдя к полицейскому, который стоял возле своего мотоцикла, поинтересовался, что произошло.

— Ограбление банка.

— Вы их поймали? Вы знаете, как они выглядят? — спрашивал Юбер взволнованным голосом гражданина и патриота.

— Далеко не уйдут, — буркнул мотоциклист.

— Зачем ты это сделал? — спросил я, когда мы отошли на почтительное расстояние.

— Проверял обстановку.

Когда мы вернулись в гостиницу, Юбер запустил подушкой в стену.

— Я хочу понять одно. Ты что, гений?! — воскликнул он. — Или это потому, что ты философ? За одно утро ты грабишь банк, скрываешься от погони в соседнем ресторане, а сейчас рискуешь попасть в объятия к женщине, которой море по колено. В первый раз такое вижу!

■

# ВАЛЕНТАЙН КАННИНГЕМ
# АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНЦЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Борьба с «отцами» и с «отцовской» литературой — отличительная черта современной культуры вообще, модернизма и постмодернизма в частности. Подобно тому как Иаков из Ветхого Завета сражался с Ангелом, наша литература борется с Богом-Отцом, со «стариками» и их тоталитарными режимами, со всевозможными проявлениями патриархального уклада. И добивается при этом немалого успеха. Стены «стариковских» тоталитарных режимов пали не в последнюю очередь от громогласных звуков литературных труб.

В 1993 году Джулиан Барнс отпраздновал успех своего романа «Дикобраз»[1], где изобразил падение Старика и его не названного, но узнаваемого тоталитарного режима (роман, что симптоматично, хотя и непривычно, опубликован был сначала в Болгарии), рухнувшего в результате бунта женщин, которые вышли на улицы, гремя мисками, половниками и прочими кухонными принадлежностями. Антипатриархальное движение — это в какой-то мере и женское движение, и успех «Дикобраза» объясняется, среди прочего, тем, что в нем показано: одно из центральных мест в общественных баталиях конца века занимает феминизм. Примечательно, что тема эта столь убедительно прозвучала не у какой-нибудь Фэй Уэлдон, чья Дьяволица с такой страстью ополчилась против своего негодного мужа, и не у Анджелы Картер, чьи «Ночи в цирке» (1984) в духе Мишеля Фуко повествуют о бунте в женской тюрьме в царской России, — а у писателей-мужчин, в основном выпускников Оксфорда, которые активно выступали против феминисток, создав целую литературную школу, получившую название «мужской»; я имею в виду Мартина Эмиса, Уильяма Бойда, Тимоти Мо, Алана Холлингхерста, Джиффа Дуайера, Уилла Селфа, а также Иэна Макьюэна, выпускника Университета Восточной Англии, и прозаиков из «команды» Малькольма Брэдбери, которые предпочли, что характерно, жить в Оксфорде.

Старик-диктатор Джулиана Барнса не в состоянии противостоять новым историческим силам. Под его собственной историей, «отцовской», коммунистической, сталинистской, поставлена жирная точка. И тоталитарный марксизм — это лишь один из многих «измов», которые смяла Большая литература в своей кровопролитной войне против «отцовского синдрома». Иудо-христианство, ислам, марксизм, постхристианский либерализм — эти основополагающие понятия, основы нашей этики, экономики, нашей истории и историографии, а также основы *романа*, аспекты того, что можно было бы назвать *семитским повествованием*, взятым на вооружение Западом, повествованием, которое возвращает нас к нашему праотцу Аврааму, — все эти некогда стержневые понятия могут вот-вот кануть в литературное небытие. Этот процесс распада, один из наиболее распространенных аргументов в пользу постмодернистского видения мира, является важной темой «Сатанинских стихов» Сальмана Рушди. В этом широком наступлении скепсиса основной удар приходится по великой либерально-демократической идее *самости*, по понятию, заложенному в протестантско-пуританском индивидуализме, который и создал *роман* как таковой, став — уже с первых страниц английского романа («Робинзон» Дефо) — движущей силой прогресса.

Не случайно Джон Сам, отталкивающий герой романа Мартина Эмиса «Деньги» (1984), не может читать Джорджа Оруэлла, которого он то и дело снимает с полки. Крах либерально-гуманистических представлений — основная тема романа Иэна Макьюэна «Дитя времени» (1987). «А пошел ты... — говорит нищенка герою романа, когда тот широким жестом протягивает ей пять фунтов. — Говнюк богатый!» И действительно, откуда взяться благодарности в попирающей гуманизм «Британии Тэтчер»? Укоренившимся в обществе ощущением девальвации либеральных ценностей можно объяснить и тот факт, что настойчивое стремление Айрис Мердок сохранить верность традиционной постхристианской беллет-

[1] См. «ИЛ», 1995, № 6. (*Здесь и далее — прим.перев.*).

© Valentine Cunningham, 1995

ристике, отдать должное *роману* с его многообразием списанных с жизни персонажей, социальной панорамностью и многоплановостью представляется несколько устаревшим. Отметим в этой связи, что Айрис Мердок не только не восстает против отцов, а, пожалуй, даже превозносит их в цикле «романов воспитания».

Прошлое, однако, не так-то просто изъять из жизни. Чем чаще оно объявляется «концом истории» или «последом истории», как не без остроумия назвали нашу эпоху Деррида и его ученики-деконструктивисты, тем больше прошлое заявляет о себе, провоцирует, подбрасывает загадок. Первый, самый очевидный результат «исторического последа» — это одержимость историей, широко распространившийся и навязчивый историзм. Истории отцов продолжают преследовать нас, в том числе и в форме, которую Жан Бодрийар назвал «культурной некрофилией».

Тревога нашего современника вызвана чувством, будто все мы стоим в конце очень длинной очереди. Этот читательско-писательский невроз становится предметом исследования в романе Кристин Брук-Роуз «Текстерминация» (1991), где на свой ежегодный съезд собираются герои мировой литературы; они пытаются сохранить свою известность, вознося молитвы Господу и проводя семинары, которые бы продлили их литературную жизнь. Молодая аспирантка, которая работает на съезде переводчицей, пребывает в смятении. Кто все эти люди?! Неужели в ее образовании столько пробелов?!

«Постепенно ее охватила паника. Жан Кристоф, Генри Эсмонд, смуглый молодой человек по имени Беззиан Ворпси держит за руку свою жену, у которой застывший, погруженный в себя взгляд. А вот Евгения Гранде, капитан Ахав, Коринна, пан Тадеуш, Раскольников, Бифф, Пнин — его она знает: куполообразная голова, очки в роговой оправе; Ласарильо с Тормеса — конечно, она его знает, и Макавеа, ах, бедная Макавеа — как всегда, от ее тела исходит терпкий запах, на ней старенькое платьице, идет в сопровождении ее любимого Браса Кубаса, — она же пишет диссертацию о Мачадо Ассизском. Ей так хотелось с ним познакомиться, но он уже прошел внутрь. А за ним — Эстер Принн с вышитой на груди буквой «А», Наташа из «Войны и мира» и мистер Верлок в сдвинутой на затылок шляпе... Но кто такие Слимак, Эффи Брист, Билли Пилигрим, unser[1] Эдгар, Севаст Никон, linkshändige Frau[2]? А Масуи Оно? Барнабут? Полковник Москателли? А Пинки? А доктор Филифор?»

И что еще тревожнее, прошлое многогранно, это ведь и великое прошлое, время Библии, Гомера, Шекспира, Мильтона, других гигантов. Прошлое — это классика. А потому прошлое вторгается в современное литературное сознание в виде некоей недосягаемой мощи, вызывающей одновременно и зависть, и сожаление. Но прошлое — это и позор, причем позор, многократно испытанный. Традиция вызывает не только зависть, но и ужас. До нас она доходит в виде руин, опустошения, отбросов, отходов, помоев, тряпья, дерьма. «Nur das Verderben wirkt», — заявил Кафка. «Только крах имеет значение». Название поэмы Элиота «Бесплодная земля» говорит само за себя. Традиция является нам в виде осколков, щебня, трухи — осколки эти могут пригодиться лишь для мозаики, которая если и радует глаз, то лишь осколочным, эфемерным блеском, ассоциируется с распадом, разрушением. Таков современный стиль, таков же и современный город в изображении Хьюго Гамильтона, ирландского писателя, который живет и пишет в Берлине. Берлин в романе Гамильтона «Город-суррогат» (1990) переживает тяжелую болезнь как в буквальном, так и в переносном смысле, взывает к оздоровлению, однако видоизмениться способен лишь в том смысле, в каком видоизменяется мозаика.

«Когда видишь фасад старого берлинского дома с облупившейся краской, хочется поскрести ее ногтями. Всякий раз, когда видишь пучок травы, прорастающей сквозь треснутый бетон, поневоле вспоминаешь о мотыге или мастерке. Если видишь, как маляры красят дом, хочется к ним присоединиться; если видишь, как рабочие выкладывают мозаичные квадраты мостовой, хочется остановиться и начать передавать им камни, или помочь утрамбовать песок под асфальтом, или, по крайней мере, поддержать разговор. Если видишь бегущего, хочется остановить его и задать ему вопросы, много вопросов. Точно так же и газеты взывают к прохожим, чтобы их читали. А Берлинская стена взывает к туристам: осмотрите меня. И всё требует объяснений».

Берлин, демоническая столица Гитлера, центр психологии «холодной войны» в шпионских романах Лена Дейтона и Джона Ле Карре, беспокойный город, с которым, даже когда рухнула Берлинская стена, никак не могут найти общий язык герои романа Иэна Макьюэна «Черные псы», он вновь и вновь создает ощущение раздробленности, разобщенности — разрубленная столица, разъятый полис, рассеченное государственное тело, государственное и человеческое.

В современной английской литера-

[1] Наш (*нем*).

[2] Женщина-левша (*нем.*).

туре нет, пожалуй, ни одного романа, где бы Лондон, старый имперский Лондон, не являл собой картину распада, разложения. В Британии, наводненной фантомами темного, преступного прошлого, когда держава выступала в роли угнетателя «другого», колониального мира — будь то романы первого поколения эмигрантов, таких, как Сэм Селвон или Уилсон Харрис, или второго, например Кэрила Филлипса (я имею в виду прежде всего «Переплыть реку», 1993), — столица являет собой, говоря словами Мартина Эмиса («Лондонские поля», 1989), «картину непотребного кошмара... мерзость, отбросы, экскременты... сплошной нужник». Вот уж действительно «О страшный день, страшный, гнусный....». Когда читаешь эти апокалипсические строки из романа того же Мартина Эмиса «Деньги», то кажется, будто надрывно кричат сами лондонские улицы.

Внутри мучительно разлагающегося тела государства разлагается, гниет человеческое тело. Джон Сам, отвратительный мозгляк и тупица, который, по Эмису, перенимает черты современного города, Нью-Йорка, Лондона, «ничем не отличается от того дерьма, каким он набивает себе брюхо». В этом отношении симптоматична судьба молодой женщины Джули в мрачном по колориту, запоминающемся рассказе Дорис Лессинг «Дебби и Джули» из сборника «Наблюдая за Лондоном» (1992).

Джули рожает в полном одиночестве, в заброшенном грязном сарае, где живут нищие и собаки. Бездомная собака «быстро, жадно сожрала плаценту». Подобные отталкивающие сцены вызывают в памяти книги Грэма Грина с той лишь разницей, что у Грина в неприглядности, убогости всегда присутствует экзотика. В отличие от Грина, у Дорис Лессинг, как и у Джима Крейса в «Аркадии» (1992), книге о лондонской жизни, романе жестком, продуманном, беспросветность существования носит универсальный характер.

Лондон Мартина Эмиса и Дорис Лессинг сродни отделению общей патологии. В романах Джанетт Уинтерсон («Клубничка», 1989), Патрика Маккейба («Мясник», 1992), Уильяма Бойда («Лазурный полдень», 1993), Уилла Селфа («Я развлекаюсь», 1993), Патрика Макграта («Болезнь доктора Хаггарда», 1993), Джонатана Мидса («Помпей», 1993) современный город предстает средоточием болезней, страданий, пыток, смерти, разложения, садизма. Мрачный образ Мишеля Фуко, представляющий современную жизнь в виде обезображенных тел; образ, который почерпнут им у французских poetes maudits[1] и который преследует его и Ролана Барта, Бодлера, де Сада, Жоржа Батая и Жана Жене, присутствует как во всех вышеперечисленных романах-инвективах, так и в новелле, где в последнее время превалирует мотив преждевременной смерти, в том числе и от СПИДа (например, сборник Адама Марс-Джонса «Монополия утраты», 1992), а также в книгах мастера детективного жанра Майкла Дибдина (о его популярности свидетельствует хотя бы составленная им в 1993 году антология детективного рассказа), который, похоже, избрал местом действия большинства своих произведений «анатомичку».

В книге «Написано на теле» (1992) Джанетт Уинтерсон проникает в человеческое тело, копается — в буквальном смысле слова — в тканях, сосудах, клетках, делится с читателями самыми его сокровенными тайнами, исследует его с нежной заботливостью возлюбленной. «Написано на теле» имеет немало общих черт с романом Моник Уитиг «Le Corps Lesbien»[2], однако Луиза, героиня Джанетт Уинтерсон, возлюбленная, чье тело так превозносится, умирает от рака, и если ей не повезет и в дальнейшем, то она окажется на столе в морге, описанном в захватывающем фактографическом рассказе Майкла Дибдина «Патологоанатомический практикум» («Взмахнув скальпелем с узким лезвием, ассистент сделал глубокий, прямой как стрела надрез и рассек лоб от уха до уха»). «Патологоанатомический практикум» помещен вместе с отрывками из романа «Написано на теле» в 39-м номере журнала «Гранта», озаглавленном «Тело» (весна 1992 года); почти весь номер, где опубликован этот патологический (в прямом смысле слова) рассказ, посвящен тому, что писатель Ф. Гонзалес-Крусси, профессор патологоанатомии Чикагского университета «Норт-Уэстерн» и заведующий отделением патологоанатомии в чикагской детской больнице «Мемориэл», назвал «формализмом смерти».

Точнее всего такую литературу было бы назвать «готической». И в самом деле, в наши дни, в девяностые годы двадцатого века, готика отвоевывает литературное пространство так же решительно, как и в девяностые годы двух предыдущих столетий. Можно сказать, что нашу литературу буквально преследуют готические кошмары. В чем, впрочем, нет ничего удивительного, ибо мы живем в эпоху, когда еще не забылись ужасы холокоста и тоталитаризма; живем в Европе,

[1] Проклятых поэтов (*франц.*).
[2] «Лесбийское тело» (*франц.*).

которая еще помнит бомбежки, пытки, слежку, ущемление прав и свобод — а ведь все это отнюдь не кончилось с развалом восточноевропейского коммунизма и падением Берлинской стены и еще дает о себе знать и в гражданской войне в Боснии, и в нападениях неонацистов на турок в Германии. Самым же распространенным готическим кошмаром в англоязычных литературах, безусловно, является эпоха Гитлера. Для нашей сегодняшней литературы характерен интерес к истории в целом, к истории нашего колониального прошлого, однако в первую очередь — к истории нацизма и второй мировой войны.

В романе «Топь» (1983), наиболее типичной с точки зрения историзма книге последних лет, Грэм Свифт выступает активным защитником исторической правды, которая становится объектом политических нападок со стороны тэтчеровского режима, стремившегося вести преподавание истории в школах в русле политики консерваторов. В книге Свифта воспоминания о мрачном прошлом Болотного края накладываются на еще более мрачный опыт героя романа, учителя истории, участника войны. Характерен в этом отношении и следующий роман Свифта, «Вне этого мира» (1988), в котором героя, в прошлом военного летчика, осуществлявшего разведывательную аэрофотосъемку, мучают воспоминания о послевоенном Берлине, его моральном крахе. В своей одержимости воспоминаниями о войне Свифт далеко не одинок. И в «Опоздавших» (1988) Аниты Брукнер, и в «Завтрашнем дне» (1991) Элизабет Рассел Тейлор, и в «Раненом англичанине» (1992) Майкла Ондаатжи, и в «Дочерях» (1992) Мишеля Робертса, и в «Безмятежном доме» (1992) Кристофера Хоупа, и в «Черных псах» Иэна Макьюэна, и в «Стреле времени» (1991) Мартина Эмиса — во всех этих произведениях героев преследуют мрачные воспоминания; из глубины времени, из глубоких семейных тайников европейской жизни извлекаются на свет дурные, давно забытые дела; падение Берлинской стены вызывает к жизни демонов нацизма; будучи не в состоянии перевести назад стрелки на часах самоусовершенствования и искупления, герой переводит стрелки на часах памяти. Все эти книги пронизаны тлетворным запахом новейшей истории, безумием и гротескностью, которыми буквально пропитано наше воображение.

Безусловным лидером в литературной готике нашего времени, готике с сильным историко-политическим подтекстом, бесспорно, является Патрик Макграт. Знакомый не понаслышке с социально опасными душевнобольными (будущий писатель рос неподалеку от Бродмурской психлечебницы, где работал его отец), Макграт стоит во главе тех современных английских литераторов, что возрождают в своем творчестве традиции готики. В 1989 году вышел его роман «Гротеск», а в 1992 году — антология «Новая готика», которую он составил вместе с Брэдфордом Морроу. В романе Макграта «Паук» повествование ведется от лица героя, жителя Лондона; одержимый тяжкими воспоминаниями, Паук постепенно сходит с ума. Что произошло с ним во время войны? Почему он не сводит глаз с газомера в конце улицы? Какая связь между германскими бомбежками Лондона и взрывом газа, убившим мать Паука и разрушившим его дом? И какова роль самого Паука во всей этой истории? Благодаря искусству Макграта кажется, будто от романа исходит такой же запах газа, как и от гитлеровской Европы.

В таких произведениях, как «Паук», мы становимся свидетелями ужасов недавнего прошлого, изображенных в духе Примо Леви, чьи книги о Бухенвальде, по словам самого Мартина Эмиса, оказали на него существенное влияние, когда он работал над «Стрелой времени». Но «Паук» или «Стрела времени» — это не только историческое свидетельство; это еще и столкновение тяжелобольной совести наших дней с глубоко порочным историческим конформизмом. Иными словами, историческое сознание, память современной литературы становятся, если воспользоваться метафорой Дж. Г. Балларда, «пещерой ужасов».

Книга Балларда «Пещера ужасов», представляющая собой нечто вроде документального коллажа, в котором современный западный мир обвиняется в безрассудном насилии, ведущем свое начало с убийства Джона Ф. Кеннеди и гибели Мэрилин Монро, а также с войны во Вьетнаме, впервые вышла в 1970 году и была переиздана в 1993-м с подновленной издательской аннотацией и предисловием — в данном случае вполне уместным — апостола сюрреалистической литературы насилия американца Уильяма Берроуза. Бредовая одержимость автора, его стремление взорвать всё и вся: города, машины, людей (такова тема «Аварии», 1973, литературного кошмара Балларда на автомобильную тему, книги по-своему яркой и запоминающейся) — больше соответствуют по духу настроению 90-х годов, чем 60-х, когда она составлялась.

В мрачных размышлениях Балларда

о происходящем с людьми и городами в деструктивном современном мире обращает на себя внимание то, что сам он называет «грамматикой ужаса»: необходимость подобрать соответствующий стиль для передачи «тревожного реализма». Описывая в последнем издании «Пещеры ужасов» сумасшедшую из лондонской клиники для душевнобольных, которая выливала кипящий чай себе на руки, Баллард отмечает, что его прежде всего интересуют «трансформационные грамматики» городского гротеска, политическая готика, сюрреализм современной жизни. В «Женской доброте» (1992), автобиографическом романе, где автор часто возвращается к устрашающим подробностям «Пещеры ужасов» и «Аварии», смакует их, Баллард говорит о том, что современный писатель (а значит, и сам Баллард) обязан «обложиться словарями в поисках предельных метафор», и в этом смысле в современной английской литературе найдется немного книг с такой гремучей смесью насилия, секса и апокалипсиса, как «Пещера ужасов», «Авария» и «Женская доброта»; Баллард, надо полагать, является литературным отцом Мартина Эмиса и, соответственно, литературным дедом Уилла Селфа. Современный Иаков то и дело впадает в крайности — отсюда и «предельные», экстремальные метафоры.

Экстремальное время требует экстремальных терминов и приемов: таковы «отхожий треп» и обратная композиция в «Стреле времени» Эмиса. Нарочито неряшливый, грубо-шутовской язык этой книги (во многом заимствованный у Примо Леви), ее закрученная в спираль, вывернутая наизнанку фабула, которая словно бы бросает вызов логике истории, указывают на то, какие перегрузки испытывает в наши дни писатель, когда он погружается в серьезный исторический анализ, предается размышлениям о прошлом. Эмис вообще любит литературное надувательство, «трюки»; неудивительно поэтому, что «трюк» — его любимое словечко, излюбленный прием. В результате некоторые критики поспешили обвинить его в трюкачестве, в легкомыслии, неуместном при изображении нацистских врачей из Бухенвальда, о чьих преступлениях говорится в «Стреле времени». Нам же представляется, что, когда пишешь об ужасах нашего страшного времени, трюкачество — это как раз тот прием, который мог бы привлечь пресыщенного читателя, объевшегося современными «страшилками». Возможно, именно поэтому современные писатели так много внимания уделяют языку, всевозможным формальным приемам, лингвистическим ухищрениям.

Одним из радикальных решений формальных задач такого рода является попросту молчание (полное или частичное) — по модели Сэмюэла Беккета; отказ от высказывания возможен и в соответствии с мыслью, которую выразил в конце своего «Философского трактата» Витгенштейн и которая так полюбилась (в качестве философского принципа, но не практического руководства) Айрис Мердок: «То, о чем мы не можем говорить, мы должны обходить молчанием». Это изречение стало красноречивым девизом для невыразимых преступлений нашего века. Другая крайность — это раблезианство, энциклопедизм по южноамериканской модели — многообразие, велеречивость, которые продемонстрировал в своей последней книге «Меморандум для следующего тысячелетия» (1992) Итало Кальвино. К этому типу прозы можно отнести столь разные произведения, как «Дети полуночи» (1981) Сальмана Рушди, его же «Сатанинские стихи», «Топь» Грэма Свифта, «История мира в 10 1/2 главах»[1] (1989) Джулиана Барнса и «Мудрые дети» (1991) Анджелы Картер. Есть, впрочем, и третья крайность: замолчать самому, стать чревовещателем и заговорить голосом другого или других; этот прием, который высоко оценила Айрис Мердок, определив его как «возможность дать через себя выговориться другим», взял на вооружение Джулиан Барнс в «Попугае Флобера» (1984), а также А.С. Байетт в романе «Обладание» (1990) — коллаже из различных приемов и стилевых манер. Чревовещанием прославился и Питер Акройд, который без малейшего труда говорит то голосом Чаттертона, то Оскара Уайльда. Опасности, таящиеся в таком подходе, очевидны. В «Английской музыке» (1992) и в «Доме доктора Ди» (1993) Акройд предстает в двойной роли: не только чревовещателя, но и медиума — раньше бы сказали, что в него вселился дьявол. Это же относится и ко второй книге Байетт «Ангелы и насекомые» (1992); две повести, вошедшие в этот том, связаны и формально, и идейно с викторианской темой романа «Обладание»; «Ангелы и насекомые» — это тоже в некотором роде спиритический сеанс: автор вновь возвращается в викторианскую гостиную и пытается воскресить мертвых, вникнуть в запутанные мотивы их поступков, пролить свет на то, что их пугало, тревожило.

Впрочем, к каким бы дьявольским формальным ухищрениям ни прибегали современные писатели, дьявольское прошлое и его чудовищный отпрыск — на-

[1] См. «ИЛ», 1994, № 1.

стоящее все равно являются для них непосильным грузом. «Дайте мне точку опоры — и я переверну весь мир», — говорил Архимед; стремится найти точку опоры и современный прозаик. В повести Гюнтера Грасса «Katz und Maus»[1] (1961) рассказчик задается вопросом, не натереть ли свою пишущую машинку луковым соком, чтобы лучше передать тот запах лука, который «в ту пору отравлял Германию и забивал запах трупов». Ни один из английских прозаиков конца нашего века не прибегает (насколько мне известно) к луковому соку, но, подобно «Раненому англичанину» Майкла Ондаатжи, где символом войны становится перебинтованное тело английского летчика, получившего тяжелые ожоги в Северной Африке, роман за романом нащупывает, отрабатывает приемы, ходы, технику письма, которые бы «подключили» прошлое к настоящему, сохранили бы память о нем. Это и затор машин в «Аварии» Балларда, и волшебница Фавверс из романа Анджелы Картер «Ночи в цирке», которая в любой момент может расправить крылья и полететь; таковы истории, вошедшие в «Винтики-деспоты» (1991) Джона Ардена; фотографии, в которых содержится тайна джазмена Балди Болдена из «Пройти сквозь бойню» (1976) Майкла Ондаатжи; такова, наконец, тайно перепроданная магнитофонная кассета, на которой случайно записался голос певицы Алмы Коган, а также, отнюдь не случайно, — голос ребенка, замученного знаменитыми «болотными маньяками» Майрой Хиндли и Иэном Брейди; магнитофонная кассета, на поиски которой, точно за святым (в данном случае скорее бесовским) Граалем, пускается Гордон Берн, автор романа «Алма Коган» (1982), и которая становится центром повествования.

Исполнять современные дьявольские танцы можно, лишь распевая дьявольские песни под аккомпанемент дьявольского оркестра, играющего на всех мыслимых и немыслимых инструментах.

*Перевод А. ЛИВЕРГАНТА*

[1] «Кошки-мышки» (*нем.*).

■

**КАРЕН ХЬЮИТТ**

# НОВАЯ АНГЛИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА СПРАШИВАЕТ: «ПОЧЕМУ?»

«Дети, я всегда учил вас тому, что у истории есть собственное назначение, собственная серьезная цель. Я всегда учил вас достойно нести этот груз — необходимость спрашивать: «Почему?» Я учил вас, что вопрос этот будет задаваться до скончания века, потому что, как я однажды попробовал это сформулировать (да, я признаюсь в своей слабости импровизировать доморощенные определения), история — почти невозможная вещь: это попытка на основании неполных знаний описать действия, тоже предпринимавшиеся от неполноты знания. Выходит, она учит нас не короткому пути к спасению, не рецепту построения Нового Мира, а лишь искусству терпения и упорства».

Так говорит Том Крик, герой романа Грэма Свифта «Waterland» («Топь»), вышедшего в 1983 г. Том — школьный учитель истории, чьи уроки превращаются в долгое и сложное повествование: это рассказ о взрослении, об убийстве, свидетелем которого он стал, об общественном и экономическом развитии Болотного края — уголка на востоке Англии; это также притча об ответственности человека за собственную судьбу, передаваемая от поколения к поколению. «Топь» — захватывающий, волнующий роман, одно из наиболее выдающихся явлений в английской литературе за последние 30 лет. Свифт, подобно многим лучшим нашим современным писателям, избирает своей центральной темой историю.

Для Тома как для героя английской литературы (и для создавшего его писателя-англичанина) типично полное отсутствие апокалипсических прогнозов относительно человеческой истории в будущем. Он одержим естественной потребностью задавать вопрос «почему?», хотя и не забывает отмечать, что на него возможен лишь частичный ответ. Это пристрастие к постановке вопросов характерно для романистов, о которых пойдет речь в статье. В их прозе история используется отчасти для того, чтобы проанализировать и постараться осмыслить ситуацию сегодняшнего дня. В этом смысле перед нами отнюдь не те исторические романы, где описываются приключения, разворачивающиеся в прошлом; примером здесь может служить творчество Вальтера Скотта.

Мировую популярность принесли Скотту романы с закрученным сюжетом, достоверными историческими сценами и сочетанием вымышленных и реальных персонажей; писатель был не чужд как полета фантазии, так и исторической точности. Намерение Скотта состояло в том, чтобы поведать читателям, особенно соотечественникам-шотландцам, об их собственном прошлом. Это прошлое резко контрастировало с настоящим, то есть с Эдинбургом начала XIX века, где жил писатель. Он стремился показать своим читателям, что непримиримый идеологический конфликт столетней давности угас благодаря приходу к власти умеренных людей и триумфу рационализма в XVIII веке. Скотт великолепно лепил персонажи, относящиеся к определенному историческому периоду и сформированные тогдашними взглядами. Однако для него и его читателей этот период давно канул в прошлое. Все былые неурядицы остались позади, что не могло не вызывать у благодарного читателя вздох облегчения.

В отличие от Скотта писатели, о которых я веду речь, проявляют интерес к *сравнению* прошлого с настоящим. Для них не очевидно, что наш век представляет собой прогресс по сравнению с веками ушедшими. Не утверждают они и того, что раньше было лучше. Они *озадаченные* люди. Сопоставляя настоящее с прошедшим, они снова исследуют те положения, которые мы традиционно воспринимаем как данность.

К примеру, если заговорить с англичанином о «долге», «усовершенствованиях», «выживании» и «человеческом сердце», он несколько удивится, но в глубине души не усомнится в том, что ему известно, в чем состоит его долг, что он сумеет распознать то или иное усовершенствование в повседневной жизни, что выживание, особенно в сложных обстоятельствах, достойно восхищения и что «человеческое сердце» — это место, где гнездятся наши самые теплые и добрые чувства: любовь и привязанность.

Эти привычные аксиомы подвергаются сомнению в «Ритуалах дальнего плавания» (1980) Уильяма Голдинга, где герой-рассказчик — молодой джентльмен, совершающий в 1815 году плавание на видавшем виды судне из Англии в Австралию и вынужденно пересматривающий вновь и вновь свое представление о «долге»; в «Улвертоне» (1993) Адама Торпа, где фермер XVIII века, улучшающий свои угодья, что имеет огромное значе-

ние для будущности Англии, претерпевает в этой связи психологическую деградацию, сводящую на нет все его достижения; в «Истории мира в 10 1/2 главах» (1989), где автор, Джулиан Барнс, глава за главой определяет цену, которую людям приходится платить за выживание; в «Реставрации» (1989) Роуз Тремейн, начинающейся с поразительного рассказа о том, как в XVII веке английский студент, изучающий анатомию, дотрагивается до живого человеческого сердца, после чего его начинают обуревать отчаянные страсти, неведомые этой загадочной, но бесчувственной мышце из грудной клетки.

Может сложиться впечатление, что упомянутые романы названы историческими с натяжкой; уж не являются ли они данью моде, требующей для философской дискуссии непременного экзотического антуража? Нет сомнения, что эти писатели влияют друг на друга идейно, однако я убеждена, что историческая перспектива в их творчестве имеет более глубокое обоснование. Обратимся для примера к одному из ранних и наиболее известных романов этого направления, широко известному в России и в других странах, — к «Женщине французского лейтенанта» Джона Фаулза (1969). Секрет воздействия книги заключается то ли в завораживающей любовной истории Сары и Чарльза, то ли в «двух финалах» (строго говоря, их три), из которых читателю предлагается сделать выбор. На мой взгляд, ни то, ни другое не относится к особым достижениям, хотя роман не перестает быть весьма и весьма интересным. Как читательница я нахожу достоверным образ Чарльза, но не Сары, которая изображена одновременно упрямой и податливой, великодушной и бессердечной, смиренной и отрешенной. Словом, мужская греза! В придачу самому рассказчику надлежит решать, что и когда должно случиться, и внушить читателю, что все так и было на самом деле. Мне не нравится, когда меня призывают самой изобретать продолжение сюжета.

Однако во многих других отношениях этот роман, на котором я остановилась по той причине, что он знаком многим русским читателям, удачно — с юмором и сочувствием — развивает историческую тему. Фаулз описывает, как Чарльз наряжается для поисков окаменелостей среди скал за Лайм-Риджис. С нашей точки зрения, это абсурд, но Фаулз разъясняет, что его герой проявляет таким образом приверженность научному долгу, исполнение которого не только доставляет ему огромное удовольствие, но и в обязательном порядке откроет ему смысл жизни. Читателям XX века энтузиазм Чарльза может показаться полным печальной иронии; нам известно, что молодой человек заблуждается. Но Фаулз спрашивает: так ли мы правы? Любознательность и желание познавать окружающий мир не менее значимы для Чарльза, чем для нас — убеждение, что подобные дела лучше доверить специалистам.

Спор с читателем, в который пускается Фаулз, не только оживляет повествование, но и помогает понять, почему Чарльзом владеет такая сумятица чувств, почему между ним и его невестой Эрнестиной все рушится, почему откровенность порой не приносит ничего, кроме беды. Фаулз показывает, как мыслил и поступал умный англичанин в 1867 году, и тем самым заставляет людей, живущих в 1967 году и позже, пересматривать свои представления.

Другой писатель, чьи ранние произведения знакомы русскому читателю, — Уильям Голдинг. Полагаю, вам неизвестна пока его великолепная «Морская трилогия», завершенная писателем под занавес жизни. Упомянутые выше «Ритуалы дальнего плавания» представляют собой первую часть трилогии. Эдмонд Талбот, молодой человек, плывущий на корабле, — уверенный в себе английский джентльмен, не сомневающийся в своем превосходстве над другими людьми. Он дружелюбен, весел и умен, что не мешает ему вскоре обнаружить, что его «превосходство» — не подмога ни ему, ни другим перед лицом личных трагедий и враждебного могущества морской стихии. В третьей части, названной «Пожар в трюме» (1989), Голдинг описывает, с каким ужасом взирает Эдмонд на громадные волны, грозящие прогнившему паруснику:

«Я огляделся. Мы взбирались на другой гребень — гребни отстояли один от другого на добрую четверть мили — и не видели ничего, кроме устрашающего черного кремня воды под хмурым предзакатным небом, мерцающего кремня, жидкого кремня — как еще передать ужас, внушаемый столь колоссальной мощью? Три подвижные горы, среди которых мы затерялись, были всего-навсего рябью на воде — но рябью, увеличенной в несчетное число раз, достигшей чудовищных, неправдоподобных масштабов! Это было новым измерением в природе воды. Эта природа не противилась тому, чтобы мы продолжали существовать, — до поры до времени; в ней не было враждебности, она не собиралась изменять себе и причинять нам вред. На одно безумное мгновение мне показалось, что, приложив ухо к этой мерцающей, подвижной черноте, я бы сумел вслушаться в ее жизнь, расслышать, как трутся друг о друга ее частицы».

Голдинг воссоздает — отчасти сред-

ствами своего чудесного английского — обстановку начала XIX века. Устная и письменная речь его Эдмонда не полностью соответствует устной и письменной речи человека 1815 года, но в ней чувствуются следы двухсотлетней давности.

Какова же связь между испуганным молодым человеком, созданным писательским воображением, и современными читателями? Все мы, конечно, способны сникнуть от осознания неимоверного размера Вселенной и нашей собственной незначительности. В такие моменты в нас вселяется почти что мистический ужас. Рассказывая устами Эдмонда о долгом морском путешествии, предпринятом в 1815 году, Голдинг возрождает ужас Эдмонда, но в то же время показывает его страхи и смятение в исторической перспективе. Его объяснения не похожи на наши. Мы с ним и одновременно — нет. Мы знаем больше и одновременно не больше его. Тем не менее Эдмонд жив! Жизнь на судне полна заговоров, опасностей, тяжелого труда, любовных страстей, дружеских симпатий, красоты и умственного напряжения. Одновременно она не лишена забавности. Когда Эдмонд в очередной раз оступается на скользкой палубе, мы чувствуем, что он пытается соблюсти равновесие между присущим ему энтузиазмом и метафизическими прозрениями. Вымышленный Эдмонд, помещенный в начало XIX века, — это вариант метафорического изображения нас самих, людей конца XX века, метафора, на которую мы имеем возможность взирать с комическим самопорицанием.

Третьего молодого человека, столкнувшегося с новым грозным знанием, зовут Мэтью Пирс. Это герой следующего романа Грэма Свифта, «Когда-нибудь потом» (1992). Подобно Чарльзу у Фаулза, Мэтью попадает в Лайм-Риджис, английский «центр ископаемых», где наталкивается в 1844 году на останки ихтиозавра. Религиозный человек, счастливый своей верой, испытывает момент абсолютного прозрения и становится неверующим, после чего на протяжении многих лет пытается выйти из этого состояния. В романе с особенной ясностью показана связь между викторианским кризисом веры и современным состоянием мира, ведь почти все действие происходит в настоящем. Рассказчик по имени Билл, недавно потерявший горячо любимую жену, находит несколько писем Мэтью и решает написать его биографию. Таким образом, вымышленный Мэтью отчасти создается вымышленным же Биллом, для которого это занятие служит попыткой придать своей жизни смысл.

Здесь снова важна историческая перспектива, хотя персонажи XIX века играют в действии незначительную роль. Роман представляет собой прекрасное и пронзительное размышление на тему о том, каков смысл жизни, казалось бы лишенной оного после смерти горячо любимого человека и к тому же потерявшей комфорт, обеспечиваемый религией, — ведь Бога, оказывается, нет!

Три романа, о которых шла речь, имеют отношение к XIX веку. Другие писатели избирают другие эпохи. Действие «Реставрации» Роуз Тремейн разворачивается в 1660-х гг., во время правления Карла II после падения Английской республики Кромвеля. Здесь действует врач Меривел, исполняющий функции придворного шута, официального рогоносца, художника, члена религиозной общины и сиделки при умалишенных, а также много других ролей. Если у вас сложились стереотипы относительно английского характера, то вас сильно удивит горячность, пылкость, непостоянство Меривела. Тремейн прекрасно описывает мгновения неожиданных откровений, которые посещают Меривела одно за другим: о религии, власти, любви, горе. Это бурный, смешной, горький роман, где головокружительность XVII века нисколько не затмевает причудливого света, отбрасываемого приключениями Меривела на наш, XX век.

Среди множества романов того же сорта, действие которых разворачивается за пределами Англии, упомяну за неимением места лишь один — «Безопасное местечко» (1989) Хилари Мантел, произведение о Французской революции. Трудно себе представить что-либо менее похожее на «Повесть о двух городах» Диккенса. Это сугубо документальная книга, подробно отслеживающая деятельность Дантона, Демулена и Робеспьера. При этом Мантел в первую очередь интересуется сферами, в которых странным образом переплетаются идеализм и зло, а также тем, как трудно совладать со злом. Ее проза нарочито современна, а убеждения и уловки персонажей являются отражением наших поступков.

Читатели «Иностранной литературы» помнят, наверное, «Историю мира в 10 1/2 главах» Джулиана Барнса, где рассуждения о Боге и выживании повторяются в главах, действие которых разворачивается во Франции XV века, в начале XX и в мифическую эпоху, при жизни библейских персонажей. (Изучая природу веры, автор обращается к XIX веку.) Все это так или иначе — история, все опирается на подлинные (или мнимые)

свидетельства современников. По сути дела, Барнс исследует всю проблематику историографии, что с блеском выражается в его рассуждениях о картине Жерико «Сцена кораблекрушения», когда он на протяжении нескольких страниц подвергает проверке достоверность исторической и художественной правды. В этом нет ни капли тяжеловесности: Барнс относится к самым остроумным и читаемым современным английским писателям.

В этих романах отсутствуют родовые признаки историко-приключенческой литературы: нет рыцарей, скачущих на битву с драконами; нет прекрасных пленниц; нет эпидемий и прочих напастей, становящихся удобным случаем для того, чтобы умирающие делились давно утраченными секретами, — напротив, здесь живые делятся мыслями о смерти. Исключением является «Обладание» (1990) А.С.Байетт — нечто вроде пародии на квазиисторические романы и в то же время прекрасный образец жанра. Персонажи повествования снова разделены на две категории: современные серьезные ученые и викторианские поэты с друзьями — предмет исследований наших современников. Этот роман тоже по большей части комический; однако хотя в нем присутствуют безутешные дамы и раскрываемые на смертном одре секреты, но в то же время поднимаются всевозможные вопросы этического свойства, связанные с обладанием и собственничеством. Можно ли — то есть этично ли — держать при себе чужие письма, даже если писавшие их люди давно на том свете? Можно ли — этично ли — обладать особым знанием или им следует делиться с коллегами? Какое мы имеем право — юридическое, моральное, интимное — на свою супругу, на возлюбленного — тайного или явного? Насколько ответы людей викторианской эпохи на эти вопросы отличались от наших? Под конец роман превращается в близкое к фарсу выкрикивание самых различных ответов. Но в то же время мы, читатели, сознаем, что прошлое отражает настоящее, а настоящее — прошлое, а посему начинаем понимать больше, чем сами ожидали, и испытываем не просто веселье, но и сильное переживание.

После этого короткого обзора попробуем ответить на главный вопрос: почему столько наших лучших современных прозаиков черпают сюжеты в истории, главным образом в XIX веке? Мне представляется, что ответ кроется в характере культурного развития Англии на протяжении последней четверти века.

В 1995 году, как и в течение последних двух-трех лет, я слышу все больше неуверенности в разговорах с русскими собеседниками относительно пути, по которому движется ваше общество. Подъем конца 80-х и самого начала 90-х годов (когда еще не было известно, каким станет путешествие, но сохранялось ощущение движения) уступил место растерянности: идете ли вы куда-либо вообще или просто несетесь каждый неведомо куда без цели, смысла и ясного направления? Те из вас, кто согласен с моим наблюдением, будут удивлены, узнав, что и на Западе многие находятся в таком же расстройстве чувств. Позволив себе большое обобщение, скажу, что нас, британцев, сплачивала после второй мировой войны сначала необходимость физического и общественного возрождения, потом надежды на лучшее, более достойное общество, потом «холодная война» — бессмысленная, но все же структурировавшая идеологически как тех, кто был против нее, так и тех, кто выступал за. К середине 70-х годов все эти силы исчерпали в Британии свой потенциал, а в 80-х годах просто приказали долго жить. («Новый правый курс» госпожи Тэтчер не мог помочь писателям, презиравшим его за антиинтеллектуализм, насаждение мещанства и возведение денег в ранг мерила человеческого существования.)

Совсем как Том Крик, процитированный в начале герой «Топи», писатели, мучающиеся вопросом «почему?», вынуждены обращать взгляд в прошлое и отыскивать там — кто ответ, а кто аналогию с настоящим. Их романы, пусть в них хватает странностей, причуд, а иногда и настоящей фантастики, опираются на солидный исторический фундамент. Эти писатели ведут поиск ценностей — той почвы, в которой могла бы укорениться наша жизнь.

Думаю, именно поэтому их так влечет викторианская эпоха. Во-первых, прошлый век не так уж далек от нашего времени. Нам нетрудно убедить себя, что мы способны понять образ мыслей и чувства викторианцев. Во-вторых, в Англии, как и в России, существует прекрасная традиция реалистической прозы XIX века, в которой мы находим всевозможные художественные параллели. В-третьих, мыслящие викторианцы, то есть люди, с которыми наши писатели ощущают естественную близость, были вынуждены сосуществовать с дарвиновской теорией эволюции, и, следовательно, в их интеллектуальной и эмоциональной жизни не оставалось места для Бога. Они тоже настойчиво повторяли: «Почему? Зачем мы живем?» Наши проблемы, конечно, не совсем те же. Большинство из

нас привыкло к жизни без религии, однако нам до сих пор необходимо чувствовать, что мы не просто разрозненные частички во Вселенной. Мы не в состоянии приступить к созиданию собственной жизни и достойного общественного устройства (даже мысленно), если жизнь сама по себе лишена смысла.

Упомянутые мною авторы — не философы, а романисты, поэтому они не предлагают нам Великих Истин. И тем не менее они ведут — остроумно и образно — исследование локальных истин и глубоких противоречий, возникающих при столкновении этих истин с историческим процессом. Ведь в самом изучении истории заложена неизбежность спора о преемственности и ее значении для последующих поколений.

За последние 30 лет в Англии тысячи историков-любителей занялись изучением прошлого родных мест. (Наверное, так общество заполняет брешь, оставшуюся после отступления религии и идеологии.) Люди собираются вместе, чтобы писать историю своих деревень или приходов. Однако сделать это невозможно, не овладев многими подлинно научными знаниями. Старые документы, письма, мемуары, просто вещи становятся поводом для яростных споров. Преемственность оказалась насущной необходимостью. «Местная история» стала для многих подлинной страстью, способом отдать должное нашим незамысловатым, простым, трудолюбивым предкам, тому сорту людей, которым обычно не возводят монументов. Эта страсть замечательно отражена в высшей степени оригинальном романе.

«Улвертон» Адама Торпа (1992) — это роман, состоящий из цепочки эпизодов, растянувшихся на более чем 300 лет — обозримый период существования деревушки на юге Англии. В каждом эпизоде звучит индивидуальная речь одного или нескольких тамошних обитателей — задумчивая, самоуверенная, тоскливая, отчаянная, разгневанная, удивленная, страстная и неизменно выражающая исключительно индивидуальный жизненный опыт. Хотя почти вся книга посвящена прошлому, каждый ее персонаж удивительно свеж, ибо живет в настоящем — своем, разумеется, — благодаря чему роман становится не ностальгическим воспоминанием о стародавних временах, а данью уважения упорству людей, которые, невзирая на любые катастрофы и трагедии, снова и снова отстраивают свою жизнь. Истинная беда в «Улвертоне» — это наш современный мир, ибо теперь люди утратили способность говорить, пользоваться всеми выразительными возможностями речи. В безумно смешной завершающей части книги Торп собирает современные клише и банальности из сферы коммерции и популярных телепрограмм — все это вульгарное, избитое, бессмысленное бормотание — и показывает, что, не будучи связанными с личным опытом, эти штампы низводят личность до состояния ничтожества.

В завершение опять вернемся к роману «Топь». В нем Свифт исследует среди прочего историческую преемственность — семьи и то, что они оставляют следующим поколениям. Возможно, в России пока нереально говорить об ответственности на протяжении более чем двух поколений — слишком дробной оказалась национальная история. Не то в Англии. Свифт начинает свой рассказ со страшной находки — трупа 16-летнего паренька; читателю, естественно, хочется узнать, как и почему он погиб. К концу романа проясняется, как это случилось, да и почему — тоже: обстоятельства смерти известны. Однако истинных виновных выявить не так-то легко. Свифт показывает, что есть основания протянуть ниточку от решения одного предпринимателя XVIII века варить в Болотном краю пиво к последствиям, которые неким замысловатым образом привели в итоге к смерти юноши.

В таком случае не является ли история постоянным воспроизведением той вины, которой нельзя предвидеть и избежать? Возможно, так оно и есть, но в то же время никто не сомневается, что Том и другие персонажи действуют, как им кажется, по собственной инициативе, по велению долга и необходимости. Свобода поступков загадочным образом сосуществует со спутанной паутиной предопределенности, превращающей нас в своих пленников.

Ни один из названных писателей не отождествляет историю с прогрессом — победным маршем неодолимых сил. Многие из их числа согласились бы, наверное, с Томом Криком, который, размышляя о вечной необходимости откачивать воду с низменности, говорит:

«Если вы можете заставить мир перестать уходить у вас из-под ног, это и есть прогресс. Моя скромная модель прогресса — восстановление земли. Беспрерывно возобновляющийся, никогда не прекращающийся возврат утраченного. Упорный, неустанный труд. Монотонный, но благодарный».

Однако если история уже не воспринимается как триумфальное шествие, то это не значит, что человек в истории предан забвению. Пусть он пребывает в недоумении (возможно, этому недоуме-

нию не будет конца), но собственная жизнь для него — огромная ценность. Что он ни делает — осушает земли, трепещет от страха перед мистической мощью океана, размышляет о Божьем Промысле или прославляет в стихотворной форме новое знание, — приобретенный при этом опыт принадлежит ему, это часть *его* жизни, так он формирует свою неповторимую личность. Описывая прошлое как динамичное, живое настоящее, современные исторические романисты не всегда находят ответ на вопрос «почему?», но хотя бы показывают, почему настолько важно его ставить. Их достижение в том, что они борются с нашей растерянностью, создают занимательные романы о минувших временах, возвращая нас при этом к настоящему, к миру 1995 года, к той единственной жизни, которая дана каждому, и наполняя нас свежим чувством ценности этой жизни.

*Перевод А. КАБАЛКИНА*

■

# МАЙКЛ БИЛЛИНГТОН

# АНГЛИЙСКАЯ «НОВАЯ ДРАМА» СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Миф с течением времени обретает черты реальности. Как гласит легенда, послевоенная драматургия Великобритании появилась на свет 8 мая 1956 года, в день, когда в театре «Ройял корт» состоялась премьера пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе». Разумеется, здесь есть некоторое преувеличение. В действительности на протяжении того десятилетия, что отделяло год окончания войны от года осборновского триумфа, на английской сцене также появлялись новые пьесы. Т. С. Элиот и Кристофер Фрай пытались вдохнуть новую жизнь в жанр поэтической драмы, хотя при этом они все больше напоминали инструкторов по плаванию в пустом бассейне. Шли «чеховские» комедии Н. Хантера «Воды луны» и «День у моря», в которых блистали лучшие английские актеры. Продолжали появляться «хорошо сделанные» мелодрамы Теренса Реттигана; одна из них, «Глубокое синее море», сегодня, несомненно, принадлежит к «малой классике» английской драматургии. А пьеса Джона Уайтинга «День Всех Святых» во многом предвосхитила будущую революцию в театре Великобритании. Однако в целом к середине 50-х годов состояние английской драматургии можно было определить одним словом: коматозное. Гордость послевоенного английского театра составляли актеры, но не драматурги: бóльшая часть театров ориентировалась на пьесы американских и французских авторов. Что касается театров Уэст-Энда, то там преобладали похожие одна на другую комедии из сельской жизни, а также весьма убогие детективы. Кеннет Тайнен, известный лондонский театральный обозреватель, впоследствии один из самых рьяных приверженцев «новой драмы», писал в еженедельнике «Обсервер», что для того, чтобы сделаться героем пьесы, достаточно либо иметь тысячу фунтов годового дохода (сумма в те времена внушительная), либо оказаться убитым в доме, принадлежащем человеку с подобным доходом. Театр Великобритании, согласно знаменитой формуле Артура Миллера, «был наглухо отгорожен от реальной жизни».

Так продолжалось вплоть до того момента, когда режиссер Джордж Девин создал труппу «Инглиш стейдж компани», которая и по сей день выступает на сцене знаменитого лондонского театра «Ройял корт». Точнее — до появления пьесы «Оглянись во гневе», вполне традиционной по форме, но принципиально новаторской по своему содержанию, теме, направленности; пьесы, которая как будто прорвала запертые до того шлюзы, открыв дорогу целой плеяде талантливых драматургов. С пьесой Осборна в сонное царство английской сцены, полностью подчиненное правилам «хорошего тона», ворвалась молодость с ее страстностью, даже яростью, пришло живое, ничем не скованное слово. Более того, спектакль имел и чисто коммерческий успех, который, во-первых, во многом способствовал становлению «Ройял корта», а во-вторых, стал для драматургов, пришедших вслед за Осборном, убедительным доказательством того, что реальная жизнь со всеми ее подлинными муками и страданиями вполне может стать предметом театрального искусства.

Что же произошло с английской драматургией почти за сорок лет, минувших с того дня, когда лондонские зрители впервые услышали пылкие тирады осборновского Джимми Портера? Трудно привести к общему знаменателю все, что было написано за эти годы очень разными, не похожими друг на друга драматургами, однако некоторые тенденции обозначить все же возможно. Первая и самая главная заключается в присущей практически всем появившимся за эти годы авторам склонности к раздумьям о судьбе страны, о судьбе нации. Вся послевоенная история Великобритании — это история заката империи (как сказал американский политик Дин Ачесон, «утратив империю, Британия не обрела ничего взамен»), экономической нестабильности, социальной напряженности и мучительного самокопания, однако лучшее из того, что появилось за эти сорок лет в английской драматургии, связано именно с нашими сорокалетними поисками самоидентичности. Театр стал тем самым местом, где мы, англичане, пытались понять, что́ мы представляем собой как нация. Приведу лишь несколько примеров в подтверждение моего тезиса. Пьеса Джона Ардена «Осел из работного дома» (1964) — великолепное, подлинно дионисийское зрелище, раскрывающее закулисные механизмы деятельности чиновников и политиков. Пьеса Алана Беннета «Сорок лет спустя» (1969) — остроумное и злое исследование причин распада привычного миропорядка. Пьеса Питера Барнса

«Правящий класс» (1969), демонстрирующая процесс саморазрушения аристократии. Пьеса Дэвида Эдгара «Судьба» (1976), в которой прослежено зарождение и развитие подспудных, но при этом вполне определенных фашистских настроений, сопровождавших распад империи. Пьеса Алана Эйкборна «Маленькая семейная фирма» (1987), в которой в присущей этому драматургу эксцентрично-комедийной манере показывается, как превалирование материальных ценностей над духовными становится непосредственной причиной убийства. И наконец, трилогия Дэвида Хэара — «Демон-искуситель» (1990), «Бормочущие судьи» (1992) и «Без войны» (1993), — где дан анализ кризиса, охватившего церковь, органы судебной власти и лейбористскую партию.

Второй общей тенденцией, которая, впрочем, значительно реже отмечается в критике, является разнообразие языковых и стилистических приемов, увлечение чисто формальной стороной, даже определенная завороженность ею. И если в начале 50-х годов существовало четкое различие между бьющей через край метафоричностью Кристофера Фрая и сухой сдержанностью Теренса Реттигана, то за последние сорок лет мы стали свидетелями все усиливающегося слияния поэтической речи с разговорной, что ранее было свойственно только ирландской драматургии. Наиболее ярким примером этой тенденции является творчество Гарольда Пинтера. Когда я однажды спросил Питера Холла, режиссера, поставившего многие пинтеровские пьесы, в чем значение Пинтера и его вклада в национальную драматургию, Холл ответил не колеблясь: «Он заставил всех нас уразуметь, что из обычной простонародной речи можно извлечь зерна истинной поэзии». Откройте любую пинтеровскую пьесу: «Сторож», «Возвращение домой», «На безлюдье», — и вы убедитесь, что это правда. Однако я склонен утверждать, что поэтическая жилка присуща в той или иной степени большинству наших лучших драматургов. Впрочем, проявляется это у всех по-разному: в пьесах Осборна даже самые косноязычные герои обретают красноречие, а Том Стоппард превращает свои драмы в безудержный фантастический водопад шуток, броских парадоксов, афоризмов и пространных псевдоглубокомысленных рассуждений по поводу того, в чем заведомо нет никакого смысла. Еще один «вариант» — это пьесы Эдварда Бонда, где проза разговорной речи приобретает черты, свойственные поэтике брехтовского театра. А Хоуард Баркер — возможно, иногда забывая о чувстве меры, — строит драму из жестких, грубых, мускулистых диалогов. На протяжении нескольких столетий проза и поэзия, точнее, прозаическое и поэтическое начала шли в английской литературе отдельными непересекающимися путями, и одним из несомненных достижений послевоенной драматургии является то, что именно ей удалось доказать: эти два начала не являются ни несовместимыми, ни несочетаемыми. Одним из самых радостных свидетельств тому за последние годы явился приход в драматургию профессиональных поэтов, таких, как Тони Гаррисон и Дерек Уолкотт, создавшие необычные театральные версии «Орестеи» и «Одиссеи».

Еще одно свойство, также присущее большинству современных английских драматургов, — это пристрастие к комедии и даже к фарсу. В этом пристрастии видятся мне особенности национального характера: ведь еще в средневековых мистериях, да и в шекспировских трагедиях тоже, самые мрачные, леденящие кровь события оттеняются подчас юмором и смехом. Во второй половине XX столетия комическое, фарсовое решение самых серьезных вопросов и тем стало как бы нормой для авторов английской сцены. И здесь, конечно, все началось с Беккета, с его знаменитой пьесы «В ожидании Годо» (1952), где о смысле бытия говорится языком мюзик-холльных реприз. К этому приему прибегали и другие драматурги. Так, Джо Ортон обращается к жанру «черной комедии», чтобы показать ханжество и фарисейство, скрывающиеся за фасадом традиционных английских «приличий». Питер Никольс, подобно большинству представителей своего поколения выросший на английском мюзик-холле и варьете, использует их чисто внешние приемы — броскость, быстрый темп — для демонстрации явлений, по сути своей не только не комических, но страшных, даже чудовищных, как, например, в знаменитой пьесе «День в умирании Джозефины Эгг» (1967), где все действие представляет собой цепочку самых непредсказуемых поступков, связанных с уходом за умственно неполноценным ребенком. Том Стоппард в своих пьесах — в особенности в «Прыгунах» (1972) и «Пародиях» (1975) — расширил границы фарса настолько, что, кажется, сумел вместить в них все: от глобальных проблем метафизического характера до сущих пустяков, связанных с искажениями событий прошлого в памяти одного из персонажей. И наконец, Терри Джонсон в своей «Истерии», одной из самых дерзких и вызывающих пьес 90-х годов, использовал приемы, заимствованные из арсенала Бена

Треверса (автора самых знаменитых «фарсов «Олдвича»), для полемического воссоздания эпизодов из жизни Фрейда. Вероятно, не существует такой темы, которую британские драматурги не могли бы разработать в комическом ключе. Но Питер Барнс в пьесе «Хохот» (1978) извлек из этого приема, кажется, максимум возможного, превратив историю тиранических режимов Ивана Грозного и Гитлера в дикий, омерзительный, непристойный фарс.

Однако, быть может, самым замечательным свойством современной английской драматургии оказалась ее бесконечная способность к самообновлению. И это проявилось не только в том, что каждые десять лет на сцену выходило новое поколение авторов, но и в постоянном расширении их, если так можно выразиться, «состава». Группу драматургов «осборновского поколения», за блистательным исключением Шейлы Делани и Энн Джелико, составляли мужчины, причем мужчины преимущественно белые и не принадлежавшие к «среднему классу» (и Осборн, и Уэскер, и Пинтер были выходцами из небогатых семей). С тех пор положение кардинально изменилось. Появилась целая плеяда драматургов-негров, среди которых выделяются Майкл Абензеттс, Мустафа Матура и Дерек Уолкотт. Женщины-драматурги, чей голос был почти неразличим, когда я начинал свою карьеру театрального критика (это было в 1971 году), сегодня вездесущи, им просто несть числа. Кэрил Черчилль, Пэм Джемс, Луиза Пейдж, Сара Дэниэлс, Клер Макинтайр, Уинсом Пиннок, Рона Манро, как и их коллеги мужского пола, представляют самые разные социальные слои и художественные стили. Ирландия, выходцы из которой на протяжении всей истории английского театра вносили в него и присущую им страстность, и чисто языковую виртуозность, также дала целое созвездие драматургов, в том числе Брайана Фрила, Тома Мерфи, Фрэнка Макгиннеса и Билли Роуча.

Интересно поразмышлять о том, каковы источники этого самообновления, подобного которому — и это вовсе не патриотический захлеб — не встретишь сегодня ни в одной другой европейской стране. Разумеется, значительную роль играют социальные и политические факторы: развитие негритянского самосознания, всплеск феминистского движения, образование независимых театральных объединений для осуществления какого-то проекта или с какой-то конкретной целью. Это может быть также связано со спецификой индустрии развлечений. Раньше молодых драматургов в достаточном количестве поставляло радио, но в последние четыре десятилетия, с возникновением многоканального телевидения, начался настоящий «драматургический голод». Однако, как мне представляется, первопричиной постоянного обновления, происходящего в английской драматургии, является то, что все больше театров оказывают молодым авторам финансовую поддержку. Если в 1956 году «Ройял корт» был практически единственным театром, куда начинающий драматург мог принести свою пьесу, то сейчас новые пьесы нужны всем: и таким ведущим театрам, как Королевский шекспировский и Национальный, и таким традиционным центрам театральной жизни столицы, как «Буш-тиэтр», «Хампстед-тиэтр», «Трайсикл», «Тиэтр Ройял», «Стратфорд Ист», и таким крупным провинциальным театрам, как «Ройял иксчейндж» в Манчестере, «Стивен Джозеф тиэтр-ин-зе-раунд» в Скарборо, «Уэст Йоркшир плейхаус» в Лидсе, «Наффилд-тиэтр» в Саутгемптоне, и многим, многим другим. Писателям, как и всем прочим смертным, необходимо пристанище, и количество театров, где автор может поставить свою новую пьесу, увеличивается с каждым днем. К сожалению, правительственные субсидии, выделяемые на зрелищные искусства, становятся все меньше, что косвенно ограничивает возможности реализации новых пьес и появления новых авторов.

Итак, убедившись в способности английского театра к постоянному обновлению, попробуем охарактеризовать каждое из четырех десятилетий, минувших со времени постановки пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе». В 50-е годы в ходу были такие определения, как «рассерженные молодые люди», «реализм кухонной лохани», «комедия угрозы», относившиеся соответственно к Осборну, Уэскеру и Пинтеру. Сейчас, оглядываясь назад, больше всего поражаешься разнообразию творческих стилей, индивидуальному звучанию каждого авторского голоса.

Это десятилетие дало также и Джона Ардена с его изумительной поэтической притчей «Пляска сержанта Масгрейва» (1961), и Питера Шеффера — автора тончайшей психологической «семейной пьесы» «Упражнение для пяти пальцев» (1959). Если всех их что-то и объединяло, то это, несомненно, увлеченность языком театра и теми неограниченными возможностями, которые он открывает, а кроме того — нескрываемое разочарование в современной им Англии, все еще цепляющейся за привычные классовые, сословные предрассудки, все еще бредящей былой имперской славой.

Достижения 50-х годов вызвали к жизни великое множество открытий, сделанных в театре уже в 60-е. Несмотря на то что именно это десятилетие обычно клянут как источник наших социальных бед, для искусства оно стало периодом расцвета и раскрепощения. В это десятилетие Шекспировский мемориальный театр в Стратфорде был преобразован в Королевский шекспировский театр, получивший помимо стратфордской сцену лондонского театра «Олдвич», а в театре «Олд Вик» впервые в истории английской сцены открылся Национальный театр. По всей стране возникали новые театры, что чуть позже вызвало к жизни такое уникальное явление, как фриндж[1]. А самое главное, в 1968 году был принят Акт, согласно которому театральная цензура, с незапамятных времен находившаяся в ведении лорд-гофмейстера, отныне прекращала свое существование. Думаю, лишь последнее десятилетие XVI века может сравниться с этим периодом по богатству и разнообразию драматургических талантов; назову хотя бы Алана Эйкборна, Алана Беннета, Эдварда Бонда, Питера Никольса, Дэвида Стори, Тома Стоппарда. В это десятилетие были написаны такие выдающиеся пьесы, по сей день не сходящие со сцены (и не только в Англии), как «Возвращение домой» Гарольда Пинтера (1965), «Спасенные» Эдварда Бонда (1965), «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда (1967), «Патриот» Джона Осборна (1966). Мне думается, подобное совпадение неслучайно. Сказался дух времени — времени, когда все представлялось возможным и достижимым, когда личная жизнь отдельного человека была в значительной степени освобождена от оков государства, когда после прихода в 1964 году к власти лейбористов у людей снова появилась надежда, в том числе и на расцвет искусства.

Деление на десятилетия, разумеется, достаточно произвольно и неточно. 1968 год, год молодежной революции, охватившей страны Европы и Америку, способствовал возникновению в Англии жанра политического театра. Но несмотря на события, происходившие за рубежом, и на растущее разочарование в парламентской демократии, драматурги этого направления свои наиболее значительные пьесы написали только в 70-е годы; я имею в виду прежде всего Дэвида Хэара, Хоуарда Брентона, Тревора Гриффитса, Хоуарда Баркера, Дэвида Эдгара и Кэрил Черчилль. И хотя Кристофер Хэмптон, принадлежащий к тому же поколению, в какой-то момент вернулся к традиционной форме и «классическим» сюжетам и конфликтам, в целом семидесятые отмечены несомненной тенденцией к политизации театра. Темой многих написанных в эти годы пьес стала невозможность каких-либо радикальных или революционных перемен в политическом устройстве Великобритании: это и «Вечеринка» Тревора Гриффитса (1974), и «Изобилие» Дэвида Хэара (1978), и «Великолепие» Хоуарда Брентона (1980), и отчасти «Судьба» Дэвида Эдгара (1976).

Не менее важно и то, что в это десятилетие происходит существенное расширение круга авторов, пишущих для театра. Женщины-драматурги открыто заговорили о взаимоотношениях полов, положении женщины в обществе, ее самоопределении как личности; назовем здесь пьесы Кэрил Черчилль «Собственники» (1973) и «Облако номер девять» (1979) и пьесы Пэм Джемс «Дуса, Фиш, Стас и Ви» (1977) и «Пиаф» (1979). Эти писательницы продемонстрировали значительно бóльшую склонность к чисто театральному эксперименту, нежели их коллеги, принадлежащие к сильному полу. Такое же стремление внести новую струю в сложившиеся к тому времени в английской драме содержание и форму проявили и негритянские драматурги: Мустафа Матура в пьесе «Играем мессу», посвященной жизни Тринидада — как колониального периода, так и после завоевания независимости, — создал яркое, захватывающее, чисто карнавальное зрелище; Майкл Абензеттс в пьесе «Изменение фасона» на редкость забавно и выразительно рассказал о том, как его героя — портного из Вест-Индии — заставили перекроить целую партию брюк, предназначенную для экспорта в Японию. Возникновение в 1978 году сообщества «Блэк-тиэтр» дало драматургам — выходцам из стран Африки и Карибского бассейна дополнительную возможность выносить на суд зрителей свои произведения. Социальные и политические взрывы конца 60-х во многом определили и климат последующего десятилетия; нельзя не отметить, что в этот период английская драматургия стала в значительно большей степени голосом всей нации, самых разных ее групп и слоев.

Вполне очевидно и другое: на английской драматургии неизбежно сказывается характер перемен, происходящих в реальной жизни. Период после 1979 года навсегда войдет в историю как деся-

[1] Фриндж — экспериментальный театр (обыкновенно в Лондоне; ставит новые пьесы экспериментального характера; иногда является также театральным клубом; посещается в основном молодежью). (*Прим.ред.*)

тилетие Тэтчер, когда обнаружилась полная несостоятельность многих давно вынашивавшихся планов. Происходящие перемены нашли отражение и в драматургии. Дуг Люси, один из самых резких социальных критиков, в пьесе «Ненависть» (1987) с удивительной точностью показал приход в жизнь нового поколения — аполитичного, лишенного нравственных устоев, занятого только собой. Кэрил Черчилль в пьесе «Девочки из высшего общества» (1984) дала понять, что феминизм вовсе не подразумевает сострадания, великодушие же вообще гроша ломаного не стоит. А Дэвид Хэар в пьесе «Тайный экстаз» (1988) высказал обнадеживающее предположение, что безудержный индивидуализм и страсть к обогащению, ставшие приметой 80-х годов, представляют собой всего лишь мимолетный каприз истории.

Но пока драматурги были поглощены критикой нравственного состояния общества, способность английской драматургии к самообновлению перестала казаться столь очевидной, как прежде. Конец десятилетия был отмечен появлением лишь весьма небольшой группы новых авторов — Тимберлейка Уэртенбейкера, Джима Картрайта и Энтони Мингеллы, — которым удалось добиться известности в годы, когда на все слова, относящиеся к обществу, а не к индивидууму, было практически наложено табу.

Итак, что же представляет собой английская драматургия сегодня, в середине 90-х годов? Прежде всего бросается в глаза, что она по-прежнему весьма точно отражает идейное и духовное смятение, царящее в обществе. Драматургам, писавшим в 60 — 70-е годы, была присуща уверенность в возможности совершенствования общественного устройства. Революция — или, во всяком случае, революционная идея — носилась в воздухе. Все так или иначе сводилось к «политике». С тех пор многое изменилось и в Великобритании, и в мире. С 1979 года у власти в Великобритании находится консервативная партия, четыре раза подряд побеждавшая лейбористов на выборах. И это неизбежно породило — в особенности среди писателей — пессимистический взгляд на ход политического процесса и полный безразличия, даже циничный — на самих политиков. На мировой арене мы стали свидетелями краха коммунистической системы и постепенного отказа от марксистских верований. Все это также сказалось на произведениях английских драматургов, ибо многие (хотя, разумеется, отнюдь не все) авторы, работающие в английском театре, опирались в своем творчестве на романтику марксизма и революционные грезы. Что касается экономики, то у меня складывается впечатление, что в настоящий момент мы все одинаково движемся к свободному рынку; даже британская лейбористская партия недавно отказалась от своей всегдашней приверженности к идее передачи предприятий тяжелой индустрии в общественную собственность. Крах коммунистической системы сопровождался упадком веры и все более скептическим отношением к психоанализу. Таким образом, умер не только Бог, но и Маркс с Фрейдом.

Возможно, это и покажется преувеличением, но мы, несомненно, живем в эпоху отсутствия какой-либо системы нравственных ценностей и идеалов — и это также не могло не найти отражения в английской драматургии. Хоуард Брентон, один из ведущих английских драматургов, недавно оповестил, что не будет больше выступать в жанре больших эпических произведений общественного звучания, который принес ему известность. И действительно, его последняя пьеса, «Берлин. Берти» (1992), — произведение значительно более камерное по масштабу; ее герои — это люди, чья вера и привычные идеологические ориентиры оказались сегодня ложными. И хотя сверстник и былой соавтор Брентона Дэвид Хэар и написал в начале 90-х годов трилогию, посвященную нынешней ситуации в стране, в его последней пьесе, «Слуховое окно», сексуальные отношения трех ее персонажей используются как метафора сословных и имущественных перегородок, разделяющих английское общество. Надо сказать, что сделано это очень убедительно, а монолог героини, работающей в школе для умственно отсталых детей в Ист-Энде, — монолог, в котором она обрушивается на своего бывшего любовника и осуждает консерваторов, обвиняя их в презрительном отношении к тем, для кого исполнение своего долга важнее личных интересов, — представляет собой один из самых блистательных полемических выплесков во всем творчестве Хэара. Однако примечательно в данном случае то, что к проблемам политического свойства Хэар идет в этой пьесе через личные взаимоотношения персонажей, надеясь таким образом заинтересовать сегодняшних зрителей.

Еще один существенный момент, характерный для политической драматургии Великобритании, заключается в расширении авторских горизонтов — если раньше они были склонны сосредоточиваться исключительно на чисто «английских делах», то теперь в сферу их интере-

сов попадает вся Европа, весь мир. Прекрасным примером, подтверждающим эту мысль, является Дэвид Эдгар; в предыдущие годы он был склонен считать себя тем, кем являлся Бальзак для Франции 1830-х годов: «секретарем общества». Но вот в 1990 году он создает пьесу «Форма стола», посвященную событиям в Чехословакии и описывающую закулисные переговоры, которые и привели к свержению коммунистического режима. А в 1994 году он написал для Королевского шекспировского театра пьесу «Троицын день», получившую очень высокую оценку критики. Ее действие происходит в построенной в византийском стиле церкви, расположенной «неподалеку от границы одной из стран юго-восточной Европы». Спектр тем, затронутых в этой пьесе, очень широк: это и проблема беженцев, и возрождение национализма, и языковые и культурные различия между странами, с одной стороны, и политические идеалы европоцентризма — с другой; и даже вопросы, имеющие отношение к истории искусства. Этих тем, на мой вкус, пожалуй, слишком много для одной пьесы. Вывод, который делает автор, заключается в том, что сегодня необходимо подходить ко всему не с узконациональных, но с планетарных позиций и что приоритет должен быть отдан таким общечеловеческим вопросам, как необходимость предоставить каждому живущему на этой земле кров и пищу, а не поискам какой-то «национальной идеи», часто оказывающейся на поверку не более чем мифом.

Я бы сказал, что английская драма середины 90-х годов абсолютно адекватно зафиксировала атмосферу всеобщего смятения и неуверенности в будущем, характерную для нашего времени. Больше не существует никакой априорной заданности: каждый пишет о том, что именно его больше всего волнует. И потому в пьесах Дэвида Эдгара речь идет о неких глобальных проблемах; Дэвид Хэар размышляет о взаимоотношениях полов; Хоуард Брентон — о наступлении периода «идеологического вакуума». Однако наиболее яркими драматургами являются на сегодняшний день Том Стоппард и Гарольд Пинтер, недавно написавшие пьесы, в которых им удалось передать и свои сомнения, и свои тревоги.

«Аркадия» Тома Стоппарда — одна из самых «громких» пьес последних лет. Премьера состоялась в 1993 году в Национальном театре, после чего спектакль был перенесен в Уэст-Энд, где уже год идет с аншлагом. А если принять во внимание, что в пьесе говорится о таких непростых вещах, как мировой порядок и мировой хаос, классицизм и романтизм, научный прогресс и человеческое подсознание, то успех ее весьма примечателен. Однако смею предположить, что в этой пьесе, действие которой разворачивается то в английской усадьбе начала XIX века, то в наши дни (причем смена временных планов происходит мгновенно и непредсказуемо), для зрителей особенно важно осознание автором того факта, что человек смертен и что ему не дано предвидеть свое будущее. Противостояние детерминизма и свободного выбора, интеллектуального теоретизирования и жизненных случайностей всегда увлекало Стоппарда. Однако в «Аркадии» он как будто смирился и с быстротечностью жизни, и с переменчивостью человеческой судьбы. Там, где более ангажированные драматурги были бы потрясены хаотичным, бессмысленным нагромождением событий, Стоппард склонен утверждать, что в эпоху, когда ньютоновский детерминизм трещит по всем швам и «когда почти все, что тебе представлялось истиной, оказалось ложью», у жизни есть особая прелесть. В стоппардовской пьесе заложено несомненное гуманистическое начало. Она призывает к стоицизму, она пробуждает мысль. Она затронула что-то самое главное в жизни и сознании нашего общества, нащупала его болевую точку.

Гарольд Пинтер — совсем иной случай. Пинтер приобрел известность как автор целого цикла достаточно туманных пьес, где за внешним комизмом ситуаций звучал мотив неуверенности и страха, который испытывает «маленький человек» перед непознаваемостью жизни. Самая известная из них — «Возвращение домой» (1965). В последующие годы его стала больше волновать проблема нарушения прав и свобод личности. Этому Пинтер посвятил несколько одноактных полемических пьес, исполненных огромной внутренней силы: «Посошок на дорогу» (1984), «Горный язык» (1989) и «Во время вечеринки» (1991). Его последняя на сегодняшний день пьеса «Лунный свет» (1993) — это глубоко личное произведение, быть может, самое личное из всего им написанного. Главный герой пьесы — тяжелобольной человек, прикованный к постели и пребывающий в ожидании смерти, которое не скрашивает ни священник, ни кто-либо из близких: одна из его дочерей умерла, а двух сыновей он сам оттолкнул от себя своим крутым, подавлявшим их нравом. Грубоватый, чисто словесный юмор пьесы напоминает раннего Пинтера, однако здесь впервые его герой остается один на один со смертью, в ужасе перед тем, что жизнь оказалась всего лишь цепью загадок, разгадать ко-

торые ему не удалось. Пьесу нельзя назвать в полном смысле слова автобиографической (Пинтер в свои 65 лет отличается отменным здоровьем), однако в ней заключено нечто понятное каждому из нас: ужас предстоящего ухода и страх умереть в одиночестве, без благословения родных и друзей.

Итак, даже в наши трудные, лишенные стабильности времена драматурги продолжают писать пьесы. Иногда появляется пьеса, которая выходит за чисто театральные рамки и становится сенсацией дня. Такой сенсацией стала пьеса двадцатитрехлетней писательницы Сары Кейн «Прóклятые», поставленная в театре «Ройял корт апстерз», в зале, вмещающем не более 60 человек. В пьесе была сделана попытка установить связь между сексуальным превосходством мужчин над женщинами и насилием, творимым сегодня в Боснии. Уразуметь, что здесь может быть общего, мне, признаться, не удалось, а происходящая на сцене трансформация гостиничного номера в Лидсе в эпицентр гражданской войны на Балканах показалась лишенной какой бы то ни было внутренней логики. Но событием дня сделали пьесу и спектакль предельно откровенные сексуальные сцены, кульминацией которых становится акт гомосексуального изнасилования с выбиванием глаз и каннибализмом. Спектакль вызвал поначалу бурное негодование, однако затем Сара Кейн и ее пьеса обрели страстных защитников в лице таких известных драматургов, как Эдвард Бонд и Кэрил Черчилль. Конечно, это дело вкуса, но я все равно убежден, что пьеса очень плоха, поскольку автору не удалось выразить свое неприятие безнравственности и аморальности современной жизни в адекватной художественной форме. И все же само ее появление доказало, что театр еще не утратил способности вызывать шок, а в голосе молодых авторов по-прежнему слышны «рассерженные» интонации.

И это особенно важно теперь, когда существует целый ряд факторов, ограничивающих приток новых пьес на сцену. Один из них — постоянное уменьшение государственных субсидий, вследствие чего постановка пьесы с большим числом действующих лиц — скажем, больше десяти — под силу только ведущим столичным театрам. Другой — безудержные аппетиты телевидения, которое может предложить авторам значительно более высокие гонорары, бóльшую стабильность, а также более простые творческие задачи, нежели театр. Телевидение «поглощает» способных молодых драматургов, которые тут же начинают «выпекать» бесконечные сериалы из жизни врачей и полицейских. И еще один фактор — полное безразличие ведущих театральных режиссеров к проблемам сегодняшнего дня, а следовательно, и к произведениям молодых авторов.

В прошлые годы известные режиссеры активно способствовали постановке пьес начинающих драматургов. Нередко складывались прочные творческие союзы режиссеров и авторов: Питер Холл — Гарольд Пинтер, Джон Декстер — Арнольд Уэскер, Уильям Гэскилл — Эдвард Бонд, Питер Вуд — Том Стоппард. Сегодня молодые режиссеры чаще предпочитают работать с классикой, вступая, таким образом, в творческие союзы с давно умершими драматургами. Несомненно, эти союзы вызвали к жизни многие весьма любопытные спектакли, но одновременно лишили многих молодых авторов возможности увидеть свои произведения на сцене.

Никто не станет отрицать, что спектр постановок классики на сегодняшней английской сцене чрезвычайно широк и разнообразен; в нем преобладают постановки молодых режиссеров, либо возглавляющих собственные труппы, либо работающих в Национальном и Королевском шекспировском театрах. Одним из наиболее ярких среди них является, без сомнения, Деклан Доннеллан, который вместе с художником Ником Ормеродом организовал в начале 80-х годов труппу «Чик бай джаул», имеющую сегодня мировую известность. Огромный успех выпал на долю последней работы театра — комедии «Как вам это понравится», где все роли исполняют актеры-мужчины; это придает шекспировскому сюжету, построенному на путанице полов, особый колорит. Дебора Уорнер также начала свою карьеру с создания собственной труппы «Кик-тиэтр», где бóльшую часть репертуара составляли постановки пьес Шекспира. Одним из ее наиболее ярких спектаклей последних лет стал «Тит Андроник» в Королевском шекспировском театре, где акцент сделан не на жестокости и кровопролитии, а на внутреннем трагизме. Столь же успешной оказалась и «Гедда Габлер», поставленная Деборой Уорнер в Театре Аббатства в Дублине. В той же сдержанной и аскетичной манере работает и ее молодая протеже Кейти Митчелл. «Привидения» Ибсена, которые она поставила в Королевском шекспировском театре, поразили меня тем, что режиссеру удалось воочию показать, как климат, окружение, даже дом способствуют созданию невыносимой, удушающей атмосферы. Я назвал режиссеров безусловно ярких и талантливых. К ним можно добавить Стивена Дэл-

дри. художественного руководителя театра «Ройял корт», чья постановка старой пьесы Дж. Б. Пристли «Инспектор пришел» получила мировое признание (кстати, премьера этой пьесы состоялась в 1945 году в Москве, где спектакль был решен в жанре назидательного экспрессионистского памфлета).

Прекрасно, что в английском театре сегодня работает столько талантливых молодых режиссеров. Однако существует опасность, что в своем дальнейшем развитии он пойдет по пути театров Франции и Германии и станет больше интерпретатором, чем творцом, то есть предпочтет переосмысление классического наследия изучению того, что рождается сегодня. И Деклан Доннеллан, и Дебора Уорнер, и Кейти Митчелл почти никогда не работали с современными авторами; даже Адриана Ноубла, нынешнего художественного руководителя Королевского шекспировского театра, пока что значительно больше волнует сохранение классической традиции, чем погружение в сегодняшние наши тревоги и заботы.

Итак, английский театр переживает трудные дни. Финансовая нестабильность, размытость идейных и нравственных ориентиров, происходящее вследствие экспансии телевидения вторжение массового искусства, политический цинизм, общий настрой режиссеров на классический репертуар — все это, вместе взятое, работает против развития современной драматургии. И тем не менее новые пьесы появляются каждый день, и среди них немало произведений высокого уровня. Однако всем, что есть в нашем театре на сегодняшний день, мы обязаны тем сдвигам, которые произошли в нем после 1956 года. Современная английская драма — кладезь, из которого мы продолжаем черпать. Дальнейшее развитие нашего театра во многом зависит от способности самого общества к переменам, к обновлению. Но сегодня общество испытывает только чувство усталости и опустошенности. С одной стороны, нынешнее правительство слишком долго находится у власти, с другой — средства массовой информации все больше порождают у населения цинизм и неверие в основные государственные институты, от монархии до церкви. Кончается век, и Британии необходимо переосмыслить свою роль в мире, свое отношение к другим странам Европы, здраво соотнести прошлое и будущее. Мы должны заново осознать себя как нация, обрести цели более значительные, нежели материальное обогащение или выигрыш в национальной лотерее. А тогда возможно и новое возрождение нашей драматургии, сопоставимое по уровню и масштабу с 1956 годом. Пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе» вошла в историю именно потому, что она заставила Англию «оглянуться» на себя.

И сегодня нам нужен драматург, талантом равный Осборну, который смог бы заставить нас выслушать правду о нас самих, какой бы горькой она ни была.

*Перевод ЮРИЯ ФРИДШТЕЙНА*

■

### Антология поэзии от лица другого пола

**The Routledge Anthology of Cross-Gendered Verse. Ed. by Alan Parker and Mark Millhardt. «Routledge»**

Эту уникальную антологию подготовили для публикации в лондонском издательстве «Рутледж» университетские исследователи и литературоведы Алан Паркер и Марк Миллхардт. Впервые воедино собраны произведения поэтов-мужчин, написанные от лица женщины, и произведения поэтесс, написанные от лица мужчины. Разные авторы по разным причинам прибегали к подобному приему; как показывает антология, классовые, расовые и психологические мотивы являются одними из основных.

Среди поэтов, надевавших маску женщины, представлены Чосер, Донн, Поуп, Блейк, Бернс, Суинберн, Киплинг, Йейтс, а также Оден, Хини и многие другие. «Мужскими голосами» порой говорили с читателем Элизабет Баррет Браунинг, Эмили Бронте, Кристина Россетти, Хильда Дулитл, Элизабет Бишоп...

Такого рода стихи известны еще со Средневековья, однако лишь в самое последнее время они были выделены в специальный жанр, теоретическому и практическому изучению которого служит данный сборник. Стихотворные примеры снабжены критическим комментарием, где традиционный литературоведческий анализ сочетается с новейшими теориями социально-половых ролей. Составители рассматривают это своеобразное творчество в исторической и культурологической перспективе, отводя ему особое место в палитре творческого самовыражения.

### Антология «Поэты о поэтах»

**The Routledge Anthology of Poets on Poets. Ed. by David Hopkins. «Routledge»**

Антологию «Поэты о поэтах» издательства «Рутледж» подготовил к печати университетский преподаватель из Бристоля Дэвид Хопкинз. В книге впервые представлена исчерпывающая картина истории и развития английской поэзии с точки зрения восприятия творчества английских поэтов их собратьями по перу. В 350-страничном томе собраны произведения всех крупнейших авторов, от Чосера до Йейтса, а также менее известных поэтов.

Антология состоит из двух частей: в первой содержится все, что поэты писали о природе, свойствах и назначении собственно поэзии; вторая часть являет собой хронологически выстроенные отклики английских поэтов на произведения других поэтов. Они весьма разнообразны — от элегий и хвалебных отзывов до бурлеска и уничтожающей сатиры. Как свидетельствует антология, поэты живо реагировали не только на произведения стихотворцев, но и на их личностные особенности.

Составитель антологии Д.Хопкинз снабдил этот уникальный и ценный литературоведческо-поэтический сборник подробными примечаниями, а также толкованиями трудных фраз и ссылками.

### АЛАСДЕР ГРЕЙ

### Историческая личность

**Alasdair Gray. A History Maker. «Canongate»**

Шотландец Аласдер Грей стал известен после публикации удостоенного нескольких премий романа «Бедные-несчастные» (1992) (перевод см. в ближайших номерах «ИЛ»). В новой книге он, в отличие от предыдущей, обращается к далекому будущему: действие в ней разворачивается в Шотландии XXIII века.

Роман представлен как набор документов, связанных с найденной рукописью, в пяти главах которой описана неделя из жизни воина по имени Уэт Драйхоп. Кроме того, имеются пролог и пространные примечания, написанные так называемой «матерью», хранительницей рукописи; к этому добавлено послесловие некоего «исследователя фольклора», а также географические карты, гравюры и т.д.

Повествование начинается с описания битвы двух армий, причем война ведется по «демократическим» принципам: одна из сторон обманом добывает себе победу, и другая обращается с жалобой в Международный военный совет (наподобие Олимпийского комитета). Рассказ о послевоенной жизни ведется с многочисленными философскими отступлениями. Сюжет несколько оживляется, когда таинственная женщина одурманивает и насилует Уэта в четвертой главе. Но в целом А.Грей не

слишком заботится о сюжетных перипетиях и создании картины «общества будущего», его внимание сосредоточено на настойчивой пропаганде «лучшего мира» и сатирическом изображении общественных несовершенств.

КАДЗУО ИСИГУРО

**Безутешные**

**Kazuo Ishiguro. The Unconsoled. «Faber»**

После шестилетнего перерыва у лауреата Букеровской премии (роман «Остаток дня», см. «ИЛ», 1992, №7) Кадзуо Исигуро вышла новая книга. На сей раз главное действующее лицо не скромный дворецкий, а знаменитый пианист Райдер. Он приезжает в европейский город N с концертом и останавливается в гостинице. Всю ночь ему не дают заснуть разные люди, которые то и дело обращаются к нему с просьбами, и Райдер всем обещает посодействовать. Оказывается, чуть ли не весь город страдает от того, что местный оркестр утратил былую славу, и это повлияло на жизнь многих его обитателей и на состояние дел. Все только и ждали приезда Райдера и его выступления, надеясь, что это заставит городских музыкантов вновь проявить себя. Для организатора гастролей они должны были стать пиком карьеры, для его сына — возможностью самоутвердиться и продемонстрировать всем остальным свой талант пианиста, для известного в прошлом дирижера, а ныне не менее известного пьяницы — поводом бросить пить и вновь возглавить оркестр. Увы, их надежды не оправдались. А Райдер вдруг начинает вспоминать, что бывал в этом городе, узнает места, в которых неожиданно появляются разные предметы из прошлого, натыкается на друзей детства. И как бы далеко он ни отходил от своей гостиницы, всякий раз обнаруживал, что находится всего лишь в другом крыле здания. Для него эта поездка становится мрачным и странным путешествием, а сам он выступает в роли беспомощного слушателя чужих горестей и обид.

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

**Наша игра**

**John le Carré. Our Game. «Hodder and Stoughton»**

Русским читателям хорошо известны книги мастера «шпионского» жанра Джона Ле Карре (см. «ИЛ», 1990, № 5—7). И в очередном романе встречаются все привычные атрибуты: похищения, интриги, секс, предательство...

Два друга, шпионы «в отставке», живут каждый в своем мире. Тим Крамер стал состоятельным предпринимателем, Ларри Петтифер читает лекции в университете. Ларри хотел бы вновь заняться «делом» и однажды исчезает с большой суммой денег. Интрига разворачивается на фоне событий в Ингушетии, и деньги, которые прихватил Ларри, якобы принадлежат русской мафии. В надежде выйти на след беглеца власти решают действовать через Крамера. Того не устраивает роль подсадной утки, и он сам пускается на розыски. К тому же вместе с Ларри исчезла подружка Крамера, так что найти их обоих становится для Крамера делом чести.

СЬЮ ТАУНСЕНД

**Адриан Моул: потерянные годы**

**Sue Townsend. Adrian Mole: The Lost Years. «Soho»**

Этой книгой Сью Таунсенд завершает серию юмористических романов, написанных от лица Адриана Моула — по его собственному определению, «хроникера и юного философа», знакомого читателям «ИЛ» по опубликованным в журнале переводам.

«Адриан Моул: потерянные годы» состоит из нескольких отрывочных дневниковых записей, датируемых начиная с середины 1980-х годов, и полноценного дневника под названием «Пустынные годы», охватывающего 1991 и частично 1992 годы. В этой последней книге есть забавные социальные наблюдения и юношеская непосредственность, характерные для предыдущих книг Сью Таунсенд, однако политические комментарии главного героя несколько устарели, да и сам он нередко оказывается в довольно банальных ситуациях.

На последних страницах романа двадцатипятилетний Адриан в конце концов достигает трех вершин успеха: председатель писательской конференции, проводимой на полюбившемся англичанам греческом острове Скирос, высоко оценивает рукопись его романа; поход на нудистский пляж позволяет Адриану убедиться в том, что все его размеры вполне соответствуют норме; а в Лондоне его ждет женщина, которая — он наконец это понял — любит его. Адриан Моул вырос, повзрослел, и писательница — а с ней и читатели — расстается со своим героем.

ЭММА ТЕННАНТ

**Неравный брак**

**Emma Tennant. An Unequal Marriage. «Sceptre»**

В 1991 году английская писательница Эмма Теннант опубликовала «Пемберли» — продолжение романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Теперь у этого продолжения также появилось продолжение, роман «Неравный брак».

Главная героиня Элизабет Дарси представлена у Э.Теннант как забитая, тоскующая жертва своего тирана-мужа. В унынии она бродит по огромному полупустому дому, почти утратив способность полноценно общаться; чаще всего в качестве ответа она краснеет, бледнеет или дает волю слезам. Ее неотвязно преследует страх, что муж лишит наследства их беспутного сына Эдварда, недоучку, игрока и волокиту.

Как отмечают критики, это «продолжение продолжения» довольно далеко отошло от оригинала: сильно изменен характер главной героини, нет ироничности и стилистической четкости, присущей произведению Джейн Остин. Кроме того, некоторые повороты сюжета находятся на грани правдоподобности. Так, наслушавшись речей некоего кандидата в депутаты парламента, Элизабет начинает поддерживать права рабочих и даже отмену всех прав наследования, а затем, все с тем же очаровавшим ее кандидатом, «забывается в лесу». Второстепенные персонажи романа представлены в основном в гротесковых тонах, что придает книге еще большее сходство с постмодернистской пародией.

МАРТИН ЭМИС

**Информация**

**Martin Amis. The Information. «Flamingo»**

По мнению одного из персонажей романа, читающая публика может запомнить об авторах что-нибудь одно: писатель пьет, или толстый, или чем-то болен. Про антигероя новой книги Мартина Эмиса можно сказать, что он неудачник. Ричард сочиняет романы, от которых у читателей начинает болеть голова и двоиться в глазах, редактирует никому не известный журнальчик, печатает там рецензии на биографии писателей, еще менее известных, чем он сам. Ему отравляют жизнь неоплаченные счета, импотенция, возраст, и самое главное — успех его единственного друга Гвена, чей роман неожиданно стал международным бестселлером. Ричард безутешен и изобретает план мести, осуществить который ему удается так же плохо, как и все прочие начинания. Желая насолить приятелю, он отправляет ему первую попавшуюся рецензию из солидного издания, но, как выясняется, в ней расхваливается именно книга Гвена; предпринимает массу усилий, чтобы тому не дали престижную литературную премию, и, разумеется, Гвен ее получает; наконец, нанимает убийцу, который оказывается сумасшедшим и не на шутку угрожает самому Ричарду и его семье. Ричард попадает из одной передряги в другую и всякий раз поспешно делает вывод, что хуже не бывает.

■

## ЖИЗНЬ КОРОТКА – ИСКУССТВО ВЕЧНО

«Не оставляй меня: искусство в эпоху СПИДа» – так называется необычная книга, которую подготовил к печати Тед Готт (издательство «Теймс энд Хадсон»). Это сборник очерков и статей, а также репродукций произведений искусства, посвященных теме СПИДа. Книга также включает в себя каталог выставки, прошедшей в Национальной галерее Австралии в 1994 году.

Искусство и смерть – это сочетание в развитых странах в XX веке отошло на задний план с победой над туберкулезом, последней болезнью, уносившей жизни молодых. СПИД все изменил: умирают молодые, красивые, лучшие, любимые и любящие. «Если Йейтс считал, что секс и смерть – две единственные темы, заслуживающие внимания взрослого человека, то СПИД здесь стоит на первом месте», – пишет в вошедшем в книгу очерке Эдмунд Уайт.

Искусство, связанное со СПИДом, исполнено не только тоски, печали и отчаяния, но и в значительной степени гнева. Преступная бездеятельность властей в 80-е годы, озлобленность и равнодушие общества, коварный характер самой болезни породили этот гнев. Но такое искусство служит еще и связующей нитью между миром здоровых и миром больных; оно – одновременно катарсис, терапия, пропаганда, анализ чувств и мыслей.

Это искусство как никакое другое основано на социальных проблемах и одновременно глубоко личном горе. Оно настолько индивидуально, что способствует возникновению все новых и новых форм. Помимо литературы, живописи, фотографии, художественного и документального кино появилось и нечто необычное, например, знаменитое гигантское стеганое покрывало с вышитыми на нем именами ушедших любимых и друзей, с их личными вещами и плюшевыми мишками. В каком-то смысле это уже народное искусство.

В книгу включено немало символичных произведений. Так, американские художницы Хилари Леоне и Дженнифер Макдоналд создали «картину в песочнице», где имена безвременно ушедших выложены из песка: одно дуновение, движение – и их нет. Серия снимков фотохудожника Уильяма Яна почти документально рассказывает о болезни и смерти друга. На кровавом фоне плакатного коллажа известного английского режиссера Дерека Джармена белыми буквами горит слово «кровь». На своей полукартине-полуплакате «Без названия, N 179» Синди Шерман изобразила сидящего человека (вид сзади) в окружении бананов, моркови и презервативов.

Плакаты стали одним из ярчайших проявлений этого искусства. Их взяли на вооружение активисты различных групп. В книге приводится немало плакатов с доходчивыми, хлесткими подписями и лозунгами. Многие из них сделаны в традициях протеста времен другого крупного социального конфликта последних десятилетий – войны во Вьетнаме.

«Не оставляй меня» выявляет неожиданную параллель: искусство о СПИДе схоже с искусством о войне. И там, и там – горькие репортажи, флаги, реющие над поднявшимися в едином порыве людьми, запоминающиеся плакаты и призывы, жесткая и лиричная фотохроника, волнующие мемуары. Как заключает Тед Готт, современное искусство достойно ответило на вызов эпидемии, теперь дело за обществом.

Гигантское стеганое покрывало, фотоснимок Сильвии Плейчи.
*(Журнал «Хангри майнд ревью»)*

## «РУТЛЕДЖ» – ИЗДАТЕЛЬСТВО XXI ВЕКА

Крупное лондонское издательство «Рутледж» специализируется на выпуске научных книг по литературоведению, социологии, истории культуры и традиционно предлагает читателям разнообразные и неизменно интересные книги.

Обложка пьесы «Король Лир» из серии «Арден».
*(Каталог издательства «Рутледж»)*

Среди новинок сезона – книга «Аромат»; это первое солидное исследование любопытнейшего и недооцененного явления в современном западном обществе – истории запахов. Авторы рассматривают множество примеров из прошлого и настоящего и делают вывод, что запах – социальное явление, играющее заметную роль в разных культурах. Также впервые увидело свет исследование другого социального явления, но уже психологического плана: в книге «Грань иронии» Линда Хатчен оценивает порой скрытую, но важную роль иронии в культуре, искусстве, общении.

С определенной долей иро-

нии подошли к теме «мыльных опер» двадцать авторов сборника «Продолжение следует». Но это вполне серьезный анализ воздействия телесериалов на аудиторию пяти континентов. По свидетельству авторов, телесериалы особенно популярны в слаборазвитых странах «третьего мира», хотя любители такого рода телепродукции есть и в Англии, и в США.

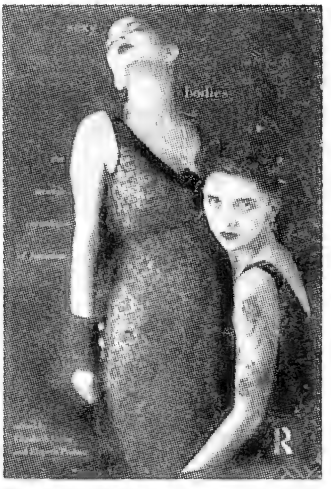
Проблема религиозного плюрализма в Великобритании за последние полвека находится в центре внимания в двухтомнике «Рост религиозного разнообразия». Он констатирует заметный упадок традиционных христианских церквей и расширение спектра конфессий (ислам, буддизм, иудаизм); уходят в прошлое многие религиозные принципы, считавшиеся незыблемыми в консервативной Англии.

Вопреки распространенному мнению, на Западе не исчез интерес к России. Книгу «Российская молодежь и ее культура» Хилари Пилкингтон написала, побывав в России и став «своей» в молодежных тусовках. Коренной переворот во взглядах, занятиях, привычках молодежи за последнее десятилетие и влияние мировой молодежной культуры на российскую через средства массовой информации послужили исследовательнице богатым материалом.

Положению женщины в бывшем СССР и других странах Восточной Европы посвящен сборник очерков «Пол, политика и посткоммунизм» под редакцией Нанетты Фанк и Магды Мюллер. В нем впервые полномасштабно рассматривается место женщины в бурных событиях последних лет, а также вскрывается антифеминистская политика государств социализма.

Издательство «Рутледж» публикует немало книг по теории и практике феминизма. Среди новинок этого плана – «Создание нового мужчины». Эта любопытная книга, снабженная комментарием Харри Кристиана, содержит реальные истории восьми мужчин, принявших новую роль женщины в обществе. Отвергнув завещанное им отцами мужское презрение к другому полу, «новые мужчины» обрели подлинную гармонию.

Еще один интереснейший сборник – «Сексуальные тела» под редакцией Элизабет Грос и Элспет Пробин – с необычной точки зрения разрабатывает тему красоты и привлекательности женского тела. Сексуальны ли женские тела? Насколько и почему? Что считается странным и притягательным в




Обложка книги «Сексуальные тела».
*(Каталог издательства «Рутледж»)*

женской внешности? В чем очарование женщины-вамп и женщины-мальчика? Полтора десятка авторов сборника (все – женщины), отвечая на эти и другие вопросы, исследуют голливудский символ (тело Элизабет Тейлор), а также прозу английской писательницы Джанетт Уинтерсон; в книгу органично включена художественная проза Мэри Фаллон и Николь Броссар.

Среди литературоведческих исследований выделяется «Изображение в популярных изданиях, 1860–1960» – анализ иллюстрированной прозы в английской литературе от детских книг до журнальных публикаций и комиксов. В книге «Колониальная проза/Культурные диалоги» Дж. Сингх рассматривает, как преподавание английской литературы в колониях (в частности, в Индии) укрепляло западную колониальную идеологию, причем исследовательница показывает это на примере шекспироведения.

Шекспиру в издательских планах отведено особое место: продолжается выпуск всемирно известной серии «Арден», которая на сегодняшний день объединяет все лучшее в шекспироведении. Книги этой серии содержат прекрасно оформленные тексты Шекспира с исчерпывающими историческими и культуроведческими комментариями – их по праву называют изданиями Шекспира XXI века.

## СОВРЕМЕННЫЙ ОСКАР УАЙЛЬД

Популярный английский актер, драматург и писатель Стивен Фрай одинаково успешно и много работает во всех своих ипостасях. Телезрителям он известен как исполнитель роли Дживза в комедийном телесериале «Дживз и Вустер», а также как ведущий комедийного шоу на британском телевидении. Театралы могли оценить его игру в недавно поставленной в Лондоне пьесе Саймона Грея «Сокамерники». Кроме того, в последнее время он снялся в американском фильме «Коэффициент умственного развития», написал два сценария и закончил второй роман «Бегемот» (издательство «Рэндом хаус»), который сразу же стал бестселлером в Великобритании.

Читатели и критики единодушны в том, что разносторонне одаренный Стивен Фрай показал себя первоклассным литератором. «Бегемот» сочетает в себе изящную легкость и остроумие Оскара Уайльда, английскость Ивлина Во и веселую абсурдность П.Дж.Вудхауса – создателя его киногероя Дживза. «Бегемот» – это едкая сатира, высмеивающая «сливки» современного британского общества.

Сюжет романа вполне подходящий для книги самого Вудхауса: главный герой – не дурак выпить, бывший поэт по имени Тед Уоллес («бегемот»)– получает шанс изменить свою похожую на сонное болото жизнь. Он гостит в загородном доме приятеля: сын-подросток приятеля якобы обладает таинственными целительскими способностями. Из этого сюжета автор извлекает массу комичных ситуаций, нередко фривольного свойства.

После публикации «Бегемота» один из коллег Стивена Фрая, театральный актер Харри Энфилд заявил, что Стивен Фрай – достойный кандидат на звание «современного Оскара Уайльда». Многие поддерживают эту точку зрения, считая, что хорошему актеру не повредит стать еще лучшим писателем. Между тем «самый убежденный холостяк Англии» и «старый дурак» (как называет себя тридцатисемилетний Стивен Фрай) пока обдумывает свою дальнейшую жизнь, удалившись из Великобритании в неизвестном направлении.

## ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЛИТЕРАТОРОВ

Несколько лет назад Джек Ходжез опубликовал книгу биографических курьезов и забавных историй из жизни английских писателей. Эту тему он продолжил своей новой книгой «Сердце писателя», снабженной подзаголовком «Личная и общественная жизнь английских ли-

тераторов» (издательство «Синклер-Стивенсон»). Дж. Ходжез активно поработал с многочисленными биографиями и прочими источниками, о чем свидетельствует огромный временной диапазон: в книге упомянуты писатели от VII века до наших дней.

Автор уделяет внимание в основном личной жизни литераторов. Первая глава посвящена бракам, и здесь у исследователя под руками имеется богатый материал, ибо многие британские литераторы обременяли себя семейной жизнью, а некоторые примеряли этот хомут по два, а то и по три раза. Так, среди женившихся трижды классик английской поэзии Джон Мильтон, написавший после очередной женитьбы поэму «Потерянный рай», а после развода – «Обретенный рай». Не обойдены вниманием и литературные пары: Гарольд Пинтер и Антония Фрейзер, Майкл Холройд и Маргарет Дрэббл, Тед Хьюз и Сильвия Плат.

Вторая глава полностью посвящена Джону Голсуорси и его скромным, лишенным и намека на что-либо сексуальное ухаживаниям за танцовщицей Маргарет Моррис. В третьей главе рассказано о писательских женах, которым их литературные мужья посвящали стихи, – это госпожи Донн, Шелли, Блейк, Браунинг, Теннисон, Льюис. У четвертой главы «Некоторые мужественные и красивые жены» впечатляющее начало: «Особенно мужественными были вторая жена Баньяна и третья Мильтона».

Во второй части книги собрано все о «муках любви», изменах и внебрачных интрижках, о необычных сексуальных склонностях (в частности, о мазохизме Суинберна). Сюда же помещены и знаменитые холостяки и «холостячки»: Эдит Ситуэлл, Рональд Нокс, Т.Э.Лоренс, Уилфрид Оуэн, Уинифред Холтби. Двадцать страниц уделено приверженцам однополой любви.

Затем следуют писательские дети (сколько их, в какие игры с ними играли их литературные родители, кем они впоследствии стали и т.д.). Не обойдены вниманием и привычки: например, известный составитель словарей Джонсон обожал плавание, причем даже в опасных местах. После главы об отношении к славе идет заключительная – о смерти и ее общественном резонансе, из которой читатель узнает, что Теннисон и Лир оплакивали Байрона, а при известии о кончине Дж.Б.Шоу индийское правительство прервало заседание, в то время как на Бродвее в знак траура был потушен свет.

Книгу Джека Ходжеза с определенной долей справедливости можно упрекнуть в хаотичности (небезупречен именной указатель, некоторые упомянутые факты едва ли заслуживают столь пристального внимания, порой на страницах мелькают ирландцы и даже американцы), что, впрочем, неудивительно при таком объеме материала. Тем не менее это любопытная и по-своему неповторимая публикация.

## «ХРАБРАЯ ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ»

Много лет назад англичанка Джой Мелвилл, перепробовав множество занятий, стала работать секретарем в английском юмористическом журнале «Панч». Тогда же ее посетила мысль самой написать что-нибудь. Она начинала со статей под псевдонимом, а затем перешла к более крупным формам. В 1989 году Д.Мелвилл опубликовала «Эллен и Эди» – документальную книгу об английской актрисе XIX века Эллен Терри и ее дочери Эдит, незаурядных, отвергавших условности женщинах.

В центре внимания ее очередной книги еще одна оригинальная женщина: «Мать Оскара» – так называется биография матери Оскара Уайльда. Джейн Франческа Элджи некогда была не менее знаменита, чем впоследствии ее сын. Она была одной из ведущих поэтесс своего времени и печаталась под псевдонимом Сперанца, что в переводе с итальянского означает «надежда». Ирландка по происхождению, Сперанца надеялась на избавление родины от британского засилья. Ее стихи были настолько смелы, что власти закрыли публиковавший их дублинский журнал «Нейшн» за «подстрекательство».

Сперанца — мать Оскара Уайльда. (*Еженедельник «Глоб энд мейл ов Кэнада»*)

Подобная смелость и даже резкость в суждениях были тем более удивительны, что в ту эпоху женщинам вообще не полагалось иметь каких-либо политических взглядов и публично их высказывать. Кроме того, Джейн Франческа была дочерью консервативных протестантов, тесно связанных с Англией. Узнав о ее «подстрекательской» деятельности, семья пришла в ужас. Однако известность ее была столь велика, что во время поездки Оскара, ее второго сына, с лекциями по США его встречали толпы восторженных ирландских переселенцев, жаждавших увидеть «сына Сперанцы».

Незадолго до смерти Сперанцы в 1896 году одна газета назвала ее «величайшей ирландкой современности». Но вниманием леди Уайльд была окружена лишь при жизни: похоронена она в могиле для нищих, а ее дом в лондонском районе Челси не украшен мемориальной доской. Как правило, биографы Оскара Уайльда походя упоминали о его матери, о ее «рифмоплетстве» и «эксцентричности». Между тем современники не зря называли эту умную, эрудированную, талантливую женщину «храброй падающей башней», и Джой Мелвилл решила своей книгой восстановить справедливость в отношении матери Оскара.

## ЗАГАДКА ДЖЕЙН ОСТИН

В истории английской литературы Джейн Остин занимает подобающее место, и ее произведения читают и поныне. Не менее популярны у читателей и ее остроумные, увлекательные письма. Именно из-за них и разгорелись жаркие споры в англоязычных литературоведческих кругах.

В своей рецензии на опубликованную недавно переписку Джейн Остин (составитель – Дейрдра Ле Фей) профессор Стэнфордского университета Терри Касл подробно проанализировала отношения между писательницей и ее сестрой Кассандрой. Сестры не выходили замуж, были неразлучны, вместе жили в одном доме и вмес-

те спали. Ни у кого не вызывает сомнений то, что вплоть до смерти Джейн в сорок два года Кассандра была для нее лучшим читателем, ее музой.

Терри Касл выдвинула предположение, что отношения сестер окутывало неосознанное взаимное сексуальное влечение. О личной жизни Джейн Остин почти ничего не известно; к тому же по невыясненной причине Кассандра уничтожила многие письма. Исследовательница полагалась более на детали уцелевших писем, в которых с упоением описаны обнаженные женские плечи, платья.

Гипотеза о гомоэротической окраске личной жизни писательницы смутила британских поклонников ее творчества. Одни утверждают, что Джейн Остин ничем не выделяется среди прочих женщин и что в тогдашней Англии многие женщины спали вместе «из-за холодного климата»; другие считают, что едва ли можно разгадать загадку Джейн Остин, ибо фактов для этого слишком мало.

Что касается Терри Касл, то она, не утверждая, что сестры Остин имели сексуальную связь, решительно отвергает взгляд на писательницу как на напрочь лишенную сексуальности старую деву: «Ее книги отнюдь не поддерживают этот стереотип; они полны страсти и сердечной привязанности. Откуда же у нее такое глубокое понимание чувственных желаний? Мне кажется, что главную роль в этом сыграли отношения с самым близким человеком – с сестрой».

Вскоре читатели увидят еще одно толкование темы «секс и Джейн Остин» – но уже в качестве зрителей, ибо сразу три романа писательницы экранизируются и то, что Джейн Остин оставила «за кадром», в цвете предстанет на экране.

Загадочная Джейн Остин.
*(Журнал «Ньюсуик»)*

## MADE IN ENGLAND

«Хорошо одетый человек ощущает внутреннее спокойствие, которого не может дать даже религия», – писал Томас Данн Инглиш. Англичане придают одежде первостепенное значение, и если Париж – признанный законодатель женской моды, то в мужской тон всегда задавал Лондон.

Вполне естественно, что книгу «Костюм англичанина» (издательство «Куортет») написал стопроцентный британец, сэр Харди Эмис, снабдивший ее пространным подзаголовком: «Личный взгляд на историю костюма, его место в современном мире, его будущее и приличествующие ему аксессуары».

Читателя может с самого начала обескуражить тот факт, что знаменитый английский костюм родился вовсе не в Англии. Впервые он появился в 1660 году, когда Карл II прибыл в Англию, дабы вернуть себе британский трон. Французский королевский двор оказал большое влияние на Карла II, и из Версаля он привез на родину новый фасон мужской одежды. На гравюре той поры он изображен в сюртуке, жилетке и брюках из одной и той же ткани – то есть в костюме.

Новшество прижилось далеко не сразу: брюкам предшествовали лосины (странным образом вернувшиеся сегодня в женском варианте). Как отмечали в конце XVIII века современники, лосины были сущим наказанием для темпераментных мужчин, ибо мгновенно выдавали все их тайные мысли, – как утверждается, к восторгу аристократических дам...

Харди Эмис отмечает любопытное свойство, почти закономерность в мужской моде: то, что носили на улице, постепенно начинали носить и в помещении. Обувь, джинсы, комбинезоны, спортивная одежда – все это пришло с улиц, стройплощадок и т.д. Ведь и традиционный английский костюм – это видоизменившийся костюм для верховой езды. Он как бы напоминал, что у его владельца есть лошадь, а возможно, и собственная земля. Аналогичную роль стали играть джинсы: если пиджак говорит о богатстве, то джинсы подчеркивают другое ценное качество мужчины – спортивность и молодцеватость.

В разные периоды своего существования классический английский костюм претерпевал всевозможные изменения. Как дань авиации появился галстук-бабочка, формой напоминавший пропеллер аэроплана. С легкой руки американцев, начиная с 30-х годов пуговицы на брюках сменились «молнией», призванной, среди прочего, подчеркнуть анатомические особенности мужского тела. В 70-е годы стало модно носить воротничок сорочки «а-ля Байрон», то есть поверх воротника пиджака.

Модельер Харди Эмис особенно гордится тем, что лично способствовал популяризации английского костюма в таких странах, как Япония, Корея и Тайвань. Английский костюм завоевал весь мир, его носят всюду, хотя и по-своему.

---

*По материалам еженедельников «Таймс литерари сапплмент», «Лондон ревью ов букс» (Великобритания), «Глоб энд мейл ов Кэнада» (Канада), журнала «Ньюсуик» (США) и каталогам издательства «Рутледж».*

Продолжение. Начало в № 7, 1992

**1992**

УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ. Слабоумный мальчик (Баллада), № 8-9.

ФИЛЛИС ДОРОТИ ДЖЕЙМС. Неестественные причины (Роман), № 11-12.

ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН. Машина ошибается (Рассказ), № 11-12.

**1993**

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ. К***. Вглубь одного стихотворения, № 1.

ФЭЙ УЭЛДОН. Лишний! или Месть жены (Рассказ), № 3.

ОЛДОС ХАКСЛИ. Через много лет (Роман), № 4.

ДЖОН ФАУЛЗ. Волхв (Роман), № 7-9.

ОЛДОС ХАКСЛИ. О Кришнамурти, № 9.

ПИТЕР АКРОЙД. Завещание Оскара Уайльда (Роман), № 11.

ОСКАР УАЙЛЬД. Письма разных лет, № 11.

Из английской поэзии XVI века. ТОМАС УАЙЕТТ. ГЕНРИ ГОВАРД, граф САРРИ. ДЖОН ДОНН. ТОМАС БАСТАРД, № 12.

**1994**

ДЖУЛИАН БАРНС. История мира в 10 1/2 главах (Роман), № 1.

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД. Как нас лишили последней невинности, № 3.

ДЕННИС ДЖОЗЕФ ЭНРАЙТ. Стихи, № 3.

АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН. Двое (Роман), № 6.

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД. Заметки об Англии, № 6.

Писатели мира о русской прозе советских лет. АРТУР КЁСТЛЕР, ОЛДОС ХАКСЛИ, ЭНГУС УИЛСОН, ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС, № 7.

СЬЮ ТАУНСЕНД. Мы с королевой (Роман), № 7.

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ (к 100-летию со дня рождения). Русские писатели «романтического века». Русский балет, № 10.

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ. Орландо. Биография, № 11.

КАРЕН ХЬЮИТТ. «Любовник леди Чаттерли» в московском метро, № 11.

ДЖОН КОЛЬЕР. Если бы молодость знала, если бы старость могла... (Рассказ), № 12.

**1995**

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ. Профессор Криминале (Роман), № 1.

РОАЛД ДАЛ. Генезис и катастрофа (Рассказ), № 5.

РОБЕРТ ГРЕЙВЗ. Стихи. (К 100-летию со дня рождения), № 6.

РИЧАРД ОЛДИНГТОН, ХИЛЬДА ДУЛИТЛ. Стихи, № 9.

■

# АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

**ПИТЕР АКРОЙД** (PETER ACKROYD; род в 1949 г.) — прозаик и поэт, литературный критик, лауреат нескольких литературных премий. Автор сборников стихов «Лондонский скряга» («London Lickpenny», 1973), «Сельская жизнь» («Country Life», 1978), «Развлечения Перли» («The Diversions of Purley», 1987), романов «Большой лондонский пожар» («The Great Fire of London», 1982), «Хоксмур» («Hawksmoor», 1985), «Чаттертон» («Chatterton», 1987), «Первый свет» («First Light», 1989), «Английская музыка» («English Music», 1992), биографических книг о Т.С.Элиоте (1984), Ч.Диккенсе (1991). Русский перевод его романа «Завещание Оскара Уайльда» напечатан в «ИЛ» (1993, № 11). Роман «Дом доктора Ди» вышел в Англии в 1993 году («The House of Doctor Dee». London, Hamish Hamilton).

**АНТОНИЯ С.БАЙЕТТ** (ANTONIA S.BYATT; род. в 1936 г.) — писательница, литературовед. Автор романов «Тень солнца» («The Shadow of the Sun», 1964), «Игра» («The Game», 1967), «Девица в саду» («The Virgin in the Garden», 1978), «Натюрморт» («Still Life», 1985), «Обладание» («Possession», 1990; отмечен премией «Букер»), многих литературоведческих работ, посвященных творчеству Айрис Мердок, У.Вордсворта, С.Т.Колриджа и др. В 1990 г. награждена орденом Британской империи. В «ИЛ» (1992, № 7) опубликован ее рассказ «Розовые чашки».
Повесть «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз» была напечатана в одноименном сборнике повестей и рассказов, вышедшем в Англии в 1994 г. («The Djinn in the Nightingales Eye». London, Chatto & Windus).

**РОУЗ ТРЕМЕЙН** (ROSE TREMAIN; род в 1943 г.) — писательница. Автор шести романов, двух сборников рассказов; по многим ее радио- и телепьесам поставлены спектакли и сняты фильмы. Лауреат нескольких литературных премий. Ее роман «Реставрация» («Restoration») выдвигался на премию «Букер» за 1989 г. С 1983 г. имя Роуз Тремейн значится среди лучших молодых английских романистов.
Рассказ «Перемещения герольда Монжуа» («Crossing of Herald Montjoy») взят из антологии «Современная английская литература — 3» (NEW WRITING 3. London, Minerva in association with the British Council, 1994).

**САРА ГРЕЙСИ** (SARAH GRACIE; род в 1961 г.). Ее детство и юность прошли в Англии и Шотландии. По окончании Оксфордского университета преподавала английский язык в тюрьмах и психиатрических больницах. Была отмечена несколькими премиями за свои стихи и рассказы.
Рассказ «Уста наслаждения, уста смерти» («Mouths of Nectar, Mouths of Knives») взят из антологии «Современная английская литература — 3» (NEW WRITING 3. London, Minerva in association with the British Council, 1994).

**ТИБОР ФИШЕР** (TIBOR FISCHER; род в 1959 г.) — писатель. Его первый роман «Под лягушкой» («Under the Frog», 1993) был удостоен премии Бетти Траск, выдвигался на Букеровскую премию. Второй роман, «Грабители-интеллектуалы» («The Thought Gang»), вышел в свет в 1994 г. Публикуемый в этом номере рассказ «Злоумышленники» («The Getaway Lunch») печатается по журналу «Гранта» (1994, №46).

**САЙМОН АРМИТИДЖ** (SIMON ARMITAGE; род в 1963 г.) — поэт, автор сборников стихов «Увеличенное изображение» («Zoom», 1989), «Малыш» («Kid», 1992), «Книжечка спичек» («Book of Matches», 1993). Публикуемые стихи взяты из журнала «Поэтическое обозрение» («Poetry Review», 1994, № 1).

**КЭРОЛ ЭНН ДАФФИ** (Carol Ann Duffy; род. в 1955 г.) — поэтесса (уроженка Шотландии), автор сборников стихов «Обнаженная в полный рост» («Standing Female Nude», 1985), «Продажа Манхэттена» («Selling Manhattan», 1987), «Другая страна» («The Other Country», 1990), «Среднее время» («Mean Time»), «Избранные стихотворения» («Selected Poems», 1994).
Публикуемые стихи взяты из журнала «Поэтическое обозрение» («Poetry Review», 1994, № 1).

**ПИТЕР ПОРТЕР** (PETER PORTER; род. в 1929 г. в Австралии, с 1951 г. живет в Лондоне) — поэт. Литературный и музыкальный обозреватель ряда журналов и Би-би-си. Автор тринадцати поэтических сборников, в том числе «Автоматический оракул» («The Automatic Oracle», 1987), «Возможные миры» («Possible Worlds», 1989) и др.
Публикуемые стихи взяты из антологии «Современная английская литература — 4» (NEW WRITING 4. London, Vintage in association with the British Council, 1995).

**МАЙКЛ БИЛЛИНГТОН** (MICHAEL BILLINGTON; род. в 1939 г.) — театральный критик и журналист. Автор книг «Современный актер» («Modern Actor», 1974), «Зрелищные искусства» («Performing Arts», 1980), исследований, посвященных творчеству современных английских драматургов Алана Эйкборна (1983) и Тома Стоппарда (1987), а также биографии знаменитой английской актрисы Пэгги Эшкрофт (1988). Статья «Английская «новая драма» сорок лет спустя» получена от автора в рукописи.

**КАРЕН ХЬЮИТТ** (KAREN HEWITT) — преподаватель английской литературы в Оксфордском университете. Автор книги «Понять Бри-

танию. Реальности западной культуры для озадаченного гостя из России» («Understanding Britain. Realities of Western Culture for a Puzzled Russian Guest»; рус.пер. 1992). Ее статья «Любовник леди Чаттерли» в московском метро» напечатана в «ИЛ» (1994, № 11).
Публикуемая статья «Новая английская историческая беллетристика спрашивает: «Почему?» получена редакцией в рукописи.

**ВАЛЕНТАЙН КАННИНГЕМ** (VALENTINE CUNNINGHAM; род. в 1944 г.) —критик, литературовед, профессор Оксфордского университета. Автор нескольких литературоведческих книг, в том числе «Британские писатели тридцатых годов» (1969), литературный обозреватель ряда английских изданий, ведет литературные передачи в нескольких программах Би-би-си.
Статья «Английская литература в конце тысячелетия» получена редакцией в рукописи.

## ■Переводчики:

**БАБКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ** (род. в 1961 г.) — переводчик с английского. В его переводах публиковались отрывки из романа Т.Вулфа «О времени и о реке», повесть О.Хаксли «Гений и богиня» («ИЛ», 1991, № 5), романы: О.Хаксли «Через много лет» («ИЛ», 1993, № 4), «История мира в 10 1/2 главах» Дж.Барнса («ИЛ», 1994, № 1); рассказы В.Найпола, Р.Шекли, Т.Вулфа и др. Лауреат премии «ИЛ» (1991).

**ТОГОЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА** — переводчик с английского и французского языков, кандидат филологических наук. В ее переводах публиковались романы африканских писателей Сембена Усмана «Вехи Тиосане», Уилсона Катийо «Сын земли», английского писателя Уилки Коллинза «Армадейл», американских писательниц Урсулы Ле Гуин «Порог» (Библиотека «ИЛ», 1989), «Волшебник Земноморья» (трилогия), Тони Моррисон «Возлюбленная» («ИЛ», 1994, № 12), рассказы Эрла Маккензи, Монтегю Джеймса и др.

**ЛОКШИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА** — студентка Литературного института им. А.М.Горького. В ее переводе опубликован рассказ ирландского писателя Мориса Кеннеди «Владивосток» («ИЛ», 1995, № 2).

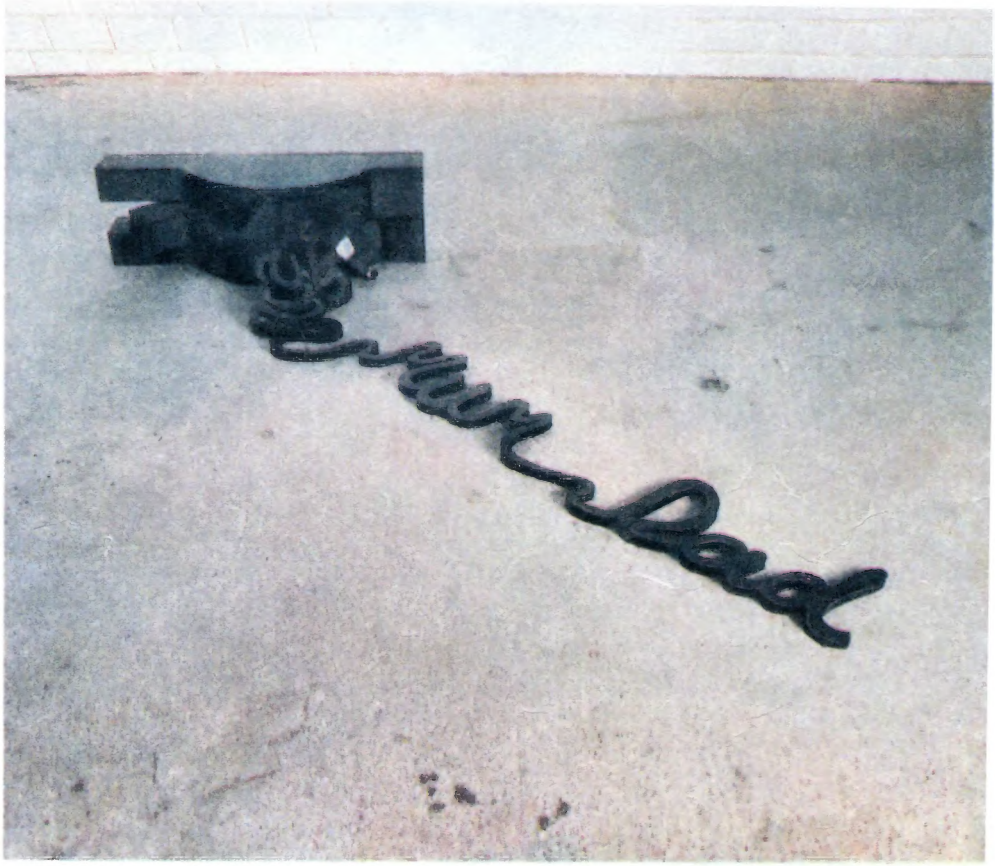
**ВАСИЛЬКОВСКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА** — студентка Литературного института им. А.М.Горького. Перевод рассказа «Уста наслаждения, уста смерти» Сары Грейси — ее первая публикация.

**ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ** (род. в 1947 г.) — литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. В его переводах публиковались романы «Черная беда» И.Во («ИЛ», 1991, № 6), «Высокое окно» и «Вечный сон» Р.Чандлера, «Красная жатва» Д.Хеммета, «Пасынки Судьбы» У.Тревора, «Улики» Дж.Бэнвилла («ИЛ», 1995, № 2) и «Жертвы» Ю.Маккейба, рассказы Д.Кольера, Ш.О'Фаолейна, Дж.Тербера, Г. Миллера, эссе, статьи и очерки Б.Шоу, Дж.Б.Пристли, Г.Честертона и др.

**ФРИДШТЕЙН ЮРИЙ ГЕРМАНОВИЧ** (род. в 1948 г.) — литературный и театральный критик, переводчик, кандидат искусствоведения. Автор многих статей по современному театру и драматургии Великобритании, рецензий на спектакли московских театров, книги «Анатолий Эфрос — поэт театра». В «ИЛ» напечатаны его «Заметки о творчестве Эдварда Бонда» (1987, № 1), статья и комментарии к публикации «Оскар Уайльд. Письма разных лет» (1993, № 11) и др.

**КАБАЛКИН АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ** (род. в 1958 г.) — переводчик с английского и французского языков. В его переводах издавались романы Ж.Верна «Ледовый сфинкс», Д.Кристофера «Долгая зима», М.Пьюзо «Счастливая странница», Д.Брина «Почтальон», К.Хьюитт «Понять Британию. Реальности западной культуры для озадаченного гостя из России» и др.

■



# Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
*Все они были авторами "БРИТАННИКИ".*
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
*Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".*
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
*Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".*

## "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" -

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный "ИНДЕКС" с 500 000 ссылками, бесплатный "ЕЖЕГОДНИК" с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические "ЕЖЕГОДНИКИ".

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

## Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
**"GREAT BOOKS"** - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
**CD-ROM**, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

## "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

**"ОТКРЫТИЕ МИРА"** - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
**"БРИТАННИКА"** для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
**"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА"** в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

*Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма*

"Мир Знаний",
эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
**Телефон в Москве: (095) 161 0775, 161 4049**
**Факс : (095) 161 0675**
E.-mail: mir@znanija.msk.su


ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №10, 1-256